

## Дмитриев С.Н. Крёстный путь “тринадцатого императора” Об историке С. П. Мельгунове и его книге

Эпиграфом к Истории я бы написал: “Ничего не утаю. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно – умалчивая”.

Л. Н. Толстой

Время течет быстро. Минуло уже почти двадцать лет, как под воздействием перестройки разжегся фонарь исторической гласности, призванный высветить пребывавшие ранее в тени моменты отечественной истории, в первую очередь послеоктябрьской поры. Однако странное дело: пробиваясь сквозь толщу времени, свет этого фонаря по воле невидимых режиссеров слепяще ударил по периоду с конца 1920 х до конца 1930 х годов и почти замер перед 1917 годом и первыми годами советской власти. Многие из тех лет так и осталось мерцать в неясной полутьме, ожидая своего счастливого часа. И, пожалуй, наиболее явно такая несправедливость бросается в глаза, если обратиться к сложнейшим коллизиям, которые привели к Февральским событиям, Октябрьскому перевороту и установлению в стране “красной диктатуры”. Примеров такого небрежения исторической истиной можно привести довольно много. Достаточно сказать, что до сих пор в России не изданы и не стали предметом общественного внимания основные труды по указанному периоду самого крупного историка русского зарубежья, а может быть и всей исторической мысли России XX века С. П. Мельгунова.

Автору этих строк повезло одному из первых приподнять завесу над скрытыми в тайниках спецхрана трудами Мельгунова. Еще в январе 1991 года, когда СССР, казалось, стоял как неприступная твердыня, в журнале “Наш современник” началась публикация книги историка “Красный террор в России. 1918 – 1923” с моим предисловием<sup>1</sup>. Вскоре эта книга была опубликована отдельным изданием (М., 1991), а затем, более чем через десять лет, были изданы лишь следующие труды Мельгунова по интересующему нас периоду: “На путях к дворцовому перевороту” (М.: Бородино-Е, 2003), “Воспоминания и дневники” (М.: Индрик, 2003), “Трагедия адмирала Колчака” (М.: Айрис, 2004), “Как большевики захватили власть” (М.: Айрис, 2005).

Надеемся, что сейчас настала пора издания всех остальных работ выдающегося историка, и данная книга – шаг на этом пути...

Сергей Петрович Мельгунов родился 25 декабря 1879 года в старинной, но изрядно обедневшей дворянской семье. Его отец Петр Павлович Мельгунов, московский педагог и историк, близкий друг В. О. Ключевского, стал знаменит благодаря своему учебнику “Первые уроки истории”, неоднократно переиздававшемуся и вызывавшему восхищение лучших умов России. И хотя из-за развода родителей Сергей отца почти не знал, ему было суждено пойти по его стопам. В 1893 году П. П. Мельгунов умер, не оставив своей многочисленной семье почти ничего, кроме прекраснейшей библиотеки.

Полубедственное состояние вынудило Сергея уже с седьмого класса гимназии содержать себя самого, пробуя свои силы в журналистике и переводах. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, учась лишь на первом курсе историко-филологического факультета Московского университета, он становится сотрудником “Русских ведомостей” – самой популярной и влиятельной из газет начала XX века. Около 10 лет сотрудничал Мельгунов в этой газете, пройдя путь от автора на

---

<sup>1</sup> Помимо этого тогда же были опубликованы статьи: Дмитриев С.Н. Таинственный альянс. – Наш современник, 1990, № 11 (с публикацией статьи Мельгунова “Приоткрывающаяся завеса” о сотрудничестве немцев и большевиков); Его же. Призраки прошлого. – Слово, 1991, № 7 (о “еврейском вопросе” в период Гражданской войны) Эти материалы публикуются в настоящей книге в качестве приложения с изменениями и дополнениями, сделанными в 2005 году.

случайные сюжеты провинциальной хроники до обозревателя по темам истории и церкви. Этот опыт и определил в конце концов особенность творческого облика Сергея Петровича, не ставшего после окончания университета в 1904 году “чистым”, академическим историком, а гармонически соединившего в себе неослабевающий интерес к истории, профессиональную журналистику и активную общественную деятельность.

Главным предметом своего внимания историк Мельгунов сразу же выбрал историю русской церкви, прежде всего старообрядчества, сектантства. Из-под его пера на эту тему вышли следующие труды, получившие высокую оценку современников: “Церковь и государство в России” (2 кн.), “Религиозно-общественные движения в России в XVII – XVIII вв.”, “Религиозно-общественные движения в России XIX в.”, “Старообрядцы и свобода совести”, “Великий подвижник и протопоп Аввакум”, “Москва и старая вера”. Кроме того, свет увидели книги Мельгунова “Дела и люди александровского времени”, “Из истории студенческих обществ в русских университетах”, “Студенческие организации 80 – 90 х гг. в Московском университете” и многочисленные статьи.

Мельгунов становится признанным авторитетом по вопросам истории церкви в России и на этой почве сближается с Л. Н. Толстым. Во время одной из встреч великий писатель настаивал: “Бросьте вы эту ерунду – “Русские ведомости”, они вас совсем испортят”, уговаривая Мельгунова посвятить себя “исключительно изучению религиозных движений в России, может быть, единственному положительному и самому важному в современной общественной жизни”. Однако историк не внял этому совету, а, напротив, все более расширял сферу своих интересов. Под его редакцией вышли многотомные коллективные труды, составляющие гордость русской историографии: “Великая реформа 19 февраля 1861 г.” (7 т.), “Отечественная война и русское общество” (6 т.), “Масонство в его прошлом и настоящем” (3 т.). Эти издания были богато иллюстрированы во многом благодаря уникальной исторической коллекции, собранной Мельгуновым. К числу заслуг Сергея Петровича можно отнести также составление и редактирование “Книг для чтения по истории нового времени” (7 т.), “Рассказов по русской истории”, сборников “Из нашего прошлого”, брошюр “Популярной исторической библиотеки”, носивших просветительский характер.

Постепенно все больше сил Мельгунова стали поглощать издательские дела, в которых проявился его незаурядный организаторский талант и яркая творческая натура. Он участвовал в создании издательств “Народное право” и “Свободная Россия”, организации первого в стране Союза книгоиздателей. Однако истинным его детищем стало издательство “Задруга” – совершенно исключительное явление в российском книгоиздании. Оно представляло собой кооперативное товарищество, насчитывавшее около 600 членов – писателей, общественных деятелей, ученых, рабочих двух типографий издательства, каждый из которых являлся пайщиком и совладельцем “Задруги”. За более чем десятилетний период существования товарищество выпустило свыше 500 самых разнообразных книг.

В 1913 году совместно с известным историком В. И. Семевским Мельгунов организовал журнал “Голос минувшего” и редактировал его на протяжении десяти лет. В течение всего этого времени (вышло 65 томов) журнал пользовался заслуженной славой крупнейшего русского исторического журнала.

Политические симпатии Мельгунова склонялись к народническим кругам, группировавшимся вокруг “Русского богатства”. В 1907 году он принял деятельное участие в создании народно-социалистической партии, став затем товарищем председателя ее ЦК. “По своим воззрениям, – писал Мельгунов, – эта партия отличалась от других социалистических партий тем, что в основу она клала не классовую борьбу, а интересы человеческой личности как таковой... Партия не могла иметь широкого развития в буйное время революции, когда на сцену выступила демагогия. Но ее умеренный социализм, ее непрерывная защита интересов государства как целого, интересов нации (“превалирование над всем национальной и государственной точки зрения” – так формулировал свое кредо историк) привлекло в ее ряды многих лучших представителей русской демократической интеллигенции”.

В Февральской революции Мельгунов увидел осуществление давней мечты всех борцов за свободу. Он активно поддерживал Временное правительство, редактируя вместе с другими лидерами народных социалистов – В. А. Мякотиным и А. В. Пешехоновым – партийные газеты. Однако из-за своей загруженности историк отказался от весьма лестного предложения Министерства внутренних дел занять пост московского комиссара.

Раскаты октябрьской бури были встречены Мельгуновым крайне враждебно. В своих воспоминаниях он назвал годы, последовавшие за этим событием, “убийственным прозябанием”. Историк откровенно признался, что с первых дней революции стал “непримиримым врагом советской власти” и вел против нее “активную борьбу”. На этом пути его ждали 23 обыска, 5 арестов, 6 месяцев жизни на нелегальном положении, полтора года заключения в тюрьмах, страшная угроза расстрела. Вся эта одиссея имеет прямое отношение к книге “Судьба императора Николая II после отречения”, и на ней стоит задержаться более подробно.

Чем же было вызвано резкое неприятие Мельгуновым новой власти? Это чрезвычайно важно уяснить, чтобы понять те принципы, отталкиваясь от которых историк считал возможным критиковать большевиков. Обратимся к его показаниям во время четвертого ареста в 1920 году. В них Мельгунов, продолжавший считать себя социалистом, утверждал, что ни в Европе, ни в России еще не созрели предпосылки для “пролетарской революции”, а “при таких условиях опыт социалистического строительства вне объективных условий времени... является общественным преступлением – преступлением перед потомством. При подобной оценке вопрос о методах, при помощи которых прodelывается опыт, выдвигается на первый план. Многие из идей, осуществляемых властью, я разделяю, но все ее методы мне органически ненавистны, так как все то насилие, которое мы наблюдаем, не находит себе никакого исторического оправдания. И в жизни получается лишь какая-то карикатура даже на коммунизм – нарушается элементарное основание так называемого научного коммунизма. Я не могу примириться с тем исключительным произволом, который царит ныне во всех отраслях жизни, с той... системой террора, которая возведена в принцип государственного строительства до последнего времени”.

В заявлении в президиум Особого отдела ВЧК от 10 июля 1920 года Мельгунов писал на ту же тему: “Будучи врагом всей политики Советской власти, я все же деятельность большевиков объяснял своего рода общественным фанатизмом, узко воспринятой политической догмой! И органически ненавистный мне террор я выводил из того же ложного, с моей точки зрения, миропонимания... Когда вы убиваете людей, вы говорите, что уничтожаете врагов во имя великого будущего. Я отрицаю за людьми право так строить будущее”. Историк признавал, что “коммунистическое правительство... опирается на инстинктивное чувство массы и идет по пути нового социального строительства. Последнее я, конечно, никогда не отрицаю и всецело бы сочувствовал, если бы пути были не ошибочны, а методы не так узко деспотичны. Я не верю в возможность осуществления таким путем социализма”.

Как видим, Мельгунов расходился с большевиками не по вопросу о целях преобразования общества, а по вопросу о путях и методах достижения этих целей, и, конечно, неприятие им новой власти никак нельзя объяснить “дворянским происхождением” или “классовой злобой” отъявленного “контрреволюционера”. Скорее речь здесь должна идти о твердом следовании историка принципам нравственности, свободы и социальной справедливости, которые отстаивались представителями умеренного крыла народническо-социалистического движения. Эта твердость и обусловила в конечном счете “контрреволюционность” Мельгунова как в его взглядах, так и политических действиях. Думается, сегодня, в отличие от печально памятных лет, мы должны признать, что такая позиция, несмотря на ее крах в те дальние годы, имела свою громадную, выстраданную правду. В истории далеко не все, что терпит поражение, изначально ложно, бесперспективно. И мы обязаны ныне отдать должное тем, кто, идя против течения, теряя при этом свободу, Родину, жизни и все же проигрывая, пытался сдерживать приближение неминуемого,

окрашенного в черные цвета насилия и народной трагедии. Да и что кроме уважения может вызывать решительность людей, которые, видя поругание своих святых идеалов и ценностей, не отсиживались по углам, не замыкались в словоблудие и вздохи по утраченному, а, рискуя всем, предпринимали реальные действия, пусть часто неумелые и напрасные, против порочной, по их пониманию, власти.

В своих воспоминаниях, появившихся в печати только после смерти историка, Мельгунов раскрыл те тайны собственной “контрреволюционной” деятельности, за которые дорого бы заплатили чекисты. Узнай они тогда об этих секретах, участь Мельгунова была бы куда печальнее. Уже в первые месяцы после Октября он решительно высказывался за политическую линию народных социалистов, нацеленную против какого-либо компромисса с Советами, любого “соглашения с партией большевиков” и “участия в административной власти”. Эти свои взгляды Мельгунов публично высказал в газете энесов “Народное слово” в статье с показательным заголовком “Борьба до конца”. За эту статью газета была тотчас же закрыта.

Страстным желанием историка становится сплочение антибольшевистских сил, он предпринимает для этого действенные шаги, неоднократно встречается с близко знавшим его П. А. Кропоткиным, по его словам, “государственником в лучшем смысле слова”, поддерживает тесный контакт с Б. В. Савинковым. Весной 1918 года оформляется одна из наиболее сильных контрреволюционных организаций “Союз возрождения России”, включившая в себя представителей левого фланга антибольшевистского фронта – энесов, правых эсеров, меньшевиков-оборонцев, левых кадетов. Мельгунов занимает в союзе руководящее место: как и Н. Н. Щепкин, он является фактическим заместителем председателя союза В. А. Мякотина, а после отъезда последнего на юг становится одним из двух лидеров московской группы союза.

В условиях конспирации “Союз возрождения” налаживает переправку на Добровольческий юг офицеров, обзаводится своей военной организацией. После некоторых колебаний руководители союза приходят к мысли о целесообразности интервенции в страну союзников России по Антанте “для продолжения борьбы с немцами и воссоздания русской антибольшевицкой государственности”. От союзнических миссий “Союз возрождения” получает на развертывание своей деятельности более 1 миллиона рублей, часть из которых была переправлена в Добровольческую армию, другая часть – 300 тысяч рублей – была лично передана Мельгуновым Савинкову.

До поры до времени в ЧК об этой активности известного историка не ведают вовсе: на виду его работа в качестве руководителя “Задруги” и редактора “Голоса минувшего”. В этих условиях первый арест Мельгунова, произошедший в ночь на 1 сентября 1918 года сразу же после покушения на Ленина и убийства Урицкого Л. Каннегисером (он назвал себя энесом, что не могло не отягчать дальнейшей судьбы руководителей этой партии, в том числе Мельгунова), был лишь ярким проявлением того “истерического террора”, когда в ответ на посягательство на жизнь вождей революции без разбора арестовывали и расстреливали почти исключительно совершенно невинных людей. Мельгунов попадает на Лубянку, 11, в помещение бывшего страхового общества “Якорь”, в это, по его словам, “царство латышей! и притом латышей, почти не говоривших по-русски”, а затем в Бутырку. Здесь ему пришлось испытать на себе не только жуткие бытовые тягости (в камере на 100 человек было утрамбовано 300), но и пытки бессонных ночей, когда то одного, то другого соседа уводили на расстрел, и думалось, что следующим будешь ты сам.

Однажды ночью в камерной двери в очередной раз лязгнул ключ, сердце замерло, и наш герой действительно услышал то, чего боялся: “Мельгунов здесь? Без вещей по городу”. По тогдашней тюремной терминологии это означало расстрел, но вскоре выяснилось, что это также один из приемов чекистов лучше подготовить арестованного к допросу, который провел заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией Н. А. Скрыпник. Когда же Мельгунов вернулся в тюрьму, его сокамерники были немало удивлены: быстро разнесшаяся по Бутырке молва уже похоронила историка, и хорошо хоть она не вышла за стены тюрьмы и

не донеслась до его жены.

В октябре 1918 года у Сергея Петровича состоялась удивительная встреча с самим Ф. Э. Дзержинским. Предоставим историку слово: “Я... встретил простого, средней руки провинциального интеллигента. И как это ни странно, очень скоро роли наши как бы переменялись. В обличительных тонах стал выступать допрашиваемый. И, видимо, слова о мерзости красного террора, о массовых убийствах, якобы произведенных по требованию возмущенных московских рабочих, о бессмысленности расстрела представителей “старого режима” за покушение социалистки еще больно задевали новоявленного чекиста, не успевшего скинуть целиком одеяния старого революционера. Чекистская тога не покрывала еще остатков совести и разума бывшего польского соц.-демократа. Вздурораженный, он бегал по комнате, и я ухитрился в это время из обвинительного досье, лежавшего на столе, незаметно взять документ, уличавший моих друзей в “контрреволюционных” замыслах. Вздурованный Дзержинский даже этого не заметил. Слова о крови били еще по его нервам. Не все человеческое было ему таким образом чуждо. Он, конечно, сознавал, что сентябрьская резня (террор в сентябре 1918 г. – С. Д.) вовсе не вызвана требованием населения и что она отнюдь не являлась попыткой “разумно (!) направить карающую руку освобожденных и раскрепощенных рабочих масс”. Так утверждал впоследствии (записка 1922 г.) Дзержинский”.

“Каннегисер назвал себя народным социалистом. Вот вас и арестовали, – говорил Дзержинский. – Что же делать. Мы боремся. Наша задача умиротворить ненависть. Без нас красный террор был бы ужасен. Пролетариат требует уничтожения всей буржуазии... Мы творим новую жизнь. Вероятно, мы погибнем. Меня расстреляют. Я пишу воспоминания. Оставлю их вам. Прочитав, вы поймете нас.

– Ну меня раньше успеют расстрелять”, – ответил историк.

В конце бурной трехчасовой беседы председатель ВЧК заявил, что Мельгунов будет освобожден тотчас же, без возвращения в тюрьму, так как за него поручился большевик П. Г. Дауге. “Провожая меня в коридор, – вспоминал историк, – Дзержинский спросил: не поинтересуюсь ли я узнать, кто второй из коммунистов поручился за меня (полагалось два поручительства), и сказал: “я”! Последовала молчаливая сцена, так как я решительно не знал, что следовало сказать по этому поводу. Для Дзержинского это был красивый жест!”

Позднее выяснилось, что за Мельгунова хлопотали также коммунисты В. Д. Бонч-Бруевич, П. М. Керженцев, В. Н. Подбельский, В. М. Фриче, Д. Б. Рязанов, А. В. Луначарский, К. И. Ландер: в их глазах он представлялся еще близким им по духу социалистом. Однако не прошло и десяти дней, как историк вновь оказался на полтора месяца в Бутырке. Получив уведомление о необходимости получить в ЧК отобранные при аресте вещи, ничего не подозревая, он пришел на Лубянку и был вновь арестован по ордеру, подписанному Я. Х. Петерсом. Оказалось, что еще на допросах Петерс сильно невзлюбил Мельгунова, подозревая его в причастности к заговору Локкарта, и, как только Дзержинский уехал в командировку, тут же распорядился арестовать “заговорщика”. В судьбу опального историка опять пришлось вмешаться “сильным мира сего” в лице председателя Совнаркома Украины Х. Г. Раковского, к которому с письмом обратился хорошо знавший Мельгунова и высоко ценивший его В. Г. Короленко. Показательно, что именно Мельгунов сыграл позднее видную роль в публикации после смерти писателя в Париже, в заграничном отделе издательства “Задруга”, его известных писем к А. В. Луначарскому.

Вот как вспоминал сам Мельгунов о встрече с Раковским:

“Однажды меня вызывают в контору. Там встречаю я незнакомого мне человека вида просвещенного европейца с комендантом ВЧК. Человек приподымается при моем входе и говорит:

– Позвольте мне представиться. Вот при каких обстоятельствах я имею удовольствие с вами познакомиться. Я получил от В.Г. Короленко письмо с просьбой о вас. Через несколько дней вы будете освобождены. За мнение наше правительство не преследует, а то бы пришлось держать десятки тысяч людей.

Это был Раковский”.

В дальнейшем Короленко продолжал хлопотать за Мельгунова, как и за многих других жертв “красного террора”.

В третий раз Мельгунов был арестован в марте 1919 года по ордеру Особого отдела ВЧК и выпущен всего лишь через десять дней под поручительство П. И. Скворцова-Степанова и П. М. Керженцева. Однако за это время с историком произошли два довольно любопытных инцидента.

Когда Мельгунова пришли арестовывать чекисты, для упрощения этой процедуры он предложил комиссару не проводить обыск всего его огромного архива и библиотеки, а просто опечатать несколько комнат. Тот, колебавшись, согласился, но у него не оказалось с собой печати, хотя сургуч был. И здесь историк сделал опрометчивый шаг, предложив опечатать комнаты находившейся у него печатью масонской ложи “Астрея”, возникшей в Москве в 1907 году. Так и поступили, но печать комиссар вдруг решил забрать с собой. “Я никак не мог себе представить, – писал Мельгунов позднее, – что из-за этого может разгореться целый сыр-бор. В Особом отделе решили, что это печать современной ложи, с которой я имею какие-то таинственные связи. Заподозрено было и нахождение у меня многих масонских знаков. Мне пришлось разъяснять; жене моей пришлось привезти два тома, изданных под моей и Н. П. Сидорова редакцией, “Масонство в прошлом и настоящем”, чтобы доказать, что у меня имеется к масонству обычный литературно-научный интерес”.

Волны от этого пустякового, казалось бы, случая расходились еще долго, давая чекистам пищу для утверждений, что в белогвардейском лагере действуют масоны. Что касается самого Мельгунова, то он никогда масоном не был. В своих книгах и статьях историк неоднократно писал о попытках вовлечь его в масонские ложи (разговоры на эту тему с ним вел сам А. Ф. Керенский), не вызывавшие у него никакого доверия. “Я считаю вредным облечение подобными формами деятельности русской оппозиции”, – признавался Мельгунов.

Однако зададимся каверзным вопросом: откуда это большевики, в частности чекисты, были так сведущи в масонской символике, распознав в печати, изъятой у Мельгунова, откровения “вольных каменщиков”? Не мерцает ли здесь одна из скрытых пока от исторического взгляда тайн большевиков? Допросы Мельгунова по масонским делам вел начальник Особого отдела ВЧК М. С. Кедров, кстати говоря, несколько лет проведенный в эмиграции. Как подчеркивал историк, “Кедров больше всего интересовался разгадкой, существует ли теперь масонство в России или нет”.

С Кедровым связано и другое неожиданное приключение, пережитое в ЧК Мельгуновым. Однажды на допросе к начальнику Особого отдела принесли кипу каких-то документов. Историк поинтересовался, что это за документы, и получил ответ, что это бумаги одной из местных организаций партии эсеров и что в ЧК часто попадают еще более интересные документальные материалы. Например, недавно поступил архив из могилевской Ставки Николая II как Верховного главнокомандующего. У Мельгунова мелькнула дикая мысль, и он попросил Кедрова ознакомиться с этим архивом. Немного подумав, чекист ответил: “Хорошо. Вы получите документы на одну ночь при условии никому их не показывать”.

И вот Мельгунов всю ночь при электрическом свете в камере, где содержалось 15 человек, знакомился и делал выписки с официальной и полуофициальной переписки Ставки, переговоров по прямому проводу, автографов Николая II. Здесь им и был обнаружен, в частности, уникальный документ о гарантиях для себя и своей семьи, которые требовал император от Временного правительства во время своего отречения (позднее этот документ был опубликован историком за границей). На следующий день Кедров заявил, что он хочет издать архив Ставки, и спросил, не поможет ли ему в этом Мельгунов. Тот ответил категорическим отказом: “С большевиками невозможна никакая совместная работа”.

Выйдя на свободу, Мельгунов неотступно ждал нового ареста, его все сильнее стали изматывать постоянные обыски. “С лета 1919 года мы все ходили под угрозой... – писал он

впоследствии. – Мы продолжали свое дело. Жили легально и, может быть, даже слишком беспечно и открыто”. В это время чекисты уже вышли на след “Союза возрождения” и других контрреволюционных организаций. 29 августа 1919 года был арестован Н. Н. Щепкин. Узнав об этом, Мельгунов решил срочно уехать с женой в деревню под Серпухов, и сделал это не напрасно: дважды его приезжали арестовывать на московскую квартиру, оставив там на 6 недель засаду. Начались полгода мучительной нелегальной жизни: историку пришлось изменить внешность, поменять паспорт, преобразиться в бухгалтера и переезжать с женой с места на место. В конце концов “прятание по углам” надоело, и Мельгунов через знакомых большевиков, в том числе Л. Б. Каменева и Д. Б. Рязанова, попросил узнать, можно ли ему безопасно для себя выйти из подполья. Получив положительный ответ, он вернулся в середине февраля 1920 года в свою квартиру и... был тут же арестован.

Арест произвел особоуполномоченный Особого отдела ВЧК Я. С. Агранов. Как вспоминала жена историка П. Е. Мельгунова, “он был очень эффектен: шлем на голове с спускающейся на плечи кольчугой, весь до зубов вооруженный, за ним два солдата стукнули об пол прикладами”. Сразу чувствовалось, что дело намного серьезнее, чем при предыдущих арестах. П. Е. Мельгунова скоро узнала от знакомых об отзыве на сей счет наркома юстиции Д. И. Курского: “Дело плохо, не исключена возможность военного суда, тогда грозит расстрел, возможна тоже ликвидация дела прямо Особым отделом, это еще хуже”. Прасковья Евгеньевна кинулась искать заступничества у кого можно, написала новое письмо В. Г. Короленко, но все было тщетно.

Занимаясь длительное время изучением деятельности В. Г. Короленко в 1917 – 1921 годах, я обнаружил в Отделе рукописей Библиотеки им. Ленина письма к нему П. Е. Мельгуновой, в том числе и письмо от 28 февраля 1920 года. В нем жена историка, благодаря писателя за помощь, писала о своем муже: “Теперь он вновь арестован неделю тому назад Особым отделом ВЧК, этим самым страшным и жестоким учреждением у нас в Москве. Говорят, что дело вообще серьезное, добиться чего-либо очень трудно... Еще раз простите за беспокойство и помогите, как тогда”.

А дело оказалось действительно серьезным. Теперь оснований для пребывания Мельгунова в тюрьме чекисты видели предостаточно. Вот выдержка из характеристики на него, представленной Аграновым Дзержинскому 19 марта 1920 года: “С. П. Мельгунов является руководителем и идейным “вождем” Союза возрождения, центром которого была Москва... Мельгунов, несомненно, является одним из самых активных врагов пролетарской революции. Бешеная ненависть его к Советской власти и коммунистической партии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей по заговору, таких убежденных монархистов, как О. П. Герасимов, кн. С. Е. Трубецкой и др. ...Мельгунов убежден в неизбежном для Советской власти в ближайшем будущем 9 м Термидоре и в этом духе настраивает своих товарищей по камере”.

На этот раз Мельгунову суждено было пробыть в заключении целый год: полгода в одиночках внутренней тюрьмы Особого отдела ВЧК и полгода в Бутырке. Как раз в это время заканчивалось становление новой тюремной системы, являвшейся, по словам историка, “уже продуктом коммунистического творчества”, и он в итоге стал свидетелем всех этапов развития этой системы, начиная от первых ее робких шагов в 1918 году, когда действовала еще традиция старого режима. Однако опыт, пережитый им, имел и свои особенности. Как признавался Мельгунов, “я был всегда в тюрьме “привилегированным”. Писатель-демократ, так или иначе числившийся в социалистических рядах, имевший достаточные личные связи по своему прошлому с теми, кто стоял у верхов власти, неизбежно попадал в несколько другое положение, чем всякий иной тюремный обитатель”. Главная привилегия историка состояла, по его словам, в том, что большевики “всегда давали возможность работать, допуская широко передачу книг и письменных принадлежностей. Единственно, за что я могу чувствовать к ним хоть некоторую благодарность”.

Трудно поверить, но Мельгунов умудрился написать в одиночном заключении большую работу о Великой французской революции, так и оставшуюся неизданной,

воспоминания о своей жизни до мировой войны, целый ряд мелких статей и заметок. Позднее, в эмиграции, он опубликовал часть написанного с пометкой “Камера 33. Внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК”.

Тем временем страсти вокруг Мельгунова и других арестованных почти одновременно с ним разгорались действительно нешуточные. Проводивший следствие Я. С. Агранов с первых шагов разбирательства увидел уникальную возможность развития дела в сторону широкомасштабного процесса, и этот процесс через полгода действительно состоялся. Он вошел в историю как процесс по делу так называемого “Тактического центра” и представлял собой самый крупный политический процесс первых лет советской власти.

Нити этого процесса вели в август 1919 года, когда чекисты вышли на след контрреволюционной организации “Национальный центр”, состоявшей преимущественно из кадетов. В. И. Ленин перед началом операции по аресту руководителей центра дал указание Ф. Э. Дзержинскому обратить на операцию “сугубое внимание. Быстро и энергично и пошире надо захватить” (Ленинский сборник XXXVII, с. 167). “Захватили” действительно “широко” – около 700 человек, в том числе бывшего члена Государственной думы, кадета, председателя “Национального центра” Н. Н. Щепкина, внука знаменитого актера, руководившего также наряду с Мельгуновым “Союзом возрождения”. Недолгое следствие выявило, что помимо “Национального центра” в стране действуют и другие антибольшевистские организации – известный нам “Союз возрождения” и “Совет общественных деятелей”, объединявший представителей правых политических сил. Но состав этих организаций остался тогда неизвестен, дело “Национального центра” было фактически закрыто, окончившись расстрелом без судебного разбирательства многих обвиняемых (около 150 человек), в том числе Н. Н. Щепкина.

Однако в феврале 1920 года ЧК были арестованы член коллегии Главтопа Н. Н. Виноградский и профессор С. А. Котляревский, которые дали самые откровенные показания о деятельности всех контрреволюционных организаций и их руководящих лицах, среди которых фигурировало и имя С. П. Мельгунова. Виноградский даже сообщил о том, где скрывался Мельгунов, каковы его финансовые дела и что у него есть “потайной архив”. Самое же главное в показаниях двух арестованных заключалось в их сообщении, что примерно с апреля по сентябрь 1919 года в Москве действовал так называемый “Тактический центр”, объединивший контрреволюционные организации. В него входили от “Национального центра” – Н. Н. Щепкин, О. П. Герасимов и С. Е. Трубецкой, от “Совета общественных деятелей” – Д. М. Щепкин и С. М. Леонтьев, а от “Союза возрождения” – тот же Н. Н. Щепкин и С. П. Мельгунов. Получалось, что “Тактический центр” выступал в роли “высшего органа”, руководившего деятельностью чуть ли не всего контрреволюционного подполья. Такая находка сулила чекистам невиданные перспективы.

На основании важных показаний вновь “захватили” довольно густо. За решеткой оказались все руководители “Тактического центра”, за исключением расстрелянного Н. Н. Щепкина. Чудеса изворотливости проявил Агранов, отработывая, по сути, первый сценарий подготовки громкого политического процесса, который затем десятки раз брался за основу в 1920-е и 1930-е годы. Основными кирпичиками, составлявшими этот сценарий, стали явные провокационные действия следователя, использование им информации доносчиков, упор на собственные признания обвиняемых, а не на документы, выбивание раскаяния и покаяния подсудимых самыми различными приемами.

Агранов использовал в роли “наседки” предателя Н. Н. Виноградского, который поочередно переводился из камеры в камеру и подробнейшим образом доносил обо всех своих откровенных разговорах с обвиняемыми. Уже на первом допросе Мельгунов был поражен удивительной “ласковостью”, уважительностью следователя и его знанием самых мелких деталей расследуемого дела. Предъявив историку показания Н. Н. Виноградского и С. А. Котляревского, Агранов уверял его, что дело это “чисто историческое” и оно не может иметь каких-либо последствий, что большевики проявляют теперь гуманизм, и поэтому Мельгунова с его друзьями ждет вскоре амнистия. Нужно только дать показания. Такой же



тактики следователь придерживался и с другими обвиняемыми. И, как ни странно, эта незамысловатая тактика “сработала”.

А. И. Солженицын в “Архипелаге ГУЛАГ”, рассказывая о деле “Тактического центра”, обращал внимание на то, как “легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция”, оказавшаяся неподготовленной к встрече с изощренным механизмом следственной машины ВЧК. Упомянул он и о самом Мельгунове, что тот “без юмора ставит в упрек следователю Якову Агранову... *обман* его и других подследственных, ловкое дурачение, о котором он считает, что “большого издевательства надо мною быть не могло”... И Мельгунов, столь проникательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадает: подтверждает участие в “Союзе возрождения” тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще “стал давать более или менее связные показания” – как рассказ, без выделения следовательских вопросов”.

В воспоминаниях, на которые ссылался Солженицын, Мельгунов прямо признавался в своей собственной ошибке и ошибке других обвиняемых: “Так простоваты оказались мы...” Он объяснял свое поведение следующим образом: “Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания, и не только о себе, но и о других... После первого допроса у меня было тяжелое раздумье о том, как поступить и как себя держать на следствии. Но дело действительно было уже в полном смысле историческим: приходилось нести ответственность за прошлое, не действенное в настоящем. Следователь знал все, что мог я ему показать с фактической стороны. Казалось поэтому, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других, не склонных, как я видел, занять позицию отрицания... Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории. Может быть, просто во мне недостаточно было того чувства революционного сознания, которое диктует поведение на суде”.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что в своих показаниях, часть из которых вошла в “Красную книгу ВЧК” (Т. 2. М., 1920), переизданную в 1990 г., Мельгунов повторил лишь факты, уже известные следствию, не назвал никаких новых имен, всячески принижал роль “Союза возрождения” (“Маленькое внутреннее удовлетворение дает сознание, что власть так и не узнала о составе “Союза возрождения” и его реальной деятельности”, – писал он позднее) и разбивал главный козырь следствия о “Тактическом центре”. Он утверждал, что организации с таким названием, “с особой какой-то платформой, тактикой, отдельной деятельностью”, такого центрального “заговорщического центра” вообще не было, а были лишь несколько нерегулярных встреч представителей трех организаций: “Предполагалось, что представители групп будут здесь передавать точки зрения своих групп для осведомления и для передачи на обсуждение групп. Никаких решений здесь принимаемо не могло быть, да и фактически не принималось. Все сводилось, в сущности, к информации...”

Такие показания путали Агранову все карты. И он прибег к крайнему средству воздействия на историка – аресту его жены, якобы замешанной в контрреволюционной деятельности. Мельгунов объявил в качестве протеста голодовку, которую продолжал 17 дней. Как вспоминала П. Е. Мельгунова, “на семнадцатый день его вызвал Ягода, который в это время быстро поднимался по служебной лестнице и был на ножах с Аграновым. С. П. еле дотащился к нему. Спросив о причинах голодовки, о которых он якобы не знал, Ягода дал слово освободить меня, прислал к С. П. врача и взял с него обещание кончить голодовку”. Жена историка была выпущена на свободу, а он сам в силу чрезвычайно ослабленного состояния (температура его тела упала до 34°, сильно отекали ноги) был помещен в лечебный изолятор Бутырки.

Лопнула в конце концов и другая провокация Агранова в отношении Мельгунова. Во время обыска на квартире историка было обнаружено большое количество карточек с подробными сведениями о жизни и деятельности различных участников революционного движения в России, в том числе большевиков. Следователь попытался представить эти

карточки как свидетельство того, что Мельгунов и его единомышленники составляли списки коммунистов, подлежащих уничтожению или в результате террористических актов, или после свержения советской власти. Мельгунову стоило огромного труда доказать затем на суде, что это всего лишь подготовительные материалы к “Словарю революционных деятелей”, задуманному им еще в марте 1917 года и готовившемуся легально к изданию в “Задруге”. Позднее, во время пятого ареста историка, у него были обнаружены в ряду других фотографии, запечатлевшие Ф. Э. Держинского с чекистами, что послужило поводом для разработки особой версии о якобы подготовлявшемся Мельгуновым покушении на председателя ВЧК. Однако и этот замысел, к счастью, тоже скоро лопнул.

Из самого краткого описания следствия по делу “Тактического центра” уже вырисовывается зловещая фигура чекиста Якова Сауловича (по некоторым данным Соломоновича) Агранова (настоящая фамилия Сорендзон), стоявшего в ряду виртуозов следственных дел, долгие годы набивавших руку на провокационных приемах и откровенных фальсификациях. Следующей удачей Агранова стало “таганцевское дело” 1921 года. Арестованный профессор В. Н. Таганцев 45 дней хранил полное молчание, но затем Агранов уговорил его подписать с ним соглашение, согласно которому подследственный должен был дать самые полные показания о деятельности его группы и всех ее участниках, а следователь обязался быстро завершить следствие, передать дело в гласный суд и гарантировал, что “ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания”. В результате по “таганцевскому делу” без суда было расстреляно в три приема 61, 18 и 8 человек, в том числе и Н. С. Гумилев, которого Агранов допрашивал лично.

Любопытно, что, работая с 1919 года в ВЧК, Агранов был одновременно секретарем Совета Народных Комиссаров и так называемого Малого СНК: его подпись стоит под многими постановлениями вместе с подписью В. И. Ленина. Дальнейшими вехами служебной карьеры Агранова, дотянувшего в 1935 году даже до поста первого заместителя наркома внутренних дел, стали расследование им обстоятельств антоновского мятежа на Тамбовщине, дела ЦК правых эсеров и дела Я. Блюмкина, подготовка процессов по делам “Промпартии” и “Трудовой крестьянской партии”, виртуозные допросы убийцы Кирова Л. Николаева, руководство работой по разоблачению и осуждению “врагов народа” Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, А.И. Рыкова, М. Н. Тухачевского и многих других. Как видим, рука одного и того же режиссера-постановщика тянется от первого громкого политического процесса по делу “Тактического центра” до череды сногшибательных процессов 1936 – 1938 годов. Какая показательная, тесная связь времен!

Агранов долгое время специализировался на ловле именно интеллигентских заблудших душ, и нетрудно догадаться, почему его постоянно “тянуло” к литературно-богемным кругам. Он считался приятелем многих доверчивых писателей, начиная от Б. Пильняка и кончая В. Маяковским. Тень изворотливого чекиста ставила зловещую точку в судьбах сотен людей (успешная попытка выяснить причастность Агранова к убийству Маяковского была предпринята В. Скорятиным в “Журналисте”, 1990, № 1, 2, 5), пока он сам не был в августе 1938 года осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в “контрреволюционной деятельности” и не отправлен вслед за своими бывшими подопечными. В 1955 году при проверке дела Агранова Главная военная прокуратура не нашла оснований для его реабилитации ввиду того, что он допускал систематические нарушения социалистической законности.

С 16 по 20 августа 1920 года большая аудитория Политехнического музея в Москве представляла невиданное зрелище: здесь слушанием дела “Тактического центра” фактически открывалась целая эпоха публично-показательных процессов над врагами советской власти. “Сама уже зала с красным сукном, с толпящимися везде чекистами, солдатами ВОХРы в шишаках производила впечатление”, – вспоминала П. Е. Мельгунова. Дело рассматривалось Верховным революционным трибуналом в составе трех судей и двух их заместителей (четверо из пяти – чекисты) под председательством Н. К. Ксенофонтова. Обвинение поддерживал сам “огненный” революционер и трибун Н. В. Крыленко. На скамье

подсудимых 28 человек: помимо четырех руководителей “Тактического центра” (О. П. Герасимов умер в тюрьме во время следствия) – Д. М. Щепкина, С. М. Леонтьева, С. Е. Трубецкого и С. П. Мельгунова – широко известные в России профессора Н. К. Кольцов, В. М. Устинов, Г. В. Сергиевский, В. С. Муралевич, П. Н. Каптерев, общественные деятели В. Н. Муравьев, Н. М. Кишкин, Д. Д. Протопопов, С. Д. Урусов, В. Н. Розанов, экономист и кооператор Н. Д. Кондратьев, фабрикант С. А. Морозов, дочь Л. Н. Толстого А. Л. Толстая и другие.

Как писал Мельгунов, “весь процесс был построен на песке” прежде всего потому, что, кроме показаний обвиняемых, в деле не оказалось никаких улик, “ни одного документа”. Но это не смущало главного обвинителя, который уверял, что подсудимые должны были “лечь костями” за советскую власть и что всякая иная мысль есть “мысль о государственной измене”. “И даже если бы... обвиняемые здесь, в Москве, не ударили бы пальцем о палец, – говорил он, – все равно: в момент ожесточенной борьбы... даже разговоры за чашкой чая (А. Л. Толстая лишь ставила самовар и подавала этот чай “заговорщикам” на своей квартире. – С. Д.) о том, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом... Во время гражданской войны преступно не только всякое действие, всякий шаг, подготовляющий реставрацию иного порядка... преступно само бездействие”.

Позднее Крыленко утверждал, что на процессе проявилось “полное раскаяние” и “сплошное самобичевание” подсудимых, однако он забыл отметить, что каялась и самобичевала себя, признавая советскую власть, лишь часть обвиняемых: Н. Н. Виноградский, С. А. Котляревский (сразу же после суда они оказались на свободе и были прекрасно устроены на советской службе), а также С. Д. Урусов, В. М. Устинов, В. С. Муралевич, Г. В. Сергиевский, М. С. Фельдштейн и Н. Д. Кондратьев. Другие вели себя достойно и сдержанно. “Очень смело держалась Александра Львовна, погубившая себя последним словом, в котором заявила, что, будучи последовательницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевицкий суд”, – писала о дочери великого писателя, получившей три года концлагеря, П. Е. Мельгунова.

То же самое можно сказать о поведении на суде и самого Мельгунова, оказавшегося центральной фигурой процесса. Он справедливо писал позднее о своих выступлениях в зале суда, что “ни искренних, ни неискренних потоков раскаяния, которые видел Крыленко в устах многих подсудимых, ни каких-то заявлений “о переломе своих убеждений” – там нет”. Вот показательная выдержка на этот счет из стенографического отчета суда:

*Крыленко* . . . Я формулирую так, что вы не можете примириться с данной формой власти и что она должна быть так или иначе уничтожена, сметена и заменена другой.

*Мельгунов* . Всякая власть демократическая будет для меня более приемлема, чем советская власть.

*Крыленко* . И в тех условиях, в которых вам приходилось действовать во второй половине 1920 г., вы считали, что все из окружавших и боровшихся с советской властью более приемлемы?

*Мельгунов* . Нет, потому что, когда я стал узнавать, что при денкинской власти начался белый террор, то для меня он не был тоже приемлем. Может быть, органически я к красному террору относился более враждебно. Я не принадлежу к тем людям, которые думают, что советская власть может существовать длительный период, и если вы ставите дилемму: генералы или советская власть, – то я такой дилеммы не ставил: для меня никакая реакционная власть не приемлема.

*Крыленко* . Практически перед вами стояла дилемма: советская власть, колчаковская или денкинская власть.

*Мельгунов* . Я в своих показаниях сказал, что я считал, что всякая политическая власть будет лучше советской прежде всего с той точки зрения, что политически ее свергнуть будет гораздо легче”.

Особенно откровенно, “без сомнений и страхов”, Мельгунов сказал все, что хотел, в

своим последним словом, когда Крыленко уже потребовал для руководящей “четверки” “Тактического центра” расстрела. Мельгунов предсказал большевикам термидор и выразил свою глубокую веру в их окончательную гибель.

Ждать осталось только самого худшего. Готовясь к смерти и не желая быть расстрелянным, Мельгунов попросил жену принести ему яд. Прасковья Евгеньевна нашла возможность передать мужу крошечный флакончик с цианистым калием во время краткого свидания в перерыве между заседаниями суда. Но в ход событий вмешался его величество случай, припрятанный яд, к счастью, не потребовался, а на алтарь революции не была принесена еще одна жертва, которая могла лишить нас всего написанного впоследствии крупным историком, лишить так же, как мы лишились того, что подарил бы русской поэзии талант расстрелянного на творческом взлете Н. С. Гумилева.

Спасло обреченных счастливое стечение обстоятельств: дни процесса совпали с успехами Красной армии, рвавшейся к Варшаве и готовой разжечь пожар мировой революции в Европе. В последний день процесса на нем в качестве своеобразного свидетеля выступил Л. Д. Троцкий. Завершая свою пылкую речь, он торжественно заявил, что “завтра Варшава будет взята”, и, указав театральным жестом в сторону “четверки”, закончил: “А эти нам теперь уже не страшны”. В итоге Верховный революционный трибунал приговорил членов “четверки”, в том числе Мельгунова, к расстрелу, но, принимая во внимание целый ряд обстоятельств, тут же постановил заменить им расстрел 10 годами тюремного заключения. Остальные подсудимые получили меньшие сроки заключения, часть из них была освобождена по амнистии или наказана условно.

Все пережитое и увиденное Мельгуновым на суде оставило у него горестные впечатления. Он вспомнил о своем опыте в 1931 году, когда в Париж из России донеслись вести о показательных процессах по делам “Промпартии” и “Союзного бюро меньшевиков”, во время которых опять зазвучали покаянные речи многих подсудимых. Историк написал статью, в которой задался вопросом: “зачем большевики ставят” эти фальсифицированные, надуманные процессы? “Мне кажется, что всякий, хоть раз непосредственно столкнувшийся с советским “правосудием”, с “революционной” судебной совестью чекистов, заседающих в трибуналах, неизбежно должен превратиться в Фому Неверного, – подчеркивал он в статье. – По своему опыту по делу “Тактического центра” лично я склонен не доверять ни одному слову официальных судебных отчетов. Фарс и трагедия переплетаются между собой. Когда читаешь показания подсудимых и их реплики на комедийном действии, именуемом большевицким судом, кажется, что между властью и подсудимыми осуществлен какой-то закулисный заговор. Власти нужен, по каким-то особым соображениям, этот “показательный” процесс, и подсудимые сознательно пошли “на клевету” на самих себя, приписывая себе действия, которые они совершать не могли. Покупают себе этим жизнь? Советское “правосудие” действительно имеет одну своеобразную черту. Любой обвиненный в сознательном вредительстве и приговоренный даже к расстрелу через очень короткое время может оказаться на свободе, на своем старом посту и вновь с тем же успехом заниматься “вредительством”...”

Потекли месяцы заключения Мельгунова по установленному сроку, но за него стали хлопотать многие, и особенно активно В. Г. Короленко и В. Н. Фигнер, представлявшая Политический Красный Крест. Обеспокоен был судьбой историка и П. А. Кропоткин. Последнее, что он написал за несколько дней до смерти, было его обращение во ВЦИК о необходимости освободить Мельгунова для научных занятий. С таким же ходатайством во ВЦИК обратилась Академия наук. И вот 13 февраля 1921 года в воскресный день торжественных похорон вождя русских анархистов, в момент, когда процессия проходила мимо Бутырской тюрьмы, ее ворота распахнулись, и Мельгунов вышел на свободу.

Однако через год и три месяца, в конце мая 1922 года, историк был арестован снова в связи с процессом над руководителями партии эсеров, где он должен был дать показания как “свидетель”. Но... боясь нежелательных выпадов со стороны Мельгунова, устроители процесса слова ему так и не дали, продолжая тем не менее держать историка в тюрьме.

Пока тянулся эсеровский процесс, в обеих столицах для высылки за границу формировались пространные списки неугодных советской власти представителей интеллигенции – ученых, писателей, общественных деятелей, составлявших цвет образованных кругов России. Почти все из них ранее преследовались пролетарской властью, успели посидеть даже по нескольку раз в тюрьмах, подвергались угрозе расстрела. Вопрос о необходимости более широкого использования высылки за границу был поставлен В. И. Лениным в мае 1922 года при разработке Уголовного кодекса РСФСР. “По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)”, – писал он по этому поводу Д. И. Курскому (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 189). Претенденты на высылку определялись еще с февраля 1922 года, когда по указанию Ленина была начата с участием ВЧК массовая проверка на “контрреволюционность” издательств, периодических изданий, их авторов и сотрудников (там же, т. 54, с. 155 – 156, 198; Ленинский сборник XXXIX, с. 426). 19 мая 1922 года Ленин писал Дзержинскому: “К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки... Обязать членов Политбюро уделять 2 – 3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг... Собрать *систематические* сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ” (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 265 – 266).

Видимо, дело поручили действительно “толковым” людям типа Агранова, и оно пошло быстро. К осени списки перевалили за две сотни имен, но, как сумела выяснить В. Н. Фигнер, в них не оказалось Мельгунова, так как он находился в данное время в тюрьме, а не на свободе. Пришлось испрашивать в ЧК “великую милость” включить историка в списки на изгнание. По этому поводу Мельгунова вызвал к себе В. Р. Менжинский. Как вспоминала жена Сергея Петровича, “Менжинский прямо сказал С. П., что большинство коллегии ГПУ за его высылку в Чердынь Пермской губернии (на дальний север). “Мы вас выпустим, – сказал он, – только с условием не возвращаться”. “Вернусь через 2 года, – ответил С. П., – вы больше не продержитесь”. “Нет, я думаю, шесть лет еще пробудем”. Потом Менжинский говорил о том, как хорошо понимает невыносимое существование С. П.: “Каждую ночь ждете звонка, да и работать вряд ли удастся при таком количестве обысков. 20 у вас уже было? Все вверх дном, верно. Да, я вас понимаю...”

Накануне отъезда у выпущенного ненадолго из тюрьмы Мельгунова сделался острый приступ аппендицита. Из двух вариантов – уезжать в назначенный день или сделать операцию – историк выбрал первый: ГПУ могло во второй раз не разрешить выезд, и тогда пришлось бы ехать в Чердынь. Так и выпало покинуть Родину больным и разбитым. Из Москвы выехали 10 октября 1922 года, а впереди ждали почти 35 долгих лет жизни на чужбине.

Эмигрантский период в биографии Мельгунова, так же как и его “чекистская одиссея”, достоин подробного описания. Однако в данной статье мы отметим лишь самые основные его вехи.

Поселившись в Варшаве, затем в Берлине, Мельгунов включается в бурную жизнь русского зарубежья, проявляя ту же широту интересов, энергичность и последовательность, что и в России. Уже весной 1923 года по его инициативе в Берлине было создано издательство “Ватага”, явившееся как бы заграничным наследником закрытой в СССР “Задруги”. Оно приступило к изданию историко-литературных сборников “На чужой стороне”, редактировавшихся Мельгуновым и продолживших традиции “Голоса минувшего”. Финансовые затруднения позволили издать в Берлине только 9 томов сборника, остальные 4 тома были выпущены издательством “Пламя” в Праге, куда в 1925 году переехал Мельгунов. В 1926 году историк живет уже в Париже, где начинает выпуск под своей редакцией “журнала истории и истории литературы” под названием “Голос минувшего на чужой стороне”. Проживая затем безвыездно во Франции вплоть до смерти в 1956 году,

он участвует также в издании и редактировании журналов “Борьба за Россию”, “Возрождение” и “Русский демократ”.

Свою политическую активность Мельгунов направляет на объединение различных групп русской эмиграции для совместной борьбы с большевиками. Одно время он стоял даже во главе особой эмигрантской политической организации “Координационный центр”. Но эта деятельность явного успеха не имела, как не давали ощутимых результатов и попытки сплотить эмиграцию, предпринимавшиеся другими политиками.

Главное же, что поглощало на чужбине силы и время Мельгунова, были его ежедневные, из года в год, занятия историей. Отбросив почти все свои старые увлечения, историк сосредоточивается исключительно на исследовании нескольких лет “русской смуты” XX века, выполняя данный себе еще в 1920 году зарок. В доносах провокатора Н. Н. Виноградского об этом зароке сказано следующее: “Мельгунов постоянно заявляет, что после выхода из тюрьмы он направит все свои силы как историка к тому, чтобы большевики не вошли с хорошим именем в историю. Для того у него уже имеется материал, и материалы он постоянно будет собирать!!!”

Начал историк с обращения к теме красного террора. За первые же статьи на эту тему через год после высылки из России он был официально решением ВЦИК лишен советского гражданства, в Москве был конфискован весь его личный архив и огромная библиотека, переданные в распоряжение Коммунистической Академии. Путь на Родину оказался отрезанным навсегда.

В последующие годы из-под пера Мельгунова выходят одна за другой все новые и новые книги, одно перечисление которых впечатляет: “Красный террор в России. 1918 – 1923” (1923 – 1924), “Н. В. Чайковский в годы гражданской войны. Материалы для истории русской общественности” (1929), “Гражданская война в освещении П. Н. Милюкова. Критико-библиографический очерк” (1929), “Трагедия адмирала Колчака. Из истории гражданской войны на Волге, Урале и в Сибири” (4 т., 1930 – 1931), “На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года” (1931), “Российская контрреволюция. Методы и выводы генерала Головина” (1938), “Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года” (1939), “Золотой немецкий ключ большевиков” (1940), “Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки” (1951), “Легенда о сепаратном мире. Канун революций” (1957), “Мартовские дни 1917 года” (1961), “Воспоминания и дневники” (2 т., 1964).

Рассказывать о содержании этих книг нет смысла, их следует читать и анализировать. Надеемся, что уже недалек тот день, когда все они дойдут до российского читателя и предстанут перед ним как яркая, насыщенная живым дыханием времени почти 4000 страничная хроника мятежных лет, переломивших судьбу России. Эту хронику отличает богатейшее использование исторических источников, объективная оценка происходившего, публицистическое биение авторской мысли и чувства, увлекательность его творческого почерка.

Если же к книгам Мельгунова добавить сотни статей, заметок, рецензий, опубликованных им в эмиграции, его работу по изданию исторических материалов, то особенно наглядным станет тот титанический труд по осмыслению эпохи революционных бурь, который выпало осилить историку. Он всегда шел в исторической науке своим независимым путем, защищая истину и откровенно высказывая критические суждения о многих эмигрантских авторах, писавших на исторические темы (это касалось П. Н. Милюкова, А. Ф. Керенского, А. И. Деникина, Н. А. Бердяева, Н. Н. Суханова, сменовеховцев, многих невозвращенцев типа Ф. Ф. Раскольникова и т.д.). Такая непреклонность не могла не прибавлять историку недружелюбно настроенных критиков, но и одновременно не поднимать его авторитет в глазах читателей.

Все написанное Мельгуновым за годы изгнания позволяет без какого-либо преувеличения называть его крупнейшим историком русского зарубежья, именно историком, а не мемуаристом на исторические темы. Таких мемуаристов особенно много дала русская

эмиграция, и ни один из них, даже профессиональный историк П. Н. Милюков, не может сравниться с Мельгуновым по широте, глубине и объективности написанного.

\* \* \*

Пожалуй, никто не будет спорить, что роковые числа способны проявлять свои зловещие свойства в истории. Примеров тому множество. Один из них – судьба последнего, тринадцатого по счету, начиная от Петра I и не считая младенца Ивана VI, потерявшего престол, когда ему был 1 год и 3 месяца, императора всероссийского – Николая Александровича, завершившего своим правлением не только владычество над Россией династии венценосцев-Романовых, но и торжество в ней самодержавной власти вообще.

Фортуна предпочитала как-то боком обходить последнего русского царя, даря ему даже в излишестве грозные предзнаменования. Если не считать чуть не окончившегося смертельным исходом покушения на молодого великого князя в Японии, все началось со злосчастной Ходынки, окрасившей кровавым заревом восшествие нового императора на престол. Далее следовало на фоне весьма ощутимых успехов державы в экономической сфере явное приближение всеобщей смуты, ускоренное “позорной” Русско-японской войной. 6 января 1905 года, за несколько дней до Кровавого воскресенья, после которого колесница русского самодержавия все стремительнее стала скатываться с вершины своего могущества в пропасть небытия, во время празднования водосвятия на Неве с Петропавловки в ряду холостых прогремел по Зимнему и один боевой выстрел, который, миновав, к счастью, государя императора, убил городского по фамилии... Романов.

А сколько было ужасных пророчеств гадалок, улавливавших в тумане времени черты грядущей трагедии. Настоящим роком императорской четы стало долгое ожидание наследника престола, появившегося на свет лишь после четырех дочерей, и его страшная, неизлечимая болезнь, оставлявшая мало надежд на долгую жизнь Алексея.

Вспыхнувший пожар мировой войны, охвативший своим пламенем и Россию, приблизил развязку. За отречением императора последовало почти полторагодовое хождение его по мукам унижительной арестантской жизни, окончившееся жуткой расправой в Екатеринбурге. Николаю II суждено было стать четвертым “убиенным” императором (не считая низложенного Ивана VI, убитого в Шлиссельбургской крепости при попытке его освобождения): первые двое (Петр III и Павел I) пали от рук дворцовых заговорщиков, давших показательный пример “неприкосновенности” особ царского рода, третий (Александр II) и четвертый – от рук революционеров-народовольцев и большевиков. Однако участь первых трех была куда завиднее. Достаточно сказать, что рано или поздно на царский престол всходили их дети. В Екатеринбурге же мучительную смерть приняли все члены императорской семьи, в том числе малолетний наследник: революционный 1918 год “воскресил” в этом отношении практику смутных времен российского средневековья.

Кровь, пролитая большевиками в Екатеринбурге, а также в Перми, Алапаевске, Петрограде, где были казнены другие представители дома Романовых, легла на новую власть несмываемым пятном, очистить которое не удастся никогда и никому. Примечательно, что эти жертвы были принесены на алтарь революции еще до того, как в стране после покушения на Ленина был официально объявлен красный террор. (После этого спрашивается, кто же первый развязал террор – белые или красные?)

Неудивительно, что фигура последнего самодержца с момента его отречения и особенно в первые годы после его смерти вызвала широкий поток литературы, распадавшийся на два основных русла: если на родине императора последний стал представлять все чаще в образе глупого, но кровавого тирана, то в среде русского зарубежья проявлялась тяга к изображению его как святого и великомученика. Даже сегодня, в пору, когда Николай II вновь выдвинулся в ряд самых притягательных исторических фигур, эти полярные оценки все еще сохраняют свою жизнь, сталкиваясь между собой и усиливая интерес к истинному облику “тринадцатого императора”.

Для того чтобы восстановить, хотя бы частично, черты этого затуманенного временем облика, российским читателям и предлагается ознакомиться впервые с замечательной книгой историка С. П. Мельгунова “Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки”. Этот труд занимает особое место в его творчестве, завершая трилогию “Революция и царь”, которую Мельгунов задумал еще в 1930-е годы. Кроме этого произведения в трилогию входят книги историка “Легенда о сепаратном мире” и “Мартовские дни 1917 года”, однако определенным вступлением к циклу является книга “На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года” (1931), в которой автор описал, какая паутина заговоров плелась в России против самодержавия и какое участие принимали в них масоны. Мельгунов одним из первых приподнял завесу тайны над участием в Февральской революции масонских сил и вызвал тем самым на себя огонь критики тех представителей эмиграции, которые, запутавшись в своих масонских связях и устремлениях, способствовали вольно и невольно “раскручиванию” трагедии, которая привела Россию на край бездны. Не были в восторге от такой правды и советские историки, которые склонны были видеть движущие силы революции в народных массах, а не в среде масонов-заговорщиков. “Загадочное явление казалось мифом и легендой, и вдруг это оказывается действительностью”, – писал историк в своей книге и приходил к выводу, что “масонская ячейка и была связующим как бы звеном между отдельными группами “заговорщиков” – той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями, приведшими к отречению Николая II”.

Автору этих строк выпало работать с 1981 года в издательстве “Молодая гвардия”, которое опубликовало книгу Н. Н. Яковлева “1 августа 1914 г.” и сборник “За кулисами видимой власти”, подготовленный замечательным ленинградским историком В. И. Старцевым. В них масонская тема впервые в советское время зазвучала в полную силу. Помню, какие “громы и молнии” засверкали тогда из высших партийных кабинетов. Кое-кому из партийного руководства и начальников в сфере исторической науки хотелось вообще запретить изучение и обсуждение темы масонства, особенно его роли в истории России. Рупором этих сил выступил небезызвестный академик И. И. Минц, который в журнале “Огонек” (1987, № 1) обвинил “Молодую гвардию” в распространении фантазий и легенд, не имеющих под собой почвы.

Молодогвардейцам пришлось оправдываться, составляя докладные записки и доказывая, что изучение масонской тематики не только необходимо, но и весьма важно. Слава Богу, сегодня с этой темы сняты многие, но еще далеко не все табу, и заслуга в этом Мельгунова огромная.

Первой книгой трилогии историка “Революция и царь” является книга “Легенда о сепаратном мире. Канун революции”, вышедшая в Париже уже после смерти историка в 1957 году. В ней Мельгунов мастерски разбивает “паутину сепаратного мира”, измены и тайного германофильства, опутавшие Николая II и Александру Федоровну в последние дни и месяцы царствования. Эта клевета, усилиями заговорщиков ставшая повсеместным обывательским настроением, помогла свалить монархию. Между тем, как писал Мельгунов, при особом восприятии императором своей миссии у него в мозгу не могла “родиться даже мысль о сепаратном мире – “позорном” для престижа верховной власти, которой руководит Божественное провидение”. Историк пришел к следующему показательному выводу: “...С легендой о сепаратном мире... раз и навсегда должно быть покончено. Оклеветанная тень погибшей императрицы требует исторической правды. Александра Федоровна хотела быть добрым ангелом-хранителем монархии, а сделалась ее злым гением. Это факт, который отрицать нельзя, но в тяжелую годину испытаний и она, и сам царь Николай II с непреклонной волей шли по пути достойного для страны окончания войны. Никогда надежды их не обращались к внешнему врагу, а только от него – от немцев – в теории могло бы прийти им тогда спасение”.

Второй книгой трилогии является труд “Мартовские дни 1917 года” (Париж, 1961), где историк подробным образом, час за часом, день за днем описал роковые события



Февральской революции и отречения императора – этого “человека слабой воли”, личные качества которого определили слишком многое. “Мистическая покорность судьбе”, по мнению Мельгунова, составляла главную сущность характера Николая II. После отречения он “внешне примирился с личной катастрофой для себя” и как “венценосец, скинув тяготевшие на нем исторические бармы мономаховой шапки, оживал и делался “человеком””.

События текли тогда “с быстротой часовой стрелки”, и именно поэтому Мельгунов посвятил целую книгу судьбе Николая II от момента его отречения до трагической гибели, судьбе, полной драматизма, загадок и почти детективных сюжетов. Особенностью творческого почерка историка всегда было стремление и умение собрать по крупицам как можно более широкий массив исторических фактов и только на их основе делать какие-либо выводы. Главной целью своего труда он видел выявление разнообразных исторических реалий, которые привели в конце концов к трагической развязке. Автор пытался выяснить, что происходило на самом деле, а не являлось плодом воображения современников описываемых событий. Основную работу над книгой он вел в 1939 – 1944 годах, когда над Европой бушевала мировая война, а Франция была оккупирована фашистами, и это не могло не привести в исследование дополнительный трагизм и горечь. На фоне грандиозных событий судьба царской семьи выглядела как грозное предзнаменование грядущих всемирных катаклизмов и потрясений.

В отличие от многих произведений о трагической “одиссее” Николая II и его близких труд Мельгунова опирается на самую обширную источниковую базу, написан живым и увлекательным языком, насыщен глубокими авторскими размышлениями на темы революции. Очень важно, что автор не сводит весь драматизм судьбы императора лишь к его расстрелу и действиям большевиков, а видит корни совершившейся трагедии еще в раскатах Февральской бури и событиях, протекавших от Февраля до Октября. К тому же в своей работе Мельгунов дал очень аргументированную критику многих работ на выбранную им тему, в том числе Н. А. Соколова, Дитерихса, П. Жильяра, Р. Вильтона, отличающихся заметными упрощениями, искажениями и вольными интерпретациями различных фактов.

Не будет преувеличением сказать, что книга Мельгунова до сих пор является крупнейшим и наиболее объективным трудом во всей исторической литературе, посвященным последнему периоду жизни Николая II. И думается, она вызовет живой интерес у российских читателей.

Главный вопрос, который историк попытался разрешить в своей книге, был вопрос о том, существовала ли возможность спасти Николая II и его семью. Автор всесторонне описал ту ловушку, в которую попал *добровольно* отрекшийся от престола император. С одной стороны, он оказался в руках Временного правительства, которое учредило Чрезвычайную Следственную Комиссию для расследования преступлений старого режима и доказательства того, что царь готовил сепаратный мир с Германией. С другой стороны, за императором и его семьей пристально наблюдали представители “революционной демократии”, прежде всего в лице Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, по постановлению которого от 3 марта 1917 года семья царя и была арестована. С третьей стороны, Николай II стал разменной картой в политических играх Англии и Германии – главных действующих лиц мировой войны, желавших использовать “поверженного” властителя великой России в своих целях.

Поначалу, при отсутствии в первые дни революции “специфической атмосферы царубийства”, царю, казалось бы, ничего не угрожало. 7 марта А. Ф. Керенский в ответ на призывы: “Смерть царю...”, заявил в Московском Совете: “Временное Правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию, я сам доведу его до Мурманска”.

Временное Правительство действительно могло настоять на отъезде императорской семьи в Англию, но давление Советов с каждым месяцем усиливалось, и не помогло даже то,

что Чрезвычайная Следственная Комиссия не обнаружила никаких доказательств тех преступлений, которые приписывались Николаю II молвой. Как отмечал в тот период Керенский, “не найдено ни одного компрометирующего документа, подтверждающего, что царица и царь когда-либо собирались заключить сепаратный мир”.

Явное равнодушие к судьбе царской семьи выказала и Англия, которая не обостряла этот вопрос перед своими союзниками в лице Временного правительства. В итоге во все более накалявшейся обстановке после июльских событий 1917 года царь с семьей оказался не в Лондоне, а в Тобольске, и произошло это прежде всего в силу боязни деятелями Временного правительства возможной “монархической контрреволюции”.

На самом деле, как показал в своем труде Мельгунов, “никаких реальных планов освобождения” царской семьи в монархических кругах не разрабатывалось, и реально ничего не было сделано”. По сути, монархисты тоже предали своего императора, особенно в период после Октябрьского переворота, который, как правильно указывал автор, завязал “узел екатеринбургской трагедии”.

Настоящая опасность нависла над императором и его семьей после разгона большевиками Учредительного собрания. Бывший царь, наряду со своим братом великим князем Михаилом Александровичем, остался единственным реальным знаменем возможной контрреволюции против власти Советов. Брестский мир, который резко осудили якобы германофилы Николай II и Александра Федоровна, усугубил ситуацию. Помощь в спасении царской семьи действительно могла прийти тогда от немцев, но даже саму возможность этого отметили арестованные. Государыня заявила: “...я предпочитаю умереть в России, нежели быть спасенными немцами... Что может быть обиднее и унижительнее, чем быть обязанными врагу...” Вот так выражала свои наболевшие мысли бывшая “гессенская принцесса”.

Немецкая сторона, ничуть не желавшая восстановления в России сильной императорской власти, делала лишь слабые увещания большевикам и вполне удовлетворялась заверениями, подобными тому, которое сделал советский посол в Берлине А. А. Иоффе, “что ни против одного из членов императорской семьи ничего не будет предпринято”. Мельгунов прав: если бы немцы жестко потребовали освобождения царя, то большевики вынуждены были бы принять это требование беспрекословно. Историк опровергает версию генерала В. И. Гурко, что большевики расстреляли царскую семью после того, как немецкая сторона якобы потребовала ее скорейшей передачи в руки германских властей. “Немцы, – писал историк, – в дни убийства Мирбаха больше интересовались хлебом и сахаром на Украине и нефтью на Кавказе, нежели монархом, который должен был возглавить национальное движение и находился в заключении в Екатеринбурге”.

В итоге цепь предательств – от аристократов-заговорщиков, буржуазных деятелей и масонов, завоевавших власть в Феврале 1917 года, до “безвольных монархистов” и беспринципных немецких политиков, думавших только о собственной военной и экономической выгоде, – и привела в конце концов к екатеринбургскому кошмару, пророчество о котором сделала еще в 1910 году юродивая и ясновидящая Марфа. Когда к ней в Царицын приехала Александра Федоровна и спросила ее о своем будущем, та подошла к 8 кукол и воскликнула: “Вот ваше будущее! Все вы сгорите! Я вижу кровь... Много крови...”

Как профессиональный историк, Мельгунов всегда опирался только на факты, считая, что “толкование догадок – занятие довольно бесплодное”. В условиях “недостаточности улик” он пришел к выводу, который сегодня уже вполне можно оспорить на основе новых документальных доказательств. По мнению автора, не было заранее составленного единого “московского плана” по устранению представителей дома Романовых, а екатеринбургская трагедия – это скорее преступление партийных изуверов, а не “дьявольский замысел, задуманный в центре и планомерно им осуществленный”. И даже особая роль Ленина в этих событиях подвергалась им сомнению: “В действительности позиция Ленина в эти дни была иной: он полагал, что в случае крушения большевизма тактически выгодно содействовать

восстановлению реакционной монархии”.

На самом деле единый замысел, конечно, был, и не назвать его “дьявольским” весьма затруднительно. Далеко не случайно жертвами красного террора пали в ночь с 12 на 13 июня 1918 года под Пермью в Мотовилихинском районе великий князь Михаил Александрович, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге – царская семья в полном составе, в ночь с 17 на 18 июля 1918 года под Алапаевском – великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, сыновья великого князя Константина Константиновича – Игорь, Иоанн, Константин, князь В. Палей, а также сопровождавшие их лица. Позднее, в феврале 1919 года, в Петропавловской крепости были расстреляны великие князья Павел Александрович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович. И хотя этот план осуществлялся довольно длительное время, основные претенденты на царский престол были уничтожены всего лишь за месяц с небольшим.

Что касается событий в Екатеринбурге, то в их преддверии, в начале июля 1918 года, член президиума Уралсовета Исай Голощекин (партийная кличка “Филипп”) уезжает в Москву, где живет на квартире Я. М. Свердлова. Именно в эти дни при участии Ленина, как подтверждал позднее в своих дневниках Л. Д. Троцкий, и было решено ликвидировать царскую семью, но сделать это так, будто решение о ликвидации приняли местные власти без указаний из центра в условиях приближения к городу белогвардейских частей.

13 июля по прямому проводу состоялся продолжительный разговор председателя Уралсовета с В. И. Лениным по поводу “военного обзора и охраны бывшего царя”. А через три дня, 16 июля, в Москву ушла таинственная телеграмма, которая была найдена лишь недавно. Она была послана из Екатеринбурга кружным путем – через главу Петросовета Г. Е. Зиновьева – на адрес “Свердлову, копия Ленину” и принята 16 июля в 21 час 22 минуты, за несколько часов до расстрела: “Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее: сообщите <в> Москву, что условленный с Филипповым (Голощекиным. – С. Д. ) суд по военным обстоятельствам не терпит отлагательства, ждать не можем. Если ваше мнение противоположно, сейчас же вне всякой очереди сообщите. Голощекин. Сафаров. Снесите по этому поводу сами с Екатеринбургом”. Подпись – “Зиновьев”.

Лишь в 1968 году А. Акимов, работавший в охране Ленина, рассказал, что в тот же день по поручению Я. М. Свердлова он отнес на телеграф на Мясницкой улице телеграмму с утверждением решения Уралсовета СНК и ВЦИК за подписью Ленина и Свердлова. Для конспирации Акимов, угрожая пистолетом, забрал на телеграфе не только копию телеграммы, но и саму ленту.

Факт получения этого указания из Москвы подтверждал Я. Х. Юровский в своей “Записке”. После свершения жуткого убийства в Москву из Екатеринбурга уходит еще одна шифрованная, составленная из ряда цифр телеграмма: “Передайте Свердлову, что всю семью постигла участь главы официально семья погибнет при эвакуации Белобородов”. (Эта телеграмма, в которой сохранена орфография оригинала, даже выставлялась на продажу на аукционе “Сотбис” вместе с другими документами, собранными следователем Н. А. Соколовым.) Далее последовали переговоры Белобородова и Свердлова о согласовании текста публикации об убийстве в советских газетах с ложью о том, что убит был только Николай II.

Как писал Мельгунов, эту “кошмарную потаенную расправу” могли “совершить лишь те, кто в момент своего действия потерял человеческий облик”, и именно поэтому “даже большевистская власть не нашла в себе смелости сказать правду о том, что произошло в подвале дома Ипатьева... Она наложила запрет молчания и на уста непосредственных убийц”. Факт смерти всей семьи был раскрыт в советской печати только в 1921 году, а многие свидетельства участников расправы остались тайной вплоть до крушения СССР.

Проследив подробно и обстоятельно, насколько это вообще было возможно в те годы, судьбу императора после отречения, Мельгунов пришел к выводу, что “исключительно достойное поведение царя в течение всего периода революции заставляет проникнуться к нему и уважением, и симпатией”. По его словам, Николай II – это “человек, своей ужасной

смертью искупивший все, подчас невольные, грехи перед страной и народом...” Однако историк все-таки вынужден был признать, “что нашим современникам непосильно объективное начертание облика последнего русского императора... На наше восприятие всегда слишком сильно будет давить мученический венец, принятый царской семьей в ночь екатеринбургских ужасов”.

Прошло 87 лет после этой трагедии, но мы – давно уже не современники тех трагических событий – по-прежнему не можем начертать “объективный облик” Николая II. Уж слишком кровотоющим остается этот вопрос в памяти народной, и думается, еще очень и очень долго судьба “тринадцатого императора” будет привлекать к себе внимание не только историков, но и миллионов россиян, продолжающих свое шествие по тернистому и крестному пути, которым является история нашей многострадальной Родины.

*С. Н. Дмитриев,*

*кандидат исторических наук, июль 2005 г.*

## ОТ АВТОРА

Предлагаемая читателям книга является заключительной частью трилогии, озаглавленной автором “Революция и Царь”. Быть может, надо пояснить несколько необычную внешнюю архитектуру печатаемых историко-критических очерков. Читателю, познакомившемуся с процессом работы автора, она, думается, не покажется искусственной, и для него станет понятной необходимость отступления от основной схемы, придавших всему труду значительно более широкую историческую амплитуду, нежели та, которая вытекает непосредственно из заглавия.

В 1936 г. в Париже бывшим председателем Совета Министров перед европейской войной 14-го года, гр. Коковцевым, был прочитан в “Обществе ревнителей памяти императора Николая II” доклад, по-видимому, озаглавленный так: “Была ли возможность спасти Государя и его семью в условиях между его отречением в Пскове и роковой развязкой в Екатеринбурге”<sup>2</sup>.

Выступление Коковцова сопровождалось шумной газетной полемикой со стороны бывших членов Временного Правительства Керенского и Милюкова, не согласных с выводами докладчика; Керенский выступал и с публичным докладом на эту тему. В спокойном и объективном по форме изложении Коковцев делал заключение, что Временное Правительство вынуждено было уступить перед настояниями Советов в вопросе о предполагавшемся отъезде царской семьи в Англию в первые дни революции, что, конечно, спасало бы ее от ужасной судьбы в Екатеринбурге. Керенский и Милюков, далеко не согласные между собой, – им в предшествовавшие годы в связи с опубликованием в 32 м году мемуаров Ллойд-Джорджа приходилось уже высказываться по поставленному Коковцевым вопросу, – единодушно отвечали, что помешал отъезду за границу отказ со стороны Англии, которая вынуждена была взять обратно, по требованию премьера (Л. Джорджа), свое согласие на оказание гостеприимства отрекшемуся от престола русскому монарху.

Ни первое заключение Коковцева – в силу недостаточного знакомства последнего с фактической стороной дела (Коковцев отрицал “отказ английского правительства”), ни второе – Керенского и Милюкова, в силу их политических тенденций, не давали исчерпывающего ответа, ибо факты, если говорить уже об “ответственности”, отнюдь не снимали ее с Временного Правительства: на разрешение вопроса об отъезде повлияло не

---

<sup>2</sup> В “Посл. Новостях” доклад был почти полностью воспроизведен под другим наименованием: “Возможен ли был отъезд Императора Николая II за границу?”, а в “Возрождении” он был назван: “Трагедия царской семьи”. (Здесь и далее – примечания автора).

только “бессилие” Правительства перед Советами, не только зависимость его от специфического напора “советской” общественности, не только хотя бы закамуфлированный запоздалый “отказ” Англии, но и определенная тактика самого Правительства. Выявить эту тактику и связать ее со всей русской общественностью того времени и является задачей настоящей работы.

И здесь было первое препятствие. Тактику Временного Правительства в отношении к бывшему Императору приходилось рассматривать в связи со всей позицией Правительства, которая не могла быть рассмотрена вне хода самого революционного процесса. Это было неизбежно уже потому, что политика Временного Правительства в отношении к Императору Николаю II была тесно и неразрывно связана с псковским отречением. Понимание автором истории этих дней со стороны даже установления простых фактов подчас значительно расходятся с признаваемым в исторической литературе при всем ее различии в политических оттенках. Вот почему первую часть работы пришлось посвятить истории “мартовских дней” и деятельности Временного Правительства первого состава. Необходимость обосновать свой взгляд и критически просмотреть “факты”, устанавливаемые другими, привела к значительным отступлениям в изложении. В сущности, это история как бы первых двух месяцев революции, правда, неполная, так как далеко не все вопросы, естественно, вошли в кругозор сделанного исторического обозрения.

Истинной причиной задержки царской семьи в России являлось существование Чрезвычайной Следственной Комиссии, созданной Временным Правительством для рассмотрения “преступления” деятелей старого режима, – она должна была произвести расценку и преступной деятельности носителей верховной власти. Дело о Царе было лишь одним из звеньев той многогранной криминализации деяний старого порядка, которой занялась так называемая Муравьевская Комиссия. Следствие о верховной власти фактически велось в пределах тривиальной формулы об “измене” – другими словами, той легенды о “сепаратном мире” с немцами, которая в годы войны, предшествовавшие революции, сыграла такую роковую роль в судьбе династии. Тут встретилось второе препятствие. Дореволюционная легенда, рожденная в психологии или вернее в психозе войны, и после февраля находила своих адептов – разрушить эту иллюзию не могла поверхностная экспертиза Чр. След. Комиссии, никогда официально не опубликованная. Пришлось довольно детально рассмотреть фактическую аргументацию тех, кто не только продолжал верить в миф, но и обосновывал его в исторических изысканиях. Для уяснения процесса возникновения и развития легенды необходимо было коснуться войны, деятельности императорского правительства и широкой общественной оппозиции ему. Автору в свое время пришлось уже касаться этой темы в книге “На путях к дворцовому перевороту”, которая служила как бы введением к истории революции 17-го года. В специальном обозрении материала, на основе которого творилась уже легенда историческая, естественным центром рассмотрения сделалось то, что “На путях к дворцовому перевороту” являлось аксессуаром, а то, что было там центром, т.е. рассказ о попытках активной борьбы с угрозой или миражом сепаратного мира, здесь фигурирует лишь как иллюстрация.

Итак, разбор “легенды о сепаратном мире” явился в тексте результатом рассмотрения деятельности Чр. След. Комиссии, этого неудачного детища революционного правительства. Мы должны были вступить в эпоху предреволюционную, и потому казалось более логичным этот разросшийся в отдельную книгу обзор поместить в хронологическом порядке на первом месте, ибо пришлось говорить о времени, служившем прелюдией к мартовским дням. Следовательно, первая часть трилогии фактически сделалась второй.

Третья часть, ныне печатаемая, посвящена положению отрекшегося от престола Государя после формального завершения февральского катаклизма. Постановлением Временного Правительства Николай II и Александра Федоровна были арестованы, а фактически, следовательно, и вся семья находилась в Царскосельском дворце. В Англию семья не уехала и по решению правительства в новом, уже коалиционном, составе была переведена в ссылку в отдаленный Тобольск, где и застал ее большевистский переворот 25

октября.

Этой новой российской катастрофе автором посвящена особая работа, написанная на основании материалов, опубликованных самими большевиками за 25 лет, – “Как большевики захватили власть” – в данном случае приходится только на нее сослаться. (Эта история октябрьского переворота 17-го года выходит отдельной книгой в ближайшее время в издании “Посева”.) Выводы, к которым пришел автор, коренным образом разошлись с установленным трафаретом, и прежде всего в установлении фактической канвы. Наступила в сущности новая эпоха, не связанная с основными идеями революции 17-го года. Появились новые люди и создалась новая общественная обстановка. В этой обстановке надлежало рассмотреть и “Екатеринбургскую трагедию”, закончившую жизненный путь императора Николая II. Но возникало новое затруднение – для историка наиболее важное. Мы не располагаем еще достаточным количеством проверенных данных для рассмотрения тех “тайн”, которыми полны еще страницы драматического повествования о “последних днях” пребывания в “красной столице” Урала несчастного Монарха и его семьи. Промолчать – это значит оставить книгу без конца. И автор должен был сознательно ограничить себя преимущественно анализом концепции других и по крайней мере постараться разрушить созданные мифы – в частности, тем самым следователем Соколовым, который так много сделал для конкретизации омерзительной бойни в 18 м году в ночь на 17 июля по новому стилю. Это потребовало и места и отступлений. “Екатеринбургской трагедии” в широком смысле этого слова и посвящены последние страницы работы.

Автору слишком часто на протяжении всего труда приходилось анализировать те или иные версии, плохо иногда обоснованные, поэтому он прибавил к своей работе подзаголовки “историко-критические очерки”. Критикуя других, сам должен быть неуязвим. Некоторым оправданием для автора служат совершенно исключительные, тяжелые условия, при которых писались в 1939 – 1944 годах последующие страницы: ненормальный для научной работы эмигрантский быт соприкоснулся с новой мировой катастрофой, которую открыла Вторая мировая война...

*20 декабря 1944 г.*

\* \* \*

Вторая часть моей работы (“Мартовские дни 17 года”), посвященная анализу революционных событий, которые привели к отречению имп. Николая II, печатается из номера в номер в журнале “Возрождение”, начиная с т. 12, 51 г. К этим статьям я и отсылаю читателей, желающих понять обстановку, которая в известной степени определяла факты, рассказанные в настоящей книге.

## **Часть I ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦАРЬ**

### **Глава первая АРЕСТ ЦАРЯ**

#### **1. Настроения в столицах**

Судьба отрекшегося Государя неразрывным узлом была связана с половинчатой и подчас неопределенной политикой Временного Правительства. В изображении мемуаристов из числа членов Правительства поведение последнего в отношении к бывшему Императору всегда было ясно, определено и благородно, что особенно подчеркивает Керенский в книге, изданной для иностранных читателей (“La Verit&#232;”). В действительности в лабиринте противоречий между фактами, документами и воспоминаниями не так легко разобраться и еще труднее объяснить эти противоречия даже после тщательного исследования вопроса о судьбе Царя следователем Соколовым, из кругозора которого многое ускользнуло в силу незнакомства его с материалом, которым мы можем теперь располагать.

Пойдем в своем обозрении по пути хронологическому. Начальная веха на нем встретится в виде первого сохранившегося и напечатанного протокола заседания Исп. Ком. Совета Р. и С. Д. от 3 марта, в котором несколько неожиданно зарегистрировано решение Исп. Ком. арестовать “членов династии Романовых”.

Вот полный текст постановления, воспроизведенного по черновым записям: “1. Довести до сведения Раб. Деп., что Исп. Ком. Совета Р. и С. Д. постановил арестовать династию Романовых и предложить Врем. Прав. произвести арест совместно с Советом Р. Д. В случае же отказа запросить, как отнесется Вр. Пр., если Исп. Ком. сам произведет арест. Ответ Вр. Пр. обсудить вторично в заседании Исп. Ком. 2. По отношению к Михаилу произвести фактически арест, но формально объявить его лишь подвергнутым надзору революционной армии. 3. По отношению к Ник. Ник., ввиду опасности арестовать его на Кавказе, предварительно вызвать его в Петроград и установить в пути строгое за ним наблюдение. 4. Арест женщин из дома Романовых производить постепенно, в зависимости от роли каждой в деятельности старой власти. Вопрос о том, как произвести аресты, и организацию арестов поручить разработать военной комиссии Сов. Р. Д.<sup>3</sup> Чхеидзе и Скобелеву поручено довести до сведения Правительства о состоявшемся постановлении Исп. Ком. Совета Р. Д.”.

Пункт 4 й постановления как будто не оставлял сомнений в том, что проектируемый арест должен и может распространяться решительно на всех членов династии.

Чем было вызвано постановление, в протоколе ничем не мотивированное?... Основываясь на “приложении” к напечатанному протоколу, гр. Коковцев в докладе своем заключал, что “Совдепу” уже известно было о предполагаемом отъезде Царя за границу, и что этот вопрос дебатировался в правительстве” в “благоприятном смысле”. Заключение докладчика основано было на явном недоразумении – он принял позднейшие неудачные объяснения комментаторов текста за мотивировку, данную в “приложении”. Конечно, в “Совдепе” 3-го марта не могли знать об отъезде за границу, так как на этот день такого проекта еще не существовало: напомним, что Николай Александрович на вопрос делегатов при подписании отречения ответил, что он предполагает пробыть несколько дней в Ставке и затем переехать к семье в Царское Село. В правительстве, которое фактически еще не сконструировалось и как таковое еще не собиралось, не мог дебатироваться 3 марта вопрос о судьбе династии. На другой день косвенно этот вопрос поднялся на первом заседании правительства, как о том свидетельствует дошедший до нас несколько “апокрифический” протокол заседания 4 марта. В нем значится: “Министр Иностр. Дел доложил, что Совет высказался за “необходимость выдворить членов императорской фамилии из пределов Российского Государства, полагая эту меру необходимой по соображениям политическим, так и не безопасностью их дальнейшего пребывания в России”“. Члены правительства признали, что “распространить эту меру на всех членов нет достаточных оснований, но такая мера необходима для Николая II и Михаила Александровича и их семей. Нет надобности настаивать на выдворении за пределы России – достаточно ограничить их местопребывание и возможность свободы передвижения”. Мы не имеем возможности определить, что в этой информации и в этом разговоре должно быть отнесено на счет неудачной формулировки наспех составленной протокольной записи, но последняя все же обрисовывает контур постановки династического вопроса на другой день после завершения государственного кризиса.

Надо отметить, что утверждение большевистского летописца Шляпникова, что будто бы “вопрос об аресте Николая с семьей обсуждался неоднократно до 3 марта”, т.е. до отречения, что только пребывание царя на фронте “ставило Исп. Ком. в полную невозможность предпринять шаги к аресту”, и что к аресту царя “стали готовиться с того

---

<sup>3</sup> Военная Комиссия – это, в сущности, военная комиссия, официально числившаяся при Временном Комитете Гос. Думы.

момента, когда получены были известия о прибытии Николая на ст. Дно и Псков”, относится целиком к области мемуарного воображения<sup>4</sup>.

Возможно, что в Выборгском районе, где с самого начала были сильны большевистские тенденции и высказывались уже 28 февраля пожелания отдельными лицами о предании царской семьи “суду революционного народа”, но это не могло быть лозунгом для рабочей среды, а тем более в Исп. Ком., ибо это было бы слишком несуразно и наивно в тот момент, когда в революционной столице распространилось известие, что царь в Ставке подготавливает движение войск на подавление мятежного Петрограда. Внешне настроение большевиков, членов Исп. Ком., было совсем иное. Конечно, не отказ думцев в ночь соглашения с представителями Совета включить в договор пункт о непредрешении формы правления побудил Исполн. Ком. принять постановление об аресте, как то утверждает член “военной комиссии” Мстиславский. Этот отказ не нарушил соглашения<sup>5</sup>, не нарушила его непосредственно в преждевременная речь Милюкова 2 марта, по существу очень далекая от простой агитации в пользу монархии, так как она пыталась поставить союзников перед фактом продолжения после революционного переворота монархического строя (с не имеющей значения оговоркой – до Учред. собрания). Нарушил равновесие тот отклик, который дало население столицы. Позиция Исполн. Комитета окрепла. Настойчивость “фактического главы” нового правительства действительно обеспокоила советских деятелей, и тогда, когда произошло без осложнений отречение, когда отодвинулась надвигавшаяся гроза, явилась мысль изолировать мыслимых конкурентов и пресечь в корне возможность реставрационных попыток. Только так, на мой взгляд, можно объяснить постановление Исп. Ком. 3 марта. Деятели революции из левого крыла общественности не ощущали моральной ответственности перед носителем прежней власти, ибо не принимали непосредственного участия в переговорах об отречении. Для них император был низложен и, если он представлял опасность, его надлежало изолировать. Руководило чувство целесообразности, а не политической чести. Большой скрупулезности в этом отношении они не проявили, так как только формально можно было говорить, что на них не лежала ответственность, которую устанавливал добровольный отказ от власти Императора<sup>6</sup>. Но справедливость – не символ революции. Находя опору в настроении толпы, они прямолинейно ставили вопрос перед новым правительством.

Прошло два дня. Положение как будто бы не изменилось. Впоследствии скажут, что Исп. Комитет вынужден был действовать исключительно под давлением рабочих, которые настойчиво требовали ареста Николая I. Обер-гофмейстерина Нарышкина, не соприкасавшаяся и по своему возрасту и по своему положению с массами, занесла в дневник 5 марта: “Опасна кровожадная чернь, – отречение ее не удовлетворило, жаждет цареубийства”. Наблюдение это – в большой степени книжный анализ, нежели отзвук реальной современности, – автор дневника не чужд был истории и рассказывал Императору эпизоды из революции 48-го года.

Мотив подхватили современники и мемуаристы, даже вышедшие из иной среды, чем та, к которой принадлежала Нарышкина, между тем довольно трудно подтвердить его достаточным числом фактических иллюстраций. С большим правом можно сказать, что инициатива ареста отрекшегося Государя исходила из руководящих кругов революции – не столько из чувства исторического или революционного возмездия, сколько по соображениям тактическим. Достаточно характерно, что в специальных изданиях, посвященных описанию

---

<sup>4</sup> Памятью мемуариста зафиксирован даже выбор 1 марта комиссара для ареста Гвоздева. Все это было 6 (и скорее 8) марта.

<sup>5</sup> См. “Мартовские дни 17-го г.” – “Возрождение”, т.т. 13 и 14.

<sup>6</sup> См. соответствующую статью в “Возрождении”, т.т. 15 и 16.



настроения рабочих в первые мартовские дни, большевистские архивариусы могли собрать весьма незначительное количество материала, которым можно было бы подтвердить крайнее волнение, которое будто бы наблюдалось в рабочей среде в связи с фактом пребывания Царя на свободе. К таким изданиям принадлежит собрание документов о “Рабочем движении в 1917 г.”, которое вышло в 26 м году в серии “Архив Октябрьской Революции”. Здесь, между прочим, напечатаны резолюции принятия на рабочих собраниях по поводу постановления Совета 5 марта о необходимости прекратить забастовку и возобновить работу. В некоторых резолюциях, протестовавших против ликвидации стачки с “оборонческой” точки зрения, ввиду того, что “революционная волна еще не захватила всей России”, что “старая власть еще не рухнула” и “победы над врагом еще нет”, встречается пункт с требованием устранения “Дома Романовых”<sup>7</sup> для предупреждения всякой попытки к контрреволюции. Отличительной чертой этих немногочисленных резолюций (их приведено всего 4) является их однотипность, – даже в терминологии: “борьба с царем еще не закончилась”, “глава с целой ратью (вар. – „шайкой“) еще не изолированы”, “даже жертвы борьбы (вар. – „революции“) еще не похоронены”, “считаем, что постановление (возобновления работ) преждевременно, но не желая вносить дезорганизации в ряды демократии” и т.д. Резолюция рабочих “Динамо” выражалась более сильно: “Дом вампиров Романовых”, “Кровожадный Николай, отрекшийся, но еще находящийся на свободе”, “Мы не гарантированы, что этот вампир не сделает попытки снова появиться на арене нашей жизни”. Нет сомнения, что все эти резолюции по образцу, заранее заготовленному, вышли из большевистского источника, притом из “левой” группы данной фракции. Резолюция рабочих “Динамо” возмущается тем, что Совет вместо того, чтобы обратиться к народу Германии с призывом “прекращения бойни”, призывает “приготовлять снаряды” – “понятно, почему мы с ним не пойдем рука об руку”.

Указанные резолюции завершаются коллективным заявлением в Исп. Комитет, помеченным 7 марта и подписанным несколькими десятками членов Совета, с требованием, чтобы “Времен. Правительство безотлагательно приняло самые решительные меры к сосредоточению всех членов Дома Романовых в одном определенном пункте под надлежащей охраной народной революционной армии”. Мотивом этого “сосредоточения” (термин “ареста” не употреблен) выставляется “крайнее возмущение и тревога в широких массах рабочих и солдат, (ни одной солдатской резолюции за этот день не отмечено) тем, что “низложенный с престола Николай II Кровавый, уличенный в измене России, жена его, сын его Алексей, мать его Мария Федоровна, а также все прочие члены Дома Романовых находятся до сих пор на полной свободе и разъезжают по России и даже на театр военных действий, что является совершенно недопустимым и крайне опасным для восстановления прежнего режима и спокойствия в стране и в армии и для успешного хода защиты России от внешнего врага”.

Так было в Петербурге. В другом столичном центре, в Москве, еще более определенно проявлялась инициатива верхов. Местные “Известия” № 4, определенно большевистского направления, требовали 5 марта заключения Царя в тюрьму. Поставлен был этот вопрос “в более мягкой форме” и вызвал “горячие дебаты” и в Комитете Обществ. Организ. 6 марта. “Хотя нельзя сомневаться в силе революционного движения, – говорилось на собрании по отчету “Рус. Вед.”, – но для общественного успокоения необходимо прекратить свободу передвижения отрекшегося от престола Николая II: бывшему Императору должно быть предложено место жительства без права перемещения из него”. В результате прений Комитет доводил до сведения Правительства, что он видит в свободном передвижении бывшего Царя опасность и просит “подвергнуть Царя и членов его семьи личному

---

<sup>7</sup> В протоколе заседания членов Совета Петроградского района (8 марта), приведенном в обзоре Югова (Совет в первый период революции), отмечено, что один завод не возобновил занятий, мотивируя это тем, что не арестован еще “Дом Романовых”.

задержанию”<sup>8</sup>.

Подлинное настроение масс с достаточной очевидностью сказалось в Москве на другой день, когда в Москву прибыл Керенский. Мемуарист так изображает сцену, происшедшую в заседании Совета 7 марта: “Отвечая на яростные крики – “смерть Царю, казните Царя”, Керенский сказал: – “Этого никогда не будет, пока мы у власти”<sup>8</sup>. “Временное Правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию, я сам доведу его до Мурманска”. – Так написано в русском тексте воспоминаний Керенского, в иностранном издании автор подчеркивает, что он вынужден был сделать намек и разоблачить правительственный секрет в силу настойчивых (aves tant de veh&#250;mence) требований Московского Совета. – “Вся атмосфера изменилась, словно под ударом хлыста”, когда был поднят вопрос о судьбе Царя. Ответ Керенского вызвал, по его словам, в советских кругах величайшее негодование против Временного Правительства.

Московские газеты того времени несколько по-иному освещают характер собрания, – не только буржуазные “Русские Ведомости”, но и социалистическо-меньшевистский “Вперед”. – “На эстраде стоит петербургский гость с широкой красной лентой, весь бледный, красный букет в его руках дрожит. Он говорит, что отдал русскому пролетариату и крестьянству в лице Совета свою жизнь и просит доверия. Бурные крики: “Верим, верим...” – и новая овация. Затем на вопросы, заданные из среды собрания: “Где Романовы?”, Керенский отвечает: “Николай II покинут всеми и просил покровительства Временного Правительства... Я, как генерал-прокурор, держу судьбу его и всей династии в своих руках. Но наша удивительная революция была начата бескровно, и я не хочу быть Маратом русской революции... В особом поезде я отвезу Николая II в определенную гавань и отправлю его в Англию... Дайте мне на это власть и полномочия”. Новые овации, и Керенский покидает собрание.

Позже в заседании Совещания Советов 1 апреля политический единомышленник министра юстиции с.р. Геденовский подтверждал, что заявление Керенского “вызвало целую овацию”. Тему о “Марате русской революции” новый генерал-прокурор затронул и в других московских собраниях, который он посетил в тот день. В Совете присяжных поверенных, где ему был поставлен вопрос: “Всех беспокоит судьба Николая II”. “Судьба династии в руках Времен. Правит. и в частности генерал-прокурора, – ответил Керенский. – Никакой опасности для нового строя члены династия не представляют. Все надлежащие меры приняты”. Раздались отдельные голоса, спрашивавшие о правильности слухов, “будто бы Романовы на свободе”, а Николай II в Ставке и в собрании солдатских и офицерских делегатов, министр вновь успокоительно отвечал: “Романовы в надежном месте под надежной охраной”<sup>9</sup>. Это заявление вызвало новые “овации”, но аудитория сразу “замерла”, потому что переутомленному оратору стало дурно. Вероятно, он сквозь туман воспринимал в этот день действительность, которая потому и отпечаталась в его памяти в формы, не совсем соответствующие тому, что было. Троцкий в своей “истории” будет уверять читателей, что декларация Керенского в Москве 7 марта встречалась восторженно дамами и студентами, но низы всполошились: “от рабочих и солдат шли непрерывные требования – арестовать Романовых”. Соответствующие данные, однако, Троцким не приведены.

Как будто можно сделать определенный вывод – никаких кровавых лозунгов в смысле расправы с династией никто (разве только отдельные, больше безымянные демагоги) в первые дни в массу не бросал<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Очевидно, раздражение, вызванное отъездом царя в Ставку, проявилось не только в среде Испол. Комитета в Петрограде, как это представлялось Набокову (см. его воспоминания).

<sup>9</sup> В это время царь еще не был арестован.

<sup>10</sup> Авторы “Хроники февральской революции” отмечают обращение министра юстиции 6 марта по поводу

В массах не было заметно инстинктов “черни”, жаждающей мести и эшафота. Призыв к гуманности вызывал энтузиазм. Керенский совершенно напрасно перед иностранным читателем рисует картину противоположную – как он рисковал потерей авторитета и престижа в глазах масс, противодействуя требованиям жестокой расправы с царем, с павшей династией и ее слугами. Бывшему руководителю революционной юстиции тем более следовало бы быть осторожным, что, может быть, в его экспансивном воображении, под гипнозом традиции “великой французской революции”, вспоминать которую он любил в первые дни, вставал образ знаменитого королевского процесса XVIII века и возможная судьба Николая II рисовалась в виде судьбы Людовика XVI. Керенский с негодованием отвергает “старческий бред” Карабчевского, рассказывавшего, что при первом официальном посещении 3 марта Петербургского Совета прис. поверен. министр юстиции намекал на возможный процесс со смертным исходом для бывшего венценосца. Сцена, переданная в воспоминаниях старого адвоката, весьма вероятно не соответствовала той картинности, с которой она изображена. Но дело ведь не в этой внешности. Зарудный, первый товарищ министра юстиции, человек иного лагеря, нежели Карабчевский, по существу подтвердил позже в публичном докладе “Падение Врем. Правит.”, сделанном в Москве в 24-м году, рассказ Карабчевского. Зарудный утверждал, что Керенский был первоначально противником декларативной отмены смертной казни, потому что считал необходимым смертный приговор в отношении Николая II. (Сведения о докладе Зарудного заимствую из воспоминаний с. р. Вознесенского.) Версия Зарудного объясняет непонятную задержку с опубликованием только 12 марта указа об отмене смертной казни, задержку, побудившую редакцию петербургской газеты “День” поставить Временному Правительству вопрос – газета указывает на распространившийся слух о том, что на Времен. Правительство оказывается в этом отношении влияние со стороны. Общественное мнение (далеко не только демократическое) в России издавна и твердо усвоило отрицательный взгляд на смертную казнь, поэтому молчание революционного правительства вызвало всеобщее недоумение, о котором 7 марта в Москве в Комитете Обществ. Организаций говорил известный общественный деятель доктор Жбанков, один из самых страстных поборников уничтожения смертной казни. Понятно, что Керенский, всегда бывший среди борющихся за уничтожение смертной казни, легко скинул “тогу Марата”, ему действительно не свойственную<sup>11</sup>.

Проф. Пэре в предисловии к книге Керенского (“La Verit&#233;”) отмечает (оговорившись, что он не знает насколько это точно), что, как говорят, Царь, отдавая себе отчет, что одной из причин отмены смертной казни было желание спасти его, и с присущей ему простотой сказал, что это великая ошибка и лучше было не озабочиваться его спасением. Творцом этой наивной легенды является, возможно, сам Керенский, который об этом говорил при первом свидании с Царем. Так утверждали члены царской семьи и еще точнее: так показал при допросе у Соколова губернёр наследника Жильяр, сославшись на слова своего малолетнего воспитанника, Керенский не помнит, но допускает возможность, что он говорил в этом смысле. Если Керенский не сам создал легенду, то он усвоил ее. В 17 м году он намекал об этом бар. Мейендорфу (его письмо в “Посл. Нов.”). Также связывал он акт 12

---

имевшей место в Петербурге какой-то демонстрации со знаменем, на котором было написано: “Да здравствует революция. Смерть арестованным”. Керенский, выражая уверенность, что “граждане свободной России” не омрачат насилием светлое торжество великого народа, писал, что “ни одна из революционных социалистических партий ни к каким насилиям и бессудным расправам не призывает” и что “есть основания” утверждать, что подобные призывы являются результатом деятельности бывших охранных и провокаторских организаций”.

<sup>11</sup> Косвенно сам Керенский подтвердил эту версию, рассказав во французском издании своих воспоминаний, что накануне отмены смертной казни он сказал одному из членов правительства, что, по его мнению, единственный смертный приговор, который он мог бы подписать, это приговор Николаю II. В перипетиях, связанных с отменой смертной казни, можно иметь наглядный пример того, как иногда действительность преломляется в восприятии современников.

марта с судьбой царя в Парижском докладе, прочитанном в 36 м году.

Эту легенду в свое время усиленно поддерживали большевики, когда Врем. Правительство сочло себя вынужденным частично восстановить смертную казнь: в резолюции “Путиловских рабочих” 11 августа прямо говорилось, что правительство отменило в свое время смертную казнь, чтобы спасти жизнь Николаю Романову и его приспешникам.

Итак, никакой специфической атмосферы цареубийства в первые дни революции не было – это плод досужей фантазии некоторых мемуаристов. Но действительно было опасение (не только в советских кругах), что Царь находится на свободе. Неуверенность, ощущаемая всеми, – слишком легко дался переворот, а “чудес” в жизни, казалось, не бывает. Даже “Русские Ведомости” осторожно указывали на эту опасность в день, когда революционное действие, свергшее старый режим, формально было закончено: “Нужно помнить, что реакция раздавлена и бессильна до тех пор, пока господствует единение. Всякий раскол вдохнет в нее новую жизнь и новые силы” (статья 3 марта). Поэтому решительная позиция Петроградского Совета встречала широкий отклик. Общественное мнение, как мы видели, совершенно не отдавало себе ясного отчета, при каких условиях произошло отречение Императора.

6 марта Исп. Комитет выступает уже более решительно, переходя от слов к действию. В протоколе заседания этого дня записано: “Чхеидзе докладывает о своих переговорах с Времен. Правительством относительно ареста Дома Романовых. Правительство до сих пор окончательного ответа не дало. От ген. Алексеева поступило заявление от имени Николая Романова о желании его прибыть в Царское Село. Времен. Правительство, видимо, против этого не возражает. Один же из министров заявил, что если Исп. Ком. Совета Раб. и Солд. Депутатов окончательно решил арестовать Николая, Времен. Прав. сделает все, чтобы облегчить Исполн. Комитету выполнить эту задачу”.

В информации Чхеидзе не может не остановить внимания заявление, сделанное одним из министров как бы от имени всего правительства. Комментаторы с легкостью подставляют здесь имя Керенского – “представителя” Совета в правительстве. Между тем Керенскому не совсем свойственна была такая закулисная тактика, гораздо естественнее предположить внушение со стороны Некрасова, который разделял взгляды радикальной части “цензовой общественности”, склонявшейся к необходимости изоляции отрекшегося Царя. Не будем пока комментировать перспективы, которые открывались перед Исп. Ком. неизвестным нам членом правительства. Согласно протоколу, Исп. Ком. постановил: “Немедленно сообщить военной комиссии... о принятии мер к аресту Николая Романова”.

Суханов несколько по-иному освещает этот вопрос. В его объяснениях одно должно быть заранее отвергнуто – это полученное будто бы сообщение о том, что “Николай с семьей уже бежал за границу”, т.е. мотив, который Шляпников выставил для объяснения постановления об аресте, вынесенного еще 3 марта. Было ясно для всех, что, по мнению Суханова, пустить монарха, “недовольного своим народом”, за границу было бы такой “сверхъестественной близорукостью”, которой нельзя было ожидать от Исполн. Комитета. Это объяснение – отзвук позднейшего, о котором предстоит еще сказать. В действительности 6 марта, говоря словами Суханова, шла речь именно о том “обломке крушения”, о том “огрызке величия”, который блуждал в страхе “без надлежащего смысла и без всякого к нему внимания”.

“Ввиду позиции, занятой Мариинским дворцом, – повествует Суханов, – было принято очень быстро и единодушно, что дело Романовых Совет должен взять в свои руки”<sup>12</sup>.

Но что же делать с Романовыми?.. Об этом некоторое время спорят, и, судя по тому, что в конце концов остановились на временной мере, истина рождалась здесь довольно

---

<sup>12</sup> Обсуждение вопроса мемуарист относит к утру 6 марта. В протоколе информации Чхеидзе помечена пунктом 6 м.

туго... Как будто кто-то слева требовал непременно Петропавловки для всей семьи, ссылаясь на пример собственных министров Николая и на прочих слуг его. Но не помню, чтобы стоило большого труда смягчить решение Исполн. Ком. Была решена временная изоляция самого Николая, его жены и детей в Царскосельском Дворце. Больше разговоров возникло по поводу того, что делать с прочими Романовыми... Кажется, было решено за границу не пускать никого и всех по возможности прикрепить к каким-нибудь своим усадьбам. Все это должно было быть продиктовано Времен. Правительству на предмет соответствующих распоряжений... Но этого было недостаточно. Ведь по нашим сведениям Романов был уже в дороге... Ограничиться требованием, хотя бы и ультимативным, к Времен. Прав. было нельзя. Исполн. Ком. без долгих разговоров, без всяких вопросов о своих функциях и правах, постановил дать приказ по всем жел. дор. задержать Романовых с их поездом, где бы они ни находились, и сейчас же дать знать об этом Исп. Ком. А затем один из членов Исп. Ком. с подобающей свитой был отряжен для ареста Николая в том месте, где будет остановлен его поезд, и для водворения всей царской семьи в Царское Село. Предназначенный для этой цели член Исп. Ком. был Кузьма Гвоздев... Выполнить свою миссию Гвоздеву не пришлось. Времен. Прав. быстро и послушно взялось выполнить требование Исп. Ком. Еще раньше, чем на другой день Керенский в Москве успел “под личным наблюдением” препроводить Николая в Англию, правительство постановило “лишить его свободы”, изолировать в его старой резиденции, о чем и опубликовать “во всеобщее сведение”.

## 2. Николай II в Могилеве

В то время как в столицах, так или иначе, решалась ближайшая судьба не только бывшего императора, но и его семьи, Николай Александрович находился в Могилеве, не предвидя, как и вся Ставка, возможности последовавших осложнений. В обычном тоне, принятом для своих воспоминаний в иностранных изданиях, Керенский объясняет читателю, почему правительство предоставило низложенному монарху немедленно после подписания отречения не только полную свободу, но и “разрешение” вместе со свитой и личной охраной без всякого наблюдения передвигаться, видаться с родственниками и даже приехать в Ставку, в этот “мозг” армии. Правительство это разрешило потому, что низложенный монарх не представлял никакой политической опасности.

Нужна одна маленькая поправка – никакого разрешения о свободной циркуляции б. Императора никто никогда не давал. На переезд же из Пскова в Могилев не могли спрашивать разрешение от правительства, которое еще не функционировало<sup>13</sup>.

Царь прибыл в Ставку 3 марта вечером. Для встречи его были приглашены все чины Ставки – около 150 человек. С большим тактом Алексеев сумел смягчить тяжелую обстановку для бывшего монарха, являвшегося для Ставки бывшим Верховным Главнокомандующим. Могилев по внешности был городом нового революционного порядка. Красные флаги, демонстрация Георгиевского батальона с военным оркестром, игравшим Марсельезу. Но “как прежде, – записывает в дневнике 4 марта Пронин, – дежурный офицер встречал с рапортом у входа в управление генерал-квартирмейстера, который пришел принять оперативный доклад начальника штаба<sup>14</sup>.”

Без охраны и без всяких осложнений 5 марта Царь ездил на вокзал встречать мать, прибывшую из Киева. “Настроение мирное и тоскливое”, – отмечает тот же дневник. “Здесь

---

<sup>13</sup> Правительство ошибочно приняло тактику умолчания по отношению пребывания царя в Ставке, откуда и создавалось впечатление, что царь “разъезжает”. В газетах было сообщено, что 5 марта царь выехал в Ливадию. Суханов, подчеркивая, что Исп. Ком. 6 марта был введен в заблуждение, все же не справился с протоколом, из которого ясно, что Исп. Ком. вовсе не заблуждался и знал о пребывании царя в Ставке.

<sup>14</sup> Дневник отмечает лишь один “гнусный факт”, вызвавший негодование: придворный парикмахер отказался брить Царя, и пришлось вызвать частного парикмахера из города.

совсем спокойно”, – писал Царь жене 7 марта. Конечно, не так уж спокойно было в Могилеве. Недаром Алексеев признал необходимым “немедленный отъезд из Ставки гр. Фредерикса и ген. Воейкова, боясь какого-либо резкого проявления неуважения и ареста в силу “недружелюбного к ним отношения значительной части гарнизона, состоящего главным образом из частей, ранее подчиненных дворцовому коменданту”.

Очевидно, в первый же день пребывания в Ставке появилась мысль о необходимости Царю с семьей временно уехать из России – так думали окружающие, так думал и Алексеев, но едва ли не ген. Хенбро Вильямс, военный представитель Великобритании, явился действительным инициатором переезда в Англию. Инициатива во всяком случае не принадлежит Времен. Прав., как то утверждали члены правительства. Уже 4 марта ген. Алексеев послал кн. Львову телеграмму: “Отказавшись от престола, Император просит моего сношения с вами по следующим вопросам. Первое. Разрешить беспрепятственный проезд его с сопровождающими лицами в Царское Село, где находится его больная семья. Второе. Обеспечить безопасное пребывание его и семье с теми же лицами в Царском Селе до выздоровления детей. Третье. Предоставить и обеспечить беспрепятственный проезд ему и его семье до Романова и Мурманска с теми же лицами...”

На другой день, в дополнение к телеграмме, посланной накануне, Алексеев просил “ускорить разрешение поставленных вопросов и одновременно командировать представителей правительства для сопровождения поездов отрекшегося Императора до места назначения”.

Керенский говорит, что Царь обратился к Львову с письмом, в котором просил новое Правительство оказать покровительство его семье, т.е. доверял свою судьбу. В письме этом Царь якобы писал, что едет в Царское Село в качестве “частного гражданина”, чтобы жить с семьей. Не ошибся ли мемуарист?.. Никакого намека на такое письмо нельзя найти. По всей вероятности, под письмом Керенский разумел по-своему интерпретированные “просительные пункты”, переданные по телеграфу Львову<sup>15</sup>.

“Просительные пункты” – этот термин я заимствовал из воспоминаний Бубликова, оказавшегося через несколько дней в числе тех членов Государственной Думы, которых правительство командировало в Могилев для сопровождения Царя. И “просительные пункты”, и просьба о “покровительстве” имели относительный характер, ибо в карандашной записи, написанной собственноручно Николаем II и послужившей опросником для Алексева, было сказано: “потребовать от В. П. след (ующие) гарантии”. Их было четыре, только Алексеев четвертого пункта Львову не передал, считая, очевидно, в данный момент его неразрешимым, – “о приезде по окончании войны в Россию для постоянного жительства в Крыму, в Ливадии”<sup>16</sup>.

Утром 6 марта пришел ответ из Петербурга: Временное Правительство разрешает все три вопроса утвердительно, примет все меры, имеющиеся в его распоряжении, обеспечить беспрепятственный проезд в Царское Село, пребывание в Царском Селе и проезд до Романова на Мурмане”<sup>17</sup>.

Вечером того же числа Алексеев говорил с Львовым и Гучковым по прямому проводу, – это тогда Львов сказал: “догнать бурное развитие невозможно, события несут нас, и не мы ими управляем”. Львов еще раз подтвердил согласие правительства на

---

<sup>15</sup> Совершенно естественно, что в ответах следователю Соколову Львов в противоположность Керенскому умалчивал о “письмах”.

<sup>16</sup> Впервые эти записи Николая II по копии, случайно снятой мною в период ареста весной 19-го года в Особом Отделе, который находился в ведении совершенно ненормального Кедрова, были мной опубликованы в “На Чужой Стороне”, и они были перепечатаны в “Посл. Нов.”. Казалось бы, эмигрантским мемуаристам следовало на них обратить внимание. В 27 г. записи были опубликованы в “Кр. Архиве”.

<sup>17</sup> В публикации Сторожева телеграмма помечена: Его Имп. Величеству.

“просительные пункты” и сказал, что сегодня будут командированы представители для сопровождения поезда. “Совершенно убежден, – добавил председатель правительства, – в полной безопасности проезда, желательно знать, для еще большей уверенности в этом, путь дальнейшего следования из Романова”. Поистине события несли правительство. Оно не только не управляло, но и не отдавало себе отчета. Вспомним, как ставился вопрос в это уже время в Исп. Ком.

О том, что правительство озабочено переездом Царя в Англию, (или, как выражался Керенский в русском издании воспоминаний, “решило... отправить царскую семью за границу” и принимает соответствующие меры, нет ни слова, вероятно потому, что этот вопрос в правительстве и не ставился<sup>18</sup>. Это так ясно из записи Палеолога. 6 марта Милюков, информировав французского посла о согласии Врем. Прав. на “три пункта”, выставленные царем, высказал предположение, что Николай II будет просить убежища у английского короля.

Министр иностранных дел, не предвидя опасности для жизни царской четы, тем не менее, по словам Палеолога, благожелательно относился к проекту отъезда в целях избежания ареста и процесса, которые усилили бы затруднения правительства. На эту тему, как видно из телеграмм Бьюкенена в Лондон того же 6 марта, Милюков беседовал и с английским послом, причем беседа носила скорее информационный характер. Русский министр иностранных дел спрашивал посла: последовало ли согласие на проезд Императора в Англию, на что посол ответил отрицательно. Инициативу проявил лишь ген. Вильямс, который 4 или 5 марта осведомил свое правительство относительно “возможных планов государя отправиться в Англию”. Точного текста телеграммы ген. Вильямса я, к сожалению, не нашел. Очевидно, ответом на нее служит телеграмма короля Георга на имя ген. Вильямса, пришедшая с запозданием и Государю уже не переданная (при каких условиях – мы скажем позже). Телеграмма не содержала ничего конкретного о переезде царской семьи в Англию и выражала лишь сочувствие английского короля: “События минувшей недели меня глубоко потрясли. Я искренно думаю о тебе. Остаюсь навек твоим верным и преданным другом, каким, ты знаешь, всегда был”.

Телеграмма эта и послужила основанием для легенды о том, что король Георг предложил убежище Императору Николаю, тогда как, по утверждению Милюкова, является “бесспорным фактом, что инициатива предложения исходила от Времен. Прав.” (“Кто виноват?” – по поводу доклада Коковцева. “Посл. Нов.” 36 г.). Одну легенду Милюков заменил другой. Об инициативе ген. Вильямса мы знаем из им самим записанных бесед в Ставке 6 марта с императрицей Марией Феодоровной и вел. кн. Александром Михайловичем. Запись была передана Алексееву. По мнению Марии Феодоровны, “главным образом в данное время предстоит решить вопрос об отъезде государя, который отказывается ехать куда бы то ни было без государыни”. Вильямс сказал, что телеграфировал уже в Лондон, но М. Ф. беспокоил вопрос о морском путешествии, и она, по впечатлению собеседника, предпочитала бы, чтобы “Его Величество поехал в Данию”. Вел. кн. Александр Михайлович выразил опасение, что “какие-либо революционеры могут задержать поезд или оказать какие-нибудь затруднения” в дороге... Я сообщил ему... что мы, военные представители союзников, готовы сопровождать Государя до Царского Села... Великий князь сказал... что это является необходимым, и настаивал весьма энергично, чтобы я настоял на этом даже против желания Его Величества”. Генерал обещал телеграфировать своему послу. В заключение Вильямс посоветовал великим князьям обратиться к народу с манифестом о признании нового правительства в целях обеспечения продолжения войны. (Совсем не практический совет – сделал отметку Алексеев.)

Начальники союзных военных миссий действительно обратились с коллективным

---

<sup>18</sup> “Врем. Прав. в самый момент отречения Николая II, – пояснял впоследствии Милюков (“Посл. Нов.”), – занималось вопросом о возможности его отъезда с семьей в Англию, и я в качестве мин. ин. дел вошел по этому поводу в переговоры с британским послом”.

письмом 6 марта на имя ген. Алексеева, сообщая ему, что они готовы сопровождать Государя до Царского Села, если на то согласится правительство. Алексеев нашел, что подобный запрос неудобен и стеснит Царя и вызовет задержку отъезда, так как снова придется сноситься с правительством. Начальник штаба, по-видимому, был убежден, что правительственные посланцы, которые должны были выехать в этот день, вовремя придут в Могилев и Государь сможет немедленно выехать из Ставки.

### 3. Постановление об аресте

7 марта Временное Правительство постановило: “Признать отрекшегося Императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося Императора в Царское Село”. Событие как будто бы важности исключительной. Стоявший на левом фланге соц. рев. Мстиславский, изобразивший впоследствии ход Февральской революции в виде описания “пяти дней”, третьим этапом революции считает именно арест царской семьи. Набоков в своих воспоминаниях выражал убеждение, что этим актом был завязан узел, столь ужасно разрубленный в Екатеринбурге: арест б. Императора “имел глубокое влияние и смысл разжигания бунтарских страстей” и придавал “отречению” характер “низложения”, так как никаких мотивов к этому аресту не было указано. Тем знаменательнее факт, что такая серьезная газета, как “Русские Ведомости”, никак не реагировала на решение Врем. Прав., и еще более удивительно, что в “Истории революции” Милюкова нет даже упоминания об аресте Царя. Мало того, когда известный следователь Соколов, продолжавший в эмиграции свое обследование условий, в которых погибла царская семья, производил 23 октября 20 г. и 12 июля 22 г. допросы бывшего мин. ин. дел, тот ответил полным забвением: его память не сохранила абсолютно никаких воспоминаний, когда и как был решен вопрос об аресте Царя и Царицы. Припоминая в общих чертах характер пережитого момента, авторитетный член Времен. Прав. мог только сделать предположение, что, вероятно, Времен. Прав. санкционировало эту меру по предложению Керенского. Явление совершенно поражающее, ибо позднее быв. мин. ин. дел Вр. Прав. едва ли не себе склонен был приписать предусмотрительную инициативу отъезда быв. Императора в Англию. Историк сам по себе не может быть свойственно забвение, присущее мемуаристу, – и в особенности такому историку революционных дней, как Милюков, который всегда обладал исключительным умением вести записи в самые бурные моменты своей политической деятельности (поистине Милюков являлся сам своим придворным историографом). Не забудем, что в это время вышел первый том его “Истории революции”, когда автору по неизбежности пришлось уже напрячь свою память для воспроизведения событий дней минувших. Одно из двух: или Милюков хотел уклониться от воспоминаний о неприятной для него странице прошлого<sup>19</sup>, или его забвение свидетельствует о глубочайшем равнодушии, с которым им в свое время был воспринят факт ареста бывшего монарха.

Не менее примечательным является то обстоятельство, что вопрос об аресте Царя не обсуждался в официальных заседаниях правительства. Правда, в нашем распоряжении нет пока протоколов заседаний правительства, но имеется категорическое утверждение управл. делами Набокова, что “ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник (т.е. 4 – 6 марта) не заходила речь в заседаниях, где я присутствовал, о необходимости принять какие-либо меры (к отъезду в Ставку, – замечает Набоков, – правительство отнеслось сначала “как-то индифферентно”). Возможно, конечно, добавляет мемуарист, что вопрос этот уже тогда обсуждался в частных совещаниях. В этом сомневаться не приходится, так как к правительству была отправлена, как мы знаем, от Совета делегация в лице Чхеидзе и Скобелева, для переговоров о принятом Исп. Ком. 3 марта постановлении об арестовании членов династии. Но обсуждение ее вышло за пределы “частного “совещания””, ибо на тех

---

<sup>19</sup> Такое уклонение Соколов усмотрел при допросе Гучкова 15 сент. 1920 г.



“закрытых заседаниях”, о которых упоминал Милюков в своем показании Соколову, сделав предположение, что в одном из таких заседаний, вероятно, и было принято решение, всегда присутствовал управляющий делами, хотя официального протокола заседания не велось.

Пагубная тенденция принимать решения по важнейшим вопросам на частных совещаниях (при далеко не полном составе, а иногда и сознательно укороченном) нарушала единение в рядах правительства и являлась впоследствии причиной многих осложнений.

Отсутствие записи лишает возможности ретроспективно оценить вполне объективно мотив, которым руководилось правительство, принимая решение 7 марта.

Спокойному восприятию момента мешает и та несколько искусственная и вызывающая поза какой-то моральной непогрешимости, которую склонны без большой надобности занимать, я бы вновь сказал, самооправдывающиеся мемуаристы. Эта черта особенно свойственна воспоминаниям Керенского... В книге “La Verité”, специально написанной для того, чтобы положить конец “инсинуациям” (интервью в “Посл. Нов.” 16 февр. 36 г.), Керенский объясняет арест Императора исключительно гуманными соображениями – это было сделано лишь в интересах царской семьи, причем арест должен был бы носить временный характер (*trus provisoire*) (курсив у Керенского), так как правительство предполагало возможно скорее организовать отъезд Царя за границу. Таким образом, никакими политическими соображениями правительство не руководилось. Керенский правдиво (с некоторой хронологической перестановкой приводимых иллюстраций) изображает враждебную атмосферу, создавшуюся вокруг прежних носителей верховной власти, но сгущает до чрезвычайности краски, утверждая, что на первых порах все внимание возбужденной массы сосредотачивалось на личностях Романовых и на судьбе династии. Нет, вопрос о династии все же стоял на заднем плане по сравнению с новыми захватывающими перспективами, которые открывала революция. Характеристику общественных настроений в отношении династии мы сделаем ниже в соответствии с хронологией событий, которые мы описываем. Во всяком случае, не было в этих настроениях до вынесения решения 7 марта той остроты, которая могла бы вызвать арест отрекшегося Императора – акт со стороны правительства, не находящий себе оправдания. На правительстве, принявшем формально добровольное отречение от престола Императора и юридически преемственно связавшем себя с ушедшей властью, лежало моральное обязательство перед бывшим монархом. Это столь неоспоримо, что доказательств не требует. Совершенно прав Набоков, когда пишет, что подвергать Николая II ответственности “за те или иные поступки его в качестве Императора было бы бессмыслицей и противоречило бы аксиоме государственного права”<sup>20</sup>. При таких условиях Правительство имело, конечно, право принять меры к обезвреживанию Николая II, оно могло войти с ним в соглашение об установлении для него определенного местожительства и установить охрану его личности”.

“Оправдание” правительственному акту 7 марта можно было бы найти только в непосредственном давлении Совета и в опасении самочинного действия, предотвратить которое правительство было бессильно.

---

<sup>20</sup> Первый министр юстиции Вр. Пр. не согласен, по-видимому, с таким логическим построением. В интервью, данном сотруднику “Посл. Нов.” 18 февраля 36 г. в связи с докладом гр. Коковцева и своим контрдокладом “Трагедия и гибель царской семьи”, он возражал “обличителем”: “На каком основании они полагают, что Вр. Пр., взявшее в свои руки власть после падения монархии, должно было выполнять... функции охраны царской семьи... Революционная власть могла считать себя вправе предать царя и его ближайших сотрудников революционному суду... Мы этого не сделали и в марте об этом не думали (!). Почему?.. Да потому, что отношение Вр. Пр. к царю вытекало не из нашего долга перед павшей династией, а из тех революционных идей, которые мы имели. Основная идея заключалась в том, чтобы не возбуждать чувства мести, естественной в первый момент в народных массах. Наша задача заключалась в том, чтобы из соображений простого человеколюбия сохранить жизнь не только государя, но и всех бывших сановников”. Керенский был бы, пожалуй, в некоторой степени прав в утверждении первого своего тезиса, если бы революционное правительство имело другое происхождение.

Эту зависимость акта 7 марта от решения Совета Керенский склонен отрицать, подчеркивая, что постановление правительства было принято за два дня до советского постановления, имея в виду окончательное решение Исполн. Ком. 9 марта и почему – то игнорируя предшествовавшие решения 3 – 6 марта (отчет о втором докладе Керенского. “Послед. Нов.”). Но ведь дело шло о формальном постановлении правительства, лишившего свободы бывшего Императора, а не о той “временной изоляции” царской семьи, которой сочувствовало широкое общественное мнение и о которой при существовавшей конъюнктуре правительству не так трудно было договориться с руководящими советскими кругами.

В сущности, версия, данная в “La Verit&#233;”, противоречит показанию, которое дал в качестве быв. министра юстиции Вр. Пр. Керенский Соколову при допросе 14 – 20 августа 20 г. Тогда он отмечал две категории мотивов, побудивших правительство принять решение об аресте. Это, во-первых, настроение солдат и рабочих: Петербурга и Москвы, возбужденных до крайности против Царя. Поступая так, правительство обеспечивало безопасность Ник. Александ. и Алекс. Федор... Другие классы общества – интеллигенция, буржуазия, частью высшее офицерство – были возбуждены внешней и внутренней политикой Царя и в особенности поведением Императрицы, ведшими страну к гибели и заключению сепаратного мира и союза с Германией. Вр. Пр. вынуждено было произвести расследование о деятельности Царя, Алекс. Фед. и их окружения. В этих целях была необходима изоляция Ник. Алекс. и Алекс. Фед., почему они были лишены свободы. В книге, изданной в 23 г. (Le Rev. Russe), Керенский высказался еще более определенно. Если бы юридическое расследование, предпринятое Врем. Прав., обнаружило доказательства измены Николая II стране во время войны, он был бы немедленно судим. Вот почему правительство не приняло немедленно окончательного решения относительно судьбы Царя и его семьи. “Между нами было более или менее установлено, что если юридическое расследование установит среди происков распутинской клики невиновность прежних владык, то вся семья отправится за границу”.

Нельзя отчетливее изобразить дело, чем это сделал сам Керенский <sup>21</sup>. Почти аналогичное объяснение дал Соколову и председатель правительства кн. Львов (допрос 6 – 30 июля 20 г.): “Временное Правительство не могло не принять некоторых мер в отношении свергнутого Императора. Лишение свободы прежних властителей было в тот момент психологически неизбежно. Необходимо было предохранить Царя от возможных эксцессов революционного водоворота. С другой стороны, правительство обязано было расследовать тщательно и беспристрастно всю деятельность бывшего Царя и бывшей Царицы, которую общественное мнение считало пагубной для национальных интересов страны”.

Что же из этого следует?.. Только одно. Правительство в своем руководящем большинстве мало считалось (или не отдавало себе отчета) с тем моральным обязательством, которое лежало на нем в отношении отрекшегося монарха. Иначе оно открыто обратилось бы к общественной чести, к которой так чутка всегда народная масса, ведь нравственный авторитет правительства в эти дни был велик. Правительство не имело большого внутреннего основания противиться настояниям, шедшим из революционных кругов, которые были представлены в Исполн. Комитете, и до некоторой степени звучавшим в унисон с широкими общественными настроениями. Колебания, очевидно, были, ибо нельзя же предположить, что правительство пассивно плыло только по волнам стихии. Оно медлило с ответом на запрос, полученный из Исполн. Ком., быть может, даже склонялось на то, чтобы весь моральный одиум сложить на революционную среду, пожертвовав своим авторитетом. Колебания делали тактику правительства неопределенной, двойственной и нерешительной. Человеколюбие сплеталось с “политикой” в клубок противоречий, распутать который нет

---

<sup>21</sup> Соколов считал, что в желании раскрыть “вину” Царя и Царицы и лежит основная причина произведенного ареста.

никакой возможности<sup>22</sup>. Остается установить лишь факты.

Керенский подчеркивает, что постановление об аресте было принято в его отсутствие, когда он был в Москве. Формально это так, но только это едва ли вполне соответствует действительности. Если бы не было до некоторой степени презумпции об аресте, совершенно непонятным становились бы категорические заявления министра юст. в Москве о том, что члены династии всецело в его руках, как лица, выполняющего функции генерал-прокурора. Амплитуду колебания правительства можно установить путем сопоставления утренней телеграммы председателя 6 марта в Ставку и вечернего разговора того же Львова с Алексеевым, с показаниями, которые дал в Сибири (о днях предшествовавших аресту) будущий Царскосельский комендант полк. Кобылинский<sup>23</sup>. Он заявил: “5 марта поздно вечером мне позвонили по телефону и передали приказание явиться немедленно в штаб Петербургского военного округа. В 11 часов я был в штабе и узнал здесь, что я вызван по приказанию генерала Корнилова.., к которому и должен явиться. Когда я был принят Корниловым, он сказал мне: “Я Вас назначил на ответственную должность”. Я спросил Корнилова: „На какую?” Генерал мне ответил: “Завтра сообщу”. Я пытался узнать у Корнилова, почему именно я назначен генералом на ответственную должность, но получил ответ: “Это вас не касается... Будьте готовы”. Попрощался и ушел... На следующий день, 6 марта, я не получил никакого приказа. Также прошел весь день 7 марта. Я стал уже думать, что назначение мое не состоялось, как в 2 часа ночи мне позвонили на квартиру и передали приказ Корнилова – быть 8 марта в 8 час утра на Царскосельском вокзале... Я прибыл на вокзал и увидел там ген. Корнилова со своим адъютантом прап. Долинским. Корнилов мне сказал: “Когда мы сядем с вами в купе, я вам скажу о Вашем назначении”. Мы сели в купе. Корнилов мне объявил: “Сейчас мы едем в Царское Село. Я еду объявить Государыне, что она арестована. Вы назначены начальником Царскосельского гарнизона. Комендантом дворца назначен шт. рот. Коцебу. Но Вы будете иметь наблюдение и за дворцом, и Коцебу будет в вашем подчинении”<sup>24</sup>.

Нас совершенно не могут, конечно, удовлетворить объяснения, которые пытался дать этим колебаниям биограф кн. Львова, к тому же не очень разобравшийся в фактическом положении дел. Он объяснил молчание правительства в течение “четырех” дней на запрос Испол. Ком. тем, что правительство желало “выиграть время” “для “тайных” переговоров, которые оно вело с английским послом. Полнер без критики поверил позднейшим голословным заявлениям членов правительства<sup>25</sup> и весь одиум переносит на “трусливую угодливость и забегание вперед некоторых социалистических демагогов”.

Что же?.. Остается только признать сознательное двурушничество?.. Не думаю. Вернее – мешанина, которую творили “частные совещания”, и в силу этого полное отсутствие

---

<sup>22</sup> Составители “Хроники Февральской революции” одним из поводов заключения царя под стражу выставляют то соображение, что Николай II, находясь в Ставке без “прямого, непосредственного надзора”, нарушил поставленное ему условие (кем?..) не сноситься по прямому проводу с женой секретным шифром. Слишком поспешное заключение всегда более или менее добросовестных составителей “Хроники” очевидно: такая шифрованная телеграмма действительно впоследствии (в мае) была обнаружена в царских бумагах, отобранных в Царском Селе, и возбудила некое волнение, пока не была расшифрована и не обнаружилась ее полная политическая безобидность: “Целую крепко. Здоров”. (Пок. Кобылянского.)

<sup>23</sup> Цитирую по книге ген. Дитерихса “Убийство царской семьи”. В ней невероятно много небылиц. Но ген. Дитерихс, на которого приказом адм. Колчака 17 янв. 19 г. было возложено “общее руководство” по расследованию Екатеринбургского убийства, имел в руках и подлинные показания.

<sup>24</sup> Отсюда Дитерихс делает заключение, что арест принципиально был решен 5 марта.

<sup>25</sup> У Полнера и запрос в Лондон и ответ английского правительства (о нем позже) происходят до постановления об аресте царя.

определенности позиции самого правительства. Но, очевидно, окончательное решение Исполн. Ком. принять энергичные меры возбудило сомнение. Едва ли правительство могло опасаться эксцессов “сепаратных мер” Исполн. Ком. – выбор Гвоздева в качестве комиссара по выполнению поручения и осуществления его через “военную комиссию” до некоторой степени гарантировал. Но стоял вопрос о престиже власти – слишком было бы подчеркнуто роковое двоевластие. Думаю, что поздно вечером 6 марта было принято постановление осуществить арест бывшего Императора своими средствами. Для успокоения общественного мнения (о настроениях в Москве сообщил прибывший в Петербург Кишкин) и соответствующей информации был послан в Москву “генерал-прокурор” – сведения о его ожидаемом приезде появились в московских газетах только в день прибытия. Передать же новое решение и его мотивы в Ставку не удосужились или не считали нужным, – утверждение Керенского, что Алексеев был осведомлен по прямому проводу Львовым, не находит пока никакого документального подтверждения и опровергается всеми показаниями (ген. Лукомский и др.).

Вероятно, и само решение было принято на одном из перманентных “частных совещаниях”. Поэтому и было “большой неожиданностью” для управляющего делами правительства, когда 7 марта в служебном кабинете кн. Львова, куда он был приглашен и где собрались члены Правительства и специально призванные члены Думы, он узнал, что правительство решило лишить Императора свободы и перевезти в Царское Село: “Мне было поручено редактировать соответствующую телеграмму на имя Алексева. Это было первое, мною скрепленное, постановление Врем. Прав., опубликованное с моей скрепой”<sup>26</sup>. Речь шла не о телеграмме Алексеву, а о том официальном тексте постановления, который был опубликован в газетах 8 марта.

Для выполнения постановления правительства командировались в Могилев члены Государственной Думы Бубликов, Вершинин, Горбунов и Калинин, в распоряжение которых поручалось генералу Алексеву предоставить воинский наряд для “охраны отречшегося Императора”. Им вменялось в обязанность “представить письменный доклад о выполнении ими поручения”. Для чего были приглашены члены Думы, мало известные, за исключением Бубликова? Подобающую торжественность акту ареста бывшего Императора правительство могло придать командировкой в Могилев любого своего члена. Появление в Могилеве членов Думы отнюдь не золотило горькой пилюли, которая предлагалась Царю, и, быть может, лишь обостряло неожиданный эпилог, *soi disant*, добровольного отречения. Авторитет Думы нужен был для того, чтобы лишь внешне ослабить моральную дефективность постановления 7 марта и показать, что правительство действует не только в согласии с Исп. Ком. Совета, но и с одобрения Временного Комитета. Это было особенно важно для Ставки. Бубликов, на которого были возложены председательские функции в думской комиссии, говорит, что он предварительно был вызван к Родзянко. В официальном отчете комиссаров прямо уже говорилось, что они посланы были с соответствующими документами по распоряжению Временного Комитета для сопровождения (не ареста) Царя.

Вечером, в 11 часов, с экстренным поездом думская делегация в “секретном” порядке выехала в Могилев. На вокзале оказалось, что “секретная” миссия разоблачена, и делегатов встретила целая толпа журналистов с просьбой пустить их в поезд. Журналистам было отказано, тем не менее сотрудник “Речи” умудрился как-то пробраться в служебное отделение<sup>27</sup>.

#### 4. Арест Императрицы

---

<sup>26</sup> Формально на свой пост Набоков был назначен лишь 14 марта.

<sup>27</sup> В газетах (Рус. Ведом.) было сообщено, что о сущности миссии Бубликова были осведомлены и железнодорожники.

В часы, когда думская делегация на другой день приближалась к Могилеву, в Царском Селе был произведен арест Императрицы. Совершить это действие было поручено командующему войсками петербургского гарнизона ген. Корнилову, в ведение которого и поступил Александровский дворец. Как-то непонятно, почему выполнение политического акта было возложено на военную власть и главнокомандующему войсками с его штабом была придана несвойственная его обязанностям роль тюремщика. Инструкция начальнику гарнизона Царского Села не оставляет сомнения в том, что превентивный домашний арест означал в действительности строгое заключение, хотя и на льготных привилегированных условиях. Вот основные пункты инструкции, подписанные Корниловым и его начальником штаба Рубец-Масальским<sup>28</sup>:

4. Допускать выход отрекшегося Императора и бывшей Императрицы на большой балкон дворца и в часть парка, непосредственно прилегающую к дворцу, в часы по их желанию, в промежутках между 8 час утра и 6 час вечера. В означенные часы дежурному офицеру находиться при отрекшемся Императоре и бывшей Императрице и распоряжении караульного начальника усиливать внешнюю охрану дворца.

5. Все лица бывшей свиты, означенная в прилагаемом списке и пожелавшие по своей воле временно остаться в Александровском Дворце, не имеют права выхода из дворца, подчиняясь в отношении выхода в парк правилам, установленным настоящей инструкцией.

6. Без разрешения моего никаких сведений с лицами, содержащимися в Александровском дворце, не допускать.

7. Письменные сношения со всеми лицами, находящимися во дворцов, допускать только через шт. ротм. Коцебу, которому надлежит подвергать строгому просмотру все письма, записки и телеграммы, пропуская из них самостоятельно необходимые сношения хозяйственного характера и сообщения о здоровье, медицинской помощи и т.п. Все остальное подлежит представлению в штаб.

8. Телефон, находящейся во внутренних покоях дворца, снять, телефонные сношения допускать только по телефону в комнате дежурного офицера в присутствии последнего или шт. ротм. Коцебу.

9. В случае необходимости вызова врача-специалиста из Царского Села и Петрограда, таковых следует допускать во дворец при постоянном сопровождении дежурного офицера.

10. Все продукты, доставляемые во дворец, должны быть передаваемы оставшейся во Дворце прислуге в присутствии дежурного офицера и шт. ротм. Коцебу, на обязанности которых является не допускать никаких разговоров относительно внутренних лиц дворца...

Новая функция главнокомандующего могла явиться механическим последствием того, что Царь и его семья отдавались под общее наблюдение министра, в руках которого в то время была единственная реальная сила. "Рус. Вед.", в дополнение к постановлению правительства о лишении свободы Царя и Царицы, сообщали: "Как передают, Николай с членами своей семьи будет отправлен в Англию, где и будет жить все время. А. И. Гучкову Времен. Правительством поручено сопровождать Николая II на Мурман и взять в свое ведение организацию дела отъезда бывшего Императора в Англию<sup>29</sup>. Насколько эти слухи были правдоподобны и не являлись лишь одним из вариантов, устанавливаемых на "частных совещаниях" правительства, – трудно сказать. Соколов в своем расследовании установил, что военный министр сам посетил Царское Село и Александровский дворец, но ему так и не удалось выяснить, зачем собственно Гучков приезжал. Этого не мог разъяснить следователю никто из допрошенных им лиц из входивших в императорскую свиту. Гучков как бы

---

<sup>28</sup> Едва ли Корнилов принимал участие в разработке инструкции. Об этом ниже.

<sup>29</sup> Сообщение это, следовательно, появилось одновременно с отчетом о речах Керенского, где министр юстиции говорил, что он самолично отвезет бывшего царя на Мурман.

уклонился от дачи объяснений. Князь Львов утверждал, что Гучков посетил Царское Село в качестве военного министра, но с какой целью – этого Львов не мог вспомнить, как и того, делал ли Гучков какой-нибудь доклад правительству... Камеристка Императрицы Занотти показала Соколову, что Гучков действительно виделся с Алекс. Фед. и что последняя чрезвычайно негодовала на это свидание, не имевшее, по ее мнению, никакого видимого основания. Едва ли Гучков пожелал встречи с женой устранимого монарха из любопытства или чувства злобы и мелкой мести в отношении человека, который, как он знал, не раз выражал свою ненависть к нему. Заметка “Рус. Ведом.” могла бы внести некоторую ясность в одну из тех многочисленных загадок, которыми полна еще история этих дней.

Свидетельствовавшие перед следователем отнюдь не связывали посещение Гучкова с арестом Императрицы (камер-юнгфрау Занотти показывала: “После, должно быть, приезжал Корнилов”). Но у нас имеется еще один рассказ, определенно связывающий приезд Гучкова с моментом ареста. Так, офицер 4-го стр. полка Кологривов утверждает, что Корнилов прибыл во дворец вместе с Гучковым и в сопровождении еще какой-то делегации. Рассказ передавал и некоторые характерные детали, сопровождавшие свидание указанных лиц с Алекс. Фед. Нельзя придавать, однако, большой веры этому повествованию уже потому, что Кологривов, присутствуя якобы непосредственно при приеме, вспомнил, как Гучков и Корнилов, украшенные “огромным красным бантом на груди”, появились в Александровском дворце (между часом и двумя пополуночи), как “они довольно грубо велели разбудить “бывшую царицу”, причем Корнилов сказал: “Теперь не время спать”. Между тем мы имеем, помимо газетных сообщений, определенное свидетельство Кобылинского, о котором уже упоминалось и которое опровергает и ночное посещение и присутствие Гучкова и сов. делегации<sup>30</sup>.

Сплелась эта версия из того, что Гучков действительно посетил Александровский дворец вместе с Корниловым, но только это было, как устанавливает дневник гр. Бенкендорфа, 5 марта и никакого отношения к аресту Алекс. Фед. не имело. Посещение находилось в прямой связи с возможными осложнениями в гарнизоне Царского Села в силу того двойственного положения, в котором после отречения оказались части, охранявшие дворец, и отсутствие у дворцового коменданта связи с новым правительством. Поэтому Гучкова и Корнилова сопровождали представители Царскосельского гарнизона. В такой обстановке становится понятным и ночной вызов Кобылинского. По словам кн. Палей, визит к Алекс. Фед. состоялся в 1 час 30 мин ночи – она видит в этом желание унижить Императрицу, заставить ее прождать представителей революционного правительства. В действительности задержка быть может, объясняется вызовом вел. кн. Павла, который должен был служить посредником. Свое посещение военный министр и главнокомандующий войсками, совершавшие инспекторский осмотр Царскосельского гарнизона, объясняли желанием выяснить положение царской семьи во дворце, который с военной стороны охранялся нарядом из состава уже революционного гарнизона.

Все показания, данные Соколову, отмечают полную корректность Корнилова при выполнении неприятного и тяжелого поручения и спокойствие, с которым встретила Алекс. Фед. переданное ей постановление правительства. Несколько по-другому рисует восприятие Алекс. Фед. факта своего ареста тогдашнее газетное сообщение, опиравшееся на беседу сотрудника “Русской Воли” будто бы с ген. Корниловым. “Утром, – передавал Корнилов, – я получил предложение военного министра Гучкова арестовать бывшую Царицу. – “У меня все больны, – заявила Алекс. Федор, – Сегодня заболела моя последняя дочь. Алексей, сначала было поправлявшийся, опять в опасности. Ради Бога, останьтесь со мной наедине”. – “Я, – говорил Корнилов, – приказал всем удалиться на несколько минут. Бывшая Императрица заплакала и забилась в истерике. Придя в себя, Алекс. Фед. заявила: “Я в

---

<sup>30</sup> О посещении Гучковым дворца вместе с Корниловым в момент ареста и еще раз после рассказывает и царский камердинер Волков, но он так явно перепутал все даты и подробности, что его показаниям никакой цены придавать нельзя (и самый арест он относит приблизительно к 3 марта).

вашем распоряжении, делайте со мной все, что хотите”. Объявив ей указ об аресте<sup>31</sup>, Корнилов распорядился приставить стражу ко всем телефонам и телеграфу во дворце, чтобы изолировать бывшую царицу”.

По корниловской инструкции караул во дворце впредь должны были занимать по очереди все запасные полки и батальоны гарнизона. От бывшего “собственного конвоя” должны были назначаться только конные дозоры для охраны Царского Села и его ближайших окрестностей, посты от “дворцовой полиции” немедленно снимались. Это распоряжение, по-видимому, прошло не совсем гладко, – представитель Исполн. Ком., совершивший через день вооруженный рейд в Царское Село (об этом дальше), рассказал в воспоминаниях, со слов царскосельских стрелков, что они “чуть не с боя заняли караул”, так как “сводный гвардейский полк ни за что не хотел сменяться”. Этот рассказ подтверждает версию, изложенную упомянутым Кологривовым (молодому Маркову Сергею) – об этом офицере придется еще говорить, – “сводный батальон готовился встретить ожидавшегося Царя с “подобающими почестями”, но был смнен за четыре часа до приезда Государя”. – “Батальон, – рассказывал Кологривов, – как один человек отказался впустить их (новую охрану) за решетку дворца и... выкатил пулеметы. Но Царица попросила к себе полковника Лазарева (сменившего арестованного ген. Рескина), и... пришлось преклониться перед судьбой: “Не повторяйте климата французской революции, защищая мраморную лестницу дворца...””

## 5. “Секретная миссия” в Ставку

Описанное, по сообщению газет, происходило около 11 час утра. В это время путешествие другой “делегации” в направлении к Ставке превратилось, по словам Бубликова, в “триумфальное шествие”. “Нас встречали, – вспоминает председатель делегации, – на каждой станции толпы железнодорожных служащих и населения, говорились приветственные речи, раздавались крики “ура”...”<sup>32</sup>. Отвечая на приветствия, как тогда полагалось, Бубликов лишился голоса. Надо ли говорить, что все эти овации не имели никакого отношения к цели “секретной миссии”, о которой местное население еще не могло знать.

В Ставке ждали приезда посланцев правительства, которые должны были сопровождать императорский поезд до Царского Села. Никто не ожидал, что они привезут с собой мандат об аресте. В 10 час 30 мин утра все офицеры Ставки и по одному представителю солдату от каждого отдела собрались в большой зале управления для прощания с Государем. Все происходило с подобающим этикетом<sup>33</sup>. Солдаты ответили на приветствие: “Здравия желаем Ваше Императорское Величество”. Алексеев скомандовал: “Господа офицеры”. Царь, сделав общий поклон, “тихим голосом, волнуясь и делая большие паузы, сказал свое прощальное слово, пожелав собравшимся честно служить Родине при новом правительстве”.

В глазах говорившего блестели слезы. Алексеев подошел к Государю и глубоко растроганным голосом пожелал Николаю II “счастья в новой жизни”. Государь обнял и крепко поцеловал ген. Алексева. “Раздались всхлипывания, – записывает в дневник полк.

---

<sup>31</sup> По словам Бенкендорфа, Корнилов тут же сказал, что арест является мерой охранительной и что после выздоровления детей царская семья будет отправлена в Мурманск.

<sup>32</sup> В официальном отчете это “триумфальное шествие” представлено значительно скромнее и упомянута лишь десятиминутная остановка в Орше, где делегация удостоилась шумного приветствия толпы.

<sup>33</sup> Конфуз вышел только с ген. Цабелем и его адъютантом, снявшими императорские вензеля в то время, как солдаты Собственного Е. В. полка были в вензелях (Дубенский).

Пронин, – затем рыдания... Шт. ротм. Муханов упал в обморок. Потом еще один за другим несколько человек. Глубоко взволнованный всей обстановкой Государь, не закончив обхода, приостановился и, резко поклонившись, направился к выходу, спустился по лестнице и прошел через сад во дворец...”

Как разительно противоречило это прощание тому, что произошло черед короткий промежуток. Неужели могла быть допущена подобная комедия или подобная демонстрация, если бы Алексеев действительно был официально предуведомлен председателем правительства о том, что делегаты Временного Комитета везут с собой предписание об аресте...<sup>34</sup> Алексеев, по-видимому, узнал ночью частным образом о перемене, происшедшей в позиции правительства. Так рассказывает ген. Тихменев, заведовавший железнодорожными передвижениями в Ставке: “Вечером 7 марта ген. К...<sup>35</sup> (Он занимал в Ставке должность высшего представителя министерства путей сообщения). По взволнованному и недоумевающему лицу К. я увидел, что случилось что-то особенное... – “Вот, я только что получил шифрованную телеграмму от Бубликова... с известием, что завтра утром придут в Могилев четыре члена Государственной Думы для того чтобы арестовать государя... Мне воспрещается осведомлять об этом кого-либо и приказано приготовить секретно поезд и паровоз” (о приезде членов Думы было известно раньше, равно как и об отъезде Императора. – С.М.). Тихменев порекомендовал предупредить Алексеева о секретной телеграмме, который сумеет с этим секретом распорядиться. В таких условиях торжественное прощание делалось законным и показательной демонстрацией.

Дальнейшее изложим по отчету, представленному Времен. Ком. Гос. Думы правительственными посланцами: “Ровно в 3 часа дня поезд с комиссарами Государ. Думы прибыл на ст. Могилев... На вокзале собралось большое количество публики... После кратких приветственных речей комиссары отправились в штаб, где имели 20 минутную беседу с ген. Алексеевым. Бубликов предъявил ген. Алексееву предписание Врем. Прав. о лишении свободы бывшего Императора. Ген. Алексеев сообщил комиссарам, что императорский поезд уже готов к отправлению и ожидает распоряжения комиссаров. Комиссары потребовали, чтобы им был представлен полный список лиц, сопровождающих Николая II. В список был включен, между прочим, флаг-капитан адм. Нилов, которому было предложено оставить поезд, что он и исполнил... Отрекшийся Император в это время находился в соседнем поезде вдовств. Импер. Марии Феодоровны. Ген. Алексеев сообщил отрекшемуся Императору постановление Врем. Прав. По приказу ген. Алексеева в распоряжение комиссаров был дан наряд солдат в 10 чел. гвард. жел. дор. батальона.

Когда все было готово, отрекшийся Император перешел из вагона Царицы-матери в императорский поезд. Находившиеся на перроне лица хранили полное молчание. У окна своего вагона стояла Царица-мать, наблюдая за всем происходившим... В 4 час 50 мин поезд отбыл из Могилева. При отъезде не было ни приветствий, ни враждебных выкриков. Собравшаяся публика молча приветствовала стоявших у окна последнего вагона комиссаров Государ. Думы. В пути к комиссарам являлись депутации с денежными пожертвованиями в пользу жертв революции. Явились делегаты от поездного состава, от кухонной прислуги и от дворцовой полиции. Всего пожертвований поступило 380 рублей 50 коп... С самого момента отхода поезда из Могилева комиссары по всему пути следования посылали телеграммы председателю. Гос. Думы, который таким образом был осведомлен о малейших подробностях движения поезда...”

---

<sup>34</sup> Вольная рука мемуариста, правда, не бывшего в этот день в Ставке, рисует в весьма образных тонах другую картину. Одиноким, покинутый царь из окна своего рабочего кабинета наблюдает торжественную церемонию принесения Ставкой присяги новому правительству. Керенский не сделал справки – присяга происходила 9 марта, т.е. на другой день после отъезда императора.

<sup>35</sup> В книге, изданной в 25 г., автор почему-то сохраняет инициалы, хотя из всего дальнейшего изложения ясно, что речь идет о ген. Кислякове.



Каждый из современников видит то, что он хочет. Бубликову казалось, что все окружающие были больше взволнованы, чем Николай II, – “на лице его совершенно не отражались трагические события, которые им переживались”. – “Высочив из вагона имп. Марии Фед., он пронесся по перрону, на ходу козыряя небольшой, в 2 – 3 десятка людей, кучке, собравшейся к тому времени на перроне”. (150 чел. сообщ. Дубенский.) “Трогательная толпа людей проводила<sup>36</sup>, – запишет сам Николай II, – тяжело, больно, тоскливо...” Но удивительно, что о лишении свободы нет и намека в записи 8 марта – словно “бывший Император” еще не сознавал того, что произошло, или ему объяснили необходимость фиктивного ареста... Поезд тронулся... “Люди на перроне молча провожали нас глазами, – вспоминает Бубликов, – и это молчание преследовало нас вплоть до Царского”, куда, “скоро и благополучно”, по выражению царского дневника, прибыли в 11 часов 30 мин 9 марта. Члены миссии получили приглашение к столу Императора на обед, но отказались...

Так как соответствующие инструкции начальствующего лица получили, комиссары признали свою миссию оконченной и отбыли в Петербург.

Царь на перроне вокзала, как описывает корреспондент газеты “День”, молча (смотря вниз и не промолвив ни слова) “добежал” до автомобиля.

Ворота Александровского дворца по распоряжению дежурного офицера открылись, чтобы пропустить автомобиль “бывшего Царя...”

В дневник Бенкендорфа занесена сцена какого-то водевильного характера, будто бы происшедшая в этот момент. “Кто здесь?” – спросил часовой. – “Николай Романов”, – последовал ответ...

С этого момента Николай II сделался узником, – дворец превратился в тюрьму, но совершенно ложно было сообщение тогдашних газет, что Царю, по приезде в Царское Село, не разрешалось увидаться с женой и детьми...

\* \* \*

Много горьких и обличительных слов произнесено по адресу “царских слуг”, поспешивших покинуть монарха в его несчастье. Я воздержусь от осуждения. Трудно сказать, как повелевает поступить совесть и долг в каждом отдельном случае, не взвесив конкретной обстановки<sup>37</sup>. Резко обвинял В.А. Маклаков в докладе, сделанном в Москве 31 марта 17 г. С запоздалым обличением выступил Керенский, вложивший столько пафоса в февральские дни. Но беспощаднее всех в отношении к служилой аристократии оказался в дневнике вел. кн. Николай Михайлович, суммировавший свои обвинения под общим заголовком: “Как все они предали его”. Оставим раз навсегда образы, навеянные чужим прошлым – ссылками на швейцарскую гвардию и Вандею. Оставим в стороне и тех “придворных”, которые жаловались Полнеру, что “Царь их предал”.

В русской действительности до катастрофы, обрушившейся на страну с момента октябрьского переворота, не было дней, когда “верные долгу” должны были жизнью своей защищать неприкосновенность монарха. Историк никогда не имеет права забывать, что февральская революция (катастрофа в представлении одних и великое обновление страны в представлении других) совпала с тяжелой годinou войны, когда патриотическое чувство, независимо от оценки правительственных деятелей прежней власти и личности монарха, заставляло искать примирения с тем, что стихийно произошло, что органически для многих

---

<sup>36</sup> В воспоминаниях Вырубовой эта “трогательная толпа людей”, со слов якобы царя, превратилась в толпу, стоявшую на коленях на всем протяжении от дворца до вокзала.

<sup>37</sup> Укажу между причин на один пример. Свидетельствующие перед Соколовым указывали, что на царя тяжелое впечатление произвело отсутствие среди приближенных лично близкого семье фл. ад. Саблина. Может быть, установлен факт, что Саблин находился в это время среди арестованных матросами гвардейского экипажа.

по внутреннему ощущению было ненавистно. Русская гвардия, т.е. носители тех громких фамилий, имена которых занес в свой криминальный список вел. кн. Николай Михайлович, не следовала завету Шульгина служить “не против врагов внешних, а против врагов внутренних”, ей чужды были эти квазимонархические тенденции. Отдадим ей должное: она героически сражалась с “врагом внешним” и погибла на полях брани. “Немцы ликуют на наш счет” – эти слова из записок дневника Нарышкиной 26 февраля могут быть поставлены эпитафией ко всему дневнику обер-гофмейстерины. И еще одно замечание по поводу негодующих и пристрастных суждений, высказанных в дневнике мужественно и с достоинством погибшего в чекистском застенке историка, который вышел из великокняжеской среды. Он сам явил собой яркий пример того, как человека, чуждого революционной идеологии, захватывает окружающая обстановка, как возбуждает порыв и настроение, которое рождает своего рода коллективный психоз, именуемый революцией...

Закончим повествование о последних свободных часах. Император Николай II цитатой из прощального приказа по армии, отданного им в Ставке, в качестве бывшего Верховного главнокомандующего. Слова эти произвели сильное впечатление на английского посла, в общем скорее не любившего Николая II. “Государь, – записал Бьюкенен, – показал себя с самой благородной стороны. Все личные соображения были отброшены, и все его мысли были направлены на благо родины...” Может ли кто-нибудь, прочитав приказ, написанный в ту минуту, когда, утратив свое высокое положение, он был арестован<sup>38</sup>, поверить, что Император был лицемерен?!!

Вот этот приказ: “В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за себя и за сына моего от престола Российского, власть перешла к Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы в благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять вашу родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, – тот изменник отечества, его предает. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте нашу великую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайте ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог, и да ведет вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий...” Николай.

В ночь на 8 марта, по свидетельству полк. Пронина, согласно приказу Алексеева, текст был передан в армию, но он дошел лишь до штабов армий и только кое-где до штабов корпусов и дивизии (румынский фронт), ибо, получив копию этого приказа, военный министр Гучков экстренной телеграммой в штабы фронтов, помимо Ставки, воспретил дальнейшую передачу в войска<sup>39</sup>.

Почему?.. Не потому ли, что прощальное слово вступало в резкую коллизию с настроением либеральной общественности, воспринимавшей и оправдывавшей переворот, как неизбежную реакцию на антипатриотическую позицию старой власти?.. Не потому ли, что впечатление, полученное Бьюкененом, могло совпасть с аналогичным в армии, которое не могло бы оправдать ни ареста бывшего Императора, ни юридического расследования его

---

<sup>38</sup> Приказ был написан, конечно, до того момента, когда царь узнал, что он лишен свободы. По утверждению Пронина текст приказа был лично написан Николаем II поздно вечером 7 марта.

<sup>39</sup> Среди опубликованных документов нет этой “запретительной” телеграммы Гучкова. О запрещении говорят и Лукомский, и Бьюкенен, и другие.

прикосновенности к воображаемой “измене”?.. Не потому ли, что военный министр боялся волновать войска?.. Вспомним, что в одновременном приказе по армии он говорил: “Опасность еще не миновала, и враг может еще бороться”.

Прощальное слово бывшего Верховного главнокомандующего в свободной стране, где была провозглашена свобода печати, не было сообщено и в газетах, хотя Царь призывал войска подчиниться временному революционному правительству.

## Глава вторая АНГЛИЙСКИЙ МИРАЖ

### 1. Рейд Мстиславского

На первый взгляд вызывает лишь недоумение малопонятная запись, имеющаяся в протоколе Исполн. Комитета 8 марта:

“Решено арестовать всю семью, конфисковать немедленно их имущество и лишить права гражданства. Для ареста послать своего парламентаря с той делегацией, которая будет производить арест”. (Далее в подлиннике вписано: “Приняты следующие 7 пунктов”, которых не оказалось в “черновиках протокольных записей.”) Это относится ко времени, когда уже было опубликовано постановление правительства об аресте. В чем дело?.. Очевидно, Исп. Комитет не был осведомлен о том, что к выполнению указанного решения уже приняты срочные меры, и предполагал, что он будет привлечен, как инициатор, к осуществлению заданий. Вероятнее всего, именно тогда был избран Гвоздев в качестве “парламентаря”, о котором говорит запись протокола. Исполнительный Комитет был поставлен перед совершившимся фактом, потому и отпала необходимость составленного для Гвоздева “мандата”. Дело сразу осложнилось, и “секретная” миссия думских комиссаров представилась в ином свете – в свете закулисной политики и какой-то двойной игры, которую ведет правительство. При содействии правительства Царь бежит в Англию, что может иметь неисчислимо вредные последствия для революции. Такого могло быть заключение представителей революционной демократии, заседавших в руководящем советском органе, без какого-либо внешнего давления со стороны “человека с улицы”. Совсем напротив, из центра, охваченного какой-то истерией, оказывают давление на мнение толпы.

Протокол 9 марта открывается записью: “Ввиду полученных сведений, что Временное Правительство предоставило Николаю Романову возможность выехать в Англию и что в настоящее время он находится на пути в Петроград, Исп. Ком. решил принять немедленно чрезвычайные меры к его задержанию и аресту. Издано распоряжение о занятии нашими войсками всех вокзалов, а также командировать комиссара с чрезвычайными полномочиями на ст. Царское Село, Госно и Званку. Кроме того, решено разослать радиотелеграммы во все города с предписанием арестовать Николая Романова и вообще принять ряд чрезвычайных мер. Вместе с тем решено объявить немедленно Временному Правительству о непреклонной воле Исполн. Ком., не допустить отъезда в Англию Николая Романова и арестовать его. Местом водворения Николая Романова решено назначить Трубецкой бастион Петропавловской крепости, сменив для этой цели командный состав последней. Арест Николая Романова решено произвести во что бы то ни стало, хотя бы это грозило разрывом сношений с Временным Правительством”.

Надо думать, что в момент обсуждения пришло сообщение о прибытии Николая II в Царское Село. Тогда в Царское Село была наряжена специальная военная экспедиция в составе отряда семеновцев и роты пулеметчиков<sup>40</sup> с эмиссаром с. р. Масловским

---

<sup>40</sup> По-видимому, сведения эти весьма преувеличены. Другие свидетели позже говорили о нескольких пулеметах, имевшихся в распоряжении “отряда”.

(Мстиславским) для ареста Царя. Разыгралась довольно дикая и глупая трагикомедия, о которой не любят вспоминать “революционные” историки и мемуаристы, за исключением самого главного героя. Это замалчивание и дало повод Керенскому в сб. “Издалека” назвать рейд Мстиславского “самозваной советской делегацией, ворвавшейся в Царскосельский дворец с явной целью „увоза Николая“ 41.

Какая это частная инициатива, раз в официальном заседании кандидатура Мстиславского была выдвинута Соколовым и специальному комиссару был дан и соответствующий мандат такого исключительного содержания: “По получении сего немедленно отправиться в Царское Село и принять всю гражданскую и военную власть для выполнения возложенного на вас особо важного поручения”. Оставляя в стороне детали, посмотрим, как живописует свой “революционный” подвиг сам Мстиславский.

Директива, данная ему, была, по его словам, крайне неопределенная: он должен был выполнить “особо важный государственный акт”, определив уже на месте конкретный образ действий и руководясь лишь “духом” постановления Исп. Ком. – обеспечить любой ценой “революцию от возможной реставрации”. “Чем ближе было к Царскому, – вспоминает Мстиславский, – мрачнели сосредоточенные лица солдат... Среди жуткой напряженной тишины подъехали мы к вокзалу. Солдаты крестились...”

Эмиссар в сопровождении шт. кап. Тарасова-Родионова, арестовав начальника станции, отправился в ратушу для переговоров с начальником гарнизона и комендантом Царского Села. Оставшемуся на вокзале отряду было дано распоряжение в случае, если эмиссар через час не вернется, идти в казармы 2-го стрелк. полка, на “революционность” которого по имеющимся сведениям можно было положиться, “поднять” стрелков и двинуться во дворец для выполнения возложенного на них поручения – любой ценой... смотря по обстоятельствам – или вывезти арестованного в Петербург, в Петропавловскую крепость, или ликвидировать вопрос здесь же в Царском<sup>42</sup>.

В ратуше между эмиссаром и “полковником” (очевидно, надо подразумевать Кобылинского) будто бы произошел такой разговор. Прочитав “мандат”, “полковник” отказался выполнить незаконное распоряжение, так как он подчинен правительству, а не Совету, и потребовал запросить ген. Корнилова. “Слушайте, господа, – отвечал ему эмиссар, – Вы знаете, конечно, что мы прибыли сюда с отрядом. Вместо того, чтобы терять время на разговоры с вами, я могу попросту поднять весь гарнизон – одним взмахом руки, одним боевым сигналом. И если я не делаю этого, то потому только, что уверен выполнить свое задание... один, не вынимая оружия из ножен... Одним именем народа... Если вы вынудите меня силой взяться за винтовки, вы будете отвечать за кровь... Последний раз: где находится бывший Император?..” В конце концов, заарестовав “полковников” – все это, само собой, рассказывает сам эмиссар, действовавший “именем революционного народа”, – советский посланец отправился во дворец. Часовой “наотрез” отказался пропустить его внутрь за ворота. Насилу добились вызова караульного начальника, совсем еще зеленого, по-детски важного и взволнованного прапорщика. Несмотря на предъявленный документ, и начальник караула отказался пропустить во внутренний двор... Вызвали дворцового

---

41 В своих книгах Керенский по-разному изображает советскую экспедицию. В “Rev. Russe” он относит предприятие Масловского к ночи на 8 марта (когда царь был еще в Ставке) и говорит, что все меры подготовлены в величайшем секрете, с целью поставить правительство перед совершившимся фактом – в смысле ареста императора. В “La Verité” он вновь называет экспедицию Масловского частной инициативой, предпринятой без ведома Совета, и полагает, что из соображений своего престижа Совет покрыл эту частную инициативу. Вслед за Керенским и следователь Соколов признавал миссию Мстиславского актом индивидуальным.

42 Автор оговаривается, что такое распоряжение он отдал только в уверенности, что отряду не придется двинуться с вокзала, иначе он “никогда и никому не передал бы командования. Разве такие поручения передаются”.

коменданта, шт. рот. Коцебу, который заявил, что он сейчас протелефонирует Корнилову. Настойчивость эмиссара достигла цели, арестованный Коцебу, подчиняясь “силе”, провел Мстиславского во внутренний караул, который нес 2 й стр. полк. Эмиссар попытался начать с агитации солдат, но был отвлечен офицерами, среди которых оказался и молодой прапорщик, знакомый эмиссара по встречам на междупартйных совещаниях. Человек 20 возмущенных офицеров набросились на него – “опять мутить, опять разжигать...” – “Вы затеяли игру с огнем... – сказал ему знакомый прапорщик. – Убить Императора в его дворце... полк не может допустить... Если комендант города, комендант дворца пропустили вас, это дело их совести... но ваши офицеры...” – “Разве у меня вид Макбета или Палена?.. И разве каждый соцреволюционер уже обязательно цареубийца?” – “Но Коцебу говорит... в вашем документе...” – “Вот мой документ...” – “Коцебу прав: ваше поручение... странно отредактировано, странно, иного слова не подберу... В нем есть мандат на цареубийство...” Мстиславский обратился к офицерам, разъяняя решение Исполкома. Младшие объяснили: “Вы напрасно тревожитесь так в Исполкоме... Стража безоговорочно примкнула к революции... Ваше недоверие... не может не оскорблять нас...” – “Если бы оно было... я привел бы к вам под дворцовые стены хоть целый корпус: Петербург и Кронштадт не оскудели еще... Но насколько арест может быть произведен со всеми строгостями здесь, без вывода в Петропавловскую крепость...” – “Вывезти “его” мы не дадим...” Мстиславский на это заявил, что “так как Совет не желает делать излишнего шума... то в данный момент в увозе нет необходимости”.

Офицеры дали слово, что, пока полк будет нести караул, Император и его семья не выйдут из стен дворца. Но Мстиславскому надо было убедиться еще в том, что “зверь” действительно в капкане... – “Вам придется предъявить мне арестованного”, – заявил он офицерам. Офицеры вздрогнули: “Предъявить Императора... вам... Он никогда не согласится...” – “Да ведь это хуже, чем...” – “Бесцельная жестокость... Мы дадим вам честное офицерское слово, что он замкнут...” Опять звучит в голосах угроза, и мирный исход... начинает подергиваться зловещей багрянеющей дымкой. Сказав о “предъявлении” почти машинально, чтобы не возвращаться в Петербург, не видев арестованного, Мстиславский по этому психологическому протесту офицеров “понял, что этот акт унижения, – да, унижения... необходим, что даже не в аресте, а именно в нем существо... посланничества. Ни арест, ни даже эшафот не может убить... самодержавия...” “Пусть действительно он пройдет передо мною, по моему слову, перед лицом всех... Пусть он станет передо мною, простым эмиссаром революционных рабочих и солдат... Он... Император... как арестант при проверке в его былых тюрьмах...”

Решают вызвать Бенкендорфа, который отказывает в требовании Масловскому. Пререкания... Масловский грозит двинуть семеновцев... “Судьба Времен. Правительства, бывшей династии, всей России, наконец, снова станет на карту...” Бенкендорф “уступил насилие”. Установили, что Император пройдет мимо Масловского на перекрестке двух коридоров. Сам автор воспоминаний признает, что вид у него был “разинский”. “Ведь со дня переворота почти не приходилось раздеваться. Небритый, в тулупе, с приставшей к нему соломой, в папахе, из которой выбивались слежавшиеся всклокоченные волосы... И браунинг, торчащий из кармана, с которого стоящий слева Долгорукий не сводил глаз... Послышались быстрые шаги, на перекрестке появился Царь с измученным лицом, он остановился и постоял, словно в нерешительности, затем двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор, в глаза друг другу, сближаясь с каждым его шагом... Была мертвая тишина”. Мстиславский прочел в глубине зрачков Императора словно огнем колыхнувшуюся, яркую смертную злобу. Офицеры снова вздрогнули... “Николай приостановился... и, круто повернувшись, быстро пошел назад...” Я выпростал засунутую за пояс правую руку, приложил ее к папахе, прощаясь с придворными и... двинулся в обратный путь. Офицеры молчали. “Вы напрасно не сняли папахи, – укоризненно сказал один из них в вестибюле: – Государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда увидел, как вы стоите...”

Что правда, что беллетристический вымысел в картинном изображении Мстиславского?.. Его рассказу можно противопоставить лишь короткое показание Кобылинского, рассказ Коцебу в передаче Карабчевского и отметку в дневнике Бенкендорфа. “Явился ко мне какой-то неизвестный, – показывал Кобылинский позже следователю в Екатеринбурге, – и назвавшись Масловским, предъявил мне требование Петербургского Исп. Ком. Совета Раб. и Сов. Деп. Человек, назвавший себе Масловским, был одет в форму чиновника... Требование Исп. Ком. было подписано... членом Госуд. Думы Чхеидзе, оно имело надлежащую печать. Назвавший себя Масловским заявил мне, что должен сейчас же взять Государя и доставить его в Петропавловскую крепость. Я категорически заявил Масловскому, что допустить этого не могу. Тогда он мне сказал: “Ну, полковник, знайте, что кровь, которая сейчас прольется, падет на вашу голову...” – “Ну, что же делать, падет... так падет... Исполнить не могу...” – Он ушел... Я думал, что он совсем ушел. Но он, оказывается, все-таки отправился во дворец. Там его встретил командир первого полка капитан Аксюта. Он показал ему требование и заявил, что желает видеть Государя. Осмотрев его карманы, Аксюта показал ему Государя так, что он Государя видел, а Государя его – нет. Об этом я тогда же сообщил в штаб. Мои действия были одобрены”. По отметке в дневнике Бенкендорфа какой то “Манковский, прибывший из Петербурга, желал увидеть Царя, чтобы уверить своих “mandataries” в том, что Царь находится действительно в Александровском дворце”. Тогда Бенкендорф попросил Царя пройти по коридору<sup>43</sup>.

По словам Коцебу, давнего хорошего знакомого Карабчевского, при появлении Масловского он переговорил с солдатами караульного отряда о том, чтобы в случае надобности с оружием отразить попытку захватить Царя, но упомянутый прапорщик взялся “уладить дело” мирным путем. Масловский – “как-то сразу сдал”. Тогда было решено с согласия Коцебу показать Царя для того, чтобы Масловский убедился, что слух об его исчезновении ложен. Николай II пересек коридор. Как передавал Коцебу, Масловский, при появлении Царя, пока он не скрылся, все время дрожал, как в лихорадке, и весь изменился в лице”.

Удостоверившись, что Государь арестован, Масловский ушел – заносит в дневник на другой день Нарышкина.

Мне кажется, что из рассказа самого советского эмиссара, если отбросить явно революционные прикрасы, с полной очевидностью вытекает, что уступчивость самоуверенного эмиссара объясняется тем, что произвести арест оказалось фактически для него невозможным. Встретивши решительный отпор со стороны караула, считавшего своей обязанностью выполнять приказания лишь ген. Корнилова (хотя караул и принадлежал к тому составу 2-го стрелк. полка, на революционность которого возлагали надежды, Мстиславский нашел выход в компромиссе, принятом охраной, “во избежание кровопролития”. Признав, что Царь находится под надежным караулом, в своем революционном чувстве Мстиславский был удовлетворен и счел свою миссию выполненной. Мстиславский не захватил Царя “только потому, что в последнюю минуту он растерялся” – как утверждал Керенский в своих показаниях Соколову<sup>44</sup>.

Только под вечер вернулась советская экспедиция в Петербург и в Исполн. Комитете Мстиславский узнал о состоявшемся с правительством соглашении. Смысл его, по докладу Чхеидзе, протокол передал так: “Тов. Чхеидзе докладывает, что Николай II уже прибыл в Царское Село. Под давлением Исполн. Ком. Врем. Прав. отказалось от мысли разрешить

---

<sup>43</sup> Наименование эмиссара “Манковским” в дневнике довольно характерно. Мстиславский рассказывал, что Бенкендорф негодовал: “И как вы, именно вы, с прошлым вашего рода, могли пойти на такое оскорбление Величества... и в таком виде”. Престарелый церемониймейстер Двора знал отца Масловского, он едва ли мог об этом забыть, внося соответствующие строки о рейде Масловского-сына.

<sup>44</sup> Растерянность эмиссара несомненна – этим и объясняется то фанфаронство, которым пронизаны его воспоминания. Но не одна только “растерянность” определила неудачу экспедиции.

Николаю Романову выехать в Англию без особого на то согласия Исп. Ком. Временно он оставлен в Царском Селе. Времен. Правит. и министр юстиции Керенский гарантируют, что он никуда не уйдет. Врем. Прав. согласно, чтобы Исполн. Ком. назначил в Царское Село своего комиссара для надзора, дабы Николай II никуда не уехал. В дальнейшем вопрос о Николае Романове будет разрешен по соглашению с Исп. Ком. Заслушав этот доклад, Исп. Ком. постановил снять охрану с вокзалов, кроме Царскосельского вокзала, послать комиссаров в Царское Село и на станцию Тосно, окончательный же вопрос о Николае II обсудить и решить завтра. Кроме того, решено принять меры, чтобы в будущем можно было быстрее производить мобилизацию воинских частей”. Комиссаром в Царское Село на этом собрании был избран Мстиславский – так он утверждает. Тут же ему был вручен мандат на “арест и содержание под стражей особ бывшей императорской фамилии”. Мстиславский с подчеркнутостью говорит, что он отказался от предложенной чести наотрез: “Съездить в Царское, как ездили мы 9 марта, и быть комиссаром по арестованию не одно и то же”. Отказ Мстиславского протокол не зарегистрировал, но и в этом, как и в последующих заседаниях, никаких комиссаров больше не избиралось. Не наступило и того “завтра”, о котором говорит протокол. Наваждение, охватившее Исполн. Ком., прошло<sup>45</sup>. Получив гарантию от правительства, никогда уже впредь Исполн. Ком. не возвращался к судьбе царской семьи. Никто не вспоминал, что Исп. Ком. требовал не только ареста Николая II и Алекс. Фед., но и всех членов династии. Во всяком случае официальные протоколы этого не отмечали.

Завершением советской эпопеи с арестом бывш. Императора надо считать заседание совета 10 марта, на котором Соколов дал как бы формальный отчет от имени Исполн. Ком. В отчете были черты, заслуживающие внимания: “Вчера, – говорил Соколов – стало известно, что Временное Правительство изъявило согласие на отъезд Николая II в Англию и даже вступило об этом в переговоры с британскими властями без согласия и без ведома Исполн. Ком. Совета Р. Д.<sup>46</sup> При таких условиях мы решили действовать самостоятельно. Мы мобилизовали все находящиеся под нашим влиянием воинские части и поставили дело так, чтобы Николай II фактически не мог уехать из Царского Села без нашего согласия. По линиям жел. дорог были разсланы соответствующие телеграммы, призывающие железнодорож. рабочих и начальников станций задержать поезд Николая II, буде таковой уйдет. На этом мы, однако, не успокоились, мы командировали своего комиссара на Царскосельский вокзал и в Царское Село, отрядив соответствующее количество воинских сил с броневыми автомобилями, и окружили Александровский дворец плотным кольцом<sup>47</sup>. Этим путем мы поставили Николая II в невозможность уехать из-под нашего надзора. Затем мы вступили в переговоры с Врем. Правят., которое санкционировало наши предприятия (в другом газетном отчете сказано: после некоторых колебаний). В настоящее время бывший Царь находится не только под надзором Времен. Прав., но и под нашим надзором. Однако арестом Николая II не исчерпывается вопрос о династии. Мы должны обсудить не только политические права бывшего Царя, но и его имущественные права. У Николая II есть целый ряд имуществ в пределах России и огромные денежные суммы в английском и других иностранных банках. Надо перед его высылкой решить вопрос об его имуществе. Когда мы выясним, какое имущество может быть признано его личным и какое следует считать произвольно захваченным у государства, только тогда мы выскажемся о дальнейшем”.

После небольших прений собрание, конечно, одобрило действия Исп. Ком., но несколько голосов раздалось о заключении Царя в Трубецкой бастион – так вела себя “разнузданная толпа совдепии” (Коковцев).

---

<sup>45</sup> В газетах на другой день сообщалось, что по Петрограду распространился слух, что царь бежал.

<sup>46</sup> Доклад о постановлениях Исп. Ком. 3, 6 и 8 марта не упомянули.

<sup>47</sup> Революционное творчество Соколова превзошло беллетристику Мстиславского.

Необходимо обратить внимание на то, что в докладе Соколова не было ни слова о возможности предать революционному суду бывшего монарха; не было намека на юридическое расследование его “преступлений перед народом” и т.п. Говорилось только о высылке, которая ставилась в связи с разрешением имущественного вопроса.

Как реагировало правительство на советские претензии?.. Официально никак, но в “Бирж. Вedom.” появилось сообщение о судьбе Николая II и его семьи от имени кн. Львова и Керенского в день, когда Соколов делал доклад в Совете “об аресте низложенного Императора”. – “Вопрос этот, – сказал сотруднику газеты министр-председатель, – был подвергнут обсуждению в совете министров еще вчера. Большинство склоняется к необходимости отправить бывшего Царя со всей его семьей в Англию. Вопрос об удалении династии из пределов России во всяком случае сомнений не вызывает. Окончательного решения вчера вынесено не было, но если самый вопрос решается просто, то порядок его осуществления должен быть подвергнут детальному рассмотрению. В течение ближайших дней вопрос о дальнейшем месте пребывания бывшего Царя и о порядке его следования из пределов России будет вынесен окончательным образом, и тогда Временное Правительство опубликует принятое решение во всеобщее сведение”.

Министр юстиции со своей стороны заявил, что он располагает “несомненными доказательствами, что значительное число бывших охранных агентов старого правительства, находящихся еще на свободе, специально занимается распространением всякого рода нелепых слухов, направленных к тому, чтобы волновать русское общество, и что в настоящее время эти господа избрали своей излюбленной темой вопрос о судьбе низложенного (термин, входящий в обиход) Царя и пускают по этому поводу самые невероятные версии. Он категорически заявляет, что как бывший Царь, так и вся его семья находятся под самым строгим и неусыпным контролем Времен. Прав. Вопрос о дальнейшей судьбе Николая II и его семьи будет выяснен в течение ближайших дней, и об его решении русский народ будет немедленно извещен официальным сообщением Временного Правительства”.

Обещанного официального сообщения так и не последовало. Показательно, что в первом заседании так называемой “контактной комиссии” между правительством и советом, собравшейся через день после бурного дня 9 марта, о династии ничего не было сказано<sup>48</sup>, – этот вопрос даже не отмечен в официальном отчете советской делегации в Исполнительном Комитете. Реально советская делегация провела лишь перемену ведомства, в руки которого были отданы Царскосельские узники. Они перешли на усмотрение и попечение министра юстиции, формально состоящего и товарищем председателя Совета – этим как бы обеспечивалось недреманное око советского представительства... “Временное Правительство поручило мне охрану императорской семьи и сделало всецело меня ответственным за ее безопасность”, – скажет в воспоминаниях Керенский (“возлагая эту тягчайшую обязанность на меня” – в другом варианте). Трудно установить точную дату этой перемены – в первый раз Керенский появился в Царском Селе 21 марта.

Совет стал мало интересоваться и постепенно как бы забывать о заключенных в Александровском дворце, живших своей особой жизнью, далек от столичных тревог. О них запоздало и довольно случайно вспомнили через две недели на Всероссийском совещании Советов, когда Стеклов в докладе своем об отношениях совета и Времен. Правительства, предварительно не просмотренных и не одобренных Исп. Ком., пытался оживить интерес к этому вопросу.

Династия Романовых служила лишь одной иллюстрацией к положению о – “двоевластии”. Стеклов, допуская большие фактические неточности, говорил: “Вы знаете

---

<sup>48</sup> Или почти ничего, ибо, по воспоминаниям Суханова, Стеклов все-таки “препирался насчет имущества Романовых”. В связи с этим разговором о царском имуществе правительство поспешило объявить недвижимое имущество и денежные капиталы, находившиеся в ведении “Собств. Е. И. В. Кабинета”, государственным достоянием (постановление 12 марта).



роль, которую играла династия Романовых, вы знаете, что она губила русский народ, что она ввела у нас крепостное право, что она поддерживала себя штыками и нагайками и земскими начальниками, вы знаете, что эта династия, самая злобная и пагубная для всех, обладает колоссальными средствами, награбленными у народа, помещенными в заграничных банках, и эта династия после переворота не была лишена своих средств. Мало того, мы получили сведения, что ведутся переговоры с английским правительством о том, чтобы Николая и его семью отпустить за границу. Товарищи солдаты и рабочие, вы понимаете прекрасно, какой угрозой было бы для русской свободы, даже для военного дела русской обороны появление Николая Романова теперь за границей, и вы понимаете, с какой энергией Исп. Ком. должен был протестовать против самой возможности такой идеи. И когда мы однажды от наших товарищей – железнодорожных служащих, рабочих и солдат – получили известие о том, что по Царскосельской дороге движутся два(?) литерных поезда с царской семьей в Петроград(?), когда мы подозревали, что ему подготавливается путь через Тосно в Англию или вообще за границу, – что мы должны были тогда делать: испугаться призрака двоевластия или принять самые энергичные меры, чтобы избежать побега этого тирана?.. Исполн. Ком. немедленно мобилизовал часть Петроградского гарнизона, занял вокзалы, разослал команды, дал отсюда радиотелеграммы по всей России арестовать и задержать (голоса: “Браво!”). Аплодисменты). Господа, мы исполнили свой долг (голоса: “Честь и слава вам, товарищи!”) и лишь впоследствии из разговоров с Времен. Правительством узнали, что оно их уже арестовало, правда, не так, как мы хотели, но все же арестовало. И когда мы сделали Времен. Прав. от Исполн. Ком. заявление, в котором указали, что отнюдь не из мотивов личной мести или желания возмездия, хотя бы и заслуженного этими господами, но во имя интересов русской свободы и революции, столь дорого завоеванной русским народом, мы признали необходимым немедленный арест всех без исключения членов бывшей царской фамилии, а также конфискацию всех их имуществ, движимых и недвижимых и содержание их под строгим арестом. До тех пор, пока не последует отречение их от капиталов, которые они держат за границей, в которых нельзя иначе оттуда достать (бурные аплодисменты), отречение их всех и их потомков от всяких притязаний на российский престол и лишение их навсегда российского гражданства (бурные аплодисменты). Разрешение же вопроса о дальнейшей участи лиц бывшей императорской фамилии должно последовать не иначе, как по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов (голоса: “Правильно!”). Аплодисменты). И, наконец, допущение комиссара Совета Рабочих и Солдатских Депутатов к участию в их аресте, содержания их под стражей и ведении с ними переговоров по вопросам, о которых я вам уже говорил. Товарищи, из этого требования только часть, как вы знаете, осуществлена до сих пор, а остальную своим воздействием и давлением мы заставим постепенно осуществить. Пусть же воля ваша, воля всего русского народа и русской армии, скажет определенно, что они с нами солидарны, и тогда мы не с такой энергией, как сейчас, будем требовать осуществления всех этих требований”.

Мы видим, что и в данном случае демагогия Стеклова не пошла в сущности дальше призыва “содержать... под стражей, пока не последует отречение от капитала...”<sup>49</sup>. Но

---

<sup>49</sup> Молва о колоссальных средствах императорской фамилии за границей имела самое широкое распространение и шла давно (в дневнике ген. Богдановича еще в 1906 г. отмечены слова петербургского градоначальника Клейгельса, что у Царя “больше миллиарда”). Никто из советских “демагогов” 17 г. не считал своим долгом предварительно навести справки и молву сопоставить с действительностью. Слух о богатстве был бесконечно преувеличен. Мне трудно за отсутствием конкретных данных иметь собственное суждение по этому вопросу. Отмечу, что в 30 г. по инициативе бывшего посла Гирса в Париже состоялось совещание (Гирс, Коковцев, Бернацкий и др.) для объяснения появившихся в иностранной печати известий о денежном имуществе царской фамилии вне пределов России. Совещание пришло к заключению, что сколько-нибудь значительного имущества за границей не было и что, по всей вероятности, немного, что лежало на счетах в Германии, подверглось последствиям инфляции (“Возрождение”). На заседании б. мин. финансов Времен. Прав. последнего состава указывал, что Керенский в заседании правительства во второй половине июля на замечание “некоторых членов правительства – социалистов, что Николай II, находясь за границей, при помощи своих средств, там находящихся, может организовать контрреволюцию”, – ответил: “Все слухи о таких

характерно, что в прениях никто, несмотря даже на “бурные” проявления сочувствия в отдельные моменты речи Стеклова, абсолютно никто не поддержал призывов докладчика, и они не нашли себе отклика в революции<sup>50</sup>.

Только председатель Совета Чхеидзе, человек незлобивый, желая проявить остроумие, вспомнил довольно неуместно о Царе, приветствуя появившегося на заседании Плеханова: “Товарищи, десяток лет дорогой наш учитель и товарищ Георгий Валентинович был в изгнании. После революции само собой возник вопрос о том, что дорогой наш товарищ вернется в наши ряды, и как раз в тот самый момент случилась очень любопытная история: кровавый Николай захотел быть изгнанником, захотел, чтобы его отпустили в Англию или еще куда-нибудь подальше. Мы сказали: “Нет, подожди. Пусть это будет здесь, когда приедет Георгий Валентинович и на свободе будет обсуждать интересующие нас вопросы и бороться за интересы народа и вести в наших рядах ту борьбу, которая давно начата. И вот он сидит там, товарищи, а Георгий Валентинович сидит свободный перед нами, вот здесь...”

Можно ли согласиться после всего сказанного, что советские демагоги с “энергией” настаивали на заключении Царя в Петропавловскую крепость, как это утверждает Керенский во французском издании своих воспоминаний?.. Я не нашел данных, подтверждающих и положение Коковцева, что после 9 марта агитация левых элементов росла и обострялась, принимая форму прямой угрозы со стороны рабочих.

## 2. Инициатива правительства

Составителям “хроники февральской революции” в 24 г. была не ясна роль правительства в вопросе, который вызвал конфликт 9 марта. “Существующие материалы не проливают достаточно света на этот момент, – писали они. – Действительно была ли такая

---

средствах ни на чем не основанная легенда”<sup>51</sup>. По словам самого Керенского, по сведениям Времен. Правит. имущество царской семьи в это время определялось суммой в 13 млн рублей. Газетные сведения, которые выяснила и опровергла комиссия, созданная Гирсом, определяла капиталы семьи, находящиеся в Английском банке, в 15 млн фунтов. Газеты сообщали, что юридический отдел английского парламента выделил специальную комиссию для выработки компромиссного решения. Предполагалось будто бы создание высшего третейского суда в составе наиболее выдающихся международных юристов под председательством кого-нибудь из царствующих королей (свед. 26 г.).

Личные капиталы царской семьи в России по записи Бенкендорфа в конце мая 17 г. по выяснении вопроса правительственным комиссаром Головиным с дворцовым ведомством определялись в 1 млн у царя и 1,5 млн у царицы.

<sup>50</sup> В прениях откликнулся лишь с. р. Гендельман, сказавший: “Тов. Стеклов сорвал аплодисменты, рассказывая случай о том, как пытались увезти Николая II за границу, и считал это тоже одним из тревожных симптомов. Товарищи, я должен напомнить, что, когда министр Керенский был у нас в Москве – еще до того, как пытались увезти Николая Романова за границу, он об этом говорил, следовательно, тайны из этого не делалось. Керенский сказал – что вот я вернусь в Петроград и в особом поезде лично, еще с кем-то, отвезу Николая Романова в один из приморских городов, откуда его отправят в Англию, и что это заявление вызвало шумные аплодисменты, целую овацию. Я тоже за то, чтобы Николай Романов оставался здесь под арестом. Но если Московский Совет Р. Д. не усмотрел большой опасности в отвозе за границу, то толковать это, как тревожный симптом, как тактику Врем. Прав. помимо Совета Раб. Деп. проделать то, что является преступным, недопустимо. Затем докладчик говорил, что нужно арестовать всех великих князей, пока они добровольно не отрекутся от принадлежащих им капиталов в Англии, – опять-таки шумно ему аплодировали, а это, я говорю, не так просто. Ведь английское правительство, которому придется выдавать эти капиталы русскому правительству, может быть, скажет: – сомнительна добровольность такого отречения, которое сделано под угрозой, что иначе из-под ареста не освободят. Может быть, есть и другие шаги к получению этих капиталов: просто вступить в переговоры с Англией, установить, что – деньги народные, что правительство русское требует, чтобы это деньги были возвращены, а не скрываться за этой юридической, я бы сказал, казуистикой, требуя такого сомнительного отречения на бумаге, о котором говорил тов. Стеклов. Вот все такие были мелкие факты. Вообще мне представляется, что это не был деловой анализ: то был какой-то фельетон (голоса: “Правильно!”. Рукоплескания), которым он увеселял нас...”

опасность отъезда Николая, причем правительство выступало прямым пособником, и соответствовали ли мероприятия Исполн. Комитета реальной обстановке, или опасность, порожденная ложным слухом, приняла в представлении деятелей Совета прозрачно грозные формы – трудно установить”. Ответ как будто ясен из всего изложенного. “Неоспоримым фактом” является утверждение, что до ареста Николая II никаких реальных шагов к содействию вывозу царской семьи в Англию правительство не предпринимало и ни в чем не проявляло своей инициативы. Оно не противилось этому, не скрывало такой возможности и как-то странно полагало, что этот отъезд совершится сам собой. Для управляющего делами правительства так и осталось неясным, были ли приняты в первые дни какие-нибудь меры для отъезда царской семьи в Англию. “Думается, что нет”, – писал он в воспоминаниях.

Заявления Керенского в Москве были больше декламационного характера (по его словам, он сделал лишь намек (*allusion*), а большая пресса приняла этот намек за решение); газетные сообщения о миссии Гучкова заставили связать мысль об отъезде царской семьи в Англию с подготовительными мерами, уже принятыми якобы правительством. Лишь 8 марта, в день ареста Царя, конкретно был поставлен этот вопрос министром иностр. дел перед английским послом, и вот в какой обстановке, рассказывает Бьюкенен: “Я спросил Милюкова, правда ли, как передают в печати, что Государь арестован. Он ответил, что это не вполне правильно: “Его Величество только лишен свободы, – более мягкое выражение, – и будет перевезен в Царское Село под конвоем, присланным ген. Алексеевым”. Я тут же напомнил ему, что Государь – близкий родственник и интимный друг Короля, который будет рад получить заверение, что будут приняты все меры предосторожности к его охране”. Милюков дал мне подобное заверение. Он сказал, что не стоишь за то, чтобы Государь отправился в Крым, как он сначала предполагал сделать, а предпочел бы, чтобы он оставался в Царском Селе, пока дети не выздоровеют от кори, после чего императорская семья может уехать в Англию. Он спросил меня, делаем ли мы приготовления к их приему. На мой отрицательный ответ он сказал, что очень бы хотел, чтобы Государь как можно скорее покинул Россию. Ввиду этого он был бы очень благодарен, если бы правительство Его Величества предложило ему приют в Англии и если бы сопровождало это предложение заверением, что Государю не будет разрешено покинуть Англию во время войны”.

Процитированное место в воспоминаниях посла являлось как бы ответом на статью кн. Палей, напечатанную в *Revue de Paris* 15 марта 23 г. Излагая свидание с русским министром ин. дел, английский посол использовал свое тогдашнее донесение в Лондон<sup>51</sup>, – его, как и последующие донесения, привел в своих воспоминаниях Л. Джордж.

В тот же день Милюков был у Палеолога. Тот записал: “Арест Императора и Императрицы сильно волнует Милюкова... Он просит Бьюкенена немедленно телеграфировать в Лондон и настаивать на срочном ответе (*d’extreme urgence*)... Для нас это последний шанс спасти свободу и, быть может, жизнь этих несчастных”. Подобный пессимизм не совсем соответствовал тогдашним настроениям министра иностр. дел, как можно судить по другим сопоставлениям – сам Милюков склонен был впоследствии возражать против преувеличений в оценке советской энергии и объяснял это преувеличение болезненным состоянием (наприм. Гучкова): – на деле вожди “совдепа” прекрасно сознавали свою тогдашнюю неготовность к серьезной борьбе с только что создавшейся властью (“Кто виноват?”).

Настойчивость министра иност. дел следует скорее объяснить впечатлением, которое он получил от разговора с английским послом, – довольно ясно сказалось, что акт ареста встретил крайне неблагоприятное отношение в дипломатических кругах и лишь осложнил международные отношения. Поэтому министр и “счел своим долгом вступить в

---

<sup>51</sup> Того же 8 марта посол между прочим сообщил, что он выразил пожелание, чтобы английскому военному представителю было разрешено сопровождение Государя для большей безопасности (Вильямс об этом непосредственно телеграфировал послу). “Я получил ответ, – доносил Бьюкенен, – что в этом нет ни малейшей надобности, и правительство предпочитает, чтобы этого не было”.

переговоры”: “Категорически утверждаю, – показывал Милюков Соколову, – что таково было желание Временного Правительства”. “Желание” не означает еще решения. Это подтвердил Соколову министр-председатель: “Ввиду внутреннего положения отъезд представлялся желательным. Говорили обе – Англия и Дания. Вопрос не был поставлен на решение Времен. Правит, но, кажется, министр иностран. дел изучал этот вопрос”. – “Не знаю, почему ничего из этого не вышло”, – характерно добавлял кн. Львов. – Времен. Прав. сделало попытку осведомиться перед английским правительством относительно возможности перевода царского семейства в Англию”, – с своей стороны утверждал министр юстиции, которому были поручены правительством заботы об арестованных.

“Я сразу протелеграфировал в мин. иностр. дел за необходимыми полномочиями, – вспоминает Бьюкенен. – 23 марта (т.е. 10-го по старому стилю) я уведомил Милюкова, что Король и правительство Е. В. счастливы присоединиться к предложению Времен. Правительства о предоставлении Государю и его семье убежища в Англии, которым Их Величества могут пользоваться в продолжение войны. В случае принятия этого предложения русское правительство, естественно, озаботится обеспечением их необходимым содержанием. Уверяя меня, что им будет дана щедрая пенсия, Милюков в то же время просил не придавать гласности того, что Врем. Прав. взяло на себя в этом деле инициативу<sup>52</sup>. Я затем выразил надежду, что, не теряя времени, будет приступлено к приготовлениям к отъезду Их Величеств в порт Романов”.

В своих воспоминаниях Бьюкенен передавал лишь официальный документ, препровожденный в мин. инос. дел и сообщенный лично Милюкову при свидании<sup>53</sup>. В донесении в Лондон посол подчеркивал, что в своем ответе он просил министра “особенно отметить, что ваше приглашение делается исключительно в ответ на указание его правительства”. Очевидно, боялись упреков во вмешательство во внутренние дела страны<sup>54</sup> и своих “левых”. В воспоминаниях Бьюкенен писал: “Мы также имели своих крайних левых, с которыми приходилось считаться, и мы не могли взять на себя почина без того, чтобы нас не заподозрили в видах на дальнейшее. Интересно в официальном донесении посла и пояснение, касающееся финансовой стороны проекта о предоставлении Царю гостеприимства в Англии – оно расходится с указанием в воспоминаниях на согласие Милюкова дать „щедрую пенсию“; в донесении Бьюкенен сообщал, что „по сведениям министр. иностр. дел Царь имеет достаточные личные средства; во всяком случае, финансовый вопрос будет улажен на широких основаниях...“

Хотя Бьюкенен телеграммой в Лондон 11 марта говорил, что “по вопросу о

---

<sup>52</sup> В донесении в Лондон Бьюкенен отмечал, что опасение Милюкова заключалось в том, что “левое крыло может восстановить общественное мнение против выезда из России, хотя министр питал надежду, что правительству удастся справиться с оппозицией, оно еще не приняло окончательного решения”.

<sup>53</sup> Это не была только “вербальная нота”, как утверждает Керенский. Со свойственной ему небрежностью мемуарист согласно английского правительства относит на 8 марта. Если письмо Бьюкенена 10 марта ссылается на беседу с Милюковым 8 марта, то потому только, что в этот день вопрос был затронут впервые, – как бы вообще в информационном порядке.

<sup>54</sup> В этом отношении характерна телеграмма Извольского из Парижа, приводимая в документах, опубликованных Сторожевым в журнале “Дела и Дни” в 1921 году. Журнала у меня нет под рукой, и я цитирую по статье Бойкина, приводящего телеграмму из перевода статьи Сторожева “Дополнения к революции” в журнале: “Nachrichtenblatt über Jstfragen”. Извольский телеграфировал Милюкову 19 марта: “Косвенным путем я узнал, что здесь есть несколько лиц, которые стараются побудить французское правительство обратиться в Петроград с дружественным представлением о необходимости охраны бывшего императора и его семьи от угрожающей им опасности. Я счел своим долгом в частной беседе с г. Камбоном предостеречь его от подобного шага. В настоящем составе врем. правительства, – сказал я, – подобные опасения являются совершенно неосновательными... и потому подобное представление могло бы показаться у нас не только не нужным, но даже оскорбительным...”

безопасности нет повода для какого либо опасения”, он в своем официальном отношении в русское министерство счел долгом засвидетельствовать, что “всякое оскорбление, нанесенное бывшему Императору или его семье уничтожит симпатии, вызванные мартом, ходом революции и унизит новое правительство в глазах мира”<sup>55</sup>.

11 же марта в Петербург в английское посольство дошла присланная из Ставки запоздавшая первая телеграмма английского короля на имя ген. Вильямса, текст которой был приведен выше.

“В это время, – поясняет Бьюкенен, – Государь уже был пленником в своем дворце, и мне и моим коллегам было запрещено поддерживать какие-либо отношения с ним. Единственно возможным для меня путем было просить Милюкова передать ее немедленно Его Величеству. Посоветовавшись с кв. Львовым, Милюков согласился сделать это. Однако на следующий день (25 марта) он сказал, что, к сожалению, он не может сдержать своего обещания, так как крайние левые сильно воспротивились мысли, что Государь уедет из России, и правительство боялось, что слова короля будут неправильно истолкованы и послужат поводом для его задержания!!! Я возразил, что нельзя придавать никакого политического значения телеграмме Короля: вполне естественно, что Е.В. желает передать Государю, что он думает о нем и что постигающее его несчастье никоим образом не повлияет на их чувства дружбы и взаимной привязанности. Милюков сказал, что он лично прекрасно понимает это, но другие могут истолковать дело иначе, а потому в данное время лучше телеграммы не передавать. Ввиду этого мне было поручено ничего больше не предпринимать по этому вопросу”.

Соколову Милюков дал иное объяснение: министр иностр. дел вернул телеграмму по формальным основаниям – она была отправлена Государю Императору, а Николай II им уже не был... Вильсон, постоянный петербургский корреспондент “Таймс”, неосновательно утверждает, что задержка телеграммы Георга V, заключавшей в себе будто бы приглашение Царя в Англию, лишила царскую семью “последнего способа спасения”.

На другой день, 13 марта, с некоторым удивлением посол узнал, что представители правительства “еще не говорили с Государем о предполагаемом путешествии, так как им необходимо преодолеть оппозицию Совета<sup>56</sup>, а Их Величества все равно не могут уехать до выздоровления детей”. Однако никаких мер для преодоления оппозиции в Совете правительство не предпринимало, если не считать гипотетического расчета на время, о котором говорит Милюков, – “предстояло ведь введение деятельности Совета в более нормальные рамки” (статья “Кто виноват”).

Фактически Царь был осведомлен об отсрочке отъезда и, не отдавая себе отчета, был даже рад этой отсрочке. 11 марта он занес в дневник: “Утром принял Бенкендорфа, узнал от него, что мы здесь останемся еще довольно долго. Это приятное сознание. Продолжаю сжигать письма и бумаги” (этим автор занимался и накануне). Отсрочка в сознании заключенных, очевидно, связывалась лишь с оппозицией, которую встретил проект отъезда в советских кругах. Нарышкина так и записывает 13 марта: “Революционная партия не согласна отпустить Государя, опасаясь интриги с его стороны и предательства тайн”. В книге, имевшей специальное назначение покончить с легендами и дать “фотографическое” изображение того, что было, Керенский, игнорируя обязательство, принятое правительством перед Исполн. Ком. 9 марта, считая его словно не бывшим, объясняет задержку в отправке царской семьи необходимостью в первые революционные дни дожидаться момента наиболее благоприятного в психологическом отношении, когда можно было бы практически организовать поездку: “Во всеобщем хаосе, который царил в первые дни революции,

---

<sup>55</sup> Отмечу запись Палеолога, не давая ей веры. Милюков будто бы сказал печально: “Увы, боюсь, что это уже поздно”.

<sup>56</sup> В официальном донесении в Лондон сначала было сказано: “справиться с оппозицией левого крыла”.

правительство не было еще окончательно хозяином в административной машине: пути железнодорожного сообщения в особенности находились в полном распоряжении всякого рода союзов и советов. Было невозможно перевезти Царя в Мурманск, не подвергая его серьезной опасности. В течение переезда он мог попасть в руки “революционных масс” и оказаться скорее в Петропавловской крепости и, еще хуже, в Кронштадте, чем в Англии. Могло быть еще проще: вспыхнула бы забастовка в момент отъезда, и поезд не отошел бы от станции. “Первые дни” затянулись и превратились в недели. Английскому послу на его настойчивые запросы<sup>57</sup> отвечали: “По состоянию здоровья больных великих княжен нельзя предпринять решительно ничего” по поводу выезда, и посол сообщает в Лондон, что еще “ничего не решено относительно отъезда в Англию” (19 марта). “Здоровье великих княжен” становится почти формальной отпиской, как об этом можно судить по дневнику Царя. По существу вопрос остается открытым. Жильяр со слов, правда, Наследника, записал, что Керенский при первом свидании с Царем 1 марта очень общо говорил об отъезде семьи: “Когда, как, куда? Он сам об этом хорошенько не знал и просил, чтобы об этом не говорили”.

23 марта Царь записывает: “Разбирался в своих вещах и в книгах, и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уехать в Англию”. 27 марта Бьюкенен осведомляет Лондон о своем разговоре с Керенским, который просил его не производить давления с целью ускорить возможность отъезда, так как “Царь не в состоянии выехать в Англию в течение ближайшего месяца, пока не будет окончен разбор взятых у него документов”. Нельзя не признать, что заявление Керенского находится в полном противоречии с той цитатой из “La Verité”, которая была проведена. Здесь следует остановиться и предварительно расшифровать заявление министра, сделанное английскому послу в достаточно дипломатической форме. Только раскрытие всех внутренних связей может объяснить затяжку с отъездом царской семьи, которого так желало Времен. Правит. и на котором так настаивало правительство английское.

В изображении быв. министра иностр. дел нить переговоров неожиданно оборвалась, и проект переезда царской семьи за границу сразу падает потому, что изменилась точка зрения английского правительства.

Когда Милюков “через некоторое время” (мы видим, что за истекшее время министр иностр. дел был в довольно оживленных сношениях с послом, вызванных настойчивой инициативой именно посла) спросил Бьюкенена, что делается для посылки условленного крейсера для перевозки царской семьи, он услышал от него неожиданный ответ: “Английское правительство не настаивает больше на своем предложении. “Память не могла мне изменить в этом случае”, – писал Милюков, в 36 г. возражая Коковцеву<sup>58</sup>. Весь вопрос, когда именно и при каких условиях произошел этот отказ. Именно этого самого важного память Милюкова не зафиксировала. Он поспешно присоединяется к версии, устанавливаемой разоблачением дочери Бьюкенена, которая утверждала в книге “Развал Империи” (32 г.), что отец не получил сакраментальную телеграмму из Лондона 10 апреля нового стиля, т.е. 28 марта по русскому счету, – таким образом, на другой день, когда коллега министра иностр. дел осведомил английского посла, что Царь не сможет выехать раньше месяца. (Зачем нужно было мин. иностр. дел при таких условиях настаивать на скорейшем прибытии “условленного крейсера”?) Эта телеграмма, как передает дочь посла, не заключала прямого отказа – рекомендовалось лишь послу “отговорить императорскую семью от мысли приехать в Англию...”

Всей этой истории мы еще коснемся, и с большой очевидностью увидим, что в

---

<sup>57</sup> Бьюкенен говорил проф. Пэрсу, что он не будет спокоен, пока Царь не покинет Россию.

<sup>58</sup> Об этой беседе с Бьюкененом Милюков говорил еще в 21 г. в “Послед. Нов” в связи с напечатанными в немецком журнале документами из архива русского Мин. ин. дел. Эта публикация и послужила началом к полемике о судьбе царской семьи, в которой принял участие и Керенский.

действительности правительство при своей колеблющейся политикой само оставалось как бы в неведении относительно окончательного решения, которое всецело ставилось в зависимость от результатов расследования, предпринятого учрежденной при генерал-прокуроре Чрезвычайной Следственной Комиссии<sup>59</sup>.

Министр иностр. дел, очевидно, счел тогда свои функции по выполнению морального обязательства правительства законченными. Никаких попыток выяснить вопрос и воздействовать на английское правительство проявлено не было. Факт этот как нельзя больше оттеняет ошибочность впечатления французского посла о взволнованности в день ареста бывшего Императора министра иностр. дел революционного правительства, видевшего в отъезде царской семьи не только последний шанс для ее спасения, но чуть ли не всей революции.

Чрезвычайно характерная черта отмечена в воспоминаниях исполнявшего обязанности русского посла в Англии Набокова (брата управляющего делами Времен. Правительства).

“О том, что происходило в России и в частности в Петрограде, несмотря на мои повторные просьбы, мы узнаем только из газет и от случайных проезжих русских, но не от министров... Ни одного письма я от министров не получал... Тесного контакта, откровенного обмена мыслей, таким образом, не установилось...”

Довольно любопытный итог, который подвел впоследствии сам министр иностр. дел. По его мнению, “Времен. Правит. могло бы до момента отказа и должно было бы сыграть более активную роль. Этому помешал его состав”. С себя Милюков снимает, конечно, ответственность. Тот, кто будет опираться на действительность “беспорных исторических фактов”, присоединится ли, однако, к индивидуалистическому подходу мемуариста?..

## Глава третья РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

### 1. Общество и народ

Вырубова рассказывает, что Государь вечером в день возвращения в Царское, окончив свою скорбную повесть о пережитом за истекшие дни, сказал с горечью: “Нет правосудия среди людей”. Я взял эту цитату из стилизованных воспоминаний Вырубовой только потому, что ею воспользовался Троцкий для того, чтобы произнести весьма рискованную для себя, как адепта “красного террора”, сентенцию. “Эти слова, – написал он, – непреложно свидетельствуют, что историческое правосудие, хотя и позднее, но существует”. Историческое правосудие, если таковое существует, никогда не сопоставит с нравственной стороны облик человека, своей ужасной смертью купившего все, подчас невольные, грехи перед страной и народом, со зловещей фигурой сознательного палача – пусть даже “идейного”.

Смерть Троцкого от мстительной руки убийцы – прежнего единомышленника – может быть моральным искуплением.

Николай II имел право с своей точки зрения говорить о людской несправедливости. В жизни он пытался руководиться “совестью” – так, как ее понимал. Ему казалось, что он сам ушел от власти, и, быть может, он искренно верил в возможность для себя спокойной, новой частной жизни в кругу семьи<sup>60</sup>. Эта личная двойная драма не могла быть воспринята современниками – обстоятельство, которое положило определенный отпечаток на

---

<sup>59</sup> В апреле министр юстиции не разрешил вел. кн. Павлу выехать за границу, сославшись в беседе с женой его на препятствия со стороны Совета.

<sup>60</sup> Коцебу рассказывал Карабчевскому, что царь подчеркивал, что войска должны присягнуть временному правительству, а Жильяр рассказывал, что он набожно крестился, когда священник поминал правительство.

отношение к бывшему Императору и его судьбе. Революция произошла, как было отмечено, в атмосфере глубокой враждебности к Николаю II и к его жене, – далеко не только в либеральной и демократической среде. И было бы грубым нарушением исторической перспективы эту психологию момента подлаживать под наше позднейшее восприятие. Историк должен, конечно, нарисовать иной облик, далекий от непосредственного представления о нем, какое было до революции. Из воспоминаний Керенского видно, как личные сношения с заключенным изменили взгляды революционера на Царя: “Для меня, по крайней мере, он не является тем не человеческим чудовищем, каким он мне представлялся прежде”. Керенский различил человеческое существо под маской Императора “La verit&#233;”. Быть может, это сказано слишком сильно, но передает суть того, что в большей или меньшей степени испытывал каждый из нас, современников погибшего Императора, при ознакомлении с раскрывавшимися перед нами историческими документами. В этом человеке было какое-то личное обаяние (Троцкий, конечно, знал, что только “льстецы” называли его “шармером”). Керенский мог непосредственно подчиниться этому гипнотическому влиянию. Об удивительных синих глазах говорила не только жена в письмах, но и многие другие, в том числе и Керенский. Бьюкенен отмечал необычайное природное обаяние Императора.

Труднее попасть под гипноз, отвлеченно изучая материалы в виде интимных писем, дневников, воспоминаний и т.д., в таком изобилии появившихся после революции. До переворота наши суждения о личности царствовавшего монарха опирались на формальное восприятие фактов, проходивших перед нашими глазами, и на субъективно толкуемое, – на слухи, легенды и т.п. Многие из них, при изучении документов, разорялись, как дым. Исключительно достойное поведение Царя в течение всего периода революции заставляет проникнуться к нему и уважением, и симпатией. Впрочем, я готов заранее признать, что нашим современникам непосильно объективное начертание облика последнего русского Императора (по крайней мере – императора-самодержца) – на наше восприятие всегда слишком сильно будет давить мученический венец, принятый царской семьей в ночь екатеринбургских ужасов...

Иностранцу, воспитанному в английской парламентской традиции, может показаться, что если во время революции – в момент коллективной истерии – люди знали бы то, что мы знаем теперь о вмешательстве верховного властителя в управление Империей, вероятно, его судьба была бы предрешена гораздо раньше. Это – заключение проф. Пэrsa, написавшего предисловие к книге Керенского. Русский историк и современник не может не прийти к выводу противоположному: то, что мы знаем теперь, только смягчает и значительно ослабляет мрачную картину дореволюционного прошлого, которую современники воспринимали с большой, подчас болезненной остротой. С этим заостренным чувством враждебности к династии современник вошел в революционную полосу. Мимо его сознания прошло и то, что сделавшийся ненавистным Царь отрекся от престола добровольно. Моральное обязательство, которое перед ним приняло на себя правительство, было совершенно чуждо восприятию подавляющей части либеральной и демократической общественности. Почему?.. В самой форме, в которой был опубликован акт отречения, как бы отсутствовал момент добровольного согласия, манифест, контрастированный подписью министра двора Фредерикса, был помечен 12 часами 2 марта вопреки псковскому соглашению. Правда, в рассказе депутата Шульгина, напечатанном в газетах через несколько дней и данном в порядке частного осведомления, упоминалось о том, что Государь согласился на отречение до проезда делегатов от Временного Комитета. Но это не было сообщение официальное. Правительство не сочло нужным, ни тогда, ни позже, подчеркнуть добровольное отречение бывшего Императора – факт, который несомненно облегчил бы новому правительству заботы об охране царской семьи. И психологически отречение воспринималось как низложение. Как выше указывалось, через несколько уже дней стало меняться понемногу и словоизображение: термин “низложение” заменил термин “отречение”, и не только в органах революционной печати, но и на столбцах буржуазной повседневной печати (даже в такой корректной газете, как “Русские Ведомости”). Термин



“свергнутый царь” фигурирует даже в разных воззваниях, выпущенных от имени Государствен. Думы.

По всей совокупности арест царской фамилии не произвел отрицательного впечатления в обществе, которое отнеслось к этому акту по меньшей мере равнодушно, – скорее сочувственно. “Царь арестован” – вот все, что записано в дневнике писательницы, для которой вопросы морали и чести, казалось бы, стояли на первом месте (дневник Гиппиус). На другой день она прибавила: “Он молчаливо, как всегда, проехал ночью в Царскосельский дворец, где его и заперли...” Арест Царя – это временная изоляция в тревожную, при неустановившихся порядках, эпоху. Это – гарантия от всевозможных попыток реставрации, ибо царь есть символ старого порядка, опора монархических кругов. С такой точки зрения рассматривался и вопрос об отъезде царской семьи за границу. Полным искажением общественной психологии того времени является попытка отнестись опасения, возникшие в советских кругах, к числу изолированных действий демагогов, возбуждавших дурные инстинкты толпы. Настойчивость Исполнит. Ком. скорее вызывала одобрение, – к тому же широкое общественное мнение не проводило еще резкой грани между правительственной политикой и советской в вопросе о ближайших судьбах династии. Иллюстрацию мы видим в настроении Московского Комитета общественных организаций. Ее можно найти в более позднем публичном выступлении (в мае) лидера той группы социалистов, которую относили по терминологии того времени (иногда иронически) к “государственно-мыслящим”. Мякотин, столь враждебный претензиям советских вождей говорить от всей демократии, противник контроля профессиональных организаций над Времен. Правит., превращавшего общественное “мнение” в недвусмысленную опеку, а идеологические директивы политических партий в постулат реальной политики, в докладе (“Завоевание революции”) очень определенно подчеркнул положительное значение в проведении решительных мер в отношении династии.

Обозревая прошлое ретроспективным взглядом, легко сказать, что в “первой стадии” революционный процесс в России не имел “никаких видимых врагов” и что долгое время ссылаясь на “контрреволюционную” опасность оставалась лишь демагогическим приемом, лишенным реального основания, если не считать, что “контрреволюция” существовала потенциально. Этот вывод русского историка (Милюков в “России на переломе”), к которому историк-иностранец с своей стороны поспешит присоединиться, опираясь на авторитетное свидетельство человека, являвшегося одной из главных пружин в февральские дни. В предисловии к книге Керенского Пэрс пишет: “Керенский доказывает с большой очевидностью в своем труде, что никогда не было никакого намека на восстановление монархии в лице Николая II, даже в случае, вещь невозможная, если бы реакционеры посредством настоящего чуда могли вновь прийти к власти”. Допустим, что этот, скорее социологический, вывод объективно правилен, но такой не могла быть психология современников в первые недели революции. “Контрреволюция”, существовавшая потенциально в мартовские дни, кажется не “чудом”, а “возможной” “конкретной опасностью”. Гораздо большим “чудом” была сама по себе “бескровная” революция. Казалось, идиллия должна кончиться. Не будем чрезвычайно обольщаться официальными славословиями революционной романтики, подчас, может быть, и не всегда искренней. Верил ли Гучков в то, что он говорил 8 марта в военно-промышленном комитете о перевороте?.. По утверждению Набокова речь военного министра, произнесенная накануне в заседании правительства, звучала полной безнадежностью, – мемуаристу кажется, что уже тогда Гучков в глубине души считал дело проигранным! “Этот переворот был подготовлен не вами, кто его сделал, а теми, против кого он был направлен. Заговорщиками были не мы, русское общество и русский народ, заговорщиками были представители власти. Этот переворот является не результатом какого-нибудь умного и хитрого заговора, какого-нибудь комплота, каких-нибудь замаскированных заговорщиков, которых искали во тьме агенты охраны. Этот переворот явился зрелым плодом, упавшим на землю. Он явился результатом стихийных сил, которые вышли из русской разрыхленной почвы. В том, что наш переворот

явился результатом исторической необходимости, прямая гарантия его незыблемой почвы. Не людьми переворот сделан, поэтому не людьми он может быть нарушен. И вот мы должны... внедрить в общественное сознание, что наша позиция прочна, и никто, никакие заговорщики не могут нас сбить с нее... Конечно, первая стадия в этом историческом явлении – разрушение старой власти. Обломки ее валяются повсюду. Подмести их и вывести из нашей русской жизни необходимо (бурные аплодисменты). Но это мелкая, черная работа, а перед нами открывается другая работа, работа творческая, для которой потребуются все гениальные силы, заложенные в души русского народа”.

В этом “стихийном” перевороте, – в том, что он был подготовлен не теми, кто его совершил, и крылась опасность его непрочности. События пошли не путем, предсказываемым скептиками. Но это не доказывает, что прогноз сам по себе был неправилен, что опасения были необоснованны; это свидетельствует лишь о том, что профилактические меры возымели свое актуальное воздействие, т.е. что с точки зрения торжества революции они были применены более или менее целесообразно, несмотря на уродливые формы, в которых подчас они применялись.

Были прозорливые люди, которые с первого дня переворота поняли, что главная опасность – “слева”: к ним принадлежал будто бы депутат Маклаков. Сделалась даже популярной ссылка на крылатую фразу, им брошенную при посещении на второй день революции министерства юстиции в качестве комиссара от Временного Правительства. Не скрывая своих опасений за будущее, думский депутат, оглянувшись на вошедшего товарища курьера, сказал по-французски: *Le danger est a gauche*. Попало это предсказание в историческую литературу со страниц воспоминаний проф. Завадского, слышавшего от свидетеля – мужа своей сестры, занимавшего должность директора второго департамента министерства. Не очень правдоподобен эпизод, вставленный в довольно фальшивую раму. Во вне Маклаков во всяком случае высказывался по-иному, чем это рисуется в приведенном скорее анекдоте. В московском докладе 31 марта Маклаков, подчеркнув, что “наступило время, когда не только можно, но и необходимо говорить только правду и договаривать ее до конца”, указал на две опасности, стоящие перед революцией: опасность германская и реакция. “Реакция неизбежна, – говорил оратор. – Каждый подъем сопровождается упадком. Важно, чтобы реакция не перешла известной грани. Если в настоящий момент не оказать поддержки армии в ее героическом усилии в борьбе с врагом, то мы этим самым будем способствовать развитию реакции в армии, которая по окончании войны может привести к ликвидации свободы”.

“Реакция неизбежна...” Очень скоро на столбцах “Рус. Вед.” (№ 72) левый публицист Петрищев отметил, как характерное явление для провинции “спад внешних вод” и назревание “неизбежного перехода от революционного подъема к общественной реакции”. В первые дни революции (3 марта) газета заканчивала свою передовую статью словами: “Реакция бессильна лишь до тех пор, пока господствует единение. Всякий раскол вдохнет в нее новую жизнь в новые силы”. “В настоящее время революция достигла апогея и неизбежна реакция”, – доносит в Токио со слов, слышанных от русских, японский посол виконт Усида 15 марта. “Сейчас нельзя предвидеть, откуда она произойдет, от крайних левых или крайних правых...”, но, добавляет через несколько дней посол по авторитетному свидетельству графа Коковцева, “ни в коем случае не будет контрреволюции старых монархических партий”. “Не пройдет и трех месяцев, как монархия будет восстановлена”, – убеждал Палеолога бывший московский губернатор гр. Муравьев 18 марта (и посол доносил в Париж, что невозможно сделать какого-либо логического заключения о будущем: для одних неизбежна республика, для других столь же неизбежно восстановление монархии). Более осторожный Гурко, отчасти, вероятно, в утешение отрекшегося монарха, писал 4 марта Николаю II, что страна может вновь вернуться к своему законному Царю. Националист Балашов ставил по-иному вопрос. “Царь мог отречься только за себя, – писал он Родзянко 6 марта. “Законным царем остается Алексей, до совершеннолетия которого должно управлять избранное Временное Правительство”. “Число моих сторонников, – заканчивает автор письмо, – в наст. время

очень велико в России”<sup>61</sup>.

Что же, это все голоса из загробного мира?.. Но вот голос члена Исполн. Комитета трудовика Станкевича. Он вспоминает: “Со всех сторон постоянно слышались опасения, что революции не дойдет до Учр. Собрания. Помню таинственную уверенность, с которой Березин (видный трудовик, член 2 й Госуд. Думы) не раз говорил, что Учред. Собрания не будет, и я с трудом могу припомнить, с какой стороны он опасался взрыва – справа или слева”. Сегодня масса, повинуюсь своему внутреннему иррациональному чувству, идет за комитетом, но кто поручится, что завтра она “не пойдет за каким-нибудь бравым генералом, который сумеет увлечь ее за собой?” “Это сознание, – утверждает мемуарист, – питало все время опасения перед контрреволюцией”. Ту же мысль, по словам Станкевича, высказывал и Щеголев, наблюдавший в Таврическом дворце “бесстрастным оком историка” происходившее: “Будет монархия... Русский народ не мыслит правопорядка, не венчанного короной”.

“Обзор положения России за три месяца революции”, составленный отделом сношений с провинцией Временного Комитета, опровергает все подобные догматические положения. Представители Думы вынесли иное впечатление от своих поездок – в отчете оно сформулировано так: “Широко распространенное убеждение, что русский мужик привязан к царю, без царя не может жить, было ярко опровергнуто той единодушной радостью, тем видимым облегчением, когда он узнал, что будет жить без того, без кого он “не мог бы жить””. Может быть, со своей стороны, “догматику” в отчет, подводивший итоги индивидуальных впечатлений, ввел заведовавший отчетно-делегатским отделом Романов, именем которого и подписан отчет. Настроение в деревне, из которой на войну ушло в значительной степени молодое грамотное поколение, конечно, не было столь однотипным, как изображает его отчет. Делегат Вологодского Совета – из губернии с развитой кооперацией – на совещании Советов обращал внимание на необходимость учесть консервативный элемент деревни, и среди этого старшего по возрасту поколения сохранились следы старой психологии. “Те, кто работают в деревне, знают, – говорил делегат, – что женщины, принимающие непосредственное участие в деревенской общественной жизни, на деревенских сходах, в большей части до сих пор еще плачут, что нет на престоле царя. Они говорят, что хорошо, чтобы был царь, хоть плохенький, но царь. Лукомский рассказывает, что казачки под половицей и при большевиках сохраняли портреты царской семьи. О будущем образе правления крестьяне вообще “мыслят плохо”:

“Не знаем, куда стучать, что делать”, – пишут во Временный Комитет из далекой Сибири. Представление об Учредит. Собрании “смутное”. Здоровый инстинкт крестьянского ума ищет “ощупью дорогу”. Городская ненависть к династии не захватывает мужицкую Русь”<sup>62</sup>.

Газеты революционного времени, – и при том газеты социалистические, зарегистрировали совершенно удивительный факт: представители нескольких волостей Саратовской губернии отправили в Тобольск Царю жалобу на Времен. Правит. (Народное Слово). Один из наблюдавших деревню в большевистскую эпоху отметил в Тамбовской губ. на территории, где происходило знаменитое в летописях борьбы с коммунистической властью Антоновское восстание, распространенную легенду, гласившую, что землю крестьянам дал Царь, за что его министры Керенский, Ленин и Троцкий сослали в Сибирь, а потом убили (Окнинский).

Вся гамма этих разнообразных настроений на необъятном пространстве России не

---

<sup>61</sup> Такая тенденция признания Алексея царем проявилась на Юге в армии.

<sup>62</sup> В “Записках о революции” Наживин рассказывает, как во Владимире при большевиках уже бабы отстояли памятник имп. Александру II – его удалось только через полгода снять ночью “обманом”, а в с. Боголюбском он был цел еще и осенью 18 г. В “Записках” Наживина заключается немало бытовых черт для характеристики монархических настроений, но ими все же рискованно пользоваться, ибо быт деревенский автор слишком уже определенно подводит под свои изменившиеся политические взгляды.

давала возможности современникам с такой упрощенностью разрушать вопрос о несбыточности реставрационных мечтаний, как это мог сделать историк постфактум. Видимого врага не было. Ведь это можно сказать лишь весьма относительно. Не отошедшая еще в прошлое монархия легко могла сделаться идейным бродилом в неоформившемся народном сознании. Это не та “контрреволюция которая могла родиться на почве развала и анархии, о чем много раз предупреждал впоследствии Плеханов. Это была не та “контрреволюция”, которая действительно превратилась в навязчивую идею и страх перед которой парализовал плодотворную борьбу с разлагающей пропагандой большевиков, хотя сознание говорило, что именно через большевиков эта контрреволюция может прийти.

В марте это был страх не окрепшего государственного организма, и он находил себе естественное если не оправдание, то объяснение. Массовое народное мнение не могло руководиться отвлеченными соображениями о “потенциальной” реакции, оно ежедневно в первые дни революции слышало конкретные призывы к борьбе за неокрепшую политическую свободу с угрожающим призраком не отошедшего еще в небытие прошлого. Оно слышало это в правительственных декларациях, в воззваниях “цензовой общественности”, а не только в демагогических прокламациях всякого рода адептов “перманентной революции”, стремившихся народное движение довести до высшей точки бурления социальной пертурбацией. Что может быть характернее обращения Государственной Думы за подписью Родзянки к “офицерам и командам” судов в Николаеве, опубликованного в “Вестнике Времен. Правительства” 9 марта. “Граждане офицеры и матросы, – говорилось в этом обращении, – помните, что мы окружены страшной опасностью, и только нечеловеческое напряжение сил может нас спасти... Множество тайных кроющихся врагов среди вас, которые пускают темные слухи, стремятся натравить одну часть населения на другую, солдат на офицеров, надеясь, что смута поможет им восстановить старый порядок”. Воззвание имело в виду агентов внешнего врага, ибо говорило: “Уже многие годы Германия использовала свое влияние, все родственные связи своих правителей с свергнутым Царем, чтобы поддерживать в России самодержавие, которое душило и убивало внутренние силы страны” <sup>63</sup>.

Но вывод почти неизбежно должен был получиться расширенный в соответствии с пропагандой социалистических демагогов: выпукло выступала тень Царя и его приспешников.

Единственным действительным средством борьбы против всякого рода поползновений к монархической реставрации, помимо законодательного творчества революционного правительства, могло явиться политическое просвещение. Только оно могло бросить луч света в “темноту трудового крестьянства”, которая являлась страшным врагом революции и о которой говорили представители демократии (Руднев, Мартюшин) в Московском Государственном Совещании. Русское общество в различных своих разветвлениях проделало в этом отношении колоссальную работу в революционные месяцы. Когда-нибудь будет написана история этой культурно-просветительной работы. Будут отмечены все ее достижения. Но было в этой работе и много отрицательного, ибо политическое просвещение, требовавшее усвоения и времени, заменялось подчас довольно грубой и упрощенной политической пропагандой. Примитивная демагогия всего легче усвоилась – она создавала особый тип мартовских социалистов, которые брали на себя привилегию говорить от имени народа. Этот распространенный тип заполнял собой революционные организации и влиял на события. Принесло ли в таких условиях политическое просвещение пользу русскому народу?.. И не большего ли бы достиг здоровый инстинкт крестьянского ума, искавший “ощупью дорогу”, – предоставленный самому себе, он, может быть, легче нашел бы правильный путь?.. Жизнь творила свои формы из того людского материала, который имелся

---

<sup>63</sup> Воззвание делало такой исторический экскурс: “В 1905 году немцы оказывали всяческую поддержку прежнему правительству в борьбе с народом. Когда в Польше развилось движение, ген.-губерн. грозил войсками имп. Вильгельма. За царем на всякий случай был прислан немецкий миноносец”.

налицо. Откровенный максимализм социальных фантастов не нашел достаточного отпора в среде демократической интеллигенции, которая призвана была вести за собой народные массы. Надо сказать, что меньшинство этой интеллигенции, пытавшееся идти против течения и ввести в рамки государственности “революционное правотворчество”, было поставлено в смысле пропаганды в гораздо худшее положение. Причудливым образом “просветительные фонды” всякого рода американских в иных иностранных комитетов, сыгравшие значительную роль в революционной пропаганде, делали ставку на более сильных, или казавшихся таковыми, в дни коллективного психоза. Эти основные кадры “советской демократии”, далеко не чуждые лозунга “выше поднимай революционную волну”, и потакание инстинктам масс в конце концов облекали лишь внешней демократической плотью скелет “социалистов с улицы”. “Революция была легким налетом”, а под ним остался “вчерашний раб и насильник” – скажет в Париже в 18 г. доклад с.р. Ракитниковой среди разочарованных служителей народу. – “Сеяли пшеницу, а возшла горькая полынь” – с горечью признается марксист-публицист Потресов. Но, может быть, было бы правильнее присоединиться к мнению Плеханова: “Что посеяли, то и пожали”. Поэтому не получилось той муки<sup>64</sup>;, из которой можно было выпечь “пшеничный хлеб социализма”.

Плевелами демагогии усеяна была, конечно, вся кампания против монархии, которая при свободе широкого изъяснения мнений в больших размерах повелась с момента торжества революции. Она не могла не коснуться личностей низвергнутой монархии. Справедливость требует отметить, что в революционной печати, даже в ее крайних выражениях, в гораздо меньшей степени затрагивалась интимная жизнь носителей власти, нежели в общей печати. Разоблачение скандальных “тайн” стало уделом уличных листков и той “буржуазной” печати, которая строила свой успех и благосостояние в известной степени на подлаживании к вкусам любопытствующей толпы. Никогда, однако, наша даже заборная литература не доходила до той гнусности и клеветы, которыми отмечена демагогия эпохи “великой французской революции”. Отвратительные формы, в которые выливалась в 17 г. эпидемия разоблачений, шедшая рука об руку с разнузданной свободой, которая развращала столичную толпу<sup>64</sup>, вызвала протест в литературных кругах печати в первые же дни революции.

Но по существу можно ли было и нужно ли было в корне пресечь эту кампанию разоблачений<sup>65</sup>.

Пресловутая “распутиниада” – это был как бы символ павшего режима, по крайней мере, в представлении большинства современников. Раскрыть подоплеку отходящего в прошлое политического строя, обнаружить его гниль и маразм казалось самым верным средством отвратить возможность реставрации, по крайней мере, в ее отживших формах власти. В сущности, это был главный результат, который мог быть в то время реально и безболезненно достигнут опасной хирургической операцией, именуемой революцией. Установление хотя бы формально народовластия могло обеспечить дальнейшую нормальную эволюцию социальных и экономических отношений без тех катаклизмов, которые влекли на путь разрушения государственного организма. Каждый демократ и

---

<sup>64</sup> См. воспоминания Кельсона, отмечающие, напр., порнографические пьесы и т.д., которые стали открыто и бесконтрольно занимать значительное место в репертуаре низкопробных театральных представлений. Ни министерство народного просвещения, ни общественное самоуправление не пытались бороться со злом, разъедающим неокрепший народный организм. Не боролась и печать – карикатурами, описанными Кельсоном, жизнь отвечала на требования обновления театрального репертуара пьесами с революционным духом (статья Философова в “Речи”).

<sup>65</sup> Правительство не создало ни особого министерства пропаганды, ни соответствующих отделов при министерстве народного просвещения, которые могли бы руководить и несколько облагородить пропаганду. Такую цель отчасти преследовал “политический” отдел, образованный военным министерством.

социалист, не замороженный утопическим “бредом”, мог бы присоединиться к программе, начерченной тогда правым кадетом Максаковым: народоуправство в широкие социальные реформы.

В этом раскрытии политической “распутиниады” не играла никакой роли лживая легенда об “измене”, которую до революции муссировали в либерально-политических кругах русского общества. В дни революции ее подхватила, конечно, желтая пресса, стоустая обывательская молва, но совершенно не касалась революционная пресса за ничтожным исключением. (В целях демагогических этой легендой иногда пользовались большевики.) Очень знаменательно – и это должно быть отмечено, – что самое тяжелое обвинение родилось отнюдь не в революционной среде. Совершенно удивительна та наивность, с которой, например, боевой генерал Селивачев заносит в свой дневник все подобные слухи со слов приехавших из Петербурга офицеров. Воспроизводить этот вздор не стоит. Если верить рассказу тов. петербургского городского головы Демкина, вся речь гласного Думы Пуришкевича в одном из первых собраний Думы после революции была посвящена злому гению России – Царице Алекс. Фед., которая якобы была в сношениях с Германией. Эта тема усиленно развивалась в дни, последовавшие за арестом Царя, и оправдывала в глазах общественности правительственный акт. “Арестом”, утверждал в “Русской Воле” (12 марта) известный публицист Николай Ашешов, связанный еще тогда с радикальным кругами, устранена “государственная опасность” – нанесен смертельный удар шпионажу, ибо сношения “августейших пораженцев с Германией не вызывают никаких сомнений”. Протопоповский орган, облекшись в патриотически революционную тогу, сделал своей специальностью разоблачение прежней деятельности “заядлых изменников”, заседавших на русском троне. “Немкин муж” и Алекс. Фед. больше заботились об улучшении участи немецких пленных в России, чем о русской армии и победе. В дворце своем они свили себе гнездо предательства и шпионажа. “В 1914 году, – утверждала газета в день, когда было опубликовано распоряжение об аресте бывшего Императора, – военная разведка, отыскивая потаенную радиотелеграфную шпионскую станцию, пришла к выводу, что немецкая станция – в Царском Селе, тогда ей пришлось прекратить расследование”. “Временное Правительство распорядится с бывшим Царем по-своему, пусть никто не смеет требовать правосудия” – патетически восклицает на другой день “Русская Воля”.

Было хуже, когда подобные намеки исходили от членов самой династии или лиц, им родственно близких. Простой элементарный такт должен был заставить вел. кн. Кирилла, герц. Лейхтенбергского, кн. Юсупова и др. воздержаться от каких-либо газетных интервью в критические для царской семьи дни. Надо было молчать или резко и решительно защищать личность павших монархов, когда, как стали утверждать позднее, им грозила непосредственная опасность от разъяренной толпы. Но они давали свои интервью в “Биржевые Ведомости”, “Петербургскую Газету”, “Русскую Волю” и в органы, подобные им. В момент, когда Государь не был арестован, быть может, предусмотрительно, целесообразно и даже почти патриотично было выступление вел. кн. Кирилла с гвардейским экипажем 1 марта. Быть может, прав был будущий “блюстителю престола”, высказывая удовлетворение по поводу совершившегося переворота сотруднику “Русской Воли” Севскому 8 марта (мой дворник и я могли видеть одинаково, что со старым правительством Россия теряла все). Быть может, довольно безобиден был тот факт, что на дворце великого князя развевался красный флаг, а на груди владельца – красивый красный бант; нечто гораздо худшее заключалось в сомнениях, которые вел. кн. выражал словами: “Я не раз опрашивал себя, не сообщница ли Вильгельма II бывшая Императрица, но всякий раз я силился отогнать от себя эту страшную мысль”<sup>66</sup>.

Во всех как будто бы газетах тех дней прошло явно вздорное сообщение о том, что в

---

<sup>66</sup> Французский журналист Анет, отмечая, что вел. кн. Кирилл исподволь готовит себя на императорский трон, тогда же записал, что легитимный кандидат в русские монархи говорит о прошлом империи с манерой, “вызывающей отвращение”.

императорском поезде на ст. Тосно подымался вопрос об открытии “фронта немцам”. Сообщение это позднее подверглось расследованию даже в Чрезвычайной Следствен. Комиссии. По-видимому, первой пустила такой слух петербургская “Русская Воля”, связав его с быв. дворцовым комендантом ген. Воейковым, который был арестован в это время в Вязьме и доставлен в Москву. 7 марта отсюда в поезде, с которым возвращался министр юстиции, Воейков был отправлен в Петербург.

Со слов сопровождавшего арестованного подп. Висневского корреспондент “Рус. Вед.” рассказывал некоторые подробности. В дороге, в купе, где находился Воейков, вошел Керенский и показал ему московскую газету, в которой сообщалось, что Воейков советовал Николаю II “открыть минский фронт, чтобы немцы проучили русскую сволочь”. Ген. Воейков заявил будто бы, что приписываемые ему в статье слова принадлежат Императору, который находился в “состоянии сильного опьянения”, почему этим словам не следует придавать значения. Арестованный не мог, конечно, опровергнуть газетного сообщения. Протест появился со стороны Главнокомандующего западным фронтом ген. Эверта<sup>67</sup>. Вся несуразица подобной версии совершенно ясна теперь, пожалуй, она ясна была и в момент напечатания. Вызовом войск с фронта распорядилось военное командование в Ставке и на фронте, вызваны были войска до выезда Царя из Ставки с расчетом не затронуть интересов фронта, и следовательно, вопрос не мог даже возникнуть в обстановке, которую неожиданно встретил бы императорский поезд в Тосно или на другой какой-нибудь станции во время продвижения из Могилева в Царское.

Герцог Лейхтенбергский, несший при царе обязанности флигель-адъютанта в дни государственного переворота, дал 15 марта интервью в “Биржев. Ведом.”. В нем он коснулся описанного эпизода, но в таких осторожных формах: “Ген. В. приписывается страшная, задуманная им мысль, будто бы он при обмене мнениями о создавшемся положении, сказал: “Что же, надо открыть двинский фронт, революция тогда будет потушена”. Лично я такой фразы не слышал, как не слышал ее от Царя и других членов совета, и мне кажется, что если и был такой факт, то он был произнесен в совершенно ином смысле...” “Революцию можно подавить силой оружия, но откуда взять войска?.. С севера – но тогда будет открыт двинский фронт...” Юсупов в интервью, напечатанном в тот же день в “Биржев. Вед.”, отрицал, что бывший Царь злоупотреблял спиртными напитками, о чем ходила усиленная молва, отмеченная даже в “Истории” Милюкова, но говорил, что его спаивали более сильной отравой: “Мне лично пришлось слышать в одном из распутинских кружков, что приближенные делали специальный сильный настой из тибетских трав и этим настоем спаивали Царя. После этого бывший Царь впадал в меланхолию, чувствительность атрофировалась...”<sup>68</sup> И в этот момент царедворцы преступно пользовались слабостью бывшего Царя для осуществления своих злых и подлых государственных Дел”. Юсупов добавлял, что “роковую роль в жизни династии сыграла бывшая Государыня”, которая для Распутина и его приближенных “жертвовала народным благом и народными интересами”. “Но довольно счетов и личных дрязг, – патетически заключал свое газетное интервью Юсупов, – народная воля – закон. Возьмемся все дружно за работу, за обновление родины и новое строительство. Будем все граждане и будем жить одной чистой правдой...”“

Это – только “интервью”, возможно в несколько вольной передаче газетного репортера.

---

<sup>67</sup> В позднейших воспоминаниях Воейков передает, что беседа с Керенским в поезде длилась несколько часов. Керенский был корректен, предложил ему чай и закуску, и говорил, что арест имеет целью оградить его от народного гнева. (Сам Воейков отмечает враждебное отношение к нему в Москве со стороны офицеров. На вокзале в Петербурге, по словам автора воспоминаний, разыгралась почти растопчинская сцена с Верещагиным по толстовской эпопее “Война и мир”.)

<sup>68</sup> Подобное интервью заставляет поверить свидетельству Вырубовой, что побочная сестра вел. кн. Дим. Павл., Дерфельден, косвенно замешанная в убийстве Распутина, распространяла до революции слухи, что Императрица спаивает Государя.

И все-таки лучше было бы родственникам арестованного Государя в эти тяжелые для него дни молчать...

Жестока и цинична поговорка – лес рубят, щепки летят в применении к политической жизни. Справедливости мало бывает в дни революционного катаклизма. Предоставим о ней говорить философам-моралистам. Объективно же “общая ненависть”, которая окружала Николая II, по замечанию в дневнике Нарышкиной 21 июля, делала невозможной в то время монархическую реставрацию. “Общее неуважение к династии Романовых так велико в массе, что сказать трудно”, – записал ген. Селивачов, отметивший, что даже немцы прекратили свою монархическую пропаганду. И так естественно, что ген. Корнилов, – как то утверждает ген. Деникин, – категорически заявил Гучкову, приехавшему в июне на фронт с идеей переворота и возведения на престол в. к. Дм. Пав., что он ни в какую авантюру с Романовыми не пойдет<sup>69</sup>.

Когда мы говорим о “всеобщей ненависти”, то не будем все-таки переходить границы, которые устанавливают реальные факты, поскольку речь идет о внешних формах проявления этой ненависти. Когда солдаты на северном фронте узнали от депутатов Янушкевича и Филоненко, что арестован Романов со своей семьей, то кричали ура и качали думских делегатов, но это вовсе еще не значит, что в армии требовали применения драконовских мер к арестованным. Между тем вольная рука ответственного мемуариста дает картину, которая мало соответствует действительности. Мы знаем уже, как в изображении Керенского народные массы, возбужденные агитацией крайних, требовали от правительства заключения Царя в Петропавловскую крепость или перевода его в Кронштадт под охрану матросов, требовали революционного суда и немедленного выполнения приговора над низложенным монархом. То, что происходило в первые дни, было в своем месте уже рассказано почти с исчерпывающей полнотой. Тогда конкретного проявления “злости” не было. Рука мемуариста и далее рисует гиперболу. Она достигла совершенно невероятных размеров в первой статье, написанной Керенским в 21 году в опровержение легенды об отношении Времен. Правит. к покойному Императору и его семье (“Отъезд Николая II в Тобольск”. – “Воля России”). Он писал тогда: “Смертная казнь Николаю II и отправка его семьи из Александровского дворца в Петропавловскую крепость или Кронштадт – вот яростное, иногда исступленное требование сотен всяческих делегаций, депутатий и резолюций, являвшихся и предъявляемых Времен. Правит. и в частности ко мне, как ведавшему и отвечавшему за охрану и безопасность царской семьи”. Поверим на момент мемуаристу... Чем можно объяснить в таком случае совершенно невероятное для революционного времени явление, что эти сотни депутатий и резолюций к Временному Правительству не нашли никакого или почти никакого отклика в печати?.. Как могли исчезнуть из кругозора революционных общественных организаций, всякого рода рабочих и солдатских депутатов эти “яростные, иногда исступленные требования”?.. Как могли их замолчать официальные протоколы советских и иных учреждений?.. <sup>70</sup> Тщетно я искал подтверждения слов мемуариста – я их не нашел, или вернее, нашел только в воспоминаниях другого мемуариста – молодого Маркова, который слышал “повсюду требования судить, а чаще просто убить бывшего царя”. Вероятно, только чрезмерная монархическая преданность заставляла его слишком обостренно воспринимать действительность. Не сотни, и даже не десятки, а только

---

<sup>69</sup> “Самые убежденные монархисты не могут не признать, что подобное предприятие в 1917 г. иначе, как авантюрой, нельзя было назвать, и что кадров для его подготовки и исполнения невозможно было найти ни в стране, ни в армии”, – писали “Посл. Нов.” по поводу воспоминаний Гучкова.

<sup>70</sup> До сведения правительства подчас доходили даже резолюции “летучих” митингов. Так, в Москве на Тверском бульваре, у памятника Пушкина, в революционные дни происходил перманентный митинг. Напр., 27 марта в 7 час веч. начался очередной митинг. Выступают десять ораторов из разных партий. В 5 час утра выносятся резолюция, выражающая полное доверие правительству и признание необходимости обороны страны против яростной оппозиции большевиков. Резолюция по телефону была передана кн. Львову.



единичные требования (и не в таких кровавых формах) придется отметить дальше в их хронологической последовательности в соответствии с рамками настоящего повествования.

С момента соглашения делегатов Исп. Комитета с правительством об условиях изоляции царской семьи (вернее Царя и Царицы) в Александровском дворце и о невывозе ее без согласия Исп. Ком. за границу – такое соглашение рисовалось, по крайней мере в представлении советских деятелей – формальная агитация, как было указано, прекратилась. Во всяком случае не было требований ни мести, ни расплаты, ни требований заключения в Петропавловскую крепость, ни революционного суда. Вопрос о династии в центре как бы сошел со сцены. В марте, кроме выступления Стеклова на совещании Советов, не поддержанного съездом, можно отметить лишь статьи в “Правде” (12 марта о благоприятных условиях содержания Царя. Раньше, 9 марта, в момент обсуждения вопроса в Совете, орган большевиков требовал не только ареста, но и предания “справедливому суду народа”) и в “Известиях”, вероятно, того же Стеклова, в которой ставился вопрос о свободе, предоставленной членам династии. (В провинциальном отделе той же “Правды” зарегистрировано постановление Совета Константиновского завода в Донецком бассейне об аресте Романовых.) Это абсолютно не касалось царственных узников, да и великие князья были привлечены, так сказать, между прочим.

Поводом для бури в стакане воды послужило освобождение Керенским ген. Иванова и заключение его “под домашний арест”. В сущности, никакого правового и морального основания для привлечения к ответственности и содержания в тюрьме, как уже указывалось, потенциального “усмирителя” Петербурга не было<sup>71</sup>. Крикливые заявления Стеклова с требованием объявить преступного генерала “вне закона” находили, однако, некоторый отклик, и “кучка солдат”, по выражению Суханова, “говорила об этом”. В Исполн. Комит. “левые” предлагали “официально” вызвать генерал-прокурора и потребовать от него “ответа”. Керенский легко разрубил узел, по обыкновению своему обратившись непосредственно к “массам”, минуя Исполн. Комитет. Явившись 26-го на общее собрание солдатских секций Совета, он произнес патетическую (скорее демагогическую) речь, “пожал бурю аплодисментов” и уехал, не заглянув на происходившее тут же в Таврическом дворце заседание Исполн. Комитета. Газеты излагали речь Керенского так: “Я слышал, что среди вас ходят слухи, будто бы я делаю послабления старому правительству и лицам царской фамилии. Я слышал, что в вашей среде появились люди, которые осмеливаются выражать мне недоверие. Я предупреждаю всех, кто так говорит, что не позволю не доверять себе и в моем лице оскорблять русскую демократию. Я вас прошу или исключить меня из вашей среды, или мне безусловно доверять (бурные аплодисменты). Вы обвиняете Времен. Правительство и меня в том, что мы делаем послабления лицам царской фамилии, что мы оставляем на свободе их и поступаем с ними снисходительно. Но знайте, что я был в Царском Селе, я виделся с начальником гарнизона. Я говорил с солдатами. Комендант Царскосельского дворца – мой хороший знакомый, которому я доверяю вполне. Гарнизон обещал мне исполнять только мои приказания. На вас наводит сомнение, что на свободе остались некоторые (?) лица царской фамилии. Но на свободе только те, кто вместе с вами протестовал против старого режима и против царизма. Дмитрий Павлович оставлен на свободе, так как он боролся до конца со старой властью. Он подготовил заговор и убил Гришку Распутина, и он имел полное право оставаться простым офицером в рядах русской армии в Персии. Ген. Иванова я освободил, но он находится все время под моим контролем на частной квартире. Я освободил его, так как он болен и стар, и врачи утверждают, что он не проживет и трех дней, если останется в той среде, куда он был помещен...” Прерываю

---

<sup>71</sup> Это признает и “левый” мемуарист, подчеркивая психологическую сторону вопроса. “Допустим даже, – пишет Суханов, – что этого господина следовало освободить, но ведь не больше же было оснований, чем для освобождения многих и многих сидящих в Петропавловке и других местах... А затем ведь надо считаться с психологией, учитывающих характер преступления и болезненно реагиовавших именно на Иванова. Если его следовало освободить, то следовало сначала убедить в этом...”

речь Керенского. Его слова: “Я хочу знать, варите ли вы мне или нет”, – прерываются овацией. Крики: “Верим, просим, верим...” С места поднимается депутат и заявляет: “Вся многомиллионная армия верит вам, Александр Федорович...” Керенский: “Я пришел сюда не оправдываться и не извиняться перед вами. Я хотел только сказать, что не позволю себе и всей демократии быть в подозрении...” Министра вновь прерывает шумная овация. Керенский, “пошатываясь, бледный”, с помощью солдат и офицеров опускается на стул и пьет воду. На речь министра официально отвечает председатель собрания: “О недоверии, как об этом говорил А. Ф., не может быть и речи. Об этом говорят только отдельные лица, которых мы тотчас же пресекаем. Армия вам верит, как вождю всей русской демократии...” (Оглушительное “ура” раздается под сводом зала заседания, Керенского подхватывают на руки и на стуле выносят из зала.)

Инцидент и с великими князьями, и с Ивановым тем самым был исчерпан. Исп. Ком. никак не реагировал на выступление министра юстиции<sup>72</sup>. Приведенная речь дает типичный образец тактики Керенского-революционера. Совершенно очевидно, что содержание ген. Иванова под стражей он считал неправильным, но этого он не скажет перед толпой, которая продолжает находиться под гипнозом революционного ореола вдохновителя февральских дней. Его авторитет в массах еще непререкаем, он многое может достигнуть своим экстатическим словом. Он якобы подготавливает благоприятную психологическую обстановку для выполнения решения Времен. Правительства вывезти Царя с семьей в Англию и скажет лишь о том, что царская семья под крепким запором в царскосельской золоченой тюрьме – под его непосредственным наблюдением. Он не думает, вероятно, об аресте великих князей, находящихся на свободе, но эту свободу будет мотивировать тем, что Дмитрий Павлович – убийца Распутина. Глубокой ошибкой представляется подобная тактика, и думается, гораздо большего Керенский мог бы достигнуть, говоря перед послушной аудиторией только правду<sup>73</sup> и пытаясь воздействовать не на ее инстинкты, а на сознательное чувство.

На деле получились глубочайшие противоречия в деятельности самого “вождя” демократии. Когда Керенский говорил в солдатской секции Совета о великих князьях, в действительности была арестована лишь вел. кн. Мария Павловна (старшая) на далеком от центра Кавказе и формально по инициативе “гражданского исполнительного комитета в Пятигорске”, т.е. органа полуправительственного. Поводом для ареста послужило частное письмо на английском языке, направленное в секретном порядке через ген.-лейт. Чебыкина вел. княгиней из Кисловодска сыну Борису в Ставку. По существу в письме, в котором можно было при желании найти некоторые косвенные намеки на какие-то ожидания, ничего странного и криминального не заключалось<sup>74</sup>, хотя по данным тогдашних газет, письмо это было столь компрометирующее, что опубликовать его не представлялось возможным. (Как сообщала “Русская Воля”, инициатива этого решения принадлежала будто бы Гучкову.) “Я посылаю это письмо через верные руки этого хорошего и верного, старого генерала<sup>75</sup>, – писала Мария Павловна. – Мы, естественно, должны надеяться, что Н. Н. возьмет все в свои руки, так как после Миши все испорчено. Наши все надежды на возможное будущее остаются с ним”. Мать просила сына сообщить с “верным человеком”, что делается, так как

---

<sup>72</sup> Впрочем, с 24 марта по 4 апреля имеется перерыв в черновых протокольных записях.

<sup>73</sup> Позже на совещании делегатов фронта 29 апреля Керенский говорил: “Я не умею... и не знаю, как народу говорить неправду, когда этот народ спрашивает правду...” – “Да здравствует гордость России...” – воодушевленно кричали солдаты.

<sup>74</sup> Перевод даю по тексту официальной телеграммы, присланной в центр и помещенной в приложении у Шляпникова.

<sup>75</sup> Чебыкин командовал гвардейским корпусом.

“мы здесь положительно ничего не знаем”, – и добавляет: – Сожги это письмо, прошу”. Арест Марии Павловны произошел 14 марта<sup>76</sup>. В телеграмме П. Т. А., напечатанной в газетах 28 марта от имени “гражданского исполнительного комитета”, разъяснялось, что у Марии Павловны и Андрея Владимировича были произведены “обыски” ввиду найденного при аресте ген. Чебыкина письма, в котором Мария Павл. высказывает мысль, что “надежда на возможное будущее дома Романовых связана с вел. кн. Николаем Николаевичем, которому необходимо стоять во главе командования”. Ничего компрометирующего не обнаружено. Сообщения газет, что в доме княгини обнаружен радиотелеграф и найдены компрометирующие документы, неверны, как и в сообщении, что арестованная Мария Павловна доставлена в Петербург. Она находится в Кисловодске. Из сообщения П. Т. А. оставалось неясным: ограничилось ли дело обыском у великой княгини, или она была арестована. В действительности она была подвергнута “домашнему аресту”.

Правительство было телеграфно осведомлено тотчас же после инцидента. Никакого давления со стороны еще не успело сказаться, как распоряжением военного министра, т.е. Гучкова, в Ставке уже 15 марта был произведен ряд арестов. (Ген. для пор. при поход. атам. Сазонов, войск, старш. Греков, офицер для пор. бар. Унгерн, пом. уполн. каз. организ. Шен и личный секр. вел. кн. Бориса, занимавшего должность походного атамана.) Поистине у страха глаза велики! Через день в официальном порядке газета давала фантастическое разъяснение о том, что “правительство было осведомлено относительно готовящегося заговора против нового строя и о том, что вел. кн. Мария Павловна стояла во главе этого заговора. За ней был установлен надзор... Мария Павл. советовала Ник. Ник. использовать состоявшееся назначение верховным главнокомандующим в том смысле, чтобы он был провозглашен Государем... Времен. Правит. отстранило Ник. Ник. от верховного командования. Произведенный в Кисловодске во дворце Марии Павл. обыск дал возможность найти компрометирующие документы... В захваченных бумагах говорилось *много* (курсив мой. – С.М.) о Ник. Ник., как о единственном лице, которое могло бы восстановить монархический строй в России... Чебыкин выехал из Петербурга по вызову Марии Павловны... Он был осведомлен о заговоре...” Газеты сообщали, что все арестованные в Ставке тоже были осведомлены о заговоре и по распоряжению министра юстиции будут доставлены в Петербург. Сам походный атаман, вел. кн. Борис, “пока” оставлен на свободе, но 30 марта и он был арестован, доставлен в Царское Село и “сдан”, как удивительно выражается официальное П. Т. А., под охрану Царскосельского гарнизона<sup>77</sup>. Ясно было, что заговору правительство придало серьезное значение. Не законно ли задать вопрос: кто же в данном случае являлся толкачом и возбудителем общественного мнения – только улица... или само правительство?.. В такой обстановке даже пресловутая демагогия Стеклова обретает иной характер.

Дело тянулось, хотя интерес к внезапно вспыхнувшему делу, как и всё в эти быстро протекавшие дни, скоро остыл<sup>78</sup>. Через полтора месяца, 29 апреля, Мария Павловна и ее сын

---

<sup>76</sup> Тел. П. Т. А. об аресте Чебыкина, нач. кисловодской полиции полк Тулузанова, его помощника и других лиц сообщала 17 марта.

<sup>77</sup> Вел. кн. Борис был арестован по пути из Ставки. Как утверждает Половцев, он был “вывезен из Ставки” по просьбе Алексеева и содержался в Царском под арестом в собственном дворце.

В “Биржев. Введом.” сообщалось о постановлении арестовать Кшесинскую и вел. кн. Сергея Михайловича, предложено было расшифровать телеграммы и смысл писем, посылаемых его женой. Эти письма теперь напечатаны, и курьезно то, что они заключают в себе восхваление заслугами Керенского.

<sup>78</sup> При возникновении дела “Русская Воля” производила усиленные изыскания в области шпионской деятельности вел. кн. Марии Павл., поездки которой на фронт совпадали с переменами не в нашу пользу. Прикрываясь личиной сердобольной матери раненых, бывшая корреспондентка Бисмарка занималась чем-то другим: “Мария погибла от Марии”, – писала газета 18 марта, сопоставляя гибель дредноута с пребыванием Марии Павл. в Севастополе.

Андрей обратилась к министру юстиции и к министру-председателю с телеграфной просьбой освободить вел. княгиню, так как ей не предъявлено “никакого обвинения”. Прошел еще месяц, и лишь 7 июня гражданский комитет уведомил жалобщицу, что министр юстиции разрешил ей переехать из Кисловодска в другой, “менее многолюдный” курорт, одновременно и караул покинул дачу, где жила Мария Павл. Освобожден был и Борис Владим., защиту интересов которого принял на себя Карабчевский. Последний рассказывает, что в министерстве юстиции ему сообщили, что вел. кн. арестован “по недоразумению”: постарались какие-то добровольцы. Тем не менее освобождение произошло только в мае, когда Керенский сменил пост министра юстиции на министра военного. Половцев, занявший одновременно с этим пост командующего войсками Петербургского округа, говорит, что он после посещения Царского поднял вопрос об основаниях для содержания вел. кн. под караулом и предлагал снять караул, а с вел. кн. взять подписку о невыезде. Керенский на это долгое время не соглашался и будто бы предлагал командующему для облегчения караульной службы посадить вел. кн. с его гражданской женой в Александровский дворец под один караул с Государем. Впрочем, сам Половцев – мемуарист с большой фантазией...

За апрель при довольно тщательных обследованиях я не мог найти ни в центре, ни на периферии ни одного факта, который подтверждал бы картину, набросанную Керенским. Вероятно, на всякого рода митингах было сказано немало слов наподобие тех, которые слышали депутаты Масляников Шмаков, объезжавшие в середине месяца фронт Особой Армии. На соединенном заседании Комитетов 1 и 2 гв. дивизии, как было уже упомянуто, наряду с “прекрасными речами”, думские делегаты в своем отчетном дневнике отмечали и призывы “крайне левого большевицкого толка”: удалив “вон” правительство, если оно не пойдет об руку с Советом, заключить Николая II в Петропавловскую крепость (“пусть испытает сам то, что заставлял испытывать других”). Но это только отдельные, безответственные в сущности “речи”, даже не резолюции. Напротив, депутаты заявляли, что их возражения встречали “полное сочувствие”. Показательно, что только на одной из таких остановок на протяжении недельной командировки делегаты могли зарегистрировать подобные суждения.

Едва ли к категории “яростных” требований можно отнести заявление, поступившее в Испол. Ком. 4 апреля от каких-то делегатов 12 й армии, прибывших в столицу. Они нашли, что пребывание Царя в Ц. С. не гарантирует от “возможности попыток к восстановлению царской власти”, и настаивали на переводе его в Петербург в Петропавловскую крепость. Мотивом выставлялось спаивание караула и возможность организовать среди последнего “группу сочувствия” (“День”) <sup>79</sup>. Газеты сообщали, что Исп. Ком. решил послать своего представителя для проверки обстановки содержания Царя. Но, очевидно, то была простая отписка для успокоения слишком ретивых революционеров – в протоколах она даже не отмечена. Все дело свелось к протесту представителей царскосельского гарнизона против непрошеного вмешательства фронтовиков и к протесту со стороны Испол. Ком. Совета 12 й армии, заявлявшего, что никто не уполномочивал “делегатов” проверять царскую охрану: это были или “самозванцы”, или представители отдельных частей, сделавшие “сепаратные шаги” <sup>80</sup>. Не знаю, можно ли отнести к числу тех же “яростных” требований, обращенных в адрес правительства, и вопросы, которые были заданы Керенскому на совещании фронтовых делегатов в Петербурге 29 апреля. В этот день была произнесена нашумевшая речь Керенского о “взбунтовавшихся рабах”. Представителям этих “взбунтовавшихся рабов” после патетических слов вождя предложено было в письменной форме задать вопросы.

---

<sup>79</sup> Нарышкина записала 13-го по слухам: “Явилась какая-то военная депутация, которую приезжал Керенский уговаривать”.

<sup>80</sup> Очевидно, к этому инциденту надлежит отнести воспоминания Палей о встрече в Ц. С. с солдатами, которые шли на митинг для решения вопроса об отправке Царя в ссылку.

Керенский отвечал на анонимные вопросы и, как всегда, ответы его имели шумный успех. Любопытствующие фронтовики спрашивали генерал-прокурора: строго ли содержание представителей старой власти в Петропавловской крепости, можно ли побывать в крепости и посмотреть, как живет Царь. “Нельзя, – отвечает генерал-прокурор. – Если что случится, придется отвечать ему. Нельзя же, наконец, превращать Петропавловскую крепость в зверинец”. Тем дело и кончилось. Никаких последствий запросы не имели.

К последним дням апреля относится эпизод, чрезвычайно схожий с вышеописанной пятигорско-кисловодской эпопеей. Отвечать в данном случае пришлось тем членам великокняжеской семьи, которые к этому времени собрались в своих имениях в Крыму в окрестностях Ялты. Они подверглись повальным обыскам на основании слухов, пущенных “бульварной прессой”, о том, что в Ялте готовится б. великими князьями и придворными “контрреволюция”. (“Русская Воля”, например, передавала, что правительство получило сообщение тифлисского совета о том, что вокруг в. кн. Н. Н. в Ялте группируются аристократы и бюрократы с контрреволюционными целями.) Опишем эпизод со слов корреспондента “Рус. Вед.” Качанова, передавшего по телеграфу доклад, который был сделан вольноопределяющимся Сафоновым в севастопольском собрании делегатов черноморского флота и воинских частей. Докладчик сообщал небезыңтересные детали. Оказывается, что какая-то “секретная комиссия севастопольского военного центрального комитета” еще задолго до обысков имела за членами царственного дома негласное наблюдение. На Пасху несколько лиц из “секретной комиссии” ездили в Ялту для производства тайного расследования по поводу появившихся в “бульварной прессе” сообщений о каких-то съездах и совещаниях в Ялте и в окрестностях “партии 33 х”. Двум членам комитета было дано секретное поручение съездить в Петербург и изложить Временному Правительству все эти обстоятельства. “Командированные, – как утверждал докладчик, – приврали мандат от Врем. Прав. на имя севастопольского центрального военного комитета, в коем комитету вместе с правительственным комиссаром поручалось принять надлежащие меры к предотвращению попыток контрреволюции. Между тем агитация уличной прессы разрасталась всюду; появились на сцене какие-то таинственные автомобили, появились рассказы о том, что Н. Н. появляется запросто в Ялте, угощает мальчишек конфетами(!), всячески заигрывает с населением...” Комитетом был “разработан план внезапного обыска на виллах членов дома Романовых”. Этот обыск был произведен 27 апреля. Кроме “Гагры”, имения Ник. Ник., “Дюльбер” – имения Петра Н. и “Ай-Тодор”, где жила Мария Фед., Алекс. Мих. с семьей и Романовские, были обысканы дома нескольких частных лиц, главным образом с немецкими фамилиями, названных и газетных сообщениях. Общее количество отобранной переписки равнялось приблизительно 20 пудам”. Докладчик не скрыл от делегатов собрания, что во время обысков имели место печальные случаи хищения часовыми ценных вещей. По его распоряжению обыскивавшие в свою очередь были обысканы, причем почти все пропавшее было найдено. Ялта в день обысков была страшно возбуждена. Являлась масса добровольных доверителей, которые требовали обысков в различных домах, заявляя, что там будут открыты нити заговора. По распоряжению руководителей отряда эти обыски, не давшие никакого результата, были прекращены. После обыска “члены царствовавшего дома” были объявлены не то под домашним арестом, не то под “сильным гласным надзором”. Обо всем вышеизложенном было доведено до сведения правительства, и военный комитет выжидал соответствующих указаний из Центра. Конца эпопеи мы в точности не знаем. Известно, что английский посол, осведомленный имп. М. Фед. через одного швейцарца об обыске, сделал, по его словам, “серьезное представление некоторым членам правительства по поводу этого возмутительного случая”. Посол утверждает, что по его настоянию в Ялту был послан специальный комиссар по расследованию всего дела. Дело о контрреволюции “парии 33-х” кануло в Лету. Великие князья продолжали спокойно жить в своих имениях и, по-видимому, их никто больше не беспокоил...

Прошло почти три недели. На новом совещании в Петербурге делегатов с фронта 17

мая неожиданно всплыл вопрос об условиях, в которых содержится бывший Царь. Собрались представители 90 частей. И вот делегат 4-го стрелкового полка царскосельского гарнизона, солдат Белянский, представлявший “фронт”, но по заявлению председателя не представивший удостоверения, что он действительно является уполномоченным частей, несущих охрану, выразил недовольство тем, что надзор за Николаем II ослаблен – заключенные гуляют по парку. Императрицу вывозит в коляске матрос, караул солдат пребывает в 20 шагах от заключенных, пищу Царь получает самую лучшую (“разве только птичьего молока нет”). Выступавший затем делегат потребовал заключения Царя в Петропавловскую крепость. Ему возражали, указывая, что у делегатов нет полномочий “кого бы то ни было судить и кому бы то ни было мстить”. Член Исп. Ком. Добраницкий пояснил собранию, что Исп. Ком. решил “не переводить Николая Романова в Петропавловскую Крепость, чтобы не сделать его мучеником. Только тогда, когда вся организованная революционная Россия выразит желание, чтобы Царь был заключен в тюрьму, Исп. Ком. осуществит это желание”. На вопрос, не оказывают ли послы иностранных держав давление на Комитет, Добраницкий ответил отрицательно. В результате споров совещание постановило при “большом количестве воздержавшихся” “требовать от предстоящего всероссийского съезда советов заключения бывшего Царя Николая Романова в Петропавловскую крепость”. Боюсь, что на совещании делегатов опрос поднялся только потому, что и. д. командующего войсками петербургск. округа поручик с. р. Козьмин, человек уже близкий к новому военному министру, издал перед тем неосмотрительны приказ о том, что караульная служба в Александровском дворце стоит не на должной высоте. “Прошу помнить, – писал К. в приказе, – что мы охраняем в Александровском дворце главного представителя и виновника того невыносимого гнета, произвола и насилия, которые с таким трудом сбросил с себя наш народ. Мы ответственны за охрану этих узников перед всей страной...”

24 мая условия содержания Царя обсуждались, по инициативе большевиков, в рабочей секции Петроградского Совета. Обсуждению вопрос, в сущности, не подвергался, так как большинством голосов прения были отклонены. Попросту большевики внесли предложения: 1. Перевести Царя немедленно в Петропавловскую крепость; 2. Перевести его семью в Кронштадт; 3. Перевести с семьей на золотые прииски в Сибирь. Представители “народнических групп” и меньшевиков отказались участвовать в голосовании ввиду “несерьезности” предложений, – голосовали, следовательно, большевики и им сочувствующие, присудили перевести Царя с семьей в Кронштадтскую крепость.

Это была демонстративная, пустая резолюция, никого и ни к чему не обязывающая. Естественно, что подобные резолюции (как и резолюция фронтового совещания) никогда до сведения членов правительства не доводились, в Исп. Ком. не поступали. Для того, чтобы определить объективную ценность их, достаточно сказать, что на июльском съезде советов вопрос о царской семье не поднимался, хотя тов. предс. Совета Анисимов в заседании рабочей секции 24 мая и говорил, что вопрос о судьбе бывшего Царя должен быть передан на обсуждение съезда, и в уличной демонстрации 10 июня, как заметил Половцев, был плакат: “Царя в крепость”.

Это умолчание тем более знаменательно, что съезд имел повод высказаться, так как председатель Чрез. След. Комиссии выступил на нем с особым докладом о деятельности комиссии. Только Ленин попутно упомянул о Царе, когда делал 4 июня свое знаменитое предложение: “арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров”. “Достаточно продержать их, – по мнению Ленина, – несколько недель, хотя бы на таких льготных условиях, на каких содержится Николай Романов, с простой целью заставить вскрыть козни, обманные проделки, грязь, корысть, который и при новом правительстве тысячи миллионов ежедневно стоят нашей стране”. Известен и “литературный” и парламентский ответ Керенского: “Что же вы – социалисты или держиморды старого режима?”

В мае впервые на авансцену выступил и страшный Кронштадт. Это вольная “республика” была ахиллесовой пятой не только Правительства, но долгое время и Совета.

Кронштадт, конечно, сам по себе был страшен для заключенных в прославленных казематах, но не для Царского Села. Постановления перманентных митингов на Якорной площади о том, что “Николай Кровавый” должен быть отправлен с “верными холопами” в Кронштадт, оставались наряду с требованием немедленной конфискации земель и непризнания Временного Правительства специфической чертой местной анархо-большевистской словесности. Кронштадтская демагогия находила отклик и в Гельсингфорсе. Так, команды линейных кораблей “Республика”, “Гангут” и “Диана” 26 мая постановили добиваться перевода Царя в Кронштадт “для окончательного суда над ним” и грозили тем, что не намерены “шутить” и будут действовать “открыто силой”. Но Кронштадт еще не был Россией, и поэтому у Керенского не было оснований всю главу об аресте царской семьи символистически озаглавливать: “La menace de Cronstadt”.

С некоторой, быть может, излишней даже скрупулезностью старался я отметить все то, что я мог найти в литературе. Думаю, что читатель “может сам сделать объективный вывод – соответствовала или нет действительность изображение, которое дали нам ответственные деятели февральской революции. Конкретных “страшных замыслов” в отношении царской семьи не было в то время даже у “крайних элементов совдепа”“.

## 2. В позолоченной тюрьме

Ознакомившись с общественной атмосферой, окружавшей царскосельский дворец с заключенной в нем царской семьей, вернее можно оценить и то, что происходило за позолоченными тюремными решетками внутри дворца (термин “La prison dorée” употреблен Керенским). В книге, изданной в 36 м в целях установления истины и опровержения легенд, Керенский, как мы видели, пытается провести положение, что в глазах членов правительства “б. Император и его семья не были больше политическими врагами, но лишь человеческими существами”, отданными под их покровительство. “По мнению кн. Львова, как и по-моему, – утверждает автор, – низложенный Император и его семья ни в каком случае не должны были испытывать лишения и ограничения в своей частной жизни, если этого не требовала серьезная необходимость, напр., в целях их же собственной безопасности или для успокоения бурлящих казарм и заводов в Петербурге и в Царском Селе”. Заключение в Ц. С. должно было быть временным (trus provisoire – подчеркивает автор воспоминаний), до момента отъезда семьи в Англию, о котором всемерно озабочивалось правительство. Никогда (“ни минуты” – скажет Кер. в одном из интервью в “Посл., Нов.”) правительство не думало о революционном суде, о возможности политического процесса, в котором будет фигурировать в качестве обвиняемого Царь... Подобное утверждение, как было указано, находится в решительном противоречии с показаниями самого Керенского следователю Соколову, которые были им даны за 15 лет перед изданием книги, предназначенной для ознакомления иностранцев. Косвенное противоречие, как увидим, имеется и в самой книге, поскольку речь идет о Царице. В жизни противоречие сказывалось с первого же момента, когда генерал-прокурор вступил в отправление обязанностей по охране царской семьи, возложенной лично на него правительством.

Керенский ставит поручение, данное ему, в непосредственную связь с рейдом Мстиславского – при нем (отмечает мемуарист) таких эскапад больше не было (“Издадалека”). Ему следовало бы как будто упомянуть о соглашении Исп. Ком. с правительством, после которого в советских кругах наступило успокоение – об этом нет ни слова в воспоминаниях. Поручение Керенскому, как представителю Совета, охранения царской семьи само по себе было логично и целесообразно. Но, очевидно, в мотивах, вызвавших передачу функции наблюдения министру юстиции, было нечто другое. Когда Керенский вступил в отправление этих обязанностей? Отнюдь не непосредственно после возвращения из Москвы, после инцидента 9 марта и соглашения между Советом и Правительством. Прошло 10 дней. Генерал-прокурор появился в Александровском дворце впервые 21 марта, а накануне был

уволен комендант дворца Коцебу все еще приказом военного министра.

Увольнение Коцебу несколько приоткрывает закулисную сторону. По словам Кобылинского, через лакеев солдаты узнали, что Коцебу подолгу засиживается у Вырубовой, жившей во дворце, разговаривая с ней по-английски. Замечено было, что Коцебу передает письма нераспечатанными, вопреки инструкции. “Боясь эксцессов со стороны солдат, – доказывал Кобылинский, – я доложил об этом Корнилову”, который отстранил коменданта, возложив эту обязанность временно на Кобылинского. Причина отставки, очевидно, была сложнее. Возьмем несколько выписок из дневника Нарышкиной, находившейся тоже во дворце, 18 го: “Начался процесс Сухомлинова, боюсь, что он вызовет тяжелые обвинения против них, так как они его защищали, насколько могли. Императрица дала неосторожно знать Нине Воейковой, что в чем бы ее мужа ни обвиняли, она ни слова не поверит...” “Аня Вырубова привлекает к себе Коцебу и хочет склонить его к своим интересам, но я думаю, что он не будет введен в обман и извлечет пользу из ее рассказов, потому что он умен и тонок”, 19 го... “Опубликованы последние телеграммы Императрицы Государю. Императрица возмущена и, кажется, искренне”. 20 го, повторяя, что Вырубова старалась “овладеть Коцебу”, Нарышкина добавляет: “Императрица тоже по ее совету”. Вероятно, Коцебу попустительствовал тому, что Царица, при содействии Вырубовой, сожгла некоторые бумаги. Сжег бумаги и письма и Царь, как он сам отмечает в дневнике 10 и 11 марта. Слухи эти вышли за пределы дворца, как подтверждает Керенский. Говорили, что во дворце уничтожена масса документов, свидетельствовавших об “измене и сношениях с неприятелем”. Когда Керенский посетил дворец 21 го, ему было доложено, по его словам, одним из служащих о сжигании бумаг, что показалось подозрительным. Совершенно ясно, что Керенский до приезда был осведомлен об этих слухах, и по его приказу был произведен тщательный обыск в печах и обнаружено большое количество золы. Подверглись допросу служители. По дневнику Бенкендорфа визит Керенского носил еще более демонстративный характер. Керенский был нарочито небрежно одет – имел по внешности вид рабочего<sup>81</sup>. Особенно шокировало царедворцев, что министр революционного правительства прибыл в автомобиле, принадлежавшем лично Императору, и с шофером из прежнего императорского гаража (Жильяр). Он прибыл в сопровождении 15 человек. Начал обход дворца с кухни, где сказал, что на обязанности слуг следить за тем, что происходит во дворце. Сопровождавшие Керенского осмотрели подвал, открывали все шкапы... В показании Соколову Керенский, не упомянув об обысках, говорил: “Я осмотрел помещение дворца, проверил караул, дал некоторые указания руководящего характера”.

В этот же приезд Керенского была арестована и полубольная Вырубова. Арест ее нельзя не сопоставить с бывшим перед тем обыском у Бадмаева, совпавшим с интервью Юсупова о том, как Царя опаивали распутицы настойкой из тибетских трав. Настроение против Вырубовой было довольно напряженное: Нарышкина отметила, что после эскапады Мстиславского некоторые придворные настаивали на удалении Вырубовой из дворца. Но все-таки нельзя присоединиться к мнению современника, что Керенский ездил в Царское

---

<sup>81</sup> Этот нарочито пролетарский вид Керенский принял с первых дней революции – раньше он никогда не ходил в черной тужурке и был “элегантен”. Набоков рассказывает, как в его присутствии Керенский отодрал углы крахмального воротничка рубашки. Быть может, это было проявление той потери “душевного равновесия”, о которой говорит мемуарист. По словам Карабчевского, на другой день Керенский явился в Совет прис. пов. в “рабочей куртке, застегнутой наглухо без всяких признаков белья...” Последнее, очевидно, преувеличено. Но и московский городской голова Челноков, довольно пристрастный в своих пореволюционных оценках, дает такой “революционный” облик Керенского. Челноков рассказывает, как министр в свой первый приезд в Москву появился у него на квартире “чрезвычайно щегольски одетый” – в рендготте с атласными отворотами, франтоватом галстуке и в высоком воротничке. Имел он даже несколько “фатоватый вид” (обычную элегантность отмечает и Гиппиус). На другой день утром революционный министр переоделся в грязную, потрепанную, глухо застегнутую куртку австрийского образца. “Это моя форма”, – сказал он (Письмо в “Возрождении” 17 авг. 28 г., опубликованное Чебышевым). Как все же не вспомнить слова самого Керенского, что недостаточно носить каскетку, чтобы быть истинным демократом.



арестовывать Вырубову и “спасать ее от самосуда” (Гиппиус). Недаром на другой день после посещения Керенским дворца в газетах появилось сообщение, в котором было сказано, что министру юстиции в качестве генерал-прокурора поручено Чрез. Сл. Ком. обратить “особое внимание на дело Царя”.

Не имеем ли мы права на основании изложенного определенно заключить, что изъятие охраны царской семьи из военного ведомства и передача ее заботам министра юстиции было не только вызвано политическими мотивами, но что в это время уже намечалось “дело Царя”? Одна хронологическая поправка, которую необходимо внести в воспоминания Керенского, и показания, данные им Соколову, сразу вносят ясность в этот вопрос. Во время расследования деятельности окружения Царицы (“Вырубовой, Распутина, Воейкова и др.”), в силу доклада председателя Следственной Комиссии о возможном допросе императорской четы, министр юстиции по “собственной инициативе” в целях беспристрастности расследования решил разделить мужа и жену и изолировать их друг от друга: он вынужден был прибегнуть к такой мере для того, чтобы не дать возможности им договориться или скрыть что-либо, вернее в целях избежать влияния А. Ф. на мужа. В течение всего расследования они могли встречаться только в часы еды в столовой и в присутствии посторонних, т.е. в присутствии дежурного офицера. Надо прибавить, что разрешалось говорить за столом только по-русски и на общие темы (Жильяр). Распоряжение это, по словам Керенского, было сделано в начале июня и имело силу в течение месяца. За Керенским последовал и Соколов, не имевший в своем распоряжении достаточного материала. Между тем дневник Николая II устанавливает совсем иную дату – а именно 27 марта, т.е. во второй приезд Керенского. Запись гласит: “Начали говеть, но для начала не радости началось это говение. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи временем еды и с детьми сидеть отдельно; будто бы ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии знаменитый С.Р.С.Д. Пришлось подчиниться во избежание какого-нибудь насилия”. Запись Царя подтверждает и запись гофмейстерины, которую Керенский предварительно вызвал к себе: “Он мне говорил, что нужно отделить Государя от Государыни. Хочет оставить детей Государю. Я сказала, что Императрице будет слишком тяжело, если ее разлучат с детьми. Это безусловно необходимо ввиду найденных у Ани важных бумаг. Вероятно, под влиянием окружающих ее негодяев глупенькая сделала какую-нибудь неосторожность”. Очевидно, под влиянием Нарышкиной министр юстиции несколько изменил свое первоначальное решение. Небезынтересно сопоставить с последними словами, имеющимися в записи Царя по поводу свидания с Керенским, мемуарное заключение самого Керенского. Он говорит, что объяснил Царю мотивы этой “жестокости” (“duretй” – кавычки мемуариста) и просил Царя с своей стороны, сделать так, чтобы эта мера была осуществлена с минимумом неприятности и постороннего вмешательства... В одной из своих книг (“Rйvolution”) Керенский говорит, что разделение мужа с женой произошло на случай, если им придется быть свидетелями. “Все прошло спокойно” и “все, с кем я разговаривал”, отмечали благоприятное влияние, которое оказало это разделение на Царя<sup>82</sup>. “Он стал более оживленным, более счастливым (!) и более доверчивым”. Узнав от ген.-прокурора, что будет расследование и может быть процесс против Императрицы, Царь принял это известие совершенно спокойно и сказал: “Я не думаю, что Аликс может быть в чем-нибудь замешана... Имеете ли вы какие-либо доказательства”? “Я не знаю, – ответил Керенский, – пока еще нет”.

Память Керенского не удержала даты 27 марта, но зафиксировала “начало июня” для

---

<sup>82</sup> Несуразная (решительно во всех отношениях) мера, придуманная министром юстиции, в действительности длилась очень недолго. Мемуарист ошибся, когда говорил о месяце. Дневник Царя устанавливал, что уже 4 апреля Царица вышла на общую прогулку, а Бенкендорф отмечает ликвидацию этой меры 12 апреля после нового появления Керенского в Ц. Селе. Было, по-видимому, намерение изолировать Царя другим путем, по крайней мере Бьюкенен со слов Милюкова сообщил Бельфурю, что Царь переведен в Петроград.

времени, когда Императрица подвергалась изоляции. Эта дата отпечатлелась потому, что в это время у Царя вновь, согласно докладу председателя След. Комиссии, происходила выемка бумаг. 3 июня Ник. Ал. записал: “После утреннего чая неожиданно приехал Керенский. Остался у меня недолго: попросил послать Следственной Комиссии какие-то бумаги, имеющие отношение до внутренней политики. После прогулки до завтрака помогал Коровиченко (новый дворцовый комендант) в разборе этих бумаг. Днем он продолжал это вместе с Кобылинским”. К лаконической записи дневника Кобылинский сделал такое добавление: “Бумаг было очень много; все они были разложены по отдельным группам в порядке. Указывая на бумаги и на группы, по которым они были там уложены, Государь взял одно письмо, лежавшее в ящике, со словами: “Это письмо частного характера”. Он вовсе не хотел взять это письмо от выемки, а просто взял его, как отдельно лежащее, и хотел его бросить в ящик. Но Коровиченко порывисто ухватился за письмо, и получилась такая вещь: Государь тянет письмо к себе, Коровиченко – к себе. Тогда Государь, как это заметно было, рассердился, махнул рукой со словами: “Ну, в таком случае я не нужен. Я иду гулять”. Он ушел. Коровиченко отобрал бумаги, какие счел нужным отобрать, и доставил их Керенскому”.

Приведенные факты показывают, что “лишенные свободы” представители старой династии должны рассматриваться, как политические заключенные, как подследственные, которым еще не предъявлено обвинение. При таком положении условия их заключения, весьма возможно, должны быть признаны неизбежными и, быть может, целесообразными. Они не могут быть признаны логическими и вытекающими из сущности дела, если на “лишение свободы” представителей династии смотреть с точки зрения гуманной, охраны их интересов и их безопасности, так как ссылки на народную стихию явно преувеличены и в силу этого не убедительны. Керенский сам себе противоречит, когда рассказывает о демонстрации, которая была устроена в Страстную пятницу в Царском Селе в день похорон жертв революции. Церемония должна была происходить в одной из больших аллей царскосельского парка, недалеко от дворца, как раз против апартаментов, занятых царской семьей, так что Царь из окон своей “позолоченной тюрьмы” не мог не увидеть, как его охрана с красным знаменем отдает последний долг павшим в борьбе за свободу. Это должно было явить собой манифестацию, исключительную по силе драматизма (*poignante et dramatique*). В это время гарнизон был еще хорошо дисциплинирован, и бояться каких-нибудь беспорядков не приходилось. Керенский ссылается на постановление царскосельского совета об организации, по примеру Петербурга, официального торжества похорон жертв революции, но повсюду говорит “мы”, из чего приходится предполагать, что показательная демонстрация произошла если не по инициативе, то при ближайшем участии членов правительства. Царь был взволнован, рассказывает министр, на которого была возложена забота о заключенных, и просил устроить похороны вне дворцовой территории или, по крайней мере, не в день Великой пятницы (“La R#250;volution”).

Министр юстиции, которому была поручена забота о заключенных в царскосельском дворце, утверждает, что им лично была разработана и инструкция, которой должна была руководиться охрана и которая имела целью избежать всех ненужных ограничений<sup>83</sup>. В показаниях следователю и в воспоминаниях он приводит и основания, на которых базировалась инструкция. В сущности, это в основном дословное повторение инструкции, подписанной Корниловым. Следовательно, надо предположить, что первая инструкция лишь формально была подписана главнокомандующим, и что она разработана была в министерстве юстиции – другими словами, очевидно, до отъезда Керенского в Москву. А это означает, если следовать воспоминаниям Керенского, что решение об аресте Царя правительством фактически действительно было принято раньше, чем состоялось

---

<sup>83</sup> По дневнику Бенкендорфа, “инструкция” столь строго соблюдалась, что ген. Корнилов не разрешил даже переправку писем Бенкендорфа кн. Кочубею и ген. Волкову, касающихся регламентации частного императорского имущества, в силу чего Царь настаивал через Коцебу о вызове Львова или Гучкова.

формальное постановление. Следователь Соколов не знал инструкции, подписанной Корниловым, и воспроизводил действовавшую инструкцию по показаниям Керенского и по экземпляру, который в “разорванном виде” случайно попал ему в руки в Екатеринбурге. Он утверждал, очевидно, со слов Керенского, что эту инструкцию министр составил “лично”. В ней заключались, между прочим, действительно “совершенно излишние” подробности, вплоть до перечисления блюд, которые может употреблять семья, вплоть до требования воздержаться от “горячих закусок”. Внушалось, что Царь в заключении должен быть “скромен”.

Эти обрывки бумаги с остатком текстов приказов по царскосельскому дворцу с каким-то подобием “табеля о рангах” для кушаний видел в Екатеринбурге и проф. Диль, которому пришлось принять в Сибири участие (до передачи дела Соколову) в охране “царских бумаг”. Я не уверен, однако, что эта инструкция действительно февральского происхождения (так она несуразна для этого времени), возможно, что она происхождения тобольского, когда, по словам комиссара Врем. Прав. при царской семье, Панкратова, в Тобольске начались жалобы на скупку продуктов царской кухней.

Своею целью генерал-прокурор ставил полную изоляцию арестованных от внешнего мира – превратить их в “музейные фигуры”, помещенные под стекло, как выражается он в воспоминаниях. В такие “музейные фигуры” превращалась не только царская семья, но и вся свита – даже “представители правительства”, находившиеся во дворце. Выполнялось это со столь педантической точностью, что даже увольнение “поваров и лакеев” не могло пройти без санкции министра юстиции. Переписка не только перлюстрировалась, но и подвергалась большому ограничению – Царь не мог, напр., переписываться с матерью (Керенский отказал английскому послу в просьбе переслать даже М. Ф. несколько писем от сестры ее – английской королевы, с трафаретной ссылкой на давление со стороны “крайних элементов”). Керенский считает необходимым подчеркнуть, что в стенах дворца жизнь венценосцев не подвергалась никаким ограничениям – скрупулезно сохранялся со всеми деталями установленный традиционный этикет. Даже тогда, когда министр Керенский являлся во дворец, вначале в качестве министра юстиции, а позже в качестве председателя правительства, о приезде его предварительно лакей докладывал церемониймейстеру, последний сообщал Царю, и тот “милостиво” соглашался принять посетителя, который и направлялся в рабочий кабинет Императора, сопровождаемый одним из камергеров и скороходами.

Вероятно, для царской семьи было бы гораздо лучше, если бы она с самого начала была помещена в более скромные условия быта (что, по-видимому, даже вообще соответствовало личным вкусам царской четы), ибо вызывающий внешний этикет, на каждом шагу входивший в коллизию с действительностью тюремного обихода, с одной стороны, лишь подчеркивал специфичность изоляции “лишенных свободы”, а с другой – раздражал “революционное” чувство тех, кто должен был охранять виновника того “невыносимого гнета”, который с таким трудом сбросил с себя “народ...” Все это вело к неизбежным конфликтам.

Для воспоминаний революционного “генерал-прокурора” характерно, что он свои заботы в “поварах и лакеях” и т.п. пытается представить в виде мер, диктуемых только гуманными соображениями слишком очевидно, что здесь политика стояла на первом плане. Мемуарист доходит до такого фантастического преувеличения в рассказе о том, как все “верноподданные” оставили царскую семью, что утверждает, что даже больные дети оказались без присмотра и что Времен. Прав. вынуждено было принять на себя заботу по оказанию необходимой медицинской помощи. На одном из своих публичных докладов 36 г. Керенский, по словам газетного отчета, выразился сильнее и сказал, что царь очутился в таком жутком одиночестве, что “революционеры бегали в аптеку” для больных детей... Тут мемуарист забывает об инструкции, им разработанной и запрещавшей выход из дворца всем попавшим в золотую клетку... На такой “гротеск” не стоило бы обращать внимания, если бы он красной нитью не проходил в объяснении, которое “ген.-прокурор” мартовских дней 17 г.

дает для будущей истории.

Если мемуарист вспомнил, как почти все придворные оставили царскую семью, следует напомнить, в каких формах была произведена эта изоляция. По рассказу Кобылинского, Корнилов при посещении 8 марта предложил всем бывшим там по желанию разделять судьбу арестованных или немедленно покинуть дворец. Однако через три дня в военном министерстве состоялось совещание, на котором участвовал Гучков, где происходила чистка и сортировка придворного штата, причем, как сообщали газеты, часть подлежала аресту и заключению или в царскосельской тюрьме, или в Петропавловской крепости. Газеты передавали, что отдано уже распоряжение о переводе в крепость гр. Татищева, кн. Путятина и полк. Герарди. Сортировка продолжалась в течение трех недель. По крайней мере, Царь занес в дневник в страстную субботу 1 апреля: "...Вчера мы простились с 46 нашими, которых наконец выпустили из Александровского дворца к их семьям в Петроград". Но и после этого штат прислуги был довольно значительный. Царь записал 2 го: "Перед завтраком христосовались перед всеми служащими, а Аликс давала им фарфоровые яйца, сохранившиеся из прежних запасов. Всего было 135 человек". Насколько строго соблюдалась изоляция, показывает тот факт, что англичанин Гибс (состоявший на ролях воспитателя при наследнике), отсутствовавший в момент ареста, не был допущен во дворец, несмотря на свои настойчивые ходатайства: отказ правительства, как показывал Гибс Соколову, был подписан пятью министрами.

\* \* \*

Реальные условия содержания тюремных сидельцев при всех политических режимах зависят не столько от формальных инструкций, сколько от людей, выполняющих обязанности кустодов, и начальства, над ними поставленного. В смысле личной корректности министр юстиции, посетивший, по его словам, заключенных 8 – 10 раз, был вне упреков. Об этом единодушно говорят все окружавшие царскую семью в заключении. По "долгу чести перед Вр. Прав." он считал необходимым в обращении с Царем и его семьей проявлять "черты джентльменства". Нельзя это поставить даже в заслугу министру юстиции – по-другому не мог поступить демократ, принадлежавший к кругу квалифицированной интеллигенции. Наблюдавшие непосредственно взаимные отношения Царя с министром революционного правительства свидетельствуют, что если в первое свое посещение Керенский держался более или менее холодно и официально, то потом отношения смягчились и приняли характер большей мягкости, с одной стороны (Керенский перестал принимать "позу судьбы", по выражению Жильяра), и "доверия" – с другой. Нарышкина 12 апреля записывает отзыв Императрицы: "Керенский симпатичный, прямой, с ним можно договориться" 84.

"Око" генерал-прокурора в Александровском дворце, военный юрист Коровиченко, сменивший на посту коменданта отставленного Коцебу и связанный личными отношениями с министром, оставил по себе двойственное впечатление. "Семья не очень любила его, – показывал Кобылинский, – хотя я по совести должен засвидетельствовать, что Коровиченко в общем хорошо относился к семье и делал все, что мог, чтобы облегчить ее положение. Он, например, выхлопотал позволение им работать в огороде, кататься на лодках". "Какой милый комендант", – скажет про него Нарышкина. И тем не менее "никто не жалеет об его уходе", – запишет Царь 27 мая. Причиной, по-видимому, была некоторая грубоватость и бестактность, свойственная коменданту.

Как держал себя караул среди взбаламученного моря революционных страстей, от которых по поручению Времен. Прав. охранял царскую семью министр юстиции? Дать

---

84 Почти в таких же словах передавал Соколову отзыв Царицы и камердинер Волков: "Он славный человек. С ним можно говорить". Нарышкина, очевидно, со слов доктора Деревенко, говорит, что Керенский в присутствии делегатов напускал на себя грубость, а наедине даже титуловал заключенных.

правдивую картину здесь труднее всего, ибо всякий мемуарист излагает свои впечатления под определенным углом зрения. И все же лица из царского окружения дадут более правдивую картину, чем нарисует ее мемуарное перо генерал-прокурора, наблюдавшего жизнь царскосельских узников со стороны. Мемуаристы из свиты, отмечая разнузданность революционной солдатчины, охотно будут говорить о каждом проявлении простого человеческого чувства в этой среде и подчеркивать все случаи, свидетельствующие о не принужденности, которая постепенно устанавливалась между заключенными и стражей, – для того, чтобы опровергнуть “ненависть” к династии: это явление наносное, порожденное только пропагандой и исчезавшее при непосредственном соприкосновении с жертвами людской несправедливости. Генерал-прокурор имел другую цель в своих воспоминаниях: подготовить читателя к объяснению, почему правительство, лишившись возможности отправить царскую семью в Англию, вынуждено было выбрать для ее местожительства Сибирь. Как для объяснения самого факта ареста Царя, он ударял по клавишам прошлого, совершенно не считаясь с резонансом, который от этого получается, так поступает он и для объяснения условий, в которых протекало заключение и которые настоятельно требовали во имя безопасности заключенных от Правительства тобольской меры. В полное отрицание собственной концепции революции, которая должна свидетельствовать о том, как правительство постепенно одерживало верх над разбушевавшейся стихией и вводило ее в рамки порядка и законности, в отношении Царского Села он склонен форсировать влияние этой стихии. Только решительность и определенность правительства охраняли царскую семью от всех эксцессов, им грозивших от народной ненависти, и делали временное заключение в царскосельской золоченой клетке спокойным, а для Царя, быть может, даже приятным. Он спокойно сменил скипетр на лопату садовника. “Все, кто наблюдал Царя в дни “пленения”, единодушно утверждают, – пишет Керенский, – что в течение всего этого периода бывший Император был по большей части в спокойном настроении и даже веселым; как будто новые условия жизни являлись для него источником благоденствия. Он пилил дрова, работал в саду или огороде, катался на лодке с детьми, вечером громко читал семье. Тяжелое бремя пало с его плеч, он был более свободен, не чувствовал стеснения. И это было все, что ему было надо”.

Может быть, Керенский был бы во многом прав, если бы не прибегал к методу, присущему его воспоминаниям, – к крайнему преувеличению. Когда он ссылается на мнение всех, наблюдавших Царя в заключении, он, вероятно, имеет в виду Нарышкину, с которой имел повод говорить после отъезда царской семьи в Тобольск. Нарышкина действительно отметила однажды в своем дневнике (27 апреля), что Царь ей сказал, что он вполне доволен своим положением. “Было ли искренне сказано?” – задает себе вопрос гофмейстера<sup>85</sup>... Царская чета, как отмечает она, обладала прямо “непостижимым” самообладанием. В сущности, сам Николай II дал определенный ответ своей записью в дневник 9 мая – в день своего рождения: “Тяжело быть без известия от дорогой мамы, а в остальном мне безразлично”. Мне кажется, безразличие к окружающим уколам самолюбия вернее передает психологию отрекшегося Императора в период заключения, нежели утверждение, что Царь после отречения почувствовал “вкус к жизни” (так передавал Гибс проф. Пэрсу, написавшему предисловие к книге Керенского). Труднее переживала заключение Ал. Фед. Она говорила Нарышкиной (25 марта), что “Государь должен был отречься для блага родины. Если бы он этого не сделал, началась бы гражданская война – это бы вызвало осложнения в военное время. Самое главное это благо России”<sup>86</sup>. Царица надеялась на

---

<sup>85</sup> Эти именно слова Нарышкина передала Керенскому. В изложении Керенского все получает более категорическую форму – Нарышкина уже определенно утверждает, что в “устах Царя приведенные слова отнюдь не были внешней позой”.

<sup>86</sup> Жильяр записывает 20 марта: когда священник молился об успехе русской и союзной армий Царь и Царица и все опустили на колени.

контрреволюцию – как не раз отмечает в дневнике Нарышкина.

Спокойная и мирная жизнь во дворце была как бы искусственно создана, и потому установленный порядок много раз нарушался все сильнее поднимавшимися волнами бурлящего революционного океана. Население собиралось у решеток в парк, где гуляла царская семья, и выло (*hurlait*) и свистело при появлении Царя. Прогулки царских дочерей сопровождалась фривольными комментариями. В самом парке стража, нарушая регламентированный порядок, толпилась около пленников, выказывая грубо им свое презрение. Не будем, однако, очень преувеличивать. Негодующие толпы, грубость охраны и т.д., о чем рассказывает Керенский, – все это обобщение отдельных случаев. И, быть может, не всегда это было так грубо и страшно. В первых числах апреля, в дни пасхальной недели, Царь отметил в дневнике “большую толпу зевак” за решеткой, которая “упорно” наблюдала за гуляющими. Жильяр рассказывает (также в дневнике), что караульный офицер подошел и сказал, что “опасается враждебных демонстраций”, и просил уйти. “Государь ответил ему, что совершенно не боится и что эти добрые люди ему нисколько не мешают”. Очевидно, офицер настаивал, и Царь записал: “Пришлось уйти и скучно провести остальное время в саду”. Допустим, что истина, как часто это бывает, находится где-то посередине. И все-таки назойливое любопытство зрителей, улюлюкание скорее уличных хулиганов, легко, а иногда даже с охотой разгоняемых стражей<sup>87</sup>, – явление несколько иного порядка, чем негодующие толпы народа. Рассказам о грубости охраны в парке, выявлявшей свое презрение бывшим властелинам, мы можем противопоставить фотографическую пленку (их немало было сделано в Ц. С.), зафиксировавшую сентиментальную сцену поднесения букетика цветов караульным начальником одной из царских дочерей.

Как ни скуден своими отметками дневник самого главы семьи, он дает, пожалуй, наиболее верное указание для характеристики положения заключенных. Каждый побывавший в тюрьме знает, какое огромное значение для заключенных имеет состав караульного наряда – бывают наряды хорошие и плохие; строгое соблюдение всякой “инструкции” может отравить существование заключенных. Это общее правило подтверждают систематические отметки в дневнике с первых же дней: “пакостный караул”, “хороший караул...” когда караул “пакостный”, тогда всегда возможны придирки, грубость, недоразумения по всяким поводам, тогда “инструкция” толковалась ограниченно, тогда за заключенными за прогулками по пятам ходит “целый конвой”, и режим становится строже; когда караул “хороший” – ни один стрелок не шляется по парку, гуляющих сзади сопровождает лишь дежурный офицер, караул (и офицеры и солдаты) нередко сами помогают в работе по огороду, по пилке дров и т.д. Худшие держат себя вызывающе, курят, разваливаются; хорошие, привыкшие к семье, если и держат себя непринужденно, сгруживаются на земле около Царицы, которая сидит тут же в кресле возле работающих в саду, добродушно беседуют (рассказ Волкова). Заметное улучшение состава караула – “разницу огромную” Царь отмечает в июле (обратим на это внимание), когда из Царского Села на фронт ушли маршевые роты и взамен с фронта от каждого полка было прислано по 300 человек. Характеристику, сделанную Керенским, караула, в значительно смягченном виде подтверждают показания Кобылинского. Он рассказывал о постепенной деградации дисциплины в царскосельском гарнизоне и, следовательно, в царской охране. Кобылинский, заменивший Коровинского после его ухода, тепло относился к узникам, своей мягкостью снискал доверие и привязанность всей семьи, и должен быть признан досрочно авторитетным свидетелем. Однако для определения объективной ценности показания мы должны учесть психологию момента, когда давались показания, и то, что в восприятии Кобылинского несколько перепутались хронологические даты фактов, им отмеченных. “Я рассказал все, что мог припомнить о царскосельском периоде заключения августейшей

---

<sup>87</sup> О таком показательном случае разгона улюлюкающей толпы в 50 человек рассказывает кап. Булыгин, удаленный за свой “монархизм” из запасного батальона и оказавшийся в рядах царскосельской охраны.

семьи”, – заявил он в своем показании 6 апреля 19 г. Приведем *in extenso* ту часть его показания, где отмечаются отрицательные стороны быта царскосельских узников, поскольку они зависели от караула. “Один из офицеров напился как-то пьяным. Когда подошла Пасха, по установившемуся уже издавна обычаю, дежурному офицеру выдавалось полбутылки столового вина. Так было и на этот раз. Узнав об этом, солдаты подняли целую историю. Пришлось тогда же вылить 50 бутылок водки. Как-то они обвинили пр. Зеленого в том, что он поцеловал у Государя руку. Из-за этого вина и из-за последнего случая возникло тогда целое “дело” и производилось целое расследование. Распускаясь все более и более, совсем уже одурманенные лживым пониманием “свободы” солдаты стали выдумывать всякие небылицы. Недостойно вел себя преимущественно 2 й полк, причем отличались не одни солдаты, но и офицеры<sup>88</sup>. Однажды кем-то из офицеров второго полка было заявлено: “Мы их должны сами видеть. А то они арестованы, а мы их не видим”. Очевидно, желание причинять напрасные моральные муки, может быть, даже просто “мещанское” любопытство видеть августейшую семью прикрывалось якобы опасностью, что семья сбежит<sup>89</sup>. Напрасно я уговаривал не делать этого, так как от больных детей никуда не убегут родители. Опасаясь, что, в конце концов, все это может случиться и помимо меня, я обратился за разъяснениями к ген. Половцеву, сменившему тогда Корнилова<sup>90</sup>. Было решено сделать таким образом: когда придет новый караульный офицер для смены кончившего караула, они оба будут у Государя в присутствии Государыни, причем сменявшийся с караула будет прощаться, а новый здороваться. Чтобы выходило это менее всего тягостно, решено было всю эту процедуру проделывать перед завтраком, когда обыкновенно семья сходилась вместе<sup>91</sup>. Но вот однажды, когда второй полк сменил первый и оба офицера отправились к Государю, Государь простился с уходившим из караула офицером первого полка, подав ему руку. Когда же он протянул руку караульному офицеру второго полка, тот отступил шаг назад и не принял руки Государя. Его рука повисла в воздухе. Чрезвычайно страдая, вероятно, от скорби, Государь подошел к этому офицеру, взял его за плечи обеими руками и со слезами на глазах сказал ему: “Голубчик, за что же?” Снова отступив шаг назад, этот господин сказал Государю: “Я из народа. Когда народ вам протягивал руку, вы не приняли ее. Теперь я не подам вам руки”. Об этом я передаю вам со слов офицера первого полка, бывшего очевидцем всей этой возмутительной истории<sup>92</sup>.

Разложение, по мере углубления революции, шло все далее и далее. Солдаты не знали, к чему придаться, и изыскивали под разными серьезными предложениями разные поводы причинить какую-либо неприятность царской семье. Однажды они увидели в руках Алексея

---

<sup>88</sup> Отметка Царя 16 мая, что и во втором батальоне были хорошие караулы.

<sup>89</sup> Весьма возможно, что это требование явилось формальным исполнением новой инструкции. Не имея ее в полном виде, мы не можем установить, как по ней должна была происходить проверка заключенных. В газетах были сообщения (“Рус. Вед.” 19 марта), что по новой инструкции предполагается охране вменить в обязанность в течение дня 2 – 3 раза удостовериться в присутствии заключенных. Коменданту поручается совместно с Бенкендорфом выработать соответствующую форму. Жильяр отметил, что распоряжения меняются ежедневно и что каждый из караула толкует инструкцию на свой лад.

<sup>90</sup> То есть в конце мая.

<sup>91</sup> По тогдашним газетным сведениям установился порядок, что Ник. Ал. и А. Ф. в 12 час дня и 7 час вечера подходили к окну с целью показать себя караульному начальнику.

<sup>92</sup> Случай этот был, как можно установить, с прапорщ. Яронима 24 апреля, когда Кобылинский не выполнял еще функции коменданта дворца. Очевидно, в восприятии Кобылинского смешивалось, что было при нем и что он слышал раньше. Бенкендорф занес этот эпизод на страницы своего дневника, но отметил его 21 апреля нов. ст. По его словам, это был “любитель” из совдепа, нарядившийся в одеяние стрелка.

Ник. маленькое ружье. То была винтовка-модель, сделанная специально для него на каком-то русском заводе. Она была совершенно безопасна, так как из нее можно было бы стрелять только особыми патронами, которых не было. Сейчас же они потребовали отобрания винтовки. Это были солдаты все того же второго полка; офицер тщетно доказывал им нелепость их требований, но, чтобы избежать насилия, которого вполне возможно было ожидать от них, он взял у Ал. Ник. ружье. Когда я пришел после этого во дворец, Жильяр и Теглева рассказывали мне об этом инциденте и сообщили, что А. Н. “плачет”. Тогда я взял к себе винтовку и по частям перенес ее ему<sup>93</sup>. В конце концов солдаты, а через них и местный царскосельский совдеп, окончательно перестали мне доверять и назначили выбранного ими мне в помощники прап. армянина Домодзянца. Это был грубый человек. Он всячески домогался как-нибудь втиснуться во дворец, куда я его упорно не допускал. Тогда он стал постоянно торчать в парке в то именно время, когда семья выходила на прогулку. Однажды, когда Государь, проходя мимо него, протянул ему руку, он не принял руки Государя и заявил, что он не может по должности пом. коменданта подавать руку Государю. Поставленный в известность об этом происшествии Керенский как-то прибыл в Царское и пригласил к себе председателя местного совдепа (не по поводу этого инцидента, а по какому-то другому поводу). Последний в разговоре сказал Керенскому: “Позвольте вам доложить, г. министр, что мы выбрали в помощники коменданта прап. Домодзянца”. Керенский ответил: “Да, я знаю. Но неужели же вы не могли выбрать другое лицо, а не такое?” Но осталось так, как было: власти не было и у самого Керенского. Вот этот-то Домодзянец и научил солдат отвечать Государю на его приветствие, с которым он обыкновенно обращался к солдатам. Те, конечно, и проделали подобную вещь. Это, конечно, были солдаты второго полка. Пришлось мне просить Государя не здороваться с солдатами, так как по тем временам ничего нельзя было поделывать с ними, и Государь перестал приветствовать солдат”<sup>94</sup>.

Немного эпизодов мог припомнить дворцовый комендант за пятимесячное пребывание в Царском Селе. Если мы прибавим еще два эпизода, проходящие в различных вариациях через все воспоминания, то это будет почти все более или менее яркое, что отметили современники. На одном из этих эпизодов останавливается Керенский, относя его к первым дням. В дневнике Царя и Жильяра он отмечен под 10 июня: “Вечером около 11 часов, – записал Царь, – раздался выстрел в саду. Через четверть часа караульный начальник попросил войти и объяснил, что часовой выстрелил, так как ему показалось, что из окна детской спальни происходит сигнализация красной лампой. Осмотрев расположение электрического света и увидя движение Анастасии своей головой, сидя у окна, один из вошедших с ним унтер-офицеров догадался, в чем дело, и они, извинившись, удалились”. Жильяр назвал этот случай “забавным”, “нарушившим однообразие нашего заключения”. Другой эпизод, действительно относящийся к первым дням, рассказан Жильяром (запись 19 марта): “Несколько дней тому назад, выходя от Ал. Н., я встретил человек десять солдат, бродивших по коридору. Я подошел к ним и спросил, чего они хотят. – Мы желаем видеть Наследника. – Он в постели и его видеть нельзя. – А остальные? – Они тоже больны. – А где Царь? – Я не знаю. – Пойдет он гулять? – Я не знаю. Но послушайте, не стойте тут, не надо шуметь, ведь здесь больные. – Они вышли на цыпочках и разговаривая шепотом...”<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Инцидент этот был 3 июня.

<sup>94</sup> Это было 21 июня. О Домодзянце в дневнике Царя ничего нет. Упоминается общий нелюбимый прап. Шумович 2-го полка. О Домодзянце имеется упоминание в “Дневнике” Наследника с соответствующим бранным эпитетом, который комментатор “Посл. Нов.” назвал “метким” русским словом. “Дневник” наследника от имени его вели поперемменно Жильяр и Гибс. (См. Свидетельство Диля.)

<sup>95</sup> Можно пройти мимо полуистерического рассказа Вырубовой от 8 марта – день приезда Царя. Царь вышел гулять вместе с кн. Долгоруким. “Их окружало 6 солдат, которые все время толкали Государя то кулаками, то прикладами, приговаривая: “Туда нельзя ходить, г. полковник, вернитесь, когда вам говорят...”



Мне кажется, что с некоторым правом можно сказать, что царская семья, в общем, жила в условиях своей своеобразной политической изоляции довольно спокойно в Царском Селе и что царскосельских узников стали забывать; никакой опасности им не грозило и “menace de Cronstadt”, которая так страшила Нарышкину (запись 18 мая), фактически не существовала, поскольку крепко держало само Временное Правительство. Была права Нарышкина в своей записи 14 апреля: “Нашему заключению не видно конца, пока Керенский тут, можно быть уверенным, что мы останемся, как теперь”. Но едва ли правильна оценка, которую дала та же Нарышкина за две недели перед тем: “Правительство делает, что может”. Правительству не было основания создавать тюремную обстановку для царской семьи потому, что только в мемуарном восприятии революционного генерал-прокурора толпы солдат осаждали ворота дворца и кричали: “распните их”.

## Глава четвертая МУРАВЬЕВСКАЯ КОМИССИЯ<sup>96</sup>

### 1. Двойственная задача

Министр юстиции, которому Врем. Прав. вручило судьбу царской семьи, имел некоторую слабость к красивым, показным и декларативным формулам не только в воспоминаниях, но и в жизни. Революционную практику, независимо от личных свойств блюстителя начал свободы, порядка и законности при новом политическом строе, трудно было уложить в рамки этих отвлеченных формул. Отсюда возникла коллизия между теорией и практикой. “Даю слово, – сказал по газетному отчету новый министр, посетив впервые свое ведомство 4 марта, – что, когда я оставлю пост... ни один злейший враг новой свободной России не осмелится сказать, что во время управления Керенского... право, закон и справедливость оставались в этом ведомстве пустым словом”. Искренний демократ со своим убеждением в теории, действительно хотел “поднять правосудие на недостижимую высоту”, как сказал он председателю Совета сословия, к которому принадлежал, – известному адвокату Карабчевскому. Но жизнь ставила сложные политические проблемы, которые ежечасно почти неизбежно требовали компромисса<sup>97</sup>. Не всегда их удачно (речь идет, конечно, не о “технических промахах”) умел разрушать революционный генерал-прокурор. И далеко не “злейший враг” новой свободной России сенатор-цивилист Завадский нависал в воспоминаниях: “В лице Керенского судебное ведомство приобрело левого Щегловитова”. Приговор несправедлив, ибо мемуарист пытается осудить “микроб революционного насилия” с точки зрения того отрешенного “юридического идеализма”, последовательно провести который он сам не мог, соприкоснувшись в своей должности в качестве тов. Председателя учрежденной правительством Чрез. След. Комиссии с революционной стихией. Все абсолютные истины в революционное время становятся относительными. Бесконечные споры, которые велись в различных правительственных комиссиях и которыми в первое время заполнялись газетные столбцы либеральной печати – о праве внесудебных арестов, о несменяемости судей и т.д., свидетельствовали, быть может, о добросовестности “юридического мышления”, о благородных, но и утопических

---

<sup>96</sup> Эта глава занимает несколько непропорциональное место в тексте. Автор печатает ее без сокращения не только потому, что деятельность Комиссии в литературе освещена еще очень мало, но и потому, что характер ее работы оказывал большое влияние на судьбу Государя.

<sup>97</sup> Революционная фразеология была свойственна эпохе – так, наряду с декларативными заявлениями министра юстиции, тов. министра вн. д. Урусов в интервью с сотрудником “Бирж. Вед.” заявлял, что политический сыск отныне изгоняется из государственного обихода – и это было в то время, когда старые тюрьмы стали наполняться новыми политическими заключенными, слугами ушедшего в небытие режима.

стремлениях “без замедления покончить навсегда с позорным наследием жестокого времени” (“Рус. Вед.”), но не о глубоком понимании того, что происходило. Конечно, лишь правовое сознание, органически связанное с подлинным демократизмом, могло быть прочной гарантией против злоупотреблений, которые в зародыше нес в себе “микроб революционного насилия”, и могло положить предел ограничениям, так или иначе оправдывавшимся в переходное время необходимостью защиты нового, неокрепшего еще, свободного режима. Надо признать, что крайне неудачно министр юстиции мотивировал лишение свободы слуг и адептов старого строя ссылкой на то, что он “держит их под стражей, не как министр юстиции, а на правах Марата” – так Керенский ответил, по словам Завадского, на его недоучете. “Право” Марата – это насилие во имя демагогии, насилие ради возбуждения революционных страстей и народной ненависти. 7 марта в Москве Керенский гордо говорил, что никогда не будет Маратом русской революции – по справедливости он им и не был.

Учитывая всю необычайную сложность и трудность позиции власти, все же надлежит еще раз сказать, что определенной тактики она не сумела выработать и в сфере революционного правосудия. Двойственность, как везде, отразилась и на деятельности созданной уже 4 марта при министре юстиции “в качестве генерал-прокурора” Верховной Следственной Комиссии – “для расследования, – как говорилось в указе, – противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц” старого строя<sup>98</sup>. Акты окончательного расследования Комиссии должны были представляться генпрокурором для доклада Правительству. Кто будет судить привлеченных в качестве обвиняемых и на основании чего будет происходить само привлечение к ответственности – об этом в “положении” не говорилось. Косвенное указание, конечно, давалось термином – “противозаконные по должности действия”. Как будто бы сама Комиссия должна была установить на практике пределы своей компетенции. Получалось учреждение *suī generis*, не имевшее прецедентов в прошлом, – с весьма неопределенными функциями и правами. Председатель Комиссии – им был назначен с правами тов. министра московский прис. поверенный Муравьев – в позднейшем докладе на Съезде Советов в июне определил основную задачу Комиссии как ликвидацию “прегрешений старого режима”. “Эта работа, – говорил он, – в такой обстановке могла бы оказаться безбрежной и поэтому, волей-неволей, нужно было ограничить задачи... По необходимости Следственная Комиссия... взяла в сферу своего ведения... только лиц первых трех классов, только высших сановников павшей Империи(?)”. Функции Комиссии как будто ограничены. Это “меч правосудия”, как выразились “Русские Ведомости”. Но судить представителей старого режима будут со всеми “гарантиями правосудия”. “Такой акт высокой гражданственности вносит светлую страницу в начавшуюся историю обновленной России”, – писала “профессорская” газета, сравнивая положение 17 г. с тем, что было после первой революции, – “не будет ни самосуда, ни мести”. Комиссия “в высшей степени легко и довольно убийственно для врагов русской свободы и русского революционного народа, – писал в докладе ее председатель, – разрешила вопрос о принципе привлечения представителей старого порядка к ответственности: было в высшей степени важно этих лиц старого режима ударить их же собственным оружием, поставить их в такое положение, чтобы они не могли сказать революционной демократии, что их судят за то, что не было запрещено в их времена и что стало запретным с того момента, когда вы вышли на арену мировой истории...”<sup>99</sup> “Оказалось совершенно возможным целиком встать на точку зрения

---

<sup>98</sup> Склонный к персонификации министр юстиции говорил в Москве: “Я организую” верховную комиссию “явочным” порядком. Министр потом переименовал верховную комиссию в “чрезвычайную” – очевидно, в целях избежать аналогии с делом декабристов.

<sup>99</sup> Упоминание о “революционной демократии, очевидно, следует объяснить тем местом, где Муравьев делал свой доклад.

того закона, который существовал в последние дни и месяцы старого режима. Можно сказать: те законы, которые вы написали, вы же в лице высших и центральных ваших представителей их и нарушали...”

Ввиду крайней расплывчатости “положения” пределы деятельности Комиссии определялись толкованием инструкции председателем или закулисным соглашением его с министром юстиции. “Мы расследуем неправильные по должности действия... министров, но также ведем расследование их политической деятельности по основным линиям, вытекающим из манифеста 17 октября в отношении к народу, Гос. Думе и общественным организациям и тех прав, которые даны были этим манифестом народу (право собраний, союзов и т.д.)”, – разъяснял председатель Комиссии б. моск. гор. голове Челнокову, вызванному в Комиссию в качестве свидетеля (допрос 28 июля). “Мы выясняем неправильные действия властей старого порядка не только с точки зрения уголовной, но и с точки зрения государственной... Народное правительство заинтересовано в том, чтобы знать правду отношения власти последних лет старого режима к Польше”, – расширил рамки расследования Муравьев при допросе свидетеля гр. Велепольского 14 июля.

В теории говорилось о преступлениях, совершенных в “последние дни и месяцы старого режима”, на деле Комиссия или ее руководитель склонны были в своем расследовании отменить принцип “давности” и обращались к столыпинским временам: быв. мин. юстиции Щегловитову прямо был поставлен вопрос, как он мог оставаться министром в кабинете Столыпина и продолжать нарушение закона<sup>100</sup>. Здесь страдал политический здравый смысл, ибо патриотический порыв начала великой войны покрыл как бы пеленой забвения прошлое<sup>101</sup> и политическая совесть могла бы ставить вопрос о “преступлениях” за годы войны, приведших к разрухе, которая вызвала революцию. Но все шире и шире раздвигались рамки – Комиссия не избежала опасного пути формулировать обвинение в преступавших по должности и в отношении тех, кто стоял во главе борьбы с революционным движением февральских дней. Это было уже наперекор юридической логике, ибо революция была отрицанием закона, который должны были блюсти представители власти. Составители указа об амнистии 6 марта прекрасно сознавали это; поэтому они и ввели особый пункт: “предать навсегда забвению воспрещенные угол. законом деяния, совершенные по политическим побуждениям (за исключением побуждений изменнического свойства) в течение времени с 23 февраля до издания указа”. Вполне последовательны были те революционные организации, которые полагали, что п. I амнистии ликвидирует все последствия, связанные с февральскими днями для обеих сторон: так, нарымские ссыльные на основании указа об амнистии выпустили арестованных полицейских чинов. Преступления против мифической “воли народа” нельзя было облечь в соответствующие юридические формулы. Преследование за содеянное могло быть проявлением только политической мести.

В докладе, представленном Съезду Советов, Муравьев пытался изобразить картину постепенного осложнения “скромных” задач, первоначально возложенных на Комиссию, – как бы вопреки воле самой Комиссии: “скромная” работа по выяснению “преступлений” старого режима превращалась в “громкую исследовательскую задачу”. Это не соответствует действительности, ибо с первых дней своего существования Комиссия, вопреки непосредственному смыслу правительственного указа 12 марта, далеко вышла за пределы рассмотрения преступлений, совершенных “сановниками нашей Империи”. Ни тибетский врач Бадмаев, у которого постановлением Комиссии был произведен обыск 11 марта, ни фрейлина Вырубова, арестованная лично министром юстиции, не принадлежали к числу должностных лиц “первых трех классов”. Еще меньше к числу их могли быть

---

<sup>100</sup> Этот вопрос был поставлен членом Комиссии Родичевым.

<sup>101</sup> См. мою книгу “На путях к дворцовому перевороту”.

отнесены сами носители верховной власти, на расследование действий которых, по цитированному уже газетному сообщению, ген. прокурор 22 марта предписал Комиссии обратить особое внимание.

В показаниях Соколову б. министр юстиции Врем. Прав. пояснял, что Комиссии дано было задание “обследовать роль Николая II и Царицы по вопросу о наличии в их действиях 108 ст. уг. улож., т.е. государственной измены”. В производстве Комиссии это именовалось туманным названием “обследования деятельности темных сил”.

Только через 21/4 месяца так или иначе было оформлено право Комиссии так широко толковать свою компетенцию. “Положение” 12 марта, указом Правительства 12 марта, указом Правительства 27 мая, было дополнено пунктом: “Чр. Сл. Ком. Представляется право расследовать преступные деяния, учиненные лицами перечисленными: в отд. I сего положения, хотя бы во время их совершения лица эти и не состояли в указанных в отд. I должностях и вообще на службе, а также и иные преступные деяния, учиненные должностными и частными лицами, если Комиссия признает, что преступные деяния имеют тесную связь с деяниями, подлежащими расследованию Комиссии согласно от. I”.

“Мы разворачиваем всю картину последних месяцев и годов павшего режима, – объяснял в докладе Муравьев, – с известной точки зрения, мы ведем широкую расследовательскую работу; другая часть нашей Комиссии занимается криминализацией этой работы, а именно: по мере разворачивания общей картины, по мере объективного установления преступлений, совершенных должностными лицами, смотрит – не подходят ли они под действия того или другого уголовного закона. Те преступления, которые они совершили и совершали в большом количестве, – эти преступления очень не сложны в своем юридическом выводе. Если вы обратите внимание только на заключительные строки будущих обвинительных актов, вы разочаруетесь – вы скажете: это формула обычного злоупотребления власти, формула бездействия и еще чаще типичная формула превышения власти. Но дело не в этом... если вы просмотрите исторические страницы будущих обвинительных актов, вы увидите, что эти по необходимости схематические формулы наполнены таким глубоким и жизненным содержанием, что нам представляется не важным, что столь незначителен, и сух, и короток, и обычен этот самый наш вывод. Важен тот жизненный комплекс деяний данных лиц, та историческая картина правящего класса и правительственной власти в последние дни существования старого режима, которая предшествует и будет предшествовать на страницах обвинительного акта этому краткому, сухому и в сущности такому ненужному, даже объективному выводу”. “В результате наших расследований, – утверждал докладчик, – как бы их ни ограничивать, как бы ни запереться в скромных рамках уголовного преступления, получается документальное доказательство одной тезы, что русской революции не могло не быть, что русская революция неизбежно должна была прийти и неизбежно должна была победить. Наш материал, когда он будет опубликован всецело, быть может, покажет и перед вами и перед всем миром, что нет возврата к прошлому, что мечты о прошлом, если забредают в отдельные головы, разбиваются о тот материал, который постепенно стекался в нашу комиссию”.

Но все-таки основным стимулом были создание и постановка “процессов”, которые “не могут не иметь мирового значения”. В этом отношении гора родила мышь – таков вывод всех, имевших ту или иную причастность к деятельности Комиссии. В существующей литературе нельзя встретить ни одного отзыва, одобрительно высказывающегося о работе муравьевского детища. Почему? <sup>102</sup> Маклаков, написавший политическое предисловие к французскому изданию опубликованных материалов След. Комиссии и намечавшийся первоначально на пост председателя Комиссии (он отказался), считает главной причиной неуспеха то, что в основу расследования Комиссии был положен парадокс, что революция

---

<sup>102</sup> Конечно, в отзывах значительно сказались точки зрения писавших, которые преломлялись ими в призме или эмигрантской, или большевизанской психологии.

может судить своих врагов во имя законов, которые она разрушила, – это абсурдная идиллия в революционную бурю. Маклаков оспаривал таким образом именно то положение, которое особливим образом выдвигал председатель Комиссии. Логичными Маклакову представлялись лишь два положения. Правительство могло бы преследовать в таком порядке виновных в преступных деяниях по строгости существовавших законов лишь в том случае, если бы революция ограничилась восстановлением конституционной законности, нарушенной старым режимом. В противном случае правительство, пришедшее к власти революционным порядком, могло бы принять против своих врагов репрессивные меры, не думая об их законности и руководясь только соображениями общественной безопасности. (Парадокс создан в силу того, что двусмысленно было само положение правительства, соединявшего в себе две противоположные концепции. Власть попала в руки “умеренных”, которые сделали революцию вопреки своему желанию и разрушили порядок, который пытались защитить.) Думается, что не в этой, довольно абстрактной предпосылке лежит причина того, что деятельность Чрез. Сл. Ком. никого не удовлетворила.

С другой точки зрения в оценке итогов деятельности Комиссии подошел непосредственный участник ее работы историк Щеголев, редактор и автор предисловия к опубликованным материалам Комиссии: “Созданная революцией Комиссия, – писал он, – не имела сил, да, пожалуй, и не чувствовала охоты возвыситься до революционного отношения к объекту своих расследований. Отбросив в сторону средних и низших агентов режима, Комиссия сосредоточила свое внимание на особах первых трех классов и обошла молчанием Царя, “представителя верховной власти”. Из двух задач, поставленных Комиссией, не была выполнена основная задача – собрать следственный материал, достаточный для изобличения и осуждения высших сановников Империи. И не потому не была выполнена эта, можно сказать, священная и первая задача Следст. Комиссии, что работа ее была прервана октябрьской революцией, а потому, что в своей деятельности Комиссия была связана по рукам и ногам существовавшим сводом законов и отточенным и ухищренным юридическим мышлением почти всех ее членов. Применяя к деятельности старого режима созданные им же законы, Комиссия оказалась стесненной законами об амнистии, изданными Врем. Прав., ибо оказалось, что амнистия, которая по смыслу революции должна была освободить от ответственности за преступления, совершенные во имя борьбы за революцию против правительства, покрыла и преступления”, совершенные во имя борьбы с революцией за правительство против народа... Связывал действия комиссии и закон о давности. Ни одного процесса (кроме Сухомлиновского, материал для которого был собран до Комиссии) Комиссия не поставила, да и жалеть об этом не приходится: как ни доказывал в своей речи на съезде Советов председатель Комиссии правильность юридического подхода, процессы, почти все сводившееся к “превышению и бездействию” власти, были бы в революционное время просто смешны. Общее содержание преступлений сановников первых трех классов – обман народа, и вдруг это огромное содержание оказалось бы замкнутым в формулы бездействия и превышения власти.

Но не чувствуя ни сил, ни возможности выполнить основную следственную задачу, Комиссия направила свою деятельность в область, подведомственную скорее ученому историческому обществу, а не Чрезвычайной Следственной Комиссии – область исторического расследования, подбора письменных и устных свидетельств к истории падения режима. В этой области работа Комиссии была много плодотворнее, чем в криминальной”.

По-видимому, редактору “Былого”, принявшему сильно большевизанский облик после октябрьского переворота, рисовалось торжественное революционное судилище, обставленное старинными декорациями эпохи французского Конвента, выносившее смертный приговор российскому Людовику Капету. Подобная декорация была, однако, совершенно чужда мартовским дням, мало соответствуя настроениям руководящих кругов демократии и массы. Яркое подтверждение можно найти в том факте, что осведомительный доклад Муравьева на съезде Советов 16 июня не вызвал, по-видимому, каких-либо

значительных прений (в моем распоряжении, к сожалению, не было стенографического отчета). Никто на съезде не поднял вопроса, которого касался в своих комментариях Щеголев, о том, что Следственная Комиссия оставляла якобы вне поля своего зрения самого “носителя верховной власти”. Съезд остался равнодушен к призыву создавать на местах расследовательские ячейки<sup>103</sup>. Тот, кто познакомился с докладом Муравьева хотя бы в приведенных выдержках, должен будет признать, что доклад должен был остаться непонятным для рядовой советской массы. Докладчику на съезде казалось, что работа Комиссии “не пропадет” и материал, собранный Комиссией, получит “правильную оценку” только в том случае, если он пройдет через суд представителей “широких демократических слоев русского революционного народа” (Муравьев говорил о необходимости “демократизации суда присяжных”). “Толстый осиновый кол на могилу павшего самодержавия будет вбит только тогда, когда на скамью подсудимых будут посажены министры („пусть только они пойдут хотя бы арестантские роты“). Докладчик утверждал, что „подавляющее большинство носителей старой власти будет привлечено к ответственности“. Когда родственники арестованных спрашивали, почему привлекается один министр и не привлекается другой, „нам приходилось их успокаивать: погодите, до всех дойдет очередь“...

Беру смелость утверждать, что широким демократическим кругам гораздо ближе была точка зрения, высказанная в свое время лично мною в московской “Власти Народа” по поводу деятельности муравьевской Комиссии. Нас объединяло тогда лишь убеждение, что надо вбить “толстый осиновый кол на могилу павшего самодержавия”, но мы решительно расходились в методах вбивания этого кола. По мнению профессиональных юристов, по самому своему свойству работа Комиссии не могла быть “гласной”, ибо это была предварительная работа коллективного следователя для постановки политического процесса. На мой взгляд, общественный смысл Чрезв. Следственной Комиссии лежал в плоскости противоположной. “Шесть месяцев, – писал я, – прошло со дня революции. И надо сказать, что мы в сущности очень мало сделали для того, чтобы раскрыть перед русским обществом в конкретных образах и фактах преступления старой правительственной власти. За шесть месяцев мы ничего не имеем от Чрез. Следст. Ком....” “Для русского общества безразлично, может ли быть привлечен к уголовной ответственности по той или иной статье идейный провокатор<sup>104</sup>, “безразлично”, совершило ли преступление тем или иным действием Охранное Отделение. Быть может, еще более безразлично самое возмездие. Для нас важен государственный быт и возможная для него моральная оценка. И мы должны требовать опубликования документов, вводя нас в тайники самодержавного лабиринта. Не теряем ли мы, однако, постепенно ключ к этому лабиринту”.

Я привел эти выдержки из статьи современной эпохи, потому что они характеризуют третью возможную позицию в оценке работы Чр. Сл. Комиссии. Общественное значение ее лежало, конечно, не в сфере “криминальной”, которая могла, пожалуй, казаться целесообразной в первый момент революции, но интерес к этой “криминальной” стороне решительно потускнел через шесть месяцев. Все уже были равнодушны к тому, что на скамью подсудимых будут когда-то посажены бывшие царские министры. Это прошлое их уже не интересовало<sup>105</sup>. Через шесть месяцев гораздо более интересовались вопросом:

---

<sup>103</sup> От министра юстиции, между прочим, было объявление, приглашавшее всех граждан нести обличающие документы. Мы не имеем никаких данных, указывающих, что в След. Ком. поступали соответствующие документы со стороны, но зато возможно зарегистрировать расхищение документов при обысках, которые производились добровольцами.

<sup>104</sup> По словам Завадского, Муравьев предполагал привлекать и провокаторов за “превышение власти”.

<sup>105</sup> В августе такой громкий процесс, как обвинение бывшего военного министра в “измене”, протекал при общем к нему безразличии. “Вопреки ожиданиям, – писали “Рус. Вед.” 11 авг., – в первый день на процессе собралось народу “очень мало”. “Белый зал Армии и Флота почти пуст, – сообщал петербургский “День” 11

будут ли посажены на скамью подсудимых большевики?

Криминалистическая сторона работ Комиссии служила скорее препятствием к полному расшифрованию тайн и легенд, связанных с ушедшим в прошлое режимом. Совершенно прав, конечно, Маклаков, указывающий на то, что подследственные знали, что непосредственной задачей допрашивавших является не столько выяснение причин событий, сколько отыскание виновника, и интересовались в большей степени собственной судьбой, нежели историческими пояснениями. Председатель Комиссии при допросах пытался – естественно, безуспешно – отделить общественное расследование от “криминализации” действий допрашиваемых. Он обращался к ним с трафаретным заявлением: “Если бы вы были обвиняемым, если бы вы были свидетелем, то имели бы право умолчать о некоторых обстоятельствах, но сейчас вы должны совершенно исчерпывающе давать объяснения”. Но допрашиваемый, даже не арестованный, знал, что после допроса может последовать “любезное” предложение зайти к судебному следователю. Вот характерный диалог (с разными вариациями повторявшийся не раз) при допросе б. мин. вн. л. Хвостова 17 июля<sup>106</sup>. Дело идет об израсходовании Хвостовым 1 300 000 р. – грубо говоря, за подкуп печати.

Пред.: Какую же вы газету купили и какое издательство приобрели?

Хв.: Это – вопрос, который я должен обойти молчанием.

Пр.: Это вам не придется сделать. Вы перед Комиссией, которая должна потребовать от вас ответа по должности мин. вн. д. Потрудитесь объяснять, на что вы тратили эти деньги.

Хв.: Я указал, в общем, на что они тратились.

Пр.: Простите, Ал. Ник., будем говорить, как деловые люди... Подумайте, какая и формальная, и моральная вина на вас в этом ложится.

Хв.: Я признаю, что на меня эта вина ложится в смысле, так сказать, нарушения вашего права проверки. Но я не вижу, в чем тут вина, если мы действуем по уставу судопроизводства. Всякий обвиняемый имеет право на тот вопрос, который считает невозможным.

Пр.: Вы здесь не обвиняемый...

Хв.: Но я уже привлечен в качестве обвиняемого.

Пр.: Это дело следователя и вашего разговора, с ним.

Хв.: Называть письменно, кому я давал, не могу.

Пр.: Почему?

Хв.: Вследствие того, что, на мой взгляд, вы при обратном допросе тоже не назвали бы мне лиц...

Пр.: Мы люди взрослые, Ал. Н., и вы не можете не понимать, что на вас, таким образом, падает подозрение, даже не в денежной растрате, а в присвоении этих денег... И вы не склоняетесь перед тяжестью этого падающего подозрения?

Хв.: Не склоняюсь, потому что, по моему убеждению, всю массу людей, которая, собственно, ничем особым не виновата, опять будут тащить сюда.

Пр.: Если они не виноваты, почему же их тащить сюда?

Хв.: Я не хочу просто выдавать сорок или пятьдесят человек, которые несомненно страдают.

При допросе б. председателя правительства Штюрмера 31 марта, только на допросе узнавшего о существовании Врем. Пр., признанного иностранными державами (об отречении

---

авг. – Присутствующие говорят о злобе дня, а не о Сухомлинове”. “Никогда за всю мою судебную деятельность, – утверждает Чебышев, – мне не приходилось присутствовать на таком скучном процессе. Так к нему относилась и публика”. Коковцев вспоминает, что когда его допрашивали по делу Сухомлинова, зал был “почти пуст” – были заняты только передние ряды. “Пустой зал” наполнялся только в день речи обвинителя, Носовича. Газеты отмечали “эпидемическую неявку” свидетелей, успевших заболеть “всеми человеческими болезнями”.

<sup>106</sup> В момент допроса Хв. носил звание члена Думы, нормально охранявшее его “неприкосновенность”.

ему сообщил комендант крепости), и спросившего председателя: будет ли достоянием гласности его показание, Председатель ответил: “Нет, это не станет достоянием гласности”. “Мы делаем дело большой государственной важности”. “Мы все перед громадной ответственностью, которая на нас ляжет. С этой точки зрения... все секреты отменяются...”

Двойственные задания, которые были поставлены перед Комиссией, и привели к тому, что деятельность ее мало кого удовлетворяла. Равные люди и различные методы исследования требовались для выполнения каждого из этих заданий, почти несовместимых друг с другом.

## 2. Историческое расследование

В области “исторического расследования” работа Комиссии, по мнению Щеголева, была много плодотворнее, чем в криминальной. В своих заседаниях она допросила не только целый ряд подлежащих следствию сановников трех классов, но и целый ряд общественных деятелей разного калибра: от Родзянко и Гучкова до Бурцева и Чхеидзе. Все допросы были застенографированы. Конечно, показаны и объяснения, данные в Комиссии, – разной искренности и разной значительности, но в совокупности они дают богатейший материал по истории падения режима, дают подробности и краски для широкого полотна и действительно дают разнообразную аргументацию на тему о решительной необходимости русской революции. И даже те допросы, на которых “особа высших классов”, какой либо министр, явно старается отмолчаться и дать минимум фактических сведений, ценны тем, что дают характеристику героя допросов. В этих показаниях, допросах и объяснениях встают во весь рост ничтожные в своей ничтожности зловещие фигуры деятелей старого режима, министров и проходимцев, рисуется картина гнуснейшего и отвратительного развала. Накануне революции мы жили не поддающимися проверкам слухами и рассказами о необыкновенных подвигах этих дельцов, и, правду сказать, не верилось этим чудесным рассказам, и приходилось в умственном представлении процентов пятьдесят относить за счет сплетнических вымыслов, но прочтите допросы Хвостова, Протопопова, Белецкого, и вы увидите, что действительность не только подтверждает рассказы на все сто процентов, но идет и дальше этих “сплетен”. С этой точки зрения допросы читаются, как роман”.

С выводом Щеголева, на мой взгляд, трудно согласиться уже потому, что многие наши представления должны были измениться после всего пережитого за последние двадцать пять лет: в дни старого порядка мы слишком остро реагировали на то, что рисовалось нам Общественным преступлением<sup>107</sup>.

---

<sup>107</sup> Приведем лишь одну иллюстрацию, характеризующую положение печати в эпоху войны. При допросе арестованного по ордеру Керенского 1 марта тов. мин. вн. д. Плеве в Комиссии произошел такой диалог: **Председатель** : По какому поводу вами была запрещена следующая выписка из газеты “Русская Воля”: “Решительно ни о чем писать нельзя. Предварительная цензура безобразничает чудовишно. Положение плачевное, нежели 30 лет назад... Протопопов заковал нашу печать в колодки, и более усердного холопа реакция еще не создавала (писал это Амфитеатров). Страшно и подумать, куда он ведет страну. Его власть – безумная провокация, рев революционного урагана”. Так вот, каким образом возможно было запрещение такого места обосновать требованиями закона о военной цензуре? Почему указание на безумную политику Протопопова... Почему это несомненно правильное указание подведено было под понятие сведений, могущих повредить интересам государства? **Плеве** : Потому что тут, собственно, брань по адресу министра вн. д. Такого рода брань в газетах, конечно, не допускалась военной цензурой. **Председатель** : Но вы изволите быть юристом. Мне кажется, здесь не было того, что понимается под словом “брань”. Здесь резкая критика пригодности Протопопова. **Плеве** : Нет, извините, название человека холопом, название человека “безумным орудием, реакции” – это брань. Это, во всяком случае, опорочение должностного лица. **Председатель** : Таким образом, свое запрещение вы подводили под понятие вреда для военных интересов государства? **Плеве** : Это вносит разруху во внутреннее управление государством...

При “криминализации” действий представителей дореволюционного режима неизбежно применение метода сравнения с административной критикой демократических стран. Эти строки пишутся в дни второй “великой европейской войны” во Франции: “Можно ли себе представить, что запрещенные строки Амфитеатрова могли бы появиться в парижской печати по адресу министра-президента Даладь?”



Если применить статистический метод Щеголева, то скорее наполовину следует понизить процент достоверности, выявленной расследованием Комиссии, по сравнению с “чудесными рассказами” и “сплетническим вымыслом”, которыми вынуждено было питаться дореволюционное общественное мнение. (Не так трудно это доказать. Ниже я коснусь одного вопроса – дело об “измене” представителей высшей власти.) Произвести такую сравнительную оценку может только специальная работа, которая, вероятно, со временем историками будет выполнена при обследовании всех уже материалов, прошедших перед Комиссией, а не только опубликованных пока стенограмм допроса тех 52 человек, которые давали свои показания в пленуме Комиссии. Огромное большинство стенограмм этих “опросов” не только не читается, “как роман”, но их трудно преодолеть, так как все ценное, что в них имеется, потонуло в том, что Маклаков назвал “*petites choses*” – это юридическое крючкотворство подчас имеет весьма малое общественное значение. Я вовсе не хочу преуменьшать историческое значение ни документов, попавших в поле зрения Комиссии, ни интереса, который представляют отдельные показания, как, например, откровенная записка б. тов. мин. в. д. Белецкого. Но для меня сомнительна сравнительная ценность обличений “искренне раскаявшегося” в своем прошлом темного полицейского дельца старого режима, недолго предварительно просидевшего в темном карцере за нежелание говорить (об этом ниже), и вольно написанных воспоминаний. Я совершенно убежден, что гораздо большего можно было достигнуть, если бы “подобные письменные и устные свидетельства к истории падения режима” добывались не только в “чрезвычайной следственной комиссии”, которая должна была не только зарегистрировать, но и “криминализировать” эти свидетельства. Скамья подсудимых не могла служить стимулом к искренности. Судьба судила так, что многие из допрошенных в Комиссии погибли, и записки и показания их в следственной Комиссии остались единственными документами, от них непосредственно исходившими. Среди этих показаний на первое место в смысле разоблачительном надлежит поставить письменные показания (записки) Белецкого. Это своего рода нимфа Эгерия для Комиссии. Председатель Комиссии настолько ясно это осознавал, что его отношение к “Степану Петровичу” резко выделялось по сравнению с отношением к другим подсудимым. “Если вы ничего не имеете, я к вам зайду (в камеру), и вы мне передадите, что вы написали...” – вот тон, принятый в отношении Белецкого Муравьевым. “Я все равно, как священнику, говорю”, – свидетельствовал Белецкий; “Ничего не пишите, а спите”, – рекомендует председатель, давая Белецкому инструкции, что он должен осветить в своих показаниях. В общем, и председатель и члены Комиссии были корректны (это отмечает Маклаков), но они немедленно огрызались, когда встречали некоторую, по их мнению, вольность со стороны допрашиваемых. Так, одна из реплик б. тов. мин. вн. д. Плеве вызвала отпор Муравьева: “Я вам делаю замечание. Здесь присутственное место, и я прошу вас мне подчиняться и никаких неуместных предположений больше не делать”. Плеве в другом случае позволил себе сказать члену Комиссии ген. Апушкину, что если бы он был товарищем министра, то, вероятно, поступил бы так же, как он. “Предположение о том, как бы я поступил, здесь совершенно неуместно” – оборвал Апушкин. И представители “общественности” в Комиссии, принадлежавшие к столь различным политическим кругам, как Родичев и Соколов, одинаково держались на позиции официальных судей, выяснявших криминальную сторону событий. Сторона психологическая и, следовательно, историческая могла только от этого страдать.

Деятельность Комиссии не ограничивалась лишь “опросом” в пленуме Комиссии, т.е. теми 88 допросами, стенограммы которых включены в семитомное печатное издание “Падение царского режима”. Много лиц, прошедших через Комиссию и не подлежавших даже обследованию со стороны “криминальной”, давали свои показания следователям, ведшим “делопроизводство по отдельным вопросам исследований, которые находились в

---

сфере интересов Комиссии<sup>108</sup>. Может быть, там собран первоклассный исторический материал – мы этого не знаем или, вернее, знаем об этом мало.

Поэтому приходится пока воздерживаться от окончательного суждения о ценности восьмимесячной работы Комиссии в смысле собирания ею материалов для характеристики старого порядка. О работе этих следователей мы имеем лишь воспоминания, прошедшие через “эмигрантскую призму” (воспоминания Коренева, Романова и Руднева) и дающие очень плохое представление о том, что ими было сделано<sup>109</sup>. Если последовать за текстом этих воспоминаний, придется признать, что следователи совершенно не разобрались в обстановке, которую расследовали, и что работа их в историческом отношении почти бесполезна. Быть может, они сами на себя возвели клевету. Писали они свои воспоминания по памяти, и “память” у них оказалась очень плохая, вернее, они слишком приспособлялись к изменившейся психологии мемуаристов. Что бы ни говорили впоследствии, центром общественного расследования в 17 м г. должна была явиться “распутиновщина” в широком значении этого слова – не в смысле оценки личности и деяний самого Распутина, что само по себе являлось вопросом второстепенным<sup>110</sup>, а той моральной атмосферы разложения

---

<sup>108</sup> Кроме следователей, опрашиваемые подвергались допросу и со стороны самого министра юстиции (напр., несколько раз Керенский допрашивал Протопопова, также Хабалова). За три дня до допроса Хвостов 18 марта был допрошен Коровиченко. В качестве кого действовал будущий комендант Александровского дворца, мне неизвестно.

<sup>109</sup> Следственный материал опубликован в самых незначительных размерах. В каких пределах он сохранился – неизвестно.

<sup>110</sup> Здесь следователи разобрались очень мало. Руднев, например, проявил поразительную недалекость и отсутствие элементарного критического чутья, приняв изданную в 1911 г. книгу “Мои мысли и размышления” (“краткое описание” путешествия по святым местам и вызванных им размышлений на религиозные вопросы) за произведение “старца” (Гурко в книге “Царь и Царица” напрасно уверовал в “экспертизу”, которая установила “подлинность” распутинского творчества). Следователь нашел эту книгу преисполненной “детской наивности, простой, задушевной искренности”. Без соответствующей справки в своем б. “московском архиве” я не могу в точности указать, кто составил эту явную подделку, опубликованную, как скромно говорит Белецкий, с “ведома” Распутина. В свое время это было определенно установлено.

Такую же наивность проявил следователь, повторяя в воспоминаниях версию Вырубовой, как Иллиодор просил жену продать царской семье его рукопись “Святой Чорт”, как департамент юстиции на свой риск и страх вступил в переговоры с женой Иллиодора о приобретении книги, за которую автор требовал 60 т., как дело было представлено Ал. Феод., которая с негодованием отвергла гнусное предложение. Это было, по словам Вырубовой, в Ставке в 1916 г. И Белецкий, и Хвостов по-своему рассказали всю эту шумную историю, но самое пикантное в ней было то, что, когда представители Деп. Полиции гонялись за рукописью, она давно уже лежала в архиве “Голоса Минувшего” и была приобретена всего за 2000 руб. Следователь ничего этого не знал... Кстати, о книге “Святой Чорт”. О ней говорит в воспоминаниях Романов – член Комиссии. Имел ли он сам непосредственное отношение к расследованию вопроса – неизвестно, но он утверждает, что Комиссией книга была проверена “документально”. У Комиссии даже не явилась мысль заглянуть в подлинник рукописи, изданной с сокращениями, и познакомиться с условиями, при которых редакция “Голоса Минувшего” сделалась владельцем рукописи... Правда, с большим запозданием я был допрошен у себя на квартире судебным следователем по особо важным делам, который явно был не в курсе дела. Это была беседа за чашкой чая. Не помню даже, чтобы я подписывал протокол допроса... Насколько помню, и Пругавин выражал удивление, что к нему не обращались или запросили только формально. Ни у кого не было собрано столько материала для характеристики распутинской эпопеи, – страницы из истории общественной патологии, как у покойного знаменитого исследователя русского сектантства. Архив его безвозвратно погиб и употреблен был в большевистские времена на завертку пищевых продуктов соответствующими петербургскими правительственными распределителями.

Чр. Сл. Ком. чрезвычайно интересовалась вопросом: принадлежал ли Распутин к секте так называемых хлыстов. В качестве экспертов были привлечены к работе даже специалисты, проф. Дух. Академии Громогласов и Коновалов. Если строго православные и церковные люди, как Самарин, Гучков, Родзянко, изучали произведенное Синодом наследование этого вопроса, это было естественно, но совершенно не подходило миссионерские функции к Чр. Сл. Ком. Вопрос мог представлять бытовой интерес, но не общественно-политический.

государственной власти, которая создавала непереносимое противоречие между общественным сознанием в период войны и существующим политическим режимом. Именно это роковое противоречие – как бы патология государственного аппарата – привело Россию к преждевременной революции. Официальные допросы бесспорно дали богатый материал для суждения – тень “святого старца” действительно бродит по всем страницам, и его не может опорочить оговорка, сделанная впоследствии официальным членом Комиссии, что “будущий исследователь” должен отнестись к этим стенограммам с “особой осторожностью”: они никем не подписывались, никому из допрашиваемых предъявлены не были и отредактированы четырьмя литераторами, в числе коих был и Блок, впоследствии “певец большевизма, написавший гнусную поэму “Двенадцать””<sup>111</sup>.

Но что пытается установить следователь Руднев, производивший не только дознание, но и исследовавший архивы министерства вн. д., Царскосельского и Петербургского дворцов, личную переписку Царя и Царицы, великих князей, бумаги, отобранные у еп. Варнавы, гр. Игнатьевой, документы Бадмаева, Воейкова и других “высокопоставленных лиц”? Следователь брал на себя смелость утверждать, что “не было найдено ни одного документа, указывающего на влияние Распутина на внешнюю или внутреннюю политику...” Никакой роли не играла и не могла играть Вырубова в силу своего “чисто женского отношения ко всем политическим событиям”. Следователь утверждал, что “все ее объяснения на допросах... при проверке их на основании подлежащих документов всегда находили себе полное подтверждение и дышали правдой и искренностью... Единственным недостатком показаний Вырубовой являлось чрезвычайное многословие, можно сказать, болтливость и поразительная способность перескакивать с одной мысли на другую, не отдавая себе в том отчета, т.е. опять такое качество, которое не могло создать из нее политической фигуры”. По словам Вырубовой, Руднев ее допрашивал 15 раз по 4 часа. Достаточно сравнить единственное показание Вырубовой 6 мая перед Комиссией с приведенной характеристикой следователя для того, чтобы категорически опровергнуть его слова. Вырубова принадлежала к числу немногих “свидетелей”, с поразительной скупостью отвечавших на допросы. Ее тактикой являлось отрицание всего, что о ней говорилось: она совершенно не интересовалась политикой, но к ней “лезли со всякими вопросами” люди. Она изображала из себя совершенно исключительную наивность: “когда ей предъявляли письма на имя Танеевой, она говорила: “Я не Танеева”. Как бы не опростилась фрейлина под влиянием “старца”, все же трудно поверить искренности ее в обращении к председателю: “Ой, милый, правда, не могу сказать”, или заявлений, что Распутин “очень такой неаппетитный для поцелуев”, или про Мануса – “жид какой-то”. На каждом шагу, говоря явную неправду, она признавала перед Комиссией, что “врать” – “очень большой” недостаток. Следователю, обследовавшему будто бы личную царскую переписку (член Комиссии Смиттен уверял позже Наживина в Екатеринославле, что в их распоряжении были все письма и дневники Ник. Ал. и Ал. Фед.), совершенно нет дела до того, что в письмах А. Ф. к мужу за время войны красной нитью проходит утверждение, что вся опора Царя только в трио, которое составляют Царица, Аня и “наш друг”. Руднев или не читал писем, или не знал английского языка, ибо элементарно добросовестный человек не мог бы указать в краткой своей сводке, что в этой переписке “почти нет никаких указаний или рассуждений на политические темы” (!)<sup>111</sup>.

---

<sup>111</sup> Сама Комиссия, очевидно, совершенно не была знакома с перепиской, иначе она не останавливалась бы в недоумении – кто такой Калинин (Протопопов). Приходится только пожалеть об этом – и не только потому, как отмечает советский исследователь Семенников, что “одна строка переписки разрушает многие вопросы, которым посвящены десятки страниц протоколов Сл. Комиссии”. Как мог убедиться читатель из нашего изложения, “кошунственно” опубликованная переписка является лучшей реабилитацией от возведенной на погибшую Царицу клеветы... Нарушение законов общественной морали, запрещающих касаться интимной переписки, в данном случае сыграло положительную роль.

Сами следователи, таким образом, дискредитировали методы своего расследования. Опровергать их мемуарные показания не стоит – это задача легкая. Мемуаристы, преследуя цель опровержения клеветы на царскую семью – цель законная и справедливая, ибо влияние Распутина было явлением психопатологическим – не подумали о том, что они выполнение своей цели сводят на нет, отвергая действительность, и подрывают доверие ко всему изысканию, которое, как мы знаем, в основе имело задание выяснить “дело” Царя и Царицы. Для Комиссии, которая ставила своей целью выяснение преступности с точки зрения уголовного кодекса, совершенно вообще исчезала психопатологическая сторона дела. Только этим можно объяснить совершенно несообразное с юридической, да и общей точки зрения содержание в тюрьме, допросы следователем и самой Комиссией заведомо больного человека, находящегося на грани религиозного помешательства (“впавшего в безумие и идиотизм”, по характеристике члена Комиссии Щеголева) – генеральши Лохтиной, некогда близкой царской семье, заслужившей немилость своей настойчивой приверженностью к опальному монаху Иллиодору Труфанову и жившей в последние годы в келье женского монастыря в Верхотурье<sup>112</sup>. Не зная всего делопроизводства, как было указано, приходится воздержаться от окончательного суждения о расследовательской работе Комиссии. Из предисловия Щеголева можно узнать, что предполагалось составить “обширный отчет” для доклада правительству. Общая редакция была возложена на историка Тарле. Из множества отдельных глав этого “исторического исследования” была готова только одна работа поэта Блока на тему: “Последние дни режима”, напечатанная в 20 г. В сущности, это скорее заключительная глава, чем вводная, так как по своему содержанию она выходила далеко за пределы основных задач, которые преследовала Комиссия – половина этой “общей работы” уделена освещению самого февральского переворота. В свое время она представляла несомненный и значительный интерес по своему объективному “спокойному тону” и по новизне материалов, в ней заключающихся, – теперь она является лишь схемой, требующей местами со стороны фактической существенных видоизменений.

### 3. “Криминализация преступлений”

Еще неопределеннее стоял в Комиссии вопрос о “криминализации” старого режима, как выразился Муравьев в своем докладе. Председатель Комиссии уверял на съезде Советов, что Комиссия постарается закончить свое расследование до 1 сентября. Комиссия выяснит “все то, что имеет политическое значение из злоупотреблений всех ведомств, и поставит их на суд с обвинительным актом, полным содержания, но и с обвинительными формулами, вытекающими непосредственно из содеянного, без всяких натяжек... пусть на весь мир огласится все содеянное ими и пусть они понесут ту кару, которая им отмерена по тем законам, которые они сами написали и которые сами же не соблюдали”. Председатель Комиссии говорил, что и до 1 сентября будут поставлены “отдельные процессы”. Он развертывал перед аудиторией картину не только игрового процесса, поставленного в центре, но и грандиозного плана создания какого-то всероссийского судилища в виде созданных по образцу Чрезв. Сл. Комиссии местных комииссий, которые разрабатывали бы и ставили процессы параллельно центру. “Только при этих условиях мы криминализируем то, что подлежит криминализации из прошлого режима, только при этих условиях мы станем до известной степени на путь, успокаивающий народную совесть”. Надо ли говорить, что это была демагогия чистой воды, пожалуй, недостойная политического прошлого Муравьева<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Щеголевым она отнесена почему-то в разряд “проходимцев”, прошедших через Комиссию.

<sup>113</sup> Муравьев примыкал к кружку “безаглавцев”, возглавляемому Кусковой и Прокоповичем, которые вновь примкнули в 17 г. к соц.-дем. меньшевикам – впрочем, для того только, чтобы вскоре быть исключенными из партии. Вступил ли формально в партию Муравьев – не знаю.

Вероятно, ни министр юстиции, ни состоящая при нем Чрез. Комиссия никогда не думали о местных судилищах, как не думали о привлечении всех представителей старой власти к уголовной ответственности, как о том говорил Муравьев в том же докладе<sup>114</sup>. Мемуарист скажет, что это было говорено в угоду толпе, которая требовала “Распните их, и перед которой защитники беспристрастно, почти без боя сдавали свои позиции (воспоминания Коренева). Тот факт, что на съезде призывы Муравьева не встретили отклика, показывает, что в данном случае демагогия была не „сдачей“ позиций, а ненужным забеганием вперед.

Соединив в одной комиссии две противоположные задачи, создатели ее добросовестно, однако, полагали, что криминальная сторона будет обсуждаться с полной гарантией всех правовых норм. Эту гарантию подчеркнул самый состав Комиссии и расследовательский аппарат, ею созданный. Говорить здесь о специфическом “подборе” лиц, “проникнутых ненавистью к обвиняемым”, не приходится<sup>115</sup>. В первоначальный состав Комиссии, помимо председателя, вошли в качестве его товарищей сенатор Иванов, сен. Завадский (быв. прокурор пет. суд. пал.), в совокупности составлявшие президиум. Членами Комиссии состояли ген. Апушкин, назначенный гл. воен. прокурором, прокурор. суд. пал. Смиттен и “доктор философии” Зензинов (последний был в Комиссии непродолжительно – две-три недели). В апреле в Комиссию вошел прокурор полк. окруж. суда Ольшев (оставался один месяц), непрямой секретарь Ак. наук Ольденбург (его заменял в течение месяца проф. Гримм – юрист) и прокурор вилен. суд. пал. Романов, участвовавший в работах Комиссии до 1 сентября. С учреждением дополнительной особой комиссии по расследованию длительности департамента полиции в состав вошел Щеголев. Постоянным делегатом от Временного Комитета Гос. Думы состоял Родичев и от Испол. Ком. Совета – Соколов (его заместителем был меньш. Крохмаль). По-видимому, официальный историк Комиссии, т.е. Щеголев, дал неполный состав Комиссии, ибо из воспоминаний Завадского, ушедшего из комиссии 11 мая, мы узнаем об активном участии в работах прис. пов. Грузенберга, голосовавшего на равных правах с другими в ответственных вопросах. Организационная структура громоздкой Комиссии, насчитывающей чуть ли не 150 человек, остается не совсем еще ясной. По газетным сведениям в качестве сведущих лиц и экспертов к работе Комиссии в том или ином виде привлекались многие видные юристы – упоминались имена Ковш, Нольде, Лазаревского, Жижиленко и др. При Комиссии работали 25 следователей-техников, подобранных в значительной степени по указанию Завадского (следовательно, можно думать, с достаточным беспристрастием); три этих следователя состояли своего рода комиссарами от общественности – “молодые присяжные поверенные”, как назвал их Муравьев в докладе, следившие за тем, чтобы не пропустить чего-либо общественно интересного.

Единство в Комиссии не создалось. Само по себе, быть может, это было и не плохо – “политиков” сдерживали люди, вменившие себе в обязанность “не сходить с судейской точки зрения”. Равнодействующая давала гарантию “раскрытия правды”. В действительности одно общее дело должны были творить люди совершенно разной политической психологии...

Оставим в стороне члена Комиссии Романова. Его воспоминания столь тенденциозны, столь явно имеют целью показать только “лицемерие Муравьева и его единомышленников”, оказывавших по своим революционным соображениям давление на судейскую совесть членов Комиссии, и вместе с тем столь необоснованны со стороны фактической, что их

---

<sup>114</sup> Комиссия на практике очень определенно выделяла тех, кто имел в то время либеральную репутацию или состоял в оппозиции к правительственной политике последнего времени и был как бы в немилости (напр. Джунковский, Коковцев).

<sup>115</sup> Об этом говорит член комиссии Романов, ставший горячо молиться за “веру, Царя и отечество” в эмиграции.

приходится по существу игнорировать и удивляться тому, как мог только при таком настроении б. прокурор войти в состав Комиссии, расследовавшей “преступления” сановников. Но у нас имеются другие воспоминания, записанные с большой искренностью и правдивостью, – тов. пред. Комиссии, проф. Завадского. Его положение в Комиссии было не из легких. По своим политическим взглядам либерального консерватора он был чужд мира, вынесенного революционной волной, и по-прежнему служебному положению и по личным связям он сам себя относил к людям с другого берега – как-никак к “обломкам того старого режима”, который собирались “судить”. Но он не считал себя вправе отклонить предложение министра юстиции, когда тот заявил ему, что он ждет от него только “строгости судейского отношения к делу”. Он предчувствовал “холодное отчуждение” той среды, в которой жил, обвинения в “черной измене”, но считал своим долгом испить эту горькую чашу. Свою позицию Завадский охарактеризовал так: “Задачи Муравьева были безбрежны: он думал об истории. Мои – гораздо скромнее: я думал о правосудии и о судьбе лиц, уже лишенных свободы в ожидании вашего расследования”. Так как у тов. председателя Комиссии не было, по собственному его выражению, “вкуса” посадить на скамью подсудимых Протопопова, Щегловитова и всех тех, за кем оказывались “действительные преступления”; так как у него не было и “власти освободить тех, которые провинились только в том, что не угодили новым правителям”, и для незаконных арестов которых он не находил никаких оправданий – естественно, у Завадского должно было появиться ощущение “тяжести бессмысленной работы”, совершенно независимо от приемов следствия, которые шокировали будто бы судейскую совесть и убеждали, что между реакционным и революционным “правосудием” нет разницы. Чрез. След. Комиссия, в которой Завадскому предстояло играть столь значительную роль, что, по его словам, министр юстиции говорил ему, что именно его считает “фактическим председателем”, отнюдь не была комиссией по разгрузке тюрем от “незаконных” и без надобности арестованных – этим занимались другие органы при мин. юстиции. Ложное положение Завадского должно было сказываться на каждом шагу, при всякой встрече с бывшими сослуживцами, в глазах которых он читал “упрек”, и стало, вероятно, совершенно непереносимо, когда Комиссия столкнулась с невозможными условиями содержания заключенных (об этом ниже).

К сожалению, Завадский не избег специфической черты всех самооправдывающихся мемуаристов – становиться в благородную позу изобличать других<sup>116</sup>.

Объективность требует сказать, что в тех редких случаях, когда за отсутствием Муравьева в Комиссии председательствовал Завадский, характер допроса ни в предметном отношении, ни в методах, ни в тоне ничем не отличался по сравнению с тем, что было при

---

<sup>116</sup> Когда воспоминания пишутся без документов и справок, память слишком часто делает уклон в сторону, желательную мемуаристу и далекую от действительности. Так подчас происходит и с мемуарами Завадского. Он рассказывает, как чаша терпения переполнилась желанием Муравьева снять, секретно от автора, копии с воспоминаний Вырубовой, которые она начала писать, освободившись от заключения, при участии жены доктора Манухина. От последней и узнал о воспоминаниях Муравьев. Завадский пришел в негодование, “лишний раз убедившись, как близки приемы реакционного и революционного правосудия”, решил окончательно, что Муравьеву с ним “не по пути”. Что-то, очевидно, было не так, ибо в момент оставления Завадским своего поста Вырубова не только не вышла из заключения, но даже не была еще переведена из Петропавловской крепости в арестный дом, где совершенно изменились условия тюремного заключения. В Петропавловской крепости Вырубова не могла писать воспоминаний при участии “жены доктора Манухина”, которая, кстати сказать, отрицает самый факт своего участия в этой работе. По словам Вырубовой, ее воспоминания были написаны за границей (“писать в России было невозможно”) – она в России показала только Горькому несколько страниц. Может быть, Муравьев и не был достаточно скрупулезен в использовании интимных материалов, попавших в Комиссию при обысках. Напр., он допрашивал Крыжановского по поводу его автобиографических записок. Никто в Комиссии не возражал против использования “замечательного литературного произведения”, как охарактеризовал председатель записки государственного секретаря. “Вы мне льстите, – заметил Крыжановский, которого Витте называл “головой Столыпина”. – Все это сырой материал, который написан и отложен на поздние годы”. Допрос ген. Дубенского велся пункт за пунктом в соответствии с его “Дневником”, попавшим в распоряжение Комиссии.

Муравьеве. Разве только более экспансивный Муравьев имел некоторую склонность вступать в теоретические споры с допрашиваемыми и не мог удержаться от моральных сентенций, к которым, впрочем, в большей или меньшей степени склонны были почти все члены Комиссии – лица судейского звания и лица, представлявшие “общественность”. Противоречие, в которое попал сам Завадский, можно показать на примерах. Перед нами отчет допроса Щегловитова 24 апреля, прерванного в силу, быть может, справедливых, но “совершенно неуместных” нападок Муравьева. Дело касалось убийства в Одессе революционера Ишера. То был самый тяжелый момент в допросе б. министра юстиции, ибо в этом деле Щегловитов выступил как бы сознательным “укрывателем убийцы”. Ишер был убит ночью, когда его, по распоряжению врем. ген. губ. Толмачева, переводили из одной тюрьмы в другую; сопровождавший арестанта конвой донес, что убийство вызвано было попыткой арестованного бежать, но в скорости один из полицейских чинов явился с повинной, заявив, что Ишер был убит по распоряжению Толмачева, приказавшего отделаться от революционера. Следствие подтвердило его объяснения, и был возбужден вопрос о привлечении к ответственности Т., дело которого было прекращено по высочайшему повелению. На заявление председателя, что Комиссии было “тяжело читать всеподданнейший доклад министра юстиции по делу Ишера”, Щегловитов ответил: “Это я понимаю, это кошмарное дело...” *Пред.* Вы только теперь пришли к убеждению, что это кошмарное дело? *Щ.* Нет, и тогда оно казалось чудовищным... *Пред.* Но почему же по делу, которое чудовищно и кошмарно, вы находите нужным представить о его прекращении?... *Щ.* Мне казалось, что вскрытие такого ужаса произведет потрясающее впечатление... *Пр.* Ну, а вы не думали тогда и не думаете теперь, что невскрытое такого ужаса потрясет еще более и произведет еще более потрясающее впечатление? *Щ.* Я думаю, вы правы... в конце концов... С именем Ишера войдет в историю и имя министра Щегловитова” – заключил председательствовавший на этом заседании Завадский.

Отказавшись присутствовать на допросе Маклакова, с которым он был лично связан еще с гимназических лет и был на “ты”, и Макарова, Завадский взял на себя подготовку допроса Щегловитова, хотя и считал, что нет законного повода держать его под арестом. Роль сыграло глубоко отрицательное отношение Завадского к бывшему министру юстиции, как к какому-то “дубликату” тов. мин. вн. д., заведующему полицией. Что значило взять на себя “подготовку” к допросу? Это значит отыскать “уголовно наказуемые поступки”, т.е. “криминализировать” дело, чем в отношении других подсудимых занимались коллеги Завадского. Дело, следовательно, сводилось к субъективным, т.е. спорным, соображениям, а не принципиальным. Керенский и Муравьев не разделяли оценки, которую давал Завадский б. министру юстиции и внутренних дел Макарову – он считал его “неподкупным слугой закона”, и поэтому Завадского “угнетали” споры в президиуме Комиссии о предании суду Макарова.

Субъективный подход с большей наглядностью обнаруживается в суждении Завадского по поводу дела Сухомлинова, поступившего в ведение Комиссии. Материал был собран до революции, и следствие закончилось вне деятельности Комиссии<sup>117</sup>. Прокурор, ведший дело, Носович, доложил в президиуме составленный им обвинительный акт, и Комиссия обсуждала лишь обвинительные пункты. “Я держусь того мнения, – теоретизирует автор воспоминаний, – что составить себе окончательное убеждение в чьей-либо виновности или невинности можно только, прослушав и, я бы сказал, выстрадав цельностью все судоговорение по делу, а сколько-нибудь основательно предположить о виновности обвиняемого нельзя с чужого голоса без личного и притом внимательного следствия”.

И Кузьмин (сенатор, производивший следствие), и Носович (обер-прокурор уголовного касац. департ. Сената) усматривали в поведении военного министра “бездействие власти”,

---

<sup>117</sup> Прохождение обвинительного акта Сухомлинова через Комиссию, которой не было придано значение судебной инстанции, впоследствии на суде вызвало возражение защиты.

президиум Комиссии высказался за “измену”. Среди подавших голос за составление обвинительных пунктов по признакам “измены” был и сенат. Завадский, высказавшийся так “после большого раздумья”. И хотя эту нелогичность автор воспоминаний пытается объяснить тем, что у него не было основания считать Сухомлинова несведущим в военном деле, крайне ограниченным или поразительно легкомысленным, следовательно, оставалось лишь “предательство” – неудовлетворенность от объяснения ее остается, и к судейской совести автора может быть предъявлено обвинение не в “запросе”<sup>118</sup>, а в подчинении настроениям момента, т.е. в том самом, в чем он систематически посылает упрек “свободолюбящему” революционному “правосудию”. Завадский подал голос и за предание суду жены Сухомлинова: “Она была оправдана, и я не отрицаю, что улики против нее были невелики... но внутренний голос говорил мне против непричастия ее к вине мужа, и высказаться за ее оправдание до главного разбирательства я не решался”.

Я не очень верю показаниям мемуаристов, пытающихся провести резкую грань между двумя группами в составе Комиссии: “Одну – по мнению Романова – стремившуюся со свойственной судейской профессии привычкой, к объективному выяснению истины, и другую, возглавлявшуюся Муравьевым, – желавшую всеми правдами и неправдами, во что бы то ни стало установить преступность всех и вся и отомстить всем деятелям старого режима. Ни о каком правовом русле у лиц этого направления не было и речи. Муравьев хватался в отчаянии за голову, когда я и сен. Смиттен доказывали отсутствие в том или ином деле указаний на признаки преступления со стороны прежней власти. Эта группа, к которой принадлежали почти все наблюдавшие, выискивала преступления, где только могла, и, надо отдать им справедливость, некоторые на этом пути проявили фанатическое рвение, не считаясь ни с чем и усматривая преступление чуть ли не в самом факте существования прежней власти”. И на примере Завадского читатель видел, что для такого скептического отношения к подобным показаниям современников есть основание.

“Изначальная нелепость”, которая лежала в основе Чрез. Сл. Ком., породила величайшие нелепости в ее делопроизводстве – именно то, что можно назвать юридической казуистикой. Но тот факт, что для обвинения приходилось “нащупывать” уголовно наказуемые поступки или пытаться “наскоблить”, по более циничному выражению Коренева, какую-нибудь уголовщину, показывает, что Комиссия строго держалась намеченных рамок, и председатель ее никогда не форсировал самый закон, как в том склонны его упрекать все, писавшие до сих пор о Комиссии. Не чужд этого даже Маклаков. Было бы “скандалом”, как выражается он, “если бы деятельность Комиссии свелась к привлечению отдельных представителей власти за злоупотребления, и Муравьев, по мнению первого кандидата на пост представителя Комиссии, должен был употребить свой адвокатский опыт, чтобы превратить политические разногласия в юридическую ответственность. Маклаков останавливается на роспуске Думы по заранее заготовленным белым бланкам, т.е. по указам, подписанным Императором без обозначения точных дат, которые должен был проставить председатель совета министров, и о применении ст. 87 в текущем введомском законодательстве. Вопросы эти оживленно дебатировались, и не раз, в Следственной Комиссии. Но следует иметь в виду, что речь здесь может идти о некоторых репликах, которые подавал председатель Комиссии при допросах, и о личной, пожалуй, тенденции, а отнюдь не о сформулированном обвинении. А это – существенная разница. При двойственности задачи, поставленной себе Комиссией, процесс “криминализации”, неизбежно связанный с юридической казуистикой, трудно иногда отделить от выяснения

---

<sup>118</sup> Автор считал, что присяжные неизбежно присоединятся к мнению Носовича и Кузьмина.

На процессе Носович поддержал обвинение в “измене”, правда, сделав оговорку о дефективности основных показаний Гучкова о Мясоедове, которые тяжелой гирей ложились на чашу весов, где взвешивалась судьба Сухомлинова. Гучков отказался назвать источники, откуда исходили его сведения. “Если сведения Г. не исходят из абсолютно достоверного источника, – говорил Носович, – то он совершил тягчайшее преступление. Я лично этого не допускаю”. В действительности это “тягчайшее преступление” Гучков совершил.



обстановки, т.е. от рассмотрения вопроса с точки зрения “общественной совести”. Маклакову представляется, что ничего ненормального не было в этих “бланковых указах”. Он вспоминает, что был так удивлен, когда ему подобный вопрос поставил следователь, что позволял себе в письменном ответе несколько подсмеяться и рассказать, как ему на положении адвоката не раз приходилось такие белые бланки давать своему коллеге Муравьеву и получать таковые от Муравьева, текст которых заполнялся в зависимости от надобности. Как будто бы небольшая разница все же имеется между гражданскими делами, которые вели московские адвокаты, и государственной жизнью. Для характеристики политического строя эти бланки были довольно показательным явлением, и председатель Комиссии, оставляя вопрос о криминализации в стороне, имел до некоторой степени право во много раз уже цитированном докладе отметить “интересное наблюдение”, вытекавшее из материалов Комиссии: еще до момента роспуска Думы “каждый раз за последние годы (здесь Муравьев обобщал)... до ее функционирования в ту или иную сессию министры старого режима уже озабочивались получить подписи Царя под текстом незаполненным на бланках, которыми этим министрам предоставлялось право распустить Гос. Думу. Сперва это несколько вуалировалось... сперва испрашивалось разрешение распустить Гос. Думу и Гос. Совет, по соглашению с председателями этих учреждений, тогда, когда этого потребуют обстоятельства”. Термин “ропуск Думы” способен вызвать недоразумение – речь шла или о временной отсрочке заседаний, которой правительство пользовалось для того, чтобы “творить законодательство в порядке ст. 87”, “стремясь всемерно к одному – к осуществлению такого строя, который предшествовал строю 1905 – 1906 гг. ...” “Стали искусственно не созывать Гос. Думу, стали искусственно укорачивать ее сессии. Дошли до того, что выработывали проекты для Думы и выработанные проекты держали в портфелях, пока Дума существует, для того, чтобы внести их без Думы... в этот период бездумья”. С точки зрения “общественной”, едва ли председатель Комиссии значительно уклонялся от истины; с точки зрения “криминализации режима”, дело оказывалось сложнее уже потому, что и правительство и Дума оказывались как бы в заколдованном круге. Этот заколдованный круг Милюков в показаниях о применении ст. 87 охарактеризовал словами: “Я считаю, что наше законодательство не могло существовать, когда существовали эти два тормозящие друг друга органа, когда правительство было глубоко враждебно самой идее сколько-нибудь серьезного законодательства... Так как мы старались заниматься основным законодательством, то мы этого нормального законодательства не могли вести и вермишель нас не интересовала...” Последний председатель Гос. Думы рассказал в своих воспоминаниях характерный эпизод, как он убеждал носителя верховной власти приобрести “пять сверхдредноутов” в период бездумия. “Ну а как же Дума, ведь она распущена, – сказал Царь, – придется эту покупку провести по 87 й, с Думой выйдут неприятности”. “Ваше Величество, – отвечал Родзянко, – я вам ручаюсь, что Дума будет только аплодировать”. Во время войны подобная практика применения ст. 87 становилась “необходимостью”. Так и “Особое Совещание”, которое приветствовала общественность, было создано в исключительном порядке. Сама Гос. Дума “никогда” не возражала на “традиционную систему” (показания Милюкова, Родзянко, Чхеидзе) – “бланки” существовали при всех премьерах, за исключением, быть может, Коковцева, который в этом отношении был “педантом”, как выразился Родзянко. Но и в показаниях председателя Думы надлежит ввести ограничение – в дни сенсационной ноябрьской сессии Гос. Думы 16 г. ненавистный общественности Штюрмер действовал не на основании имевшегося заранее “белого бланка”, а испрашивал особое высочайшее повеление (оно было получено после открытия Думы). С правовой точки зрения вопрос сводился к оценке действовавшей конституции – здесь были две диаметрально противоположные концепции. Для одних царское самодержавие не было ограничено, и Царь конституции не присягал; для других основные законы 1906 г. вводили нормальный конституционный строй, ставивший пределы самодержавию и устанавливавший ответственность министров за нарушение конституции. Муравьев, конечно, становился на вторую позицию – и не он один в Комиссии (Родичев предъявлял Штюрмеру обвинения

массового пользования ст. 87, вопреки основным законам). “Представитель верховной власти является лицом безответственным, ответственным является тот министр, который докладывает ему”, – поучал Муравьев Щегловитова. “Председателю Совета Министров принадлежит право, а, может быть, вменяется в обязанность заботиться о том, чтобы акты верховной власти были правоверны”, – говорил он Горемыкину. “Может быть, – отвечал бывший премьер. – Нет, это даже наверно”. И министрам вменялось в ответственность, что они не говорили: “non possumus”, тогда как в России “деспотии” не было. Они были виноваты в том, что делали доклады Императрице, тогда как никакой “связи законной” между министрами и Императрицей по конституции быть не могло... и министры должны были отвечать Императрице на я запросы, что они не относятся к ее “компетенции”<sup>119</sup>.

Но мы можем оставить совершенно в стороне эти вопросы, ибо никаких формулированных Комиссией обвинений мы не имеем. Да и были ли в действительности проведены эти формулировки в отношении кого-либо из подследственных? Мы знаем о реальных обвинениях только из случайных газетных сообщений, из постановки обвинительных пунктов во время допросов и воспоминаний членов Комиссии, передающих скорее разговоры, которые велись в Комиссии. Очень ярким примером может служить то, что рассказывает Завадский по поводу обсуждения вопроса о привлечении к ответственности “одного из героев... войны”, престарелого генерал-адъютанта Иванова – вопроса, который испортил автору воспоминаний много крови: “В вину ему ставилось то, что он принял от Государя поручение усмирить мятежный Петроград... Спрашивалось: какого преступления признаки заключались в этом поступке? Поручение было дано 28 февраля, т.е. за два дня до отречения Царя, генерал Иванов обязан был повиноваться Императору, как главе государства, в законности власти которого не могло быть ни тени сомнения, а деятели революции в то время были явно государственными преступниками... Ген. Иванов ничьей крови не пролил и вслед за отречением Государя<sup>119</sup> остановился со своими войсками... не дойдя до Петрограда... Где же тут хоть намек на преступление с точки зрения закона, существовавшего в момент действий, предпринятых Ивановым во исполнение высочайшего повеления, т.е. – с единственной точки зрения, которая доступна для всякого, кто не забывает, что он судья? Были в Комиссии мои единомышленники, но нашлись, во главе с председателем, и возражатели. Указывалось, между прочим, что... ген. Иванов обнажил фронт и мог способствовать немецкому прорыву. Этого я уже окончательно не понимал: ген. Иванов несомненно способствовать немецкому прорыву не имел ни малейшего поползновения, да и прорыва не последовало, – так о чем же говорить? Находились и такие (в числе их и новый сенатор О.О. Грузенберг), которые вменяли Иванову в вину следующее (далее идет известный рассказ Иванова, как он поставил на колени двух встречных солдат)...<sup>120</sup> Обвинители ген. Иванова признавали, что он был вправе их расстрелять, но приходили в ужас от того надругательства над личностью солдата, которое допустил старик генерал, и высказывались за предание его суду. Я любопытствовал узнать, подали ли оскорбленные солдаты на Иванова жалобу, хотя бы уже после торжества революции. Оказывается, что нет, за них обижаются Муравьев и Грузенберг”. Неоспоримо Завадский прав, что “не дело верховной Комиссии” было предавать суду “за расправу с двумя солдатами, прошедшую бесследно и не вызвавшую никакого нигде волнения”; нельзя отрицать, что в поисках криминала некоторые члены Комиссии шли гораздо дальше, чем этого могли требовать задания, стоящие перед ними, и дискредитировали серьезность работы, но все-таки все это были внутренние разговоры в среде членов Комиссии, не выходявшие за пределы обмена мнений. Прошло полтора месяца прежде, чем допрошен был сам Иванов. Потребовалось вмешательство ген. Алексева, приславшего свое заключение по

---

<sup>119</sup> Фактически раньше.

<sup>120</sup> См. мою статью “Кровавое подавление революции”, “Возр.”, т. 11.

делу. При допросе Иванову и не ставились даже те вопросы, которые так волновали Завадского. 24 июня Иванов давал объяснения, касающиеся его похода на Петербург, и причин, почему он попал в ряды “бездействующих” в последние месяцы старого режима. Председатель Комиссии арестованного генерала характеризовал как “боевого генерала, ни в чем не запятнанного, политикой не занимающегося”. Ларчик открывался просто. Иванова молва связывала с Распутиным, а в действительности оказывалось, что полуотставка Иванова была произведена под влиянием якобы “немецкой партии” и Распутина, поддерживавшего Сухомлинова... Член Комиссии Романов утверждает, что, “убедившись в бесплодности дальнейшей борьбы с Муравьевым, я и сен. Смиттен вышли из состава Комиссии, предварительно внося предложение ликвидировать Комиссию и прекратить все возбужденные ею дела по незначительности предъявленных обвинений. В нашем предложении мы прямо указали, что все обвинения прежней власти в тяжких преступлениях добытыми Комиссией материалами решительно опровергнуты”. Если слова Романова соответствуют действительности, то это свидетельствует вовсе не о том, что “революционным деятелям эпохи Врем. Прав. не удалось не только осудить деятелей прежней власти, но, несмотря на самое горячее желание и энергию, даже обнаружить хотя бы намек на те тяжкие преступления, которые приписывались ей так называемым общественным мнением и обманутым народом”, – это доказывает лишь то, что в деле “криминализации”, вопреки утверждению Романова, они были педантично щепетильны (это соответствовало и личным свойствам председателя Комиссии – Карабчевский охарактеризовал Муравьева словами Керенского: “докопается, пока не выскребет яйца до скорлупы”), и потому, естественно, Вырубова была освобождена, и Комиссия ей выдала за подписью Муравьева удостоверение, что она “в качестве обвиняемой не привлекалась и... не привлечена”. Вероятно, без каких-либо юридических натяжек Комиссия могла создать ряд громких процессов и, прежде всего, посадить на скамью подсудимых представителей Департамента полиции, деятельность которого, по выражению Муравьева, представляла собой “сплошное преступление”. Судьба этих процессов, очевидно, была бы аналогична процессу Сухомлинова. Осуждение старого режима могло быть вынесено не в зале суда. Со стороны общественно-политической было бы совершенно абсурдно, если бы ““криминализация” преступлений старого режима” свелась бы на практике к привлечению министра юстиции Щегловитова по делу Ишера, министра вн. д. Хвостова за присвоение сумм рептильного фонда или последнего министра юстиции сенатора егермейстера Добровольского за взятки<sup>121</sup> и председателя Совета министров Штюрмера за растрату... Не имея в своем распоряжении материалов следственного производства, мы лишены возможности пока вынести приговор по поводу реальности или иллюзорности “подозрений”, которые падали на старых министров. В самом деле, растратил ли деньги Хвостов, сам очень богатый человек, или действовал согласно обычаю Департамента полиции, где расписок не брали (показания Белецкого). Протопопов свидетельствовал, что он докладывал Царю о растрате свыше миллиона, произведенной Хвостовым. “Какая гадость”, – сказал Николай II. Протопопов находил, что “не время заводить скандал”. Несомненно одно – для выявления подобных “преступлений” деятелей старого порядка не было надобности в создании особой “верховой комиссии”. Занимаясь “криминализацией” прошлого, Комиссия тонула в мелочах и посвящала немало времени расследованию таких вопросов, как вопрос о виновности военного министра Беляева, переведшего сына Распутина в санитары по просьбе Императрицы, или министра Двора Фредерикса, содействовавшего освобождению от несения военных обязанностей зачислением лиц на фиктивную службу. В итоге, естественно, что общественно-политическое расследование не могло дать тех результатов, которые от него ожидалось.

---

<sup>121</sup> Корыстное испрошение высочайшего помилования для осужденных при первоначальных о том переговорах через Распутина.

#### 4. Революционная тюрьма

Была в деятельности Чрез. Сл. Ком. одна сторона, остро затрагивавшая общественную честь и, судя по воспоминаниям Завадского, чрезвычайно волновавшая некоторых членов Комиссии. “Одним из наиболее бередящих душу вопросов, – вспоминал он, – для меня представляется вопрос... арестантский, касавшийся лиц, сидевших в Петропавловской крепости, хотя они были взяты под стражу не нами и не за нами числились, но расследование предполагаемых их преступлений было возложено на нас, и это, по-моему, нас обязывало. Все вокруг считали, что арестантов держит Комиссия, и выражением общего мнения в моих глазах являлось прошение Н.П. Карабчевского, в котором... было поставлено нам в вину содержание под стражей лиц, остающихся без допроса целые месяцы... Я понимал или, вернее, чувствовал, что Комиссия должна поставить принципиально вопрос о недопустимости дальнейшего содержания людей под замком без привлечения их к ответу в законном порядке. Но дни шли, а прошение это лежало на столе перед Н. К. Муравьевым без движения: насколько помню, Карабчевскому мы так ничего и не ответили, даже не отписались формальным ответом, что за нами числится только сен. Добровольский, уже привлеченный к допросу в качестве обвиняемого. И ведь я был не одинок со своим мнением: если подсчитать, то, пожалуй, моих сторонников оказалось бы больше; но все мы были, видимо, лишены заговорщических наклонностей и способностей, так что не догадались сговориться тайком и, действуя скопом, заставить нашего председателя уступить воле большинства, а потому и решали только те вопросы, которые он вносил на общее обсуждение. Чем дальше отходит от меня это мое прошлое, тем отчетливее я сознаю, что в таком вопиющем беззаконии и сам я не без вины: и моего дегтя тут есть капля, дегтя слишком легкого подчинения данному положению вещей. Во мне все болело при мысли о моем бессилии, и я ежедневно мучился и в Зимнем Дворце, и в Петропавловской крепости. В Зимнем Дворце нас осаждали жены арестованных...” “Допросы производились в здании Трубецкого бастиона, где нам отведена была особая комната. Очень скоро стали доходить до нас сведения, что караул бастиона, захлестываемый, видимо, волнами “кронштадтского углубления революции”, грубо притесняет заключенных, как контрреволюционеров, и даже морит их голодом, значительную часть арестантских порций направляя в свои, верные революции, желудки. Сведения были точные: их подтверждал и доктор при крепости, апатичного вида человек в форме военного врача; равнодушным голосом говорил он, что все это правда, и еще равнодушнее добавлял, что он не может ссориться с караулом и наживать себе врагов... а мы-то, мы? Но и Муравьев как-то жался и только разводил руками, говоря на мои взволнованные речи, что и заключенные не наши, и караул не в нашей власти<sup>122</sup>. Мои слова звучали будто в пустом пространстве, не находя отклика, и волнение мощно нарастало в душе, пока не перелилось через край на допросе вице-директора Департамента полиции К.Д. Кафарова... Я знал Кафарова, когда он еще был тов. прокурора моск. суд. пал.: веселый собеседник, несравненный тулумбаш на дружеских пирушках... Это была тень прежнего Кафарова... А когда он на вопросы кого-то из нас, заметившего его изможденность, осторожно сказал о положении заключенных и смолк, опустив голову и сделав рукою движение покорной безнадежности, я свое сердце услышал в висках. Едва удалился Кафаров, я, обращаясь к Муравьеву, взволнованно заговорил, что мы не можем долее без протеста терпеть дикий произвол караула, который позорит новый режим... Помню, что заверил, что при Царе едва ли бы нашелся прокурор, который бы допустил хотя бы отдаленный намек на подобного рода поступки со стороны тюремной стражи. Муравьев на это мне ответил требованием, чтобы я взял назад свои слова, унижающие новый режим и восхвалявшие

---

<sup>122</sup> Шингарев в своем тюремном дневнике записал: “сколько раз мы поднимали вопрос об ускорении суда или освобождении, если нет улик”.

старый. Я возразил, что если бы я был врагом нового режима, меня бы здесь он не увидел... Тон моего возражения был не из сдержанных; Муравьев кипятился не менее моего, и чем бы все это кончилось, кто может знать? Но выручил меня представитель из лагеря революционной общественности. С нами на сей раз в крепость приехал состоявший при Комиссии революционер, фамилию которого, к стыду моему, я забыл, а помню только литературный псевдоним – Неведомский<sup>123</sup>; лицо его стоит передо мною, как живое: бледный, дрожащий шагнул он ко мне и со слезами на глазах пожал мою руку, говоря, что ему больно за себя и за своих при виде, какие безобразия могут теперь твориться. Немного спустя подошли ко мне и стенографисты с изъявлением своего сочувствия, но и до этого я по лицам и выражениям окружающих удостоверился, что большинство присутствующих оказалось на моей стороне”.

Для того чтобы вставить повесть Завадского в соответствующие хронологические рамки, надо иметь в виду, что допрос Кафарова происходил 11 апреля, а обращение Карабчевского, на которое раньше ссылается автор, последовало далеко не в первые дни функционирования Комиссии – это было через два месяца, когда произошла уже смена министерств и министром юстиции был Переверзев. В своих воспоминаниях Карабчевский рассказывал: “Жены почти всех заключенных перебивали у меня, прося защиты, причем справедливо жаловались на то, что их мужей держат уже месяцами без допроса, без предъявления им каких-либо обвинений. Все указывали при этом на крайне дурное, во всех отношениях, содержание в крепости и грубость и своеволие команд”. Карабчевский, в связи с обращением к нему матери Вырубовой, поговорил с новым прокурором суд. пал. прис. пов. Каринским, который признал правильность обвинений: “Не знаю, как это повелось, но я застал такую картину. Караул крепости своевольничает. Он считает себя призванным не только охранять заключенных, но и контролировать распоряжения судебных властей... Ваше сообщение я очень приму к сведению, но к этому надо подойти очень осторожно. Как только удастся сменить караульный состав, я тотчас же возбужу уголовное дело”. Каринский рекомендовал Карабчевскому переговорить с Муравьевым. “Я имел неоднократные с ним разговоры, встречаясь в разных законодательных комиссиях и в адвокатской”, в которой председательствовал Муравьев и которая заседала в квартире Карабчевского. Муравьев соглашался, что все это очень печально, и, ссылаясь на Кронштадт, также говорил, что поневоле должен действовать крайне осторожно.

“Как-то повелось” с первых дней революционной неразберихи, что в Петропавловской крепости установилась полная “неразбериха”. В протоколах Исп. Ком. от 8 марта занесено довольно изумительное заявление революционного коменданта крепости (им был шт. кап. Кривцов) о том, что они не знают, кому они подчинены, что они сами выбрали себе министерство Керенского и просят воздействовать на военную комиссию, чтобы “даны были хоть какие-нибудь директивы”. Можно было бы предположить, что неразбериха оставалась и в дальнейшем и что в крепости руководились в значительной степени лишь самоучрежденным порядком, который приводил к своеволию комендантской власти, неизбежно развращавшему караул. Однако в это предположение приходится внести существенный корректив. На другой день после заслушания в Исп. Ком. “заявления” коменданта крепости и решения Комитета “предложить представителям солдатских депутатов и офицерам-республиканцам отправиться в Петропавловскую крепость для личных переговоров” в связи с постановлением об аресте Царя в назначенном месте водворения его Трубецкого бастиона, Исп. Ком. постановил сменить “для этой цели командный состав” в крепости. Вся дальнейшая закулисная сторона пока лежит вне доступного нам кругозора, – мы знаем только, что в крепости установился новый тюремный режим.

В первые дни заключения все арестованные отмечали хорошее содержание в камерах

---

123 Миклашевский.

Трубецкого бастиона и отсутствие “озлобленности” и “грубости” у стерегущих: “стража оставалась прежняя, равно как и заведовавший бастионом гвардии полк. Иванишин, поспешивший нацепить на себя красный бант”, – пишет Курлов. “Нам было предоставлено иметь собственное белье, постельные принадлежности, табак и книги, а также получать за свой счет стол из крепостного офицерского собрания”<sup>124</sup>. Утверждает Курлов, что 13 марта посетил крепость министр юстиции и, собрав всех заключенных в камерах в коридор, подчеркнул, обращаясь к Щегловитову, что новая власть не будет подражать прежнему режиму при содержании арестованных. Но “через несколько дней” стража потребовала перевода заключенных на “солдатское довольствие” и лишения их “собственных постелей и белья”. Из дневника, который вел первые дня Протопопов в крепости и который был отобран новым комендантом и передан в Чрез. Ком., видно, что перемена эта произошла около 20 марта, когда стала действовать новая инструкция, выработанная или утвержденная министром юстиции: еще 15-го Протопопова посетила жена и принесла “чай, сахар, булки суш., масло и сыр”. Перемену режима не приходится объяснять буйством солдат, отмеченным в дневнике Гиппиус. Скорее “буйство” явилось результатом перемены режима. Мы не знаем новой “инструкции”, но, очевидно, она не отличалась революционной гуманностью. Топором не вырубить из истории революционных дней факта, засвидетельствованного будущим ангелом-хранителем заключенных доктором Манухиным (о его миссии ниже). Манухин рассказывал мне, что когда он в первый раз приехал в крепость (это было в конце уже апреля, т.е. после вопиющей сцены, зафиксированной воспоминаниями Завадского), он застал Белецкого в карцере, куда его посадили по распоряжению министра юстиции. Карцер представлял собой темную клетушку, где нельзя было ни лечь, ни сесть; давали заключенному кусочек хлеба и воду. Так Белецкий провел неделю. Когда его вывели из карцера, он весь опух, слезы наполняли глаза от света. Манухин запротестовал, как врач, против того, что “мучают” заключенных<sup>125</sup>. Рассказчик утверждал, что Муравьев, с покровительством и снисходительностью позже относившийся к “Степану Петровичу”, отнесся скорее положительно к такому методу воздействия, который заставил бы Белецкого развязать язык. И Белецкий заговорил. Нельзя не поверить тому, что видел сам Манухин. Будем думать, что Керенский поступал так не из-за присущей ему “жестокости”, и что он не знал, что его распоряжение приведено в исполнение в таких жестоких формах. Это, однако, не снимает ответственности ни с министра юстиции, ни с его сотрудников. Власть высшая направляла неразумную волю низших...

Когда читаешь воспоминания Вырубовой, хочется думать, что она в силу своей истеричности чрезвычайно преувеличила издевательства, который над нею совершались в дни заключения в крепости. Истерики способны измышлять факты и в них уверовать. Хочется думать, но так ли это было в действительности? Со всех сторон (и в частности со стороны доктора Манухина) идут подтверждения того, что рассказы Вырубовой отнюдь не вымысел. Возможно, что мрачные краски стущены в рассказе о пережитых днях скорби и отчаяния, но это отнюдь не смягчает позорной страницы “революционного правосудия”. Вот первый день в описании Вырубовой с момента, когда ее “толкнули” в темную камеру № 70 Трубецкого бастиона. По приказанию коменданта, от которого зависело, по его словам, установление режима для заключенных, солдаты сорвали тюфячок с кровати и начали срывать с Вырубовой образки и золотые кольца, глубоко поранив шею. От боли Вырубова вскрикнула, тогда один солдат ударил ее кулаком, и, “плюнув в лицо”, они ушли. А толпа солдат, собравшись у наблюдательного окошка, с насмешками и улюлюканием наблюдала за заключенной. Впоследствии, замечает Вырубова, комендант назвал свою фамилию:

---

<sup>124</sup> См. аналогичное показание Воейкова, переведенного в Трубецкой бастион 9 го.

<sup>125</sup> Этот термин употребляет и Вырубова, вспоминая, как в камеру по коридору доносились стоны заключенного в темный карцер – “об его мучениях надзирательница и даже солдаты говорили с содроганием”.

Кузьмин, пробывший на каторге в Сибири 15 лет. Упоминает она и об “ужасном Чхонии”, который заведовал бастионом. “В один из первых дней пришла какая-то женщина, которая раздела меня донага и надела на меня арестантскую рубашку... Раздевая меня, женщина увидела на моей руке запаянный золотой браслет, который я никогда не снимала. Помню, как было больно, когда солдаты стаскивали его с руки. Даже черствый каторжник Кузьмин, присутствовавший при этом, увидя, как слезы текли по моим щекам, грубо заметил: “Оставьте, не мучьте! Пусть она только отвечает, что никому не отдаст!”“ Я буквально голодала... Два раза в день приносили полмиски какой-то бурды, вроде супа, в который солдаты часто плевали, клали стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только не умереть с голода; остальное же выливала в клозет, выливала по той причине, что раз заметив, что я не съела всего, тюремщики угрожали убить меня, если это повторится. Ни разу за все месяцы мне не разрешили принести еду из дома... Всякие занятия были запрещены в тюрьме”... “Я была очень слаба после только что перенесенной кори и плеврита. От сырости в камере я схватила глубокий бронхит... Температура поднималась до 40°. Я кашляла день и ночь; приходил фельдшер и ставил банки... От слабости и голода у меня часто бывали обмороки. Почти каждое утро, поднимаясь с кровати, теряла сознание. Солдаты, входя, находили меня на полу. От сырости от кровати до двери образовалась огромная лужа воды. Помню, как я просыпалась от холода, лежа в этой луже, и весь день после дрожала в промокшем платье. Иные солдаты, войдя, ударяли ногой, другие же жалели и волокли на кровать. А положат, захлопнут дверь и запрут...” “Главным мучителем” был тюремный доктор Серебренников – тот самый, о котором упоминал Завадский. “Он сдирал с меня при солдатах рубашку, – рассказывает Вырубова, – нагло и грубо насмехаясь, говоря: “Вот эта женщина хуже всех, она от разврата отупела”. Когда я на что-нибудь жаловалась, он бил меня по щекам, называя притворщицей и задавая циничные вопросы об “оргиях” с Николаем и Алисой... Даже солдаты, видимо, иногда осуждали его поведение...” “Самое страшное – это были ночи. Три раза ко мне в камеру врывались пьяные солдаты, грозя изнасиловать, и я чудом спаслась от них. Первый раз я встала на колени, прижала к себе икону Богородицы и умоляла во имя моих стариков родителей и их матерей пощадить меня. Они ушли... Наше положение было тем ужаснее, что мы не смели жаловаться...”

Вероятно, положение Вырубовой, которую Комиссия впервые допрашивала 6 мая, было бесконечно хуже других в силу концентрации внимания толпы на ее личности и роли в распутинской эпопее<sup>126</sup>. И все же с удивлением останавливаешься перед наивностью, которую проявляла Комиссия при столкновении с жестокой действительностью... Стенограмма 31 марта допроса гр. Фредерикса занесла по-истине классический диалог между председателем Комиссии и престарелым б. министром Двора (ему было уже 79 лет). Больной Фредерикс был из Петропавловской переведен во французскую больницу. Отметив, что он служит уже с 1856 г. (т.е. более 60 лет), Ф. указал, что жизненные условия, в которые он поставлен, для него “ужасно тягостны”.

*Пред.:* Граф, я должен сказать, что мы не имеем отношения к вашему содержанию под стражей. Вы арестованы по распоряжению Временного Правительства. Мы можем довести до сведения министра юстиции о том, что с нашей стороны не имеется препятствий, но сами освободить вас мы не можем.

*Ф.:* ...только чтобы он не принял это в другую сторону, чтобы мне не было хуже, не дай Бог. Я хочу только сказать, какого рода мое состояние. Ко мне приставили 4 х человек. Дверь моя должна быть открыта постоянно. В дверях сидит часовой с ружьем со штыком. Сидит и смотрит, когда я лежу в кровати. Я всю ночь дверь не могу закрыть. Одеваясь, я должен все детали моего туалета

---

<sup>126</sup> Сухомлинова также несколько раз раздевали догола, также приходили “смотреть”, подсыпали однажды битого стекла в пищу и т.д.

делать при нем, всегда перед этим человеком, который стоит и смотрит, как я одеваюсь.

*Пр.:* Граф, позаботьтесь о том, чтобы ваша супруга и дочь хлопотали перед министром юстиции.

*Фр.:* Они уже это сделали. Моя жена очень серьезно больна сердцем и не может ко мне приехать, и я не могу видеть ее. За что? Что я сделал?

*Пр.:* Граф, это будет сделано.

*Фр.:* Пожалуйста, только чтобы не стало хуже. Хуже трудно, чтобы сделали. Вообще ужасная грубость этих людей, они – на “ты”.

*Пр.:* Граф, нужно пожаловаться их начальству.

*Фр.:* Ради Бога, чтобы меня не перевели еще в крепость. Я не выживу там недели, умру. Они говорят так: “Ну слушай, тебе вот до этого места ходить”... Я говорю: помилуйте, чтобы с генералом так говорил нижний чин. Я, как старый военный... Разве вас не возмущает подобное обращение?

*Пр.:* Да, конечно. Вы должны были сказать начальству, и это было бы прекращено.

*Фр.:* Я сообщил, но никакого результата нет...

*Пр.:* Граф, мы сообщим министру юстиции...

... Прошли месяцы, а старый министр Двора оставался в заключении.

Волнение члена Комиссии Завадского “перелилось через край” только тогда, когда он на допросе встретился со старым сослуживцем. Завадский с благодарностью вспоминает Врем. Прав. за свободу слова. И остается только подивиться, что никто из присутствовавших в недрах Комиссии против творившихся “безобразий” не попробовал даже обратиться к свободной печати. Никто не счел своим долгом публично протестовать против того, что подследственные находятся на положении худшем, чем каторжане, что в казематах Трубецкого бастиона Петропавловской крепости призраки ненавистного прошлого приняли вновь реальные очертания и, может быть, при отсутствии бюрократической регламентации приобрели стократ худшие формы. В свободной печати не только не появилось разоблачений, но, наоборот, подчеркивалось нечто противоположное. Напр., в “Речи” 30 апреля говорилось, что караул в Петропавловской крепости “исключительно надежный”. Отношение к арестованным корректное и гуманное – “об издевательствах и глумлениях старого режима нет и помину”. Мало того, в газетах можно было прочесть речь занимавшего тогда официальное положение в революционной администрации Сватикова на съезде делегатов фронта 4 мая о том, как “у заключенных в Петропавловской крепости “меняется тон” и они становятся “требовательными”, ибо чувствуют, что анархия влечет Россию к такой диктатуре, при которой пожалеют и о старом самодержавии”. Буквально в тех же выражениях повторяет утверждение “Речи” в воспоминаниях б. комендант Таврического Дворца полк. Перетц, – вероятно, так же говорил он и в момент своего посещения Петропавловской крепости. Поверхностный ген. Половцев, посетивший в мае Трубецкой бастион в качестве командующего войсками, нашел, что “условия жизни там совсем не плохи: пища и санитарные условия немного хуже, чем в гостинице “Астория”“. Это он сам рассказал в воспоминаниях... Может быть, при таких условиях и не слишком приходится удивляться наивности современников, не представлявших себе условий содержания арестованных, установившихся в революционной тюрьме, в одной из русских Бастилий.

Этих условий коснулся и Муравьев в докладе на съезде – тогда уже тюремный быт в крепости подвергся некоторому изменению. “Товарищи, – говорил председатель Чр. Сл. Комиссии, – много распространяют легенд относительно содержащихся под стражей. Одни говорят – и эта версия поддерживается родственниками, близкими и знакомыми арестованных и, быть может, находит себе сочувствие в части прессы – одни говорят, что положение арестованных страшно плохо, что их чуть не мучают, истязают и т.д. Товарищи, нужно это опровергнуть совершенно твердо и определенно. Этим не только никто не занимается, но мы считаем, что это не нужно и это было бы позорно для русского



свободного народа. Нужно отгородиться в этом отношении от прежнего, нужно сказать, что вы – старые люди, старая власть действовала такими приемами, какими мы действовать не желаем и которые мы принципиально отвергаем. Но, товарищи, отвергните также и другое. Другие говорят, что им живется легко, что мы чрезмерно им потакаем. Товарищи, нужно стать в этом отношении на деловую почву, нужно отменить всякую маниловщину. Товарищи, мы делаем серьезное дело – криминальную оценку лиц, нарушивших законы, которые при них существовали, и было бы также скверно делать в этом отношении какие-либо поблажки. Тут я должен сказать: их режим строг и суров, он почти таков же, какой был при старом режиме. Я говорю: почти такой же, с тем лишь изменением, что они едят теперь из солдатского котла. Но это, конечно, мы применяем к тем из них, которые здоровы. В нашем ведении не находятся тюрьмы – они находятся в ведении министерства юстиции, в ведении прокурора палаты, – но мы сносимся с арестованными и всегда обращаем внимание на то, что говорят врачи: если врач говорит, что что-либо разрушает их здоровье, то это должно быть устранено. Им не дают лакомств, но раз возникает вред для их здоровья, им дают необходимые пищевые продукты, им дают улучшенную пищу, хлеб, молоко и яйца. Комиссия позаботилась о том, чтобы за этим следил врач, который пользуется, я думаю, всеобщим доверием демократии, это доктор Манухин, ученик Мечникова, друг Горького, апробированный в этой должности петроградским Советом Р.С.Д., и мы считаем, что мы правильно ведем в данном случае эту среднюю линию не по пути старого режима и без всякого, так сказать, розового отношения к тем людям, которые погрешили перед русским народом”.

Политическая честность и чувство собственного достоинства должны были заставить председателя Комиссии говорить по поводу болезненных явлений эпохи по-другому и вспомнить слова Карабчевского, что нельзя оставаться председателем Следственной Комиссии, не будучи вправе распоряжаться судьбой заключенных. Какой-то самогипноз мешал выступить с правдивым рассказом, общественные предрассудки цепко держали совет – та же психология, только навыворот заставляла Щегловитова покрывать “ужасное” дело убийства революционера Ишера<sup>127</sup>. Здесь уже не приходится говорить об “юридическом идеализме” – то была демагогическая тактика, ошибочная в своем основании.

Подобная тактика нашла себе яркое применение при разрешении бесконечно затягивавшейся трудной проблемы о заключенных в тюрьме кронштадтских офицерах. Вр. Пр. первого состава не смогло окончательно урегулировать этот вопрос, хотя в Кронштадт выезжала специальная следств. комиссия во главе с Переверзевым, занявшим пост прокурора палаты. При новом правительстве вопрос об арестованных офицерах всплыл в связи с общим вопросом, поставленным в Совете 22 мая о Кронштадте. 17 мая кронштадтский совет 210 гол. против 40 при 18 воздержавшихся постановил взять в свои руки фактическую власть, объявить Кронштадт не признающим Временное Правительство и обращаться непосредственно в Петроградский Совет. 22-го в присутствии делегата из Кронштадта позиция последнего подверглась довольно резкому осуждению со стороны Петроградского Совета. На предложение Церетелли передать в руки правосудия офицеров, которых кронштадтцы без суда держат в крепостных казематах, представитель кронштадтских делегатов Рошаль ответил, что офицеров они выдадут только тогда, когда Петроградский Совет возьмет к себе всех арестованных реакционеров из всей России. В конце концов правительство предложило своим министрам Церетелли и Скобелеву, бывшим и представителями Совета, поехать непосредственно в Кронштадт, чтобы уладить конфликт. Договориться с кронштадтцами посланцы сумели, и местный совет уже 195 голосами против 21 при 22 воздержавшихся принял резолюцию: “Согласуясь с решением большинства

---

<sup>127</sup> Предрассудки не так легко искореняются. Манухин рассказывал, что в эмиграции, когда он захотел возразить на утверждение Керенского в “Днях” о хорошем положении заключенных в дни революции, редактор “Пос. Нов.”, т.е. Милуков, отказался поместить его письмо по тому мотиву, что нельзя дискредитировать в период большевистского террора Временное Правительство.

революционной демократии Петроградского Совета Р. и С. Д., признавшего нынешнее Временное Правительство облеченным полнотой государственной власти, общей для всей революционной России, мы со своей стороны вполне признаем эту власть... Мы надеемся, что путем идейного воздействия на мнение большинства демократии нам удастся склонить это большинство на путь, признаваемый нами единственно правильным (т.е. создания новой организации центральной власти, “передав всю власть в руки советов”)... По вопросу об арестованных офицерах<sup>128</sup> Совет... заявляет, что он окажет содействие следственной комиссии, назначенной высшей судебной инстанцией, при совместной работе с ней представителей местной следственной комиссии от Совета... Кронштадта, при производстве предварительного следствия в Кронштадте, с тем, чтобы лица, которых эта комиссия предаст суду, направлялись для суда в Петроград с вызовом из Кронштадта представителей заинтересованной команды при разборе дела... Ввиду распускаемых некоторыми органами печати ложных сведений, будто бы арестованные офицеры находятся в исключительно тяжелых условиях – подвергаются истязаниям со смертными случаями, Совет приглашает представителей партии, общественных организаций и печати путем посещения заключенных и личного осмотра убедиться в неосновательности подобных слухов...”

Давая 28-го в Исп. Ком. отчет о своей поездке в Кронштадт, Церетелли говорил (по отчету в протоколах) о том тягостном впечатлении, которое он вынес при посещении крепостных казематов: “Условия ужасны... но объясняются они характером самой тюрьмы, а не злой волей, умышленным желанием причинить страдания, как это изображается в буржуазной печати”. Таким образом и здесь не было произнесено суровое слово осуждения революционному насилию и революционному беззаконию, хотя тогдашний лидер советского большинства и провозглашал в Кронштадте истину: “вожди не вправе угождать демократии, т.е. толпе...” Приходится очень сожалеть, что никто не воспользовался “приглашением” кронштадтцев. Так или иначе цель была достигнута, и значительное число арестованных после разбора дел следственной комиссией под председательством прис. пов. Жданова было в середине июля переведено в Петербург в арестный дом и содержалось по крайней мере в человеческих условиях: ведь среди “кронштадтских мучеников” далеко не все были прежними “мучителями...”

Петропавловская крепость, конечно, не была “кронштадтской республикой”, хотя, допустим, и находилась под тлетворным влиянием особняка Кшесинской. И здесь при обнаружившейся “злой воле” в “умышленном желании причинить страдания” ссылка на необходимость осторожности ввиду настроения караула и пр. означали бездействие и равнодушие, почти преступное для носителей звания революционной власти. Проследим судьбу Вырубовой, хотя бы по ее собственному рассказу с добавлением некоторых подробностей, приходящих со стороны, – и перед нами вскроется довольно отчетливо картина того, что было<sup>129</sup>.

В докладе Съезду Советов председатель Сл. Комиссии, как мы видели, подчеркнуто выставил, как особую заслугу Комиссии, привлечение к наблюдению за арестованными в Петропавловской крепости доктора Манухина, пользующегося ““общим доверием” демократии”. Явилось ли это результатом “победы” Завадского или инициативы самого Муравьева – безразлично. “Доктора Манухина, – вспоминает Завадский, – я любил и считал

---

<sup>128</sup> Правительственная делегация, как видно из доклада Церетелли в Исп. Ком., указала кронштадцам, что “в интересах демократии вынести этот вопрос на свет гласности, что борьба с контрреволюцией, во имя которой эти аресты были произведены, может успешно поставлена, если от нее будет отмечено все, что может бросить хоть какую-нибудь тень на формы, в которых она ведется... Нужно устранить возможность обвинения и упреков, что в деле офицеров допущены отступления от общих норм содержания под стражей и что не приняты все гарантии для установления виновности заключенных.

<sup>129</sup> По словам матери Вырубовой, она в своих ходатайствах о дочери доходила лично до министра юстиции – но он встретил ее “грубо” и сказал, что “ничего сделать нельзя”.

его своим другом; человек безупречной порядочности и полного бескорыстия, он в соответствии с требованиями момента имел “левое” прошлое в виде “политической судимости”... Конечно, смена врача еще далеко не все, но хоть что-нибудь и то хорошо. Поэтому я горячо убеждал И.И. Манухина не отказываться от предложения, в котором, конечно, ничего заманчивого не было”<sup>130</sup>. Когда назначение Манухина состоялось, заключенные почувствовали облегчение: он внимательно обходил камеры, тщательно осматривал больных, прописывал усиленное питание для тех, кто в нем нуждался, и решительно осаживал караульных при малейшей их попытке “свое мнение иметь”. И действительно, как луч солнца проникал в подземелье, отмечается появление в казематах Трубецкого бастиона Манухина, обошедшего в первый раз камеры 23 апреля. Сменили не только врача, но и коменданта – по требованию Керенского, как вспоминает Половцев. Комендантом был назначен в середине мая один из офицеров 4-го стрел. полка инвалид Апухтин, который сумел взять “правильный тон” и наладить дело<sup>131</sup>. “Понемногу, – вспоминает Вырубова, – положение мое стало улучшаться. Многие солдаты из наблюдательной команды стали хорошо ко мне относиться... жалели меня, защищали от грубых выходок своих товарищей”. Нашлась и “добрая” надзирательница, и “добрые караульные начальники”, и хорошие “старшие” и простые солдаты, делившие с заключенной сахар и хлеб. Нашелся и “поваренок”, подкладывавший мясо в суп, и заведующий библиотекой бастиона, за “небольшое вознаграждение” приносивший заключенной из дома белье и письма и т.п.<sup>132</sup>. “Последнее время моего заключения они никогда не запирали двери и час или два заставляли меня рисовать... их портреты”. Последние замечания Вырубовой показывают, как относительно должно быть понимаемо утверждение следователя Руднева, что “грубое издевательство” над арестованной побудило След. Комиссию перевести ее в арестный Дом при быв. губ. жанд. управлении. Вырубова переведена была из крепости лишь в середине июня, когда расследование ее деятельности пришло к концу и когда, по распоряжению Комиссии, в конце мая она была подвергнута медицинскому освидетельствованию, установившему, что Вырубова девственница. Вероятно, это было сделано только в интересах заключенной, и все-таки как-то трудно примириться с таким фактом – какое отношение имела След. Комиссия, рассматривавшая преступные деяния министров, к интимной обстановке частной жизни? Письма Вырубовой к родителям из тюрьмы, помеченные последними числами мая (они приведены в приложении к воспоминаниям), еще более решительно опровергают слова Руднева и подчеркивают совершенно непонятную двойственную тактику Комиссии... “Председатель Сл. Ком. объявил мне, что я уже больше ведению их не принадлежу, так что теперь должна просить министра о пресечении мер заключения. Я уже послала бумагу и просилась к вам под домашний арест. Я боюсь верить этому счастью. Теперь все дело в руках министра... Если к вам нельзя, то в лазарет... Мне все кажется, что здесь умру”, “Не верь, – пишет она в другом письме матери, – когда говорят, что мне безопаснее здесь – ведь всякая женская тюрьма лучше этого ада. Во-первых, все ложь: Муравьев, например, вчера опять приходил, говоря: “Вы знаете, ведь от меня не зависит, а от министра юстиции, у него могут быть высшие соображения... (многозначия автора). Конечно, если спросят Комиссию, мы ответим, что ничего против вашего освобождения не имеем”. Нельзя ли попросить министра юстиции

---

<sup>130</sup> По словам Манухина, Муравьев просил его порекомендовать кого-либо на место Серебрянникова. Манухин предложил себя при условии, что ему не будут платить жалованья.

<sup>131</sup> Половцев всю одиозность переносит на помощ. коменданта пор. Берса, который-де заявил, что он назначен в крепость Советом и командующему не подчинен (в воспоминаниях Вырубовой Берс фигурирует несколько в ином виде). Смена коменданта произошла легко, без всяких осложнений, после “миролюбивого разговора” с Берсом.

<sup>132</sup> Людей “с человеческим сердцем” отмечает и Сухомлинов при описании своих тюремных переживаний.

перевести хоть меня арестованной в лучшие условия, – хоть окно, а не форточку у потолка... Меня *опять* (курсив мой. – С.М.) допрашивал судебный следователь 4 часа...” В дальнейшем: “Умоляла увеличить прогулки хоть на 10 минут, но не разрешили. Ведь Трубецкой бастион – самая ужасная тюрьма в России... Вчера приходила ко мне Следст. Ком., так как доктор находит меня слабой. Муравьев говорил мне, что ты была у него – сказал: “вы сами виноваты, что не так отвечали на допросе” (неправда), указал мне еще раз написать все подробнее и подал надежду, что тогда скоро выйду...” “Буду писать для комиссии, но после двух месяцев тюрьмы, тяжелой кори, у меня голова почти не соображает... Я только что вернулась с допроса: меня допрашивали приблизительно по тем же вопросам 4 часа... Я устала до слез, иду спать, еле есть силы”<sup>133</sup>. Самый вывоз Вырубовой из крепости отнюдь не сопровождался теми преувеличенными трудностями, которые изображает Вырубова и которые, по-видимому, предвидел Манухин; как видно из воспоминаний Суханова – к нему обратился взволнованный Манухин за содействием. Не понадобилось принимать никаких особых предосторожностей (“чрезвычайных мер”) против возможного противодействия гарнизона, готовившего “самочинную расправу” со “знаменитой царской фрейлиной”. Пригласив с собой члена президиума Совета Анисимова, Суханов с Манухиным приехали в крепость и без большого труда выполнили свое задание. Часовые, по показанию Суханова, смотрели “подозрительно”, но не задержали. Экспедиция обошлась “совершенно благополучно”<sup>134</sup> – никаких переговоров с гарнизоном не пришлось вести, злоумышлявшие заговорщики<sup>135</sup>, предполагавшие “убить Вырубову”, на сцене не появились, а присутствовавшие солдаты, по словам Вырубовой, жали ей руки и поздравляли. И мне кажется, что “решение” гарнизона, объявившего, что “никому не позволит вывозить на крепости царских слуг”, что не доверяет правительству и не видит никаких гарантий правосудия для своих палачей, кроме содержания их в крепости под охраной своих штыков (так формулирует Суханов и скажет: “знамение времени”), – плод несколько преувеличенного страха или воображения мемуариста, навеянного заявлением коменданта крепости, появившимся в газетах 14 июля, о том, что им приняты решительные меры против частных выступлений и имевших место “недоразумений”. Должен, однако, оговориться, что Манухин всецело подтверждает рассказ Суханова. Он говорит, что большевистски настроенный гарнизон действительно противодействовал вывозу арестованных и в одном из таких случаев залег на землю цепью и начал обстреливать автомобиль. Непосредственный караул в Трубецком бастионе, набранный из всех частей столичного гарнизона и находившийся в “контакте” с гарнизоном крепости<sup>136</sup>, также допускал вывоз только больных по удостоверению доктора Манухина, и последнему приходилось предварительно убеждать караул в необходимости такой меры, прибегая даже к инсценировке симуляции: так он порекомендовал Белецкому громко стонать, когда наблюдательная солдатская комиссия будет обходить казематы. Тогда наблюдатели согласились на отправку больного Белецкого в больницу – нельзя “мучить” людей.

“Знамением времени” нельзя не признать того обстоятельства, что “вывоз” Вырубовой

---

<sup>133</sup> “Допросы”, о которых пишет Вырубова, показывают, какое неполное представление дают нам напечатанные “стенограммы”, воспроизводящие лишь допрос Вырубовой 6 мая.

<sup>134</sup> Отмечу хорошее впечатление Суханова от “светлых и чистых камер Трубецкого бастиона”.

<sup>135</sup> О “заговоре” со слов Манухина говорил Суханов. В гарнизоне будто “окончательно оформилось настроение в пользу самочинной расправы с заключенными. Избиения можно было ожидать с часа на час, и Вырубова намечена была как первая жертва”.

<sup>136</sup> Может быть, в данном случае весь сыр-бор загорелся из сообщения самой Вырубовой, услышавшей разговор в коридоре солдата Кулакова, говорившего, что надо Вырубову убить, и укравшего для этой цели два револьвера.

из Петропавловской крепости произведен был не членами министерства юстиции, а доктором Манухиным при содействии представителей Совета, действовавших как бы *ex officio*. Это яркий пример того, как правительственная власть на практике создавала пагубное для своего авторитета двоевластие. По словам Манухина, к такому советскому представительству приходилось прибегать всякий раз – если не к Суханову, то к Гоцу. Позже для большего авторитета стали обращаться к Луначарскому. Представители министерства и Следственной Комиссии не появлялись и влияния не имели.

Формально тюремный режим в крепости не изменился: то же арестантское платье<sup>137</sup>, те же 10 минутные прогулки, запрещение передач с воли, кратковременный (также 10 минут) строгие свидания с соблюдением всех худших правил старого режима (по словам Манухина, Макаров был, например, лишен свидания за то, что сын бросился на шею к отцу) и т.д., и т.д. К сожалению, мы не имеем возможности установить, что здесь являлось выполнением “инструкций”, а что зависело от местного усмотрения. Для объективности исторического впечатления необходимо отметить те условия, в которых содержалась Вырубова в арестантском доме, формально все еще находясь под следствием. Она была, по ее словам, единственной женщиной – кроме нее здесь находились ген. Беляев и 80 – 90 морских офицеров из Кронштадта. Комендант Наджаров обращался со всеми заключенными “предупредительно и любезно”. Вырубова помещалась в отдельной комнате. Так как Вырубова был в нервном состоянии, то разрешили с ней спать кому-нибудь из сестер милосердия из бывшего лазарета Вырубовой, – сестра ложилась на полу на матраце. К Вырубовой допускалась для помощи прислуга из дома. Караул появлялся раз в день при смене. Свидания были разрешены по 4 часа, а день без посторонних свидетелей; в день рождения Вырубовой в походной церкви лазарета была отслужена обедня при стройном хоровом пении солдат. Из дома Вырубовой была доставлена одежда, книги и “многое множество цветов”. 24 июля, наконец, Вырубова была освобождена – в газетах было сказано, что Вырубова была освобождена по болезненному состоянию на поруки матери – ее провожали арестованные и солдаты. Не так, очевидно, все уже было плохо и жестоко при революционном правительстве.

Тем ярче выделяется черным пятном Петропавловская крепость. Сопоставление быта двух тюрем, одинаково охраняемых одними и теми же солдатами гарнизона, довольно наглядно показывает, что территориальные условия зависели не только от революционной стихии и что, во всяком случае, с этой “стихией” можно было бороться и даже устранить ее. Условия быта в этой вдвойне знаменитой теперь “русской Бастилии” при новом коменданте все же значительно изменились. Самовластие караула, конечно, не было устранено, как мы видели из рассказа Манухина. Оно ярко проявилось, например, в дни сухомлиновского процесса. Корреспондент “Русск. Вед.” отмечал в своем отчете, что Сухомлинов в последние дни имел совершенно измученный вид – “еле держался на ногах”. Причина лежала не только в моральных переживаниях, но и в физических, ибо по требованию караула Сухомлинов в крепости подвергался особо строгому режиму – заставляли спать на соломе и т.д. Караул был возбужден обстановкой процесса и той газетной травлей, которая велась вокруг процесса – опять, как говорили, создавалась атмосфера “самосуда”. Одно из газетных сообщений передавало, что к зданию суда 2 сентября явились три роты Преображенского полка и потребовали “выдать” им подсудного. Время процесса совпало с “временной” заменой кап. Апухтина другим лицом. Может быть, в этом и была главная причина разнузданности караула. Но обратил ли внимание кто-либо из прокуратуры на ненормальное положение подсудимого? Намеков на это я не нашел<sup>138</sup>. Имеющие власть не реагировали на

---

<sup>137</sup> Теория и практика не всегда совпадают: перед следователем Корневым б. военный министр Беляев предстал в генеральских погонах.

<sup>138</sup> Впоследствии это отмечалось даже с преувеличением. Так, б. прокурор Моск. суд. палаты Чебышев, числившийся в рядах судей по сухомлиновскому процессу, писал: “За колоннами, как хор древнегреческой

злоупотребления революционного времени. В этом корень зла. Думаю поэтому, что в рассказы тех мемуаристов, которые склонны ответственность возложить на “стихию”, как и тех, кто ответственность перелагает на “демагогов”, надо внести существенные ограничения. Например, Романов утверждает, что “для освобождения из-под стражи недостаточно было преодолеть сопротивление некоторых членов комиссии и правительства, но необходимо было еще получить согласие коменданта и самочинного гарнизона Петропавловской крепости. Те просто брали взятки и до получения их постановления комиссии нередко не приводились в исполнение. Об этом тогда же было сообщено министру юстиции и военному с требованием возбудить уголовное преследование против виноватых, но власть так трепетала перед всякими самочинными организациями, что не было даже назначено следствие”. Следствия действительно не было, но более, чем сомнительно, что его требовали члены Комиссии – в том числе Романов. Возможно, что находились такие караульные “офицеры”, которые вымогали у матери Вырубовой деньги, в чем рассказывает Карабчевский, вымогали и у родственников других арестованных. В составе гарнизонного комитета числились такие авантюристы, как, например, “поручик Чхония” (вероятно, тот самый Чхония, которого упоминает Вырубова), носивший или присвоивший себе звание “адъютанта Петропавловской крепости”, а в действительности вольно определившийся грузин Арчил Чхония, “дезертир из полка”, личность с темным прошлым, известная уголовной полиции по клубным делам, скандалам и безобразиям в пьяном виде на улицах (об его похождениях упоминает Кельсон). Половцев, знавший по слухам, что делалось в Петропавловской крепости до назначения его командующим войсками, упоминает также о том, что “гарнизонный комитет” не выпускал подлежащих освобождению арестованных (дело шло о переводе из крепости в другое соответствующее узилище), пока некий “вольно определяющийся не получал соответствующей mzды (сенатор Добровольский, кажется, заплатил 5 т. (Вырубова 2,5). Доктор Манухин, непосредственно наблюдавший жизнь Петропавловской крепости, отрицает эти факты. Конкретно мы не можем установить ни одного факта из области криминальных действий „гарнизона“, о которых в слишком суммарной форме повествует Романов. Случаи такие могли иметь место – может быть, в несколько иной конъюнктуре – напр., люди типа Арчила Чхония могли вымогать деньги угрозой, что гарнизон окажет противодействие переводу из крепости заключенных, и вести соответствующую агитацию<sup>139</sup>.

От б. прокурора, участника Следственной Комиссии, можно было бы требовать большей точности в изложении. Между тем он не отдает себе отчета (в воспоминаниях) даже в формальной стороне освобождения подследственных лиц, желая только всемерно обвинить во всех смертных грехах председателя Комиссии, представлявшего собой как бы “так называемую общественность”. Как “типичный образчик уважения новых деятелей к самостоятельности и независимости суда” – он приводит случай “освобождения” последнего министра юстиции старого режима сенатора егермейстера Добровольского. Добровольский обвинялся во взяточничестве, но, утверждает Романов, “все первоначально выдвинутые

---

трагедии, непрерывно дежурил отряд измайловцев, грозивший перебить весь состав суда, если подсудимые не будут присуждены к смертной казни”.

<sup>139</sup> Молва и иные мемуаристы широко использовали тему о взятках. Есть такой мемуарист, которому по праву можно было бы дать литературный псевдоним из фонвизинского “Недоросля” – это придворный маклер по бриллиантам и распутинский “секретарь” Симанович. Он рассказал, как был заключен в Петропавловскую крепость в качестве “заложника” и освобожден за 200 т., врученных министру юстиции Переверзеву адв. Фейтельзоном для организации “фиктивного бегства”, и как остался в Петербурге, уплатив через адв. Хвольсона члену Совета Соколову 40 т. Фантазия ничем не ограничена. Более интересно сообщение, которое сделал на основании того, что он слышал от “организованных матросов” в Кронштадте, соц.дем. инт. Ерманский на конференции циммервальдцев 2 сентября: большевики Рошаль и Раскольников брали деньги за освобождение офицеров. Факт этот зарегистрирован в протоколе петерб. комитета большевистской партии за 24 сентября.

против него улики были на следствии решительным образом опровергнуты. Дело предполагалось направить на прекращение. Против освобождения были, конечно, сам Муравьев, Соколов, Щеголев, но большинством голосов было постановлено Добровольского освободить. Тогда Муравьев недовольно-капризным жестом бросает переписку секретарю со словами: “Ну так и запишите, но пока не исполняйте”. По настоянию моему и сен. Смиттена Добровольский был, однако, на следующий день освобожден, на наше требование объяснить, как он позволил себе единолично приостановить постановление Комиссии, Муравьев, в конце концов, проговорился, что хотел предварительно узнать, как к освобождению отнесется министр юстиции” (этот министр юстиции, конечно, Керенский, хотя в действительности в августе министром был Зарудный). Допустим, что против Добровольского действительно не было “улик” для привлечения его к уголовной ответственности, но если это так, то до привлечения заключенные находились в ведении министра юстиции, и Комиссия не могла их освобождать своим постановлением. (Если бы Романов указывал на абсурдную дефективность такого порядка, он был бы прав в своем негодовании.) В действительности все было по-иному. По рассказу Завадского Добровольский был в его уже время (он ушел в середине мая) единственным подследственным, привлеченным к ответственности<sup>140</sup>. По газетным сообщениям последних дней июля можно установить, что дело Добровольского предполагалось поставить третьим (первым было дело Сухомлинова, вторым предполагалось дело Макарова, Виссарионова, Белецкого по связи с провокацией члена Думы большевика Малиновского). Освобождение Добровольского мотивировалось старостью и болезненным состоянием, и тем, что некоторые обстоятельства в дальнейшем следствии разъяснились в его пользу – это было изменение меры пресечения преступления<sup>141</sup>.

Я остановился на этих индивидуальных случаях для того, чтобы еще раз показать тенденциозность мемуаристов, которые по своему официальному положению в Комиссии, казалось бы, могли быть компетентными свидетелями. Комиссия неизбежно отражала в себе отрицательную сторону деятельности министерства юстиции и всего правительства, совершенно подчас запутывавшегося в своей двойственной политике комбинации постулатов свободы, права и законности с революционным насилием и согласованности с настроениями революционной демократии<sup>142</sup>. Судьба заключенных в этом отношении, конечно, представляет очень наглядную иллюстрацию. После постановления правительства о ликвидации внесудебных арестов (26 июля) логически требовалось освобождение всех, кому не предъявлено обвинения. Но слово разошлось с делом<sup>143</sup>. 1 августа правительством было издано постановление: 1. “Предоставить министру вн. д. по соглашению с министром юстиции постановлять о заключении под стражу лиц, деятельность которых является особо угрожающей завоеванной революцией свободе и установленному ныне государственному

---

<sup>140</sup> Другой пример Романова не более убедительнее. “Когда мы решили настоять на освобождении Штюмерера”, то Керенский, прослышав об этом, “прибежал” в Комиссию и уверял, что освобождение произведет тяжелое впечатление на “широкие демократические массы” и “может взорвать правительство”. Опять-таки по июльским газетам Штюмерер был привлечен за “растрату”. Он был переведен в больницу в момент припадка уремии и умер 20 августа.

<sup>141</sup> Завадский приводит любопытные бытовые детали для характеристики этого “бесшабашного светского вивера”, по характеристике Карабчевского, – либерального распутинского протезе.

<sup>142</sup> В воспоминаниях Суханова можно встретить решительное осуждение политики мин. юст. Перверзева, стремившегося к ликвидации революционных процессов и распоряжавшегося об освобождении “самых гнусных деятелей старого режима”. Мемуарист не возвысился над сознанием большевизанствующих путиловцев, протестовавших в начале августа против подобных освобождений.

<sup>143</sup> Почему это произошло, будет показано ниже.

порядку. 2. Подвергнуть этих лиц высылке в особо указанные для сего местности, предлагать указанным лицам покинуть в особо назначенный для сего срок пределы Российского государства с тем, чтобы в случае невыбытия их в течение этого срока за границу (это во время войны!) они принудительно водворялись на жительство в особо указанных для сего местах Российского государства. Действие этого постановления прекращается со дня открытия Учред. Собрания”. “Отходной” революции назвала московская либеральная газета это правительственное мероприятие. “Русские Ведомости” сомневались в том, что правительство не может обойтись без отмены основных гарантий неприкосновенности личности для того, чтобы охранять завоевания революции: “Основной причиной развала и разрухи („летаргии правосудия“, как писала газета в другом месте) была слабость власти, ее бессилие, но это бессилие было обусловлено не тем, что у власти не было достаточных полномочий, а тем, что эти полномочия не использовались”. Газета напоминала, что “кронштадтские офицеры до сих пор сидят в тюрьме без суда и следствия”.

Газета указывала на опасный прецедент: “Отступление от великих заветов права никогда не проходит безнаказанно...”

Была создана еще новая инстанция (какая по счету!) – особая комиссия по внесудебным арестам, которая накладывала свое вето на освобождение. Напр., Чр. Сл. Ком. постановила в августе освободить Дубровина, но он был оставлен в тюрьме еще на 3 месяца, так как другая комиссия признала вредным освобождение этого известного деятеля Союза Русского Народа с точки зрения общественного спокойствия; такая же судьба позже постигла ген. Спиридовича. Беззаконие было облечено в законные формы, и неисповедимыми путями судьбы было восстановлено, по выражению “Рус. Вед.”, “одно из самых ненавистных воспоминаний старого режима: административные аресты и высылки”.

Все это отражалось на закономерности в деятельности Чр. Сл. Ком. Завадский вспоминает, как он в нервном состоянии, в котором находился в период деятельности своей в Чрез. Сл. Ком., раздраженно сказал жене одного заключенного, выступавшей просительницей за мужа, б. директора деп. полиции, и заявившей, что при старом режиме никогда не держали под стражей 24 часа без допроса, – что как раз ее муж повинен в таких арестах. Может быть, нравственное чувство не очень возмущалось перед формальной несправедливостью, сделанной в отношении Дубровина и Спиридовича, – все же это было справедливое, по мнению широких общественных кругов, возмездие за старые грехи. Может быть, психологически было понятно, хотя по существу довольно абсурдно с точки зрения пресловутой “криминализации”, нахождение среди “петропавловцев” вплоть до октябрьского переворота ген. Ренненкампа, привлеченного или привлекаемого ни более ни менее, как по статье, преследующей мародерство. Психологически понятно, ибо с именем Ренненкампа связывалось представление о “свирином усмирителе революционеров” 1905 – 1906 гг. и о “бесславных” действиях в Восточной Пруссии во время войны<sup>144</sup>. Формально Ренненкампу предъявлялось обвинение в том, что штаб генерала будто бы присвоил незаконно имущество частных лиц и вывез его в Россию. По утверждению Коренева, это обвинение касалось самого Ренненкампа только “краем” – лично он взял себе на память какой-то дешевый альбом с карточками Вильгельма, одно-два старых ружья и какое-то знамя. Не за мародерство содержался Ренненкампф в Петропавловке, а потому, что другой следователь, прокурор Иркутской судебной палаты, в это время ворошил старое дело усмирителя Сибири. “Жалкий” человек в арестантской рубашке, завязанной бичевкой, с придушенными рыданиями говорил следователю, что он “политикой” не занимался и был

---

<sup>144</sup> Характеристики я взял из воспоминаний следователя, полк. Коренева, ведшего расследование дела Ренненкампа. Следователь Комиссии, ex abrupto, высказавший категорические суждения (“глупый”, “бездарный”), не представлял себе даже в период писания воспоминаний, что военная историография по-другому будет оценивать бесславные страницы кампании в Восточной Пруссии.



уже в отставке, когда его арестовали<sup>145</sup>. Но полное отсутствие здравого смысла представляет история заключения гр. Фредерикса. Допрос Фредерикса, человека “честного, кристального”, по выражению Родзянки, “рыцарски-благородного”, по отзыву Волконского (тов. мин.) – такой перл, что нельзя на нем не остановиться. Над Фредериксом тяготело подозрение, что он стоял во главе “немецкой партии” и родственные отношения с дворцовым комендантом Воейковым, затемняя декоративную роль, которую играл при дворе преданный царской семье престарелый генерал, делали его проводником распутинского влияния – негласным советником Императрицы. На допросе Фредерикса 2 июня довольно ясно определялось, что он в “дела государственные” почти не вмешивался (конечно, Фредерикс в своем отрицании несколько преувеличивал: так напр., в дневнике Царя от 11 сент. 15 г. определенно сказано: “Фредерикс уговаривал меня держаться Горемыкина”) и, во всяком случае, перед революцией, в силу явной уже старческой дряхлости, влияния иметь не мог<sup>146</sup>.

Итак, Комиссия интересовалась влиянием его на “дела государственные”. “Он (т.е. Император) со мной об этом не советовался”, – отвечал Фредерикс. “Я ему часто говорил, чтобы он, ради Бога, Распутина прогнал, на это Е.В. угодно было мне сказать: “Вы, граф, мне неоднократно говорили, что у вас и без вмешательства в дела политические достаточно дела, вы этого вопроса не касайтесь, это мое дело...” Государь не любил, когда к нему без спроса обращались, и я мог мало принести ему пользы ввиду того, что я не был в курсе дел. Я ни разу не был в Совете министров, я даже не знаю, где он собирался... Если вы меня спросите, что спросите, что же я вам отвечу, когда я не знаю. *Пр.*: Как вы смотрите на войну? *Фр.*: Как на большое несчастье. *Пр.*: Но вы считали, что ее следовало вести. *Фр.*: Этого я не могу вам сказать... Кто начал – Государь наш или германский император – не знаю; я люблю, когда о чем-нибудь сужу, быть в курсе дела... Муравьев указывает, что составилось мнение о Фредериксе, как о стороннике “так называемой немецкой партии”. *Фр.*: ...Я всегда говорю, что кто это про меня рассказывал, говорил величайшую ложь... Что набралось много немцев у двора – я Государю говорил, что это нежелательно; на это он говорил: “Что же вы их держите?” Я сказал Е.В., что все это люди порядочные. Например, граф Бенкендорф: как же я ему скажу: “Вы всю жизнь служили, а теперь должны уйти, потому что война?” Ведь это – оскорбление для человека. Грюнвальд, который по конюшенной части, не мной взят. Штакельберг, придворным оркестром заведовал, также немецкая фамилия: вы помните одно, что я не немец. Наш род – шведский... Мы пришли в Россию при Петре Великом...”

На предложение припомнить вкратце события, предшествовавшие отречению, Фредерикс отвечает: “Я чистосердечно говорю – не помню... С тех пор, как я хвораю, это ужасно отразилось на моей памяти. *Пр.*: Какое ваше отношение к надвигающимся событиям?.. *Фр.*: Могу вам только сказать, что Государь со мной почти не говорил. Он только сказал: “Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор...” Когда же я хотел узнать, что он сказал, Государь говорит: “Это не касается министерства двора”. Он всегда так говорил... Если меня спросите, что теперь делать, то я заявил бы одно: чтобы дали мне спокойно умереть...”

---

<sup>145</sup> Б. тов. синод. обер-прокурора кн. Жевахов, арестованный в первые дни революции, как “германofil”, изображает Ренненкампа в министерском павильоне совсем в ином виде – в противоположность всем остальным заключенным, не чувствовал себя подавленным... держал себя свободно, уверенно. Жевахов рассказывает о похвалах, которые воздал генерал геройству унт. оф. Вольнского полка Кирпичникова, получившего Георгиевский крест.

<sup>146</sup> “Наш милый Фредерикс” – “старый выживший из ума болтун”, “ему нельзя говорить ничего серьезного или чего-либо секретного”, – давала ему характеристику А.Ф. в ноябре 15 г. “Утром он в сознании, а к вечеру в “рамольности”, – определял его состояние б. мин. вн. д. Щербатов.

*Пр.*: Граф, скажите, у вас много было прислуги в доме? *Фр.*: В доме, т.е. когда его еще не сожгли?.. И все, что там есть. Это громадные ценности... все это сожжено... все мои документы, все мои бумаги, все портреты семейные, все, что у меня было, все сожжено... *Пр.*: Мне интересен вопрос о прислуге... Не принимали вы мер к тому, чтобы укрыть от воинской повинности ряд людей из числа вашей прислуги? *Фр.*: Чтобы я, старый солдат, это сделал. Я бы его выдал немедленно. *Пр.* напоминает о поваре Еремееве и управляющем Ктитарева. *Фр.*: Это до меня не касается. Я человек больной. У меня есть главноуправляющий, который, к сожалению, совершенно самовластно ведет мои дела, что для меня совершенно непрактично... Затем следует вопрос о Сухомлинове, привлеченном по обвинению в государственной измене. *Фр.*: Я слышал. Только, насколько он действительно виноват – не знаю... Оглашается документ-записка, на которой рукою Фредерикса помечено: получено от Сухомлинова 17 февраля 16 г. *Фр.*: Вот видите ли, какие могут быть наговоры. Вот говорят, что я говорил то-то и то-то, а я в первый раз слышу. Я вам могу сказать, что по сходству оно похоже на мой почерк. Но чтобы я такую вещь написал, я могу поклясться, что я бы не сделал. Я бы поклялся, что я этого не писал, но я не могу поклясться. *Пр.*: Это только похоже на ваш почерк или это ваш почерк? *Фр.*: Я говорю: похоже, что не я писал. Я готов поклясться, что не писал. *Пр.*: Вы готовы поклясться, что не писали? *Фр.*: А сходство есть безусловное. *Пр.*: Граф, вы, может быть, желаете отдохнуть, я вас утомил? *Фр.*: Разрешите мне сделать вам заявление. Позвольте мне сидеть или стоять, потому что я иногда больше сидеть не могу, а в другой раз больше стоять не могу... Очень много действует на мое здоровье тот образ жизни, который мне создан. *Пр.*: Позвольте вас допросить, а потом мы об этом поговорим...<sup>147</sup> Чем объясняется, что вы ходатайствовали перед председателем Совета министров Штюмером, чтобы Сухомлинову дали несколько больше удобств в крепости, чтобы его перевели в другую комнату, так как, по заявлению г-жи Сухомлиновой, в помещении есть клопы? *Фр.*: Это я сделал бы для всякого, для того, чтобы не пытаться людей. Ну, он дрянь – это дело его совести. Если я увижу, что этот Сухомлинов будет тут тонуть, то, конечно, постараюсь его вытащить. Нельзя же мне сказать: “Послушайте, как же вы такую дрянь спасаете? – Да потому, что он – человек...” *Пр.*: В каких отношениях вы были с Андрониковым? *Фр.*: Кто он такой, Андроников? Он военный? *Пр.*: Ни военный, ни штатский, неопределенных занятий был человек. Занимался тем, что писал письма и проводил всякие дела. *Фр.*: Ах, знаю! Ни в каких отношениях, насколько я могу вспомнить. Я всегда отказывал ему в приемах. Он всегда вмешивался в дела, до него не касающиеся, очень много болтал, и я всегда его просил меня не впутывать в дела. Он очень красноречив, хотел объяснить, что это моя обязанность. Мосолов этого Андроникова ненавидел, выходил обыкновенно и прямо его выставлял из моего дома. Я припомнил теперь – такой толстый, белокурый... *Пр.*: Вот телеграмма, в которой вы благодарите его за поздравление. Так что вы не только принимали письма, но в некоторой степени и отвечали. *Фр.*: Это, может быть, связано с моими именинами... Я всегда вежлив. Если меня кто-нибудь поздравлял – я всегда отвечаю...

Колоритность этого “собеседования” сохраняется и в приведенной выдержке из стенограмм. (Не один Фредерикс был в таком положении – не то же ли самое происходило и с Горемыкиным: у него был удар, ему трудно было говорить, и он часто, очень часто отвечал: “очень может быть, но только я ничего не помню...”) Мы знаем, что председатель сказал, что Комиссия не встречает препятствий к его освобождению. И тем не менее старик продолжал сидеть. 3 августа в “Рус. Вед.”, вероятно, и в других газетах, можно было прочитать заметку, излагающую жалобу графини Фредерикс министру юстиции Зарудному

---

<sup>147</sup> Я пропускаю ряд вопросов, на которые, в сущности, Фр. отвечает: “Ничего вам не могу сказать, потому что не помню”.

на Чрезв. Сл. Комиссию. В жалобе указывалось, что около двух недель тому назад председатель Комиссии официально объявил графине Фр., что Комиссия признает возможным удовлетворить ходатайство жалобщицы об изменении мер пресечения, принятых по отношению к ее мужу ввиду его болезненного состояния. Газета сообщала, что гр. Фредерикс освобождается из-под стражи под залог в 50 т. руб. Этот залог женою на другой день был внесен, но старый граф продолжал оставаться под стражей. Оставался он под арестом и после жалобы министру юстиции. И только 24 сентября Фредерикс был освобожден под внесенный залог<sup>148</sup>.

Объяснить и понять перипетии злоклучений старого министра Двора невозможно. И невольно еще раз хочется поставить вопрос: что в действительности затягивало работу Чр. Сл. Ком. – “историческое” расследование или “криминализация” преступлений, т.е. сторона общественная или судейская? Общественная сторона не требовала ни арестов, ни содержания в Петропавловской крепости, ни юридического “крючкотворства”, ни многомесячного заключения в тюрьмах. Со стороны общественной совершенно было безразлично, что читал бы в своем каземате привлекаемый к уголовной ответственности министр старого режима Щегловитов.

Между тем по предложению министра юстиции в июле Президиум Чр. Сл. Ком. рассматривал ходатайство Щегловитова о разрешении ему читать специальные юридические журналы и известный московский орган “Вопросы Философии и Психологии”. Препятствий не нашлось – и то хорошо.

## 5. Дело об “измене”

Я сознательно поставил при рассмотрении работы Чрез. След. Комиссии на последнее место вопрос, наиболее тесно соприкасающийся с основной темой, которой посвящена моя книга. Мне казалось, что дело царской четы яснее выявится на общем фоне деятельности Комиссии. В сущности, это “дело”, как мы знаем из показаний самого первого министра юстиции Временного Правительства, должно было сводиться только к выяснению деятельности имп. Николая II и имп. Алекс. Федор, со стороны заключающегося в ней криминала, устанавливаемого статьей 108 Уг. Улож. Постановка была, очевидно, туманна и неясна, как это достаточно отчетливо видно из воспоминаний тов. председателя Комиссии Завадского. Он пишет: “Мне тогда же говорили со ссылкой на Н.П. Карабчевского, что А.Ф. Керенский думал о предании суду даже отрекшегося Императора<sup>149</sup>. От Керенского я этого ни разу не слышал, но в нашей Комиссии Н.К. Муравьев бродил вокруг да около этого вопроса, не поднимая, а, так сказать, шевеля его по разным поводам”.

Одним из поводов для шевеления были упоминавшиеся “бланковые указы” председателя Совета Министров о роспуске Гос. Думы – вопрос, возникший при допросе кн. Голицына 21 апреля. Муравьев, по словам Завадского, считал, что Царь не имел права “отчуждать таким образом в другие руки свою верховную власть”. Завадский возражал и указывал, что вопрос этот лишен значения, ибо по русским законам Царь “суду за свои действия во всяком случае не подлежит”<sup>150</sup>. “Вопрос был брошен, но не оставлен”, – заключает мемуарист. Действительно, он вновь всплыл при повторном допросе Штюрмера

---

<sup>148</sup> В книге своей “Золотой немецкий ключ к большевистской революции” я неосновательно предположил, что в газетном сообщении о сумме залога вкралась опечатка.

<sup>149</sup> Ссылка на Карабчевского по откликам 17 г. как бы подтверждает правильность сообщенного Карабчевским в воспоминаниях.

<sup>150</sup> Можно отметить, что пункт о неответственности Императора, как видно из бумаг Витте, был внесен в конституцию 1906 г. по инициативе представителей прогрессивных русских кругов – членов партии к. д., ведших в свое время переговоры с премьером.

14 июля. Под влиянием ли предшествовавших споров или в целях разъяснения председатель совершенно определенно уточнил вопрос, указывая, что “беззаконие” в том, что председатель Совета Министров позволил себе брать эти бланки: “Царю принадлежало право роспуска законодательных учреждений, а Царь предоставил это право вам. Он безответствен по действовавшему закону, а вы ответственны”. Очевидно, Муравьев не очень настаивал на первой своей концепции о личной ответственности Царя, так как преемник Керенского на посту министра юстиции Переверзев, наблюдая ex officio за деятельностью Чрез. Сл. Комиссии, в показаниях Соколову весьма категорически засвидетельствовал, что председатель Комиссии делал ему несколько раз доклад о “вине” Царя и находил его виновным единственно в том, что он по докладам Щегловитова иногда прекращал разные дела, на что он не имел права даже по той конституции, которая существовала в России до революции, так как это право не принадлежит монарху даже самодержавному, имеющему право лишь помилования, но не прекращения дела<sup>151</sup>.

“Большой вины, – говорил Переверзев, – не было обнаружено и в его виновности в “измене” России в смысле готовности заключить сепаратный мир с Германией ни разу не было речи”. Слово “измена” Переверзев заключал в кавычки. Боюсь утверждать, что этим б. министр юстиции хотел подчеркнуть невозможность соединять понятие “измены” с идеей сепаратного мира – соединение, которое слишком часто и слишком много делали политические деятели, претендовавшие на безошибочное определение национальных интересов страны только в соответствии со своей догмой. Сепаратный мир и измена не могут быть синонимами. Из политического лексикона следовало бы совершенно исключить подлое слово “измена”, препятствующее объективной оценке отношения современников к войне. Умиравший Витте не был, конечно, одинок в среде правящей бюрократии, когда говорил о необходимости ликвидировать “нелепую авантюру”<sup>152</sup>. Набоков (дипломат) вспоминает, как член Гос. Совета бар. Розен, бывший посол в Вашингтоне, в Лондоне в 1917 г. с “горячей убежденностью” доказывал ему, что “Германии победить нельзя”, что “мечта о Константинополе – мираж”, что союз России с Англией и Францией “фатальная ошибка” и что “Америка права, воздерживаясь от участия в бессмысленной бойне, которая ни к чему, кроме крушения Европы, привести не может”. Это был человек, в котором Набоков “ценил и уважал... живость ума, огромный опыт и убежденность”. Но однако, все подобные оценки, реалистичные в своей основе, могли быть глубоко ошибочны и наивно непредусмотрительны. Маклаков (депутат) с тем же искренним упорством говорил с кафедры Гос. Думы 3 ноября 16 г., что русский народ никогда не простит мира позорного – мира вничью. Маклаков вместе с тем был убежден, что будущий мир “делает такую Европу, что война будет невозможна (речь в городской думе 3 мая 16 года на чествовании

---

<sup>151</sup> Принципиальное признание “недопустимости прекращения уголовных дел “верховой властью до суда” не остановило само Врем. Прав. нарушить этот принцип на первых же шагах своей деятельности. 4 марта министр юстиции отдал распоряжение о прекращении дела об убийстве Распутина. Завадский считает, что убийство Распутина подходило под политическую амнистию. (По утверждению Маклакова, член Гос. Думы Керенский высказывался в свое время крайне отрицательно об убийстве 17 декабря 16 г. и отказывался видеть в этом факте сторону политическую.) Допустим, но дело было прекращено до издания общего акта об амнистии 6 марта. Мера министра юстиции была демагогическая, явно ошибочная и с точки зрения агитационной, так как очевидно, что при настроениях первых мартовских дней публичное рассмотрение дела об убийстве Распутина явилось бы только демонстрацией маразма старого режима – даже со стороны отвратительной внешней обстановки, в которой было совершено возмездие.

<sup>152</sup> Палеолог со слов японского посла виконта Монтано записал 3 ноября 10 г. такую версию. В декабре 14 г. Витте посетил посла и предупреждал об опасности посылки японских войск на континент. Витте будто бы говорил о неизбежности победы Германии и “гибели царизма”. Логически такую концепцию должны были, естественно, развивать крайне правые “германофильские” круги, для которых самый союз с демократической Антантой всегда являлся “по существу своему противоестественным союзом” (записки Дурново в феврале 14 г.). В действительности в жизни появилось нечто другое – крайний шовинизм, борьба с немецким засилием сделалась для крайне правых лозунгом дня.

французских делегатов Вивиани и Тома). Очевидно, однако, что в рассуждениях Розена не было признаков того „изменнического“ элемента, который с такой упрощенностью взыскивали во время войны шовинистические чувствования. Если одних ход войны увлекал в сторону настроений Маклакова, то других он должен был толкать к пессимизму Розена. Никакая страна не может идти на самоубийство во имя выполнения принятых на себя союзных обязательств. История последних двадцати пяти лет с чрезвычайной наглядностью подтвердила правильность тезиса, некогда выставленного Бисмарком, – рыцарская жертвенность несовместима с национальными интересами уже в силу того, что международная политика, даже облеченная в форму отвлеченных принципов права и свободы, руководится до днесь в большей степени реалистическими соображениями национального эгоизма. Вовсе не надо быть „марксистом“, прошедшим большевистскую школу, для того, чтобы признать незыблемость подобного утверждения – автократические режимы и режимы демократические мало в чем различаются в этом отношении. Война 1914 г., положившая начало европейской катастрофе, дает бесконечное количество примеров. Подневные записи французского посла Палеолога и дневник министерства ин. дел (составленный, очевидно, начальником канцелярии бар. Шиллингом) непосредственно вводят в ту дипломатическую кухню, где каждодневно делится шкура неубитого еще медведя, где выдают „призы“ за участие в мировом катаклизме, компенсируют территориальными подарками возможных союзников в борьбе (как то было на Балканах) и т.д. Трудно найти более яркую иллюстрацию, чем та, которую представляет собой обращение бельгийского посланника 11 июля 15 г. в русское министерство вн. дел за поддержкой против домогательств Франции присоединить к себе в будущем Люксембург, грубое нарушение нейтралитета которого немцами вызвало в начале войны общественное негодование и сделало маленькую герцогиню с ее символическим протестом даже героиней дня<sup>153</sup>.

В плоскости этих грубых материальных отношений и надлежит рассматривать вопрос о сепаратном мире. Стоял ли он, однако, перед Россией в сознании носителей верховной власти? Если вслушаться в речи оппозиционного режиму дореволюционных политиков (по крайней мере, некоторых из них), то может показаться на первый поверхностный взгляд, что страна действительно находилась на краю пропасти. Такое настроение символически можно представить словами, будто бы сказанными лидером „октябристов“ Гучковым в августе 15 г. – с большим волнением и со слезами на глазах: „Россия погибла. Нет больше надежд“. Так записал Палеолог со слов Брянчанинова, говорившего ему о государственном перевороте, как о последнем шансе спасения... Надо ли еще раз оговорить, что подобный пессимизм, вызванный обостренными чувствами современников и, вероятно, преувеличенный в беседе с французским послом, не соответствовал реальной обстановке. Во всяком случае, он был совершенно чужд Николаю II вплоть до трагических для власти мартовских дней: ему всегда казалось, что в России все благополучно: „единственным исключением, – как выразился он в письме к жене 9 сент. 15 г., – являются Петроград и Москва – две крошечные точки на карте нашего отечества“. При таком настроении не могла в мозгу родиться даже мысль о сепаратном мире – „позорном“ для престижа верховной власти, которой руководит Божественное Провидение. В мистической концепции Ал. Фед., сливавшей национальный интерес с династическим, честь и „прерогативы самодержца“ стояли еще выше: „Это должна быть твоя война, твой мир, слава твоя и нашей страны“, – писала она 17 марта 16 г.

И тем не менее вокруг этих имен сплелась паутина сепаратного мира. Чрез. Сл. Комиссия должна была в ней разобраться: поскольку данные о ее работе опубликованы, можно сказать, что она не сумела этого сделать – может быть, и не могла. За нее произвел

---

<sup>153</sup> Бельгийский посланник сообщал лишь о „слухах“, идущих из влиятельных французских кругов и беспокоивших его правительство, так как они противоречили заявлению президента Пуанкаре, сказавшего „однажды“ бельгийскому послу в Париже, что он признает давнишние права Бельгии на это герцогство, оторванное от нее в 1839 г.

такую работу советский историк Семенников, пользуясь в значительной степени тем “романовским архивом”, который фактически был в распоряжении муравьевской Комиссии. Семенников собрал почти исчерпывающий материал о сепаратном мире в дореволюционное время<sup>154</sup>, но далеко не со всеми его выводами, подчас слишком прямолинейными и узко догматическими, можно согласиться – правильное было бы сказать, что из материалов, собранных Семенниковым и использованных им в документальном отношении в общем добросовестно, следуют выводы противоположные. Рассмотрение этих материалов выводит меня далеко за рамки изложения, так как приходится углубиться в эпоху, предшествовавшую революции. По существу я ничего не могу прибавить к тому, что сказано о “сепаратном мире” в книге “На путях к дворцовому перевороту”, но я должен остановиться хотя бы на суммарном обзоре тех фактов, которые создали легенду. Тем более это необходимо, что член того состава Временного Правительства, при котором рассматривалось царское дело, в своей книге о происхождении революционной России без критики подошел к материалам выводам советского исследователя. Чтобы не перебивать изложения, отношу специальное расследование этого вопроса в особое “приложение”<sup>155</sup>, которое составляет первую часть моей работы. Здесь же я ограничиваюсь рассмотрением вопроса в тех пределах, в которых он проходил в Чрез. Сл. Комиссии.

В опубликованном материале, который воспроизводит допросы в общих заседаниях Комиссии, мы не найдем никаких указаний на производство в Комиссию какого-либо дела об “измене” верховной власти. Прямо это нигде не ставится даже в отношении Императрицы, хотя Керенский, не имея еще никаких доказательств, по собственным словам, предупредил Императора, что возможен процесс против его жены. Дело сосредоточено было в секретном производстве предварительного следствия, которое нам пока неизвестно. Из того немногого, что проскользнуло в печать, нетрудно заключить, что расследование шло отнюдь не по линии выяснения возможности подготовки сепаратного мира – возможности, как было отмечено, отнюдь не связанной обязательно с каким-то специфическим “германофильством” или “изменой”<sup>156</sup>. Исследовалась наличность “измены” в прямом смысле слова. Комиссия изучала вопрос фактически с точки зрения проверок тех бесчисленных сплетен, которыми стоустая общественная молва расцвела военное время, т.е. она не выходила за пределы той “отвратительной и невероятно глупой заразы”, которую резко осудил Шульгин в воспоминаниях. Только мемуарист напрасно источником “сумасшедшей шпиономании”, от которой мугились головы в Гос. Думе, считает фронт<sup>157</sup> – в отношении верховной власти первородство принадлежало, конечно, настроениям тыла – “гнилому петербургскому болоту”, как выражалась в своих интимных письмах Императрица. Стоит проглядеть фронтальной дневник ген. Селивачева, чтобы получить наглядную иллюстрацию. В Комиссии оглашались выдержки из дневника ген. Дубенского, касавшиеся Петербурга. Напр., 23 декабря он записывал: “Драматичность положения в том, что Императрицу определенно винят в глубочайшем потворстве немецким интересам. Все думают, что она желает мира, желает не воевать с Германией. Создает такие партии внутри

---

<sup>154</sup> В книгах “Политика Романовых” и “Крушение монархии”. В эмигрантской литературе материалы и выводы Семенникова изложил Чернов в “Рождении революционной России”, пользуясь, однако, позднейшим сокращенным изданием первой книги Семенникова: “Романовы и германское влияние”.

<sup>155</sup> См. “Легенда о сепаратном мире”.

<sup>156</sup> Это отмечено было довольно справедливо представителем Совета Раб. Деп. в Комиссии прис. пов. Соколовым при допросе б. мин. вн. дел Хвостова о германофильских тенденциях Распутина: “Хвостов: “Этого мне не удалось узнать... Я считаю, что он был несознательным шпионом”. Соколов: “Независимо от шпионства можно отстаивать программу, что надо прекратить войну в интересах России, в интересах династии””.

<sup>157</sup> Шульгин в данном случае говорит о шпиономании относительно евреев.

России, которые определенно помогают Вильгельму воевать с нами. Я лично этому не верю, но все убеждены, что она, зная многое, помогает врагу. Распутин был будто бы определенный наемник немцев...” “Трудно было этому противоречить, и я считал долгом записать, что все говорят”, – пояснил придворный историограф из свистского поезда: “Тогда, вы сами помните, какие были всюду разговоры. Придешь из своего кабинета в семью, к детям, где сидят люди, принадлежащие к обществу, все-таки более, позвольте так сказать, высшему обществу: мой сын – лицеист, окончил, у него была масса лицестов; второй сын... конногвардеец, у него была масса конногвардейцев, и тогда все это говорили. Я мог бы это и не записывать, но я наврал бы в моем дневнике, я не для вас писал, а для себя, я не могу указать, кто говорил, все говорили...” Довольно безвольное и безнадежное занятие устанавливать или опровергать правдоподобие фантастики даже квалифицированных представителей той общественности, которая фигурирует в процитированном дневнике. Можно было бы предположить, что Комиссия, сама не доверяя глупым сплетням и легендам, не считала себя вправе оставить без рассмотрения то, что укоренилось даже в обывательском мире. Такую догадку совершенно разбивает серьезность, с которой производится расследование, внимание, которое уделяется этому вопросу, если не в отношении верховной власти непосредственно, то всего ее окружения и правительственного аппарата. Не подлежит сомнению, что патристический психоз, применяя выражение Щульгина, продолжал “мутить головы”. На руководителя Комиссии это сказалось весьма определенно, хотя Муравьев и принадлежал к тем демократическим группировкам, которые, казалось бы, были далеки в дореволюционное время от настроений, порождавших повышенную чувствительность общественного мнения в отношении легенд об “измене”. Председатель в приведенной выше записи Дубенского справедливо увидел “нечто особое”, заставляющее “внимательно относиться”, но оно было показательным, конечно, только для настроений перед революционной бурей тех слоев общества, которые считались исконной опорой трона. Проверять запись Дубенского не было надобности, ибо сам автор дневника признал в Комиссии все записанные слова и предположения бессмысленными: “Ведь она (А.Ф.) была матерью будущего русского Императора”.

Постановку вопроса в Комиссии (у меня нет основания приписывать всю инициативу только председателю) можно наглядно иллюстрировать историей расследования пресловутой легенды о существовании особого телеграфного провода, по которому Императрица имела возможность сношения из Царскосельского дворца непосредственно с Германией и переговаривать чуть ли не с самим Вильгельмом. Охочие люди усердно распространяли подобную галиматью. Это не была только обывательская болтовня, – некоторые газеты спешили сообщить фантастические сведения, что в бумагах бывшей Императрицы найден “проект” сепаратного мира с Германией. “Насколько я мог понять, – утверждает Завадский, – Муравьев считал правдоподобными все глупые сплетни, которые ходили о том, что Царь готов открыть фронт немцам, а Царица сообщала Вильгельму II о движениях русских войск”.

“Помню: заговорили у нас о датском кабеле, по которому будто бы Императрица сносилась с врагами. Оказалось, что кабель этот в начале войны перерезали сами немцы, а когда мы его исправили, они испортили его вторично, после чего мы его уже так и бросили. Стало и для легковверных ясно, что по перерезанному кабелю ни о чем не переговоришь даже с Вильгельмом, и что немцы не перерезали бы кабеля, если бы до этого он служил им такую верную службу”. Я не знаю, откуда заимствовал Завадский свои сведения о существовании какого-то “датского кабеля”, перерезанного немцами. Им в Комиссии специально интересовался б. прокурор харьковской суд. палаты Смиттен, просивший последнего директора департамента полиции Васильева разъяснить, что “такое за учреждение датский кабель”. Васильев ответил незнанием и объяснил, что с границей деп. полиции сносился “обыкновенным порядком” – шифрованными телеграммами. Добросовестность или недоверчивость Комиссии была, однако, столь велика, что для проверки слухов о существовании в “царских покоях прямого провода в Берлин” следователем Рудневым, по

его словам, “были произведены тщательные осмотры помещений императорской семьи, причем никаких указаний на сношения Императорского Дома с немцами во время войны установлено не было”<sup>158</sup>. В крайне схематическом повествовании Руднева нет указаний на то, когда и как было произведено само обследование “царских покоев”. Удивительно, что такой необычайный факт не вызвал никаких отметок в известных нам дневниках и воспоминаниях находившихся в заключении в Царскосельском Дворце<sup>159</sup>.

Завадский рассказывает еще об одной, скорее анекдотической, попытке изобличить Ал. Фед. в “государственном преступлении”. В одном газетном листке – из тех, что “республиканские убеждения” смешивали с “грубой развязностью”, появился ряд телеграмм за подписью “Алиса”, с зашифрованными местами отправления и назначения, содержанием своим указывающих на измену. Аляповатость подделки бросалась в глаза, но Муравьев так и взвился. Возбуждено было особое предварительное следствие, которое производил... харьковский судебный следователь Г.П. Гирчич. “Следствие”... с первых же шагов выяснило жалкую подкладку появления этих телеграмм...

Сотрудник упомянутой газеты, молодой человек, ухаживавший за барышней, служившей на телеграфе, посулил ей, в поисках за сенсационным материалом, коробку конфет за что-нибудь из ряда вон выходящее; барышня, спустя несколько дней, передала ему пачку телеграмм... Молодой человек с торжеством показывал следователю, как он раздобыл эти драгоценные документы, но барышня на допросе смутилась и созналась в подделке. Да, подделка была установлена с несомненностью и помимо ее сознания: номера телеграмм не отвечали действительным номерам того телеграфного отделения и за тот период времени, которые были выставлены на телеграфных бланках... Тем не менее глава нашей Комиссии еще не успокоился, и его опять было подняла попытка злополучной барышни взять свое сознание назад...

Подобные “попытки”, “вялые и бессознательные”, – оговаривается мемуарист, – оказались “покушением с негодными средствами”. Не надо ли отнести к числу таких “негодных средств” и момент, когда, например, Комиссия интересовалась суждениями Манасевича-Мануйлова об отношении Царя и Царицы к войне – правда, в “передаче Распутина”, с которым был связан этот прожженный авантюрист: “Распутин говорил, что А.Ф. “стоит страшно за продолжение войны”, а вот Царь не надежен и “скорее может уступить”. Председатель так заинтересовался этим мнением, что попросил свидетеля остановиться на затронутом вопросе, и свидетель показывал: “Он (т.е. Распутин) давал вообще такую характеристику Царю, что он врет: “Он тебе перекрестится, будет креститься 10 раз, и соврет. Его слову верить нельзя. Он меня двадцать тысяч раз обманывал. По одному делу, которое мне нужно было, я ему сказал: “Ты, парень, перекрестись”, и он перекрестился. Я ему сказал: “Ведь ты опять соврешь”. Я позвал княжен... и сказал ему: “Вот ты при них перекрестись и он при них перекрестился. И тут действительно исполнил то, что я его просил”<sup>160</sup>. Едва ли стоит даже пояснять<sup>160</sup>, что возможные рассказы другу в интимной

---

<sup>158</sup> Вырубова рассказывает, как по выходе из тюрьмы она узнала, что в тех же целях обыскивали ее “домик” в Царском Селе – поднимали пол и пр.

<sup>159</sup> Пожалуй, в данном случае можно проследить и источник легенды, приукрашенной обывательским домислом. В письменных показаниях Протопопова, служивших ответом на какие-то заданные ему вопросы и поданных 27 июля, т.е. по прошествии более трех месяцев после того, как Комиссия обсуждала вопрос о “датском кабеле”, и для “легковерных”, по словам Завадского, стала ясна вся бессмысленность легенды, – рассказывается нечто, возможно косвенно относившееся к “датскому кабелю”: “Государь вручил мне для разбора прошение, переданное ему его матерью... и полученное ею от датских подданных, служивших в России на телеграфной сети датского общества в Петрограде. Они были удалены вследствие предупреждения, полученного от английского правительства. Они просили о возвращении на службу или возмещении убытков... В просьбе датчанам было отказано, исполнить ее оказалось нельзя”.

<sup>160</sup> Приходится это делать, ибо Керенский, например, уверовал в то, что “Распутин кричал на Царя” (“La



обстановке за бутылкой мадеры о беседах с Царем весьма мало соответствовали обстановке, в которой “старец” появлялся во дворце и которую легко воспроизвести по царской переписке.

Следует отметить, что “вялые и бессмысленные” попытки продолжались до последних допросов Комиссии, которые относятся к августу. 7 августа давал свои показания Милюков. В связи с речью 1 ноября его показания могли быть особо авторитетны, но свидетель был осторожен и разочаровал ожидания. Он говорил больше об общей “атмосфере сочувствия Германии”, касаясь личного влияния А.Ф.: “Были лица, которые приезжали регулярно, говорилось, что эти поездки за лекарствами, вероятно, были личные сношения с родственниками...” “Я узнал фамилии их, – утверждал Милюков. – Я узнал фамилию лица, которое ездило регулярно за границу за лекарствами, но теперь не могу ее вспомнить. Были ходатайства, которые передавались, несомненно случай ходатайства о похоронах влиятельного офицера, убитого здесь, ходатайство немедленно дошло и было немедленно исполнено, благодаря личному воздействию; был ряд маленьких случаев, которые показывают, что была симпатия, сочувствие и непосредственность контакта. Я не делаю вывода, что были политические переговоры, но это вызывало сочувствие, для меня это несомненно...” На вопрос председателя, не помнит ли, по крайней мере, свидетель: “кто ему об этом говорил”, “если он забыл фамилию” (“Нам очень важно, – пояснил председатель, – кто из окружающих их (т.е. Ник. Ал. и Ал.Ф.) в этом принимал участие”), свидетель отвечал: “Я знал раньше, но теперь не помню”, пообещав сказать, если вспомнит. Исполнил ли свое обещание Милюков – мы не знаем. Но думается, что в действительности до лидера думской оппозиция доходили лишь слухи, искажавшие то, что подлинно было: регулярными, таинственными поездками были официальные поездки в Швецию представителей Комитета А.Ф. по попечению о русских военнопленных, например, о прибытии в Стокгольм в октябре 15 г. Маркова, б. офицера Уланского полка, гласного Петербургской Думы и члена Совета Комитета А. Ф., для свидания с Максом Баденским, говорит в воспоминаниях посол в Швеции Неклюдов, или посещение Императрицы, отмечаемое в ее письмах, представителями американского Красного Креста, проезжавшими Германию (таким был представитель Рокфеллеровской организации Харт, прибывший в Петербург в марте 16 г. с рекомендацией Неклюдова).

Отнюдь не “вяло и бессмысленно”, но, напротив, с большой настойчивостью Комиссия стремилась установить “германофильство” при императорском Дворе – определенно в качестве доказательства тезы о шпионстве. Богатую пищу давали попавшие в руки Комиссии наивные записи из дневника злосчастного историографа императорского поезда, характеризовавшего себя, как одного “из страшных противников немцев”. Автор был человеком довольно примитивного склада ума. Ненавидел он немцев, вернее “разных баронов с немецкими фамилиями”, потому что “они теснили их, русских, не давали хода”<sup>161</sup>. Но председатель все же втуне пытался направить показания ген. Дубенского в сторону признания, что дело идет “не просто о людях с немецкими фамилиями”, а о соединении русских немцев в “нечто единое” – о “сильнейшей немецкой партии” (этот термин Дубенский употреблял в дневнике), которая имела оплот при Дворе в лице Фредерикса и Воейкова. “Хотелось бы, – говорил председатель, – чтобы вы совершенно откровенно, прямо, ввиду важности задач Комиссии, которая должна выяснить истину... ради интересов государства сказали все, что вам известно...” Дубенский: “Я могу сказать, что они всегда поддерживали друг друга, у них был тесный комплот. Они приходили в министерство Двора,

---

verit&#233;”).

<sup>161</sup> Дубенский не был одинок в своей “враждебности к немцам” при Дворе – исконная тема эмигрантской публицистики герценовских времен! Палеолог рассказывает о церемониймейстере Е., который забавлял посла своим крайним национализмом и при официальных даже свиданиях говорил, что “исконно-русские” свернут голову после войны “балтийским баронам”.

получали придворные чины, все они поклонники большой немецкой культуры. Они нас, русских, в известной степени презирали, но убежден, что ни один офицер конной гвардии, носящий немецкую фамилию, не изменит, хотя вы его четвертуйте. Точно так же не могу себе представить, чтобы Фредерикс мог изменить России. Он приносит, может быть, большой вред тем, что вместо того, чтобы на том же месте сидел Петров, Кочубей, сидел Фредерикс. Что он немец по происхождению, это так, но сказать про него, что он сознательный предатель, этого не могу. Если бы сидел русский человек, если бы это Воронцов был, он бы на наших с вами клавишах глубже играл бы. А этот старый 78 летний человек – сколько раз я приходил к нему с негодованием, сидит кукла...” *Пред.*: Укажите реальные признаки некоторой организованности, некоторой сплоченности, дайте показания, которые бы позволили нащупать партии. *Дуб.*: Я долгом совести счел бы доложить несколько реальных фактов, но у меня нет ничего, кроме подозрения и неприятных чувств к немцам. Подробно о “немецкой партии”, группировавшейся вокруг Вырубовой, Комиссия допрашивала и ген. Иванова – тот с прямоотой определил ее несколькими “жидовскими фамилиями” во главе с банкирами Рубинштейном и Манусом. Изыскание корней германофильства интересовало Комиссию не с точки зрения “немецкого засилия” в культурной и экономической жизни страны, как о том говорили националисты правых кругов<sup>162</sup>, интересовали не с точки зрения оценки роли “балтийских баронов” в придворной жизни и выяснения причины, почему “мальчишка Штакельберг” в придворном ранге был выше ген. Дубенского, – Комиссия изыскивала эти корни для обличения того “злостного германофильства” во время войны, которое приводило к сознательному попустительству врагу, вплоть до шпионажа. Подобные обвинения применительно к установившейся легенде метили, в конце концов, непосредственно в царицу-немку. В этом отношении удивительно характерен допрос последнего военного министра ген. Беляева, считавшегося креатурой Ал. Фед. В роли инициатора здесь выступал не председатель Комиссии, а член ее ген. Апушкин. Я остановлюсь только на одном вопросе, совершенно второстепенном в цикле задач, поставленных перед Комиссией, между тем ему было уделено немало места при допросе бывшего военного министра. Его довольно не прозрачно обвиняли в попустительстве под воздействием Императрицы в отношении немецких военнопленных и излишнем неестественном покровительстве немецким сестрам милосердия, прибывшим в Россию и якобы занимавшимся шпионажем. Военного министра, подчиненного “главе государства” – Императору, а не Императрице, обвиняли, прежде всего, в том, что он допустил вмешательство Императрицы, состоявшей председательницей Комитета по попечению о русских военнопленных в Германии, в дела военного ведомства.

Оставим в стороне формальную сторону – она правда малоинтересна; согласимся, что секретарь Ал. Фед., гр. Ростовцев, действительно не имел права передавать военному министру официальную бумагу, в которой значилось, что Императрица “повелела” гр. Ростовцеву “просить... не отказать в распоряжении” и т.д.; допустим, что военное ведомство вслед за тем еще более неудачно “по приказанию Государыни Императрицы А. Ф.” обращало внимание на зависимость положения русских военнопленных в Германии от отношения к немецким военнопленным в России. По существу военный министр логично разъяснил Комиссии, что каждое мероприятие, которое принималось в отношении пленных в России, “естественно вселяло надежду, что оно сказывается на положении наших пленных в Германии и Австро-Венгрии”. Крайняя тенденциозность допроса выступает тогда, когда допрашивавшие пытались доказать, что военное ведомство как бы замалчивало “немецкие зверства”, – воспрещалось, напр., “делать публичные сообщения тем, которые пережили немецкие зверства”. “Я первый раз от вас слышу об этом, – возразил Беляев, – мне известен другой факт... у нас установлен был обмен инвалидов. Так вот, по поводу этого обмена Ставка писала нам, что желательно командировать в войска вернувшихся инвалидов с тем,

---

<sup>162</sup> Показания Хвостова (см. “Легенда о сепаратном мире”).

чтобы они живым словом непосредственно перед своими товарищами раскрыли бы ужасы германского плена... Я лично не знаю, чтобы кому-нибудь запрещалось читать лекции относительно ужасов германского плена. Напротив, распространялись брошюры – есть, например, брошюра штаба Главнокомандующего, присланная нам для рассылки во внутренние округа, нам подведомственные”<sup>163</sup>. Беляев приводил характерное письмо ген. Алексеева, в котором он признавал “всякое широкое ознакомление публики с предпринимаемыми у вас мероприятиями по облегчению положения наших военнопленных нежелательным, ибо оно приводит к тому, что у нижних чинов постепенно слагается точка зрения: значит, о пленных заботятся и нечего бояться сдаваться в плен”. “Это письмо, – утверждал б. военный министр, – несколько раз обсуждалось в Совете Министров. Ген. Алексеев просил не печатать отчет Комитета Имп. А. Ф. относительно сбора пожертвований. Между тем Императрица желала, чтобы отчет печатался”<sup>164</sup>. Историк приходится быть только комментатором и отметить, что в общественном сознании того времени было уделено скорее слишком много места и внимания “немецким зверствам”.

Столь же поверхностны были и обвинения в излишнем покровительстве со стороны военного ведомства немецким сестрам милосердия. Сыр-бор в Комиссии загорелся в связи с рассмотрением предложения ген. Беляева, вызванного обращением гр. Ростовцева “не производить на ст. Торнео таможенного досмотра” возвращавшихся в Германию по окончании своей миссии немецких сестер милосердия. Беляев признавал “подобный досмотр недопустимым” и сказал исп. обязанности нач. ген., штаба ген. Зенкевичу, что “эти безобразия нужно прекратить”. Между тем имелись сведения, что немецкие сестры вступали в Петербурге в “тайные сношения с известными лицами” и что в отношении их имеются “подозрения в собирании таких сведений, которые могут вредить... государственной обороне”. Беляев пояснил, что приезд немецких сестер, равно как и соответствующая поездка русских сестер, произошли по взаимному соглашению, по которому таможенные осмотры были взаимно исключены. Каждая партия состояла из сестер милосердия, датского уполномоченного и русского офицера, который “неотступно” должен был находиться при опекаемых им сестрах милосердия. Сведения, которыми располагала Комиссия, относились или к обычным сплетням (“так говорили” – термин, нередко употребляемый допрашивающими), или к данным контрразведки, весьма часто не отличавшимся от ходячих слухов<sup>165</sup>. “Мне лично, – заявил Беляев, – известно только два случая, которые свидетельствуют о некорректном отношении сестер милосердия. Во всяком случае, к ним относились с известной осмотрительностью, потому что они все-таки немки, затем война и, конечно, склонны были подозревать в них шпионские наклонности...” “Германская шпионская сеть, – пояснил в дальнейшем допрашиваемый, – так умно и расчетливо раскинута, что она достигает чрезвычайных целей, и поэтому для них этот шпионаж сестер милосердия есть номер тысячный какой-нибудь сравнительно со средствами, которыми они располагают. Я вынес такое впечатление, что дело контрразведки и борьбы со шпионажем у нас поставлено совершенно неумно. Нам не удалось раскрыть ни одной серьезной немецкой организации. Много мне пришлось портить крови... по этому поводу”. Совершенно

---

<sup>163</sup> Беляев мог бы сослаться на бесчисленную литературу, порожденную обостренным шовинизмом войны, – официальную и неофициальную, на разные “Черные книги” о зверствах “немецких варваров” и т.д., издаваемую и комиссией сен. Кривцова, и Скобелевским Комитетом, и Alliance Francaize.

<sup>164</sup> Педагогическая мера воздействия, отстаиваемая Алексеевым, в жизни выливалась в уродливую форму задержки пищевых посылок, направляемых в Германию для русских пленных, – и они там голодали.

<sup>165</sup> Характеристику петербургской контрразведки см. в “Золотом немецком ключе к большевистской революции...”

очевидно, что удар Комиссии, направленный против ген. Беляева<sup>166</sup>, метил выше и имел целью изобличить главным образом германофильство Императрицы, как это было и в момент создания легенд. “У мама, – записывал в. кн. Андрей 11 сентября 15 г., – был недавно гр. Пален (б. министр юстиции). Он передавал о возмутительных преследованиях, которым подверглись “бароны” в балтийских губерниях. Он уверен, что главная цель этих преследований направлена против Алекс.

Преследуя немецкий дух, метят выше. Удивительно, как непопулярна бедная Аликс. Можно безусловно утверждать, что она решительно ничего не сделала, чтобы дать повод заподозрить ее в симпатии к немцам, но вот стараются утверждать, что она им симпатизирует”. Но в данном случае объективно симпатия каждого, кто не был заражен психозом своего рода зоологического национализма, должны были склоняться к позиции Ал. Фед. Переписка ее с мужем отчетливо вскрывает сложность той бытовой психологической обстановки, в какую она невольно попадала. Мы видим, как волновали ее все эти вопросы, но Комиссия, которая создавала обвинительные акты, мало интересовалась выяснением обстановки. Указывая на необходимость содержать пленных хорошо, А. Ф. пишет 5 сентября 15 г.: “...не следует быть жестокими, что не благородно, и надо, чтобы после войны хорошо об нас отзывались. Мы должны доказать им, что стоим выше их “культуры”... Это не вредит войне и не означает мира...” 7 сентября: “Я жажду, чтобы про нас говорили, что мы всегда благородно поступали”. В начале войны А. Ф. называет “возмутительным” факт, ей сообщенный, что три военных госпиталя с пленными в ожидании посещения первопрестольной Царем в “ужасных условиях” были отправлены в Казань. Еще более возмутительным должен был бы показаться ей дикий эпизод, имевший в это время место в той же Москве: в одном военном госпитале, который должен был посетить Царь, больные пленные просто были замуравлены наспех возведенной известковой стенкой. А. Ф. хлопочет о разрешении причастия военнопленным католикам, не представляя себе, что местные помпадуры придут в негодование, когда Волконский, по собственной инициативе, организует у себя в поместье в Тамбовской губ. для пленных обедню; она не знала, что в Сибири местные военнопленные были вынуждены есть “собачье мясо”, и т.д. и т.д.

Но вот приезжает первая партия немецких сестер милосердия. А.Ф. не знает, как поступить – может ли она принять их: “Если меня спросят, что мне отвечать? Всякая любезность, им оказанная, заставит их быть добрее с нашими, и они никогда не смогут понять, если я отклоню их просьбу и не приму их. Здесь же, несомненно, будут возмущены мною, хоть, мне кажется, что с сестрами Красного Креста совсем другое дело. Что ты об этой думаешь... По-моему, я могу – ведь это женщины, и я знаю, что Эрни или Онор<sup>167</sup> примут наших – также, вероятно, и великая герцогиня Баденская...” При свидании с вел. кн. Марией Павловной Императрица “горько жаловалась”, записывает в дневник Андрей Вл. 6 сентября, на то, что все, что бы она ни делала, все критикуется: “Приехали, теперь из Германии сестры милосердия, для пользы дела мне следовало бы их принять, но я этого не могу сделать, так как это снова будет истолковано против меня”. “Ты спрашиваешь моего совета насчет приема 3 х германских сестер, – отвечал Царь, – я думаю, конечно, да, особенно если мама принимает их. Такие вещи здесь кажутся гораздо более простыми и ясными”. А. Ф. в сентябре не приняла сестер милосердия, потому что их не приняла Мария Федоровна. Прием

---

<sup>166</sup> Допрос Беляева, “чрезвычайно слабого человека”, который всегда уступает, по характеристике А.Ф., производит тяжелое впечатление. Это какой-то клубок казуистических придинок. “Из тысячи берут отдельный факт и меня шельмуют”, – нервно заявляет б. военный министр при допросе 19 апреля. Беляев “плачет”, – отмечает стенограмма и регистрирует реплику председателя: “Генерал, будем относиться к этому серьезно”. “Извините, что я разнервничался... Вы должны разбирать деяния преступных лиц... Преступления я не совершил. Я даю честное, благородное слово, вы не можете назвать ни одной вещи, которая подходит под категорию преступления”.

<sup>167</sup> Великий герцог и герцогиня Гессенские.

состоялся в конце ноября<sup>168</sup>. С какой неестественной и раздражающей осторожностью приходилось действовать А. Ф., показывает следующая отметка из письма 29 ноября: “М-м Оржевская (попечительница Житомирской общины сестер милосердия) хочет предложить твоей маме послать ее осмотреть здешних военнопленных. Я нахожу это прекрасным, потому что есть вещи, в которые надо входить. Наше правительство отпускает достаточно денег на пищу, но, кажется, она не получается как следует – бесчестные люди задерживают. Я рада, что у ней и у меня была та же мысль – и не имею права вмешиваться, а она может давать советы”. Наряду с этим А. Ф. негодует на тенденциозность сообщений немецкой прессы: “Прочла вырезку, присланную Маврой (в. кн. Елиз. Мавр.), – пишет от 15 сент. 16 г., – пишет об еде для германцев и австрийцев, принужденных работать на нас, написано сенсационно и, мне кажется, очень лживо”.

Итог в смысле криминала, устанавливаемого Сл. Комиссией, был подведен еще во всеподданнейшем докладе Штюрмера 1 августа 16 г. (Штюрмер составлял сам краткие формулировки своих докладов Царю): “Доложено о причинах отказа германским и австрийским сестрам милосердия о проезде в Сибирь: неуверенность в зорком наблюдении за ними со стороны сопровождающих их представителей Красного Креста, найденные в их вещах при осмотре в таможене брошюры, восхваляющие германские мероприятия во время войны. Б. И. В. изволил указать, что не следует пускать германских сестер, но для австрийских можно сделать исключение...”

Так элементарно и подчас аляповато протекала вся работа по расследованию Комиссией того гнезда “измены”, которое свила в верхах “немецкая карта”. “Что вам известно... самому или через членов Думы об указаниях на изменническую деятельность кого-нибудь из Совета Министров или их окружающих?” – напрямик задает вопрос председатель Комиссии Родзянко. “Абсолютно ничего, – ответил последний. – Я очень рад, что до меня не доводились даже слухи. Про Сухомлинова говорили, но у меня подлинных документов и данных не было”. *Пр.: А о Штюрмере? Род.: Ничего. Пр.: А о Протопопове? Род.: О Протопопове – это история с Варбургом, но она кончилась довольно неприлично, так как оказалось, что В. – есть подставное лицо и даже, что он ничего общего с германским правительством не имел. Я бы ничего не скрыл, но даже слухов об измене не было. Говорили, что Шт. получает какие-то деньги из заграницы, но это ничего не доказывает...”*

Допрос Родзянко происходил 4 сентября. Перед Комиссией прошел ряд лиц, прямо или косвенно выяснявших вопрос об “измене”. Белецкий, откровенные показания которого удовлетворили Комиссию, получил особое задание “ради интересов родины, ради интересов истины” отметить “малейшие проникновения шпионажа и измены” в “верхах правительства”. “Чудодей” кн. Андронников, о котором нач. штаба в. кн. Н.Н. Янушкевич выражал сожаление, что он не вздернут на веревку вместе с Мясоедовым, также должен был выяснять следы “соприкосновения со шпионажем”, с “немецкой организацией” тех лиц, с которыми он встречался<sup>169</sup>. “Никакого не было подозрения” – только и мог ответить, конечно, кандидат на виселицу. Для Комиссии или ее председателя Штюрмер – изменник,

---

<sup>168</sup> Между прочим, сестры просили “отпустить из Сибири в Германию стариков и детей, которых наши перевезли из Восточной Пруссии, когда были наши войска”. “Скажи мне, – писала А. Ф. 28 ноября, – могу ли я об этом просить? (Дело идет о Беляеве и Хвостове.) Конечно, только совсем старых людей и крохотных детей”. “Я распорядился, чтобы их отправили в Германию” – сообщил немедленно Царь. Между тем история с этими выселенцами из Восточной Пруссии такова. Кудашев сообщил 30 октября 14 г. Сазонову о “необычайном образе действий”, придуманном в Ставке перед наступлением: “Всем мужчинам в рабочем возрасте будет приказано выселиться немедленно в глубь страны. Старики же, женщины и дети будут оставаться на местах под защитой наших войск. Этой мерой надеются обеспечить себя от подстрелов и пр. неприятных действий франс-тигеи’ов, а главное, произвести соответствующее впечатление (панику) на население впереди путей нашего наступления”. На практике в Сибирь попали и старики, и дети...

<sup>169</sup> Облик этого великосветского авантюриста обрисован мною в книге “Легенда о сеп. мире”.

как то доказала речь Милюкова 1 ноября. Протопопов “укрывал” изменников, воспрещая печатать что-либо о Штюмере, в то время как измена подлежала изъятию в интересах родины. “Кто этому верил, что он изменник, кто это знал?” – спрашивал на допросе Протопопов. “Этому верила страна, но не верили министры”, – отвечал председатель. *Пр.*: “Я Штюмера за изменника не считал, и мне это в голову не приходило”. Прочитанное место относится к допросу 21 июня. Через месяц Протопопов подал письменное добавление, в котором готов был заподозрить всех, окружающих его, в шпионаже. “Теперь у меня является мысль, – писал Протопопов по поводу некоего Виткупа, „богатого человека“, у которого иногда обедал Распутин, – не причастен ли Виткуп к шпионажу. Прежде я этого, конечно, не думал и оснований утверждать что-либо подобное не имею. Мысль эта явилась у меня под влиянием узанного уже в крепости. Мне тоже приходит в голову – не изменник ли Симанович, и не был ли таковым Распутин? Подозреваю А.Н. Хвостова, Татищева, кн. Тарханову, Мануйлова, Мануса, Штюмера; прежде этого не подозревал, а теперь невольно думается. Подозреваю фрейлину Никитину, кн. Андронникова... полковника Розанова (т.е. следователя в контрразведке), хотя положительных тому оснований не имею, также думается... и Софья Лунц, не видалась ли она в Копенгагене с Перреном<sup>170</sup> или кем другим причастным к шпионажу, хотя и это есть лишь предположение, здесь пришедшее мне на мысль”. Продиктовано ли было такое показание, почти граничащее с издевательством над шпиономанией Комиссии, расстроеным воображением действительно неуравновешенного человека, или сознательным подлаживанием под настроения допрашивавших, причем сам допрашиваемый притворно принимал личину, которая подтверждала его психическую ненормальность? 171

В такой обстановке, естественно, дело Сухомлинова, “изменническая” деятельность которого в Комиссии не возбуждала сомнения, хотя со следствием она не была знакома, становилось какой-то лакмусовой бумагой для выяснения вообще изменнических тенденций министров и их вдохновителей. Штюмеру было поставлено “конкретное обвинение” в попытке “затушить” дело Сухомлинова. Не будем обследовать сложной эпопеи подготовки сухомлиновского процесса при старом режиме и всех посторонних влияний, так или иначе связанных с процессом. В сущности, никакой защиты Сухомлинова не было со стороны тех, кто при Дворе был озабочен судьбою опального военного министра и кто не верил в его “измену”. Позиция этих защитников Сухомлинова как нельзя лучше определяется докладной запиской начальника канцелярии Министерства Двора Мосолова, рассмотренной Фредериксом совместно с Штюмером 21 января 16 года и переданной на усмотрение министра юстиции. “Ожидание решения по делу Сухомлинова во всех слоях общества и населения волнует умы” – констатировала записка. “Общий голос народный высказывается за то, чтобы его судили по всей строгости закона... народные массы требуют суда, ища виновника временных неудач на войне, приписывая их исключительно недостаточности снабжения армии оружием и боевыми припасами. Он является для толпы виновником гибели массы солдатских жизней, требующей возмездия. Из политических партий благомыслящие монархисты желают суда для справедливого наказания за совершенные преступления, если

---

<sup>170</sup> Анекдотическая история с хиромантом Перреном, очень интересовавшим Комиссию, рассказана там же.

<sup>171</sup> Хорошо еще, что члены Комиссии не имели возможности познакомиться с дневником секретаря французского посольства в Петербурге гр. Шамбрэна, который впоследствии был им опубликован под видом писем к своей невесте в Париж. Из этих записей они узнали бы, что в Петропавловской крепости, находившейся в ведении военного министерства, немецкие шпионы (вспомним, их там было 300 человек!) пользовались исключительным покровительством – получали даже свежие номера германских газет и проводили в камерах время за русским самоварным чаепитием... Все это гр. Шамбрэн узнал 4 марта от освободившегося в дни революции заключенного в одном из рavelинов “русской Бастилии”, некоего Шубина-Поздеева. В эту отсебятину сотрудник эмигрантских “Посл. Нов.” уверовал. Еще бы! – ведь Петропавловская крепость была в ведении ген. Никитина, дочь которого была яркой поклонницей знаменитого “старца”. Мы видели, что в другом случае аналогичное легковерие проявили и члены следственной Комиссии.

таковые будут доказаны беспристрастным судом. Эти элементы сравнительно малочисленны, но другая часть политических партий, именно та, которая особенно энергично агитирует в народных массах, это антимонархические элементы, которые хотят взвинтить суд над Сухомлиновым во всесветный скандал, дискредитирующий правительство и могущий нанести сильный удар монархическому принципу. Вопрос о предании суду Сухомлинова по закону подлежит рассмотрению департамента Государственного Совета. При утверждении Государем Императором решения департамента Сухомлинов подлежит преданию верховному суду.

Этот вполне законный порядок казался бы наиболее соответствующим... но раньше, чем на него решиться, следует принять во внимание последствия, вызванные преданием Сухомлинова верховному суду, а именно: 1. Дело затянется на месяцы. 2. Сухомлинов...притянет к делу массу лиц и неминуемо дискредитирует правительство... что неминуемо не только в Думе, но и в народе нанесет чувствительный удар правительственной власти, не говоря уже о впечатлении... на наших союзников. 3. За тайну производства верховного суда ручаться нельзя... когда суждение даже в Совете министров на следующий же день комментируется уже в клубах и биржевых кругах. 4. Следствием... может явиться и огласка военных тайн. 5. Суд над Сухомлиновым неминуемо разрастется в суд над правительством. 6. ...Допустимо ли признать гласно измену военного министра... Казалось бы, что по изложенным причинам верховный суд над Сухомлиновым недопустим. Непредание С. суду тоже немислимо... Если было бы возможно передать дело о нем в военно-полевой суд, то этим сократилось бы время, возможно бы до минимума уменьшить огласку происходящего на суде... и весь этот суд остался бы в размерах личных поступков и преступлений Сухомлинова... Если бы предание военному суду оказалось невозможным, то, казалось бы, общественное мнение могло бы быть вполне удовлетворенным, если вопрос о предании суду будет теперь же решен в положительном смысле, но самый суд будет отложен до окончания войны. Теперь же для удовлетворения того же общественного мнения, не ожидая предстоящего суда, если данные Следственной Комиссии в достаточной мере доказывают виновность Сухомлинова, то представлялось бы необходимым испросить высочайшего указания о лишении Сухомлинова звания ген. адъютанта и заключения его до суда в крепость или же разжалования его в солдаты с отправлением его на Персидский фронт – последнее, конечно, лишь в том случае, ели Его Величество не признает в деяниях Сухомлинова измены. Во всяком случае, напряженность ожидания решения вопроса о Сухомлинове теперь так велика, что для правильного течения дел государственных необходимо возможно безотлагательно принять то или иное решение”.

Трудно назвать приведенную докладную записку “защитой” Сухомлинова и, во всяком случае, относительное затушевание дела приписать пособничеству в “измене”. В наивных, быть может, иногда соображениях Мосолова многое должно быть признано правильным, независимо от оценки специфических интересов “престола”. Общественная оппозиция того времени в какой-то слепоте не отдавала себе отчета в тех роковых последствиях, которые должно было иметь обвинение военного министра в измене, – в них был один из источников трагедии фронта в дни революции. Фактически никаких реальных шагов в соответствии с запиской Мосолова не было сделано, а министр юстиции, приложивший свою руку к возбуждению преследования против Сухомлинова<sup>172</sup>, считал, что вопрос об изъятии дела

---

<sup>172</sup> Это был А.А. Хвостов. Он показывал в Комиссии: “Следствие по делу Сухомлинова шло... под моим руководством, и принятая мера пресечения – содержать под стражей и заключение в крепости – исходили также от меня. Принята эта мера была не столько в видах безопасности, сколько в видах соблюдения достоинства судебной власти. Преступление было также тяжелое, и улики были настолько сильны, что мера пресечения – содержание под стражей – была несомненно необходима”. Тут же, однако, Хвостов, в противоречие со сказанным, говорил: “Сухомлинов находился в нравственной зависимости от жены, и можно было всегда опасаться, что она поможет ему принять меры к побегу(!). Если бы такой побег случился, никто бы не поверил, что правительство об этом не знало”. Отношение Штюрмера, – добавлял свидетель, – “было, как и всегда на словах, согласно с моим отчасти, пожалуй, потому, что я несколько напугал его возможностью побега”.

Сухомлинова из ведения гражданской юстиции и передача его военно-полевому суду был поднят не для того, чтобы “этим путем вывести исследования за пределы гласного рассмотрения и этим закончить дело”, а для того, чтобы подвергнуть Сухомлинова смертной казни. “Мне это говорили те, которые были наиболее возмущены и которые находили, что для него мало гражданского суда”, – показывал Хвостов в Комиссии.

Ал. Фед. не возражала против передачи суду Сухомлинова и через две недели после обсуждения записки Мосолова писала (4 марта): “Эта война перевернула все вверх дном и взбудоражила всех. Я узнала из газет, что ты приказал отдать Сухом. под суд; это правильно – вели снять с него аксельбанты. Говорят, что обнаружили скверные вещи, что он брал взятки, это, вероятно, его вина – это очень грустно! Дорогой мой, как не везет! Нет настоящих “джентльменов” – вот в чем беда, ни у кого нет приличного воспитания, внутреннего развития и принципов, на которые можно было бы положиться... Горько разочаровываться в русском народе – такой он отсталый; мы столько знаем, а когда приходится выбирать министров, нет ни одного человека, годного на такой пост. Не забудь про Поливанова”.

Гораздо больше А. Ф. была обеспокоена сообщением об аресте Сухомлинова, о чем Царь сообщил жене в письме от 30 октября: “Заточение бедного С. очень меня волнует. Хвостов (юстиция) меня предупредил, что это, вероятно, должно случиться по приказанию того сенатора, в чьих руках это дело. Я ему заявил, что, по-моему, это несправедливо и ненужно; он ответил мне, что это произведено, чтобы воспрепятствовать бегству С. из России, и что кем-то уже распространяются слухи об этом с целью возбудить общественное мнение. Во всяком случае, это отвратительно”. По словам Хвостова, Императрица была встревожена больше всего тем, что Сухомлинов заключен в крепость: “Я был у Императрицы больше часу; Императрица говорила: “Ну, если бы в тюрьму, а то в крепость, там, где постоянно заключались враги Царя”. Я докладывал Императрице, что она ошибается, что иногда крепость служила местом заключения для лиц других преступных категорий, и что, кроме того, содержание старика в крепости для него гораздо легче, чем содержание под стражей. Мне указывалось на полное неверие самого обвинения... Когда я старался разъяснить неверное предположение о правдивости Сухомлинова, Государыня даже схватилась за голову и сказала: “Боже мой, Боже мой, кто бы мог это подумать!” Говорила, не ошибаюсь ли я, что она верит мне, но что, может быть, меня обманывают”. Под сильным воздействием со стороны “Друга”, к которому сумела проникнуть жена Сухомлинова, А. Ф. добивается перевода Сухомлинова из тюрьмы под домашний арест. Для А. Ф. мотив основной тот, что “старик умрет в тюрьме, и это останется навеки на нашей совести” (27 сент.). Правда, в дальнейшем А. Ф. начинала требовать приостановки дела, прекращения следствия: “Ты должен вытребовать отсюда (дело), чтобы все это не попало в Гос. Совет, иначе бедного Сухомлинова нельзя будет спасти... Почему должен пострадать он, а не Коковцев (который не хотел давать деньги), или Сергей, который, что касается ее (т.е. Кшесинской), ровно столько же виноват”. А. Ф. казалось, что она требует только справедливости; она защищала Сухомлинова от петли, которую общественное мнение готово было накинуть на его шею (Муравьев так и выразился: покровители Сухомлинова мешали его “повесить”), защищала, не веря в измену “легкомысленнейшего в мире господина”, как охарактеризовал в воспоминаниях Коковцев. В этом отношении А.Ф. сто крат была права. К сожалению, Мякотин был не совсем прав, когда писал тоже по поводу воспоминаний Сухомлинова, что обвинение б. военного министра в измене “не встречало ни доверия, ни сочувствия в серьезных кругах общества”.

Пришпилить этикетку “измены” к имени А. Ф. не смогли. Все попытки, пусть даже “вялые и бессистемные”, действительно оказались покушением с негодными средствами. Керенский перед следователем Соколовым засвидетельствовал, как бы официально, что “в результате работ” Комиссии ему было доложено, что в действиях Николая II и его супруги



не нашлось состава преступления по ст. 108 Уг. Ул. “Об этом, – добавил бывший председатель правительства, – я тогда же докладывал Временному Правительству”. На основании цитированных выше показаний Переверзева, покинувшего пост министра юстиции после июльского(?) мятежа, организованного большевиками, следует, что вопрос этот выяснился до того времени, когда Керенский сделался председателем правительства, т.е. до завершения работ Комиссии, что и подтвердил со своей стороны первый председатель правительства кн. Львов Соколову: “Работа Сл. Комиссии не была закончена. Но один из самых главных вопросов, заключающийся в том подозрении, а может быть, убеждении у многих, что Царь под влиянием своей супруги, немки по крови, готов был и делал попытки к сепаратному соглашению с врагом, Германией, был разрешен. Керенский делал доклад правительству и совершенно определенно, с полным убеждением утверждал, что невинность Царя и Царицы в этом отношении установлена”. Касаясь доклада председателя Комиссии на съезде Советов 17 июня, Суханов в своей мемуарной истории революции пишет: “В своем докладе Муравьев, между прочим, опроверг не заслуживавшую опровержения убогую либеральную басню о германофильстве царского двора и об его стремлении к сепаратному миру. Ни в каких бумагах не было найдено ни намека на что-либо подобное – к великому огорчению наших убогих сверхпатриотов”. Муравьев ни одним словом в докладе не коснулся той “басни”, о которой говорит Суханов. Вопрос о верховной власти просто был обойден в докладе, и чрезвычайно показательно, что никто решительно в левых кругах на это не обратил внимания, никто не поинтересовался вопросом об “измене”. Вероятно, память Суханова сделала произвольный скачок. Он рассказывает, что перед своим выступлением на съезде Муравьев делал предварительное сообщение в “небольшом (новожизненском) кругу на квартире у Горького. Он собрал нас, собственно, для того, чтобы посоветоваться и поделиться своими мнениями. Положение его было действительно не из легких. Революция стерла с лица земли старых царских палачей и душителей России. Все они были живы-здоровы – частью в заключении, частью на свободе, частью в эмиграции. Их нельзя было не судить. Но нельзя было судить их всех. Кого же судить было можно – должно? И по каким же таким законам? Судить за одни злоупотребления, за одни нарушения царских законов было бессмысленно. Судить за исполнение царских законов против народа – было трудно “юридически”. Можно предполагать, что на квартире Горького Муравьев и касался “либеральной басни о германофильстве царского двора и об его стремлении к сепаратному миру”. В кружке “новожизненцев”, может быть, обсуждался и вопрос о судьбе представителей верховной власти. Как раз в это время неистовый Бурцев, не всегда отдававший себе отчет в резонансе, который могут иметь его слова, в № 2 “Будущего” довольно одиноко требовал: “Николай II должен быть предан суду”. Итак, признаем, что в середине июня Временное Правительство было уже достаточно осведомлено в “невинности” царскосельских заключенных – по крайней мере в самом тяжелом обвинении. Еще раз Керенский сказал Бьюкенену, что не найдено ни одного компрометирующего документа, подтверждающего, что Царица и Царь “когда-либо собирались заключить сепаратный мир с Германией”. Но “дело” еще не было закончено – Комиссия продолжала свое расследование, как могли мы удостовериться по позднейшим допросам Милюкова и Дубенского в августе и Родзянко в сентябре<sup>173</sup>. Улик не было, но презумпция возможной виновности оставалась. Формула умолчания, в которую облекались предварительные выводы Чр. Сл. Комиссии, приводила к тому, что в общественном сознании дореволюционной легенды продолжали жить – даже такой чуткий публицист “Рус. Вед.”, как Белоруссов (Белевский), не замороженный революционным психозом, счел возможным говорить в одной из своих статей (26 июля), что Николай II был свергнут “за сношения и тайный сговор с неприятелем, за ожидавшуюся измену союзникам, а, следовательно, России”. Во втором варианте своих

---

<sup>173</sup> В воспоминаниях свое показание в Комиссии, желавшей во что бы то ни стало найти крамолу в действиях Царя, Родзянко охарактеризовал словами, что он 5 часов подряд защищал Николая II. Не всегда это было так.

воспоминаний, вышедших на французском языке, и после показаний, данных им следователю Соколову, Керенский заявил, что не может сказать определенно, принимала ли участие А. Ф. в выработке плана сепаратного мира, хотя он, Керенский, сделал все, чтобы выяснить это<sup>174</sup>. Такая презумпция не могла не влиять на последующую судьбу царской семьи. К этим заключительным страницам мы и переходим.

## Глава пятая ВМЕСТО АНГЛИИ – ТОБОЛЬСК

### 1. Ставка Л. Джорджа

На основании прошедших перед нами фактов мы имеем право сказать – даже без оговорок, – что несостоявшийся в весенние месяцы отъезд царской семьи в Англию сам по себе ни в коей степени не стоял в связи с изменениями, которые произошли к концу марта во взглядах английского правительства на целесообразность предоставления Царю права убежища в Англии. Формальной ответственности за то, что царская семья осталась в России, на английское правительство возлагать нельзя. Поскольку речь может идти об этой ответственности, вопрос в отношении английского правительства должен быть поставлен по-иному. Если бы английское правительство проявило и в дальнейшем ту настойчивость, какой была проникнута нота 11 марта, когда, как мы знаем, английский посол в Петербурге получил предписание указать Врем. Прав. на “величайшую важность” скорейшего перевала императорской фамилии в Англию, не изменилась ли бы несколько двойственная с самого начала позиция революционного правительства и не разрешился ли бы вопрос об отъезде совершенно независимо от расследования дела о верховной власти в Чрез. След. Комиссии? Если бы вопрос так принципиально разрешился, то историческая оценка из сферы политической морали, т.е. нравственной ответственности, переходил бы в область весьма субъективного учета тогдашней конкретной обстановки в России – могло ли бы Вр. Правительство при содействии англичан фактически вывезти царскую семью из России? Однако, нет никакого сомнения, английское правительство моральную проблему откинуло и встало, под влиянием бывшего тогда премьером Л. Джорджа, на путь реалистической политики интересов дня, как они рисовались тогда руководителям парламентского общественного мнения.

Дочь Бьюкенена в своих, по-видимому, нашумевших в Англии воспоминаниях относительно телеграммы “10 апреля” (нов. ст.) дала такие пояснения: взволнованный посол рассказал своей семье, что в Лондоне находят теперь “предпочтительным отговорить императорскую семью от мысли приехать в Англию”. “Правительство опасается, как бы это не вызвало внутренних волнений. Идут какие-то революционные разговоры в Гайд-Парке; рабочая партия заявляет, что она заставит рабочих бросить работу, если Императору будет разрешен выезд. Мне предписано отменять соглашение с Времен. Правительством”. Впоследствии посол сообщил дочери, что намеченный план переезда царской семьи был разрушен Л. Джорджем, сообщившим королю сведения о враждебных настроениях в стране и убедившим короля, что опасность, грозящая императорской семье в России, крайне преувеличена британским посольством в Петербурге, которое излишне прислушивается к мнению бывших придворных.

В дополнение к рассказу мисс Бьюкенен Дионео в “Посл. Новостях” привел выдержку из передовой статьи, появившейся в “газете премьера” (т.е. “Daily Telegr.”) и озаглавленной “Почтительный протест”: “Мы искренне надеемся, что у британского правительства нет

---

<sup>174</sup> Для большевистского историка Покровского “не только возможно, но даже несомненно, что Николай II сжег все бумаги, касающиеся сепаратного мира, воспользовавшись попустительством, которое делало ему Временное Правительство”. Ни на чем не основанное априорное убеждение Покровского, конечно, не может служить доказательством того, что бумаги, подлежащие сожжению, действительно существовали.

никакого намерения дать убежище в Англии Царю и его жене. Во всяком случае, такое намерение, если оно действительно возникло, будет оставлено. Необходимо говорить совершенно откровенно об этом. Если Англия теперь даст убежище императорской семье, то это глубоко и совершенно справедливо заденет всех русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали нынешним врагам нашим и их. Мы жалеем, что вам приходится говорить это об экзальтированной даме, стоящей в столь близких родственных отношениях к королю, но нельзя забыть теперь про один факт: Царица стала в центре и даже была вдохновительницей прогерманских интриг, имевших крайне бедственные последствия для вас и едва не породивших бесславный мир. Супруга русского Царя никогда не могла забыть, что она немецкая принцесса. Она погубила династию Романовых, покушаясь изменять стране, ставшей ей родной после замужества. Английский народ не потерпит, чтобы этой даме дали убежище в Великобритании. Царица превратит Англию в место новых интриг. Вот почему у англичан ныне не может быть никакой жалости к павшей Императрице, ибо она может предпринять шаг, который будет иметь губительные для Англии последствия. Мы говорим теперь совершенно откровенно и прямо: об убежище не может быть речи, так как для нас опасность слишком велика. Если наше предостережение не будет услышано и если царская семья прибудет в Англию, возникнет страшная опасность для королевского дома”.

В той же статье Дионео был приведен ответ Л. Джорджа, напечатанный “во всех английских газетах”, на вопрос журналистов по поводу разоблачения мисс Бьюкенен – б. премьер признал, что “по всей вероятности, я посоветовал королю не давать разрешения на приезд в Англию Николая II. Мой совет вызван был тем, что в то время мы пытались убедить Керенского продолжать войну с германцами Позволив Царю приехать в Англию, мы повредили бы нашему ходатайству у Керенского”. “Ответ” Л. Джорджа в связи с полемикой Милюкова, что “объяснение это звучит некоторым анахронизмом, но оно весьма вероятно”, вызвал большое негодование Керенского, протестовавшего письмом в редакцию “Пос. Нов.” и заявившего, что объяснения Л. Джорджа “ни в малейшей степени не соответствуют действительности”. Несуразный контекст “ответа” Л. Джорджа, с указанием имени Керенского, которого английский премьер должен был якобы убеждать “продолжать войну”, и нежеланием Керенского считаться с датой, к которой должно быть отнесено указание Л. Джорджа”, затемнили простое и действительно “вероятное”. Не без присущего “маленькому валийцу” лукавства Л. Джордж, конечно, умолчал о мотивах, выдвинутых в свое время в “предостережении”, которое делал “Daily Telegraf”. Суть дела была в том, что волнения “левых” в Англии, являясь отзвуком оппозиции советских кругов в России отъезду быв. Императора, могли помешать военной акции в России в представлении премьера<sup>175</sup>. Английский премьер, конечно, не очень хорошо разбирался в русских делах и в русских общественных течениях; для него имя Керенского было синонимом только “заложника демократии” в правительстве – своего рода советским представителем в этом правительстве; это было имя лица, которое может в создавшейся обстановке воздействовать на советы и “заставить Россию” воевать” (так считал Бьюкенен, как видно из его полудневника).

В выпущенных затем воспоминаниях Л. Джордж решительно умолчал о “совете”, который он давал королю, и о посылке Бьюкенену телеграммы, скрывшей за завесой преждевременности опубликование всех документов, относящихся к этому делу. Точный текст телеграммы “10 апреля” остается нам неизвестен, но самый факт посылки телеграммы не подлежит сомнению. Милюков до известной степени прав, указывая, что первоначальное объяснение Л. Джорджа, свидетельство дочери Бьюкенена и разговор самого посла с русским министром ин. дел сходятся друг с другом, как “обрывки одного и того же листа разорванной бумаги” (даты остаются, конечно, на ответственности дочери Бьюкенена и Милюкова), – осторожнее было бы сказать, что их роднит общий дух. Умолчал б.

---

<sup>175</sup> Так же думали и в Париже, как доносил в Лондон английский посол во Франции – Берти.

английский премьер и о последующем, имевшем в судьбе вопроса об отъезде царской семьи гораздо большее значение, нежели телеграмма “10 апреля”, которая, очевидно, не имела характера окончательных директив, ибо письмо Бьюкенена в Лондон, помеченное 15 апреля (н. ст.) и цитированное в воспоминаниях Л. Джорджа, все еще говорило о предпочтительности отъезда в Англию, хотя и отмечалась возможность отъезда царской семьи в Англию, куда желал бы выехать сам Царь. Писалось сообщение это со слов кн. Львова. Можно было бы рассматривать указание посла, как средство воздействия на английское правительство: он информировал своего министра, что кн. Львов опасается задержки поезда рабочими по пути и обеспокоен угрозой, которую это может представить для царской семьи. Однако тут же он указывает, что “Керенский совершенно не подготовлен принять на себя ответственность за выезд царской семьи”, и отмечает рост враждебного отношения левых элементов к отъезду, т.е. подкрепляет позицию первого министра<sup>176</sup>.

На этом письме обрывается публикация относящихся к вопросу документов в мемуарах Л. Джорджа. Перед нами в известной степени белый лист. Довольно характерно, что русский министр ин. д., ведший первые переговоры, до самого последнего времени оставался уверенным, что в пределах его управления министерством “было начато и закончено дело об отъезде бывшего Императора” (Статья “Март – апрель 1917”). Несмотря на заявление Керенского, сделанное в “Воле России” еще в 21 г., что переговоры об отъезде были возобновлены преемником Милюкова и что в июне был получен “окончательный ответ”, Милюков требовал еще в 32 г. подтверждения со стороны Терещенко, так как “по существу дела эта вторая просьба и второй отказ” казались ему несколько сомнительными”. В специальном письме в ред. “Пос. Нов.” (21 июня 32 г.) Терещенко формально подтвердил. По его словам, вопрос о выезде царской семьи в Англию был “вновь возбужден Врем. Прав. в мае 1917 г.”. “Наши усилия, – писал Терещенко, – закончились столь же неудачно, как и шаги, предпринятые... в марте 17 г. В конце июня или начале июля, точно не помню, получился окончательный отказ”.

Терещенко оказался краток и скуп в своем сообщении<sup>177</sup>. В силу этого приходится пользоваться только показаниями Керенского, непосредственно не ведшего переговоры с послом, и по возможности не считаться со всеми теми неточностями, которыми изобилуют, как не раз было указано, в его воспоминаниях в силу черт, присущих ему как мемуаристу. Совершенно очевидно, что майские переговоры Терещенко с Бьюкененом, поскольку они имели место, могли носить в сущности тот же предварительный характер, какой они имели и при его предшественнике – согласно формуле Керенского о возможности выезда, если “дело” о верховной власти можно будет ликвидировать за отсутствием состава преступления. Красивые рамки, в которых хочется Керенскому вставить это продолжавшееся зондирование почвы, не больше, как цветы политического красноречия, облеченного в мемуарно-литературную форму, – их можно оставить в стороне. Недаром Жильяр записал 12 апреля (у Жильяра новый стиль) по поводу посещения министром Царского Села: “ни слова о нашем отъезде”, т.е. Керенский, естественно, не счел нужным довести до сведения царственных узников об ответе Англии 10 апреля. Инструкцию, полученную Бьюкененом из Лондона, которая должна была отразиться на переговорах, Керенский резюмирует словами: “Надо взять приглашение назад, но сохранять апарансы действовать таким образом, чтобы инициатива отказа исходила от представителей русского

---

<sup>176</sup> Было выше указано, что это не соответствовало действительности, поскольку речь идет о конце марта.

<sup>177</sup> Интервьюеру “Возрождения” Терещенко заявил: “Последние 14 лет я совершенно уклонился от каких-либо политических выступлений. Так же намерен поступать и впредь”. Мне неизвестны мотивы молчания в тех случаях, когда дело идет о разъяснении прошлого, что нельзя назвать “политическим выступлением”. Однако только обмен мнениями современников может разъяснить то, что для историка подчас не может быть установлено документами. Вероятно, Терещенко, как человек, занимавший ответственный пост в революции, подготовлял мемуары, которые для него являются своего рода общественной отчетностью.

правительства”. Надо думать, что это лишь позднейшее умозаключение, сделанное на основании знакомства с опубликованными документами, в значительной степени под влиянием рассказа дочери Бьюкенен. Керенский вместе с тем уверяет, что под влиянием Лондона Бьюкенена стал сам развивать идею, что крайне левые партии и немецкие агенты воспользуются отъездом Царя для того, чтобы возбудить русское общественное мнение против Англии, и что предпочтительнее поэтому перевезти Николая II и его семью в Крым”.

Но правительство не пошло на удочку, заброшенную “коварным” планом Ллойд Джорджа, побудить его принять на себя инициативу отказа от вывоза царской семьи в Англию. “К сожалению, – пишет он в книге, подводящей итоги его выступлений по этому поводу, – намерение русского Временного Правительства отправить Царя за границу не зависело от взглядов английских либералов и рабочей партии. Вопрос решался нашим внутренним политическим положением, и мы не могли ничего изменить. Продолжить пребывание пленников (*captifs*) в непосредственной близости с Петербургом нельзя было думать. Обитатели Александровского дворца сами только и ожидали часа отъезда. Император постоянно возвращался в разговорах со мной, – особенно тогда, когда я приносил ему новости от его родственников в Англии<sup>178</sup>. Между тем положение улучшалось в России. Административное колесо наладилось в руках правительства и в хорошем состоянии. “Человек улицы” начинал интересоваться значительно меньше судьбой Царя, потому что вставали другие проблемы, бесконечно более важные. Это был благоприятный момент для того, чтобы организовать путешествие царской семьи из Петербурга в Мурманск, не подвергая ее никакой опасности. С согласия кн. Львова, наш новый министр ин. д. Терещенко осведомился у сэра Дж. Бьюкенена о времени, когда английский крейсер сможет взять низложенного монарха и его семью<sup>179</sup>. Одновременно, при содействии датского министра Сковениуса, было получено обещание немецкого правительства, что никакая подводная лодка не нападет на судно, везущее изгнанников. Сэр Дж. Бьюкенен и все мы ждали с нетерпением ответа из Лондона”.

Не будем вдаваться в рассмотрение гипотез о фактической возможности выезда царской семьи. Летом 17 г. нам (субъективно) технически он не представляется действительно возможным. Конечно, Керенский преувеличивает, когда говорит, что новый административный аппарат, находившийся в распоряжении правительства, был “*en bon &#250;tat de marche*”<sup>180</sup>, но он все-таки ближе подходит к реальной оценке “атмосферы”, которая окружала заключенных в Царском Селе, чем в тех случаях, когда эту атмосферу рисует раскаленной (противоречие, неразрешимое у мемуариста). “Равнодушие” в общественных кругах к заключенным могло совершенно переродиться при попытке изменить установившееся *status quo*. Мы не знаем и того, как отнеслось бы к самому факту далеко не однородное коалиционное правительство, в состав которого входил однопартиец Керенского, но его резкий антагонист Чернов, державшийся левого курса в политике. Много раз Керенский отмечает, что все разговоры о судьбе царской семьи почему-то велись в значительной степени втайне от всего состава правительства, и знало о них лишь трое, помимо Керенского, т.е. кн. Львов, Некрасов, Терещенко. Таким образом, Временное Правительство, как таковое, никаких решений не принимало. Это приходится подчеркнуть.

Гораздо важнее установить точную дату момента, когда новым составом правительства

---

<sup>178</sup> Думаю, что читатель на основании приведенных раньше фактов сам введет необходимые поправки в противоречивые изложения Керенского.

<sup>179</sup> Припомним, что в мартовско-апрельские дни этот вопрос задавал Милуков.

<sup>180</sup> В своих интервью он высказывался еще более решительно. Даже о первых днях революции в связи с выступлением в московском совете 7 марта он говорил сотруднику “П.Н.”: “Я обладал полнотой власти, мог действовать вполне свободно и ни с кем не собирался играть в прятки”. Современники склонны к аберрациям.

был в конкретной форме еще раз поставлен вопрос об отъезде царской семьи и получен “окончательный отказ” из Англии. Дело в том, что до появления в печати письма Терещенко, Керенский систематически – и в статьях и в интервью – фиксировал эту дату серединой июня, и даже более точно: “за несколько дней до начала наступления”, т.е. 18 июня. Впоследствии Керенский дату изменил применительно к указаниям Терещенко – в книге он говорит, что не помнит того, было ли это в конце июня или в первые дни июля. Последняя дата – ее пока примем – логически примыкает к той тенденции, которая стала намечаться в работах Чр. Сл. Комиссии в смысле направления “дела” о судимости верховной власти и которая уже открывала возможность для “спора” (термин Керенского) Врем. Правительства с Л. Джорджем. О самом ответе, пришедшем из Лондона, Керенский рассказывает: “В глубоком волнении Бьюкенен принес Терещенко письмо одного высокого чиновника из Foreign Office, который был в тесных отношениях со Двором. Со слезами на глазах, едва подавляя свое волнение, сэр Дж. сообщил русскому министру ин. дел, что английское правительство отказывалось предоставить убежище бывшему Императору. Я не могу процитировать точный текст письма, прочитанного сэром Джоржем Терещенко. Я его не читал сам. Но я могу утвердительно сказать, что этот отказ вытекал исключительно из соображений внутренней английской политики. Письмо заключало даже некоторую ироническую остроту по адресу Временного Русского Правительства, объясняя невозможность для первого министра посоветовать Его Величеству предложить гостеприимство людям, прогерманские симпатии которых хорошо были известны” 181.

Вся сцена и описание ответа, описанные Керенским все же с чужих слов, способны вызвать некоторый скепсис, начиная с той исключительной взволнованности английского посла, которую отмечает мемуарист. Через три месяца повторяется как бы сцена, зарисованная уже дочерью посла при получении телеграммы “10 апреля”. Между тем тот же Керенский отметил раньше новую аргументацию в устах посла, до некоторой степени исключаящую совсем понятную взволнованность при получении повторного отказа, который мог ожидать Бьюкенен. Наш скепсис не доходит до пределов недоверия Милюкова, высказавшего в комментариях к письму Терещенко предположение, без всякого к тому основания, что Бьюкенен повторял лишь ответ, ранее данный предшествовавшему министру ин. д. (“если следов этих переговоров не оказалось бы в британских документах, то пришлось бы заключить, что последние переговоры дальше Бьюкенена не пошли”).

Внешняя оболочка, приданная повествованию об июньских переговорах, имеет целью, словно нарочито, подчеркнуть личную ответственность английского премьера. Керенский так и заканчивает изложение июньского эпизода: “Таким образом, вопреки первоначальным намерениям Временного Правительства к собственному горячему желанию жить в Англии<sup>182</sup>, Царь и его семья вынуждены были направиться на восток, в Тобольск...”<sup>183</sup> Коковцеву, сделавшему обзор печатной литературы по вопросу о проекте выезда царской семьи в Англию, кажется невероятной возможность отказа со стороны английского

---

181 В показаниях Соколову Керенский ответ излагал так: “Английское правительство не находит возможным оказать гостеприимство б. Царю – впредь до окончания военных действий. Пэрс, соединяя воедино два момента, в предисловии к книге Керенского этот ответ относит к мартовскому (по старому стилю) эпизоду, рассказанному дочерью Бьюкенена.

182 Его не было (см. “Дневник” Нарышкиной).

183 Дионео пошел еще дальше: “Судя по всем обнародованным уже фактам, Л. Джордж хотел жизнью семьи Николая II “унять популярность не у русских, которые его совершенно не интересовали, а у “левой” Англии. Л. Джордж страшно преувеличивал тогда силы английских коммунистов... Когда русские коммунисты поставят памятник екатеринбургским убийцам, то на пьедестале непременно должна быть изображена фигура “маленького валийца”. Без него дети Николая II были бы теперь в безопасности в Англии”. Не говоря уже о публицистической гиперболе, заключающейся в приведенных строках, самая постановка вопроса, связывающая революционные события с екатеринбургской драмой, представляется неправильной.

правительства... “Мы не имеем ни права, ни основания, пока нам не будут даны более точные данные, – говорил в своем парижском докладе Коковцев, – допускать самую мысль о том, что Король Георг, хотя бы по совету своего первого министра, мог взять назад свое предложение о гостеприимстве его другу и родственнику, нашему Государю в постигшей его участи. У вас нет на это права по самому характеру их взаимных отношений и ввиду положения царской семьи перед лицом грозившей ей опасности... Мы знаем, что приглашение царской семье найти убежище в Англии исходило не только от Короля, но и от его правительства, после обсуждения в военном кабинете, и передано через мин. ин. д. лорда Бальфура. При таких условиях не только Король Великобритании, но и простой человек, а тем более правительство великой страны не могло взять назад своего приглашения. У нас нет основания допустить возможность такого акта по его бесцельности и ненужности... налагать самим на себя, хотя бы перед лицом будущей истории, клеймо отказа в праве убежища, оставалось просто ждать неизбежного хода событий”. Оставим в стороне политическую мораль, осложненную в данном случае взаимоотношениями короны и правительства в парламентарной монархии: 184 “В нашей конституционной стране, – сказал некий Гладстон, родственник Асквита, Маргулиесу в Лондоне, – чувства придворных кругов в политике никакой роли не играют”. Пусть английский премьер будет прав в своем утверждении, что его правительство никогда не брало назад своего предложения. Л. Джордж так окончательно сформулировал вопрос: 185 “Мы предложили Императору убежище, согласно обращенной к нам просьбе Временного Правительства, но сопротивление Совета, которое оно не имело силы превозмочь, все росло и углублялось. Правительство не решалось взять на себя ответственности за отъезд Императора и отказалось от первоначального намерения. Оно взяло на себя инициативу просить вас оказать гостеприимство и убежище царской семье. Мы изъявили нашу готовность и настаивали на ускорении выезда, и большего мы сделать не могли. Наше предложение осталось открытым, и мы его взяли назад. Если это преимущество не было использовано, то только потому, что Временное Правительство не могло справиться с оппозицией Совета... Конец событий был поистине трагическим, и его подробности наполнят ужасом грядущие поколения человечества. Но за эту трагедию наша страна не может нести какой-либо ответственности”. Поскольку мы не знаем точного текста всех документов, заключавшихся в переписке Лондона с Петербургом, легко допустить, что формально прав Л. Джордж – его правительство никогда не отказывало царской семье в политическом гостеприимстве. Решали дело нюансы заключительных аккордов, облеченных, возможно, всей мудростью дипломатической тактики. Формальная сторона не может изменять суть. Неправда воспоминаний “первого министра” заключается в другом – в заявлении, что британское правительство настаивало на ускорении выезда (это было только в первые дни) и “больше ничего сделать не могло”. Показательно, что тот же правительственный “официоз” в полемике с первой статьей Керенского, появившейся в 21 г. в “Воле России”, опровергая тезу о “проблематическом” отказе английского правительства, однако, говорил о желании Английского правительства “отсрочить выезд ввиду опасности от германских подводных лодок у Мурманска и высказывал сомнение – согласился бы Николай II покинуть Россию и смог ли бы Керенский, в случае благоприятного ответа, вывезти своих пленников за границу”. В обстановке того времени убеждение отложить отъезд в сущности было почти равносильно отказу.

Думается, что Коковцев был прав в своем осторожном отношении к “положительным данным” разоблачений мисс Бьюкенен. Безоговорочно их принять едва ли возможно. Дочь

---

184 Мораль всегда отступает на задний план в политике. Только этим возможно объяснить противоестественное явление, что участник убийства в Екатеринбурге был допущен в Польшу в качестве советского посла.

185 Выдержки из воспоминаний Л. Джорджа привожу в переводе Коковцева.

посла утверждала, что ее отец не мог в воспоминаниях сказать “всей правды”, ибо ему в министерстве сказали, что если он это сделает, то ему не только предъявят обвинение в нарушении закона о государственной тайне, но лишат пенсии. И посол по соображениям материальным и карьеры вынужден<sup>186</sup> был держаться официальной версии, что он и выполнял в своих воспоминаниях, остановившись только на эпохе самых первых переговоров с Милюковым. Посол и премьер говорили почти одними словами. “Мы предложили Государю убежище, согласно требований Временного Правительства, – пишет Бюкенен, – но так как оппозиция Совета, которую оно напрасно надеялось преодолеть, все возрастала, оно не решилось взять на себя ответственность и отступило от своей первоначальной позиции. Мы также имели своих крайних левых, с которыми приходилось считаться, и мы не могли взять на себя почин без того, чтобы нас не заподозрили в видах на дальнейшее. Кроме того<sup>187</sup>, для нас было бесполезно настаивать на разрешении Государю приехать в Англию, после того, как мы узнали, что рабочие угрожают развинтить рельсы впереди его поезда. Мы не могли предпринять каких-либо шагов, чтобы охранять его во время путешествия к порту Романов. Эта обязанность лежала на Временном Правительстве. Так как оно само не было хозяином в собственном доме, весь проект провалился”. В 23 г. в “Revue de Paris”, возражая Милюкову, Бюкенен еще раз подтвердил в тех же словах, как впоследствии Л. Джордж в воспоминаниях, версию, что английское согласие никогда не было взято обратно. Карьерные соображения могли бы побудить дипломата к молчанию, но трудно себе представить, чтобы он настойчиво повторял нечто противоположное. Бюкенен говорил, как свидетельствует Пэрс в предисловии к книге Керенского, что “будет спокоен только тогда, когда она (семья Царя) покинет Россию”. Быть может, и говорил в первые дни. Но едва ли энергично действовал в этом направлении. Приходится скорее заключить, что сэр Дж. Бюкенен в общем разделял позицию своего первого министра и левых общественных кругов в Англии<sup>188</sup>.

Общественная совесть была слишком остро затронута чудовищной екатеринбургской драмой, и поэтому были естественны невольные мотивы самооправдания, которые звучали в показаниях людей, в руках которых была дирижерская палочка в событиях первых месяцев революционного времени. Эту сторону отметил один из первых обозревателей судьбы царской семьи после переворота. Дипломат Боткин, принадлежащий к кругу знаменитой семьи, писал в “Русской Летописи” в статье “Что было сделано для спасения имп. Николая II”: “Никакого суда еще нет, и обвинительный акт еще не составлен, а обвиняемые уже спешат занять места на скамье подсудимых, и каждый хочет вас уверить, что он не виноват”. В историческом обозрении саму постановку об ответственности приходится отбрасывать. Если “весь мир выказал невероятное равнодушие” к судьбе царской семьи, то ведь это объяснялось прежде всего уверенностью в безопасности семьи при Врем. Правительстве и, следовательно, ненужностью вмешательства, которое могло только повредить делу. Было, пожалуй, только целесообразно со стороны быв. мин. ин. д. и посла Извольского (его революция захватила на посту посла в Париже) предостеречь французское правительство от “дружественного представления” в пользу Царя, о чем в Париже хлопотала группа лиц, которая считала, что Царю угрожает опасность. “Я счел своим долгом, – телеграфировал 19 марта Извольский Милюкову, – в частной беседе с г. Камбон предостеречь его от подобного шага. При настоящем составе Временного Правительства, – сказал я, – подобные опасения

---

<sup>186</sup> Милюков говорит, что об этом ему в Лондоне намекал сам Бюкенен.

<sup>187</sup> Это “кроме того” всегда покрывает в мемуарах противоречия.

<sup>188</sup> Мы ниже приведем русское свидетельство, показывающее, что то особое дружественное отношение к Царю, которое Бюкенен подчеркивает в воспоминании, преувеличено мемуаристом: в действительности посол был довольно равнодушен к личной судьбе Николая II.



являются совершенно неосновательными и могли бы иметь место только в случае победы радикальных элементов, и поэтому подобные представления могли бы показаться у вас не только ненужными, но даже оскорбительными”.

Инициатива и настойчивость в смысле вывоза из России царской семьи могла исходить только от Временного Правительства. Керенский и утверждал в письме в редакцию “Пос. Нов.” (32 г.), что “Временное Правительство сделало все, чтобы свое обязательство выполнять до конца”. Одновременно появилось и письмо его в “Ивнинг Стандарт”, в котором Керенский объяснял, что отъезд Царя “не мог состояться немедленно” после получения согласия со стороны английского правительства “только потому, что административный аппарат, разрушенный в первые дни революции, еще не был в достаточной мере восстановлен и укреплен для того, чтобы можно было решиться на предприятие, связанное со столь серьезной ответственностью” 189.

Эта версия, противоречащая собственным словам Керенского, документально нами опровергнута. В июне, когда административный аппарат был восстановлен, когда Временное Правительство стало “подлинной властью”, когда правительственное расследование деятельности распутинской клики сняло вину с Царя, тогда семья не могла быть вывезена в силу отказа Англии предоставить гостеприимство во время войны членам “русской императорской фамилии”. Дело было не только в этом отказе, пояснял Керенский в интервью, данном сотруднику “Возрождения”. Царская семья не могла быть отправлена за границу, так как только Англия могла “обеспечить перевоз царской семьи”. Такими пояснениями Керенский вперед отвечал на возражения, сделанные ему впоследствии на публичном докладе в 36 г., – почему при отказе Англии правительство не отправило царскую семью в Данию или Испанию<sup>190</sup>.

Хотя Керенский и подчеркивал еще в “Воле России” в 21 г., что Терещенко “может быть, с еще большей настойчивостью”, чем его предшественник, вел переговоры об отправке царской семьи в Англию, мы имеем все основания считать, что переговоры не выходили из стадии предположений Временного Правительства и не носили характера каких-то настойчивых обращений к английскому правительству. Обратим внимание на тот факт, что в дни июньских переговоров в Петербурге находился с особой миссией, аналогичной с миссией французского социалиста Тома, посланец английского правительства – “заложник” демократии в кабинете Л. Джорджа, Гендерсон. Было бы естественно через него разъяснить положение и воздействовать на английского премьера. Конечно, это не могло быть сделано в обстановке, когда отъезд Царя был решен лишь группой членов Времен. Прав. и о нем

---

189 Керенский здесь повторял лишь то, что писал в “Воле России” в 1921 г.

190 Дания выплыла на сцену, очевидно, потому, что о ней, как о возможном убежище, было упомянуто Львовым в показаниях Соколову. Естественно, о маленькой Дании, находившейся в непосредственной близости от Германии, не могло быть речи. Что касается испанского предложения, то Керенский на докладе процитировал ответ Терещенко на его специальный запрос: “Испанский посол с большим участием от имени короля справлялся о царской семье, но предложения об убежище не помню”. Такого предложения и не было, как видно из воспоминаний Неклюдова, со стокгольмского поста в дни революции перемещенного в Мадрид. Когда Неклюдов вручал свои доверительные грамоты, Альфонс XIII просил передать правительству его “горячую просьбу” об освобождении царской семьи – король был бы крайне счастлив, если бы знал, что семья находится в полной безопасности. “Мне положительно известно, – ответил Неклюдов, – что Временное Правительство только и мечтает о том, чтобы разрешить Государю Императору выехать за границу. Если оно этого не делает, то только из-за крайних элементов. Мое официальное вмешательство, идущее из-за границы, несомненно раздражит эти крайние элементы, и агитация, которая будет вызвана этим выступлением, скорее может повредить несчастным тобольским изгнанникам”. Некоторая неряшливость мемуариста, говорившего будто бы испанскому королю о тобольских узниках, может ввести в заблуждение – не надо забывать, что вручение верительных грамот происходило в дни премьерства Львова, когда Император и его семья находились в заключении в Царском Селе (в Мадрид Неклюдов был назначен в апреле, т.е. еще при Милокове).

ничего не знали<sup>191</sup> те члены правительства, которые могли считаться в той или иной степени единомышленниками великобританского социалистического деятеля. Полемизируя с Керенским в 32 г., Милюков высказал сомнение, что “только решительный отказ” Англии заставил Керенского в июне отказаться от плана вывоза Царя (эти позднейшие сомнения Милюкова, как мы видим, с тем же правом могут быть отнесены к периоду, когда сам Милюков входил в состав Вр. Прав.). Для решительных действий Вр. Пр-ву нужна была сочувственная общественная атмосфера. Ее не было – и не только в специфической “советской” среде. Изменить настроение мог бы единственно только акт правительства – опубликование во всеобщее сведение опровержения клеветы об “измене” и укрепившихся в сознании слухов о подготовке верховной властью сепаратного мира. Газеты революционных дней не опровергали ходячей версии – скорее они ее подтверждали. Работа Чр. Сл. Комиссии шла более или менее потаенно – особенно в части, касающейся расследования криминала верховной власти. Раз Чр. Сл. Комиссия, как утверждают мемуаристы из состава Времен. Правительства, почти официально отказалась от обвинения в отношении представителей верховной власти, этот вывод надлежало опубликовать. Вопрос иной – политически оправдывался ли бы для революционного правительства при неустановившемся еще режиме и при наличии демагогии “крайне левых” такой акт благородного беспристрастия? Не рискован ли был для временной власти донкихотский жест преждевременной реабилитации старой монархии? Независимо от вопроса о политической морали, едва ли это могло бы быть целесообразно в отношении к заключенным в Александровском дворце. Их спокойное пребывание в Царском Селе, изменение в их положении “пленников” в значительной мере зависело от степени забвения о “старом деспоте” в эпоху сменяющихся волн революционной бури.

У нас нет никаких данных, говорящих о том, что в недрах Временного Правительства появлялась даже мысль о возможности опубликования итогов расследования Чр. След. Комиссии, которые реабилитировали бы ушедшую со сцены верховную власть<sup>192</sup>.

## 2. Ссылка или убежище?

Итак, Императору и его семье пришлось ехать на восток – в Тобольск... В схему, начерченную при выступлении Керенского в 36 г., довольно резким диссонансом врывается утверждение мемуариста, что доверенные люди, Макаров и Вершинин, посланные им в Тобольск для обследования города с точки зрения пригодности его к поселению царской семьи, возвратились уже в “середине июня. “Их доклад, – пишет Керенский в “La V&#233;rit&#233;”, – был благоприятен, и тотчас началась подготовка переезда”. Если память мемуариста не сделала, быть может, произвольного скачка, то ведь это означает, что задолго сравнительно до “окончательного отказа” Англии был намечен Тобольск, как очередной этап пребывания царской семьи. Я охотно призвал бы здесь описку со стороны мемуариста (июнь вместе июль), если бы он настойчиво не подчеркивал, что вопрос о переезде царской семьи в Тобольск был решен в дни львовского премьерства. Подтвердил это и кн. Львов в показаниях Соколову, слабо припоминаяший точные даты и всю обстановку того времени: “Летом в первой половине июля правительство пришло к убеждению, что нахождение царской семьи около Петрограда стало абсолютно невозможным. Страна явно шла под уклон. Нажим на правительство со стороны советов делался все сильнее... Ясно было, что царскую семью для ее благополучия нужно было куда-то увезти из Царского. Обсуждение всех вопросов, связанных с этой необходимостью,

---

<sup>191</sup> Absolutement – говорит Керенский в книге “La v&#250;rit&#250;”.

<sup>192</sup> Непонятно, о каком “всенародном покаянии” Керенского, объявившего, что “Царь чист”, говорит Вильтон.

было поручено Керенскому. Он делал тогда доклад правительству. Было решено перевезти ее в Тобольск... Решение вопроса о перевозе семьи в Тобольск состоялось при мне”. Но Львов ни одним словом не обмолвился о связанности тобольской проблемы с английским отказом, о котором он вообще не упоминал (о каком решении в дни еще премьерства кн. Львова “в первой половине июля” – Львов сложил свои полномочия 7 июля – может идти речь, будет видно в дальнейшем).

Так как вопрос никогда не обсуждался в официальном заседании правительства, то возникающее недоумение не разъяснил бы протокол, если бы он был в нашем распоряжении<sup>193</sup>. Конечно, может быть точно установлена дата поездки Макарова и Вершинина в Тобольск, но для нас в настоящее время это невыполнимо. Впрочем, быть может, нет надобности откапывать логическую последовательность там, где ее не было. Противоречия в воспоминаниях, которые не всегда можно увязать, могут соответствовать как раз тому, что было в двойственной жизненной действительности того времени, когда не было определенных решений, а были лишь многообразные предложения. Среди этих ранних предложений могли быть и те, о которых рассказывает Керенский в воспоминаниях и в показаниях следователю. “Было решено (в секретном заседании), – показывал Керенский Соколову, – изыскать для переселения царской семьи какое-либо другое место и все разрешение этого вопроса было поручено мне. Я стал выяснять эту возможность. Предполагал я увезти их куда-нибудь в центр России, останавливаясь на имениях Мих. Ал. и Ник. Мих. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был самый факт перевоза Царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию<sup>194</sup>. Немыслимо было увезти их на Юг (т.е. в Крым). Там уже проживали некоторые из великих князей и Мария Феодоровна, и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце концов я остановился на Тобольске”. Таким образом, и Керенский не связывал тобольскую проблему с английским миражом.

В изображении Керенского, как отмечалось, обитатели Александровского дворца мечтали о часе отъезда в Англию.

Царь возвращался к этой теме постоянно в разговорах с лицами, в руки которых ближайшим образом была отдана судьба заключенных. Дневник главы семьи довольно скуп в отметках определяющих настроения семьи в “позолоченной тюрьме”. По этим отметкам скорее приходится заключить, что особой радости перед заграничным путешествием семья не проявляла – да и сам Керенский признает, что Царь предпочитал бы поселение в Крыму. 11 марта, то есть в момент первоначального согласия английского правительства на оказание гостеприимства, Царь записал: “Утром пришел Бенкендорф, узнал от него, что мы останемся здесь довольно долго. Это приятное сознание”. Через две недели, 23 марта, мы имеем такую запись: “Начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию”. Больше нет ничего относительно заграничной поездки в подневных записях. Заключенные в “золоченой тюрьме” оставались в полном неведении. Через день по получении Бьюкененом предполагаемой телеграммы “10 апреля” министр юстиции посетил Александровский дворец для “допроса” А. Ф. Все это относилось к концу марта старого стиля. Естественно, что в дневнике Жильяра появляется запись: “ни слова о нашем отъезде за границу”. В первых своих воспоминаниях “La Revolution Russe” Керенский, быть может, наиболее точно изобразил фактическое положение: “Временное Правительство не приняло немедленно окончательного решения относительно судьбы Императора и его семьи. Было более или менее договорено между нами, что если юридическое расследование деятельности клики

---

<sup>193</sup> Следовательно, теперь ведь только один Терещенко мог бы подтвердить или опровергнуть утверждения Керенского.

<sup>194</sup> В воспоминании Керенский говорит, что этот проект он обсуждал с вел. кн. Ник. Мих. Его пришлось оставить в силу возбуждения, которое наблюдалось у крестьян.

Распутина установит невинность бывших носителей верховной власти, вся семья отправится за границу, вероятно в Англию”. Через 10 дней записывает Жильяр: “Керенский опять приехал во дворец. Доктор Боткин воспользовался этим случаем, чтобы спросить его, нельзя ли переправить императорскую семью в Ливадию ради здоровья детей. Керенский отвечает, что в данное время это совершенно невозможно... Однако ни слова о нашем отъезде за границу...” Почти одновременно, 14 апреля (ст. ст.) Нарышкина записывает, что “об отъезде нечего думать, так как Керенский признал отъезд невозможным”.

Когда же Царь был осведомлен об окончательном ответе английского правительства, он произвел на него, по выражению, употребленному Керенским или приписанному ему в одном из интервью (“Ил. Рос.” 34 г.), перепечатанном в газетах, “ошеломляющее” впечатление: Царь находился в таком же подавленном состоянии, как в момент отречения, казалось, он повторит сейчас ту же фразу: “Везде предательство, трусость и измена”. Это не совсем соответствует тому, что Керенский говорил в тексте книги, ответственность за которую автор принимает на себя. Из воспоминаний 36 г. вытекает, что Царь был осведомлен об английском отказе только тогда, когда была более или менее определена дата отъезда в Тобольск (это было в двадцатых числах июля, как отмечает Керенский в воспоминаниях 28 г.): “Я ему изобразил всю трудность положения в петербургском округе и известил, что надо приготовиться к отъезду. Я, естественно, сообщил об отказе британского правительства, но не сказал, куда он будет отправлен. Я ограничился лишь советом захватить большое количество теплой одежды. Он выслушал меня очень внимательно. Но когда я начал ему объяснять, что этот переезд не включает ничего, что могло бы вызвать его беспокойство, и необходим в его интересах и семьи, он бросил на меня проникающий взор и сказал: “Я не боюсь. Мы имеем доверие к вам. Если вы мне говорите, что необходимо уезжать, так и должно быть”.

Дневник Николая II в воспоминания Керенского вносит существенный корректив и большую точность. Под 11 июля записано: Керенский “в разговоре... упомянул о вероятном отъезде нашем на юг ввиду близости Царского Села к беспокойной столице”. На другой день: “Все мы думали и говорили о предстоящей поездке. Станным кажется отъезд отсюда после четырехмесячного затворничества”. Но прошло десять дней, не внесших ясности в положение: “Утром, – записывает Царь 21 го, – почему то поджидал Керенского, хочется, наконец (знать), куда и когда мы отправимся?” 22 го: “Вчера вечером Керенский внезапно приехал из города и остановился в лицее. Оказывается, все правительство развалилось, он сам подал в отставку и ожидает решения, к которому должно прийти совещание разных партий, заседающее в Зимнем дв.”. И только 28-го семья узнала от Бенкендорфа, что “нас отправляют не в Крым, а в один из дальних губернских городов, в трех или четырех днях пути на восток! Но куда именно, не говорит – даже комендант не знает. А мы все так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии!”

Вместо произвольных толкований сопоставим запись в дневнике Николая II с тем, что телеграфировал своему правительству английский посол на основании сообщения, сделанного ему мин. ин. дел 12 июля: “Керенский, который видел вчера Императора, условился относительно его отъезда в Тобольск во вторник (12). Е.В. предпочел бы уехать в Крым, но, по-видимому, остался доволен предложением переменить место жительства”. О решении правительства переместить царскую семью в Тобольск посол “конфиденциально” был осведомлен мин. ин. д. еще 7 июля, равно как и французский посол. Чрезвычайно характерно пожелание, высказанное послом в беседе с Терещенко и упомянутое им в указанной официальной телеграмме: “Я выразил надежду, что в Сибири свобода Императора не будет так ограничена, как в Царском Селе, и что ему разрешат свободу передвижения. Несмотря на то, что он совершил много ошибок, и несмотря на слабость его характера, он не преступник, и к нему должно относиться с возможно большим вниманием. Мин. ин. д. ответил, что Керенский вполне разделяет это мнение, готов всецело идти навстречу желаниям Е.В. Он дал ему разрешение выбрать лиц, которые будут сопровождать его. Возможность для него свободы передвижения будет зависеть от общественного настроения в

Тобольске. В Царском Селе это было для него опасно”. Как-то мало подходят подобные пожелания со стороны невольного, допустим, исполнителя директив английского премьера в обстановке “отказа” в гостеприимстве, который должен был он с исключительным волнением, как рассказывал Керенский, незадолго перед тем передать русскому правительству.

Мотивы, побудившие правительство принять меры к удалению царской семьи из окрестностей Петербурга, Керенский во французском издании своих воспоминаний о революции излагает так: “С начала лета вопрос о судьбе царской семьи привлекал к себе слишком общественное внимание и причинял нам большие беспокойства. Начинали вспоминать забытые эпизоды царствования Николая II и по мере того, как укреплялись надежды революционеров, у противников их возрастало чувство ненависти и мести. Дисциплина ослабевала в Царскосельском гарнизоне, и я боялся, что Александровский дворец не был в безопасности в случае новых волнений в Петрограде (очевидно, речь идет о большевистском выступлении 3 – 5 июля). Кроме того, агенты-provokatory начали распространять слухи о контрреволюционных заговорах и попытках увоза Царя, и слухи об этом распространились в гарнизоне... Беспокойные слухи не прекращались, и я окончательно решил отправить временно Императора и его семью в отдаленное место, в какой-нибудь спокойный уголок, где они привлекали бы меньшее внимание... Мой выбор в конце концов пал на Тобольск, место действительно удаленное, которое не лежало на железнодорожной линии и которое было зимой почти целиком отрезано от мира”. Так же представил дело и кн. Львов в показаниях следователю: “Сибирь тогда была спокойна, удалена от борьбы политических страстей, и условия жизни в Тобольске были хорошие: там удобный, хороший губернаторский дом”. Показания окружавших Царя лиц, данные следователю, мы можем оставить в стороне – они повторяли слова Ник. Ал. и А. Ф., воспроизводивших, в свою очередь, лишь то, что говорил им Керенский.

Нельзя отрицать, что одним из мотивов могли быть соображения, которые в преувеличенном виде выставил Керенский<sup>195</sup>. Но эти соображения не могли быть решающими даже для июля, не говоря уже об июне. Мы видели, что положение в Царском Селе до некоторой степени стабилизировалось, и ничего угрожающего нового не было. Если отбросить непосредственные свидетельства самого Керенского, то мы не найдем данных, подтверждающих взбудораженность Царскосельского гарнизона слухами о попытке освободить Царя, которая ставила правительство перед дилеммой невозможности дальнейшего выжидания. В “La V&#233;rit&#233;”, говоря о пропаганде большевиков среди воинских частей, охранявших заключенных, Керенский пишет, что, как он мог убедиться во время своих посещений казарм, гарнизон постепенно охватывали чувства подозрения. Положение осложнялось тем, что большевистская пропаганда нашла себе поддержку в агитации монархистов. Последние стали посылать А. Ф. тайные записки с намеками на скорое освобождение. Неопытность и детская наивность в этих любительских начинаниях перемешивалась с злой насмешкой и изменой. Гарнизон в Царском начинал говорить о заговорах. “Однажды, – рассказывает Керенский, – автомобиль врезался в решетку сада, примыкавшего ко дворцу. Можно и не говорить, что все Царское Село было взволновано и кричало об измене: были сделаны попытки устройства побега Царя”. Правда, “слухи” эти, как мы можем теперь установить, могли иметь некоторые под собой основания, но трудно определить, на основании слов Керенского, насколько действительные слухи о реальных предположениях того времени могли дойти до правительственной власти (не говоря уже о гарнизоне) и насколько Керенский, упоминая о них, говорит уже не как мемуарист. Тем более что реальные очертания подобные предположения, поскольку до нас дошли сведения о них, стали приобретать лишь в июле, когда вопрос о Тобольске принципиально был решен. Более естественно поэтому сказать об упомянутых попытках в другой конъюнктуре, ибо

---

<sup>195</sup> В последней его книге эта экспрессия еще более была усилена.

тогда они могли действительно форсировать вопрос о фактическом удалении царской семьи из окрестностей Петербурга. Не такие случайности могли вызвать осложнения в Царском Селе<sup>196</sup>. Правительство могло бояться общего выступления большевиков для захвата власти, намечавшегося еще 10 июня и осуществленного 3 – 4 июля. Правда, о Царском Селе в июльские дни, кажется, никто не вспомнил, но теоретически можно было предполагать, что подобные выступления могли быть связаны с осложнениями в Царском Селе. Этими именно соображениями, между прочим, Керенский объяснил Соколову перевоз царской семьи в Тобольск – причиной, побудившей правительство сделать этот шаг, “была все более обострявшаяся борьба с большевиками”<sup>197</sup>.

Так объяснял Керенский, по словам Жильяра, необходимость отъезда Царя: “Временное Правительство решило принять энергичные меры против большевиков; это должно было повлечь за собой полосу смуты и вооруженные столкновения, первой жертвой которых могла сделаться царская семья...”

Признаем справедливость всех этих соображений – и все-таки ими далеко не все можно объяснять. Не только соображениями безопасности семьи руководило правительство или правительственная группа, которая вершила судьбу царской семьи. В нашем распоряжении имеется документ (не мемуарного происхождения), который на первый взгляд как будто подтверждает основную версию, данную Керенским. 7 июля Бьюкенен телеграфировал “лично” Бальфуру: “Министр ин. д. сообщил мне сегодня конфиденциально, что Императора и его семью решено для большей безопасности отправить в Сибирь, по всей вероятности в Тобольск или в...ск, где они будут жить в.... и будут пользоваться большей личной свободой. Причиной, побудившей правительство сделать этот шаг, было опасение, что в случае немецкого наступления или какой-нибудь контрреволюционной попытки их жизнь может подвергнуться опасности”. Через пять дней в новой телеграмме, посланной Бальфуру и уже упоминавшейся выше, посол так комментировал решение правительства: “Истинной причиной переезда Императора является растущая среди социалистов боязнь контрреволюции. Я сказал мин. ин. д., что, по моему мнению, эта боязнь неосновательна, поскольку дело идет о династии. Правда, существует движение в защиту порядка и сильной власти, но это совершенно другое дело. Мин. ин. д. вполне с этим согласился”<sup>198</sup>.

\* \* \*

---

<sup>196</sup> Отметим, что ген. Половцев, в качестве главнокомандующего посещавший царскосельский гарнизон в июне, вынес иное впечатление, – он говорит о здоровой атмосфере и порядках, с которыми ему пришлось встретиться. То же он повторяет и про дни большевистского выступления, объясняя это тем, что большинство гарнизона составляли “украинцы”. Последующее поведение “охраны” в Тобольске служит доказательством преувеличения суждений о разложении Царскосельского гарнизона.

<sup>197</sup> Не будем все-таки преувеличивать возможные опасения и не последуем за автором предисловия к книге Керенского проф. Пэрсом, склонным утверждать, что “революционное население Петербурга могло в любой момент прикончить (massacrer) царскую семью”. Ворвавшаяся банда в Ц. С. могла бы привести к таким же результатам. Это так будто бы волновало Керенского, что он однажды в поезде, будучи уже во главе правительства, т.е. после июльских дней, как передает Мордвинов из первых рук, со слов людей из Ставки, воспроизводивших рассказ зятя Керенского полк. Барановского, “как иступленный” бегал по коридору в вагоне и в неопикуемой тревоге выкрикивал: “Нет, их убьют... убьют... Их надо спасти во что бы то ни стало...”

<sup>198</sup> Забыв о своей телеграмме 12 июля, Бьюкенен по-иному толкует вопрос в воспоминаниях, написанных после торжества большевиков: “Перевод Е. В. в Тобольск... был, главным образом, вызван желанием защиты их от опасности, которой они могли подвергнуться в случае успешности большевистского восстания, и, конечно, нет никакого сомнения, что, если бы они остались в Царском, они ненамного пережили бы октябрьскую революцию”.

Da ist der Hund begraben. История последующего месяца революции весьма отчетливо показывает, что главным и основным мотивом вывоза царской семьи все-таки был несомненно преувеличенный страх перед контрреволюционным бродилом, которое представляла собой (особенно в июле) “позолоченная тюрьма” в Царском Селе. Устранить это бродило, не допустив при изменении вошедшего в обиход status quo эксцессов, и было целью руководящего ядра в правительстве. Так и объяснил впоследствии (6 августа) почти официально в беседе с представителями газет заместитель председателя, член правительственного “триумvirата”, Некрасов: “Решение было принято Врем. Прав. в середине июля, в то время когда прорыв на фронте мог угрожать Петрограду. Временное Правительство признало, что для большей изоляции б. царской семьи от контрреволюционных сил, а равно и от эксцессов революции, лучше, чтобы б. царская семья находилась в более отдаленном от Петрограда месте”<sup>199</sup>. Довольно показательна дата – 7 июля, когда член правительства почему-то крайне спешно счел нужным в день отставки премьера осведомить иностранных дипломатов о принятии решения относительно Царя. Самый факт осведомления не служит ли доказательством того, что английские разговоры по существу не были завершены? Очевидно, решение могло быть принято только по возвращении Керенского, прервавшего свою поездку по фронту в связи с событиями, разыгравшимися на улицах столицы, – он вернулся в 6 час веч. шестого июля. Трудно уяснить себе непосредственной причины, вызвавшей столь экстренное решение. Предусмотрительность была чрезмерная. О возможности приближения к Петербургу немцев, только что начавших свое наступление в ответ на русское, не могло еще быть речи. (В представлении современников немцы могли использовать конъюнктуру для реставрации старой монархии и заключения мира.) В обстановке, при которой произошла ликвидация июльского большевистского мятежа, нельзя было думать о возможности, по крайней мере, немедленного рецидива: даже орган интернационалистов, горьковская “Новая Жизнь”, писала 7 июля, что прибывшие с фронта войска были так “зверски” настроены, что рвались броситься на заводы и фабрики с целью расправиться с бунтовщиками. Объяснение скорее приходится искать в том впечатлении, которое произвел на лидеров демократии размах волны поднявшихся антибольшевистских настроений<sup>200</sup>. Боязнь, что размеры движения сыграют на руку контрреволюции, помешала впоследствии вскрыть большевистский гнойник на русской революции и привела к паллиативам, которые не устранили заразы. Глава нового правительства “Спасения революции” в своих исторических изысканиях и воспоминаниях решительно отстраняет лично от себя – едва ли основательно – обвинение в подчиненности охватившему демократию гипнозу контрреволюции. Этот призрак очень реально стоял перед самим Керенским и давил на его сознание. Лишь в подобной атмосфере становится понятной смена декорации, когда захудалый Тобольск сменяет комфортабельное Царское Село и неожиданно английский мираж перевоплощается в сибирскую тайгу.

Не дошел ли действительно до тех, кто решал вопрос в ночь с 6-го на 7-е, слух о проекте, быть может, совершенно фантастического похищения Царя, который был рассказан кн. Палей Нарышкиной, к этому времени уже покинувшей Александровский дворец и записавшей рассказ в дневник от 4 июля: “Только что ушла кн. Палей. Сообщила по секрету, что партия молодых офицеров составила безумный проект: увести их ночью на автомобиле в один из портов, где их будет ждать английский пароход. Боюсь, как бы не повторился Varennes. Нахожусь в несказанной тревоге. Да и куда бежать, когда всюду расставлены мины?” Могла ли информация Палей относиться к тому случаю, о котором рассказывает

---

<sup>199</sup> “Еще раньше, 2 августа, в такой же беседе Некрасов указал, что вопрос о переводе был поднят по военно-политическим соображениям и в секретном заседании правительства был разрешен в положительном смысле.

<sup>200</sup> См. главу “Русская Дрейфусида” в книге “Золотой ключ к большевистской революции”.

Керенский? Едва ли, тем более что мемуарист в своих более ранних показаниях Соколову отмечал порчу ограды, как простой случай “неосторожности езды шофера, вызывавший лишь некоторые “разговоры” в Царском Селе”.

В последующие дня подобные проекты освобождения Царя, связанные с помыслами о возможности реставрации, уже занимают определенное место если не в действиях, то в разговорах некоторых монархических кругов. Рождается конспирация и устанавливается связь с Царским Селом... Тайное не стало тогда явным. Но неопределенные слухи все-таки ползли и влияли на ускорение реализации решения, сообщенного 7-го иностранным дипломатам. Поэтому, вероятно, Некрасов и говорил, что решение было принято в середине месяца. Заслуживает внимания факт, что в появившихся на другой день после отъезда царскосельских узников полуофициальных сообщениях, которые опирались на данные, полученные в “надлежащих учреждениях” и в беседах журналистов с представителями правительства, подчеркивалось, что реально вопрос о “переводе Николая Романова” был поставлен событиями 3 – 5 июля: “Вопрос о переводе Николая II с семьей из Ц. С. поднимался неоднократно. Целый ряд организаций, в том числе фронтовые комитеты, выносили резолюции о необходимости перевести Николая Романова в Петропавловскую крепость или в какое-либо другое место, ибо Александровский дворец при благоприятных условиях мог бы стать цитаделью контрреволюции. Петроградским советом и с. д. получены сведения о том, что б. Царь получает тайную корреспонденцию, которая доходила до него, минуя цензуру, и все попытки расследования обстоятельств получения б. Царем тайной корреспонденции ни к чему не приводили. Особенно усиленно надлежащие учреждения стали думать о переводе Николая Романова из Ц. С. после события 3 – 5 июля. После обнаружения письма ген. Гурко к б. Царю вопрос о переводе царской семьи был поставлен на очередь. Несмотря на строгую охрану Александровского дворца, в парк, где гуляет б. царская семья, в последнее время стали часто проникать посторонние лица; так, три дня назад в парке были обнаружены три солдата, которые, как потом выяснилось, проникли в парк из простого любопытства взглянуть на “господина полковника”, которого они никогда раньше не видели. Все это, вместе взятое, заставило Временное Правительство поставить на очередь вопрос о переводе Николая Романова и его семьи из Царского Села в более спокойное и отдаленное место” 201.

На чем базировались эти слухи? Из воспоминаний, показаний следователю Соколову и взаимной полемики в эмиграции двух Марковых – известного Маркова 2-го и Маркова-”маленького”, как, по-видимому, Ал. Фед. называла корнета Крымского полка (шефом его была Императрица), ездившего позднее в Сибирь в целях организации освобождения царской семьи, немного приоткрывается завеса. Марков-”маленький” рассказывает, что по инициативе его приятеля и отчасти его самого в Петербурге в первые дни революции была сделана попытка создать тайную организацию по “масонскому принципу с применением иезуитских методов работы и борьбы” из представителей офицерской, гвардейской молодежи, и что об этих начинаниях через лицо, близкое А. Ф., Дэн, было доведено до сведения заключенных в Царском Селе. В действительности это были дружеские интимные беседы небольшого кружка лиц в ожидании “дальнейшего развития событий”. Большевикское выступление и наблюдение за ходом восстания, когда революционные казаки проявили спайку и не ударили лицом в грязь, возбудили надежды мечтателей на приближение дня, когда “старый русский императорский орел снова сможет широко расправить свои могучие крылья”. По словам мемуариста, в десятых числах июля<sup>202</sup>

---

201 Газетные сообщения оговаривались, что “на все вопросы о мотивах, побудивших правительство принять решение о переводе б. царской семьи, министры отвечают уклончиво общими фразами, всячески подчеркивая, что этот вопрос продолжает оставаться чрезвычайно секретным и что решение о переводе было принято еще правительством прежнего состава, что место, куда отправлены Романовы, остается пока никому не известным”.

202 В тексте явная опечатка, когда говорится об “июне”.



состоялось в его присутствии конспиративное знакомство Маркова 2-го с Дэн на даче последней в Келломяках. Через несколько дней после встречи с Марковым 2 м, “когда в Петербурге несколько успокоилось”<sup>203</sup>, Дэн ездила в Петербург, чтобы переслать в Царское Село “кое-какие вещи, письма и книги”. “Вернулась Ю. А. из Петербурга сияющая и радостная. Оказалось, что она на одной конспиративной квартире виделась с Н. Б. (Марковым) и его деятельным помощником, В. П. Соколовым, известным петербургским деятелем “Союза Русского Народа”. Ю. А. была посвящена в детали организации... Она рассказала мне, что Марков 2 й, неподалеку от нас, около ст. “Канерва”, где он скрывался на одной из дачек... довольно часто бывал по организационным делам в Петербурге. В данный момент идет тайная мобилизация всех сочувствующих восстановлению монархии и верных присяге людей. Организован военный отдел, который вербует офицеров. Организация построена на самых конспиративных началах, причем проводятся в жизнь система троек... Вся работа направлена к тому, чтобы создать мощный аппарат, который сможет совершить в Петербурге переворот, освободив Государя... К большевистскому выступлению и движению Марков относился сочувственно, придерживаясь пословицы: чем хуже – тем лучше. Я отчетливо помню, что Ю. А. говорила мне, что предполагается отчасти использовать большевиков в том смысле, чтобы дать им возможность свергнуть Врем. Прав., а потом придушить их самих. Во всяком случае, среди большевиков Марков 2 й имел большое количество своих приверженцев. Словом, Ю. А. вынесла впечатление, что работа идет полным ходом, и все постепенно налаживается, а главное – шока бояться нечего, и ничего их Величествам не грозит. Напротив того, она будет счастлива сообщить Ее В., что, наконец, нашелся человек, беззаветно им преданный, способный действительно помочь им и взявший на себя ответственность вернуть им утраченное ими положение и права”.

“В целях конспирации Марков 2 й стал именоваться “тант Ивет” – под этой кличкой он был известен в Царском Селе”.

Приходится оставлять на ответственности повествователя детали изложения планов Маркова 2 го. Нельзя забывать, что это изложение дается по памяти в воспоминаниях, изданных в 1928 г. и написанных, судя по пометке автора, в 1923 г., когда налет от чужих суждений мог несколько ретушировать воспоминания, как ретушировал он во многих местах отклики на прошлое кн. Палей – она также утверждает, что многие монархисты надеялись на захват власти большевиками для того, чтобы низвергнуть “ненавистного Керенского”. Правдоподобно, что заговорщики могли думать о том, чтобы использовать выступление большевиков в своих целях<sup>204</sup>. “Из слов Ю. А. явствовало, – добавляет Марков С., – что большевики, укрывшиеся в Кронштадте, не дремлют, и можно скоро ожидать их решительного второго выступления”. В показаниях Соколову Марков 2 й подтвердил в общих чертах рассказ Маркова-”маленького” о свидании с Дэн: “В период царскосельского заключения Августейшей семьи я пытался вступить в общение с Государем императором... В записке, которую я послал при посредстве Ю. А. Дэн... и одного из дворцовых служителей, я извещал Государя о желании послужить царской семье, сделать все возможное для облегчения ее участи, прося Государя дать мне знать через Дэн, одобряет ли он мои намерения. Условно: посылать иконы. Государь одобрил мое желание: он прислал мне через Дэн образ Николая Угодника”. В полемике с Марковым С<sup>205</sup> он весьма скромно описывал свою тогдашнюю деятельность: “В то время наша работа состояла в собирании осколков

---

<sup>203</sup> По контексту как будто бы выходит, что свидание было непосредственно после большевистского выступления.

<sup>204</sup> Мысль, что правые через большевиков хотели свергнуть Временное Правительство, – *idée fixe* Керенского. См. мою книгу “Как большевики захватили власть”.

<sup>205</sup> “Двуглавый Орел”, 29 г.

дотла разгромленного Союза Русского народа и в посильном создании новой организации монархистов. Пока императорская семья находилась в Царском Селе, никаких планов насильственного их освобождения мы не составляли, не составляли уже потому, что по этому вопросу имели определенное и несомненное сведение, что Государь Император на такие действия своего соизволения не дает. Мысль о непосредственной опасности, грозившей их жизни, была в то время еще далека от Е. И. В. Правда, отдельные фантазеры, С. Марков в том числе, предлагали нам разные проекты “увоза” царской семьи даже помимо их воли. Один из таких вздорных, если не преступных, планов описан в книге С. Маркова, который, по-видимому, и по сей день не понимает, почему его “план” со стрельбой по часовым отравленными стрелами, штурмом Царскосельского дворца с ручными гранатами и поддельным „мертвым приговором“ царской семье – не вызвал моего сочувствия. Повторяю, вопрос о насильственном освобождении Государя и его семьи до сентября 1917 г. серьезно у нас не поднимался. И всякий здравомыслящий человек понимает, что в тогдашней обстановке войны и революции подобное освобождение, если бы оно даже удалось в Царском Селе, неизбежно привело бы к новому и опаснейшему пленению, ибо вывезти их из России без прямого содействия Англии было явно невозможно” 206.

Надежды на возможность нового выступления большевиков, если только действительно возлагались на таковое надежды в марковском окружении, были эфемерны. Июльская неудача – ликвидация “почти мгновенная”, как характеризовал ее Керенский в показаниях по “делу Корнилова” – на первых порах нанесла чувствительный удар по престижу большевиков. Это – несомненный факт, признанный Троцким. Но этим “коротким моментом” усиления авторитета власти и ослабления большевистского напора правительство “не сумело” воспользоваться, и тогдашние благоприятные условия были пропущены. Не сумело – по мнению Набокова, но, быть может, и не посмело, принимая во внимание настроения вождей революционной демократии, зараженных модной болезнью страха перед контрреволюцией. Поэтому чрезвычайно преувеличено утверждение Керенского в книге “L’&#233;xperience Kerenski”, что в июле была вырыта пропасть между большевизмом и революцией, что влияние большевиков в советах было равно приблизительно нулю: они исчезли со всех командных постов. Автор идет дальше и в воспоминаниях о конце августа по поводу слухов о готовящемся выступлении большевиков, которое выставлялось одним из мотивов Корниловского движения на Петербург, говорит, что это была выдумка заговорщиков, – большевики, скрывшиеся в подполье, не замыслили и не могли замысливать в эту эпоху восстания (Rev.). Не касаясь совершенно существа вопроса, отметим только гиперболичность заявления Керенского, переведшего большевиков на нелегальное положение. В конце июля открыто в Петербурге происходил большевистский съезд, державшийся по отношению к власти довольно агрессивно. Газеты сообщали, что в среде правительства решено к съезду применить репрессивные меры, но никаких мер в действительности не предпринималось. В докладе на съезде Сталин, выступивший от имени центр. комитета партии, говорил об увеличении числа членов партии на 2500 человек после июльской эпопеи и хвастливо заявлял, что партия представляет “весь петербургский пролетариат”. Это свидетельствовало о том, что большевики к августу стали поправляться от июльского удара<sup>207</sup>, и тогдашнему обозревателю общественной жизни в первых числах нового месяца приходится констатировать несомненный успех большевиков в Петербурге при выборах рабочих в больничные кассы<sup>208</sup>. “Итак, – заключал с. р. Воронов статью в „Рус.

---

206 Сам Марков С. изображает план, изложенный им Маркову 2 му, в виде налета на дворец, инсценировки убийства царской семьи группой анархистов-террористов, что даст возможность скрыть до времени беглецов в заранее подготовленном месте.

207 См. “Золотой Ключ”.

208 Воронов в “Русских Ведомостях” приводил некоторые показательные цифры: на заводе Лесснер из 100

Вед.“ – после июльских дней, после позора на фронте, считающей себя авангардом революции, петроградский пролетариат отдает свои симпатии большевикам, этому проявлению узкоклассового эгоизма, этому началу разложения русской революции”.

Несомненно неправильное заключение Керенского, что выступление Корнилова оживило разлагающийся труп большевизма. Но также несомненно, что в середине июля, когда окончательно решалась ближайшая судьба императорской семьи, большевистские выступления никакой опасности для царской семьи не представляли, и поэтому немногие требования, которые в порядке некоторого трафарета изредка доходили еще до правительства, большой роли не могли играть в решении вопроса.

С большей серьезностью и тревогой правительство смотрело на контрреволюционную опасность. Дело было, очевидно, не столько в тех смутных слухах, которые доходили до “надлежащих учреждений”, а в тех общих настроениях, которые стали намечаться и которые муссировались со всех сторон. Если одни (монархисты) с чувством удовлетворения и радостью подмечали явления, в которых можно было усмотреть пробивающиеся через революционный туман лучи реставрации, то другие (демократы) реально боялись этих внешних признаков назревающей реакции в обывательской толще. Часто (у либералов) грядущая контрреволюция, о которой начинают говорить слишком много и несоответственно с общим настроением страны, становится педагогическим средством воздействия на правительство – средством обоюдоострым, ибо запугивание “великим сфинксом” не только не способно было сдвинуть правительство в сторону недвусмысленной борьбы с большевизмом, но скорее усиливало его половинчатую политику. Наглядную иллюстрацию можно найти в статьях, которые стали появляться, например, в тех же “Русских Ведомостях”. Остановимся на двух из них – обе они относятся к более позднему времени, к началу августа, но подводят с большой субъективностью итог польских настроений. Воронов в статье “Грядущая реакция” (2 августа) видит кругом нарастающее “безразличие и апатию”: “После польских дней в Москве временно воспрещены уличные митинги. Теперь их не надо и запрещать, ибо, видимо, никому нет охоты снова начинать былые всеношные бдения у Пушкина и у Скобелева. Надоело... Всем и все надоело. Надоели программы и партии. Надоели брошюры и книги. Надоели митинги и дискуссии. Все стало пресным, серым, скучным, ко всему относятся, как к толчению в ступе воды...” “Реакция, пока еще духовная реакция, – вне всяких сомнений... И на творческую положительную реакцию, на здоровое движение и создание вместо утопических Chvteaux d’Espragne новой государственной жизни нет у нас, видимо, сил... Развал и апатия, банкротство не достаточно развившейся до революции общественности и продолжающаяся разруха – таков итог анархического периода русской революции, такова та почва, на которой чрезвычайно легко может распуститься махровым цветом доподлинная политическая реакция...” “И, быть может, недалек день, – заканчивал публицист свои пессимистические прогнозы, – когда национальное правительство спасения родины и революции увидит вокруг себя пустыню равнодушия и бессильно падет от удара, нанесенного каким-нибудь предприимчивым авантюристом”.

Другой публицист, “народник” Белоруссов в статье “Тень, выступающая из тумана” (6 авг.) знакомил с письмами, которые он стал получать от читателей с почти открытым выражением “монархических идей” и с разговорами, которые стало возможно слышать в трамвае, в вагоне жел. д. и т.д. “Сегодня стали возможны уличные сценки, когда “бравый волынец”, активный участник первых дней революции, громогласно заявлял в вагоне трамвая: “Никакого порядка нет, одно безобразие... без Императора не обойтись, надо назад поворачивать“. Важно то, что эти “трамвайные открытые разговоры никого в трамвае не возмущают”. “Были ли они возможны месяца два тому назад? Пять месяцев назад, – отвечал в Гос. Думе Шульгин, – того, кто осмелился бы сказать против революции, растерзали бы на

---

уполномоченных – 80 большевиков, на заводе Эрикссон на 60 уполномоченных – 39 большевиков, на “Треугольнике” – 70 большевиков на 100 уполномоченных...

части”. Другая бытовая сцена на перегоне из Петербурга в Москву, когда в вагоне при участии чуть ли не всех пассажиров публика обсуждала вопрос о восстановлении монархии. И один прямо сказал: “Идем к NN”, – и назвал... имя, которое теперь у многих на устах.

В свою очередь, обер-гоф. Нарышкина записывает 12 июля: “Вечером был Рохлин, сказал, что монархическое движение крепнет и что, вероятно, вскоре произойдут перемены”. Сама Нарышкина не очень верит такой возможности: “Монархическая реакция, – записывает она 22 го, – по моему, сейчас невозможна; нет ни кандидата, ни организации. Лишь даром прольются потоки крови. Позднее да”<sup>209</sup>. Но кандидат уже готовится в некоторых кругах конституционных монархистов, не склонных реставрировать на престоле Николая II. Готовится и соответствующая “организация”. Деникин рассказывает, что в интимной беседе при посещении им Ставки в конце июля ему было Корниловым сообщено: “Ко мне на фронт приезжал Гучков. Он все носится со своей идеей переворота и возведения на престол в. кн. Дмитрия Павловича. Что-то организует и предложил совместную работу. Я ему заявил категорически, что ни на какую авантюру с Романовым не пойду”<sup>210</sup>. Не трудно определить и “организацию”, которую пестовал б. военный министр революционного правительства. Это были те “кружки фрондирующих молодых людей”, по выражению Деникина, “играющие в заговор”, которые в конце июля объединились в военно-политическую группу под названием “Республиканский центр”. Этот “центр” первоначально ставил своей целью “помощь Временному Правительству”, а потом, убедившись “в полном бессилии правительства”, перешел на стезю борьбы с ним, участвуя в “подготовке переворота”. В июльские дни, – авторитетно свидетельствует Деникин, – “Республиканский центр” получил денежную поддержку от “банковской и торгово-промышленной знати” – то был негласный комитет, возникший по инициативе Путилова и при непосредственном содействии Гучкова. О нем упомянул Гучков в воспоминаниях, печатание которых в “Пос. Нов.” после начавшейся полемики неожиданно было прервано. “Чтобы официально оправдать наше существование, – говорит Гучков, – мы назвали себя “Обществом экономического возрождения России”. На самом деле мы поставили себе целью собрать крупные средства на поддержку умеренных буржуазных кандидатов при выборах в Уч. Собрание, а также для работы по борьбе с влиянием социалистов на фронте. В конце концов, однако, мы решили собранные нами средства передать целиком в распоряжение ген. Корнилова для организации вооруженной борьбы против Совета р.с. депутатов”. Это было уже в августе. Роль “путиловского” комитета в предкорниловские дни теперь более или менее выяснена. В июле, конечно, все было в зачаточной форме<sup>211</sup>. В “Республиканском центре” и психологические и политические настроения переплетались довольно своеобразно, и поэтому едва ли уместно говорить об “Азефах” и предателях, как это делает Деникин. Сомнительный метод регистрации, примененный автором<sup>212</sup>, едва ли соответствовал реальному положению дел. Патриотические задания организации внешне во всяком случае прикрывали закулисную

---

<sup>209</sup> Эту запись Нарышкина делает после встречи с Керенским в саду Зимнего Дворца. Нарышкина с большой надеждой смотрела тогда на Керенского. Керенский и Корнилов, они “вдвоем сыграют роль Наполеона – один в армии, другой во внутреннем управлении, и спасут страну”.

<sup>210</sup> Статья “Об исправлении истории”. В “Очерках русской смуты” Гучков значится под титулом Н.

<sup>211</sup> Первое заседание объединенного центра, по-видимому, произошло 31 июля.

<sup>212</sup> Деникин на основании одного из “коллективных обращений” к ген. Корнилову 31 июля перечисляет 10 организаций, весьма разнокалиберных по своему удельному весу, вошедших в состав военной секции “Республиканского центра”: Военная лига, Союз георгиевских кавалеров, Союз воинского долга, Союз чести Родины, Союз добровольцев народной обороны, Добровольческая дивизия, Батальон свободы, Союз спасения Родины, Общество 1914 г., “Республиканский центр”.

сторону и привлекали не только “фрондирующую молодежь”, возможно идейно и находившуюся в той или иной связи с “Республиканским центром”, помышлявшую о “заговоре”. Но и элементы, которые не отталкивались от революции. К этому центру, чтобы быть в курсе “господствовавшего... настроения”, приписался и Марков-”маленький” “по поручению” Маркова 2 го: “Так я сделался, – вспоминает он, – членом Союза Георгиевских кавалеров, членом Военной лиги, членом Союза воинского долга, членом Демокр.-Респуб. центра, секретарь которого, между прочим, при первом знакомстве со мной сказал: “Подождите, корнет, скоро и на нашей улице будет праздник, скоро, скоро запоем мы – “Боже, Царя храни...” Я был зачислен еще к целому ряду более мелких организаций, не имевших особого наименования и считавших себя конспиративными”. Монархическое знамя оставалось, конечно, свернутым, поскольку намечавшаяся “конспирация” <sup>213</sup> монархистов выходила на публичную арену общественной борьбы. “Духовная реакция, отмеченная некоторыми наблюдателями тогдашней общественной жизни, все же была еще далека от реального сочувствия монархической реставрации. Можно согласиться с Деникиным, писавшим впоследствии по поводу планов Гучкова: „Самые убежденные монархисты ее могут не признать, что подобное предприятие 1917 г. иначе, как авантюрой, нельзя было назвать, и что кадров для ее подготовки и исполнения невозможно было найти ни в стране, ни в армии“ <sup>214</sup>. В военной среде, наиболее затронутой крушением фронта и находившейся больше всего во власти психологии “оскорбленного патриотизма” (выражение, употребленное Керенским в показаниях по “делу Корнилова”), июльские настроения выливались в признании спасительной формы военной диктатуры. Призрак “генерала на белом коне” висел в воздухе. “Страна искала имя” – несколько сильно сказано у Деникина. С назначением Корнилова верховным главнокомандующим “все искания” прекратились – “страна” назвала имя диктатора. Но не будем переходить грани, отделяющие нас от дней, предшествовавших “корниловскому мятежу”, когда на сцену выступила организующая роль Главного Комитета Офицерского Союза в Ставке, Совета Казачьих Войск и т.д. Нас ведь интересуют настроения до 1 августа, поскольку они могли сыграть решающую роль в переводе царской семьи в Тобольск.

Со своей стороны и Керенский *post factum* заявлял, что опасность “справа” была “ничтожна”. В своих показаниях по “делу Корнилова” он давал совсем иную характеристику общественных переживаний по сравнению с тем, что отмечал цитированный выше наблюдатель из “Рус. Ведомостей” (однопартиец Керенского). Керенский усматривал “чрезвычайное единодушие всех слоев русского общества и единство понимания условий момента в руководящих правительственных и общественных кругах... Начиналось время чрезвычайного отрезвления народных масс, быстрого роста в них государственного сознания и чувства ответственности, время небывалого падения в массах влияния анархобольшевизма”. Не будем оспаривать ни той, ни другой точки зрения – вернее, субъективных восприятий. Во всяком случае, официальные представители “революционной демократии” опасность справа видели и считали военную диктатуру переходной стадией к монархической реставрации, тем более что тогдашние яростные защитники “сильной власти” в форме военной диктатуры (органы сыновей Суворина – “Народная Газета”, “Русь”, “Вечернее Время”), при всем своем демократическом оперении, по части демократизма не грешили и доверия в этом отношении к себе не вызывали. Резко выразил настроения руководящих кругов “революционной демократии” эсеровский публицист С. А-нский (в статье “Спасители России”, нач. августа), не принадлежавший к крайнему течению, в

---

<sup>213</sup> Нарышкина тем не менее отметила 31 июня (конечно, по слухам) какие-то монархические прокламации в Ялте.

<sup>214</sup> Если только поверить показаниям Завойко, то в некоторых кругах, близких ему, предполагалось предать суду Ал. Фед. за “измену”.

партийном органе “Дело Народа”: “Контрреволюция... с каждым днем все более нагнет. Везде уже чувствуется ее зловонное дыхание. Из всех щелей уже глядят ее алчные взоры”.

Объективное положение вещей как нельзя лучше можно охарактеризовать телеграммой, посланной Бьюкененом Бальфуру 21 июля, на основании беседы с Терещенко, который “выразил очень пессимистический взгляд на положение и заявил, что он впервые совершенно не в состоянии сказать, что может случиться...<sup>215</sup> Ждать психологического момента, прежде чем настаивать на принятии правительством чрезвычайных шагов, но теперь момент этот наступил, и если правительство не сделает их, оно будет вынуждено уступить место контрреволюционерам”. Приблизительно в это время, как утверждает Керенский, он уже получил “точные сведения об офицерском заговоре”. В это время на очередном частном совещании членов Гос. Думы раздалось требование “созыва настоящего заседания Государственной Думы”, а не какого-то “подпольного”, на котором правительство явилось бы “целиком и доложило о состоянии страны. И тогда уже Гос. Дума укажет этому правительству, что делать”. На казачьем съезде Милюков говорил про большевиков, что “пора с этими господами покончить”, а на фронте уже распространились слухи, что Керенский арестован казаками (дн. Селиванова).

Мы имеем полное право сказать, что в эти июльские дни глава правительства и, вероятно, большинство членов его большую опасность для себя усматривали со стороны контрреволюционной (в смысле реставрации), нежели выступления большевиков-коммунистов. Недаром Керенский в объединенном заседании ВЦИК и И. К. Кр. Деп. еще 13 июля “от имени Временного Правительства” давал “торжественное обещание, что всякая попытка восстановить в России монархический образ правления будет подавлена самым решительным образом”<sup>216</sup>. В конце июля (опубликовано было в газетах лишь 2 августа) особым постановлением правительства в целях прекращения враждебной революции агитации, как отмечалось уже выше, было предоставлено министру вн. дел, по соглашению с министром юстиции, заключать под стражу лиц, деятельность которых является особо угрожающей завоеваниям революции, свободы и установившемуся государственному порядку, и высылать этих лиц в особо указанные для сего местности и за границу. Против кого направлена была эта мера? В полуофициальных, так сказать, комментариях газет, с ссылкой на мнения членов правительства, как обычно тогда делалось, указывались как бы две категории лиц, на которые должен был распространяться закон: 1) представляется совершенно необходимым применить к большевистскому съезду репрессивные меры, так как установлено, что большевистский съезд находится в постоянном контакте с лицами, привлеченными к суду по обвинению в государственной измене; 2) правительство обеспокоено все усиливающимся числом случаев проявления контрреволюционных тенденций и считает необходимым принять самые строгие меры к прекращению безответственной агитации некоторых органов печати, а также деятельности некоторых общественных деятелей, которые угрожают новому строю. Предполагается не только закрыть ряд изданий, но и применить по отношению к активным руководителям этих газет закон об изгнании за границу лиц, признанных враждебными новому строю. Тот же закон, как передают, будет применен к ряду лиц, имена которых часто упоминались в связи с последними совещаниями Гос. Думы. Опубликование правительственного распоряжения и официальные комментарии к нему не удовлетворили тогда представителей “революционной демократии”, и деятельность правительства подверглась резкой критике в заседании бюро ВЦИК 4 августа в связи с обсуждением вопроса об участии в созываемом в Москве Государственном совещании. “Мощь Совета ослабляется, – говорил докладчик Богданов. – Правительство ведет какую-то непонятную политику. Не выполняет принятых на себя

---

<sup>215</sup> К сожалению, телеграмма плохо расшифрована, но смысл цитат понятен.

<sup>216</sup> Он приблизительно повторил то же в заседании ВЦИК 4 августа.

обязательств... Юстиция действует односторонне: вся твердость власти применяется к большевикам<sup>217</sup>, а реакционные элементы получают послабление... Правительство не проявляет достаточной твердости по отношению к контрреволюционной агитации". Коалиционное правительство действительно занимало или вынуждено было занять ту же балансирующую позицию, что и Временное Правительство первого состава. Но факт остается фактом. Большевистский съезд никаким репрессиям не подвергся, никто из большевиков не был выслан по новому закону, но этот закон в августе был применен к монархической группе лиц (правда, как увидим, в очень странной комбинации)...

Все описанное в совокупности заставляет предполагать, что приведение в исполнение решения правительства об отправке царской семьи в Тобольск было вызвано в большей степени опасениями выступления монархической контрреволюции, нежели большевистской. Некоторые последующие факты, касающиеся Царя и относящиеся ко времени тобольского периода, подтверждают вполне такое предположение. Версия Коковцева, что правительство озабочилось отъездом Николая II потому, что "крайние элементы совдепа не скрывали своих страшных замыслов", должна быть отброшена.

### 3. Случайность ли?

Почему местом нового жительства для императорской семьи был избран Тобольск? "Если я выбрал Тобольск, – пишет Керенский в своей книге, посвященной судьбе династии, – то исключительно потому, что это было место совершенно изолированное... с маленьким гарнизоном, без промышленного пролетариата и с населением, благоденствующим и довольным своей участью... Я узнал, что климат в этом крае великолепный, город спокойный, в котором царская семья сможет жить в сравнительно комфортабельных условиях. Кроме того, – подчеркивает Керенский, – Тобольска можно было достигнуть северным путем, минуя области густонаселенные"<sup>218</sup>. Только ли этими соображениями руководился правительственный триумvirат или лично Керенский? Сообщая о мотивах, изложенных Керенским при свидании с Царем, Жильяр добавляет, что "утверждали, что это было проявлением слабости в отношении к крайним левым, которые были обеспокоены ввиду зарождавшегося в армии движения, благоприятного Государю, – и требовали ссылки в Сибирь". Случая подобного требования в левых кругах мы отметить не можем, если не считать тех безответственных суждений, которые были упомянуты. Инициатива всецело принадлежала правительству или руководящему в нем ядру. Можно было бы предположить, что правительство проявило лишь большую психологическую предусмотрительность, "благоразумие", как выразился корреспондент "Times" Вильтон, учитывая, что в "левых" кругах переезд императорской семьи в Сибирь не вызовет реакции, ибо этот переезд будет рассматриваться как ссылка<sup>219</sup>. (Так в действительности и произошло.) Цель будет достигнута – царская семья будет гарантирована от эксцессов, а потом явится возможность перевезти ее за границу. Последнее утверждал Керенский в своем парижском докладе 36 г. и в одновременном интервью, данном сотруднику "Пос. Новостей": "Я думал, что весной Царя можно будет вывезти из России дальним путем через Японию и Америку. К сожалению, в результате свержения Временного Правительства мне не удалось осуществить этот план". Утверждение несколько странное и более чем самоуверенное, –

---

<sup>217</sup> Как раз в этот день был освобожден Каменев.

<sup>218</sup> Здесь Керенский как бы отвечает на недоумение Соколова, почему царскую семью нельзя было перевезти в Крым, но можно было это сделать по отношению к Тобольску.

<sup>219</sup> Припомним рассуждения Мстиславского на тему, что мистика монархии в народном сознании может быть уничтожена лишь унижением. "Какое унижение", – записала Нарышкина 1 августа.

Керенский как-то забывал, что в промежутке должно было собраться Учред. Собрание. “Хозяину Русской Земли” надлежало уже разрешить вопрос, и отнюдь не предугадано было ходом событий, что исполнителем велений Учр. Собр. будет та же исполнительная власть во главе с Керенским, которая вывезла царскую семью в Тобольск. В инструкции Врем. Правит., данной 21 августа шлиссельбуржцу Панкратову, который был назначен “комиссаром по охране бывшего Царя Ник. Ал. Романова, его супруги и их семейства, находящихся в г. Тобольске”, ничего не было сказано о сроке действия инструкции, но сам Панкратов не сомневался, что “ответственность перед родиной на него возложена до Учр. Собрания, которое решит дальнейшую судьбу Царя” (его речь “отряду особого назначения” по прибытии в Тобольск). С нетерпением ждали Учред. Собрания и “царственные пленники”, как называет в воспоминаниях Панкратов заключенных в тобольском губернаторском доме. В своем дневнике Бенкендорф утверждает, что в день отъезда из Царского Села Керенский якобы сказал ему, что по окончании Учр. Собрания императорская семья сможет вернуться в Царское Село или куда захочет. “Он не открывал истинную свою мысль”, – добавляет автор дневника.

Думаю, что никаких реальных предположений об отвозе царской семьи “весной” 18 г. у правительства не было в момент, когда оно отправляло бывшего монарха фактически в сибирскую ссылку. Являлась ли у него мысль этой “ссылкой” по существу парализовать пропаганду монархистов<sup>220</sup> или только внешней формой предупредить возможную оппозицию со стороны советов к выезду из Царского Села? При не вполне искренних и не откровенных мемуарных показаниях Керенского, конечно, с полной категоричностью сказать нельзя. Вероятно, позиция правительства была несколько двойственная. Трудно в Тобольске видеть только “случайность”, как выражался Керенский. Следователь Соколов пришел именно к тому выводу, который Керенский приписывает “некоторым монархистам”. Если это была “случайность”, то она показывает, как необдуманно принималась мера, продиктованная якобы необходимостью и подвергавшаяся неоднократному обсуждению. Тобольск был тихим, захолустным городом, но Тобольск был и родиной прославленного “старца”, слишком тесно в недавнем прошлом связанного с царской семьей. Элементарный такт требовал выбора другого города, если действительно нарочито не хотели подчеркнуть былую связь<sup>221</sup>. С Тобольском оказалась связана и другая “случайность” (*singuliere coincidence* – по выражению Керенского), которая могла способствовать осложнениям, – епископом Тобольска был в это время знаменитый Гермоген, страстный ненавистник “Гришки”, подвергшийся за это опале, но и фанатик монархизма, человек бурно-пламенного темперамента, в своем лице воплощавший в XX веке образ Никиты Пустосвята. Даже Ал. Фед. показалось “странным, что Гермоген здесь епископом” (позднейшая запись Вырубовой).

#### 4. Отъезд

В ночь на 1 августа царская семья в большом секрете, по крайней мере по внешней

---

<sup>220</sup> Керенский отстраняет, конечно, утверждения “некоторых монархистов”, что единственным мотивом выбора Тобольска было желание правительства заплатить Царю той же монетой и отправить его в Сибирь, куда раньше ссылали революционеров. Дело шло не о проявлении “чувства мести”, ибо в случае желания отомстить вовсе не надо было организовать тобольское предприятие, когда под рукой была Петропавловская крепость, или еще проще – Кронштадт”. Замечание Керенского, может быть, и правильно, но ему можно возразить, что правительство ни при каких условиях не могло пойти на такую комбинацию, шедшую вразрез с европейским общественным мнением.

<sup>221</sup> Для Маркова С., передавшего, очевидно, суждения круга, в котором он вращался, выбор Тобольска объясняется желанием унизить отправкой на родину Распутина, с именем которого связывалась “грязная, возмутительно-лживая легенда”.



обстановке, под непосредственным руководством министра-председателя была вывезена из Царского Села. Керенский пишет: “Мы сделали все приготовления к отъезду в самом большом секрете, так как малейшая гласность могла породить всякого рода препоны и осложнения. Место назначения для императорской семьи не было известно даже всем членам Временного Правительства. На деле было только пять или шесть человек во всем Петербурге, которые знали его. Легкость и успех, о котором мы подготовили и осуществили отъезд, служит доказательством, насколько положение Временного Правительства укрепилось к августу. В марте или апреле было бы невозможно изменить местопребывание Царя без бесконечных споров с советами и т.д. Напротив, 1 августа Император и его семья уезжали в Тобольск по моему личному решению и с согласия Временного Правительства. Ни советы, ни кто-либо другой не были осведомлены, они узнали об отъезде после совершившегося факта” (Rev.). Описание, данное Керенским, вызывает одновременно и большие недоумения, и сомнения в точности того фотографического снимка, который он дал в воспоминаниях. В отношении увозимых по не совсем понятной причине секрет сохранялся действительно почти полный. Мы знаем уже, что впервые 28-го Царь от Бенкендорфа узнал, что семья направляется не в Ливадию, а в один из губернских городов в трех или четырех днях пути на восток. Об этом сам Бенкендорф, предуведомленный о времени отъезда еще 25 го, узнал только в тот же день, когда его вместе с комендантом посетил Макаров. Бенкендорф из “намеков” понял, что имеется в виду Тобольск. До этого момента Бенкендорф сперва был убежден, что семья будет переправлена в Крым, так как Керенский 11 го, по словам Бенкендорфа, признал такой проект осуществимым и просил даже Царя готовиться к нему. Правда, сомнение было, так как комендант 16-го говорил ему об отправке на Урал, и Нарышкина записала в дневник: “30-го – у меня был Боткин... Не знает, ни куда их отправляют, ни когда”, 31-го – сегодня их увозят. Просила разрешения проститься – отказали. Кажется, едут в Тобольск, хотя никто ничего не знает, и все молчат. 1 августа – ...Их увезли... Выяснилось окончательно: их везут в Тобольск... Никому, даже Государю, не сообщили, куда их везут. Был раньше разговор о Крыме, соответственно чему и упаковались, но за два дня до отъезда было объявлено, что едут не на юг и что надо взять с собой все теплое. Сказано было также, что надо запастись провизией на пять дней. Только по этим признакам можно было догадаться, что цель путешествия – Сибирь...” По словам Жильяра, 30-го Кобылинский сообщил ему “под большим секретом”, что семью переселяют в Тобольск.

В день отъезда или накануне (“все уложено, пустые комнаты”) Ал. Фед. написала Вырубовой прощальное письмо, в котором говорила: “Нам не говорят, куда мы едем (узнаем только в поезде) и на какой срок, но мы думаем, что туда, куда недавно ездили, – Святой зовет нас туда и наш друг”. Это предчувствие заставляло Ал. Фед. верить в “будущие хорошие времена”. “Императрица владеет собой и продолжает надеяться”, – записывает Нарышкина. “Несмотря ни на что, рада ехать в домашнюю сферу их dear friend. Ничего не изменилось в ее mentalite” 222.

В действительности увоз семьи и даже самое место назначения было до некоторой степени секретом полишинеля, как это видно хотя бы из того же дневника Нарышкиной. Еще 16 июля она отметила сведения, полученные ею через кн. Палей. Последняя сказала, что “обычно хорошо осведомленный англичанин сообщил им вчера, будто обитатели Александровского дворца в ночь с четверга на пятницу взяты и увезены в Тобольск!” “Я энергично возражала, но подобные слухи доказывают, что эта идея носится в воздухе”. На другой день: “Оказывается, известие об увозе Государя идет из Яхт-Клуба, об этом сообщил Урусов, адъютант. Это доказывает, что это был решенный план”. В момент, когда приблизился реальный срок отправки, слухи, хотя и противоречивые и неопределенные,

---

222 Вспоминая впоследствии “ужасное 17 число” (т.е. убийство “старца”), А.Ф. высказывала глубокую убежденность, что “и за это тоже страдает Россия” (Письмо Вырубовой 10 декабря).

распространяются достаточно широко. Нарышкина отмечала 28 го: “Вся прислуга (в госпитале Зимнего Дворца) толкует об отъезде Государя. Попросила к себе Гебеля. Он был очень сдержан, но слух подтвердил. Говорят, их перевозят в понедельник в 2 часа по полуночи и отправляют в Ипатьевский монастырь в Кострому”.

В таких условиях довольно трудно себе представить, что только 5 – 6 человек во всем городе знали о месте, куда перевозят царскую семью, – это знали, по словам Керенского, даже далеко не все министры<sup>223</sup>. В противоречивом изложении Керенского остается совершенно неясной роль правительства в его целом. С одной стороны, вывоз произошел по личному решению министра-председателя, но с согласия правительства (“La Rev. Russe”), с другой, – утверждает тот же Керенский, – “вопрос об императорской семье никогда не обсуждался в совете министров” (“La Verite”). О первоначальном решении знали только Львов и “триумvirат”. В “тобольский план”, сообщенный иностранным дипломатам, “абсолютно” не было посвящено большинство министров; после ухода кн. Львова и преобразований кабинета все осталось в том же положении. Политики, вошедшие в состав министерства после июльского кризиса, проявили удивительное отсутствие любопытства, граничащее с пассивностью. Принимая 1 августа представителей печати, новый министр юстиции Зарудный объяснил эту странную черту весьма своеобразно: “Распоряжение о переводе состоялось по постановлению прежнего правительства в его старом составе, поэтому я точно не знаю мотивы. Так как мы считаем, что правительство едино и что между всеми составами правительства есть преемственность, то постановление прежнего правительства приводится в исполнение. Во всяком случае, я считаю постановление о переводе по существу правильным. Перевод б. царской семьи правительство поручило министру-председателю”.

Об отъезде царской семьи не было известно никому в Советах – утверждает Керенский. И опять это представляется весьма сомнительным. В упоминавшемся газетном сообщении 2 августа, составленном “на основании бесед с министрами” и пр. и в силу этого, конечно, неточном, отмечалось, что “день и час отъезда держались в строжайшем секрете, и только немного лиц из царскосельской охраны и представителей Исполнительного Комитета Совета Р. С. Д. знали о предстоящем отъезде”. Тогдашняя газетная информация подтверждалась последующим показанием Кобылинского следователю Соколову, нарисовавшего картину, которая наглядно показывала, что “строжайший секрет” в сущности был пуфом. “Приблизительно за неделю до отъезда семьи из Царского к нам приехал Керенский, – повествует Кобылинский, – вызвал меня, председателя Совета и председателя военной секции Царскосельского гарнизона пр. Ефимова (он был в составе второго полка). Керенский сказал нам следующее: “Прежде, чем говорить вам что-либо, беру с вас слово, что все это останется секретом”. Мы дали слово. Тогда Керенский объявил нам, что по постановлению Совета министров вся царская семья будет перевезена из Царского; что правительство не считает это секретом от демократических организаций... что с царской семьей поеду я, Кобылинский. После этого я ушел, и Керенский вел какие-то свои разговоры с представителем совдепа и Ефимовым. Приблизительно через час я увидел Керенского и спросил его, куда же мы поедем. При этом я сказал, что нужно же предупредить семью, чтобы они могли уложиться. Керенский ответил мне, что это сделает он сам, и отправился во Дворец. Там он один на один разговаривал с Государем. Мне же на мой вопрос, куда и когда мы едем, Керенский так и не дал ответа. После этого первого раза я видел Керенского 2 – 3 раза и каждый раз спрашивал его, куда же мы едем, какие вещи брать семье. Керенский не отвечал на мой вопрос и сказал только: “Передайте, что надо побольше брать теплых вещей”. Приблизительно дня за два до отъезда Керенский вызвал меня к себе и приказал мне составить отряд из первого, второго и четвертого полков, которые несли охрану, и назначить офицеров в роты. “Назначение” нужно было понимать в то время в особом смысле. Конечно,

---

<sup>223</sup> Марков 2 й говорил, что их организация также предупредила Царя о готовящемся увозе его в Тобольск.

“мы” назначить уже не могли... Боясь, что в офицерский состав, попадет элемент недостойный, я просил Керенского разрешить мне самому выбрать на каждую роту по 5 офицеров, а из них 2... пусть выбираются солдатами... В тот же день вечером я позвал к себе полковых командиров и председателей полковых комитетов. Я сказал им: “предстоит секретная и очень важная командировка; место и цель ее мне неизвестны. Пусть каждый полковой командир выберет роту в 48 рядовых при двух офицерах”. При этом я передал список офицеров, составленный мною, из числа коих надлежало сделать выбор... Командиры полков и полковых комитетов первого и четвертого полка ответили: “Слушаюсь!”<sup>224</sup> Председатель же полкового комитета второго полка... солдат... сказал мне: “Мы уже выбрали. Я знаю, какая предстоит командировка... Мы уже выбрали пр. Деконского”. Этот самый прапорщик Д. офицерами был изгнан из состава четвертого полка; это решение офицеров подтвердили и солдаты своим решением. Тогда второй полк принял в свою среду этого Деконского. Уже тогда это был несомненный большевик<sup>224</sup>. Когда я услышал, что именно он выбран, я сказал председателю Комитета, что Деконский ни в коем случае не поедет. Он мне ответил: “Нет, поедет”. Я принужден был отправиться к Керенскому и сказал ему категорически, что, если поедет Деконский, я не поеду; что он, Керенский, как военный министр, может предупредить эту возможность. Керенский приехал в Царское, вызвал председателя Комитета, и пошли у них пререкания. Керенский стоит на своем, председатель отвечает военному министру: “Деконский поедет”. Рассердившись, Керенский прикрикнул: “Я вам приказываю”. Тот подчинился и ушел. Но, когда назначенные уже солдаты узнали, что Деконский не поедет, они тоже отказывались ехать...” “29 июля я был у Керенского... Я застал у него Макарова. Из их разговора я впервые только и узнал тогда, что семья переводится в Тобольск. В тот же день Макаров послал распоряжение... приготовить состав поезда к 2 часам ночи на 1 августа... 30 июля ко мне прибыл командующий войсками округа прап. Кузьмин, какой-то полковник и какой-то штатский чин. Под видом проверки караула Кузьмин с полковником пошли ко дворцу и, спрятавшись в комнате, обращенной дверью в коридор, имели терпение целый час ждать, когда кончится служба (молебен по случаю рождения наследника), чтобы посмотреть царскую семью, когда она пойдет к себе коридором... В тот же день была у меня Маргарита Хитрово и закатила мне истерику, обвиняя меня в том, что я скрываю, что хотят сделать с семьей, что ее хотят заточить в крепость и т.д. В этот же день мне телефонировал Керенский, что в 12 час. ночи на 1 августа он будет в Царском и скажет отряду прощальное слово”.

Всех этих черт Керенский не счел нужным отметить в воспоминаниях, хотя книга его “La V&#233;rit&#233;” появилась через несколько лет после опубликования показаний Кобылинского, которыми он пользуется лишь для того, чтобы воспроизвести свою речь солдатам, входившим в охрану, которая должна была сопровождать отъезжавшую семью. Но, быть может, важнее то, что Керенский замолчал факт сопровождения царского поезда в Тобольск, наряду с назначенными правительственными комиссарами Вершининым и Макаровым, и прапорщиком Ефимовым “для того, чтобы он, по возвращении из Тобольска, мог доложить совдепу” о перевозе царской семьи в Сибирь<sup>225</sup>. Этот именно факт привел следователя Соколова к слишком категорическому выводу, что “был только один мотив перевоза царской семьи в Тобольск” – “далекая холодная Сибирь, тот край, куда некогда ссылались другие”.

Обстановка, в которой происходил отъезд, конечно, была напряженная. Автор предисловия к книге Керенского, основываясь исключительно на показаниях этого

---

<sup>224</sup> То был примкнувший к левым с.-р. близкий Спиридоновой человек, оказавшийся агентом-провокатором Охр. Отделения при старом режиме.

<sup>225</sup> Кобылинский отмечает, что Ефимов помещался в отдельном купе, так как с ним “никто не изъявил желания ехать вместе”.

мемуариста, рисует эту напряженность, как следствие настроения революционных масс в Петербурге и Царском Селе. Для проф. Пэrsa несомненно, что Керенский своими личными действиями (он провел всю ночь в Царском, наблюдая за отъездом) сохранил царскую семью надолго после своего собственного падения. Оставим в стороне кроваво-жадные чувствования революционных масс – английский ученый в подтверждение своего тезиса не мог ничего привести другого, кроме описания, со слов Керенского, посещения Царского “бандой солдат” – эпизода с Мстиславским. Боялся ли Керенский действительно появления какой-либо революционной банды, которая сорвала бы решение правительства, ожидал ли он противодействия большевистски настроенной части гарнизона и железнодорожных рабочих при реализации предприятия, о котором не был осведомлен руководящий орган революционной демократии? Не играло ли значительной роли в напряженности, с которой организовался отъезд, опасение какой-нибудь монархической эскапады, которая могла бы подвергнуть семью реальной опасности? Чтобы ответить на эти вопросы, проследим фактическую канву, насколько мы ее знаем.

“31 июля, – продолжал в своих показаниях Кобылинский, – прошел у меня в приготовлениях к отъезду. Память мне не сохранила ничего выдающегося за этот день... В 12 час ночи приехал Керенский. Отряд был готов. Поехали мы с ним в первый батальон. Керенский держал к солдатам такую речь: “Вы несли охрану царской семьи здесь. Вы должны нести охрану и в Тобольске, куда переводится царская семья по постановлению Совета Министров. Помните: лежачего не бьют. Держите себя вежливо, а не по-хамски. Довольствие будет выдаваться по петроградскому округу. Табачное и мыльное довольство – натурой. Будете получать суточные деньги...” “Я не могу утверждать, – добавляет сам Керенский, – что люди в казармах были все удовлетворены. Слухи об отъезде уже распространились, и многим новость эта абсолютно не нравилась. Некоторые части гарнизона были под сильным влиянием пропаганды крайних и считали, что правительство относится слишком терпимо к бывшему Царю”. Казалось бы, министру-председателю надлежало свое умелое красноречие направлять как раз в сторону тех, кто был распропагандирован большевистской агитацией и скептически относился к политике правительства в отношении заключенных. Произошло нечто противоположное. Почему? Сказав речь в первом и четвертом батальоне, Керенский не пошел во второй – т.е. в тот, который входил в состав полка, избравшего прап. Деконского, и в который попали, по мнению Кобылинского, “наиболее дурные элементы”. “Считаю нужным отметить, – пояснял Кобылинский, – что условия, в которые были поставлены солдаты первого и четвертого полков, были иные, чем условия, поставленные для солдат второго полка. Первые были одеты с иголки, и обмундирование у них было в большом количестве; солдаты второго полка, вообще-то худшие по своим моральным свойствам, были в грязной одежде и обмундирования у них было меньше. Эта разница... имела впоследствии большое значение!

226

В то время как Керенский обходил казармы, во дворце делались последние приготовления к отъезду. Тогда под свою “личную ответственность” Керенский разрешил (кто же мог разрешить, кроме Керенского, который распоряжался совершенно самовластно?) Царю свидание с братом. “Я должен был присутствовать при их прощании” (происходившем в рабочем кабинете Царя), – поясняет Керенский. В. кн. Михаил выразил желание увидеть детей, “но я не мог разрешить, – говорит Керенский, – посещение продолжалось уже долго, и не было времени”. Свидание продолжалось “минут 10”, – утверждает Кобылинский, остававшийся в приемной в продолжение свидания. “В это время выбежал Алексей Николаевич и спросил меня: “Это дядя Миша приехал?” Я сказал, что приехал он. Тогда Алексей Ник. попросил позволения спрятаться за дверь: “Я хочу его посмотреть, когда он будет выходить”. Он спрятался за дверь и в щель глядел на Мих. Ал., смеясь, как ребенок,

---

226 Почему не была назначена команда из третьего полка, доброжелательность которого особенно отмечалась в дневнике Николая II?

своей затее”<sup>227</sup>. Непонятное в поведении Керенского можно объяснить только его исключительным возбуждением в этот день, граничащим с “пароксизмом”, по определенно наблюдавшего министра-председателя художника Лукомского<sup>228</sup>. Возбужденный сам, Керенский нервировал других: “вне себя тиранил всех” – записала со слов очевидцев Нарышкина. Вероятно, это состояние сказалось и на восприятии событий, отразившемся впоследствии в воспоминаниях.

Сам Царь записал в дневник: “Около 101/2 часов (это соответствует и записи Бенкендорфа. Кобылинский, ездивший за Мих. Ал., относит ко времени после полуночи) милый Миша вошел в сопровождении Керенского и караульного начальника. Как приятно было встретиться, но разговаривать при посторонних было неудобно”. Очевидно, Керенский не “затыкал себе уши”, как значится в дневнике Нарышкиной. В своих воспоминаниях Керенский передает те незначительные фразы, которыми обменялись взволнованные братья.

“Минуты шли... Все было готово, а Николаевская не отправляла поезда. По-видимому, в течение всей ночи происходила тревога, сомнения и колебания. Железнодорожники задерживали составление поезда, давали таинственные телефонные звонки, ставили вопросы...” Никаких данных, подтверждающих предположения Керенского, я не нашел, кроме довольно голословного утверждения Мстиславского, что “рабочие петроградского паровозного депо, узнав о назначении поезда, отказались дать паровозы, и Керенскому пришлось долгое время уговаривать их согласиться на выпуск; инцидент был разрешен только при содействии исполнительного комитета”. Поэтому более правдоподобным мне представляется объяснение, данное Царем в его дневнике. Несмотря на всю лаконичность записи за 31 июля – “последний день нашего пребывания в Царском Селе”, – записи эти как будто бы отчетливее намечают фактическую канву: “...после обеда ждали назначения часа отъезда, который все откладывался”. После свидания с братом “стрелки из состава караула начали таскать наш багаж в круглую залу<sup>229</sup>. Мы ходили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков. Секрет о нашем отъезде соблюдался до того, что моторы и поезд были заказаны после назначенного часа отъезда. Извод получился колоссальный<sup>230</sup>. Алексею хотелось спать – он то ложился, то вставал. Несколько раз происходила фальшивая тревога, надевали пальто, выходили на балкон и снова возвращались в зал. Совсем рассветало... Наконец, в 51/4 появился Керенский и сказал, что можно ехать”.

Выехали с великими предосторожностями: “казаки открывали кортеж, казаки его заключали”. Не знаю, вольно или невольно, Керенский выставил казаков, как охранителей кортежа, т.е. те части петербургского гарнизона, которые в июле были настроены наиболее агрессивно в отношении большевиков – ведь со стороны последних, по смыслу изложения Керенского, можно было ожидать противодействия. Царь, достаточно разбиравшийся в воинских частях, отметил просто: “какая-то кавалерийская часть скакала за нами от самого парка...” Соколов установил, что эскорт принадлежал к 3 му драгунскому балтийскому

---

<sup>227</sup> Это дало повод Керенскому отметить, что царевич был исключительно “весело” настроен в эту бессонную ночь. Сравним с ремаркой Царя, приведенной ниже.

<sup>228</sup> Лукомский, занимая пост хранителя музейных ценностей большого Царскосельского дворца, встретился с Керенским 31-го на обеде у коменданта дворца, бар. Штейнгеля, у которого министр имел обыкновение обедать со “всеми сопровождающими” в дни своего приезда в Царское. Эти завтраки и обеды у Штейнгеля в большом Дворце, на которые требовались из царского погреба “лучшие вина”, вызывали большое негодование Бенкендорфа (его дневник).

<sup>229</sup> У Бенкендорфа отмечено, что за переноску багажа стража потребовала по 3 рубля на человека. Со слов того же Бенкендорфа Палей говорит, что Царь дал от себя по 50 коп. на человека.

<sup>230</sup> Керенский передает, что при отъезде из Царского А. Ф. “плакала” – это как-то не соответствует настроению, с которым А. Ф., судя по дневнику Нарышкиной, уезжала на родину “Григория”.

полку (в газетах он назывался финляндским). В дневнике Нарышкиной, изданном немецким писателем Ф. Мюллером<sup>231</sup>, вернее в систематизированном им (иногда совершенно фантастически и произвольно) рассказе, основанном якобы на записях в особой тетради Нарышкиной, которой не было в распоряжении ред. “Последних Новостей”, когда в газете он печатался, очищенный от измышлений романсированной истории немецкого автора, говорится, что царскую семью нельзя было вывезти через главные ворота – у решетки дворца стояла огромная толпа, которая шумела и выкрикивала угрозы, – и автомобили пришлось направить через парк к станции Александровская. По словам Керенского, “солнце сияло во всем своем блеске, когда мы выехали из парка, но, к счастью, город был еще погружен в сон”. Современник корреспондент “Рус. Вед.” писал: “Город не подозревал о происходящем – даже в ратуше стал известен факт отъезда лишь около 4 час. по полудни”. Вот и еще свидетельство очевидца – Маркова-”маленького”, попытавшегося подойти ко дворцу, что ему не удалось, так как дворец был оцеплен сильным отрядом войск: “До 6 часов утра, – вспоминает Марков, – я простоял на облюбованном мною месте, но мне ничего не пришлось увидеть. Около половины шестого мимо меня пронеслось несколько закрытых автомобилей, окруженных всадниками третьего Прибалтийского конного полка. Я видел, как несколько мужчин, стоявших около меня, вытирали набегавшие слезы, а женщины плакали”. О настроениях Марков передавал, конечно, то, что хотел видеть.

В видах той же предосторожности отправляемые были посажены в поезд не на станции, а на переезде – в “некотором удалении”, на “пятом запасном пути”, как выяснили газетчики. “Подъем на ступеньки вагона был затруднителен, А. Ф. Керенский помог бывшему Царю войти в вагон, предложив ему опереться на свою руку, такое же внимание было оказано Керенским и в отношении Ал. Фед.”<sup>232</sup>. “Поезд, – говорилось в газетных сообщениях, – был подвергнут самому тщательному осмотру...”

Продолжим и дальше наше повествование – оно может дать некоторые интересные детали. Для отъезда было предоставлено два поезда. В одном находилась царская семья (в международных вагонах), свита, отряд из первого батальона; в другом – прислуга, багаж, стрелки 2-го и 4-го бат. Свита и прислуга составляли персонал в 40 с лишним человек. “Особый отряд” включал 337 солдат при 7 офицерах. Поезд, минуя большие пункты, останавливался на маленьких станциях, иногда в полях – семья выходила на прогулки в 30 минут, ни более ни менее. Все это предусматривалось регламентом, установленным министром-председателем. На всех станциях завешивались окна: “глупо и скучно”, – реагировал Царь на это своей записью в дневнике. Следователь Соколов устанавливает, что оба поезда проходили “под японским флагом” – по-видимому, это – обобщение: по словам Кобылинского, под японским флагом царский поезд проходил через Вологду (очевидно, боялись каких-нибудь осложнений в губернском городе). Правительственные комиссары Вершинин и Макаров составили подробный отчет о переезде, контрастированный Царем. Этот “исторический документ”, как выражается Керенский, производит несколько своеобразное впечатление, и значение его только в том, что “путешествие через рабоче-крестьянскую Россию прошло благополучно” (слова Соколова). Отмечались в этом отчете каждый день своевременность подачи завтрака, обеда, утреннего и дневного чая и т.д. и ничего из того, что являлось наиболее важным. Как реагировало население на проезд? Косвенный ответ мы, конечно, находим – в сущности, осложнений никаких не было. Кобылинский в показаниях мог указать только одно место – в Перми, где были попытки произвести некоторый контроль: “Перед самой станцией в Перми наш поезд остановился. В

---

231 Он получил его от самой Нарышкиной в Москве.

232 Со слов Бенкендорфа Палей передает, что А. Ф., влезая в вагон, упала. Для публики сообщалось, что в. кн. Михаил Ал. находился в Александровском дворце до самого отъезда, поехал затем на вокзал, где оставался до отхода поезда.

вагон, в котором находился я, вошел какой-то человек, видимо из каких-нибудь маленьких железнодорожных рабочих, заявил, что товарищи рабочие железнодорожные желают знать, что это за поезд следует, и, пока не узнают, они не могут пропустить его дальше. Вершинин с Макаровым показали ему бумагу за подписью Керенского. Поезд пошел дальше...” Поэтому следует думать, что лишь в воображении большевизанствующего левого с. р. Мстиславского на пути следования поезда в “нескольких местах” находились заставы вооруженных крестьян, намеревавшихся, остановить поезд и покончить с Николаем самосудом”. Своеобразная “революционная” честь не могла примириться с действительностью и заставляла утверждать, что только случайно будто бы удалось избежать народной расправы. Поздно вечером 4-го невольные путешественники в Сибирь достигли Тюмени, откуда надлежало уже речным путем доехать до Тобольска, 6-го достигли местоназначения<sup>233</sup>. “На берегу стояло много народа, – отметил Царь, – значит, знали о нашем прибытии...” Неожиданно обнаружилось, что губернаторский дом не готов для приема заключенных. “Помещения пустые, без всякой мебели, и переезжать в них нельзя”, – записал Царь 6 го. “Пошутил насчет удивительной неспособности людей устраивать даже помещения...” Может быть, дело было не в “неспособности людей”, а в том, что осуществление тобольского плана в окончательную форму вылилось значительно позже, чем наметилось первоначальное решение, о котором преждевременно были уведомлены английское и французское посольства.

## 5. Заговор монархистов

В день, когда царская семья прибыла в Тобольск, опубликовано было лаконичное правительственное сообщение: “По соображениям государственной необходимости Вр. Прав. постановило находящиеся под стражей бывшего Императора и Императрицу перевести в место нового пребывания. Таким местом назначен Тобольск, куда и направлены бывшие Император и Императрица с соблюдением всех мер надлежащей охраны. Вместе с бывшими Императором и Императрицей на тех же условиях отправились в Тобольск по собственному желанию их дети и некоторые приближенные к ним лица”. Свиту составляли ген. ад. Татищев, гофм. кн. Долгоруков, лейб-медик Боткин, воспитатель наследника Жильяр, фрейлина гр. Гендрикова, гофлектрисса Шнейдер (позднее прибыли преп. англ. языка Гибс, доктор Деревенко и фрейлина бар. Буксгевден). Нет никаких данных, подтверждающих свидетельство Бьюкенена, что “дети, которым было предложено на выбор жить с имп. Марией Фед. в Крыму или сопровождать своих родителей в Тобольск, выбрали последнее, хотя их предостерегали, что им придется подчиниться режиму, установленному для Государя и Государыни”.

Почему правительство промедлило пять дней с официальным опубликованием своего решения? Фактически никакого секрета, по крайней мере для Петербурга, не было и никакого протеста со стороны “крайне левых” отъезд императорской семьи не вызвал. И не вызвал потому, как определенно явствует из заметок в большевистских газетах (петербургской и московской “Правды” и “Соц. Дем.”), появившихся уже 1 августа, что этот выезд рассматривался как прямая ссылка Царя в Сибирь. Большевистская печать лишь негодовала на условия, при которых проходит эта “ссылка”: “Не страшно ехать в ссылку, имея в своем распоряжении 4 х поваров и 15 лакеев...” “Рабочие и солдаты голодные сидят в Крестах, а во избежание продовольственных затруднений за царской семьей едут два поезда с провизией” и т.д. Для большевистской печати нет сомнения в том, что “формально” Царь направлен в Тобольск для более строгого заключения.

После отъезда из Царского, как уже было указано, во всех газетах появилось несколько

---

<sup>233</sup> Временно пришлось остаться на пароходе. Лишь 13-го совершился переход с парохода в губернаторский дом.

запоздалое описание, не всегда точное: отъезд императорской семьи из Царского Села в изложении бесед журналистов с министрами, включая и главу правительства, помечался сутками позже (т.е. в ночь на 2-е августа). “Министры не скрывают своего недовольства, – сообщал корреспондент “Рус. Вед.” – по поводу появившихся в некоторых газетах сообщения о переводе б. Императора из Ц. С. 234, находя оглашение этих сведений преждевременным, могущим внести некоторые затруднения в исполнение данной меры. На все вопросы о мотивах, побудивших правительство принять решение о переводе б. Царской семьи, министры отвечают уклончиво, общими фразами, всячески подчеркивая, что этот вопрос продолжает оставаться чрезвычайно секретным”.

Очевидно, правительство боялось возможности осложнений не только в пути, но и в самом Петербурге. Столь же очевидно, что со стороны большевиков этих осложнений не приходилось ждать. В чем же дело? Не даст ли объяснения сопоставление записи Нарышкиной 5 августа с одновременным опубликованием в газетах своеобразного сообщения о несколько странной инициативе, проявленной министром-председателем в этот день. “Все еще нет известий о прибытии в Тобольск, – записывает Нарышкина. – Была сегодня утром в саду, где встретила несколько офицеров (очевидно, из лазарета в Зимнем Дворце). Все они страшно возмущены и открыто говорили о реставрации в лице Алексея Ник. Я им посоветовала быть осторожными в речах...” 5 августа в газетах можно было найти сообщение, что министр-председатель (очевидно, в качестве военного министра) ночью удосужился лично проверить караул в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, т.е. той тюрьмы, где содержались заключенными представители старого порядка. В данном случае действовал, можно предполагать, закон, формулированный пословицей: у страха глаза велики...

Причины этого преувеличенного страха (у правительства, или у триумvirата, или у министра-председателя) не приходится искать во влиянии, шедшем из советских кругов, которые никакого воздействия в эти дни на правительство в смысле требования отправки в ссылку бывшего монарха не оказывали, – по крайней мере, никаких письменных следов такого воздействия до сих пор не обнаружилось. Приходится довольно решительно возражать на категорическое заключение, сделанное Коковцевым еще в статье, напечатанной в 29 г., что, направляя царскую семью в Тобольск, правительство выполняло “волю Совета”. Суханов, довольно добросовестно передающий в “записках” свои впечатления и настроения по поводу “сенсационного подвига” Керенского, как он выражается, говорит, что никаких подробностей отъезда царской семьи не знает: “Совета эти дела ныне уже не касались”, “говорили, что эта операция была предпринята ввиду происков и спекуляции контрреволюционеров и монархических групп”. В советском официозе указывалось лишь на необходимость разъяснить меру правительства, так как в Ц. С. Император был в полной гласности. Правительство, – утверждал в одном из отрывков воспоминаний Савинков, бывший в то время управляющим военным министерством, – опасалось “переворота справа не менее, чем революции слева”. Скорее надо думать, что переворота справа боялись больше, нежели революции слева, хотя глава правительства позднее в показаниях по делу Корнилова и говорил: “Реальное соотношение сил было таково, что всякая попытка повторить 3 – 5 июля была заранее обречена на полный провал. Тем более совершенно ничтожна была реальная опасность для существовавшего тогда порядка вещей от всякой попытки справа. Правый большевизм никогда не был опасен сам по себе. Это был не пороховой погреб, взрыв которого разрушает все кругом до основания, а только спичка, которая могла попасть в склад взрывчатых веществ, и тогда...” Объективный анализ не всегда, однако, совпадает с субъективными ощущениями. 235

---

234 Такие сведения появились в вечернем выпуске “Русской Воли”.

235 Любопытен отклик, который можно найти в письме в. кн. Сергея Мих., которое приводит Воейков в воспоминаниях: “Самая сенсационная новость – это отправка полковника с семьей в Сибирь. Считаю, что это



Маловажный инцидент, происшедший вскоре после водворения царской семьи в Тобольске и раздутый в окружении Керенского до гиперболических размеров, может служить самой яркой иллюстрацией. Дело идет о поездке во второй половине августа молодой фрейлины Маргариты Хитрово в Тобольск. Это был “детский заговор для увоза царской семьи”, – утверждал Керенский в книге, напечатанной в 36 г. Хитрово участвовала не одна. Можно думать, что это была группа неопытных, наивно увлеченных молодых людей. До правительства дошли разоблачения, значительно преувеличенные, и оказалось необходимым расследовать обстоятельства “заговора”. Следствие не обнаружило ничего опасного, и дело было ликвидировано. Когда автор говорит, что правительство вынуждено было расследовать дело, то здесь он применяет обычный для себя, как мемуариста, прием. Правительство само создало это смехотворное политическое дело, о котором в общественных кругах никто не знал, – и никакого давления, следовательно, со стороны не было оказано. И это дело типично не столько для молодых энтузиастов монархической идеи, которых действительность (полная изоляция царской четы и равнодушие к ним населения – так изображает Керенский) должна была жестоко обмануть, сколько для подозрительности правительства в предкорниловские дни.

Прелюдия дела разыгралась в кулуарах московского Государственного Совещания именно тогда, когда глава правительства имел уже “точные сведения” об офицерском заговоре, имевшем опорные пункты в Петербурге и Ставке и ставившем своей задачей провозглашение военной диктатуры (а не восстановление низвергнутой династии), когда Керенскому окончательно стало ясно, что “ближайшей попыткой удара будет справа, а не слева”, когда он следил за “малейшими изменениями в заговорщических кругах” для того, чтобы быть готовым действовать<sup>236</sup>, и знал, где, что и как, когда в действительности, по злему выражению дневника Гиппиус, Керенский представлял собой “вагон, сошедший с рельс”. И в полном противоречии с этим признанием стояло тут же делаемое Керенским заявление и объяснение того, что произошло после Московского Совещания: “Оказалось, мы сознательно были направлены на ложный путь”. В дни Московского Совещания был раскрыт “монархический заговор”. Не имея перед собой официальных документов, связанных с раскрытием заговора, трудно сказать, чья здесь была инициатива. Возможно, что в нездоровой атмосфере подозрений, рожденных на почве реальной подготовки, которую вели сторонники военной диктатуры, в одно была объединена двухсторонняя информация, не имевшая ничего общего между собой, причем одна из них, действительно, была “сознательно” пущена в оборот для того, чтобы направить внимание правительства “на ложный путь”. Согласно показаниям следственной комиссии по Корниловскому делу правительственным комиссаром при Верховной Ставке Филоненко, еще в конце июля он был осведомлен “ординарцем” ген. Корнилова (т.е. Завойко), вращавшимся в самом центре интриги, которая плелась вокруг Ставки, о “монархическом заговоре с вел. кн. Павлом Александровичем во главе”. Другим источником информации явилось донесение прокурора московской суд. палаты Сталя об обнаруженных им нитях монархического заговора в казачьих общественных кругах. Московскому прокурору, без осведомления о том министра юстиции, находившегося в Петербурге, и было поручено министром-председателем дальнейшее расследование – с “исключительными полномочиями”. В результате были произведены аресты – между прочим, в ночь на 21 августа были подвергнуты домашнему аресту вел. князь Павел Ал. и Михаил с семьями<sup>237</sup>. На вопрос английского посла о

---

очень опасный шаг правительства – теперь проснутся все реакционные силы и сделают из него мученика... На этой почве может произойти много беспорядков”.

<sup>236</sup> Официально предъявить обвинение по негласным сведениям Керенский не мог – “я бы показался тогда общественному мнению человеком, страдающим манией преследования” (“Дело Корнилова”).

<sup>237</sup> В газетах называлось и имя Дмитрия Павловича. В воспоминании Никитина приведена копия с предписания 21 авг. главнокомандующему военным петербургским округом, касающегося ареста в. кн.

причинах ареста министр ин. дел сообщил, что они скомпрометированы интригами кн. Палей и ее сына, направленными к возвращению Императора или возведению на престол в. кн. Дмитрия... Были найдены ее многочисленные шифрованные телеграммы и письма” (сообщение Бьюкенена Бальфуру 23 августа). Корреспондент “Рус. Вед.” обратился к членам правительства, принадлежавшим к партии к. д., и получил в ответ, что им ничего не известно о причинах ареста великих князей. Осведомлены о происходившем лишь некоторые министры, близкие к главе правительства, который непосредственно руководит нитями возникшего дела, помимо какого-либо участия со стороны министра юстиции<sup>238</sup>. “Близкие”, по выражению корреспондента, лица к Керенскому объясняли арест великих князей теми “самыми соображениями”, которые привели Керенского к решению перевести Царя в Тобольск, а именно опасения концентрации общественных и военных кругов вокруг имени Царя и боязнь возможных эксцессов... Если поверить сообщению “Известий” 22 августа, правительственный синклит развел чрезвычайно “энергичные меры” к раскрытию заговора и раскрыл его “полностью”<sup>239</sup>. Ведший дело Стааль “каждые два часа” делал доклад лично Керенскому о “ходе следствия, результатах опросов и именах арестованных, число которых все возрастает”. Каждую ночь будто бы Стааль делал сообщение в заседании правительства. С своей стороны в показаниях будущей следственной комиссии по делу Корнилова Керенский утверждал, что он “держал Врем. Прав. в курсе” событий. Как будто бы это мало соответствовало действительности, если только под коалиционным правительством не подразумевать “триумvirата” и какие-то особые частные совещания “министров-социалистов”, которые отмечали за эти дни газеты. Аресты были произведены в Петербурге, Москве, Киеве, где якобы происходили какие-то таинственные совещания лиц с “титулованными фамилиями”, и в других городах. Арестовано было, по газетным сообщениям, около 30 лиц. Сведения об арестованных сообщались скупко: проскользнуло имя Пуришкевича, ген. Фролова (быв. командующего петербургским округом), матери фрейлины Хитрово, арестованной в Елаатьме, ее братьев – гвардейских офицеров, ст. дамы Нарышкиной (не обер-гофмейстерины) и др.

Правительство действовало быстро и было скоро на решения. Через несколько дней (24 августа), на основании июльского закона о высылке за границу по принципу “в 24 часа”, была отправлена своеобразная по своему составу партия “конspirаторов”. В показаниях по “делу Корнилова” Керенский говорил: “Взвесив все стороны этого заговорщического движения<sup>240</sup>, я решил, что внесудебные аресты и высылки за границу выдающихся

---

Михаила и подписанное управ. воен. министерством Савинковым (газеты говорили о “личном” распоряжении Керенского). Приказывалось “задержать бывш. вел. кн. Мих. Ал., как лицо, деятельность которого представляется особо угрожающей обороне государства, внутренней безопасности и завоеванной революцией свободе, причем такового надлежит содержать под строжайшим домашним арестом, с приставлением караула, коему будет объявлена особая инструкция”. Кн. Палей арест в. кн. относит к 27-му и цитирует приказ Савинкова, приводя свои цитаты в кавычках, где мотивом ареста великих князей выставляется опасность реставрации в связи с продвижением корниловских войск. Она уверяет, что из 18 офицеров, охранявших Павла Ал., 14 были за “старый режим”.

<sup>238</sup> Это послужило причиной конфликта между Зарудным и Стаалем (оба принадлежали к партии нар. соц.) и привело, в конце концов, к решению Зарудного выйти из состава правительства.

<sup>239</sup> Недовольны были только большевики. Московский “Соц.-Дем.” 24 августа писал: “Арестовать пару безмозглых кукол из семейки Романовых и оставлять на свободе их главную опору в армии – военную клику из командных верхов во главе с Корниловым – это значит обманывать народ, это значит входить в открытую сделку с монархическими заговорщиками”. Московский орган большевиков полагал, что “главный штаб контрреволюции, духовные вожди заговора” – это “партия народной свободы”.

<sup>240</sup> Перед этим Керенский сказал: “С несомненностью выяснялось одно – целью переворота не было восстановление низвергнутой династии”.

конспираторов будут самой целесообразной мерой предупреждения и пресечения... Однако органы розыска технически были так несовершенны, что мы не смогли своевременно ликвидировать руководящие центры...” “Странная была наша компания “контрреволюционеров”, не знавших друг друга, – вспоминает Вырубова, оказавшаяся в центре „выдающихся конспираторов“. – Группа, высылаемая через Финляндию, состояла из следующих лиц: „старого редактора Глинки Янчевского, доктора Бадмаева – пресмешного божка в белом балахоне с двумя дамами и маленькой девочкой с черными киргизскими глазами, Манусевича-Мануилова и офицера с георгиевской ленточкой в петлице и в нарядном пальто некоего Эльвенгрена“. К этим будущим эмигрантам надо присоединить ген. Гурко, высланного также за границу<sup>241</sup>, но поехавшего через Архангельск (до высылки ему было отведено помещение в Петропавловской крепости). Очевидно, то была лишь первая группа высылаемых. Начавшееся Корниловское выступление отвлекло внимание в другую сторону. По газетным сообщениям того времени, намечались к высылке упомянутые великие князья, Хвостов, Воейков, Штюрмер<sup>242</sup>.

Реальная подоплека о “монархическом заговоре”, поскольку она существовала, пока скрыта от нас. В свое время она держалась в “строжайшем секрете”. И никакого официального объявления, как о том говорилось, не последовало – может быть, потому, что

---

<sup>241</sup> Дело ген. Гурко рассматривалось почему-то военной контрразведкой – учреждением, ведавшим шпионажем. Тогдашний начальник этого учреждения полк. Никитин утверждает в воспоминаниях, что в этом деле по привлечению ген. Гурко по ст. 126 Уг. ул. находился “только один лист бумаги – письмо генерала Царю 4 марта”. Контрразведка, по словам полк. Никитина, “состава преступления” не нашла. В газетах того времени мотив, по которому дело ген. Гурко прекращалось и арестованный подлежал освобождению, определялся по-иному: инкриминируемое письмо может свидетельствовать о подготовке к совершению действий, но это действие покрывалось изданным после 4 марта актом об амнистии. Вина ген. Гурко заключалась в том, что он выражал восхищение великодушным поступком отречения Царя и выражал надежду, что “по истечении целого ряда лет грозных испытаний взоры обратятся к наследнику”.

<sup>242</sup> Новые злоключения Вырубовой, ею описанные, являют собой яркую страницу для комментирования целесообразности плохо продуманной правительством меры высылки “контрреволюционеров” за границу в дни войны – в революционное время, когда в распоряжении власти не было налаженного административного аппарата. Вместе с тем здесь нельзя не увидеть запоздалого предзнаменования возможных перипетий, которые, может быть, пришлось бы пережить царской семье при попытке отправить ее за границу, наперекор господствующему общественному мнению. Если в Белоострове, где узнали, что в вагоне находятся высылаемые “контрреволюционеры”, собравшиеся на платформе еще только “свистели и кричали”, то в Рихимлякове толпа уже “в несколько тысяч солдат” держала себя более агрессивно и с “дикими криками” окружила вагон, отцепила его от паровоза и требовала выдачи “великих князей и ген. Гурко”. Спасли положение приехавшие на автомобиле матросы – делегаты гельсингфорского совета. Местный совет получил от кого-то из Петербурга телеграмму с предписанием задержать высылаемых. “Царская наперсница” и ее спутники представляли “малую добычу”, но их все-таки задержали до выяснения причин высылки. В Гельсингфорсе арестованные были помещены в трюмы бывшей царской яхты “Полярная Звезда”, где просидели пять суток под угрозой, что с ними будет покончено самосудом. Затем последовала Свеаборгская крепость. Здесь заключенных продержали больше месяца. В данном случае привлекает внимание не привычное уже описание (вероятно, несколько стилизованное), в котором фигурируют “озверелые матросы” и добрые гении в их среде, спасающие арестованных от произвола и насилия... Это были страшные во флоте дни реакции на корниловское выступление. Родители Вырубовой напрягли все силы и связи для спасения дочери. В печатном повествовании дочери и в рассказе матери, приведенном в воспоминаниях, проходят имена министра-председателя, военного министра Верховского, морского министра адм. Вердеревского, финл. ген.-губ. Стаховича, тов. мин. вн. дел Салтыкова, председателя Совета Чхеидзе, лидера эсеров Чернова, кн. Львова, Родзянко и др. Все они или действуют формально (кто и не отвечает), или бессильны помочь в “безвыходном положении”. Приезжают в Гельсингфорс безрезультатно из Петербурга и представители советского центра Каплан, Соколов, Иоффе. Тогда по совету доктора Манухина обращаются к большевикам. Восходящая большевистская звезда – Троцкий, в предкорниловские дни бывший в “Крестах”, уже председатель петроградского Совета. Достаточно было его телеграммы, чтобы “узники Врем. Правительства” были немедленно направлены из Свеаборга в Петербург. Вырубова попадает прямо в Смольный и освобождается Каменевым. Официальные органы правосудия во всем этом повествовании отсутствуют. Эта, быть может, вынужденная “летаргия правосудия” – действительно знамение времени.

“дело Корнилова” совершенно заслонило “заговор”, порожденный мыслью, направленной на “ложный путь”. В воспоминаниях Демьянова, заменившего Зарудного в качестве временно управляющего министерством юстиции, дело изображается в следующем виде: “До правительства дошли слухи, что производится какой-то денежный сбор на освобождение Николая II, что существовала какая-то переписка по этому поводу, что ездила куда-то какая-то дама, которую посвятили в эту тайну и которая, испугавшись ответственности, эту тайну кому-то разгласила... Керенский поручил расследование... А. Ф. Стаалю... Выяснилось, что контрреволюционный сбор действительно производился, но что дело было чисто мошенническое, основанное на эксплуатации патриотических чувств приверженцев старого режима. Гора родила мышь и настолько маленькую, что прокурор Стааль был несколько сконфужен результатами расследования; ему казалось, что он допустил ошибку, приняв с самого начала шутовское дело за серьезное. Я его утешил, сказав, что даже в таком виде дело требовало расследования. Меня это дело заинтересовало, не потому, конечно, что оно было связано, хотя бы и внешне, с идеей контрреволюции, а потому, что мне казалось, что за такое дело могли взяться только мошенники довольно высокой пробы. Из дела было видно, что заправила его находилась где-то близ Москвы (один из них и был обнаружен), но что в деле замешаны были еще какие-то почтенные чины, имевшие местопребывание на Минеральных Водах. Мне очень хотелось всех лиц, замешанных в вымогательстве, обнаружить. Я стоял за то, чтобы дело продолжать и послать на юг опытного следователя для расследования всей сути дела. Об этом поговорили, но из этого ничего не вышло – обрадовались, что контрреволюционный заговор оказался пуфом”. Надо сделать оговорку: воспоминания Демьянова не отличаются точностью в изложении фактов, поэтому, вероятно, необходимы существенные коррективы. Но общее впечатление в то время от дела было именно таким, каким оно осталось в памяти Демьянова<sup>243</sup>. В те дни Стааль в секретном порядке делал соответствующий доклад в московском партийном комитете нар. соц., к числу которых он принадлежал. Доклад был вызван необходимостью как бы отчитаться перед партийными единомышленниками, которые с великим неодобрением относились к конфликту в министерстве юстиции между двумя членами одной и той же политической группировки. Впечатление от доклада можно охарактеризовать тогдашней записью, сделанной секретарем партии в дневнике: “Стааль из ничего создал контрреволюционный заговор с великими князьями”.

В эту заговорщическую кашу, более воображаемую или воображением сильно сгущенную, и попала молоденькая “Рита” Хитрово из окружения “Ани”, испытывавшая чувство “обожания” к царской семье, во время заключения в Царском служившая связью семьи с внешним миром. Вероятно, что решение поехать в Тобольск было в значительной степени результатом личного порыва. Как передает дочь Боткина (по рассказу отца) и Марков-”маленький” (со слов, по-видимому, самой Хитрово), она вела себя с наивной простотой и откровенностью: “Уезжая, – рассказывает Боткина-Мельник, – она вся закуталась в пакеты со всевозможной корреспонденцией, а с пути посылала открытки родственникам следующего содержания: “Я теперь похудела, так как переложила все в подушку” или “население относится отлично, все подготавливается с успехом”“. Приехав в Тобольск, она моментально направилась в дом, где помещалась свита, и натолкнулась на гр. Гендрикову, которая провела ее в свою комнату. Затем туда прошел мой отец, и они все мирно разговаривали, когда появился Кобылинский и объявил, что он вынужден арестовать Хитрово. Корреспонденция была отобрана<sup>244</sup>, у гр. Гендриковой сделан обыск и ее, моего

---

<sup>243</sup> 28 августа сам Стааль заявлял московским журналистам, что арестованные властями фрейлина Хитрово, ее мать и заведующий архивом Имп. Двора Кологривов являются “жертвами” вольноопределяющегося Скакунова, представителя организации, созданной для похищения царской семьи.

<sup>244</sup> Выяснилось, в конце концов, что это все письма сестер милосердия, работавших в госпиталях с членами царской семьи.

отца и Хитрово допрашивали, причем последняя, говорят, держала себя очень вызывающе. Комендант ко дню приезда Хитрово имел уже детальное телеграфное распоряжение Керенского, адресованное вне очереди местному прокурору<sup>245</sup>. Телеграмма приведена у Дитерихса и у Соколова (у последнего есть некоторый дефект в тексте): “Расшифруйте лично и, если комиссар Макаров или член Думы Вершинин в Тобольске, (в) их присутствии. Предписываю установить строгий надзор за всеми приезжающими на пароходе в Тобольск, выясняя личность и место, откуда выехали, равно путь, которым приехали, а также остановки. Исключительное внимание обратите (на) приезд Марг. Сер. Хитрово, молодой свитской девушки, которую немедленно на пароходе арестовать, обыскать, отобрать все письма, паспорт и печатные произведения, все вещи, не составляющие личного дорожного багажа, деньги. Обратите внимание на подушки; во-вторых, имейте в виду вероятный приезд десяти лиц из Петрограда, могущих, впрочем, прибыть и окольным путем. Их тоже арестовать, обыскать указанным порядком. Ввиду того, что указанные лица могли уже прибыть в Тобольск, произведите тщательное дознание и в случае их обнаружения арестовать, обыскать тщательно, выяснить, с кем водились. У всех, кого видели, произвести обыск и всех их впредь до распоряжения из Тобольска не выпускать, имея бдительный надзор. Хитрово приедет одна, остальные, вероятно, вместе. Всех арестованных немедленно под надежной охраной доставить в Москву прокурату (т.е. прокурору суд. палаты). Если она или кто-либо из них проживал уже в Тобольске, произвести тотчас обыск в доме, обитаемом бывшей царской семьей, тщательный обыск, отобрав переписку, возбуждающую малейшее подозрение, а также все не привезенные раньше вещи и все деньги лишние. Об исполнении предписания по мере осуществления действий телеграфировать мне и прокурору Москвы, приказание которого подлежат исполнению всеми властями”<sup>246</sup>“.

Соколов не указывает даты этого документа<sup>246</sup>, но она выясняется уже по тому, что Вершинин и Макаров выехали из Тобольска 14-го и докладывали Временному Правительству 21 августа о выполнении своей миссии по отвозу царской семьи. К этому промежутку времени, а не к концу месяца, как говорят мемуаристы, следовательно, относится появление Хитрово, пробывшей в Тобольске всего лишь один день. По дневнику Николая II дата может быть установлена совершенно точно. 18 августа он записал: “Утром на улице появилась Рита Хитрово, приехавшая из Петрограда, и побывала у Настеньки Гендриковой. Этого было достаточно, чтобы вечером у нее произвели обыск. Черт знает что такое”. На другой день: “Вследствие вчерашнего происшествия Настенька лишена права прогулки по улицам в течение нескольких дней, а бедная Рита должна была выехать обратно с вечерним пароходом”. Это уже неточно: Хитрово была арестована и препровождена в Москву. Может ли быть установлена какая-нибудь связь между приездом Хитрово и появлением в Тобольске скорее всего мифических пятигорцев – мы не знаем. Сам Керенский в показаниях Соколову, смягчая вещи и умалчивая об аресте Хитрово (также и в “La Verite”), заявляет: “Действительно, по поводу приезда в Тобольск Маргариты Хитрово было произведено по моему телеграфному требованию расследование. Вышло это таким образом. Во время Моск. Гос. Совещания были получены сведения, что к Царю пытаются проникнуть десять человек из Пятигорска. Это освещалось, как попытка увезти царскую семью. В силу этого и производилось расследование. Однако эти сведения не подтвердились. Ничего серьезного тут не было”. Дело не представляло ничего серьезного и через месяц было ликвидировано, о чем Стааль телеграфировал тобольскому прокурору 21 сентября. Одновременно было ликвидировано и все расследование о монархическом “заговоре”.

---

<sup>245</sup> Следовательно, отпадает утверждение, что Хитрово была арестована по требованию, “солдатского комитета” (утверждение Булыгина, принимавшего участие в расследовании в Сибири дела об убийстве царской семьи).

<sup>246</sup> Приведя этот изумительный для революционного времени документ, Дитерихс (он правильно относит его к середине месяца) не без основания вспоминает “полицейский режим” времен Плеве.

Официально все дело называлось “делом по обвинению М. Хитрово и др. по ст. 101 Угол. Улож.”<sup>247</sup>. 13 сентября великие князья были освобождены из-под домашнего ареста. Монархический заговор был заменен заговором корниловским, к чему была подготовлена почва расследованием прокурора Стааля, который, по словам, напр., “Русской Воли”, попутно выяснил “контрреволюционность некоторых организаций, на которые могла бы опереться военная диктатура”.

Нам пришлось несколько искусственно выделить и поставить обособленно страницу, характеризующую ту “волну заговоров”, о которой говорил Керенский следственной Комиссии Шабловского. Тот факт, что правительственное ядро с такой легкостью восприняло в августе идею наличности “монархического заговора”, определяет наилучшим образом его психологическое настроение и выясняет довольно точно особые мотивы, побудившие изолировать царскую семью в Тобольске. Царя увезли в Тобольск; не “гидры ли боятся” – записала Гиппиус в дневник.

## Глава шестая В ТОБОЛЬСКЕ

Оценка условий, в которых оказались тобольские “пленники”, будет всецело зависеть от определения основного положения, повлекшего арест отрекшегося Императора. Если временное лишение свободы бывшего монарха со стороны правительства было вызвано действительно только соображениями личной его безопасности в исключительной обстановке революционного времени, то естественно, что с момента, когда новая исполнительная власть сделалась хозяином в стране и смогла вызволить царскую семью из “очага” политической борьбы и направить ее (столь же временно) в “тихое”, спокойное место, где не бушевали народные страсти, положение заключенных должно было существенно измениться к “лучшему”. In spe возможно это отчасти предусматривалось.

Как мы видели, в телеграмме Бьюкенена в Лондон 12 июля довольно определенно подчеркивались соответствующие пожелания, выраженные английским послом министру ин. д., и ответные заверения Терещенко, что “свобода передвижения будет зависеть исключительно от общественных настроений в Тобольске” – в Царском Селе подобная свобода была бы “опасна для Императора”. Через месяц английский посол имел беседу с одним из правительственных комиссаров, сопровождавших царскую семью в Тобольск. Этот разговор с Макаровым был сообщен послом в Лондон в письме к лорду Стенфоргаму, которое Бьюкенен цитирует в воспоминаниях. Все в этом рассказе несколько преувеличено, вплоть до такой мелочи, что предусмотренные остановки для прогулок во время путешествия из Москвы в Тобольск превращены в часовые... Макаров рассказал, что он постарался улучшить внешнюю обстановку в губернаторском доме, не вполне удовлетворительную для тех, кто “привык жить во дворцах”, доставил впоследствии “ковры, фамильные портреты, вина и т.п. из Царскосельского Дворца”. Это соответствовало действительности. “Самым неприятным было то, – продолжает Бьюкенен, – что при доме был только маленький сад, но как раз напротив находился большой парк, где члены императорской семьи получили разрешение гулять”. Это было уже неверно. Семье позволено было присутствовать на богослужении в церкви (значительно позже), а Государю было даже “разрешено охотиться, если он этого пожелает”. Возможность охотиться подразумевает уже право довольно свободного передвижения. Как мог Макаров, человек добросовестный, сделать подобное утверждение? Остается предположить, что Макаров, действительно хорошо относившийся к “пленникам” и старавшийся облегчить условия “ссылки”, излагал послу возможное в его представлении будущее, а посол возможное принял

---

<sup>247</sup> Мы видим, что отнюдь нельзя сказать, будто “весь сыр-бор загорелся из-за нескольких выражений в перехваченном письме фрейлины Хитрово” (Милуков). Дело началось до поездки Хитрово.

за сущее, тем более что по впечатлениям Макарова, как рассказывал он своему другу Демьянову, беседа носила довольно формальный характер и производила впечатление, что по существу посол мало интересуется судьбой монарха, который не вызвал в нем симпатии. Отсюда, может быть, тот розовый оттенок, который произвело донесение посла в целях, собственно, успокоения Лондона, где, вероятно, ощущалось некоторое внутреннее неудовлетворение реалистичной политикой Л. Джорджа. “Он говорил, – передавал Бьюкенен слова Макарова, – что Тобольск маленький город приблизительно с 27 000 жителей и расположен на таком расстоянии от железной дороги, что Государь находится в полной безопасности. Земля кругом принадлежит татарским крестьянам-собственникам, которые искренне ненавидят революцию, боясь, что у них отнимут землю в случае ее перераспределения. Многие крестьяне, – говорил он, – устраивали паломничество в Тобольск, чтобы посмотреть дом, где живет Государь. Что касается климата, то, по словам Макарова, он хотя иногда бывает и сырым, но в общем здоровый, и зиму там легче перенести, чем в Петрограде, так как там не бывает таких пронизывающих ветров, как у нас здесь. Расставаясь с Е. В., он просил Государя немедленно дать ему знать, если у него будет на что жаловаться, но Государь заверил его, что он вполне доволен. Оба, Государь и Государыня, дружески простились с ним. Государь не раз говорил с ним о политическом положении и о своей готовности умереть за Россию. Макаров прибавил, что он был уверен, что Е. В. говорил совершенно искренно”.

Действительность была куда прозаичней! С переездом в Тобольск юридическое положение “царственных пленников” не изменилось – осталась та же “позолоченная тюрьма”, только золото Царского Села сменилось сусальной позолотой провинциального захолустья, весьма, впрочем, относительной, поскольку речь идет о пребывании без права выхода за пределы небольшой территории губернаторского дома, отгороженного от улицы высоким забором<sup>248</sup>. “Прогулки в садике делаются невероятно скучными, – написал Царь уже 26 августа, – здесь чувство сидения взаперти гораздо сильнее, нежели „было в Царском“. Дети часами сидели на балконе и смотрели на тихую уличную жизнь.

Большевистский автор истории “Последних дней Романова” (“активный работник уральского областного и екатеринбургского совета, бывший в курсе всех перипетий с перевозом Романовых из Тобольска в Екатеринбург, а впоследствии подготовивший и выполнение над ними наказания” – так характеризуется автор в предисловии) изображает дело так, что строгая изоляция в Тобольске осуществлена была по требованию солдатской охраны. “В первый день пребывания семьи в Тобольске, – рассказывает он, – произошел инцидент, сразу обостривший отношения между охраной и заключенными. Днем вся семья со “свитой” и с представителями Временного Правительства Вершининым и Макаровым, без всякой охраны ушли в дом Корнилова, где и пробыли довольно долго, осматривая помещения дома<sup>249</sup>. В связи с этим состоялось собрание отряда. На нем от Вершинина и Макарова потребовали объяснения – почему они разрешили свободные прогулки бывш. царской семье. Испугавшиеся представители Врем. Прав. оправдывались, ссылаясь на инструкцию, утвержденную правительством об охране бывш. Царя и его семьи. В их объяснении сущность инструкции сводилась к охранению семьи Романовых исключительно

---

<sup>248</sup> Газеты через некоторое время сообщали, что под арестом в “доме свободы” (только иронически можно продолжать так называть б. губернаторский дом) в Тобольске находятся лишь Царь и Царица, а семья под надзором (напр., сообщение “Рус. Сл.” 17 авг.).

<sup>249</sup> В дневнике Николая II записано 6 го: “Как только пароход пристал, начали выгружать наш багаж. Валя (т.е. Долгоруков), комиссар-комендант отправились осматривать дома, назначенные для нас и свиты. По возвращении первых узнали, что... переезжать... нельзя”. И 13 го: “В 10 1/2 я сошел с комендантом и офицерами на берег и пошел к нашему новому жилищу... Пошли осматривать дом, в кот. помещается свита. Многие комнаты... имеют непривлекательный вид. Затем пошли в так называемый садик, скверный огород, осмотрели кухню и караульное помещение. Все имеет старый заброшенный вид”.

лишь в целях их личной безопасности, а не как арестованных. Среди солдат охраны это вызвало сильное недовольство. Вынесено было постановление – с инструкцией Врем. Прав. не считаться. Вершинину и Макарову было предложено заключать Николая Романова под строгий надзор охраны, для чего кругом дома и внутри поставить часовых, ночью выставлять добавочные посты и назначить три смены патруля для обхода прилегающих к губернаторскому дому улиц. Кроме того, решено было немедленно приступить к постановке высокого забора около дома и огородить место, куда Николай и его семья могут выходить гулять два раза в день: от 10 до 12 и от 2 х до 4 х. Далее постановлено было представить Романовым право раз в неделю посещать под конвоем церковь под названием “Покрова Богородицы”, расположенную вблизи дома. Требования, предъявленные общим собранием, были приняты представителями Временного Правительства”.

Откуда заимствовал Быков эти данные, совершенно не соответствовавшие реальности? Можно думать, из неизданной рукописи одного из солдат охраны Матвеева, принадлежавшего к кадрам 2-го полка и сделавшегося “офицером” после октябрьского переворота (“Царское Село – Тобольск – Екатеринбург”). Нигде подтверждения таких требований со стороны охраны не имеется. Вероятно, в восприятии большевика Матвеева эти требования появились задним числом – в доказательство революционного сознания охраны. Какую “инструкцию” получили правительственные комиссары, мы не знаем. Дочь Боткина утверждает со слов отца, что дело ограничилось “устным постановлением”, что было довольно естественно при спешке, которой сопровождался выезд из Царского. Но какая-то “инструкция” впоследствии была дана. В воспоминаниях Панкратова определенно говорится, что изоляции должны были подвергнуться все, прибывшие с царской семьей, – свита и прислуга: “Проживание на вольной квартире по инструкции, данной мне Вр. Прав., совершенно воспрещалось. Но хорошо было составлять инструкции в Петрограде, не зная местных условий. С несостоятельностью данной мне инструкции при первом же знакомстве с последними я столкнулся и тотчас же сообщил об этом Керенскому. Часть прислуги пришлось разместить на вольных квартирах. Свита тоже была поселена в другом доме, против дома губернатора”<sup>250</sup>. В силу таких бытовых условий и неопределенности переходного положения свита и получила некоторую свободу передвижения – право “прогулок по городу”. “Тихо и мирно потекла жизнь, – говорил Кобылинский в показаниях Соколову, касаясь первых переходных недель тобольского житья. – Режим был такой же, как и в Царском, пожалуй свободнее. Никто не вмешивался во внутреннюю жизнь семьи. Ни один солдат не смел входить в покои. Все лица свиты и вся прислуга свободно выходили из дома, когда и куда хотели... Августейшая семья, конечно, в этом праве передвижения была, как и в Царском, ограничена. Она выходила лишь в церковь”. Здесь память несколько изменила свидетелю, желавшему подчеркнуть своего рода идилличность переходного времени, когда “над охраной и домом” временно власть сосредоточилась в его руках. Как устанавливают воспоминания Панкратова и дневник Императора, впервые в церковь семья пошла 8 сентября. “Тихой, мирной жизни” способствовала благожелательность к семье Кобылинского: “Ко времени переезда нашего в Тобольск, – показывал он, – семья привыкла ко мне и, как мне кажется, не могла иметь против меня какого-либо неудовольствия. Сужу об этом по тому, что перед нашим отъездом из Царского Государыня пригласила меня к себе и благословила меня иконой”. Кобылинский считал, что “правительство Керенского”, исключительно желая добра семье, вывезло ее из “очага политической борьбы и старалось обставить жизнь ее так, как приличествовало ее положение”. Кобылинский вспоминал, что Керенский перед отъездом ему сказал: “Не забывайте, что это бывший Император; ни он, ни семья ни в чем не должны испытывать лишений”.

---

<sup>250</sup> Панкратов воспроизводит инструкцию, им полученную 21 августа, но эта инструкция определяла права комиссара и лишь в п. 2 говорила о какой-то инструкции, “данной Вр. Пр.”. Не была ли это та самая “инструкция”, отрывок которой случайно попался следователю Соколову?



Власть коменданта носила временный характер<sup>251</sup> и распространялась только на переходное время между отъездом правительственных комиссаров, сопровождавших императорский поезд, и приездом постоянного комиссара. Более чем сомнительны показания мемуаристов, участников расследования Соколова, что Кобылинский, формально начальник “отряда особого назначения”, получил при отъезде из Царского на руки какую-то бумагу за подписью Керенского: “Слушайте распоряжения полк. Кобылинского, как мои собственные”. Из показаний самого Кобылинского явствует, что в пути и по прибытии в Тобольск фактически распоряжались правительственные комиссары, снабженные соответствующими письменными полномочиями. “Отношение к Кобылинскому в Петербурге было “двойное”, – вспоминал Панкратов, – с одной стороны ему доверяли и полагались на него, с другой – открыто высказывались сомнения под влиянием различных, часто ни на чем не основанных наветов завистников и мелкотщеславных карьеристов-офицеров”. “Комиссаром по охране бывшего Царя и его семьи” надлежало быть лицу, авторитетному для революционного сознания. Таким лицом с самого начала был намечен шлиссельбуржец Панкратов, которому в начале августа, по его собственным словам, было предложено Врем. Прав. занять указанный пост<sup>252</sup>. Панкратов сначала отказался, не желая расстаться с “культурно-просветительной работой” в петербургском гарнизоне, которой придавал большое значение, но подчинился общему мнению, настаивавшему на его поездке, так как “больше послать некого”. Убедила окончательно Панкраторва Брешко-Брешковская: “Ты сам много испытал и сумеешь выполнить задачу с достоинством и благородно. Это обязанность перед всей страной, перед Учр. Собранием”. Любопытен рассказ Панкраторва о том, как он был инструктирован правительством перед отъездом. Подробно поговорить с министром-председателем ему не удалось: всякий раз, когда я являлся к нему, его буквально каждую минуту отрывали то по делам фронта, то с докладами из разных министерств... Его отрывали и по весьма несложным делам, которые могли бы решить и сами секретари... После Московского Совещания, когда я дал свое согласие ехать в Тобольск и явился к Керенскому, чтобы получить все необходимые бумаги и инструкции, он вдруг задал мне вопрос: “Вы еще не уехали?..” “Как же мне уехать, когда ни бумаг, ни инструкций мне не выдали” – возразил я. Он удивился, сказав: “Их вам выдадут. Уезжайте. Зайдите к секретарю сейчас же. Обо всем остальном получите сведения от Макарова и поезжайте, пожалуйста, скорее поезжайте...” “Торопить-то меня торопили, а о документах забыли...”

Забывчивость, проявленная представителями власти, характерна для психологической позиции правительства. С того момента, как символ, носящий в себе угрозу монархической реставрации, был скрыт в глубине сибирских дебрей, воображаемый призрак сменялся в сознании руководящего правительственного центра реальной опасностью “республиканский реакции”, как не совсем точно выразился в своих показаниях комиссии Шабловского Керенский<sup>253</sup>. Царская семья вышла из орбиты зрения правительства, и судьба ее была

---

251 Насколько неправомочен был комендант в установлении внутреннего режима для заключенных, показывает тот факт, что даже вопрос о посещении церкви мог быть разрешен лишь по приезде постоянного комиссара.

252 Отсюда ясна произвольность заключения некоторых мемуаристов, приписывавших инцидент с Хитрово смене правительственного комиссара. Макаров, который якобы был отозван за попустительство, уехал, как мы знаем, из Тобольска 14 го, т.е. за четыре дня до появления злосчастной фрейлины. Ее приезд, вызвавший стихотворную сатиру Гендриковой по поводу переполоха властей, значительно усложнил положение в Тобольске, в котором начались необычайные для захолустья строгости. К приезжающим стали относиться с такой “подозрительностью”, что слишком демократический правительственный комиссар, не показавший всех своих документов, по прибытии чуть не попал для “выяснения личности” в милицию и с милиционером был препровожден в дом Корнилова, где проживал начальник особого отряда полк. Кобылинский.

253 При несомненном наличии известных реставрационных моментов в общественном движении

заслонена жгучими интересами текущей политической борьбы. Произошло это настолько прочно, что о “царственных пленниках” в Тобольске почти забыли. Согласно инструкции новый правительственный комиссар два раза в неделю посылал министру-председателю “срочные донесения” – и ответов не получал. В теории заключенные жили на собственный кошт, но фактически деньги шли через правительство. “Деньги уходили, а пополнений мы не получали”, – вспоминал Кобылинский. Приходилось жить в кредит. В конце концов обратились к займам под векселя Кобылинского, Татищева и Долгорукова. Правительство забыло даже солдат, находившихся в охране, и до своего падения не удосужилось прислать обещанные Керенским перед отъездом “суточные”. Конечно, здесь не было злого умысла. Спрошенный Соколовым, ответственный глава правительства мог только сказать: “Конечно, Врем. Прав. принимало на себя содержание самой царской семьи и всех, кто разделял с ней заключение. О том, что они терпели в Тобольске нужду в деньгах, мне никто не докладывал”.

Фактически распорядителем обихода царской семьи сделался правительственный комиссар, которому по инструкции всецело подчинен был и начальник отряда особого назначения. Самый выбор лиц, призванных наблюдать за заключенными, показывает, что революционная власть отнюдь не собиралась отягощать заключение: “Панкратов был человек умный, развитой, замечательно мягкий”, – характеризует правительственного комиссара Кобылинский. Воспоминания самого Панкратова, нашедшего, по его словам, в лице Кобылинского “лучшего, благородного, добросовестного сотрудника”<sup>254</sup>, подтверждают такую характеристику: комиссар довольно благожелательно относился к “царственным пленникам” и всегда готов был облегчить их положение в пределах полученной инструкции (на него удручающее впечатление произвело то, что при представлении ему в первый раз члены семьи выстроились в “стройную шеренгу, руки по швам – так выстраивают содержащихся в тюрьме при обходе начальства”). “Панкратов сам лично не был способен совершенно причинить сознательно зло кому-либо из семьи, но тем не менее выходило, что семья страдала”, – показывал Кобылинский. Отчасти это объясняется узкой и прямолинейной демократичностью выбранного Панкратовым себе в помощники прап. Никольского, с которым старый шлиссельбуржец сошелся еще в дни ссылки в Якутской области.

“Никольский, – характеризует его Кобылинский, – грубый бывший семинарист, лишенный воспитания человек, упрямый, как бык, направь его по одному направлению, он и будет ломиться, невзирая ни на что”. Дело было, конечно, не в наружной “вульгарности” Никольского, отмечаемой Боткиной-Мельник (“рабочий или бедный учитель” – записал Царь свое впечатление 1 сентября), а, по-видимому, в том, что этот партийный с. р. (одно время он был председателем тобольского совета), человек, вероятно, очень идейный (“смелый и бескорыстный друг”, – называет его Панкратов), но не очень умный, с упрямой настойчивостью пытался соблюдать до некоторой степени внешнюю форму тюремного содержания для тобольских “пленников”<sup>255</sup>. Здесь сказывалось роковое основное противоречие, которое заключалось в двойственном положении заключенных: политическая

---

августовских дней, контрреволюционные настроения широких кругов, готовых поддерживать требования верховного главнокомандующего, все же в общем были далеки от того, что можно назвать политической реакцией.

254 “Я быстро сблизился с ним и от души полюбил его. Взаимные наши отношения с ним установились самые искренние”.

255 Если для Жильера Панкратов – тип “сектанта-фанатика”, но человек “мягкий”, то Никольский – “настоящее животное”: “ограниченный и упрямый, он ежедневно изощрялся в измышлении новых оскорбительных притеснений”. Такую же приблизительно характеристику дал и Гибс в показаниях перед следователем.

изоляция (ссылка) и охрана семьи от эксцессов революции. В качестве иллюстрации настойчивости помощника Панкратова Кобылинский рассказывает, как по его настоянию были сделаны специальные фотографические карточки с подписью с номерами для членов свиты и служебного персонала для выходов на волю. “Нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль и в лицо”, – мотивировал Никольский свое требование. Он же поднял целую историю, когда наследник выглянул из своего заключения через забор. Одна из свидетельниц показывала Соколову (вероятно, преувеличивая), что Никольский имел терпение и “глупость” (добавляла она) из окна своей комнаты наблюдать за тем, “чтобы ребенок не позволял себе такой вольности”. Может быть, отсутствие такта и преувеличивало сильно сознательную злонамеренность Никольского<sup>256</sup>.

Возможно, прямолинейность Никольского оказывала влияние на мягкого Панкратова. В первое свидание с Панкратовым Царь поднял вопрос: “Почему нас не пускают в церковь, на прогулку по городу? Неужели боятся, что я убегу?..” “Я полагаю, что такая попытка только ухудшила бы ваше положение и вашей семьи, – ответил Панкратов. – В церковь водить вас будет возможно. На это у меня имеется разрешение, что же касается гулять по городу, пока это вряд ли возможно”. “Почему?” – спросил Николай Ал. – “Для этого у меня нет полномочия, а впоследствии будет видно. Надо выяснить окружающие условия”. Бывший Царь, вероятно, недоумевал. Он не понял, что я разумею под окружающими условиями. Он понял их в смысле изоляции – и только. Вопрос о посещении церкви был разрешен очень скоро. 8 сентября Царь записал: “Первый раз побывали в церкви

---

<sup>256</sup> Соколов на основании некоторых показаний инициатив Никольского приписывает инцидент, разыгравшийся с тем вином (бутылка Рафаэлевского вина), о котором, со слов Макарова, особо упомянул в своем донесении в Лондон Бьюкенен. Когда вино прибыло в Тобольск, будто бы Никольский собственноручно разбивал топором ящики и бутылки. Впрочем, здесь все повествователи рассказывают по-разному. Так, в изображении Мельник ящик не раскупоренным был спущен в Иртыш после долгих споров в солдатском комитете отряда особого назначения. Совсем по-другому рассказал эту “скверную” историю, которая чуть-чуть не разыгралась в драму, Панкратов... “При перегрузке с жел. дороги на пароход в гор. Тюмени один ящик разбился и из него запахло вином. Один из пассажиров, солдат тыловик, сразу “унюхал”, как он потом рассказывал, и сообщил своим товарищам. По прибытии в Тобольск они пустили утку, что вино везется для офицеров отряда особого назначения... Ко мне явилось несколько солдат тыловиков... в сопровождении нескольких из нашего отряда... Я распорядился послать офицера со взводом солдат охранять кладь. Унюхавшему тыловику очень это не понравилось. Он начал агитировать тут же против нашего отряда – особенно против офицеров... Толпа растет все более и более, все из пришлых солдат (может быть, даже и не солдат), которых за последнее время в Тобольске скопилось до 2000. Это все демобилизованные, пробравшиеся домой. Порой они осаждали губернский комиссариат и городскую управу, требуя отправки, подвод и продовольствия... Чтобы быстрее добиться их успокоения, я... послал за городским головой и начальником милиции; явился и председатель тобольского исполкома, врач Варнаков”. Панкратов просил милицию принять на хранение вино до официального выяснения, кому оно назначалось. Начальник милиции запротестовал: “народ узнает, нас разгромят”. За пять недель до того в Тобольске был уже “винный погром”. Отказалась и городская управа, и Варнаков предложил оставить вино на дворе дома, где помещалась свита: “у вас свой отряд”. Панкратов отказался последовать этому совету: “Около нашего дома и губернаторского будет скопиться горючий материал и приманка... скорее прикажу уничтожить вино. Повторил свое предложение (передать в больницы) с большей настойчивостью, ибо по собравшейся толпе и по растущему недовольству против наших офицеров ясно вижу, что надо действовать решительнее, иначе придется разогнать оружием... Собравшаяся уже толпа, серая и темная, ждала наступления вечера... Надо было выбирать между уничтожением вина и уничтожением людей. Выбор ясен. Был составлен протокол, который я подписал. И все вино в присутствии начальника милиции, городского головы и под наблюдением моего помощника и одного офицера было выброшено в Иртыш. Недовольная толпа растаяла”. Обе версии соединил Царь в своей записи 23 сентября: “...после долгого увещевания (солдат “здешней дружины”) со стороны комиссара и др. было решено все вино отвезти и вылить в Иртыш. Отход телеги с ящиками вина, на котором сидел пом. комиссара с топором в руках и с целым конвоем вооруженных стрелков сзади, мы видели из окна перед чаем...” Конечно, по-своему рассказал Быков для советского читателя. При перегрузке ящиков в Тобольске солдатами отряда особого назначения “один из этих ящиков разбился. В нем оказалось 20 четвертей спирта. Солдаты охраны тогда решили вскрыть и другие. В одном из них оказался также спирт, а в остальных вино. Это вызвало возмущение среди солдат охраны и местных тобольских жителей. Все вино и спирт тут же на пристани было вылиты в Иртыш”.

Благовещения. Но удовольствие было испорчено для меня той дурацкой обстановкой, при которой совершалось наше шествие туда. Вдоль дорожки городского сада, где никого не было, стояли стрелки, а у самой церкви была большая толпа. Это меня глубоко извело”. “Дело заключалось в том, – поясняет Панкратов, – что я не столько опасался попытки побега или чего-нибудь в этом роде, я старался предотвратить возможность выпадов со стороны отдельных тобольцев, которые уже успели адресовать на имя А. Ф., Николая II и даже его дочерей самые нецензурные анонимные письма, мною задержанные. Вся корреспонденция к бывшей царской семье проходила через мои руки. А что, как кому-нибудь из авторов подобных писем придет в голову во время прохода в церковь выкинуть какую-либо штуку? Бросить камнем, выкрикнуть нецензурную похабщину и т.п. Пришлось бы так или иначе реагировать. Лучше заблаговременно устранять возможность подобных историй. И мы с Кобылинским старались принять все меры против такой возможности”. “Вот почему, для того, чтобы иметь возможность водить Николая II с семьей в церковь, необходимы были некоторые приготовления. Расстояние от губернаторского дома до Благовещенской церкви не превышало 100 – 120 саженей, причем надо было перейти улицу, затем пройти городским садом и снова перейти другую улицу. При проходе б. царской семьи в Благовещенскую церковь этот путь охранялся двумя цепями солдат нашего отряда, расставленными на значительном расстоянии от дорожки, а переход через улицу Свободы охранялся более густыми цепями стрелков, чтобы из толпы любопытных, которых в первое время собиралось человек до 100, кто-либо не выкинул какую-нибудь шутку. Со священником было условлено, чтобы обедня для б. царской семьи происходила раньше общей обедни для прихожан, т.е. в 8 час утра, и что во время этой службы в церковь допускались только священник, диакон, церковный сторож и певчие... В одну из ближайших суббот Николаю Ал. было сообщено, что завтра обедня будет совершена в церкви. Пленники настолько были довольны этой новостью, что поднялись очень рано и были готовы даже к семи часам... Николай II, дети, идя по саду, озирались во все стороны и разговаривали по-французски о погоде, о саде, как будто они никогда его не видели. На самом же деле этот сад находился как раз против их балкона, откуда они могли его наблюдать каждый день. Но одно дело видеть предмет издали и как бы из-за решетки, а другое – почти на свободе... Помню, когда меня перевозили из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую усыпальницу, заключенного в цепи по рукам и ногам, с полубритой головой, окруженного гайдуками-жандармами, – увидав лес, я чуть не потерял сознание от радости, что я вижу деревья по бокам дороги... Не было ли аналогичного самочувствия у царственных пленников, когда проходили по саду? Правда, положение их ничуть не походило на то положение, в каком был я, но тем не менее по выражению лиц, по движениям можно было предполагать, что они переживали какое-то особое состояние... Одна только А. Ф. сохраняла неподвижность лица. Она величественно сидела в кресле и молчала. При выходе из сада и она встала из кресла. Оставалось перейти улицу, чтобы попасть в церковь. Здесь стояла двойная цепь солдат, а за этими цепями – любопытные тобольцы и тоболячки. Первые молчаливо провожали глазами своих бывших повелителей. Тоболячки же громко оценивали наружность, костюмы, походки”.

Никаких осложнений фактически не было, тем не менее семье позволяли ходить в церковь только в воскресенье, когда и можно было ожидать скопление народа. Например, 5 октября, в День именин Алексея, “не попали к обедне в церковь из-за упрямства т. Панкратова” (запись Царя). Не показывает ли это, что дело заключалось не только в опасениях, которые выдвигал Панкратов, – ведь в тюрьме арестантов полагается водить только в воскресенье<sup>257</sup>. Может быть, под влиянием Никольского Панкратов усвоил это положение, не будучи, однако, слишком риторичным и уступая по мягкости своей просьбам семьи.

---

<sup>257</sup> В воскресенье 24 го, после истории с вином, – отметил Царь, – не пришлось идти в церковь, “опасаясь чьей-то возбужденности”.

Из рассказа Панкрата видно, что Царь много раз при личных свиданиях и через приближенных возвращался в вопросу о возможности осмотреть город и о прогулках за город. “И каждый раз приходилось отказывать ему в этом, – говорит правительственный комиссар. – Лично я ничего не имел против удовлетворения просьбы б. Царя посмотреть город, но, во-первых, инструкция, данная мне Врем. Прав., а, во-вторых, складывающиеся условия – а это было самое главное препятствие – всего более отнимали эту возможность”. Каковы же были эти “складывающиеся обстоятельства”? Панкратов не раз возвращается к описанию тех опасений, которые у него возникали в связи с окружающей атмосферой. Рассказывает Панкратов о потоке анонимных писем, которых иногда получалось так много, что “целое утро тратилось” на их просмотр, возложенный инструкцией на комиссара. “Никогда в жизни не приходилось мне читать такие отвратительные порнографические письма” (даже в Америке нашлись такие писатели, и оттуда приходили письма на английском языке на имя дочерей). “Было много писем, доклеенных в революционных красных конвертах с революционным девизом: “Да здравствует русская революция!” “Все письма приходилось тщательно просматривать и бросать в печку”. Так как Панкратов их сжигал, то мы никогда не узнаем о числе этих писем. Десятки или сотни? – ведь в этом все дело, хотя, сколько бы таких отвратительных анонимных писем ни было, они не характеризовали тобольскую обстановку. “Но немало получалось писем угрожающего характера от тех, кто был недоволен “гуманным заключением” Царя в губернаторском доме”. “Ко мне сыпались с разных концов запросы, особенно из действующей армии, от Омского областкома, с которым... я не имел никаких дел. Керенскому я телеграфировал еженедельно два раза обо всем происходящем и просил принять меры против газетного вранья. Надо сказать, что ни одна мера не достигала цели. Пока появится опровержение, газетные выдумки успеют облететь всю Россию и даже весь фронт. От последнего неоднократно приходили по моему адресу даже угрозы – “пришлем дивизию для расправы с комиссаром, с отрядом и самой царской семьей”<sup>258</sup>.

Воображаю, что получилось бы, если бы я, не ожидая разрешения Врем. Прав., вздумал повести пленников гулять за город или по городу. Без уличных скандалов, конечно, не обошлись бы эти прогулки. Дело в том, что в это время в местном рабочем клубе некоторыми членами его велась определенная политика против меня и против отряда о котором распускали слухи, что он “ненадежен”, и пустили даже в обращение идею: бывшего Царя с семьей надо свести на положение простых уголовных и переселить в тюрьму. Некоторые из солдат нашего отряда готовы были поддержать эту идею, но задерживало их и оскорбляло то, что отряд называли “ненадежным”. Клубисты из всех сил старались через “рабочий клуб” враждебно настраивать тобольское население. При такой обстановке нечего было и думать о прогулках за город”.

Насколько опасения Панкрата соответствовали реальной обстановке? Мы много раз видели примеры того, как память *post factum* гиперболически увеличивает переживания мемуаристов и единичные факты превращает в факты, так сказать, массовые. Не всегда здесь сказывается тенденция и происходит это бессознательно. Так ли были многочисленны угрозы с фронта, доходившие до Тобольска и не оставившие следов ни в центральных советских учреждениях, ни в советской прессе. Из слов Панкрата вытекает, что эти угрозы были “анонимными”. Поскольку дело идет об анонимах, важно определить время, к которому они относятся. Большим недостатком воспоминаний Панкрата, равно как и всех воспоминаний и показаний о тобольской жизни царской семьи в период существования Временного Правительства, является обобщение пережитого. Этому недостатка не избежала и сводная работа позднейшей следственной комиссии. В силу этого иногда очень трудно разграничить то, что было в эпоху Временного Правительства, от того, что наступило после

---

<sup>258</sup> Мемуарист усматривает даже злостную бесцеремонность чиновников почт.-тел. ведомства, которые возвращали иногда телеграммы с опровержениями газетных уток и басен за ненахождением адресатов.

октябрьского переворота – в новый переходный период, когда большевистская власть официально не распространяла еще своей компетенции на отдаленное захолустье, но когда тлетворное дыхание побуждающего большевизма подготавливалось исподволь, потому и резкой грани между двумя периодами нет. “Что-то грозное надвигалось на Россию после истории с ген. Корниловым, – пишет Панкратов, – русская революция вступила в новую фазу”. Но корниловское движение никакого отклика в Тобольске не могло получить. Определяли реальное положение в Тобольске не медленно происходящие внутренние процессы, а те изменения в психике или завоевание ее торжествующим разнузданным “хамом революции”, которые на первых порах была мало заметны в патриархальной жизни отдаленного захолустья. При детальном анализе возможно установить, что значительное, по крайней мере, большинство фактов, как бы подтверждающих основательность опасений правительственного комиссара, надлежит отнести на тот именно период, когда Временного Правительства уже не существовало, когда маленький уголок России, совершенно оторванный от центра, по инерции еще жил самостоятельной жизнью, – когда Тобольск существовал как бы сам по себе. Сам Панкратов засвидетельствовал, что именно тогда от военного комиссара Омского Совета получилось приказание “перевести б. Царя с семьей в каторжную тюрьму и арестовать губернского комиссара”. Естественно, что правительственный комиссар абсолютно не видел необходимости прибегать к такой мере.

Было бы ошибочно психологию, создавшуюся в переходное время (Панкратов оставил свой пост 24 января), переносить на те первые месяцы, когда существовала старая революционная власть, формально определявшая юридическое положение “царственных пленников” в Тобольске. Панкратова “крайне тревожило” непонимание положения дел со стороны Царя и свиты, настаивавших на прогулках. Но удивительным образом он не считал нужным сообщить Царю свои опасения (“сообщать обо всем этом бывшему Царю не приходилось, – говорит он). Почему? <sup>259</sup> Заключенные не разделяли этих опасений и делали ответственным за неразрешение прогулок только Панкратова, тем более что на этой почве создалось непонятное недоразумение. Очевидно, еще в начале комиссарства Панкратова при очередном разговоре о прогулках с доктором Боткиным и трафаретной ссылке Панкратова на опасность прогулок и на то, что ему “права” на это “не дано”, Боткин сказал: “Тогда я сам буду ходатайствовать перед Врем. Правительством”. “Я не протестую. Хлопочите”, – ответил Панкратов. И вот в записи Николая II 29 октября читаем: “На днях Е. Р. Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. На вопрос Боткина, когда они могут начаться, Панкратов, наконец, ответил, что теперь о них не может быть речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Все были этим ответом до крайности возмущены”. Получение такой бумаги Боткиным очень невероятно, хотя дочь Боткина, прибывшая в Тобольск 14-го и тщетно добивавшаяся разрешения посещать семью под благовидным предлогом “общих уроков”, это подтверждает, – впрочем, в качестве мемуариста она достаточно безответственна. Невероятно, чтобы Панкратов умолчал о таком разрешении, тем более что при своей природной мягкости, имея разрешение, он, конечно, уступил бы настояниям семьи и переборол бы и свои больше теоретические опасения, и противодействие своего помощника, если таковое было бы, и, возможно, оппозицию солдатского “комитета”. Человек, переживший всю томительную тоску многолетнего одиночного тюремного заключения и не озлобившийся, как никто другой, мог понимать радость жизни и восприятие свободы.

Панкратов сознавал, что он сам отчасти провоцировал Царя на повторные просьбы о прогулках за город своими рассказами о красоте сибирской природы – рассказами, которые с

---

<sup>259</sup> По словам Панкратова, он рассказал о своих мотивах Боткину для того, чтобы избавиться от “бесконечных разговоров”, так как Боткин, как врач, настаивал на этих прогулках. Это было уже тогда, когда “толпа неизвестных лиц” в солдатских шинелях бродила по Тобольску и с особым ударением кричала: “кровушку проливали”.

особым вниманием слушали дети<sup>260</sup>.

“Каждый раз приходилось ему отказывать”, – констатирует Панкратов. Такое упорство было бы непонятно, если бы в руках Панкратова было распоряжение Керенского, хотя бы даже в частном письме к Боткину. И особенно был удивлен Панкратов, когда уже после октябрьского переворота со стороны узников, не считавшихся с осложнившейся обстановкой, стали поступать повторные просьбы о прогулках: “О, как мало знал Николай о том, что творилось кругом, несмотря на то, что я передавал ему все газеты, из которых было видно, что Временное Правительство уже пало и рассыпалось, что его заменили Советы”, – замечает Панкратов. “Меня крайне поражало непонимание положения дня со стороны свиты – кн. Долгорукова, Боткина и др. Они не переставали просить о том же в то время, когда прогулки их самих по городу вызывали негодование наших солдат...”

Пожалуй, некоторую наивность в данном случае проявил уже мемуарист. Мне думается, что можно установить как бесспорный факт: в период существования Временного Правительства в Тобольске ни у кого из членов царской семьи не являлась мысль о “бегстве”. Никаких реальных планов освобождения извне в монархических кругах не создавалось. Может быть, была некоторая словесность в этой области – и притом больше за границей, как о том в до нельзя преувеличенном виде, на основании довольно случайной информации, передавал в середине октября “весьма секретный доклад” о контрреволюционном движении за границей комиссара Врем. Прав. Сватикова. В Швеции, Англии, Франции, Швейцарии, Италии различные кружки монархистов и даже тайное общество “Святая Русь” обсуждали план “реставрации Романовых” – одни высказывались за Дмитрия Павл., другие за восстановление Николая II. Сторонники последнего были в “восторге” от перевода Царя в Тобольск, потому что бегство оттуда будет гораздо легче, чем из Царского Села. В этом отношении уже предприняты шаги – сообщал доклад. Тут шли намеки на связь с Германией и на получение оттуда соответствующих денежных сумм<sup>261</sup>. Не видно, однако, чтобы этот в потенции русский Кобленц, работающий на восстановление монархии и имевший будто бы два съезда в Лозанне, находился в каких-либо налаженных организационных отношениях с единомышленниками в России...

Эти единомышленники были готовы отчасти приветствовать удаление царской семьи из “огнедышащего вулкана”, каким представлялся Петербург. Никаких шагов для освобождения заговорщики из Австрии, группировавшиеся вокруг “Tante Yvette”, не предпринимали, считая, очевидно, что пока существует Временное Правительство, безопасность царской семьи в Тобольске обеспечена и что форсировать освобождение, сопряженное с риском, не было надобности. Автор плана нападения на Царское Сельский дворец вод видом анархистов и увоза царской семьи скрывается за 41/2 месяца в Кременчуг, в деревню той Дэн, которая была главной посредницей в Петербурге между заключенными и внешним миром. Это не мешало работе монархических организаций развиваться “нормально” и “весьма успешно”. Шла “организация боевых монархических сил”,

---

<sup>260</sup> Панкратов рассказывал и о своем заключении в Шлиссельбурге, о хождении по этапам, о жизни в ссылке. Семья прочитала воспоминания Панкратова “Возвращение в жизнь” – о выходе из Шлиссельбургской крепости после 14 летнего заключения. Зубной врач Кострицкий, приехавший в Тобольск для лечения семьи, рассказывал Панкратову, что все были в восторге от воспоминаний, но не верили в возможность такого долгого заключения. И хотя Царь в раздражении назвал в дневнике комиссара “поганцем”, и хотя А.Ф. в позднейшей переписке называла “наш ужасный комиссар”, в действительности отношения были иные. Недаром, прослышав о занятии Панкратова с солдатами, о лекциях в Народном Доме, родители через Кострицкого шупали почву: не согласен ли он преподавать детям. Панкратов отказался, считая это несовместимым с занимаемым им положением. Едва ли это не было после октябрьского переворота – Кострицкий прибыл в Тобольск 17 октября.

<sup>261</sup> Возможно, что в этих эмигрантских слухах и сплетнях, получаемых от русских и иностранных агентов контрразведки, и в частных разговорах и была известная доля истины.

производился “учет” верных и надежных людей и т.д. и т.д. 262.

Поверим всему этому, но отзвука этой работы (преувеличенные рассказы сам Марков 2 й назвал “баснями”) до Tobольска в то время еще не доходили. И поэтому надо думать, что в первоначальных домогательствах “царских пленников” прогулок и загородных поездок не было никаких задних целей. С момента переворота должен был произойти перелом. У заключенных в “доме свободы” постепенно установилась возможность нелегальных сношений с внешним миром. Такими посредниками первоначально были священник Благовещенской церкви, исправлявший службу на дому для заключенных, о. Васильев, и квартировавший у него царский служащий Кирпичников, который имел доступ в бывший губернаторский дом. Пользовалась А. Ф. и другими путями для пересылки писем – позже в письмах к Вырубовой А. Ф. упоминала о “маленькой Н.”, о “М. Е. Г.” и др., которые служили ей передатчицами. Со второй половины октября началась переписка с Вырубовой, которая приняла более или менее систематический характер; стали прибывать вещи, продовольственные посылки и деньги из Петербурга<sup>263</sup>. Появился специальный посланный Вырубовой – Соловьев, женатый на одной из дочерей Распутина и таким образом сделавшийся как бы сибиряком. Главной посредницей стала одна из “горничных”, которая попала в Tobольск с опозданием, не была допущена к непосредственному обслуживанию семьи и поселилась на частной квартире – с ней семья сносилась через камердинера А.Ф. – Волкова.

С этого момента возможность выхода с ограниченной территории губернаторского дома могла получить особое значение – облегчить сношения с приезжавшими из Петербурга “друзьями”. Вероятно, в тех же целях Н. А. и А. Ф. просили Панкрата разрешить о. Алексею, приходившему в дом заключения для совершения богослужения, преподавать Закон Божий младшим детям. Это было в начале декабря (“священника для уроков не допускают” – писала А. Ф. 10 декабря). Панкратов отказал: “По существу я сознавал, что просьба самая невинная и нельзя бы не допустить. Но, помня все происходящее кругом, я никак не мог удовлетворить просьбу”<sup>264</sup>.

---

<sup>262</sup> Марков-”маленький” повествует, как он на юге организовывал в целях сокрытия конспирации “клуб темных сил” – бесшабашную компанию 12 офицеров, проводившую время за бутылкой вина.

<sup>263</sup> А. Ф. сжигала письма Вырубовой и просила также поступать и с ее письмами. “Только обещай мне сжечь все мои письма, так как это могло бы тебе бесконечно повредить, если узнают, что ты с нами в переписке” (10 дек.); “они не должны догадаться, что мы их обманываем, а то это повредит хорошему коменданту, и они его уберут”. Вырубова сохранила некоторые письма, и теперь мы должны быть ей за то благодарны. Некоторые письма А. Ф. тщательно конспирировала и писала от имени “грешной сестры Феодоры” и “возлюбленной сестрицы Серафимы”. Конспирация была очень наивна и прозрачна, ибо иногда А. Ф. тут же в письме проговаривалась: напр., как “у меня в Ливадии”.

<sup>264</sup> “Все происходившее кругом” заключалось, надо думать, в бестактном поведении о. Алексея. Он “своими выходками оказывал медвежьи услуги августейшей семье”, как выразился Кобылинский. Первая его выходка имела место 21 октября в день восшествия на престол Государя: “когда семья вышла из церкви, раздался звон и продолжался до самого входа ее в дом”. (Это могло быть лишь на другой день – в воскресенье 22 го.) 25 декабря дьякон провозгласил “многолетие Государю”. Панкратов говорит, что это было 6 декабря, т.е. в день тезоименитства Царя. Он явно ошибается, так как в письме к Вырубовой прямо оказано: “6 был молебен, не позволили идти в церковь (боялись чего-то.)”. То же отмечено в дневнике Николая Ал., который поминание “с титулом” относит на 25-е: “Узнали с негодованием, – записывает он 28-го, – что нашего доброго о. Алексея притягивают к следствию и что он сидит под домашним арестом. Это случилось потому, что за молебном 25 декабря дьякон помянул нас с титулом, а в церкви было много стрелков 2-го полка, как всегда, оттуда и загорелся сыр-бор, вероятно, не без участия Панкрата и присных”. Среди солдат начался ропот. Священника солдаты хотели арестовать и даже “убить”, но еп. Гермоген (в начале декабря он был в Москве на Церковном Соборе) отправил его временно в Аболанский монастырь. “Весть о происшедшем моментально облетела весь город и, попав в Рабочий Клуб, превратилась здесь в величайшее событие”, – добавляет Панкратов. Была организована следственная комиссия, в которой о. Алексей признался, что этим способом он хотел “скопнуть” Панкрата. Солдаты постановили (это было уже в середине января): “в церковь совсем семью не пускать”, и Кобылинскому едва удалось выхлопотать, чтобы семья посещала церковь хоть в двенадцатые праздники. С



В данном случае просьба, возможно, и не была уже так невинна. По-видимому, семья возлагала большие надежды в смысле своего освобождения на Учредительное Собрание. Царь неоднократно спрашивал Панкратова: “А скоро ли будет созвано Учредительное Собрание”? Панкратов отвечал “уклончиво”, ибо сам “не имел точных сведений”. “Да и кто тогда мог ответить на этот вопрос” – добавляет мемуарист. Палили надежды на Учредительное Собрание – возрастали упования на то, что освобождение как-то может прийти от подавших о себе весть “друзей”. Это была мистика, связанная с верой в “будущие хорошие времена”, о которых А. Ф. говорила в письмах, к Вырубовой. Читая интимные письма, иногда почти проникновенные по своему искреннему чувству, начинаешь почти верить в то, что в годину несчастья и страданий властолюбивая и гордая Царица действительно “внутренне совсем смирилась”. Тут не только христианское смирение перед “тяжелой школой страдания” и всепрощение, “бесконечная вера” в благодать провидения. С неподдельной любовью, с какой-то экзальтацией говорит А. Ф. о России. В каждом письме она возвращается: “Хотя и стала старая, но чувствую себя матерью страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на весь ужас теперь и на все согрешения”. “О Боже, спаси Россию! Это крик души и днем и ночью, и все в этом для меня – только не этот постыдный ужасный мир” (10 декабря)<sup>265</sup> Панкратов рассказывает, что одна из великих княжон задала ему однажды вопрос: “Неужели правда, что Учредительное Собрание вышлет нас всех за границу?” “Мало ли что пишут в газетах”, – ответил Панкратов. – Уч. Собрание еще не созвано, никто не знает, как оно решит этот вопрос”. “Лучше пусть нас

---

решением же, чтобы солдаты присутствовали за домашним богослужением, Кобылинский был бессилён бороться. “Таким образом, бестактность о. Васильева привела к тому, что солдаты все-таки пробрались в дом, с чем до того времени мне удалось благополучно бороться”. Резонанс истории с “многолетием” 25 декабря мемуаристами несомненно преувеличен, как показывает тот факт, что о. Алексей из Аболана был возвращен уже 5 января (дневник Шнейдер). Быков в статье, напечатанной в сборнике “Рабочая революция на Урале, не то цитирующей документы из дела следствия, не то устное свидетельство современника, приводит ответ, якобы данный на поступивший Гермогену запрос: “Так как по данным Священного Писания, государственного права, канонов и канонического права, а также по данным истории, находящиеся вне управления своей страной бывшие короли, цари, императоры и т.п. не лишаются своего сана, как такового, и соответственного ему титулования, то поступок о. Алексея Васильева не могу считать преступным”. Очевидно, отказ правительственного комиссара допустить законоучителя во внутренние комнаты губернаторского дома не может быть поставлен в непосредственную связь с инцидентом о многолетии. 10 декабря А. Ф. пишет: “священника для уроков не допускают”. Священник Васильев по возвращении из Аболана не был допущен к служению в ц. Благовещения. В дневнике Шнейдер 28 января значится: “О. Алексею все еще не разрешено служить (солдатским комитетом) даже в его церкви”. Еще меньше можно поверить фантастическому сообщению, переданному тем же Быковым на основании “бесед с товарищами”, что в ноябре в соборе раздавались и распространялись листки с призывом “помочь царю-батюшке постоять за веру русскую и православную” – это был “пробный шар” отыскать тот общественный слой, на который можно было опереться для создания около имени Николая II смуты. Вероятно, колебания и осторожность Панкратова при недоверчивом отношении к лояльности свящ. Васильева объяснялись фактом, отмеченным за эти дни (16 декабря) в записях Царя: “Утром за прогулкой видели двух солдат 1-го полка, приехавших из Ц. С., чтобы проверить правильность слухов, ходящих о нас и о здешнем отряде”.

<sup>265</sup> При сопоставлении этих выписок из писем А. Ф. с тем, что написал о ней Панкратов, выступает с большой ясностью вся несправедливость предвзятых суждений современников о погибшей Императрице. При глубокой внутренней порядочности и добросовестности старый шлиссельбуржец сохранил в себе много “революционной” наивности и “революционных” предрассудков. Он рассказывает, как глубоко его возмутила “скупость” семьи, подписавшей в Тобольске на листе сбора пожертвований на фронт “только 300 рублей, имея только в “русских банках свыше ста миллионов”. “Мне много приходилось наблюдать, – пишет мемуарист, – во всех вопросах А. Ф. имела решающий голос... И сумма была назначена А. Ф. И это еще не значит, что она была скупа во всех случаях – нет. Известны ее пожертвования на германский красный крест, уже во время войны” (Sis!). “Да, Аликс была скупа для России. Она могла быть в союзе с людьми, которые готовы были жертвовать Россией...”

Керенский, претендующий на знание психологии людей, также “parfaitement” знал, что А.Ф. никогда не любила России: “Она была неискренна”, когда говорила ему при беседах в “позолоченной тюрьме” Царского Села о любви своей к стране”.

вышлют еще дальше куда-нибудь в Сибирь, но не за границу”, – заметила княжна.

Вернемся, однако, к начальному периоду пребывания царской семьи в Тобольске, т.е. к тем дням, когда существовала вышедшая из признанного страной февральского переворота власть, на которой так или иначе лежала ответственность за судьбы отрекшегося Императора. В пределах, установленных ее инструкциями, формально должны были действовать правительственные агенты, опекавшие царскую семью. Свобода, которая могла быть предоставлена “пленниками”, зависела от сибирских общественных настроений. Оценка последних неизбежно была субъективна. Современники по-разному определяют настроения тобольчан – в зависимости от своих политических взглядов и отчасти от той среды, которая входила в орбиту их наблюдений. Каждый с своей точки зрения будет прав, и поэтому едва ли вполне соответствует действительности утверждение Керенского, что молодые энтузиасты типа фрейлины Хитрово, являющиеся из Петербурга и Москвы для спасения заключенных (в первые месяцы этих приезжих вообще не было) в уверенности встретить в Тобольске монархические настроения, будут испытывать глубочайшее разочарование, наткнувшись на полный индифферентизм к судьбе монархов: еще раз Царь и Царица оказались в вечном одиночестве.

Рядовая масса встретила приезд невольных гостей с чувством естественного любопытства, но без всякой вражды. “Отношение коренного населения города к августейшей семье, – передает свое первое впечатление Кобылинский, – было хорошее. Когда мы подъезжали к Тобольску, город высыпал к пароходам, стоял и глядел на них. Когда семья следовала на жительство в губернаторский дом, чувствовалось, что население хорошо относится к ней. Оно, видимо, боялось открыто тогда проявлять симпатии и делало это тайно. Много приносилось разных приношений для августейшей семьи, преимущественно из съестного-сладкого”. Жильяр утверждает, что при проходе в церковь, куда доступ публике был запрещен, ему “часто случалось видеть людей, которые крестились или падали на колени при проходе Их Величеств. Вообще жители Тобольска оставались очень привязаны к царской семье<sup>266</sup>, и нашим сторожам пришлось много раз не допускать стояние народа под окнами и не позволять снимать шапки и креститься при проходе мимо дома”. Татьяна Боткина обобщает эти впечатления: “Громадное большинство населения относилось... с прежним верноподданническим чувством”. Прибывший в Тобольск Соловьев сразу наслышался от хозяев постоянного двора массы “беспристрастных рассказов” о проявлении преданности царскому дому со стороны местного населения: “Обычно массы народа заполняли улицу перед губернаторским домом, и народ приветствовал появлявшихся в окнах ее членов. Исключения были редки. А местные татары, собравшись в один из своих праздничных дней во главе с муллой<sup>267</sup> перед домом, отслужили под открытым небом молебен о здравии Их Величеств. Был даже случай, когда при прохождении Их Величеств в церковь один рабочий крикнул обидное оскорбление, за что его народ чуть не разорвал на части”. Эти обывательские рассказы, конечно, могут быть умножены. Так, “купцы на базаре” в один голос подтверждали, что “население в огромном большинстве действительно очень сочувственно относится” и что “если и есть недоброжелатели в среде немногочисленных рабочих и прибывающих с фронта солдат, то за их малочисленностью это существенного значения не имеет”. Другой офицер, Раевский, побывавший в Тобольске и приехавший для доклада в московских монархических кругах, тоже увидит в Тобольске “поголовно монархическое настроение”. Мемуарные преувеличения этого “мальчика школьного

---

<sup>266</sup> Припомним характеристику, данную Макаровым Бьюкенену (в изображении, конечно, последнего). А. Ф. в письме к Вырубовой отмечала, что, во время прохода в церковь некоторые люди кланяются и нас благословляют, другие – не смеют”.

<sup>267</sup> О настроениях “тобольских татар”, об их “особенной преданности” А. Ф. имела случай говорить еще в 15 г.; она писала 12 июля мужу, что их надо призвать на военную службу, и что они пойдут с “радостью и гордостью”.

возраста” слишком очевидны. Иное впечатление вынесет Панкратов: “Никакого паломничества со стороны тоболян с коленопреклонением или без оно никогда не происходило<sup>268</sup>. Все, что можно было заметить и наблюдать, так это простое любопытство, и то в ближайшие месяцы<sup>269</sup>, и вздохи сожаления нередко с нелестным упоминанием “Гришки Распутина”<sup>270</sup>. Итог, подведенный правительственным комиссаром, в общем совпадает с оценкой, которую сделал в начале января один из приехавших в Тобольск из Москвы в целях организации освобождения царской семьи офицер, уже вышедший из “школьного возраста”, – командир 2-го Сумского гусарского эскадрона К. Соколов. Он отметил в воспоминаниях: “Настроение населения по отношению к Царю скорее равнодушное, но во всяком случае не злобное (отношение „восторженное“ было у группы „бойскаутов“, но их числилось всего-навсего 30 человек в возрасте от 10 до 17 лет).

Во всяком случае, не эта обывательская улица, всегда любопытствующая и всегда пассивная, могла, конечно, определить ход жизни в Тобольске. На нее могло оказывать влияние активное меньшинство, группировавшееся около местного совета. Но в захолустном Тобольске революционные элементы боевым пылом не обладали – незначительная большевистская фракция играла вначале совсем второстепенную роль, хозяином положения всецело был правительственный комиссар, которому не очень на деле приходилось считаться с мнением и попытками вмешаться со стороны местного исполкома. Характерную сцену воспроизводит Панкратов в воспоминаниях – очевидно, она произошла далеко не в первые дни по прибытии правительственного комиссара, а скорее в дни, приближавшиеся к октябрю. “Тобольский совет, под председательством врача Варнакова, – рассказывает Панкратов, – попросил меня как-нибудь зайти к нему в совдеп “по очень важному делу”. В ближайший день захожу. – В чем дело? – спрашиваю я. Присутствующие как-то мнутя, точно подыскивают, с чего начать. После некоторого молчания первым заговорил Варнаков: “Насколько нам удалось познакомиться с отрядом, он мало сознательный”... “Это значит ненадежный, – вмешались Писаревская и Киселевич, – из Омска можно выписать надежных людей, рабочих, вполне сознательных”. “Омск пришлет настоящих. Ваш отряд...” – снова заговорила было Писаревская. Я не дал ей договорить и заявил, что всякая попытка к смене отряда кем-либо раз и навсегда должна быть оставлена. Если же об этом я сообщу отряду, то последствия будут очень неприятны для вас... Я не допущу вмешательства, пока я здесь. Прошу больше меня не беспокоить подобными разговорами. Я бы желал, чтобы всюду сохранялась такая дисциплина и сознание, как в нашем отряде, – закончил я и ушел”.

Авторитет правительственного комиссара таким образом в значительной степени опирался на организованную силу, которую представлял собой гвардейский отряд особого назначения. “Я должен констатировать, – пишет Панкратов, – что отряд первого состава представлял собой воинскую часть, вполне сохранившую дисциплину, и резко выделялся среди солдат местного гарнизона своей опрятностью, трезвостью и умением себя держать. В то время как солдаты местного гарнизона частенько встречались пьяненькие, грязные, невообразимо одетые, наши гвардейцы одевались чисто, вели себя хорошо и быстро стали покорять сердца местных обывательниц и прислуги. На этой почве возникали ненависть,

---

<sup>268</sup> Панкратов имел в виду беззастенчиво вздорное сообщение, появившееся 8 октября в “Новом Времени” под заголовком “Монархическое движение в Тобольске”. Газета передавала, что “в Ставке получено сообщение, что возле дома Романовых собираются огромные толпы народа и коленопреклоненно служат непрерывные молебны”. Отсюда делался вывод о необходимости перевести семью в менее населенное место жительства. Панкратов на это сообщение послал 17-го правительству телеграмму: “Оградите нас от суворинской провокации”. “Газетная спекуляция”, как выражается Панкратов, усилившаяся в первые дни после октябрьского переворота, когда стали писать о “побеге Царя”, отравляла ему существование и осложняла положение в Тобольске.

<sup>269</sup> То, что делается привычным, естественно, теряет остроту новизны. Жильяр отмечает, что у ранней обедни семья бывала “почти одна”. В январе 18 г. А. Ф. писала Вырубовой: “Люди милые здесь, все больше киргизы. Сижу у окна и киваю им, и они отвечают, и другие тоже, когда солдаты не смотрят”.

вражда и ревность солдат местного гарнизона к нашим гвардейцам. Если дело до столкновений не доходило, то только потому, что местные солдаты боялись наших гвардейцев”. В первый же день своего приезда Панкратов обратился к охране с такой речью: “На нас возложено ответственное дело перед родиной до созыва Учр. Собрания, которое решит дальнейшую судьбу бывшего Царя, вести себя с достоинством, не допускать никаких обид и грубостей с бывшей царской семьей. Всякая бестактность с нашей стороны только легла бы позором на нас же. Грубость с безоружными пленниками не достойна нас. Поэтому я призываю всех держаться этого правила, – сказал я в конце своей речи, – за всякий свой поступок мы должны будем дать отчет... Нам не дано право быть судьями вверенного нам бывшего Царя и его семьи...” “Отряд вполне оценил мое заявление, – заключает Панкратов, – и доказал это тем, что за все пять месяцев моего комиссарства ни разу не проявил себя хамом. Поведение отряда было почти рыцарским” 270.

Перо мемуариста несколько сгущало краски, оттеняя однородность настроений “отряда особого назначения” и его “рыцарского” поведения за все время, пока Панкратов комиссарствовал в Тобольске. Непосредственный начальник отряда Кобылинский внес существенные оговорки к этому изложению в своих показаниях Соколову. “В городе Тобольске в то время жил какой-то ссыльный Писаревский, фанатик, партийный эсдек, непримиримый враг эсерам. Вот этот Писаревский всеми правдами и неправдами и повел через солдат борьбу с Панкратовым и Никольским. Писаревский издавал газету большевистского направления “Рабочую Газету”. Видя, что Панкратов пользуется у солдат некоторым влиянием, он стал приглашать их к себе на чашку чая и стал развращать их. В конце концов, очень скоро после прибытия к нам Панкратова с Никольским весь отряд разбился на две партии: Панкратовская партия и партия Писаревская, или другими словами партия большевиков... 271 В нее и пошли солдаты второго полка, наиболее бедные и наиболее развращенные. Лишь небольшую часть составляла третья группа, я бы сказал – нейтральная, состоявшая преимущественно из солдат призыва 1906 – 1907 гг. Когда солдаты, под влиянием этой партийной борьбы, стали разлагаться, они начали хулиганничать. Цель у них была иногда вовсе не причинить неприятность Августейшей семье” 272.

Но все это обострилось лишь после переворота, когда председателем совета сделался Писаревский и когда совет начал делать попытки более активно вмешиваться (иногда еще безуспешно) во внутреннюю жизнь губернаторского дома. Вот пример. “Однажды в праздник вечером является председатель местного совета Писаревский к караульному дежурному офицеру, – рассказывает Панкратов, – и требует пропустить его к Царю. “По уставу караульной службы я сделать этого не могу” – отвечает офицер. – “Я председатель тобольского совета. До меня дошел слух, что Николай вчера сбежал... Я хочу проверить”. “Этот слух ложен. Вы знаете, что сегодня он был в церкви”. – “Я должен убедиться, вы должны меня пропустить”, – настаивал Писаревский. Офицер отказывается: “Идите к

---

270 “Большинство солдат отряда произвело на меня отрадное впечатление своей внутренней дисциплиной, – рассказывает комиссар свое первое впечатление. – За исключением немногих наш отряд состоял из настоящих бойцов, пробывших по два года на позициях под огнем немцев, очень многие имели по два золотых георгиевских креста. Это были настоящие боевые, а не тыловые гвардейцы”.

271 Писаревский, очевидно, не был большевиком; скорее всего, он принадлежал к какому-нибудь оттенку меньшевиков-интернационалистов, часто занимавших пробольшевистскую позицию. После октябрьского переворота он сделался председателем совета. Между тем большевистские мемуаристы определенно говорят, что им удалось устроить переворот и свергнуть “меньшевистско-с-р-головку” лишь в марте.

272 Как пример, Кобылинский приводит недовольство на неполучение “суточных”. Чтобы “замазать рты” и предупредить неприятности на этой почве для семьи (стали говорить про Царя: “хоть и арестован, у него мясо в помойку кидают”), Кобылинскому пришлось делать заем у губернского комиссара и выплачивать суточные. Это было уже, как устанавливает царский дневник, через месяц после переворота, когда солдатский комитет отправлял в центр делегацию.

комиссару, а я вас не пушу, кто бы вы ни были”. Писаревский ищет меня и, найдя у полк. Кобылинского, повторяет свое заявление весьма взволнованно. “Не всякому слуху верьте, говорится в поговорке, – отвечаю я ему. – Ваша проверка излишня. Не могу исполнить вашего любопытства. А вот кстати и солдат здесь тот, что был сегодня утром в карауле, когда семья и бывший Царь ходили в церковь”. Писаревский не знал, что ответить”. Тем дело и кончилось. Эта сцена довольно символическая, если сравнить ее с тем, что рассказал Панкратов о более ранних попытках совета вмешаться в ведение правительственного комиссара.

Октябрьский переворот положил грань между двумя периодами пребывания царской семьи в Тобольске. С каждым днем, в силу изменявшейся политической обстановки, ухудшалось положение в Тобольске, хотя прошло еще более трех месяцев прежде, чем непосредственно появилась в Тобольске большевистская власть. Однако и в это уже смутное время “окружающая обстановка в Тобольске... вполне создавала тихую спокойную жизнь” для заключенных – в представлении прибывшего в Тобольск 16 марта, в числе других большевиков “уральцев”, слесаря Авдеева, будущего “коменданта” Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Поскольку опасения Панкратова относились к этому переходному времени, они, конечно, были более чем основательны. За первый период мемуаристы не зарегистрировали ни одного угрожающего факта, ни одного эксцесса против “пленников” в губернаторском доме.

С таким положением нельзя не считаться, и это наводит на заключение, что в тобольской обстановке было возможно и должно (в значительной степени) попытаться осуществить программу, которую излагал Макаров английскому послу. Если этого не было сделано<sup>273</sup>, то не служит ли это лишним доказательством того, что перевоз отрекшегося Императора в Тобольск, как и первоначальный его арест, не был вызван только необходимостью оградить его безопасность?

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужны ли какие-либо выводы со стороны обозревателя прошлого? Их может сделать только сам читатель. Никакая объективная история, написанная самым беспристрастным пером летописца, не сможет прийти к заключению, которое всех удовлетворило бы и объединило. Я старался лишь по возможности всесторонне очертить обстановку, в которой должно было действовать Временное Правительство, и устранять те наслоения, которые проявились в объяснениях, данных членами бывшего революционного правительства, естественно, желавшими снять с себя ответственность за екатеринбургское злодеяние.

Можно признать ошибочными пути революции, которые определялись не только стихийным ходом событий, но и волею людей, – и с этой точки зрения говорить об ответственности тех, кому было суждено управлять страной в бурные дни революционных пертурбаций. Однако эта моральная ответственность всегда будет ограничена зависимостью действовавших лиц от общественной психологии того времени. Когда современники возлагают всю тяжесть ответственности только на Временное Правительство, они искусственно отыскивают для себя оправдывающее их *alibi*. Каждый по-разному виноват в печальных итогах февральской революции, происходившей под знаменем освобождения России от политического и социального гнета дореволюционного режима. Светоч свободы угас, когда к власти пришли мнившие себя “последовательными революционерами”. Современники – разных общественных классов, положений и политических взглядов – виновны в том, что в октябре 17-го года в жизни победило большевистское насилие.

---

<sup>273</sup> В дневнике Шнейдер под 31 марта сказано, что для тобольских узников введен “царскосельский режим”. То же отмечено и в дневнике Царя. Это показывает, что первые месяцы пребывания в Тобольске, несмотря на все ненужные стеснения, царская семья почувствовала облегчение.

Октябрьский переворот с грубым цинизмом разрешил все вопросы, стоявшие перед Временным Правительством.

Бойня, учиненная в Ипатьевском подвале, в культурный XX век, должна остаться навсегда в сознании поколений, как *memento mori* той человеческой низости. Никакой логической связи между арестом Царя, высылкой его в Тобольск, как ни относиться отрицательно к этим фактам, и екатеринбургской трагедией установить нельзя. В Могилеве ли 7 марта в действительности был завязан тот узел, который с такой чудовищной разнузданностью большевики разрубили в Екатеринбурге? История, не обладающая предвидением в сфере того, чего не было, но что могло быть, не в состоянии доказать, что царской семье удалось бы при складывающихся обстоятельствах благополучно выехать за границу; тем более невозможно доказать, что пребывание отрекшегося Императора в Крыму могло гарантировать ему безопасность. Аргумент, который обычно выставляют (прибег к нему и следователь Соколов), не представляется убедительным; указывают на тот факт, что члены императорской фамилии, попавшие в Крым, сохранили жизнь. Но, во-первых, это одна из тех непредвиденных исторических случайностей, которая нередко определяет собой ход событий; во-вторых, мы не знаем, как могло бы повернуться дело, если бы во главе укрывшихся в Крыму находился отрекшийся Император. Был момент, когда екатеринбургские угрозы недвусмысленно нависли в атмосфере крымских эксцессов – одно из первых кровавых проявлений на территории страны большевистской демагогии: “Какие ужасы в Ялте и Масандре; Боже, куда, куда. Где спасение офицерам и всем?” – писала Александра Федоровна Вырубовой 5 февраля...

Узел екатеринбургской трагедии был завязан в Петербурге лишь 25 октября. Временное Правительство ушло в небытие. Оставались на исторической сцене потаенные монархические организации, озабоченные спасением царской семьи. Наступило время им действовать и рисковать: над царской семьей нависла уже угроза, не проблематическая, а вполне реальная, в особенности с момента разгона Учредительного Собрания, когда иссякла последняя слабая надежда, что Россия выбьется из октябрьской катастрофы и пойдет по какому-то иному пути. Здесь, в сущности, изложение наше должно быть прервано. Мы вступаем в новую фазу, слишком отличную и по своей идеологии, и по своему внутреннему содержанию от наследия февральско-мартовских дней, являвшихся основным предметом нашего изложения. Хотя с момента Екатеринбургской драмы прошло уже четверть века, мы не имеем возможности подвести итоги всех сопутствующих обстоятельств за отсутствием опубликованных исторических данных. Многие еще покрыты пеленой тумана и неясно. Прервать изложение – значит лишить книгу естественного конца. Я должен дать некоторое послесловие, заранее примирившись с неполнотой фактов и с необходимостью, критикуя выводы и заключения других, высказывать иногда лишь свои предположения. Они все же будут осторожны, и центром нашего внимания будет анализ существующих данных.

## **Часть II ТРАГИЧЕСКИЙ КОНЕЦ**

### **Глава первая “ПОКИНУТАЯ СЕМЬЯ”**

#### **1. В первые месяцы большевистской власти**

“Триумфальное шествие революции” – выражение принадлежит Ленину – замедлилось, докатившись до Урала, и как бы потерялось в Сибирской тайге. Советская власть лишь относительно упрочивалась по узенькой цепочке городов, расположенных на железнодорожных линиях (тут еще в дни Временного Правительства был свой “сибирский Кронштадт” – Красноярск, Енисейской губ.), но совершенно не проникала в деревню: сибирское крестьянство оказалось еще не затронутым “революцией”, как должны были пессимистически признать местные коммунистические вожди на своих последующих

партийных конференциях. В конце концов, новая власть утвердилась в Сибири лишь к тому моменту, когда одновременно с захватом ею правительственных функций началось и ее изживание.

Таким образом, новый государственный аппарат в Сибири имел еще меньше спайки с окраинами, чем это было в Европейской России. Естественно, что при таких условиях затерянный в глуши, отстоящей на 260 верст от железнодорожного сообщения, Тобольск продолжал жить все это переходное время, которое затянулось на 4,5 месяца, своей обособленной от центра жизнью. Казалось, что в центре забыли о заключенных в б. губернаторском доме, в доме “свободы”. Может быть, и вспоминали, но фактически отдаленный Тобольск находился вне досягаемости нового правительства. В центр приходили измышленные и провокационные известия о побеге бывшего монарха, о начавшемся в Сибири монархическом движении и пр. – известия, которые, как мы знаем, особыми телеграммами опровергал тобольский правительственный комиссар Панкратов<sup>274</sup>.

По тогдашним газетным сообщениям в Смольном пытались реагировать на дошедшие сведения. Так военно-революционный комитет снарядил даже особую экспедицию в Тобольск, численностью в 500 матросов, для захвата ядра монархического заговора (“День”, 2 дек.). Вероятнее всего, это просто был “карательный” отряд в смешанном составе матросов и латышей под началом комиссара, некоего Закспуса, направленный на помощь местным сибирским силам. Мы знаем, что указанный отряд наводил порядок на Северном Урале – носился “взад и вперед” по линиям жел. дорог и докатился до Тюмени. (Здесь им был, между прочим, арестован оказавшийся в городе бывший премьер первого революционного правительства кн. Львов.) В Тюмени отряд распался и до Тобольска не дошел. Это было уже в конце февраля, когда и на Тобольск стали распространяться щупальца большевистской власти из Омска и Екатеринбурга. Еще раньше, 24 января, комиссар Вр. Пр. Панкратов должен был оставить свой пост. С устранением старого правительства он попал в нелепое положение, что остро ощущалось в отряде особого назначения. После октябрьского переворота значительно большую роль стал играть солдатский комитет, отражавший в себе настроение отряда, в котором шла большевистская агитация... Расслоения в отряде усиливались по мере исчезновения фантома Временного Правительства с внедрения в жизнь реальной большевистской власти. Исчез и призрак Учред. Собрания – теоретического “хозяина русской земли”. Ко дню открытия Учред. Собрания Панкратовым была послана в Петербург делегация, в которую вошли представители от каждой роты. Делегация должна была выяснить положение дел и связаться со своими батальонами в Царском Селе, но, очевидно, эта Делегация вовсе не была избрана специально для доклада центральной власти и для получения от нее директив, как изображает советский исследователь. Соответствующую инструкцию, по словам Быкова, она все же получила. В действительности делегация вернулась в Тобольск в полной растерянности. “Говорили, – вспоминает Панкратов, – что с делегатами Совет народных комиссаров собирался отправить мне заместителя, но, не желая вмешиваться в дела Омского совета, он предоставил этот вопрос Омскому облкому, приказав переменить весь командный состав и комитет нашего отряда посредством выборов”. “Раздор” в отряде, по словам Панкратова, принял “невероятный” характер. Этот раздор и побудил его уйти. 24 января Панкратов подал в комитет отряда следующее заявление: “Ввиду того, что за последнее время в отряде особого назначения наблюдается между ротами трение, вызываемое моим присутствием в отряде, как комиссара, назначенного еще в августе 17 г. Врем. Пр., и не желая углублять эти трения, я, в интересах дела общегосударственной важности, слагаю с себя полномочия и прошу выдать мне письменное подтверждение основательности моей мотивировки. Хотелось бы верить, что с моим уходом дальнейшее обострение между ротами

---

<sup>274</sup> 13 декабря в петербургских газетах можно было прочитать аналогичное заявление и от отряда особого назначения, подписанное шт.-кап. Аксютой.

отряда прекратится и отряд выполнит свой долг перед родиной”. “Мотивы” Панкратова комитет признал правильными, и Панкратов ушел.

Власть или вернее уже посредничество вновь сосредоточилось в руках Кобылинского. Конечно, и этот почувствовал вскоре “полное свое бессилие” (все же относительное) перед “потерявшей всякий стыд ватагой”, как он называет в показаниях свой разлагающийся отряд. “Это была не жизнь, а сущий ад, – говорит Кобылинский, – нервы были натянуты до последней крайности”. Кобылинский пришел к Николаю II и сказал: ““В. В., власть выскальзывает из моих рук. Я не могу больше быть вам полезным. Если Вы мне разрешите, я хочу уйти... Я больше не могу”. – Государь обнял меня за спину одной рукой, – рассказывал свидетель. “На глазах у него навернулись слезы... – “Ев. Серг., от себя, от жены и от детей я Вас очень прошу остаться. Вы видите, что мы все терпим. Надо и Вам потерпеть”. – Потом он обнял меня, и мы расцеловались. Я остался и решил терпеть”.

Дневник и письма заключенных (Царя, Царицы, Жильяра, Шнейдер) отчетливо рисуют в точных хронологических данных (этой точности нет ни у Соколова, ни у мемуаристов, ни у последующих свидетелей), как постепенно изменялась и усложнялась, по выражению Жильяра, “мирная семейная обстановка”, в которой первое время после большевистского переворота продолжала жить царская семья, затерянная в “беспредельной далекой Сибири”, в “таком отрезанном уголке”, каким был, по отзыву в. кн. Ольги в письме 5 декабря, Тобольск. “Нам здесь хорошо – очень тихо”, – писал Царь Вырубовой 5 декабря; это спокойствие отмечала и А. Ф., сравнивая с условиями жизни в других местах (напр. в Крыму). О том же писала 5 декабря и дочь Татьяна в Одессу Толстой: “У нас тут все по-старому. Пока, слава Богу, все тихо и мирно. Дай Бог, чтобы так и продолжалось. Жалею всех несчастных жителей Петрограда. Ужасно должно быть там теперь. Надеюсь, что у вас в городе тоже мирно и тихо, – хотя, к сожалению, трудно этого ожидать, в особенности теперь”.

Первым серьезным испытанием был тот церковный эпизод, который был уже рассказан и в котором влияние солдатского комитета было в значительной степени решающим. Семья была лишена, как было упомянуто, возможности в праздники посещать церковь в течение двух месяцев. Однако 7 марта Кобылинскому все же удалось убедить комитет отменить свое решение<sup>275</sup>.

Стеснения в отношении заключенных стояли в прямой связи с изменением состава солдатского комитета, так как “лучшие” старейшие вследствие происшедшей демобилизации стали покидать Тобольск, и вместо них приходили небольшие пополнения из Царского, состоявшие из элементов более распропагандированных. Давая оценку солдатам отряда особого назначения, А. Ф. писала (10 дек.) Вырубовой: “некоторые солдаты хороши, другие ужасны”. Число “ужасных” должно было увеличиваться, и стали возможны инциденты, об одном из которых упоминает Кобылинский, когда во время караула из второго полка солдаты вырезали штыками на качелях “совершенно непопозволенную похабщину”. Хулиганская выходка была сделана как раз теми элементами, из которых вербовал своих сторонников большевизанствующий председатель Совета Писаревский, ведущий борьбу с влиянием Панкратова и Кобылинского. Число мелких инцидентов, “придинок”, как говорит Кобылинский, увеличивалось. Еще в последних числах декабря на объединенном собрании гарнизона было вынесено постановление о снятии офицерских погон. Решение в отряде, по словам Жильяра, прошло 100 голосами против 80, а Николай II, со слов солдат, записал в дневник 3 января, что решение принято для того, чтобы “не подвергаться оскорблению и нападению в городе. Разговаривал со стрелками и взвода 4 полка о снятии погон и поведении стрелков 2-го полка, которое они жестоко осуждают”. Царь остался в погонах. “Пришел как-то ко мне солдат четвертого полка, – повествует

---

<sup>275</sup> Постановлено было, чтобы за домашним богослужением присутствовали представители солдат. Таким образом, комитет “пробрался в дом”, с чем Кобылинский успешно ранее боролся.



Кобылинский, – и сказал мне, что у них было собрание отрядного комитета, и решили они в комитете, чтобы и Государь снял погоны; что для этого его и послали, чтобы вместе со мной пойти и снять их с Государя. Я стал отговаривать Дорофеева от этого. Вел он себя в высшей степени вызывающе, по-хулигански грубо называл Государя “Николашкой”. Я говорил ему, что нехорошо выйдет, если Государь не подчинится их решению. Солдат ответил мне: “Не подчинится, тогда я сам с него сорву их”. – “А если он тебе по физиономии за это даст?” – “Тогда и я ему дам”. Что было делать? Стал я говорить ему, что все это не так просто, что Государь наш – двоюродный брат английскому королю, что из-за этого могут выйти большие недоразумения, и я посоветовал им, солдатам, запросить по этому поводу Москву. Этим я их кое-как убедил, и они от меня ушли. Телеграмму они дали. Я же отправился к Татищеву и через него просил Государя не показываться солдатам в погонах. Тогда Государь стал сверху надевать романовский черный полушубок, на котором у него не было погон”. Инцидент последствий не имел, так как Николай II продолжал носить погоны, как видно из его дневника. Ответ из Москвы пришел не скоро. Лишь 8 апреля Царь записал: “Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон. Потому решил на прогулку их не надевать, а носить только дома”. Постановление это остро затронуло Николая: “Этого свинства я им не забуду...” Рассказывал Кобылинский, что однажды, когда Царь надел черкеску, на которой у него был кинжал, солдаты подняли целую историю – у них есть оружие, и требовали произвести обыск. Кобылинский, объяснив происшедшее, просил Царя отдать ему кинжал, а равно Долгорукова и Жильяра передать свои шашки, которые и были повешены в канцелярии на видном месте<sup>276</sup>. Это было 2 апреля... “Не знали, к чему придраться, – продолжает Кобылинский. – Решили запретить свите гулять. Стал я доказывать всю нелепость этого. Тогда решили: пусть гуляют, но чтобы провожал солдат...” И тут же свидетель добавлял: “Надоело им это и постановили: каждый может гулять в неделю два раза не более двух часов без солдат...” Такое постановление было очень нелепо, но надо иметь в виду, что решение о сопровождении гуляющих охраной было принято еще задолго до того, как Панкратов покинул свой пост. По крайней мере, Ал. Фед. в письме Вырубовой 10 дек. упоминает: “Свита должна выходить в сопровождении солдат и, конечно, не выходит”. Решение же выходить без караула два раза в неделю относится к 3 марта, как вытекает из дневника Шнейдер.

Мы видим, что повествование историка должно вводить известные ограничения в обобщающую характеристику, которая была дана свидетелями следователю. “Придирки” шли от меньшинства, солдатская “ватага” не была однородна и в своем большинстве легко шла на уступки, не превращая жизнь заключенных в губернаторском доме в “суший ад”. Иначе не могла бы А. Ф. 13 марта писать Вырубовой: “Ежедневно славлю Творца, что нас оставили здесь и не отослали дальше”. Со значительной частью стражи у заключенных установились добрые отношения, исключавшие хулиганские выходки и излишнюю придиричность. В дневнике Николая II не раз отмечаются беседы с караулом, особенно полюбился заключенным первый взвод 4-го полка: “наш взвод”, – называет его Царь<sup>277</sup>. “Утром долго сидели в карауле и отводили с ними души” – записано в дневнике 6 января. 17 января: “Алексей зашел к ним вечером поиграть в шашки”. В этот день Жильяр со своей стороны добавляет: “Государь и дети провели несколько часов с солдатами в караульном помещении”. То же им отмечено 2 февраля. Няня детей Теглева показывала, что и княжны ходили с Государем в караульное помещение, когда дежурили “хорошие” солдаты: Царь “разговаривал с ними и играл в шашки”. “Лучшие”, “знакомые”, стрелки постепенно, однако, увольнялись из отряда. Дневник 30 января гласит: “во время утренней прогулки прощались с

---

<sup>276</sup> Дневник царский отмечает обыск коменданта “с помощью офицера и двух стрелков”.

<sup>277</sup> В дневнике отмечаются и стрелки 1-го полка.

уходящими на родину”. По свидетельству Кобылинского и Жильяра, уходившие “тихонько” проникали в кабинет Царя для прощания и “целовались” с ним. На почве этих прощаний произошел инцидент. 19 февраля семья поднялась на сооруженную для детей в саду ледяную гору, чтобы присутствовать при отъезде стрелков. “Дурацкий комитет” постановил разрушить гору. Пришли ночью, как “злоумышленники”, и кирками разрыли искусственную ледяную гору. “Руководились, конечно, одним чувством злобы”, хотя и мотивировали свой поступок опасением, что “кто-нибудь из посторонних может подстрелить их, а они (солдаты) будут отвечать”.

Убыль в отряде была столь значительна, что в феврале он растаял больше, чем на половину, – из 350 числившихся в отряде оставалось всего 150 человек. Царь, по словам Жильяра, был сильно озабочен, так как перемены, которые должны были последовать за уходом “старых, самых лучших” стрелков, могли иметь очень неприятные последствия, и тем не менее общий дух отряда оставался таким, что наличность его (для Тобольска это была в то время значительная военная сила) служила лучшей охраной для заключенных от каких-либо эксцессов со стороны большевизанствующего местного Совета. Недаром будущий комендант Ипатьевского дома Авдеев, прибывший в марте в Тобольск, находил, что отряд состоял из “самых черносотенных элементов...”

С уходом Панкротова в центр была послана телеграмма о присылке нового правительственного комиссара. Официально центр никак не реагировал на это обращение. Только от комиссара над б. министерством Двора л. с. р. Карелина была получена 13 февраля телеграмма о том, что вносится изменение в содержание заключенных: советская власть будет давать им солдатский паек, квартиру, отопление и освещение, а все остальное должно оплачиваться за счет заключенных, причем пользование собственными капиталами ограничивается получением каждым членом семьи 600 рублей в месяц уже советскими деньгами<sup>278</sup>. “Приходится нам значительно сократить наши расходы на продовольствие и на прислугу”, – откликается дневник 14 февраля. “Комиссия” из Татищева, Долгорукова и Жильяра, обсудив возможный бюджет, уволила 10 служащих и сократила расходы на продовольствие. Жильяр записывает: “Граждане, осведомленные о нашем положении, доставляют нам различными способами яйца, сласти и печенье”. Сам Царь отмечает 28 февраля: “В последние дни мы начали получать масло, кофе, печенье к чаю и варенье от разных добрых людей, узнавших о сокращении у нас расходов по продовольствию. Как трогательно”. Фактически семья в Тобольске не испытывала нужды. Жильяр сохранил нам меню “последнего обеда” в Тобольске 12 апреля, т.е. тогда уже, когда в Тобольске установился советский режим, катастрофически приводивший повсюду к продовольственному кризису: на завтрак были поданы телячьи рубленые котлеты, на обед – “окорочек свиной...”

Последней “придиркой” со стороны солдатского комитета было то, что “без всякого видимого повода солдаты выселили свиту и прислугу, жившую в отдельном доме купца Корнилова, и поселили всех с царской семьей, стеснив ее удобства”. “Без всякого видимого повода” – это заключение следователя Соколова. В действительности уплотнение губернаторского дома произошло лишь 1 апреля, когда в Тобольске установилась советская власть, и произведено это было в сущности по прямому распоряжению из центра – считать Татищева, Долгорукова, Гендрикову и Шнейдер также арестованными (Буксгевден не была перечислена, ибо, как приехавшая позже в Тобольск, не была в свое время допущена в число “свиты”). Бумагу об аресте привез 29 марта солдат Лунин (его Кобылинский называет “большевиком”), отправленный в Москву для выяснения вопроса о суточных деньгах – вопроса, как мы знаем, волновавшего солдат и в дни Врем. Правительства. Лупин привез известие о приезде в скором времени нового комиссара с чрезвычайными полномочиями – с

---

<sup>278</sup> В советской историографии это называется свободным распоряжением в Тобольске теми миллионами, которые имелись у Романовых (Быков).

ним должен был прибыть и отряд новой охраны. Переведены были в губернаторский дом в качестве арестованных все лица свиты, за исключением докторов Боткина и Деревенки<sup>279</sup>. Царь правильно оттенил характер принятой меры в дневнике от 1 апреля: “Сегодня отрядным комитетом было постановлено во исполнение той бумаги из Москвы, чтобы люди, живущие в нашем доме, тоже больше не выходили на улицу, т.е. в город... Все это делается так спешно ввиду скорого прибытия нового отряда с комиссаром, который везет с собой инструкции. Поэтому наши стрелки, в ограждение себя от возможных нареканий, желают, чтобы те застали у нас строгий режим” Должен признать этот мотив основным и Кобылинский: “В солдатах, как я думаю, говорили тогда чувства страха перед этим будущим новым комиссаром”.

## 2. Большевики в Тобольске

Комиссар из центра мог появиться лишь тогда, когда власть в Тобольске была фактически захвачена большевиками. Это произошло во вторую половину марта. Из повествований советских историков и мемуаристов того времени видно, с какой опаской новой власти приходилось проникать в глухой угол Сибири, где была заперта царская семья. В феврале областной съезд советов Урала признал Екатеринбург своим центром. Здесь и обратили внимание на “беспризорность” бывшего монарха в связи, как утверждают эти мемуаристы, с “вполне достоверными” сообщениями о проекте монархистов вырвать Царя из рук большевиков и увезти его за границу. Екатеринбург претендовал на включение Тобольского района в зону своего влияния, как областного центра. Для того чтобы выяснить положение на месте и помешать возможному побегу Николая II, в Тобольск и его окрестности из Екатеринбурга было отправлено несколько “боевых групп”, так как предполагали, что монархисты повезут Николая II или водным путем на Обдорск, или по тракту через Ишим на Дальний Восток. Одна из посланных групп – из числа “надежных рабочих”, проехала северным путем в Березов, но там была арестована местной администрацией, все еще считавшей себя представительницей Врем. Правительства. Другая группа екатеринбургских рабочих была послана в качестве заставы на дорогу Тобольск – Тюмень. Судьба ее была печальна. Члены этой боевой единицы остановились в с. Голопутовском, где выдали себя за торговцев. Здесь их заподозрили и арестовали (боевики не всегда оказывались на высоте своей секретной миссии и подчас похвалялись, что посланы “царя убивать”).

В Голопутовском при обыске заподозренных “торговцев” у них нашли документы, изобличавшие их настоящие задания. “По подстрекательству офицеров и кулаков”, находившихся в связи с организацией, которая готовила побег Романовской семьи, все арестованные тут же на сходе были убиты крестьянами<sup>280</sup>.

Более успешной оказалась экспедиция, направленная непосредственно в Тобольск и обставленная с чрезвычайной конспиративностью. Члены этой “боевой группы”, состоявшей из 16 рабочих металлистов с Злоказовского завода в Екатеринбурге, проникли в Тобольск по одиночке с подложными торговыми паспортами. Группа во главе со своим комиссаром Авдеевым сосредоточилась в городе 3 марта. В Тобольске уже находилась на ролях нелегальной организаторши известная партийная работница Наумова, приезд которой не возбуждал подозрения, так как мать ее жила в Ялутворске, и подлинный глава экспедиции, матрос Хохряков, прибыл в качестве жениха Наумовой. Через несколько дней прибыл еще Семен Заславский с двумя рабочими Надеждинского завода. Задача большевистской

---

<sup>279</sup> Прислуге разрешено было ходить в город в случае неотложной надобности.

<sup>280</sup> Впоследствии в Голопутовское была послана карательная экспедиция, которая и воздала “должное защитникам царя” (Быков).

подпольной организации заключалась в том, чтобы добиться путем агитации переизбрания тобольского совета и после реорганизации власти взять на себя руководство наблюдением за бывшим Царем.

Екатеринбуржцы запоздали, хотя и прибыли первыми в качестве подпольной группы. На Тобольск претендовал и Омск, как центр Зап. Сибири. 11 марта в Тобольск прибыл уполномоченный Омского совета Дуцман, в качестве официального комиссара советской власти. Его сопровождал под командой Демьянова значительный для Тобольска отряд красногвардейцев – более чем в 100 человек, преимущественно из железнодорожных рабочих. Целью Омского отряда также было установление советской власти в Тобольске. Дуцман поселился в корниловском доме, но, по словам Кобылинского, “положительно ничем себя не проявил” – и не появлялся даже в губернаторском доме. Вся деятельность его протекала в Совете. Появление отряда Демьянова вызвало переполох в губернаторском доме. Царь записал 14 марта: “Здесьняя дружина расформировалась. Так как все-таки наряды в карауле должны нести по городу, из Омска прислали команду для этой цели. Прибытие этой “красной гвардии”, как теперь называется всякая вооруженная часть, возбудило тут всякие толки и страхи. Просто забавно слушать, что говорят об этом в последние дни. Комендант и наш отряд, видимо, тоже были смущены, так как вот уже две ночи караул усилен и пулемет привозится с вечера”. Может быть, в силу своего состава (из железнодорожников) омские “красногвардейцы” под началом двух молодых офицеров, местных жителей, хорошо известных в Тобольске, выгодно отличались от других аналогичных частей – принимавших участие в карательных экспедициях, и их пребывание в городе не ознаменовалось обычными эксцессами. В Тобольске этот отряд, – пишет Боткин-Мельник, – “не произвел ни одного обыска, не сделал ни одного расстрела, не замешан был ни в одну скандальную историю. Во всяком случае никто не слышал о таких кротких большевиках, как эти”. Помощником Демьянова был пор. Дегтерев, по утверждению Боткиной, известный с гимназической скамьи крайне монархическим направлением – при поступлении в Петербургский университет он был даже членом Союза Михаила Архангела... В интимном кругу, по словам той же мемуаристки, он продолжал говорить о своих монархических взглядах и показывал даже “какие-то бумаги от омских монархических организаций”. Нет ничего невероятного в том, что монархист Дегтерев оказался во главе отряда красногвардейцев – в некоторых кругах служба в красной армии, как своего рода мимикрия или для противодействия, в то время была довольно популярна. В данном случае на этой почве создалась легенда, непосредственно связавшая омскую экспедицию с тогдашними будто бы планами немцев в отношении Царской семьи, разошедшимися с намерениями большевистской Москвы, директивы которой осуществляли уполномоченные уральского областного совета. Эту легенду нам предстоит еще разобрать в деталях.

Екатеринбургские подпольщики, осмотревшись в тобольской обстановке, выписали себе помощь, и через несколько дней после прибытия Демьяновского отряда из Омска приехал и новый отряд из Екатеринбурга, состоявший из “надежных красноармейцев”, в виде сборной распущенной дружины из латышей, плененных мадьяр, матросов и рабочих под начальством неких Никитина и Кармашева. В отряде было всего полсотни человек, но подпольщики под сурдинку распространяли молву, что вокруг Тобольска сосредоточено “около 1000 человек”. Между омским и екатеринбургским отрядами возник конфликт – и последний, как более слабый, должен был уступить. Царь записал 22 го: “Утром слышали со двора, как уезжали из Тобольска тюменские разбойники-большевики на 15 тройках с бубенцами, со свистом и с гиканьем. Их отсюда выгнал омский отряд”. От нас, в силу сознательной неясности мемуаристов из среды екатеринбургских подпольщиков, ускользают детали столкновений. Мы знаем только, что “обостренные отношения... закончились в концов концов арестом Хохрякова, заподозренного в провокации”, и только переговоры по прямому проводу с Уралсоветом, подтвердившим особые полномочия Хохрякова, спасли последнего от “расстрела” (Быков).

Омичи претендовали на “руководство”, но так как “уральцы были более сильны

политически, то омичи оказались скоро у них в подчинении” (Авдеев)... Так или иначе “купеческие” городские Думы и “мелко-буржуазные” земства были распущены, Совет переизбран, и председателем его даже стал чуть не расстрелянный матрос Хохряков. Советская власть установилась в Тобольске, и “дом заключения” был взят под наблюдение Совета... “Как-то, – вспоминает Кобылинский, – совдеп вызвал к себе представителей отряда по два от каждой роты. Пошел с ними я сам. Мне было объявлено, что Совет решил перевести всю царскую семью “на гору”, т.е. в тюрьму... Я заявил этим господам, что охрана царской семьи подчинена не местному Совету, а центру. Это не помогло. Пришлось мне встать на другую почву и говорить, что это никак нельзя выполнить, так как придется тогда переводить в тюрьму и всех солдат нашей охраны, чего нельзя сделать; без солдат же нашей охраны никак нельзя обойтись, потому что, если будет какое-либо нападение, нас некому будет защищать. Солдаты наши загалдели, и Совет принужден был отступить, заявив мне, что, собственно говоря, решение по этому поводу он еще не вынес, а только принципиально высказывается”. (Кобылинский действующими лицами изображает Дуцмана и Заславского. О Хохрякове он не упоминает.) Дневник Николая II вновь устанавливает точную дату эпизода с попыткой перевести заключенных в губернаторском доме в тюрьму, по-своему объясняя этот эпизод, 28-го он записывает: “Вчера в нашем отряде произошла тревога под влиянием слухов о прибытии из Екатеринбурга еще красногвардейцев. К ночи был удвоен караул, усилены патрули и высланы на улицу заставы. Говорили о мнимой опасности для нас в этом доме и о необходимости переехать в архиерейский дом на горе. Целый день об этом шла речь в комитете и прочее и, наконец, вечером все успокоилось, о чем пришел в 7 час мне доложить Кобылинский. Даже просил Алексея не сидеть на балконе в течение трех дней”. На следующий день дневник продолжает: “Во время утренней прогулки видел “чрезвычайного комиссара” Демьянова, который со своим помощником Дегтяревым в сопровождении коменданта и стрелков обошел караульное помещение и сад. Из-за него, т.е. этого Демьянова, и нежелания стрелков пропустить его и загорался сыр-бор третьего дня”. В воспоминаниях Мельник без обозначения даты также рассказывает о необычайном возбуждении, царившем в этот день в отряде, который готовился к защите, так как распространилась молва, что красногвардейцы собираются сделать нападение на губернаторский дом и выкрасть царскую семью. Действительно, через два дня прибыл новый отряд из Екатеринбурга – небольшой по своей численности (60 – 70 человек по записи Шнейдер). Говорили, что следует всего 300 человек. Сообщения эти нервировали не только отряд, но и представителей Омска. Отсюда рост недоверия и у тех, и у других к Екатеринбургу, которое, по словам Быкова, отмечали в своих донесениях Хохряков и Заславский.

Тучи сгущались над бывшим губернаторским домом....

## Глава вторая ТЮМЕНСКАЯ ЗАСТАВА

### І. Освободители царской семьи

Еще 4 марта Жильяр внес в дневник: “Наглость солдат превосходит все, что можно вообразить: ушедших заменили молодыми, у которых самые гнусные замашки. Их Величества, несмотря на жгучую тревогу, растущую со дня на день, сохраняют надежду, что среди верных им людей найдется несколько человек, которые попытаются их освободить. Никогда еще обстоятельства не были более благоприятны для побега, так как в Тобольске еще нет представителей правительства большевиков. Было бы легко при соучастии полк. Кобылинского, заранее склоненного в нашу пользу, обмануть наглый и в то же время небрежный надзор наших стражей<sup>281</sup>. Было бы достаточно нескольких энергичных людей,

---

<sup>281</sup> Интересно, неужели в действительности наивный швейцарец так все и записывал в свой тогдашний

которые действовали бы скоро по определенному плану и решительно. Мы неоднократно настаивали перед Государем, чтобы держаться наготове на случай всяких возможностей. Он ставит два условия, который сильно осложняют дело: он не допускает ни того, чтобы семья была разлучена, ни того, чтобы мы покинули территорию Российской Империи”. А Боткина-Мельник утверждает, что “целый взвод стрелков... во главе со своим командиром пор. Малышевым передавал полк. Кобылинскому, что в их дежурство они дадут Их Величествам безопасно уехать” (см. то же у Дитерихса).

“У нас отпала последняя надежда на побег”, – записывает Жильяр при поступлении отряда Демьянова. Сложившейся ранее благоприятной конъюнктурой не удалось воспользоваться главным образом в силу провокаторской деятельности упоминавшегося зятя Распутина, пор. Соловьева, который, как мы знаем, был связан с о. Алексеем Васильевым и был одним из посредников между заключенными и внешним миром. Соловьев втерся в доверие представителей тех петербургских и московских монархических организаций, которые поставили своей целью освобождение царской семьи. К нему и к отцу Алексею из центра посылались люди и деньги. О людях Соловьев и его компаньоны сообщали в центр, что надобности в них нет, так как на месте имеется мощная организация, готовая действовать. Нужны лишь деньги. Прибывшие из центра с явкой на Соловьева должны были действовать по его инструкциям и попадали в ловушку. Подобно былинному соловью-разбойнику, зять Распутина поселился на перепутье и перехватывал в Тюмени всех, намеревавшихся проникнуть в Тобольск и завязать непосредственные связи с заключенными. Тех, кто ему не подчинялся, он выдавал большевистской власти.

Эта версия, опирающаяся на некоторые вышедшие из окружения г-жи Мельник свидетельские показания, целиком была усвоена следователем Соколовым и без критики повторена Керенским.

Для Соколова нет “никаких сомнений”, что Соловьев выполнял задания немцев. В период брест-литовских переговоров о “похабном” мире “русский царь”, олицетворявший национальную идею, был слишком опасен, поэтому немцы “боролись с русскими патриотами, не допуская увоза ими Царя”. В Тобольске Николай II был под их немецким “наблюдением”. Было использовано “старое испытанное средство: их шпион имел на себе печать Распутина”. Принимавший участие в следовательских изысканиях Соколова кап. Булыгин, прибывший в Сибирь как участник одной из экспедиций для освобождения бывшего монарха, расширяет рамки: “Пути немцев так переплетались тогда с путями большевиков, что Соловьев, служа одним, неизбежно служил и другим”. Керенский делает ударение уже на последнем – Соловьев держал в курсе событий местную (очевидно, тюменскую) чеку, следовательно, большевики были осведомлены о всех шагах, которые предпринимались монархистами.

Оставим пока в стороне немецкую концепцию, перерожденную в значительной степени психическими переживаниями следователя, для которого немецкая рука в происходивших событиях сделалась своего рода навязчивой идеей. На каких конкретных данных следствие обосновало свои выводы о провокаторской деятельности Соловьева? И прежде всего, кто такие были те “многие”, которых досылали в Сибирь “русские патриоты” из центра и которые насильно задерживались на тюменской заставе? Обобщающая характеристика не может нас удовлетворить, хотя бы она и основывалась на скрытом, к сожалению, для нас в значительной части расследований следственной власти. Булыгин в своем повествовании смело говорит, что все, им рассказываемое, является “точными данными”, который добыло следственное производство. В действительности это не так. Соколов в книге пытается суждения свои обосновать многочисленными свидетельскими показаниями. Правда, он не проявляет к ним достаточно критического отношения – как это ни странно для следователя, он субъективное свидетельское показание почти приравнивает к доказательству

вещественному. Соколов оговаривается, что он не претендует на выступление в роли исторического исследователя, и выражает надежду, что “те, кто любит истину”, сумеют отличить его, “быть может, ошибочные выводы от строгих фактов следствия”. Не всегда это возможно сделать. И совершенно уже недоступно в изложении Булыгина, где предположения и домыслы повествователя, навеянные, быть может, беседами, преподносятся как данные следствия. Откуда заимствовал Булыгин сведения о расстреле трех приехавших офицеров, не поладивших с Соловьевым и преданных им Ч.К.? Вставим возможный, допустим, факт прежде всего в хронологические рамки. Когда Соловьев мог предавать офицеров тюменской Ч.К.? Советский историк говорит, что когда в Тобольске удалось благодаря энергии уральцев создать твердую власть советов, то в окрестностях и даже в самой Тюмени ее фактически не было: “Достаточно сказать, что в эти дни в Тюмени на одной и той же улице существовали два штаба и висели две вывески. На одной была объявлена запись в Красную Армию, на другой красовалось: “Принимается запись добровольцев в Народную Армию”. В штабе “Народной” армии вы могли встретить офицеров – и местных и приезжих. Это была уже прочная организация, готовая выступить против советской власти за освобождение Романовых из Тобольска”. Идиллия, нарисованная пером Быкова, в действительности, конечно, никогда не существовала. Мы видели, что в Тобольске советская власть установилась в 20 х числа марта ст. ст. и в ее установке немалую роль сыграл налет “тюменских разбойников” – вероятно, из остатков карательной экспедиции.

Отбросим фантастику советского историка. Ясно, что соловьевские связи с местной Ч. К. и пр. могли установиться только в марте. Ограничение весьма существенное – вся предшествовавшая провокационная деятельность немецко-большевистского агента Соловьева в Тобольске и Тюмени протекала, таким образом, при наличии сохранившихся административных органов старого правительства, демократических местных самоуправлений революционного времени и эсеро-меньшевистских в своем большинстве советов. (В Тобольске до появления уральских подпольщиков, как они сами признают, не было вообще коммунистической ячейки.) Никаких Ч. К. не существовало – следовательно, не могло быть и речи о расстрелах. Из данных следствия, приведенных Соколовым, с очевидностью выступает факт, что обвинение Соловьева в выдаче нежелательных лиц построено на показании явившегося в ноябре 18 г. к предшественнику Соколова по следствию Сергееву офицера М., заявившего, что он по соглашению с некоторыми друзьями офицерами, преданными царской семье, желая оказать заключенному Императору возможную помощь, прожил почти всю минувшую зиму в Тюмени, где познакомился с Соловьевым, который сообщил ему, что “стоит во главе организации, поставившей своей целью охранение интересов заключенной в Тобольске царской семьи”. “По словам Соловьева, – показывал N., – все, сочувствующие задачам и целям указанной организации, должны были являться к нему, прежде чем приступить к оказанию в той или иной форме помощи царской семье; в противном случае, говорил мне Соловьев, я налагаю “вето” на распоряжения и деятельность лиц, работающих без моего ведома. Налагая “вето”, Соловьев в то же время предавал ослушников советским властям; так, им были преданы большевикам два офицера гвардейской кавалерии и одна дама: имен и фамилий их я не знаю, а сообщаю вам об этом факте со слов Соловьева”. Офицер N. еще раньше рассказывал о Соловьеве чете Мельник, которая, в свою очередь, со значительными обобщениями засвидетельствовала эти рассказы перед следствием<sup>282</sup>.

На показании N. и построены выводы следствия. Офицером этим был Седов, входивший в кадры Крымского полка, шефом которого была имп. Ал. Феод., и посланный монархической организацией Маркова 2-го очень скоро после вывоза царской семьи из

---

<sup>282</sup> По этой версии Соловьев говорил N., что всех идущих в Тобольск офицеров без его разрешения он выдает совдепу.

Петербурга. С ним нам придется встретиться, так как мы вынуждены будем подробно остановиться на соловьевской эпопее – той “тюменской заставе”, которая заняла едва ли не центральное место в сибирском расследовании, поскольку в нем речь шла о попытках освобождения царской семьи из заключения. Следствие не обратило внимания на несурязицу в показаниях Седова, относившихся к зимним месяцам его пребывания в Тюмени; равным образом и на то, что в показаниях о выдаче двух офицеров и дамы делается ссылка только на слова самого Соловьева. Как можно толковать такие слова, если они были произнесены, мы увидим ниже.

Самое главное заключалось в том, что не было в наличности субъектов, на которых могла распространяться провокация или предательство Соловьева. Многочисленные офицеры, прибывавшие из центра с поручением от “русских людей”, занятых спасением царской семьи, попросту миф... Мы можем теперь уже с точностью установить, кто, когда, с какой целью и кем в действительности был послан в Тобольск. На появление каких-либо особ женского пола, помимо фрейлины Хитрово, нельзя найти даже намека. Два гвардейских офицера, арестованных в Тобольске, это реальность, имевшая в январе, т.е. задолго до внедрения здесь большевиков. То были юные братья Раевские, посланные из Петербурга организацией Пуришкевича еще в сентябре и прожившие несколько месяцев в Тобольске под вымышленными фамилиями “Кириллов” и “Мефодиев”. Их образ жизни и характер деятельности рассказан нам с их собственных слов достоверным свидетелем, командиром 2-го Сумского гусарского эскадрона шт. рот. Соколовым, который принимал сам участие в одной экспедиции по подготовке освобождения царской семьи, она была в январе отправлена из Москвы. С этой истории и начнем – тем более что она посвящена единственной, если не серьезной, то реальной попытке организовать побег Николая II и его семьи. Она очень показательна как для обстановки в Тобольске, так и для обрисовки начинаний монархически настроенных “русских людей”.

Соколов рассказывает, как в декабре, покинув фронт, он направился в Москву и там с некоторыми своими однополчанами вступил в одну из многочисленных военных, антибольшевистских организаций. В середине месяца Соколов получил приказание явиться к некоему П. для получения “важной задачи”. П. оказался присяжным поверенным, близким духовному миру (не Минятов ли?). На квартире П. Соколов нашел камчатского еп. Нестора. Ему было заявлено, что “надо спасти Царя, медлить нельзя – он в опасности”. Соколов согласился выполнить то, что от него потребуется, ручаясь и за своих офицеров. Начали разрабатывать план в ожидании приезда кого-либо из Тобольска<sup>283</sup>. Наконец, прибыл курьер, и 2 января в одном из лазаретов на Яузском бул. назначено было свидание. В пустой палате при П. и еп. Несторе находился полковник с Георгием и орденом поч. легиона – командир пехотного полка, назначенный начальником сибирской экспедиции. Курьером оказался поручик (совсем мальчик) лейб-гвардии Московского полка Раевский. “Доклад его сводился к следующему: он и его брат были отправлены в Тобольск Пуришкевичем еще за два-три месяца до большевиков. В настоящее время в Тобольске, за исключением охраны Государя, поголовно монархическое настроение; есть местные организации, готовые помочь нам; перевозочные средства также подготовлены. Наиболее удобным временем освобождения Царя Р. считает воскресенье, когда Царь и семья выходят молиться в городскую церковь в сопровождении караула человек в двадцать. Освобождающим надо собраться в алтаре и уже оттуда броситься на караул. Меня удивил такой план: пахло

---

<sup>283</sup> Для характеристик заговорщиков Соколов передает, как попутно он исполнял поручение П. и возил в один из подмосковных монастырей тюк прокламаций для передачи союзу хоругвеносцев – в них призывали организовываться в ячейки для созыва в ближайшем будущем Всероссийского Земского Собора. Вручение прокламаций связывалось с поручением установить связь с командой выздоравливающих в монастыре. Председатель союза хоругвеносцев, услыша имя П. и увидя тюк прокламаций, чуть ли не со слезами начал говорить: “Ах, оставил бы ты нас в покое, что я буду делать с этими бумажками...” В монастыре и вместо 300 офицеров оказалось 100 увечных солдат.



романами Дюма... Я уже хотел высказать свои сомнения, как начал говорить полк. Н. В крайне ясных словах он изложил задание: заранее предрешить нельзя, план составится на месте. В первую голову в Тобольск должны отправиться шт. рот. Соколов и поручик М. Г. и с ними Р. Общая задача: наблюдение, вхождение в связь с местными монархическими организациями. Предполагается вывезти семью в Троицк, занятый оренбуржцами Дутова. В окрестности для разведки... будут командированы в район Екатеринбург – Тюмень – Троицк – Омск 30 человек под командой рот. Л. Для окончательного выполнения задачи придут 100 гардемаринов с полк. Н. Отъезд из Москвы первой партии 6 января”. Присяжного поверенного П. Соколов называет “большим фантазером”, но фанатиком искренним. Особенно поразило мемуариста то, что он верил в успех предприятия, потому что удачу предсказал “старец Зосима”. 6 января в том же лазарете Соколову и двум его товарищам выдали полные комплекты солдатского одеяния и по 2000 руб. на каждого. В дороге путешественники избегали разговоров о цели поездки. И лишь в Екатеринбурге начали расспрашивать “курьера” о первых шагах в Тобольске. Брат Р., как оказалось, жил в гостинице под чужим именем. Расспросы явно “удручали” курьера. “С приближением к Тобольску он стал менее самоуверен. Обещал, что все расскажет брат, а он многого не знает... и, желая переменить разговор, начал рассказывать, как им весело жилось в Тобольске, о балах, о своих сердечных победах. Встретив наше неодобрение и ответ, что мы не за тем идем, он замолк почти до самого Тобольска, предоставив дальнейшую инициативу нам и покорно слушался нас”. Вечером 14-го путешественники прибыли через Тюмень в Тобольск. На следующий день произошло знакомство со старшим братом Р. “Его рассказ был совсем противоположен рассказам младшего брата в Москве. Монархически настроенное население – небольшой кружок интеллигентов-знакомых; организация, готовая помочь, – бойскауты; готовые перевозочные средства – лошадей в городе много”.

Началось обследование условий, при которых задание могло быть выполнено. “Сводка за первые три дня: большевистского переворота не было, власть принадлежит совету Р. и С. Д., состоящему из меньшевиков и настроенному против большевиков. Охрана Государя из 300 человек, хорошо одетых, выправленных, представляет собой серьезную силу”. “Местная команда, постепенно разбегающаяся, грязная и оборванная, – человек около 50. Милиция – из старых (частью) городских с комиссаром из бывших околоточных, – несущая отлично службу. Это наши враги. В городе нарождался “союз фронтовиков”, настроенных большевистски и точащих зубы на охрану, милицию, занявшую теплые места”. “Подлаживаясь под их настроения, мы скоро стали у них на хорошем счету, чего нельзя сказать про охрану, и приходилось даже избегать разговоров с нею... Настроение населения по отношению к Царю скорее равнодушно, но во всяком случае не злобное. Представленный мне Р. глава монархической организации, старший бойскаут, юноша 16 – 17 лет, смотревший на меня с восторгом, познакомил меня со своими силами. Всех около 30 человек, в возрасте от 10 до 17 лет...”

После обсуждения признали, что “исполнение плана удобнее было ночью”. “Наш минус – условия жизни маленького города: не может пройти незамеченным появление нового лица; за короткое время мы изучили почти всех местных. А так как мы ждали со дня на день прибытия гардемаринов, вопрос об их размещении становился наиболее острым. О Тобольске и думать было нечего, надо было обратиться к окрестностям. Думая, что в этом нам могут помочь братья Р., мы решили обратиться к ним”. “Придя на другой день к Р., я застал их сидящими у стола и что-то рисующими. Не открыл я еще рта, как они показали свои рисунки, изображавшие людей в одежде времен Иоанна Грозного, и объяснили, что это будущая форма конвоя Государя, спасшего его, т.е. нас. Тут же добавили, что они решили везти семью не в Троицк, а на север в Обдорск, лежащий на Обской Губе. Я вышел из себя, ноговорил им дерзостей... Вероятно, чтобы сгладить впечатление, они сказали, что удалось войти в сношения с Государем через духовника, что Государь знает о нашем прибытии и цели и согласен, но при условии вывоза всех, состоящих при нем... После мальчишества я бы не поварил Р., если бы не... внимательное рассмотрение нас вчера детьми со снежной

горы<sup>284</sup>. Я напомнил Р. о цели своего прихода – о размещении гардемарин. Они сказали, что были сегодня у тобольского архиерея Гермогена, и он посоветовал обратиться в женский монастырь в 7 вер. от города. Других подходящих мест они не знали. Станным показалось мне это для гардемарин, и опять я мало поверил, что такой совет исходил от Гермогена. Но делать было нечего, надо было осмотреть монастырь... Монашки встретили нас более чем радушно... Два дня до нас были попытки ограбить монастырь. И в нас, в нашем разболтанном “товарищеском” виде, они видели... грабителей и своим отношением хотели задобрить”. Никакого помещения для гардемарин не нашлось.

Вернувшись в Тобольск вечером, Соколов направился к Р. сообщить о неудаче. Оказалось, что братья Р. были арестованы милицией, на другой день была арестована по предписанию Совета и группа Соколова, заподозренная в ограблении монастыря. На допросе арестованные показали, что они “бывшие” офицеры и прибыли в Тобольск из-за дешевизны. “Отобрав документы и подписку о невыезде, нас отпустили. На следующий день нас вызвали для допроса в сыскное отделение – служащие и начальник все были люди еще дореволюционного времени. В неофициальной беседе начальник сказал, что подозрение в ограблении монастыря это лишь ширма, а нас подозревают в сношениях с Государем и следят за нами почти с самого приезда. Делается это по приказанию Совета... Арест Р. был вызван тем, что они при перемене квартиры прописались в том же участке своей настоящей фамилией, живя 4 месяца под чужой”. Начальник сыскного отделения, пожелав благополучно выбраться из этой истории, отпустил арестованных. Днем их вновь допрашивал уже сам председатель Совета. “Ободренные приемом н-ка сыскного отделения, мы перешли в наступление, протестовали против обыска без ордера... Член след. комитета даже начал извиняться..., объясняя все особенными условиями жизни в Тобольске из-за пребывания Государя”. Задержания арестованных не произошло. Вернувшись домой, они застали посланца от той группы, которая во главе с ротм. Л. должна была находиться в районе Екатеринбург – Омск. Намеченные люди, в числе 30 ти, прибыли, но вместе с тем Москва признала, что “предприятие невыполнимо из-за отсутствия денег” – тем более что Троицк был взят большевиками. “Задача была признана невыполнимой так сказать официально” – можно было возвращаться.

Мытарства членов конспиративной группы, однако, не кончились – они получили предписание покинуть Тобольск в 24 часа. Но неожиданно были вновь арестованы по ордеру Совета и уже солдатами из охраны губернаторского дома. Здесь следует отметить одну характерную подробность, которая облегчит нам впоследствии понимание некоторых сторон сибирского расследования попыток освобождения царской семьи. Узнав об аресте, “друзья” из “союза фронтовиков” стали посещать подследственных и обещали “в недалгом времени освободить”. И вот “фронтовики натолкнули нас на новую мысль для осуществления нашего плана, т.е. устроить большевистский переворот в Тобольске и стать во главе его... Удастся это, тогда все препятствия будут устранены, из гардемарин или им подобных можно создать красную гвардию... Лошадей, оружие, деньги, все можно будет добыть легальным путем”. “Шансов на успех было много”, по мнению мемуариста. “В связи с нашими перспективами мы и начали действовать. Во время прогулок (сидели в участке) свели дружбу с пожарными и все время проводили на каланче в соответствующих беседах. В такой деятельности протекал уже скоро месяц”. Разговоры стали известны в Совете, и там уже не знали, “кого видеть в нас – монархистов или большевиков”. Ведь это был конец февраля, когда большевистские щупальца из Екатеринбурга стали проникать в Тобольск и матрос Хохряков работал в подполье, чтобы захватить в свои руки “дом особого назначения”.

Монархистов-”большевиков” в конце концов выслали из Тобольска, и в Тюмени они попали в лапы группы матросов броненосца “Гангут”, входившей в известный нам первый

---

<sup>284</sup> Соколов говорит, что накануне, проходя мимо губернаторского дома, он и его друзья увидели в. кн. Татьяну; при их приближении она быстро побежала вниз и вернулась в сопровождении трех сестер и наследника.

северокарательный отряд. Спас их комиссар – молодой мичман. Раевские были высланы из Тобольска тотчас же после первого ареста.

Мы остановились с такими подробностями на воспоминаниях Соколова не только потому, что они крайне интересны для характеристики предвесенней обстановки в Тобольске 18 г. и показательны для обрисовки средств достижения тех заданий, которые поставили себе некоторые монархические группы<sup>285</sup>. Эти детали важны и в другом отношении. Совершенно очевидно по рассказу Соколова, что в Тобольских инцидентах, связанных с московской эскападой, “тюменская застава” не играла никакой роли. Посредствующая роль как бы принадлежит Гермогену и царскому духовнику Васильеву. В отрывке воспоминаний Соловьева, полученном “маленьким” Марковым уже в Берлине от жены умершего его соучастника, братьям Раевским, со слов о. Алексея, дается характеристика, совпадающая с портретом, который зарисован шт. кап. Соколовым, – “мальчики школьного возраста, начитавшиеся Жюль Верна”. О Раевских, утверждает Соловьев, он узнал от свящ. Васильева, у которого те бывали; сам же Соловьев прибыл в Тобольск после высылки Раевских – факт очень важный и притом неоспоримый, хотя он идет в полный разрез с тем, что формально установило следствие. Активная деятельность Гермогена несомненна. В том же отрывке воспоминаний Соловьева, где он рассказывает о посещении Гермогена, упоминается союз фронтовиков, который фактически возник по инициативе епископа, пытавшегося привлечь местное купечество к организации помощи возвращающимся с войны и тем парализовать влияние большевиков. Поэтому, вероятно, большевистские мемуары именуют этот союз “купеческим”; в действительности общественная помощь оказалась ничтожной, и союз фронтовиков, как мы только что видели, перелицевался на большевизанский лад. Мысль об использовании сил “союза фронтовиков” для освобождения царской семьи, по крайней мере в гермогеновских кругах, должна была отпасть.

Советская историография делает Гермогена центром монархических устремлений в Тобольске. Вероятно, это так и было: боевая позиция соответствовала темпераменту епископа, которого большевики в конце концов утопили в реке Таре. Быков приводит письмо, будто бы отобранное у Гермогена при обыске, – письмо вд. имп. Марии Фед., в котором она убеждала тобольского владыку “взять на себя руководство делом спасения царской семьи”. Это вывод исторического обозревателя, а не цитата из документа. Приведенная же цитата гласит: “Владыко, ты носишь имя св. Гермогена, который боролся за Русь – это предзнаменование... (многоточие текста). Теперь настало через тебя спасти родину, тебя знает вся Россия – призывай, громи, обличай. Да прославится имя твое в спасении многострадальной России”. Было ли такое письмо в действительности, мы не знаем. Нельзя быть уверенным, что в книге Быкова под документом не скрывается чье-либо воспоминание, служащее подчас очень отдаленным откликом на то, что было. Во всяком случае, А.Ф. в первом своем письме, отправленном “не как обыкновенно”, писала 15 декабря Вырубовой: “Е. Гермоген страшно за “Father и всех”“. В декабре Гермоген был в Москве на церковном соборе, выбиравшем патриарха. Едва ли приходится сомневаться, что именно он осведомил московских монархистов о положении в Тобольске. В результате этого осведомления, очевидно, и налажена была московская экспедиция, связанная с братствами “православных приходов”, участие в которой принял Соколов, а другая группа монархических деятелей-политиков во главе с Кривошеиным направила в Тобольск своего уполномоченного, чтобы на месте выяснить обстановку. В дневнике Царя имя этого

---

<sup>285</sup> О мытарствах шести офицеров из группы упомянутого ротм. Л., выехавших из Москвы 10 – 11 января и доехавших до Тюмени, между прочим, было рассказано в “Часовом” участником поездки кн. А.Е. Трубецким. В его воспоминаниях говорится, что прис. пов. П., пытавшийся безуспешно привлечь в организацию Сер. Е. Трубецкого и А. И. Кривошеина и достать деньги у французского посла Нуланса, предпринял “опасную авантюру” на свой риск.

уполномоченного названо – б. могилевский вице-губернатор Штейн<sup>286</sup>. Не упоминая имени, “по соображениям весьма уважительным”, Булыгин не преминет сказать, что Штейн прибыл в Тобольск, “благополучно миновав рогатки Соловьева”. В Тобольске Штейн связался с Долгоруковым и Татищевым.

Штейн выяснил недостаток денежных средств у царской семьи при затруднении ликвидации драгоценностей. В Москве было собрано 250 т., и Штейн отвез эти деньги в Тобольск, вновь благополучно миновав тюменскую заставу, и вручил их Татищеву и Долгорукову. Царь записал 12 марта: “Из Москвы вторично приехал Вл. Ник. Штейн, привезший изрядную сумму от знакомых нам добрых людей, книги и чай. Сейчас видел его проходящим по улице”<sup>287</sup>. Штейн не только привез деньги, им было установлено “условное” письменное общение с заключенными.

Кто еще посетил Тобольск по поручению какой-либо группы “русских патриотов” в промежутки времени, протекций между прибытием бр. Раевских и московской январской экспедиции? Лишь два человека. Одним из них был упомянутый Седов, посланный организацией “*tante Ivette*”; другим – некто П., выполнявший поручение Вырубовой и ее кружка. Вырубова не называет лиц, при содействии которых установилась ее связь с Тобольском: “Я не могу назвать имен тех храбрых и преданных лиц, которые перевозили письма в Петербург и обратно”. Первым посредником был, очевидно, тот П., о котором упоминает “маленький” Марков и который вернулся из Тобольска в декабре, вторым был Соловьев.

Седов, лично известный А. Ф., был послан организацией, возглавляемой Марковым 2 м, и был рекомендован Дэн. Ближайший соратник Маркова 2-го В.П. Соколов (следователь называет его “наиболее активным работником” в этой группе монархистов) относит отъезд Седова к сентябрю. “Кажется”, – говорит Соколов и добавляет, что он “известил нас о своем прибытии в Тюмень”. “Дальше мы сведений о нем никаких не получали и совершенно не знали, где он и что делает. Это обстоятельство смущало нас, и мы стали обдумывать вопрос о посылке других офицеров в Тобольск...” “Состоялась посылка Маркова (Сергея)... Уехал Марков приблизительно в январе 18 г. В. Соколов путался в хронологических датах и в самих фактах и вместе с другими, быть может, невольно только запутывал следствие. “Маленький” Марков выехал из Петербурга в действительности в конце февраля, а Седов не мог уведомить петербургский центр в осенние месяцы 17 г. о прибытии в Тюмень, ибо попал сюда только к концу января. Это свидетельствует Марков С., и его свидетельство косвенно подтверждается А. Ф. в письмах к Вырубовой. А. Ф. была предуведомлена о поездке Седова. 23 января она пишет: “От Седова не имею известий. Лили писала давно, что он должен был бы быть недалеко отсюда”. По словам Маркова Сергея, Седов серьезно заболел и жил у своей сестры в Сибири, будучи прикован к кровати. О дальнейшей судьбе Седова, о поездке Маркова, который представлен alter ego Соловьева, мы скажем в связи с “тайной” зятя Распутина, которому суждено было сделаться центральной фигурой в соответствующей легенде. После “маленького” Маркова никто в Сибирь от организации Маркова 2-го не приезжал, вплоть до вывоза царской семьи в Екатеринбург.

Была еще одна монархическая организация в Петербурге, которая, по-видимому, пыталась связаться с Тобольском и что-то там делать. Это была организация, возглавляемая

---

286 Удивительно откликается текст Быкова, обнаруживший тем самым всю свою элементарность: московская группа послала уполномоченным “некоего Кривошеина”.

287 Лишь малая осведомленность и привычка рассказывать с чужих слов привели к тому, что дочь Боткина, удивляясь, что никто не пытался проверить сведения, доставляемые Соловьевым в центр, пишет, что “один только гр. Ростовцов, управляющей делами Их Величеств, догадался прислать со своим доверенным человеком деньги для И. В. к моему отцу, и эти деньги в количестве 80 т. были взяты впоследствии кн. Долгоруковым... в Екатеринбурге”. Сведений о приезде доверенного лица Ростовцова нет. Вероятней всего, мемуаристы спутали здесь с данными о приезде Штейна.

сенатором Туган-Барановским и связанная с хорошо известным царской семье генералом гр. Келлером <sup>288</sup>. Припомним, что его имя получило особую известность в силу демонстративного отказа после отречения Императора от командования 3 м Кав. корпусом. В письме к Вырубовой 23 января (ст. ст.) по поводу приезда в Тобольск офицера, ею обозначенного Х. (вне сомнения, это был Соловьев), А. Ф. ставит вопрос: “Офицер Х. принадлежит ли он к друзьям Лили или Келлера”. О посылке людей Туган-Барановским упоминает “маленький” Марков со слов “своих знакомых”, которые говорили ему об этом перед отъездом из Петербурга. Возможно, к этой организации принадлежал тот “конspirатор” в Тобольске, над легкомыслием которого издевается в воспоминаниях Боткина-Мельник и который прожил в Тобольске несколько месяцев, войдя в связь с доктором Боткиным. Мемуаристка встречалась с ним в семье одного тобольского купца-мясника, пасынок которого участвовал в местном конспиративном кружке, состоявшем якобы “из офицеров и членов союза фронтовиков”. Этот “конспиратор” был “ярим противником Отца Алексея”. Петербургский “конспиратор” представлен был Мельник, как лицо, открывающее в Тобольске кинематограф. “Мы не знали, кто он, но сразу я догадалась о его петроградском происхождении” – по его великолепному английскому пробору, холеным рукам и т.д. Впрочем, “варшавский мещанин” и не скрывал своего подлинного происхождения в разговорах, ссылаясь на петербургских родственников и друзей (кн. Кочубей, кузина кн. Урусова и т.д.). Все это в присутствии “насторожившегося” члена совдепа, бывшего также в гостях, и несмотря на “ужасные гримасы” пасынка мясника.

Если поверить Симановичу (этот изумительный Хлестаков, по его словам, принимал самое непосредственное участие в попытках освобождения царской семьи), то представители этой монархической организации намеревались прорыть подземный ход для освобождения заключенных и с этой целью будто бы наняли булочную около губернаторского дома. Ни одному слову Аарона Симановича<sup>289</sup> поверить нельзя. В третьей книге своих воспоминаний (“Еврей у трона Царя”), по-видимому, не появившейся в печати и изложенной иной по рукописи сотрудником “Сегодня” в 31 г., он рассказывает, как он создавал еще во время Врем. Правит. фонд для освобождения и увоза за границу пленного Императора – и даже не его (Царь решительно отказывался), а “любимца и воспитанника Гр. Распутина, царевича Алексея, и его сестры Татьяны”. Родственники Царя и большинство придворных проявили “возмутительное равнодушие” к плану Аарона Симановича, и только в. кн. Мария Павловна (старшая) “потихоньку от своих детей передала через председателя Студенческого Академ. Союза Кушнарера” в фонд Симановича “большую часть своих ценностей”. Активную роль играла известная деятельница Союза Рус. Народа миллионерша Полубояринова и московский купец Попов. Общими усилиями удалось создать фонд в 5000 каратов бриллиантов, ликвидированных Симановичем в Москве на черной бирже уже в большевистские времена. Вырученная сумма достигала 2 млн руб. Поехали в разные стороны золотые монеты, посыпались пропуска, разрешения и пр., на “важных, ответственных постах” появились нужные люди – план Симановича мало-помалу стал превращаться в действительность... Так действовали “распутницы” – Симанович привлек к делу и Вырубову... Эту грубо скомпанованную сказку мы приводим скорее в виде курьеза, но, кто знает, может быть, Аарон Симанович где-нибудь и “конспирировал”.

## 2. “Зять Распутина”

---

<sup>288</sup> В “публицистическом” дневнике Пасманика, печатавшемся в “За Свободу”, в № от 31 марта 30 г., имеется такая запись слов Савинкова... “Я был тем, кто снабжал Николая II деньгами через преданных офицеров”. Что здесь от неверного восприятия одним собеседником и от излишней склонности другого преувеличивать свою инициативу?

<sup>289</sup> Б. “секретарь” Распутина.

Что представлял собой Соловьев, обрисованный в материалах следствия в самых непривлекательных чертах? Основной тон для характеристики Соловьева был дан в показаниях двух офицеров, выступавших в роли не то добровольцев по сыску, не то официальных контрразведчиков. Одним из них был Мельник, появившийся в Сибири в мае и женившийся на дочери Боткина, другим – поручик Логинов, тесно с ним связанный. Оба принадлежали к тому монархическому толку, для которого вся вообще русская революция была детищем немцев.

Заподозрили они Соловьева после трагического финала, завершившего судьбу царской семьи в Сибири и болезненно сокрушившего попытки освобождения всех этих неумелых и неудачных организаторов. Толчок для подозрения дали рассказы Седова о тюменской деятельности Соловьева, которая как бы парализовала намеченный план освобождения. На эту повесть Седова и ссылается Мельник в показаниях. Седов попал в кругозор Мельника и Логинова после возвращения своего из Петербурга, куда он поехал в начале мая. По словам главных организаторов конспирации “Tante Ivette” (в показаниях уже позднейших, эмигрантских в 21 г.), из доклада Седова выяснилось, что он “ничего абсолютно не выполнил из тех поручений, которые были возложены на него в отношении царской семьи”. Тогда выяснилось, что во главе вырубовской организации в Сибири стоит Соловьев<sup>290</sup>, под влияние которого подпал Седов. Последний чувствовал себя сконфуженным. Он вновь поехал в Сибирь и в сентябре в Тобольске встретился с семьей Мельник, которая, по выражению следователя, помогла ему освободиться “от чар Соловьева”. С этого момента начинается пристальная слежка за Соловьевым. Мельник показывал следователю (уже в августе 21 г.): “В последних числах сентября 18 г. N (т.е. Седов) попал ко мне в Тобольск; к этому времени относится и появление там Соловьева. Я попросил N узнать, для чего Соловьев здесь и почему он не мобилизован. На первый вопрос С. ответил уклончиво, а на второй сказал, что от военной службы он уклоняется, скрывая свое офицерское звание. Я просил N не терять его из вида. Через два-три дня N рассказал, что он был у Соловьева, у которого в номере сидели три незнакомых человека... Соловьев представил им N как своего друга. Подозрительный вид этих людей и иностранный акцент одного из них заставили N насторожиться. Много пили, но N был осторожен и внимательно следил за ними. Когда уже было много выпито и N вел беседу с Соловьевым, то слышал какие-то странные разговоры остальных гостей между собой. Говорили о какой-то подготовке и о каких-то поездках, но заметив, что обратили на себя внимание N, замолчали. Перед уходом N Соловьев посоветовал ему скорее уезжать, так как в Тобольске не безопасно. Когда я попросил N выяснить, почему считают пребывание здесь небезопасным, Соловьев представился ничего не помнящим... Дней через 5 – 6 в тобольской тюрьме, в которой содержалось больше 2000 красноармейцев и до 30 красных офицеров, вспыхнуло восстание, чуть ли не окончившееся разгромом города, так как в гарнизоне насчитывалось только 120 штыков. Поручик Соловьев исчез с горизонта за день или за два до восстания. Его приятели, которые, по собранным сведениям, имели какое-то отношение к шведской миссии, состоявшей из немцев... тоже исчезли...” Какая знакомая картина! Ведь это почти воспроизведение наблюдаемой Юсуповым фантастической сцены сбора “шпионов” на квартире Распутина (см. его воспоминания).

Соловьев во Владивостоке – февраль 19 г. Здесь за ним ведет наблюдение Логинов. “Он в этих целях сошелся с Соловьевым и пользовался его доверием”, – говорит следователь Соколов. В декабре 19 г. Соловьев был арестован военной властью, “возбудив подозрение своим поведением и близостью к социалистическим элементам, готовившим свержение власти адм. Колчака”. (Помощник Соколова Булыгин уже прямо говорит, что Соловьев был арестован Логиновым и Мельником.) “Соловьев подлежал суду как большевистский агент, –

---

<sup>290</sup> Между показаниями Маркова 2-го и его соратника по союзу Соколова противоречие – последний говорит, что “из кружка Вырубовой” они раньше были предупреждены о деятельности Соловьева.

продолжает Соколов. – Но при расследовании выяснилась его подозрительная роль в отношении царской семьи, когда он был в Тобольске”. Поэтому Соловьев был отправлен в Читту, где в это время находился следователь Соколов. Это уже было в феврале 20 г. Не будем проникать в тайну владивостокской фантасмагории – это слишком отвлечет в сторону. Отсылаю читателей к соответствующим страницам моей “Трагедии адм. Колчака”, на которых до некоторой степени выяснено владивостокское сочетание социалистических и большевистских сил при своеобразном вpletении в этот симбиоз и антиколчаковской монархической акции. Судьба же арестованного Соловьева, по изображению ген. Дитерихса, была такова: “В камеру к следователю Соколову с криком ворвалась Мария Михайловна<sup>291</sup> и потребовала немедленного освобождения четы Соловьевых, как ее ближайших друзей... Удивление Соколова было полное, но выпустить он был принужден... Отобранные при аресте Соловьева бумаги остались при следствии. Из них выяснились его связи с петроградским центром и с немцами. В чем именно выявлялись связи, мог выяснить только допрос, но Соловьев, освобожденный из тюрьмы, поспешил скрыться... Вот почему окончательных выводов о роли и деятельности этой петроградско-берлинской организации сделать нельзя”. В действительности Соколов многократно допрашивал Соловьева и пользовался даже отобранными у него и его жены дневниками.

Характеристика, данная Соловьеву следствием, при произвольном толковании материала была явно тенденциозна. Кто такой Соловьев? Он был сыном казначея Синода, состоявшего, по его словам, в “большой дружбе с Гр. Ефимовичем”. Сам Соловьев, проникнутый с детства религиозными устремлениями, был близок в предреволюционные годы к распутинскому кружку<sup>292</sup>. (Стоит подчеркнуть, что при допросах в Сибири Соловьев на следствии в светлых тонах рисовал личность Распутина.) Перед революцией Соловьев оказался в ораниенбаумской школе прапорщиков. Состоял потом офицером во втором пулеметном полку и показал, что в дни “смуты” был схвачен, как офицер, на одной из улиц Петербурга и приведен в Гос. Думу. “Так ли это? Где правда?” – задается вопросом следователь, ссылаясь на показания известного нам пор. Логинова, что Соловьев был “одним из вожаков революционного движения среди солдат и сам привел их к зданию Гос. Думы”. Следователь категорически отвечает: “Правду говорит Логинов, лжет Соловьев”. Если мы припомним условия, в которых находились офицеры второго пулеметного полка, – это тот полк, который был помещен Пешехоновым, тогда комиссаром Петербургской стороны, в Народном Доме<sup>293</sup>, – то “правду” надо отнести скорее за счет показаний Соловьева. Логинов свидетельствовал, что революционная роль Соловьева не ограничилась приводом мятежного полка в Гос. Думу – он тогда же организовал “истребление кадров полиции” в Петрограде и был назначен с первого же момента адъютантом председателя военной комиссии Временного Комитета ген. Потапова, т.е. первого революционного штаба. “Я не пойду так далеко, – делает вывод следователь, – но нет сомнения, такое назначение мог получить только офицер-мятежник” (военная комиссия характеризуется с первого же момента, как “большевистская по духу”). Соловьев не объяснил следователю, как он совмещал в себе консерватизм патриархальной среды и офицера-мятежника – “ответом мне было молчание”. Показания Соловьева мы знаем лишь в довольно случайных отрывках, приведенных в книге Соколова, – делать вывод на основании их затруднительно. Во всяком случае, в материалах, нам доступных и известных о первых днях революции, нигде не выступает активная роль Соловьева. Может быть, Соловьев уклонялся на следствии от прямого ответа по другой причине: роль его в первые революционные дни была

---

<sup>291</sup> Роковая возлюбленная атамана Семенова в Забайкалье.

<sup>292</sup> По-видимому, Соловьев был даже в Индии в оккультной школе йогов, основанной Блаватской в Адьяре.

<sup>293</sup> См. “Возрождение”, т. 17.

действительно активна, но в другом смысле – через него, как устанавливает письмо 2 марта, имп. Ал. Фед. пыталась переправить известие мужу, застрявшему на пути из Могилева в Царское...<sup>294</sup>

Затем “офицер-мятежник” женится на дочери Распутина – Маре (Матрене), по утверждению помощника Соколова, в том же марте. Странный шаг для человека, делавшего революционную карьеру. По словам Булыгина, свадьба была даже в церкви Таврического дворца. Симанович, который ни в каком следствии не участвовал, добавляет, что на бракосочетании присутствовали даже министры-члены Врем. Правительства. Очевидно, дату свадьбы Булыгин почерпнул у Симановича, приписав ее к данным следствия. Соколов свадьбу относит к концу сентября (по ст. ст.), что соответствует и датам дневника жены Соловьева, цитируемого следователем. Соколов не дает объяснения факту женитьбы, но делает сопоставление: “В августе месяце 17 г., когда царская семья была уже в Тобольске, Соловьев ездил в Тобольск и пытался проникнуть к еп. Гермогену, установившему добрые отношения с семьей. Это ему не удалось. 5 октября (н. ст.) он женился на дочери Распутина и снова едет в Сибирь”. Нам неизвестно, откуда следствие заимствовало весьма сомнительное сообщение об августовской поездке Соловьева в Тобольск и о неудавшейся попытке завязать сношения с Гермогеном. Он не мог быть тогда представителем Вырубовой, которая сама еще находилась в узилище, не мог отправиться в Тобольск, выполняя какие-то проблематические задания немцев, а тем более большевиков – даже если отнести его вторую поездку на время после женитьбы, т.е. почти за месяц до большевистского переворота. Это была эпоха Временного Правительства. Логично связать в нечто единое возможно только в случае, если присоединиться к фантастической, как всегда, версии Симановича, по которой Соловьев предложил именно Временному Правительству свои услуги по наблюдению за царской семьей, чтобы помешать ей бежать из Сибири. После падения Временного Правительства Соловьев продолжал свою работу при большевиках. Формально эту несуразную версию не поддерживает следствие, но только формально. Напр., Соколов, анализируя дневники супругов Соловьевых, приходит к выводу, что, женись, Соловьев имел целью воспользоваться именем Распутина (зятю старца Григория верили), установить сношения и усыпить Императрицу “лживыми надеждами на мнимое спасение”. Соколов утверждает это вне каких-либо дат. Булыгин вводит в рамки более точные, путая все хронологические даты. Он пишет: “Вскоре после увоза царской семьи в Тобольск Соловьев, по поручению Вырубовой и Дэн, снабженный полномочиями поверивших ему по рекомендации Вырубовой монархических организаций, едет в Сибирь. Он недолго пробыл в Тобольске, но успел за это время завести прочную связь с настоятелем Благовещенской церкви о. Алексеем Васильевым, а также с Романовой, новой горничной Императрицы. Через нее Соловьев успел передать узникам письма и часть денег, порученных ему для передачи, а главное внушить царской семье уверенность в близком избавлении, ибо “семья Гр. Ефимовича и его близкие не дремлют”; затем он переезжает в Тюмень, где обосновывается плотно, завязав дружеские отношения с местными властями. Большевистский переворот в октябре не отозвался на положении Соловьева – с новым начальством его отношения тоже быстро наладились...” Ограничимся пока отметкой, что горничная А. Романова, как устанавливают письма А. Ф., появилась в Тобольске лишь 8 декабря, т.е. через и 11/2 месяца после октябрьского переворота!

Следствие не сумело увязать противоречия, которые выпирают в изложении участников следствия (у Соколова в меньшей степени, чем у других). Соловьев женился на Маре Распутиной для того, чтобы войти в доверие к А. Ф. Это общее место расследования. “Кто он был и откуда появился – неизвестно: никто не знал его ни в Тобольске, ни в среде царской семьи”, – утверждает Дитерихс. Конечно, это не соответствовало действительности, ибо “Бориса”, как именует его А. Ф. в письмах к Вырубовой, Императрица знала давно.

---

<sup>294</sup> См. “Возрождение”, т. 10, статья “Творимые легенды”.



Можно было бы предположить скорее, что Соловьев женился на Распутиной в целях мимикрии, ибо появление его на родине жены могло представиться естественным. Но из дневника девицы Распутиной, цитируемого Булыгиным без числа, можно усмотреть, что вопрос о выходе Мары замуж за Соловьева был поставлен еще до революции (дневника ее 17 г. Соколов не касается). В этой записи значится: “Была вчера у Ани (Вырубовой)... Говорил опять тятенька...” (спиритические сеансы с вызовом духа Григория). И что это они все говорят мне: люби Борю да люби Борю. Он мне вовсе не нравится”. Соколов подробно останавливается на дневниках Соловьевых для характеристики морального облика Соловьева и для того, чтобы вскрыть “тайну” брака Мары: “По чужой воле, а не любви, вышла дочь Распутина за Соловьева”. Выдержками из дневников жены он стремится подтвердить характеристику, сделанную в показаниях наблюдавшего за четой Соловьевых Логинова: она “неразвитая, простая, запуганная и безвольная”; муж делал с ней, что хотел, – бил ее, гипнотизировал. Дневники рисуют нам семейную драму. Она возникла, очевидно, потому, что деловой брак оказался тягостным для обеих сторон: жена полюбила мужа, а муж не только остался хладен, но его раздражало повышенное настроение жены. 27 января жена записывает: “Вот я не думала, что будет скучно без Бори, но ошиблась... оказывается, его люблю”, а через месяц, 24 февраля: “Дома был полный скандал, он мне бросил обручальное кольцо и сказал: я ему не жена”. Еще через месяц, отмечая учащающиеся ссоры (“Жизнь стала невыносимой”), в дневнике записывается: “Несколько месяцев тому назад он был для меня нуль, а теперь я его люблю безумно, страдаю, мучаюсь целыми днями”. А со стороны мужа слышится “каждый день”: “у тебя рожа и фигура никуда не годятся”. И жена все терпит. Позже, в июле, запись гласит: “за десять месяцев вижу только грубость”, “одного боюсь – развода”, “Боря ненавидит всех наших, это видно по всему”, “как я вижу, Боря меня стесняется, т.е. не меня, а моей фамилии, боится, а вдруг что-нибудь скажут”.

Но оставим в стороне как личную семейную драму, так и моральную оценку действующих в ней лиц. Личная драма, быть может, более сложна, чем представляет ее следствие, сводя все к моральному облику Соловьева. Для моральной оценки надлежало бы познакомиться с подлинниками дневников, отобранных следствием и произвольно им цитируемых. Напр., Соколов в доказательство влияния Соловьева на жену приводит такую запись: “Имею силу заставить Мару не делать так, заставить даже без ведома ее, но как осмелюсь, зная начало всего”. Отрывок как будто бы говорит скорее в пользу Соловьева. Тот же отрывок Булыгин цитирует с добавлением, опущенным Соколовым. Он начинается так: “она мне изменяет”.

Одно несомненно ясно – до женитьбы своей Соловьев в Сибири не появляется. В воспоминаниях Маркова со слов Соловьева говорится, что последний впервые был в Тобольске в октябре. Была ли подобная рекогносцировка сделана под видом свадебного путешествия, мы установить не можем. Но по рассказу Соловьева в отрывке воспоминаний, напечатанном у Маркова, поездка должна быть отнесена к январю – у Соловьева нет дат, но посещение Гермогена, упоминание об аресте Раевских определяют именно эту дату. Также датируется прибытие Соловьева и получение денег от Вырубовой А. Ф. в письме последней. В письме 9 января значится: “...Мы все видели одного, который мог быть брат нашего друга. Папа его издали заметил, высокий, без шапки, с красными валенками, как тут носят. Крестился, сделал земной поклон, бросил шапку в воздух и прыгнул от радости”. К кому это относится? Но уже нет сомнения, что отметка 22 января относится к Соловьеву, хотя А. Ф. еще не знает доподлинно, кто тот офицер, который передал ей письмо от Вырубовой. “Так неожиданно сегодня получила дорогое письмо от 1-го и торопят ответить. Нежно благодарю, несказанно тронута, правда, ужасно трогательно и мило, что и теперь не забыла... Надеемся офицера завтра увидеть, хоть издали”. И на другой день: “Есть еще возможность тебе написать, так как уедет только 26 обратно. Кто мог подумать, что он сюда придет... Так удобно вышло, что Аннушка с нами живет”. Упоминание Яр(ошинского) говорит о деньгах, который передал Соловьев. Согласно рассказу Соловьева (в упомянутом отрывке дневника) он прибыл прежде всего в Покровское, и оттуда зять его, чтобы не возбуждать подозрения,

повез его на собственной лошади в Тобольск под видом торговца “красным товаром”. В Тобольске Соловьев прежде всего посетил Гермогена, которого отлично знал еще с детства, и придворную служащую Х, к которой у него было письмо Вырубовой. А. Ф. еще в декабре осведомила последнюю, что при посредстве камердинера Волкова через Аннушку она может сноситься с ней “не как обыкновенно”. Через Аннушку Соловьев получил записочку А. Ф. “лично для молодого офицера”. “По вашему костюму торговца вижу, что сношение с Вами не безопасно” (очевидно, пометка 9 января должна относиться к Соловьеву). А. Ф. радовалась женитьбе Соловьева на “Матреше” – “исполнение отцовского и моего личного желания”; просила обязательно познакомиться с о. Васильевым – “это глубоко преданный нам человек”<sup>295</sup>, и говорила о нуждах семьи: “Наше общее желание – это достигнуть возможности спокойно жить, как обыкновенная семья, вне политики, борьбы и интриг”.

Гермоген дал Соловьеву благоприятную характеристику о. Васильева (тоболянина по происхождению), как человека действительно преданного царской семье, но страдавшего одним недостатком – он был неводержан в вине. Его раньше судили по обвинению в том, что он в пьяном виде утопил в бочке с водой своего псаломщика, приговорили к церковному покаянию и сослали на несколько лет в один из сибирских монастырей; вернувшись из ссылки в Тобольск, о. Алексей вел трезвый образ жизни, но за последнее время вновь свихнулся – в состоянии опьянения и были совершены чреватые для царской семьи безответственные поступки с величанием, колокольным звоном и пр. О. Васильев не имел уже непосредственных сношений с царской семьей, но у него квартировал придворный служитель Кирпичников, имевший право свободного входа в губернаторский дом. Кирпичников помогал Государю в его физических работах, и при его посредстве о. Алексей мог ежедневно и по несколько раз сообщаться с заключенными. Кирпичников находился в хороших отношениях с охраной, хаживая в отрядный комитет, где завел себе друзей среди писарей. В дневнике 19 марта Николай II называет Кирпичникова “нашим всегдашним осведомителем”<sup>296</sup>.

С о. Васильевым тогда же Соловьев установил связь, но совершенно очевидно, что хронологически не мог иметь место случай, о котором говорит следствие, когда один из присланных из центра офицеров был “помещен Соловьевым и о. Васильевым в Царских Вратах Благовещенской церкви и мог сказать оттуда молившемуся на коленях Государю: “...В. В., верьте нам”<sup>44</sup>. Этот пример Булыгин сопровождает обобщением, что так поступал Соловьев в тех случаях, когда ему надо было продемонстрировать приехавшим из центра в

---

<sup>295</sup> В письме Вырубовой 23 января о. Алексей характеризуется так: “Священник этот энергичный, преданный, борется за правду, очень милое лицо, хорошая улыбка, худой, с седой бородой и умными глазами. Исповедовалась у него в октябре, но говорили больше об общем положении. Он известен среди хороших людей, потому его от нас убрали, но, может быть, и лучше, так как он может больше делать теперь... Епископ за нас и патриарх в Москве тоже, и большая часть духовенства”.

<sup>296</sup> Боткин изображает этого Кирпичникова в самом неприглядном виде, а Дитерихс добавляет, что Кирпичников впоследствии стал большевиком: “К. занимал какое-то очень низкое место в кухонной иерархии, но обратил на себя внимание Их Вел. своей колоссальной, несмотря на маленький рост, физической силой и большой услужливостью. Маленький, коренастый, вечно грязный, он производил впечатление жулика и развязного нахала. Он занимался разведением свиней... и бесцеремонно пас их на отведенном для прогулки дворике. Несколько раз в неделю он принимался за варку обеда для своих питомцев, причем отвратительный запах от свиного кушанья распространялся по всему дому, и никогда никто не делал ему замечания. Кирпичников каким-то образом приобрел большое доверие солдат охраны, и уже при большевиках мы посылали через него сласти Их Высочествам, половину которых он, конечно, съедал сам. Впоследствии он хвастался, что Е. В. дала ему нитку жемчуга на хранение, но вряд ли это была правда. Он был большим другом о. Алексея и также беззастенчиво врал и сплетничал”. Все это неуловимо, а вот свиные окорока кирпичниковского производства, которые подавались на царский стол в голодное большевистское время – в апреле, это уже реальность, как показывает сохранившееся Жильярм меню. Кирпичников не был “кухонным служащим”, а был “писцом”. Вероятно, по профессии ему легко было установить добрые отношения с писарской командой “отрядного комитета”.

Тюмень офицерам (мифическим) свои связи с царской семьей: он их переправлял в Тобольск и устраивал через А. Романову возможность обмениваться записками с узниками или возможность увидеть их, когда они в условленное время выходили на балкон дома, когда даже удавалось сказать им несколько слов. Конечно, что-либо подобное эпизоду в “Царских Вратах” могло произойти с одним из братьев Раевских – это так соответствует всей юношеской наивности их поведения в Тобольске. Из письма А. Ф. вытекает, что 26 января (ст. ст.) Соловьев должен был выехать обратно в Петербург. Из дневника жены Соловьева ясно, что поехал он вновь в Сибирь 2 или 3 марта (очевидно, нового стиля). Представить “организацию” на месте мог только о. Алексей, а тюменская застава должна была бездействовать, но к этому времени из числа посланных “центром” в Сибири где-то находился только Седов. Как произошла встреча Соловьева с Седовым, рассказывает Марков-маленький. Его повествование своей простотой и естественностью само по себе вызывает доверие, между тем как построение следствия искусственно, надуманно и противоречиво, а возражения, которые представлялись уже в эмиграции Маркову со стороны его родственника и однофамильца, носят не только определенный полемический характер, но и характер позднейшего мемуарного наслоения, причем грешат большой забывчивостью в отношении к современности.

Но раньше скажем, как сам Марков попал в Тобольск и при каких условиях встретился с Соловьевым. После возвращения своего из Киева, где он виделся с гр. Келлером, Марков был послан организацией “Tante Ivette”, но деньги на поездку достала Вырубова, с которой он, Марков-”маленький”, сводил в середине февраля руководителя организации Маркова 2-го: у Вырубовой в это время Марков, посылаемый в Сибирь, и познакомился с Соловьевым. Кроме Маркова в Сибирь должны были направиться в ближайшее время шт. рот. кавалергардского полка Грюнвальд и сын члена Гос. Совета Андреевский. Марков 2-й утверждает противоположное. Он узнал, что Вырубова посылает корнета Маркова с письмами и подарками в Тобольск, и просил его только узнать об участии Седова и информировать о положении дела в Сибири<sup>297</sup>. В противоречие с Марковым 2-м, его правая рука Соколов заявил следователю, что Седов и Марков были рекомендованы Дэн. Вначале был послан Седов, потом Марков, который должен был разыскать первого и поступить под его начало. Марков (С.) уверяет, что Марков 2-й в беседе с Вырубовой подчеркивал, что в его распоряжении находятся до ста офицеров, готовых в любую минуту к отъезду и что дело только в деньгах. Вспомним о 100 гардемаринов, которые должны были приехать в помощь московской экспедиции! Сам Марков 2-й в статье “Истина спасения царской семьи” рассказывал, что в Петербурге организована была офицерская группа ген. Z, которая должна была явиться на месте ядром спасительного отряда. В ответе “маленькому” Маркову, в июне 27 г. в “Двуглавом Орле” Марков 2-й пошел еще дальше. Он писал: “...будь у нас в апреле 1918 г. хотя бы один миллион руб., думается, мы успели бы сосредоточить в Екатеринбурге отряд в 300 смелых людей и сделать решительную попытку для соединения царской семьи с чехословаками”. С полным правом мы можем рассматривать корнета Маркова, как одного из офицеров, входивших в мощную якобы организацию Маркова 2-го.

Корнет Марков выехал из Петербурга 2 марта и 10-го был в Тобольске. Вырубова направила его с паролем к свящ. Васильеву. Соловьев, с которым Марков перед отъездом познакомился у Вырубовой, выехал, вероятно, дней на десять раньше Маркова. У о. Васильева Марков узнал, что Соловьев уже был в Тобольске с теплыми вещами для семьи и теперь находится в Покровском; через того же о. Алексея Марков передал в губернаторский дом привезенные вещи и получил благодарственное письмо от “шефа” полка, т.е. от имп. Ал. Фед. На словах о. Алексей ему сообщил, что А. Ф. полагает небезопасным пребывание в Тобольске и просит его уехать в Покровское к Соловьеву и временно оставаться у него. Не

---

<sup>297</sup> “Рекомендованный лицом, близким царской семье, корнет Марков первое время пользовался у нас доверием, и я не скрывал от него нашего плана спасти Государя... не скрывал и того, что пока не соберу денег, не смогу этого выполнить”.

забудем, что разыгрывался эпилог дела Раевских. Разговор с о. Алексеем происходил в алтаре Благовещенской церкви, сюда пришел Кирпичников и провел Маркова к губернаторскому дому, из второго этажа которого в окно глядела семья. А. Ф. писала Вырубовой 13 марта (ст. ст.), подтверждая рассказ Маркова: “Скажи маленькому М., что его шеф был очень рад видеть”. А. Ф. предполагала, что Марков возвращается в Петербург немедленно<sup>298</sup>. В Покровском Марков узнал, что Соловьев арестован приезжавшим отрядом красногвардейцев и отвезен в Тюмень<sup>299</sup>. Мы можем оставить в стороне переписи дальнейших приключений Маркова, объясняющих, как он остался в Тюмени и как по совету случайно встреченного прежнего товарища по корпусу отбросил свой фальшивый паспорт и, пользуясь патриархальностью нравов еще не обольшевистившегося города, принял свой прежний облик – Маркова, бывшего военнослужащего из Проскурова. Далее Марков рассказывает, как он при содействии б. “начальника тюменского гарнизона” полк. П. попал на службу к большевикам: “Я сделался старшим инструктором формировавшейся кавалерийской части и командиром 1-го тюменского уланского эскадрона”. Ему рисовались перспективы, как он создаст в Тюмени законспирированную ячейку в самой красной армии, вооруженную и материально обеспеченную, куда войдут офицеры, присланные из центра. Пока те не приехали, он саботировал работу.

Служба в красной армии была поставлена под подозрение последующими обличителями Маркова, изображавшими его агентом, может быть бессознательным, немецко-большевистского провокатора Соловьева. Они были в лагере пуристов, в этом отношении и разделяли предрассудки, укоренившиеся в дни гражданской войны в некоторых добровольческих кругах. Следствие Соколова шло по их стопам, причем Булыгин, как всегда, вносит свой нюанс: корнет Марков был устроен на офицерскую должность в местную красноармейскую часть поручиком Соловьевым – “корнет Марков был полезен Соловьеву, когда приезжавшие заговорщики требовали от него доказательства его работы, поручик Соловьев мог им сказать: хорошо! Приходите сегодня на парад гарнизона, вы увидите офицера, едущего впереди эскадрона; он сделает такой-то знак рукой. Это наши!” Прием Булыгина, – правда, он только причастен к сибирскому следствию, – совершенно изумителен. Дав предположительный ответ от имени Соловьева мифическим личностям, его запрашивавшим, т.е. ответ, измышленный им самим, он добавляет: “Когда в 21 г. по поручению следователя Соколова я допрашивал в Берлине корнета Маркова, он показал, что в его эскадроне в Тюмени, который Соловьев называл “своими людьми”, были самые обыкновенные красноармейцы, ничего общего ни с какими заговорщиками не имевшие”.

Кому мы должны верить – воспоминаниям корнета Маркова или следовательским изысканиям кап. Булыгина? Соколов не знал воспоминаний Маркова и судил о нем по характеристике допрошенных свидетелей – для него почти всегда “лжет” Марков. Слова Маркова вызывают у меня несравненно больше доверия, несомненен факт, что он прибыл в Тюмень в середине марта, в момент, когда Соловьев был арестован. Марков рассказывает, что через несколько дней он неожиданно встретил Соловьева в парикмахерской. Со слов Соловьева он узнал, что тому удалось объяснить происхождение у него фальшивых документов желанием бросить фронт еще во времена Керенского из-за своих крайних анархических убеждений: “Его доводы подействовали на вечно полупьяного председателя тюменского совдепа Немцева и его помощника, такого же горького пьяницу Неверова” – Соловьев был выпущен на свободу под расписку о невыезде из Тюмени с обязательством являться каждый день в совдеп. Отобранного у него чека на сумму в 10 тыс. ему не вернули. Дело было передано революционному трибуналу. Само по себе подозрительно ли такое освобождение? Припомним, как легко члены “московской экспедиции” освободились из

---

<sup>298</sup> 8 апреля она писала: “Вы видели маленького Сережу. Он сам рассказал, что виделся со всеми издалека”.

<sup>299</sup> А. Ф. писала Вырубовой 20 марта: “Борис взят: это беда, но не расстрелян – он знал, что будет так”.

цепких рук кронштадтских матросов. С именем Немцева мы встретимся и увидим, что он отнюдь не принадлежал к числу крайних большевиков и что известная уступчивость его проистекала, очевидно, не только от “пьянства”. Итак, “тюменская застава” могла начать играть свою предательскую роль только в 20 х числа марта, когда в Тюмени поневоле осел Соловьев, а вместе с ним и Марков. Как будто нет сомнений, что в это время через тюменскую заставу никто из центра не проезжал. По признанию Маркова 2-го и его единомышленников, после выезда корнета Маркова всякая связь с ним прервалась, как это было и с Седовым<sup>300</sup>.

Соловьев – совершенно ясно – никакого касательства к марковской организации не имел. Марков 2-й, по собственным его словам, узнал о нем позже, когда из Сибири возвратились Седов и Марков Сергей. Следователю Соколову в Рейхенгале (21 г.) Марков 2-й показывал: “Перед посылкой N я пытался ради общей цели установить соглашение с А. А. Вырубовой, но она дала мне понять, что она желает действовать самостоятельно и независимо от него”. И позже: “Пока N еще не вернулся, мне из кружка Вырубовой было дано понять, что мы совершенно напрасно пытаемся установить связи с царской семьей посылкой наших людей, что там на месте работают люди Вырубовой, что мы напрасно путаемся в это дело и неуместным рвением только компрометируем благое дело”. Соратник Маркова 2-го, Соколов, упоминал в своем показании, что “кажется, в это же время и было названо имя Соловьева, как организатора на месте”. Очевидно, дело, было не совсем так, как показывали на следствии “свидетели”, ибо второй и последний посланец Маркова 2-го в тобольский период был одновременно и посланцем Вырубовой и получил пароль на о. Алексея. Но сам Соловьев не был причастен к “центральной” организации Маркова 2-го и не мог туда посылать сногшибательных донесений от имени своей организации, именуемой “Братством св. Иосифа Тобольского”. “Он доносил о том, – повествует Булыгин, – что восемь полков красноармейцев, распропагандированных его агентами, заняли два подступа к Тобольску, вокруг которого они расположены, что в доме заключенных у него есть верные люди, что надо опасаться лишь полк. Кобылинского и его адъютанта, что все мосты вокруг города минированы, что город в любую минуту может быть изолирован, и т.п. вздор, что присылка офицеров из центра ему в помощь не нужна, а вредна, так как каждое новое лицо может здесь вызвать лишь подозрения, что нужно присылать только деньги”. Откуда Булыгин заимствовал весь этот действительный “вздор”? Здесь сказалась только разыгравшаяся фантазия мемуариста-следователя...

Вскоре к Соловьеву и Маркову присоединился и Седов. И он оказался в Тюмени. Встреча произошла совершенно неожиданно в аптеке. Вид Седова Марков описывает так: “Вместо вылощенного шт.-капитана... я увидел форменного оборванца, в засаленной ватной куртке, в серо-синих латаных брюках, в смазных сапогах. Дырявый картуз еле прикрывал всклокоченную шевелюру”. Седову “много пришлось перестрадать, пока он приехал в Тюмень, где он находился всего лишь третью неделю. Пережитое сказалось огромным нервным потрясением... повышенная нервность чувствовалась во всем”. Седов явился в Тюмень, чтобы легализировать в проф. союзе свое положение чернорабочего, и в качестве такового получил место дворника у одного местного домовладельца.

---

<sup>300</sup> В статье “Ловцы правды” Марков 2-й говорит в полном противоречии со своими показаниями следователю и с поддержкой тезы о тюменском Соловье-разбойнике, что другие лица, посылавшиеся в то время из Петербурга и Москвы, без особых трудов устраивались и проживали в Тобольске, отнюдь не поступая на службу в отряды красной охраны. В статье он допускает такую инсинуацию в отношении корнета Маркова: “Лицо, привозившее Государю деньги из Москвы... встретило со стороны бывшего в те дни в Тобольске Серг. Маркова всякие придирки и затруднения в сношении с заключенными и вынуждено было снабдить корнета солидной суммой денег, чтобы он скорее уехал из Тобольска и не мешал. Получив деньги, С. Марков тотчас отбыл в Тюмень”. С. Марков, естественно, отрицает и встречу, и получение денег от московского посланного. Мы знаем, что этим москвичом был Штейн, привезший деньги при вторичном своем посещении Тобольска. Царь отметил точную дату получения денег от Штейна – 12 марта ст. ст. Дата совпадает. Но как корнет Марков мог помешать в Тобольске Штейну, установившему связи в дни первого своего приезда?

Сойдясь, все трое решили, что им “ничего другого не остается делать, как ждать приезда офицеров из организации”. Седов решил остаться на своей должности, где он был хорошо замаскирован. Марков и Соловьев вращались в советском обществе, устраивая свои встречи в театре и знакомясь с вершителями судеб местной жизни.

Подводя итоги, Марков С. формулирует в таких словах результаты деятельности Соловьева: удалось 1) твердо установить связь с заключенными, 2) образовать в Тобольске и в ближайшем к нему районе группу верных людей, 3) по всей линии от Тобольска до Тюмени установить ряд определенных пунктов с надежными людьми, через которых пересылалась вся корреспонденция и мелкие вещи, 4) установить постоянный контроль над почтово-телеграфными сообщениями, как Отряда, так и Совдепа”. “Соловьев сразу понял, – говорит Марков, – что кроме частного облегчения участи Их Величеств, в виду недостатка у Вырубовой средств, ему ничего не удастся больше сделать”. Но, очевидно, кружок Вырубовой только эти цели (присылка вещей и денег и облегчение сообщения с внешним миром) и преследовал. Посредником в этой работе и был Соловьев. Осуществление фантастических планов, рождавшихся в головах некоторых членов петербургских и московских монархических организаций, мешало такой непосредственной практической работе. И можно допустить, что “кружок” Вырубовой действительно хотел работать самостоятельно и считал, что “неуместное рвение только компрометирует благое дело”. Нельзя ли объяснить этой осторожностью и те угрозы, которые якобы раздавались из уст Соловьева и о которых мы знаем со слов сделавшегося неуравновешенным шт. кап. Седова. Произнесены ли были в реальности эти угрозы, в каком контексте и в какой обстановке, мы не знаем, но несомненно “неуместное рвение” могло компрометировать практическое дело. Не говоря уже о фантастических разговорах о подкопах, если только они были, дискредитировать работу могла и московская эскапада и младенческие бредни братьев Раевских<sup>301</sup>.

Марков 2-й уверяет, что его организация “в течение зимы готовила план освобождения. Нашелся опытный и верный шкипер дальнего плавания, который брался войти со своей шхуной в начале лета в устье Оби и в условленном месте ожидать прибытия беглецов. Разработан был план прекращения до времени бегства телеграфной связи вдоль Оби и Широкого побережья. Постепенно к месту действия стягивались отдельные группы офицеров из Сибири и с Урала. В Петрограде образована была офицерская группа ген. Z, которая должна была явиться на месте ядром спасательного отряда. Провокаторская деятельность Соловьева, неудачи в деле налаживания связи, а главное – недостаточные необходимые денежные средства привели к тому, что несколько месяцев было утрачено бесполезно, и к весне 18 г. подготовка операции была далеко не закончена”. Мечты и действительность расходились еще в большей степени, чем на это указывает творец петербургского плана. Но в другой статье (ответ своему однофамильцу) воображение Маркова 2-го занесло его еще дальше: “Все же большая подготовительная работа была произведена, и спасение Царя и его семьи из Тобольска становилось реально исполнимо. Перевод в Екатеринбург нанес страшный удар всем нашим планам”. Возможно, что все эти “планы” в деталях и разрабатывались в “конспиративных” квартирах петербургских монархистов. Но эта заговорщическая словесность не переходила через грань реальности, ибо кроме Седова и Маркова от организации “Tante Ivette” никто не появился в Сибири.

Какие-нибудь намеки о петербургских планах, конечно, могли проникнуть в местную монархическую среду – недаром братья Раевские в январе неожиданно для группы шт.-кап. Соколова намеревались изменить московский проект вывоза царской семьи в Троицк на перевозку в Обдорск. Советский мемуарист Авдеев говорит, что у екатеринбургских большевиков в марте “имелись вполне достоверные сведения, что монархисты группируются

---

301 Упоминание о двух гвардейских офицерах и одной “даме” позволяет подставить здесь имена фрейлины Хитрово и братьев Раевских, т.е. отнести “угрозы” к добольшевистскому времени, к дням, когда Соловьева не было в Сибири, и, следовательно, придать “угрозам” характер разговорно-теоретический.

вокруг Тобольска, чтобы воспользоваться вскрытием реки Иртыша, на котором стоит Тобольск, и Оби, в которую впадает Иртыш, и увезти бывшего Царя через реки в Обскую губу и за границу из рук большевиков”. Екатеринбургские большевики знали, что “особенно активно работает над подготовкой побега бывш. Царя зять Распутина Соловьев, бывший поручик, через которого действовала Вырубова, посылая ему средства и инструкции”<sup>302</sup>. “Уральский совет и комитет партии принял меры к тому, чтобы не осуществились монархические планы”. Покажется действительно странным, что Соловьев разгуливал в Тюмени, когда тюменские большевики знали о роли его в подготовке побега из Тобольска. Это могла быть только провокация. Но об этих “планах” Авдеев узнал только из опубликованных показаний Маркова 2-го и в своих воспоминаниях, напечатанных в 28 г., выдал за сведения, имевшиеся в 18 г. в партийных кругах.

Скромная по существу деятельность Соловьева (итоги, им подводимые, по словам Маркова, носят черты преувеличения – жена отмечает о своем муже, что он “страшный хвостун”, “он все врет”) со стороны его изобличителей во всех своих деталях встречает опорочение. Прибыв в Тобольск, Соловьев обратился, как мы знаем, к горничной Ал. Фед. – “Аннушке”, которая волею судеб оказалась вне стен губернаторского дома и через которую заключенные могли сношаться с волей. Этот адрес “сомнительной горничной” Соловьев получил от Вырубовой, а о ней она узнала от самой А. Ф. Какая из двух “Аннушек” – горничных А. Ф., прибывших из Петербурга 4 декабря – Романова или Утина, – была ее доверенной, мы точно не знаем, ибо следствие не занималось выяснением этого вопроса, обобщая: “обе они были распутианки, – пишет Соколов, – а одна из них впоследствии вышла замуж за большевика. Через них Соловьев имел сношения с Императрицей”. (А. Ф. всегда в письмах упоминает одну “Аннушку”.) “Характерная деталь. С ними вместе жила преданная Государыне ее камер-юнгфрау Занотти. Она не знала о отношениях Императрицы с Соловьевым: от нее это скрывалось”. Это доказывает только, что А. Ф. при всей своей неопытности и наивности лучше понимала смысл конспирации, чем следователь, у которого глаза были завязаны предвзятой точкой зрения<sup>303</sup>.

Через Анну Романову (пусть будет так!) передавались А. Ф. деньги, которые поступали от Соловьева. По утверждению Дитерихса, часть денег передавалась о. Васильевым через Кирпичникова Царю. Ген. Дитерихс, не ведший непосредственно следствия, еще более безответствен в своих суждениях, чем формальные следователи. Так, он говорит, что о. Васильев передал б. Государю незначительную сумму денег, которая потом при сличении с суммами, присылавшимися Васильеву и Соловьеву, оказалась совершенно ничтожной. Все же остальные деньги оставались у этих местных исполнителей распоряжений центрального органа. Как могло следствие сличить поступление с расходом этого Дитерихс предусмотрительно не говорит. Деньги, передаваемые Соловьеву неведомыми офицерами и им присваиваемые, – только следовательская фантазия, основанная на беспочвенных свидетельских показаниях<sup>304</sup>. Путем этих показаний следствие установило, что через Соловьева от Вырубовой поступило к А. Ф. 35 т. руб. (Соловьев говорил Маркову, что он передал 50 т.) А. Ф. в своих письмах упоминает о получении денег несколько раз, не указывая суммы. В первом письме 23 января по поводу прибытия офицера Х. говорится: “Страшно тронута, что Х. деньги привез, но, правда, не надо больше – все пока у нас есть.

---

<sup>302</sup> Уральские большевистские деятели даже знали, что монархистами была намечена для увоза Николая за границу шхуна “Мария”, стоявшая в Тобольске на зимовке.

<sup>303</sup> Как видно из писем к Вырубовой, А. Ф. сознательно пользовалась разными лицами для посылки писем – между прочим и “Мадлэн”, т.е. Занотти. 8 апреля А. Ф. писала: “Не посылаем через А., так как она обыска ждет”. Действует еще некая Л.

<sup>304</sup> Например, брата Боткина. В воспоминаниях сама Мельник точно знает, что доходила до семьи только 1/4 часть тех “больших денег”, которые получали Соловьев и Васильев.

Бывали минуты, когда не знали, откуда взять, так как из Петрограда не высылали, теперь опять пока есть”. На следующий день А. Ф. возвращается к той же теме: “Говорят, что поганцы в Смольном запаслись многим, так что не будут голодать, и им все равно, что в Петрограде умирают с голода. Зачем Х. деньги дал, лучше было бы их бедным раздать. Буду их прятать на “черный день”. Были минуты... люди ждали уплаты в магазинах, и наши люди 4 месяца не получали жалования, потом прислали. Но и солдаты не получали то, что полагается; тогда пришлось из наших денег взять, чтобы их успокоить. Это все мелочь... Нам здесь хорошо, и все есть, что нужно”. 6 апреля А. Ф. вновь писала: “Ужасно досадно, что ты мне денег послала. Мне они пока не нужны, а тебе нужнее. Посоветуй, как мне их вернуть, чтобы тебя не обидеть. Я была бы гораздо спокойнее, если бы ты их имела”.

В письме 23 января вскрывался источник, откуда были присланы деньги, – она благодарит “Яр” за трогательное внимание. Это был банкир Ярошинский, о котором наряду с женой ген. Сухомлинова упоминает в своем отрывке воспоминаний Соловьев, как о лицах, откликнувшихся на хлопоты Вырубовой по изысканию денег. Ярошинский был допрошен Соколовым в Берлине (в 20 г.) и подтвердил, что передал Вырубовой для организации помощи царской семье 175 тыс. Следствию эти деньги показались сомнительного происхождения, ибо пор. Логинов заявил, что “Ярошинский был агентом немцев, что во время войны он имел от них громадные денежные суммы и на них вел по директиве врага борьбу в России”. Эти сведения были лишь откликом пресловутой легенды о сепаратном мире. Соколов ограничился указанием, что он, “как судья”, “по совести” должен сказать, что роль Ярошинского остается для него “темной”. “Мой долг указать строгие факты, – заключал следователь: – Ярошинский был известен Императрице. Он финансировал лазарет имени в. кн. Марии Н. и Ан. Н. и в то же время был пом. коменданта личного санитарного поезда Императрицы. Нет сомнения, что он имел связь с кружком Распутина и был близок и с Манасевич-Мануиловым и с Вырубовой”. В конце концов эти “строгие факты” (близость с Ман.-Мануиловым) оказались городской сплетней – так говорили в Петербурге и считали Ярошинского германской ориентации (Булыгин). Из других источников (воспоминания Палей) мы узнаем, что германофильствующий Ярошинский (поляк) одолжил значительную сумму денег антантофильствующему в. кн. Павлу Ал., когда тот попал при большевиках в материально затруднительное положение...<sup>305</sup> Соколову представляется загадочным, что Ярошинский при допросе отверг всякую связь, даже простое знакомство с Соловьевым. Соловьев же показал, что он состоял на службе у Ярошинского, был его личным секретарем за определенное жалованье<sup>306</sup>. Подлинных показаний ни Ярошинского, ни Соловьева мы не имеем, но весьма возможно, что Ярошинский, член одного из видных клубов в Лондоне, уклонился в эмиграции от установления связи с лицом, которое следствие представляло не только немецким, но и большевистским агентом.

Булыгин прямо ставит вопрос, куда делись 140 тыс. из денег, полученных Соловьевым (вернее Вырубовой) от Ярошинского? Нам нет надобности идти по стопам следствия, тем более что мы лишены возможности еще в большей степени, чем следствие, имевшее перед собой все-таки живых лиц, которых допрашивало, выяснить организационные расходы по установлению нелегальных сношений между Петербургом и Тобольском по пересылке вещей и продуктов пленным в губернаторском доме. Этими вопросами следствие, проявляя излишнюю наивность, даже не задавалось. 140 тыс. в советское время не такая уже большая сумма в масштабе той работы, которую надлежало выполнить, если предположить и

---

<sup>305</sup> Одновременно передал Палей 20 т. руб. гр. Сэнт-Совер, имевший отношение к французской миссии. Значительную сумму то же лицо передало и Бенкендорфу для переправки царской семье в Тобольск.

<sup>306</sup> Соколов приводит цитату из дневника жены Соловьева 2 марта: “Только что Боря ушел к Ярошинскому. Я знаю, сколько дал Боре денег Ярошинский, но он не хочет дать денег мне... Он рассуждает так: его деньги есть его, а мои тоже его”.



возможность одновременной подготовки бегства в случае необходимости<sup>307</sup>. Следствие и его главные свидетели, искусственно цепляясь за мелочи, искали тут главным образом изобличительность материала, который дискредитировал бы деятельность Соловьева и о. Васильева. Может быть, и был несколько корыстолюбив о. Алексей<sup>308</sup>, может быть, не забывал подчас своих имущественных интересов и “зять Распутина” (он вел какие-то коммерческие дела в Сибири; были ли то личные дела Соловьева, мы в точности не знаем – он мог представлять интересы и своего финансового патрона), но едва ли это само по себе может служить уликой для обвинения Соловьева в том, что он был не только немецким агентом и большевистским провокатором, но и похитителем общественных денег и даже – личного царского имущества, переданных ему или скрытых в известном ему месте фамильных бриллиантов. Соловьев продал содержанке ат. Семенова бриллиантовый кулон за 50 тыс. руб. – говорит Соколов; в данном случае Булыгин осторожнее своего шефа и прибавляет: “ходили слухи”. “Когда военные власти обыскивали его во Владивостоке, – продолжает Соколов, – у него нашли два кредитных письма на английском языке. Неизвестное лицо предлагало в них Рус. Аз. Банку уплатить „в наилучшем размене“ самому Соловьеву 15 тыс., а его жене 5 тыс. руб...” “Я спрашивал Соловьева, кто и за что дал ему это письмо. Он показал, что ему дал его незнакомец, с которым он только в первый раз встретился в поезде, по имени Ван дер Дауер”. Трудно поверить такому несуразному объяснению, не прочитав непосредственно показания допрашиваемого. В самом факте наличия чека в 20 т. у зятя Распутина, собиравшегося в то время уехать за границу (и, очевидно, надолго), нет ничего необычного.

Нужно было бы посвятить много страниц для того, чтобы раскрыть гору мелких сплетен, которую накрутили свидетели, а за ними сами следователи. Но – это не важно. Слишком очевидно, что для основного утверждения следствия не было никакого конкретного материала. Можно было бы обвинять тобольских “организаторов” в том, что они внушали царской семье “лживые надежды на мнимое спасение”, о котором в действительности мало кто думал и реально для которого ничего не было сделано. Соколов был совершенно прав в своем заключении о тобольском периоде: “Следствие абсолютно доказало, что не было ни в Тюмени, ни в другом месте Тобольской губ. никакой офицерской группы, готовой освободить семью”. Между тем Жильяр в дневник записал 13 марта по поводу прибытия в Тобольск Омского отряда: “...Ее Вел. сказала мне, что она имеет основание думать, что среди этих людей много офицеров, поступивших в красную армию в качестве солдат. Она утверждала также, не поясняя, откуда это она знает, что в Тюмени собрано 300 офицеров”. Нет основания приписывать легенду о 300 офицерах исключительно творчеству о. Алексея или Соловьева, таким путем сознательно обманывавших заключенных. Легенда эта, конечно, того же происхождения, что и миф о 100 гардемаринах, долженствовавших прибыть для осуществления плана побега, предвестниками которого были братья Раевские, или миф о тех офицерских кадрах петербургской организации, представителем которой являлся шт. кап. Седов и прибытие которого в Тобольске ожидалось со слов письма, полученного А. Ф. от Дэн. Любил ли говорить о. Алексей о “300 человек”, как уверяет Мельник, мы не знаем, но что “постоянным осведомителем” царской семьи о том, что делалось на воле, был писец Кирпичников, мы это знаем точно. Как через него

---

<sup>307</sup> Марков 2-й упрекал в корыстолюбии и корнета Маркова, который не стеснялся-де широко расходовать полученные на поездку в Тобольск деньги. Это были “большие”, по утверждению Маркова 2-го, деньги в начале 18 г. – целых 830 р. (240 руб. переданы были Марковым 2-м, 240 руб. даны были Васильевым и 350 руб. взяты были у семьи Распутиных). По какому-то фантастическому расчету автор приравнивает 830 р. советского времени 8000 франков 29 г. Сложный дальний путь, помимо путевых расходов, требовал экипировки, а ведь в это время цена старых ботинок и подержанный костюм уже исчислялись сотнями советских рублей.

<sup>308</sup> Корнет Марков говорит, с какой неохотой дал ему о. Алексей 240 руб., как бы из своих денег для отъезда из Тобольска.

доходила информация хотя бы об ожидаемых гардемаринах? – Через третьи руки даже осторожная информация превращалась в гиперболу. В истерическом восприятии Императрицы ожидаемое всегда могло превратиться в реальность.

## Глава третья ТАИНСТВЕННАЯ МИССИЯ

### 1. Увоз Царя

В начале 4 апреля в Тобольске в б. губернаторском доме было напряженное настроение. Царица писала Вырубовой 8 апреля: “Ждем сегодня обыска. Приятно! Не знаю, как с перепиской дальше будет. Атмосфера электрическая кругом, чувствуется гроза...” Известный уже нам Авдеев, по его словам, выехал из Тобольска в Екатеринбург для “доклада” в областном уральском комитете в целях “добиться там директив по вопросу об увозе бывшего царя в такое место, где побег ему был бы невозможен”. Приехав в Тюмень, Авдеев на вокзале увидел выгружавшуюся кавалерийскую часть и узнал, что это отряд уполномоченного ВЦИКа Яковлева. Последний предъявил Авдееву на ряду с полномочиями от центра мандат областного комитета, в котором говорилось, что вся группа уральцев в Тобольске поступала в полное распоряжение Яковлева. “Я ввел его в курс обстановки Тобольска – рассказывает Авдеев, – и познакомил с тем, куда и зачем еду, после чего Яковлев предложил мне вернуться обратно с ним в Тобольск, обещав, что бывший Царь будет вывезен из Тобольска немедленно, а куда, – добавил он, – на то я получу директивы из Москвы в Тобольске”. Сообщив в Екатеринбург о встрече с Яковлевым, Авдеев поехал с ним (верхом на лошади) в Тобольск – их сопровождал кавалерийский отряд под командой Зенцова, прибывший с Яковлевым и состоявший из рабочих Симского округа Южного Урала. По дороге они нагнали роту пехоты под командой Бусяцкого, которая двигалась из Екатеринбурга в Тобольск в распоряжение “уральской группы”. 9-го вечером прибыли в Тобольск. По словам Авдеева, по приезде Яковлев немедленно созвал совещание из уральцев и своих помощников, на котором Хохряков дал информацию о положении дел в Тобольске, а Яковлев изложил план выполнения возложенной на него задачи: “он должен увезти бывшего Царя из Тобольска, в чем должны ему все помогать, а куда он с ним поедет – об этом рассуждать не следует”. “Несмотря на то что на этом совещании было принято наше предложение о вывозе бывшего Царя, все же мы, уральцы, решили в ту же ночь собраться отдельно, так как поведение Яковлева показалось нам подозрительным”. Но это совещание явно было не в первую ночь по прибытии чрезвычайного комиссара ВЦИКа...

На следующий день (т.е. 10 апреля), продолжает Авдеев, “мы с ним направились в дом заключения. Чрезвычайный комиссар, прибывший для выполнения поручения особой важности по утверждению свидетелей, прошедших перед следствием, никому не открыл цели своей миссии, обошел дом заключения, познакомился с Царем и посетил наследника, который был болен. Ни Государыни, ни княжон Яковлев не видел в этот день. Он совсем не спрашивал о них, не интересовался ими: как будто их не существовало”. Это заключение опровергается как дневником Николая II, так и письмом его жены А. Ф. Вырубовой, помеченным 10 апреля. А. Ф. писала “сестре Серафиме”: “Новый комиссар из Москвы приехал, какой-то Яковлев. Ваши друзья сейчас с ним познакомятся... Вашим все говорят, что придется путешествовать или вдаль, или в центр. Но это грустно и нежелательно и более, чем неприятно, в такое время...” Письмо заканчивается указанием: “видели нового комиссара – неплохое лицо”. Может быть, смутно рисовались какие-то надежды – в письме А. Ф. замечала: “Вот 11 человек верхом прошли, хорошие лица, мальчишки еще, улыбаются. Это уже давно невиданное зрелище. У охраны комиссара не бывают такие лица”. Царь занес в дневник: “В 10 1/2 час утра Кобылинский явился с Яковлевым и его свитой<sup>309</sup>. Принял его

<sup>309</sup> Накануне в дневнике был отмечен приезд “чрезвычайного комиссара”: “Дети вообразили, что он сегодня

в зале с дочерью. Мы ожидали его к 11 час, поэтому Алекс не была еще готова. Он вошел, бритое лицо, улыбаясь и смущаясь, спросил, довольны ли охраной и помещением<sup>310</sup>. Затем почти бегом зашел к Алексею, не останавливаясь осмотрел остальные комнаты и, извиняясь за беспокойство, ушел вниз... Через полчаса он снова явился, чтобы представиться Алекс, опять поспешил к Алексею и ушел вниз<sup>311</sup>. Этим пока ограничился осмотр дома”.

Авдеев говорит, что после осмотра помещения “сейчас же была снята постоянная охрана и заменена нашими красногвардейцами”. Кобылинский изображает по-другому: Авдеев хотел остаться в дежурной, но прап. Семенов запротестовал.

Надо думать, что никто в губернаторском доме действительно не сомневался в том, что готовится вывоз семьи. Это подтверждает телеграмма, полученная в те дни монархическими кругами в Москве из Тобольска. Кривошеин содержание телеграммы передал Соколову в таких выражениях: “Врачи потребовали безотлагательного отъезда на юг, на курорт. Такое требование нас чрезвычайно тревожит. Считаю поездку нежелательной. Просим дать совет. Положение крайне трудное”. Возможно ли допустить, что подобная телеграмма была отправлена за несколько часов до отъезда? Тем более что, по словам Кривошеина, “спустя короткое время” была получена вторая телеграмма из Тобольска: “необходимо подчиниться врачам”. Вторая телеграмма служила как бы откликом на ответ, посланный из Москвы. “Смысл полученной из Тобольска первой телеграммы тогда для нас был совершенно неясен, но, несомненно, тревожен, – добавлял Кривошеин, – наш ответ был примерно такого содержания: “Никаких данных, которые могли бы уяснить причины подобного требования, к сожалению, не имеем. Не зная положения больного и обстоятельств, высказаться определенно крайне трудно, но советуем поездку по возможности отдалить и уступить лишь в крайнем случае только категорическому предписанию врачей”<sup>312</sup>.

Со своей стороны Жильяр записал 10 апреля: “Все обеспокоены и ужасно встревожены. В приезде комиссара чувствуется неопределенная, но очень действительная угроза”, и на следующий день после приезда Яковлева: “Выходя, он спросил у коменданта – много ли у вас багажа? Не идет ли дело о каком-нибудь отъезде”. Наконец, 12 го: “Мы все ужасно встревожены. У Вас чувство, что мы всеми забыты, предоставлены сами себе, во власти этого человека. Неужели возможно, чтобы никто не сделал ни малейшей попытки спасти царскую семью? Где же, наконец, те, которые остались верными Государю? Зачем они медлят?”

Первые два дня в Тобольске центром внимания московского комиссара был отряд особого назначения. 10-го Яковлев выступил перед отрядом. “Совершенно ясно было, – показывал офицер Мундель, – что Яковлев подделывался к нашим стрелкам... чтобы достичь одного: чтобы они не оказали какого-то противодействия”. Яковлев говорил, что привез новые суточные деньги, восхвалял советскую власть, порицал Временное Правительство и намекал, что скоро все солдаты будут распущены по домам, но не открывал, в чем заключалось возложенное на него поручение особой важности”. Солдаты отнеслись с некоторым подозрением к прибывшему комиссару, их делегаты пошли в совдеп, где председатель Хохряков, по словам присутствовавшего Мунделя, разъяснил им, что он хорошо знает Яковлева как видного деятеля революции на Урале.

Болезнь “маленького” вызвала колебания у московского комиссара, и он, по словам

---

придет делать обыск, и сожгли все письма, а Мария и Анастасия даже свои дневники”.

310 “Николай подошел к Яковлеву и протянул ему руку, – пишет Авдеев, – и, к нашему удивлению, тот подал ему в свою очередь руку, и они обменялись приветствиями”.

311 То же записано у Жильяра, с записью которого было знакомо следствие.

312 Чтобы выяснить дело, в Тобольск из Москвы было отправлено два лица, но царь был перевезен уже в Екатеринбург.

Авдеева, склонен был поездку отложить. Но на партийном совещании, созванном по этому поводу, Хохряков, поддержанный уральцами, высказался за немедленную эвакуацию в надежное место ввиду того, что трудно предусмотреть последствия отсрочки, если вскроются реки, когда монархисты “безусловно попытаются освободить бывшего Царя”. Яковлев переговорил по прямому проводу с Москвой и получил предписание, ввиду болезни Алексея, оставить семью в Тобольске и выехать с одним Царем. По утверждению Авдеева, Яковлев тогда сказал, что повезет Царя в Екатеринбург. Вечером в 11 часов Яковлев собрал отрядный комитет. Ему он “секретно” открыл цель своего приезда.

На другой день комиссар раскрыл карты и коменданту, сказав, что за семьей он вернется через некоторое время. По намекам Яковлева, что он вернется через 11/2 – 2 недели (“дня в 4 – 5 доедем, ну там несколько дней и назад”), Кобылинский решил, что царь будет отвезен в Москву. Затем у Яковлева было свидание с самим Николаем Александровичем. Царь кратко заносил в дневник: “После завтрака Яковлев пришел с Кобылинским и объявил, что получил приказание увезти меня, не говоря куда. Алекс решила ехать со мной и взять Марию. Протестовать не стоило...” Царь первоначально заявил: “Я никуда не поеду”, на что Яковлев ответил: “Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказание. Если вы отказываетесь ехать, я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Будьте готовы. Завтра в 4 часа мы выезжаем”.

После ухода Яковлева Кобылинский поделился с семьей своим впечатлением, что Царя хотят увезти в Москву. “Тогда Государь сказал: “Ну это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором. Но я лучше дам отсечь себе руку. Чем сделаю это”. Сильно волнуясь, Государыня сказала: “Я также еду. Без меня его заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили”. Безусловно Государыня намекала на отречение Государя от престола”. Все свидетели-очевидцы, прошедшие перед следствием, рассказывали о мучительном волнении, охватившем А.Ф., которая боялась оставить больного сына и отпустить Царя одного. Ей приходилось выбирать между сыном и мужем: “Его увозят одного потому, что они хотят отделить его от семьи, чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставит в Тобольске. Как это было во время отречения в Пскове...” “Я чувствую, – повторяла А.Ф. Жильяру, – что они хотят заставить его подписать мир в Москве. Немцы требуют этого, зная, что только мир, подписанный Царем, может иметь силу и ценность в России. Мой долг не допустить этого и не покинуть его в такую минуту”. Когда через час Кобылинский снова пошел в “дом”, чтобы осведомиться, кто именно поедет (Яковлев сказал, что ему “все равно, лишь бы немного брали вещей”), он узнал, что помимо А.Ф. с Царем едут Мария Ник., Боткин, Долгоруков, камердинер Чемодуров, лакей Седнев и девушка Демидова. Кобылинский подчеркивает, что в этот день он не был больше в “доме” 313.

Поздно вечером Яковлев собрал отряд и объявил солдатам, что он увозит Царя, прося это держать в секрете. Заявление Яковлева смутило солдат. “Заметно было, что они потрухивали за себя: как бы потом чего не было”, – показывал Кобылинский. – Они стали говорить Яковлеву, что необходимо, чтобы и они сопровождали Государя”. Яковлев отклонил это, ссылаясь на то, что его отряд надежный, но пошел на компромисс. Был выбран маленький отряд из нашей охраны в 6 человек, который должен был сопровождать Царя до места назначения.

---

313 Авдеев, свидетель далеко не всегда достоверный, говорит, что именно тогда состоялось упомянутое партийное совещание, на котором выяснились колебания Яковлева, и что по настоянию этого совещания Яковлев вновь пошел к Царю и объявил ему, что его увезут силой, если он будет сопротивляться. По словам Авдеева, он дал согласие на 12 человек “слуг”. Партийцы протестовали, и Авдеев, уже в качестве коменданта “дома заключения”, на которого возложена была организационная часть поездки, пошел в “дом” и лично передал Царю решение совещания.

Несколько иной оттенок собранию дает Авдеев: “Солдаты старой охраны выступили на собрании с демагогией против большевиков, с заявлением, что они имеют сведения, что уральцы собираются сделать нападение на бывшего Царя и что всем этим руководит Заславский, и требовали, чтобы Заславский явился на собрание. Яковлев же уверял, что уральцы работают теперь под его подчинением и что никаких сепаратных выступлений он не допустит. Заславский все же был приглашен на собрание и заявил, что если монархисты попытаются освободить б. Царя, то они встретят в уральцах такое сопротивление, которое отобьет им всякую охоту. Это заявление не понравилось Яковлеву, да и из солдат б. охраны кое-кто начал дебоширить”. Кобылинский также упоминает об инциденте, относя его к 11 апреля, и называет это заседание “судбищем” над Заславским. С речью против Заславского выступил представитель Омска Дегтерев, обвиняя его в том, что он искусственно нервнрует отряд, создавая ложные слухи, что царской семье угрожает опасность, что под губернаторский дом ведутся подкопы и пр. Заславского ошкаркали, и он удалился.

Вероятно, тогда произошло и ночное совещание уральцев, о котором рассказывает Авдеев. “На этом совещании Заславский предложил организовать по дороге в Тюмень близ Ивелова засаду вооруженной группы, которая на всякий случай могла бы служить подкреплением. Некоторые предлагали еще, чтобы вблизи Яков-леса и бывшего Царя всегда были уральцы, чтобы вовремя принять решительные меры. Также решено было при увозе из Тобольска бывшего Царя вместе с Яковлевым направить Заславского, Авдеева и отряд Бусяцкого, а Хохрякова оставить в Тобольске до вывоза остальной части семьи. До сих пор Яковлев действовал как бы в полной солидарности с уральцами, но на другой день (12 го) поздно вечером вызвал к себе в гостиницу Авдеева и попросил его рассказать, что за совещание было у уральцев и какие вынесены решения. Авдеев ответил, что “никакого совещания не было, была частная беседа, и решения быть не могло”. “Тогда Яковлев сообщил мне, что уже отдал приказ об аресте Заславского и его друзей. Я сказал, что он напрасно это делает, так как его информировали неправильно... Отпуская меня, Яковлев заявил, что он мне вполне доверяет и прочее... Обо всем я постарался скорее рассказать Хохрякову”. “Почему не был арестован Заславский этой ночью – не знаю, но на утро, в 4 часа, когда уже подавались подводы для снаряжавшегося поезда, Яковлев дал мне распоряжение, как только я встречу Заславского, немедленно его арестовать и препроводить к нему, также должен этот приказ передать поставленным отрядам по дороге и на станциях. Этого распоряжения, – добавляет Авдеев, – я не передал никому и, кроме того, предупредил через Хохрякова Заславского”.

Рано утром к подъезду губернаторского дома были поданы сибирские “кошевы” – плетеные тележки на длинных дрожках<sup>314</sup>, на которых и разместились отъезжающие и их сопровождавшие. Несколько подвод были с вещами. Полное разноречие получается при определении количественного состава отряда, который сопровождал комиссара на обратном пути. Следствие глухо говорит, что Яковлев оставил большую часть своего отряда в Тобольске. “Впереди и сзади было несколько подвод с солдатами нашими и пехотой из яковлевского отряда, причем на этих подводах было два пулемета и конская охрана из отряда Яковлева” (Кобылинский). “Помимо красногвардейской пехоты, разместившейся с тремя пулеметами на экипажах, впереди и сзади ехала кавалерия под командой тов. Зенцова. Кроме того, впереди шла разведка из 6 человек красногвардейцев” (Авдеев). Сам Авдеев ехал верхом возле Яковлева “на случай передачи распоряжений по цепи” – по отметке Николая П. Заведовал всей охраной до Тюмени прибывший вместе с Яковлевым Гузанов. Значительно скромнее всю эту охрану определяет царский дневник: 8 стрелков и конный конвой в 10 человек.

Трудно отделаться от определенного впечатления, что главной опасностью в глазах комиссара являлся Тобольск – и на первом месте стояли не козни уральцев, а *беспокойство*,

---

314 11 троек и 5 парных, по воспоминаниям Авдеева.

*что отряд особого назначения может не выпустить Царя.*

## 2. Рождение легенды

Предположения Кобылинского об увозе Николая II в Москву и всеобщее убеждение, что вопрос идет о ратификации брестского мира, послужили основой для легенды, которую следствие пыталось обосновать и последующими фактами. Комиссар Яковлев – немецкий агент (немецкий шпион, по выражению Боткиной-Мельник). Он был послан центральной властью по настоянию немецкого представительства, и миссия его реализовала план, намеченный новыми властелинами в России в отношении Царя. Этого нельзя не видеть, если “вдумчиво” отнестись к тому, что делал Яковлев в Тобольске. Немецкий план в корне расходился с предположениями “уральцев”, желавших захватить Николая II в свои руки. Поэтому еще задолго до прибытия чрезвычайного комиссара из центра та же немецкая рука предварительно направила из Омска силы, которые могли бы противодействовать начинаниям екатеринбуржцев. Для следствия было очевидно, что “действия Дуцмана, Демидова, Дегтерева, Хохрякова и Яковлева связаны одной и той же цепью”. Соколов называет первого большевистского представителя Тобольского совета, ставленника екатеринбуржцев, матроса Хохрякова соподвижником Яковлева. “Нет сомнений” для него, что и Соловьев “одним общим действием... был связан с Демьяновым”. Тюмень и Омск – два звена одной и той же цепочки; немецкая агентура препятствовала “русским людям” освободить Царя в период брестских переговоров: освобожденный Царь, как символ народной воли и единства, мог помешать “похабному” миру. В Тобольске Николай II был как бы под наблюдением немцев. После Бреста Царь стал уже опасен немцам именно своим пребыванием в Сибири. И “они сами увезли его, когда опасность их интересам стала реальной. Если Государь и после отречения от престола призывал к борьбе с врагом, мог ли враг оставить его и его сына там, где для него снова возникали угрозы восстановления фронта, возникновения былой русской мощи в лице русской армии, на знамени которой всегда были начертаны слова “Великая Россия”, пока она была императорской! Цель увоза несомненно носила политический характер, но она была не положительной, а отрицательной: не допустить, чтобы Государь остался в обстановке, опасной для немцев. Немцы увозили его ближе к расположению своих вооруженных сил на территории России, в Екатеринбург”.

В подтверждение Соколов ссылается на слова кн. Долгорукова, расставшегося с Царем только в Екатеринбурге у дверей Ипатьевского дома – Долгоруков в тюрьме говорил, что Яковлев вез Царя в Ригу.

По мнению следователя, сам Государь думал иначе – “он полагал, что им и его сыном хотят воспользоваться в положительных целях”. В “данных следствия” Соколов не нашел подтверждения для такого взгляда, и он вынужден интерпретировать интимные мысли Николая II. В каких же “положительных целях” хотели им воспользоваться? “Дело было, конечно, не в Брестском договоре, который стал уже фактом... Царь думал, что немцы, желая создать нужный им порядок в России, чтобы, пользуясь ее ресурсами, продолжать борьбу с союзниками, хотят через него дать возможность его сыну воспринять власть и путем измены перед союзниками заключить с ними соглашение”.

Соколовская интерпретация может найти себе подтверждение в рассказах доктора Деревенко, который передавал королеве сербской Ел. Петр., попавшей волею судеб со своим мужем Иоанном Конст. в Екатеринбург, что Николай II думал, что его увозят в Москву, чтобы провозгласить императором, и что Царь решительно оказывался принять корону из немецких рук<sup>315</sup>.

---

<sup>315</sup> Рассказ Деревенко, со слов Ел. Петр., зафиксирован ее управделом Смирновым, приехавшим при содействии сербского посланника также в Екатеринбург.

Интерпретация мыслей Николая II у помощника Соколова Булыгина становится уже интерпретацией как бы данных, добытых следствием: “немцы перевозили Николая II в Ригу, чтобы восстановить монархию, т.к. к апрелю месяцу события внешней и внутренней жизни Германии изменили прежнюю тактику”. Что может быть принято из этой внешне логической концепции, мы увидим из дальнейшего рассмотрения фактов.

### 3. “Чрезвычайный комиссар”

Кто такой “Василий Васильевич Яковлев” – тот таинственный посланец из центра, который, “скрываясь под маской большевика, действовал по директивам иной, не большевистской силы”? Для следствия фигура эта осталась неразгаданной. Как не разгадана она была и всей последующей исторической литературой. На свидетелей Яковлев, ходивший в матросской блузе, тулупе и папахе, производил впечатление человека интеллигентного. Ссылаясь на показание Кобылинского, которому Яковлев говорил о своем прошлом, Соколов сообщает, что “некогда, будучи в составе нашего флота”, Яковлев был присужден к смертной казни, но помилован Царем и бежал сначала в Америку, а затем жил в Швейцарии и в Германии. После переворота 17 г. он вернулся в Россию. Итак, в представлении тогда действовавших лиц Яковлев – бывший русский офицер. Следствие, плохо разбиравшееся в партийных большевистских делах и, быть может, не имевшее для этого в то время достаточных данных, в своих заключениях непонятным образом игнорировало показания Мунделя о том, что Хохряков называл Яковлева видным революционным деятелем на Урале. Еще более непростительно игнорирование Керенским, поддерживавшим версию, что Яковлев – бывший морской офицер, рассказа Авдеева (он был перепечатан в свое время в органе Керенского). Встретив уполномоченного центра и не зная, кто он, Авдеев спросил сопровождавшего Яковлева начальника вооруженного отряда Зенцова и через него был осведомлен, что Яковлев происходит из Симского округа (Южный Урал), из рабочих, но долго жил в эмиграции. Так и было в действительности. “Яковлев” – один из псевдонимов известного уральского большевика Константина Матвеевича Мячина, тесно связанного с местными боевыми партийными группами – он был как бы посредником между боевыми группами и центром. В годы между первой и второй революцией ездил за границу и имел близкие отношения с большевистскими “школами” на о. Капри и под Парижем, где отчасти подготовлялись “офицеры” командного состава будущего вооруженного восстания.

Большевистский историк отмечает специфичность этих революционно-боевых дружин, развернувшихся еще в 1906 – 1907 гг. в районе Златоуст – Уфа в Симском горном округе. То были своего рода военно-партийные братства, резко отличавшиеся в 18 г. по своему облику от красногвардейских отрядов или ленинских преторианцев. В дни, следовавшие за октябрьским переворотом, партийная база военно-революционных уральских дружин значительно расширялась, и оказалось даже, что на 3 м съезде боевой организации, происходившей в Уфе в середине февраля, едва ли не половина представителей принадлежала к течениям левозсеровского направления. Было до некоторой степени естественно, что центр при разрешении тобольского вопроса воспользовался наличностью имевшейся в Уфе группировки и направил с особой миссией Мячина, который мог опереться на вооруженную силу, более или менее организованную и более или менее идейную. Яковлева сопровождал не отряд из 150 “красноармейцев”, как утверждало следствие, а “отряд по охране народного достояния”, как именовалась вооруженная часть под начальством Зенцова, состоявшая преимущественно из уфимских “боевиков”. Но естественное становится несуразным, если допустить, что уполномоченный центра должен был действовать по директивам немцев. На упомянутом съезде “боевиков” Брестский мир вызвал резко отрицательное отношение, которое соответствовало позиции попутчиков большевиков – партии левых соц.-революционеров. Большевистские историки того времени свидетельствуют, что на рабочих собраниях Урала идея повстанческой революционной борьбы против Германии имела значительный успех (настроение такое было не только на

Урале, но и вообще в Сибири – так, второй всесибирский съезд советов, состоявшийся в Иркутске 10 февраля, заявил, что “Сибирь войны с Германией не прекращала”). Очевидно, для осуществления немецких планов можно было найти исполнителей более подходящих.

Если исторический хроникер оставит в стороне теоретически возможные толкования представших перед ним фактов, то он не пойдет по стопам следствия, ибо не найдет данных, которые подтверждали бы сугубую секретность тобольской миссии, возложенной на Яковлева. Во всяком случае, этой таинственности не было в отношении партийных кругов и в частности уральского областного комитета в Екатеринбурге. Местный партийный историограф, составивший свой рассказ о “последних днях последнего императора” главным образом на основании товарищеских рассказов, в двух изданиях своего очерка дал противоречивые концепции. В первом издании работы Быков утверждал, что в ответ на многократные предложения Екатеринбурга о вывозе Романовых из Тобольска центр наконец сообщил, что Царь с семьей будет перевезен на Урал, для чего В.Ц.И.К. командирует своего уполномоченного Яковлева. Но несмотря на явную необходимость согласовать действия с уралсоветом, Яковлев в Екатеринбург не заехал, а через Челябинск и Омск проехал в Тобольск. Такое игнорирование Екатеринбурга могло быть объяснено партийными раздорами, так как “Уфимская республика” со своим собственным советом народных комиссаров, неохотно подчинявшаяся центральным директивам, сама склоннее была занять положение центра и пыталась конкурировать в этом отношении с Екатеринбургом. Во втором издании книги Быкова дается несколько иная версия. Предложение “уральцев” о необходимости принять срочные меры в отношении тобольских заключенных было поддержано специальной командировкой военного комиссара Голощекина – это было еще в марте. Президиум В.Ц.И.Ка согласился на перевод в Екатеринбург при условии личной ответственности Голощекина, давнишнего партийного деятеля<sup>316</sup>. Для организации перевозки царской семьи решено было назначить особого комиссара, о чем через Голощекина было сообщено Уралсовету. Голощекин и Яковлев действовали совместно. Голощекин встречается с Яковлевым в Уфе и договаривается подчинить ему все уральские отряды. Яковлев после этого едет со своим отрядом через Челябинск в Екатеринбург и объявляет по дороге руководителям отряда и некоторым партийным работникам о задачах экспедиции (воспоминания Зенцова). Ознакомившись по приезде в Екатеринбург с положением дела, Яковлев выезжает через Тюмень в Тобольск, где действует до времени в полном контакте с “уральцами”.

Куда формально Яковлев должен был отвезти царскую семью – на Урал вообще или специально в Екатеринбург, – определенно ответить пока затруднительно. Нет невероятного в том, что Яковлев действительно вез семью непосредственно в Екатеринбург. Противоречит этому лишь тот факт, что в Екатеринбурге в момент перевода Царя ничего не было

---

<sup>316</sup> Сведения об этом мартовском или, по другим данным, апрельском совещании в Москве идут из разных источников, правда, весьма неавторитетных. Так, Гутман (Ган) в своей книге “Россия и большевизм” из № 72 нелегальной газеты “Клич борьбы” (где издавалась эта газета, кем и когда, не говорится; никаких других данных о существовании такого подпольного органа мы не имеем; если бы где-либо он издавался, то во всяком случае не ранней весной 18 г., когда еще существовала открытая антисоветская печать). Итак, “Клич борьбы” передавал о совещании с делегатами екатеринбургского совета, на котором обсуждался доклад Дзержинского о водворении царской семьи в одной из центральных губерний, “вблизи столицы”, для того чтобы ВЧК имела возможность следить за всеми нитями, которые плетутся вокруг царской семьи. Пребывание в Сибири, в месте, удобном для организации контрреволюционных сил, облегчает бегство. Екатеринбургские делегаты доказывали, что “красный” Урал является надежным местом для заключения. Уральские рабочие сумеют беречь, как зеницу ока, бывшую царскую семью и сумеют ликвидировать всякие заговоры. Когда придет час – представят царя суду народа. Указывалось на совещании на опасность сохранения в живых претендентов на царскую корону и поднимался вопрос о ликвидации Царя, наследника и вел. кн. Михаила. Убийство всей семьи признавалось нецелесообразным. Победила точка зрения “уральцев”. Все это, может быть, лишь позднейшие отголоски того времени, когда в областной газете “Уральский Рабочий” в связи со средоточием “Романовых” в Екатеринбурге стали появляться статьи на тему о том, что “Романов и его родственники не избегнут суда народа, когда пробьет час”.



подготовлено – дом Ипатьева, которому суждено было сделаться Голгофой царской семьи, был освобожден владельцами лишь накануне приезда. Отсюда скорее можно заключить, что формально Яковлев должен был перевезти царскую семью вообще на Урал, куда советская политика готовила в то время эвакуацию центральной власти, – конкретно место переселения надлежало выяснить в процессе выполнения основного задания, причем, вероятно, на первом месте ставился Екатеринбург, как областной центр. Авдеев говорит, что из разговора по прямому проводу с Екатеринбургом в Тобольске стало известно, что Яковлев доставит царскую семью в Екатеринбург, что и подтвердил ему сам Яковлев.

#### 4. Яковлев и Соловьев

Припомним, что в ночном заседании “уральцев” накануне отъезда Яковлева из Тобольска обсуждалось предложение Заславского об организации “на всякий случай” по дороге в Тюмень близ села Ивелово вооруженной засады. В изложении Авдеева никаких осложнений на пути в Тюмень не произошло. Быков, может быть, не точно осведомленный, рассказывает об инциденте при первой же ночевке в с. Бочалани близ Ивелова. Сюда прибыли довольно поздно. В Ивелове несколько раньше появился уже Заславский с небольшим отрядом и пулеметом. За отрядом Яковлева следовали “уральцы” под командой Бусяцкого. Они тоже остановились в Бочалани (как мог пеший отряд догнать яковлевский поезд, покрывший дистанцию 130 верст до ночевки с рекордной скоростью!). У “уральцев” окончательно установилось мнение о ненадежности Яковлева. “В первый момент даже мелькала мысль о необходимости отбить у него царскую семью. Подозревая об этом, Яковлев, не дожидаясь нападения со стороны “уральцев”, вызвал к себе помощника Бусяцкого и арестовал его. Однако столкновения не произошло, так как Яковлев освободил арестованного, Заславский же отказался от нападения”.

Можно установить лишь то, что московский комиссар вторую половину пути был настороже. Царь записал: “Последний перегон сделали медленно и со всеми мерами военных предосторожностей. Прибыли в Тюмень в 9 1/2 при красивой луне с целым эскадром, окружавшим наши повозки при въезде в город”. Могли бояться эксцессов со стороны отряда Заславского, но могли бояться и попыток освобождения со стороны мифических заговорщиков, сконцентрировавшихся, по слухам, в Тюмени. “Эскадрон”, сопровождавший кортеж, принадлежал к той именно красноармейской части, которую организовал корнет Марков. “Эскадрон” состоял из 15 “уланов” под командой одного из помощников Маркова, Симоненко, и фактически сопровождал представителя тюменского совета Немцова и военного комиссара Пермькова, которые прибыли для встречи “путешественников” на последней перепряжке лошадей перед Тюменью. Соколов говорит, что марковский эскадрон сопровождал Царя “по выбору Яковлева” – так устанавливается якобы связь Яковлева с Соловьевым. “По выбору Яковлева” – это лишь догадка следователя, совершенно неправдоподобная. Связь между Яковлевым и Соловьевым, т.е. связь двух немецких эмиссаров, для следствия устанавливается просмотром дневника Соловьева. Под датой 12 апреля (нового стиля – говорит Соколов) Соловьев отмечает предстоящий увоз царской семьи из Тобольска: “никто не знал об этом в Тобольске. Но Соловьев знал об этом заранее, ровно за две недели”. Следователь не почел своим долгом привести эту выдержку из дневника, на которую он ссылается. Не произошла ли здесь простая путаница двух стилей – путаница, с которой мы встречаемся в современных эпохе документах очень часто и которая чрезвычайно подчас затрудняет хронологизацию фактов? – прав был Николай II, занесший по поводу перемены стиля в дневник 1 февраля: “недоразумений и путаницы не будет конца”. Не имея подлинника дневника, нет возможности сделать проверку. Надо думать, что Соловьев вел дневник скорее по старому стилю – это соответствовало не только его “патриархальному” миросозерцанию, но и сибирскому обиходу – здесь новый стиль вообще

стал входить в обычай только во вторую половину 18 года<sup>317</sup>. 12 апреля ст. ст. Соловьев мог бы знать о намерении Яковлева вывезти семью из Тобольска, но 12 апреля по н. ст., т.е. в конце марта, Соловьев мог легко высказывать предположения о вывозе, не связывая этот вывоз с приездом комиссара из центра, а лишь с намерениями “уральцев”. Странен был бы вместе с тем тот тайный агент, который при постоянном риске быть арестованным стал бы рассказывать на страницах интимного дневника о предположениях своих патронов. Все дело таким образом в контексте дневника, проверить который мы не можем.

Следствие в лице Булыгина пошло, конечно, еще дальше в установлении совместной деятельности Яковлева и Соловьева. В дни приезда Яковлева Соловьев был вновь арестован, а за ним последовал арест Маркова. Соловьев устроил себе и Маркову фиктивный арест – не останавливается Булыгин перед слишком уже категорическим и смелым заключением. Это “alibi” нужно было для того, чтобы не потерять впоследствии доверия в монархических кругах. Корнет Марков в своих воспоминаниях безыскусственно и просто, а поэтому правдоподобно, рассказывает, как произошел в первых числах апреля арест Соловьева (по доносу, имевшему отношение к коммерческим делам зятя Распутина), рикошетом затронувший и его, и как они были освобождены накануне Пасхи. При свидании с женой (по Булыгину, фиктивный арест распространился и на жену) в тюремной конторе 12 апреля Соловьев узнал о тобольских известиях и вместе с тем получил записку от Седова, в которой тот сообщал, что он едет в Тобольск. Каких толкований не держаться, одно несомненно, что Соловьев был арестован и что Седов 13-го поехал в Тобольск. По дороге он встретил кортеж; желание узнать о других членах семьи заставило его проехать в Тобольск. И приходится по-другому комментировать эту поездку, нежели это делали “свидетели”, на показания которых опиралось следствие. Соколов пишет: “Он (Соловьев) выпустил офицера № (Седова) в Тобольск только на один день. Знаменательно: это был день, когда Яковлев увозил Государя”. У Дитерихса цитируется показание самого Седова, в котором он говорит, что пробыл в Тобольске три дня и вернулся в Тюмень<sup>318</sup>.

## 5. По дороге в Екатеринбург

В Тюмени тобольские узники были доставлены прямо на вокзал и размещены в стоявшем наготове поезде. И здесь, как и по дороге, внутреннюю охрану несли тобольские стрелки, а внешнюю – люди из яковлевского отряда. Когда была закончена операция размещения, Яковлев отправился на телеграф и снова говорил по прямому проводу с Москвой. Говорил он в присутствии представителя тюменского совета Немцова, т.е. это действие комиссара центра не носило секретного характера. Авдееву, поместившемуся в купе вместе с Яковлевым, переговоры эти показались подозрительными. Он пытался выйти из вагона на вокзал, но часовые его не пустили. “Несколько минут, – пишет Авдеев, – я

---

<sup>317</sup> Дневник жены Соловьева, жившей в Петербурге в момент введения реформы, велся по новому стилю.

<sup>318</sup> Для характеристики литературного произведения капитана гвардии Булыгина, принимавшего участие в расследовании следователя Соколова и не отдававшего себе, очевидно, отчета в том, что беллетристические приемы творчества несовместимы с историко-юридическим расследованием, чрезвычайно показательны заключительные строки в эпопее об аресте Соловьева. Булыгин пишет: “Просидев после провоза узников через Тюмень для приличия еще несколько дней в тюрьме, Соловьев с женой и корнетом Марковым вышли на свободу и отправились домой... Дома на досуге супруги Соловьевы и Марков занялись устройством сеанса ясновидения, и М. Гр., впав в транс, отвечала на вопросы мужа, куда увезли тобольских узников, рассказала о доме, вокруг которого строится высокий забор... Трудно верить в способность ясновидения М. Гр., но есть много оснований предполагать осведомленность Соловьева о планах екатеринбургских палачей”. Откуда Булыгин заимствовал свои сведения о сеансе ясновидения в домашней интимной обстановке? Очевидно, не из неопубликованных отрывков дневника супружеской четы Соловьевых. Вероятно, все из того же смутного источника, каким являются показания пор. Логинова, наблюдавшего подчас за Соловьевыми, большевистскими агентами, и выпрашивавшего у них во Владивостоке.

просидел в вагоне, обдумывая, что предпринять, и услышал шум на площадке – часовые с кем-то перебранивались. Я поспешил выйти на площадку вагона и увидел нашего рабочего с Злоказовского завода, красногвардейца Ивана Логинова. Он пробивался ко мне в вагон, а часовые не пускали... Подошел начальник караула. Воспользовавшись моментом, Логинов подошел к площадке вагона, и я ему сообщил, чтобы он после отхода поезда сообщил в Уральский совет о времени отхода и направлении нашего поезда. Услышав мое сообщение Логинову, начальник караула начал требовать, чтобы я вошел в вагон, а Логинова просил удалиться от вагона. Через несколько минут вошел Яковлев, и поезд тронулся, только не по направлению к Екатеринбург, а, как я и предполагал, к Омску. Я спрашиваю Яковлева: “Почему поезд пошел не на Екатеринбург, или ВЦИК дал новую директиву?” Мой вопрос остался без ответа. Но вслед за этим Яковлев пригласил меня в купе, где помещался начальник караула, и, закрыв дверь, заявил примерно следующее: “Достоверно известно, что уральцы готовили взрыв поезда, поэтому я вынужден ехать в другую сторону. Вы же должны рассказать мне все, что знаете о подготовке этого взрыва, так как причастность ваша к этому делу несомненна”. Я стал доказывать ему, что это ложь, никакого смысла взрывать поезд нет, раз Царь будет привезен в Екатеринбург, столицу Урала. Тогда Яковлев дает мне полчаса на размышление и заявляет: если я не сознаюсь во всем, то ему придется прибегнуть к крайней мере, использовав данные ему полномочия от ВЦИКа по отношению к людям, которые препятствуют выполнению возложенных на него задач”.

По изложению Авдеева Яковлев решил направить поезд в Омск непосредственно после переговоров с Кремлем. О чем шли переговоры, скажет позднее сам Яковлев в заседании Екатеринбургского совета. Быков в первом варианте своих очерков писал, что центр согласился на перевоз в Омск, во втором – расширенном, Быков утверждает, что этот маршрут был выбран “вопреки указаниям Москвы”. Столь же большое разноречие у Быкова в определении реального пути, по которому двинулся яковлевский поезд – здесь противоречие не только между двумя изданиями, отделенными пятью годами, но и в самом тексте издания. В очерке, напечатанном в сборнике “Рабочая революция на Урале”, яковлевский поезд, несмотря на соглашение с центром относительно Омска, первоначально двигается по линии Тюмень – Екатеринбург, о чем уралсовет получил соответствующую телеграмму; затем поворачивает назад и, не останавливаясь на ст. Тюмень, полным ходом проходит по направлению в Омск. Эту версию подтверждает в воспоминаниях корнет Марков. Он рассказывает, что в своем тюменском штабе узнал, что получены сведения о готовящемся нападении на ст. Поклевской, между Тюменью и Екатеринбургом, на поезд, который увозит Царя, – вооруженные рабочие намерены силою захватить его. Эти сведения передавались по линии Яковлеву, который уже в 10 час выехал из Тюмени по направлению Екатеринбурга. По второй версии Быкова, поезд из Тюмени ожидался в Екатеринбурге рано утром 15-го (ст. ст.) – специальный комиссар должен был регулярно сообщать президиуму “о движении Романовых от Тобольска до Тюмени и своевременно уведомить об отходе поезда в Екатеринбург”. Но “условленной на 6 час утра телеграммы об отправке поезда не было получено. На запрос президиума обл. совета также никакого ответа не поступало, и лишь в 10 час утра пришло сообщение, что поезд рано утром ушел из Тюмени, при потушенных огнях на всех стрелках, по направлению на Омск. Телеграмму об этом дал Бусяцкий, приехавший со своим отрядом в Тюмень уже после отъезда оттуда Яковлева”.

Мы лишены возможности конкретно выяснить, насколько реальной была угроза, нависшая над увозимым из Тобольска бывшим Императором со стороны крайних элементов Екатеринбургского совета. Но что такая угроза существовала, представляется несомненным. Быков утверждает, что на происходившей в это время в Екатеринбурге 4 й большевистской партийной уральской областной конференции, которая обсуждала вопрос о перевозе царской семьи, в частном совещании большинство делегатов с мест высказывались за необходимость “скорейшего расстрела Романовых, чтобы в будущем предупредить все попытки к освобождению бывшего Царя и восстановления в России монархии”. Екатеринбургский комиссар здравоохранения д-р Сакович, примыкавший к левым с. р., предшественнику

Соколова, следователю Сергееву, со своей стороны рассказывал о секретном совещании президиума совета, где обсуждался вопрос об устройстве крушения поезда, в котором Яковлев вез Царя (это показание воспроизводит Дитерихс).

Люди Екатеринбурга, узнав, что поезд Яковлева двинулся в направлении на Омск, забили тревогу. “Было создано экстренное собрание президиума совета с участием представителей областных комитетов коммунистов и левых эсеров, – пишет Быков. – Совещание решило объявить Яковлева изменником революции и дать о случившемся телеграмму “всем, всем”<sup>319</sup>. Одновременно областной совет снесся по прямому проводу с Омском, где председателем совета был в то время старый коммунист Косарев, и потребовал от него немедленных и решительных мер для противодействия проходу поезда в Сибирь или на Челябинск”. В первом издании своего очерка Быков говорит, что в результате переговоров с “надежными партийными товарищами в Омске” решено было “в случае надобности” даже взорвать поезд. То же говорит и Авдеев.

По словам Авдеева, он протестовал против действия Яковлева. “На одной из остановок Яковлеву сообщили циркулярную телеграмму Екатеринбургского совета и вместе с тем известие, что на ст. Куломзина, где поезд должен был повернуть на Челябинск, выслан вооруженный отряд для задержания поезда”. “С этой телеграммой Яковлев, в сильно возбужденном состоянии, вбежал ко мне, – рассказывает Авдеев, – и стал кричать, что все там с ума сошли”. “Не доезжая до Куломзина, на ст. Люблинской, Яковлев остановился и оттуда на паровозе с одним вагоном в сопровождении нескольких человек из своего отряда выехал в ночь на 16 апреля в Омск... Здесь он в присутствии представителя Запсибсовета вызвал по прямому проводу Свердлова и изложил причины, побудившие его изменить маршрут”. Из Москвы было приказано “везти Романовых в Екатеринбург, где и сдать их областному совету Урала”. Когда Яковлев выехал в Омск, “было только два часа утра и еще темно, но все арестованные не спали. Николай несколько раз пытался со мной заговорить, но я всячески уклонялся от разговора с ним”. Дневник “Николая” по-другому изображает обстановку. 16-го он записал: “Утром заметили, что едем обратно. Оказалось, что Омск не захотел пропустить”<sup>320</sup>. Зато нам было свободно, даже гуляли два раза: в первый раз вдоль поезда, а второй – довольно далеко в поле, вместе с самим Яковлевым. Все находились в бодром настроении”. Запись Николая II противоречит и впечатлениям большевиканствующего “стрелка” Матвеева, находившегося среди сопроводительной команды.

По впечатлениям Матвеева, арестованные пребывали в крайне тревожном настроении (неопубликованными воспоминаниями Матвеева, между прочим, пользовался Быков).

Обратно Тюмень проехали ночью. “Здесь поезд поджидал Бусяцкий, – сообщает Быков. – Как только выяснилось, что поезд прошел, не останавливаясь, Бусяцкий заказал новый состав и двинулся вслед за Яковлевым. В Камышловле утром Бусяцкий встретил командира своего полка Брайницкого, который с батальоном был послан навстречу Яковлеву, но поезда не видал. Вновь возникли сомнения, не свернул ли Яковлев со своим поездом на ветку из Богдановичей на Шадринск. Из разговоров по проводу выяснилось, что поезд идет в Екатеринбург и Богдановичи уже прошел”.

17-го в 8 ч 40 мин, как отмечает дневник Царя, невольные путешественники прибыли в Екатеринбург. Быков пишет: “Когда поезд остановился на ст. Екатеринбург, выяснилось, что

---

<sup>319</sup> Может быть, к этому заседанию и должна быть отнесена информация, сообщенная Саковичем.

<sup>320</sup> Действительная причина изменения маршрута, по словам Быкова, скрывалась, и возвращение было объяснено порчей ж. д. моста. Но по “отрывочным разговорам и недомолвкам Романовы, видимо, поняли, что их везут уже не в Москву”. Сам Царь накануне писал: “По названию станций догадались, что едем по направлению на Омск. Начали догадываться: куда нас повезут после Омска? На Москву или на Владивосток? (Очевидно, уверенность, что везут для подписания “мира” была не так велика). Комиссар, конечно, ничего не говорил. Мария часто заходила к стрелкам; их отделение было в конце вагона”.

к его приходу собралась громадная толпа, требовавшая показать ей Романовых. По соглашению с представителями областного совета было решено поезд отвезти обратно на ст. Екатеринбург II, лежащую с другой стороны города”. Что в действительности происходило в Екатеринбурге, мы точно не знаем. Дневник Царя отмечает: “Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые, и поезд перешел к другой – тов. станции... После полуторачасовой стоянки вышли из поезда. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с которым мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом – Ипатьева...” На ст. Екатеринбург-Товарная, оцепленной кордоном красногвардейцев, Яковлева встретили руководители уральского совета Гнилорыбов, Голощекин и Дидиковский. По-видимому, всем распорядился Голощекин, так по крайней мере следователю показал шофер Самохвалов, стоявший во главе железнодорожного отряда красногвардейцев: “Когда мы подъехали к дому, Голощекин сказал Государю: “Гражданин Романов, вы можете войти”. Государь прошел в дом. За ним прошла семья и прислуга. Голощекин задержал только кн. Долгорукова, заявив ему, что он будет отправлен в тюрьму. Около дома стал собираться народ, – рассказывал Самохвалов. – Я помню, Голощекин кричал тогда: “Чрезвычайка, чего вы смотрите”, народ был разогнан”. Вечером того же дня происходило заседание областного Совета, на которое явился Яковлев “с некоторыми из своих товарищей и гвардейцами тобольской охраны”. В изложении Авдеева был заслушан доклад Яковлева и его (Авдеева) содоклад – по словам Быкова, был заслушан доклад Заславского. В своем докладе Яковлев старался “всю вину свалить на партизанские действия уральцев, ссылаясь, что он был информирован Бусяцким о якобы подготовлявшемся покушении со стороны уральцев. Говоря, что у него не было другого намерения, кроме как сохранить б. Царя по директивам ВЦИК”. По словам Быкова, Яковлев в ответ на предъявленные ему обвинения указал, что он “получил в Москве распоряжение доставить Романовых в Екатеринбург, однако, имея словесное указание Я. М. Свердлова – охранять Романовых всеми средствами – и учитывая настроение в Тобольске Заславского и Авдеева, подготовлявших, по его убеждению, покушение на Романовых, он решил донести ВЦИК о своих опасениях, связанных с перевозом Романовых на Урал. Разговоры с ВЦИК велись по прямому проводу, и Яковлев представил Уралсовету ленты аппарата. Из этих записей видно было, что Яковлев, не доверяя Уралсовету и стремясь сохранить особу Николая Романова, просил у ВЦИК разрешения увезти бывшего Царя к себе на родину, в Уфимскую губернию, и до поры до времени скрыть в известном ему месте – “в горах”. ВЦИК это предложение, конечно, отверг. Тогда Яковлев, по его словам, не решаясь ехать в Екатеринбург прямо из Тюмени, так как боялся нападения на поезд со стороны Заславского, повез Романовых окружным путем”.

“Я в своем докладе, – поясняет Авдеев, – рассказал все, что Яковлев хотел затуманить”, а именно – отрицательное и недоверчивое отношение Яковлева за все время к Хохрякову и уральским рабочим и почти полное доверие к полк. Кобылинскому и к старой охране бывшего Царя, о попытке Яковлева заставить его, Авдеева, дать “письменное подтверждение о якобы готовящемся нападении со стороны уральцев на поезд”. По словам Быкова, Заславский и Авдеев требовали немедленно произвести обыск в поезде, обезоружить гвардейцев и арестовать Яковлева. Совет не пошел по пути таких радикальных мер. “После коротких прений, в которых единодушно указывалось на недопустимость поведения Яковлева, была принята резолюция, которая гласила, что миссия Яковлева считается оконченной; о всех же его действиях, как представителя правительства, сообщить в президиум ВЦИК. Яковлев со своими людьми был отпущен в Москву, причем за подписью Белобородова и его заместителя Дидковского ему была выдана официальная расписка в том, что Уралсовет получил доставленных из Тобольска Царя, Царицу и вел. кн. Марию для содержания их под стражей в гор. Екатеринбурге”. Восемь гвардейцев во главе с прап. Матвеевым были разоружены (может быть, арестованы) и потом отправлены обратно в Тобольск.

## 6. Судьба Яковлева

Из Москвы, по свидетельству по крайней мере Кобылинского, Яковлев прислал своему телеграфисту в Тобольск извещение “приблизительно следующего содержания” (у Соколова передается уже как точный текст телеграммы): “Собирайте отряд. Уезжайте. Полномочия я сдал. За последствия не отвечаю”. Конец телеграммы более чем сомнителен, ибо мы знаем, что Яковлев-Мячин остался в Москве доверенным лицом советской власти и вскоре в мае был назначен командующим 2 й армии, действовавшей на фронте против чехословаков и русских добровольцев в районе Волги и Урала (он был назначен командующим армией, а не политическим комиссаром, как сказано в тексте следствия). Его штабом была Самара. Вторая армия состояла как раз из тех революционно-боевых дружин, с которыми в недавнем прошлом был так тесно связан бывший “чрезвычайный комиссар” Яковлев. Эта армия была пропитана “анархическими” настроениями, так как вольные дружины противопоставляли себя зарождавшейся “красной армии” с принудительным набором и формальной дисциплиной. На такой почве разыгрывался внутренний конфликт, который привел к устранению Яковлева от командования. Его дальнейшая личная судьба с этого момента становится неясной. В книге Соколова сказано: “осенью – зимой 1918 г. он (Яковлев) обратился к чешскому генералу Шенику и просил принять его в ряды белых войск... Ему ответили согласием, и он перешел к ним. В дальнейшем с ним поступили неразумно и неосторожно. Он тут же был арестован и отправлен в Омск в распоряжение военных властей. Не дали надежного караула, и он вместо ген. квартирмейстера штаба верховного главнокомандующего по ошибке, якобы конвоира, попал к некоему полковнику Зайчеку. Здесь он и пропал. У Зайчека не оказалось абсолютно никаких документов на Яковлева”<sup>321</sup>. Соколов сделал дополнительное объяснение с несколько расплывчатыми намеками: “Зайчек возглавлял в Омске контрразведку в Ген. штабе; он – офицер австрийской армии, плохо говоривший по-русски – пришел в Сибирь в рядах чешских войск. Все ли освободители Сибири шли сюда с жертвенной любовью к России и с ненавистью к Германии и большевикам?..”

Оставим намеки Соколова в стороне, дабы избежать уклонения в область необоснованных фактами предположений. Самый факт перехода Яковлева в антибольшевистский лагерь нельзя считать твердо установленным. В советской военно-исторической литературе первого десятилетия об измене командующего 2 й армией ничего не говорится – только у Подшивалова вскользь можно найти об этом упоминание. Гусев заявляет, что ему неизвестно ни одного случая измены и перехода на сторону “белогвардейцев” со стороны старых большевиков. Перешедшие на волжско-уральском фронте на сторону “белых” полк. Махин и Харченко вышли из другой среды. Весьма характерно, что в первом издании Быков ничего не говорит о переходе Яковлева, но говорит об этом в позднейшем втором издании, как говорит и Авдеев в напечатанных воспоминаниях – и совершенно очевидно под влиянием литературы противоположного политического лагеря. Последнее подтверждает ссылка на книгу английского журналиста Вилтона, косвенно причастного к следствию Соколова, вернее, вращавшегося в кругах, которые занимались расследованием убийства Николая II и его семьи и, быть может, оказавшего даже влияние на общественно-политическую сторону сибирского расследования. По утверждению Вилтона, Яковлев получил назначение в одну из армий на Южном фронте. Если бы это было так, то не могли быть тщетными все попытки Соколова отыскать Яковлева в Сибири через военного министра Степанова<sup>322</sup>. Также неопределенна оказалась и ссылка на уфимские

---

<sup>321</sup> Сведения о переходе Яковлева были получены следствием от ген. Дитерихса.

<sup>322</sup> Английский журналист в Сибири примкнул полностью к плеяде тех, кто целиком находился во власти концепции о немецко-еврейской интриге. Применительно к этой почти навязчивой идее и устанавливается факт, причем с легкостью, свойственной плохой газетной публицистике. Так для Вилтона будет “установлено”,

газеты, где будто бы появилось покаянное письмо Яковлева. Были еще сведения, что Яковлев остался в Советской России, ушел в частную жизнь и занимался огородничеством на Урале.

Не немецкий агент во всяком случае переходил в войска, боровшиеся в Сибири с большевиками. Этот своеобразный агент возглавлял на волжско-уральском фронте большевистские части, склонные продолжать революционную борьбу с немцами после “похабного мира”, и недаром пресловутый полк. Муравьев, предпринявший в лево-эсеровской тоге авантюрную попытку на Волге повернуть советский фронт от чехов против Германии, назначил у себя одним из политических комиссаров ближайшего помощника Яковлева по тобольской экспедиции Гузакова. Если Яковлев действительно перешел на сторону антибольшевистскую, то психологическая сторона этого поступка лежит в иной плоскости – той самой, которую отметил еще Дитерихс: “Совесть его, как старого честного социалиста, не могла примириться с ложью – вероятно, кровавая расправа с царской семьей должна была произвести на него сильное и отвратное впечатление”.

\* \* \*

Подождем делать окончательные выводы, пока не рассмотрим вопроса во всей его совокупности. Мы видим, с какой осторожностью и с какими оговорками приходится подходить к категорическому утверждению, что Яковлев поехал в Тобольск с инструкцией, которой люди Екатеринбургa не должны были знать, что его миссия заключалась в вывозе царской семьи далеко от Урала, не останавливаясь в Екатеринбургe. Так приблизительно Керенский подводит итоги сибирского следствия. Трудно свести концы с концами в той мешанине, которая получается, если принять во внимание, что Тобольск, где по-прежнему пребывала интересовавшая немцев царская семья и в частности Наследник, оставался в руках “сподвижника Яковлева” и в то же время ставленника уральцев, матроса Хохрякова. Этот “немецкий агент” после отъезда Яковлева и задержки Царя в Екатеринбургe получил специальные полномочия из ЦИК и Уралсовета и имел в своем распоряжении особый отряд латышей-красногвардейцев, заменивший отряд Кобылинского и подчиненный уральскому областному военному комиссару Голощекину. Его конкурентом по власти в Тобольске был комиссар Родионов. Выяснить роль этого неизвестно откуда появившегося “комиссара” следствие оказалось бессильным. Впрочем, ген. Дитерихс точно знал, что Родионов, бывший жандармский офицер, находившийся еще до войны на службе у германского ген. штаба, был одним из руководителей (вместе с переодетым немецким офицером) убийства ген. Духонина в Ставке. Подобный метод расследования может завести лишь в непролазные дебри ничем необоснованных догадок. Вернее всего, этот “таинственный незнакомец” представлял еще какую-то неопределенную комиссию по эвакуации “Романовых”. Очевидно, это был тот следователь Рев. трибунала в Петербурге, который вел дело Пуришкевича и о котором рассказывал Винберг в своих воспоминаниях “В плену у обезьян”. Свидетели, прошедшие перед следствием, показали, что “немецкие агенты” – и Хохряков, и Тарасов (Родионов) – отнюдь не проявили в отношении членов семьи джентльменства Яковлева. Некоторую ясность в путаницу следствия может ввести судьба “матроса Хохрякова”. Соколов о нем говорит так: выполнив свою “миссию” по увозу Наследника из Тобольска (все еще в интересах немцев), Хохряков не вернулся. На деле Хохряков в борьбе с наступавшими из Омска чехословаками погиб на подступах Тобольска, будучи начальником тюменской флотилии.

“Маленький” Марков в воспоминаниях упоминает, что по сводке Екатеринбургского военного комиссариата, пересланной в тюменский штаб, Царь был задержан по постановлению екатеринбургского совета. Следствие на это как бы отвечает: без разрешения

---

что Соловьев в Тюмени работал с другими немецкими агентами, которых объединял некий фон Фишер, распорядившийся среди тюменских большевиков, “как хотел”.

Москвы Екатеринбург не посмел бы задержать Царя. Аргумент сам по себе не очень убедительный, ибо в этот первоначальный период советской власти, как не раз уже приходилось указывать, областные власти держали себя независимо по отношению к центру (“каждая провинция превратилась в государство” – определял административное положение на местах весной 18 г. в своем донесении английский консул в Петербурге (“Белая книга”); своевольничал не только совет народных комиссаров петроградской “трудовой коммуны”, но и совет народных комиссаров уральской “республики”.

Сибирское следствие делало определенный вывод – “Кремль” вел двойную игру: посылая по требованию немцев Яковлева с миссией “особой важности”, имевшей задачей вывезти Царя из Тобольска и переместить его в сферу непосредственного влияния немцев, руководители ВЦИК одновременно готовили екатеринбургский совет к задержке поезда, в котором перевозили Царя. Будущие убийцы царской семьи исполняли лишь приказания председателя ВЦИК Свердлова – Царь был опасен для большевиков и в немецких руках. Тут каждый из принимавших то или иное участие в следствии вводит свой нюанс. Для Дитерихса это было вообще делом “изуверов-евреев советской власти” – последователей “религии зла”, “религии дьявола по духу”. Генерал-мистик настолько загипнотизирован своей *idée fixe*, что идейным главой большевиков и организатором системы советской власти делает не “дегенерата” Ленина, а Бронштейна-Троцкого. Но истинные вдохновители всех преступлений находятся в другом месте “мира” – там, очевидно, где заседают “сионские мудрецы”. План этого таинственного центра с точностью исполняется послушными агентами главарей... Фантастическая концепция ген. Дитерихса не так уж чужда самому следователю Соколову – только он не одержим в такой степени навязчивой идеей о роли “революционного Израиля”. Для Соколова центром всей интриги расследуемой им трагедии царской семьи все же являются немцы.

## Глава четвертая ЗАКУЛИСНЫЕ ДИРИЖЕРЫ

В то время рождалось большое количество легенд. Расцвеченные молвой, эти легенды попали в исторические повествования. Бесспорно, в основе многих из них была фактическая база. Но подчас мы и ныне еще далеко не всегда можем отличить вымысел от действительности, поэтому приходится с сугубой осторожностью относиться к тем слухам, которые ходили и которые с легкостью воспринимались современниками, так как они соответствовали их настроениям.

### 1. В преддверии германской ориентации

Одним из наиболее распространенных представлений после октябрьского переворота являлось убеждение, что грядущий мир будет уплатой по вексельному обязательству, выданному новой властью Германии (см. мою книгу “Золотой немецкий ключ к большевистской революции”). С другой стороны, дальнейшая противоестественная поддержка большевиков германскими шовинистами казалась абсурдной. Поэтому довольно логично на приеме у германских посланцев гр. Кайзерлинга и гр. Мирбаха, прибывших в декабре в Петербург с особыми миссиями, которые были связаны с начавшимися мирными переговорами, появились представители русских правых общественных группировок<sup>323</sup>. Кем была представлена эта делегация и какие конкретные цели она ставила себе, мы до сих пор не знаем. Но косвенно имеем указание на то, как делегация была встречена

---

<sup>323</sup> В воспоминаниях ген. Симанского, напечатанных в варшавской “За свободу”, есть указание на совещание в это время у московского Самарина по вопросу о восстановлении монархии при содействии немцев.



представителями немецкого командования и немецкой дипломатии.

К мирбаховской миссии принадлежал некий Ланцгоф, бывший прежде представителем Deutsche Bank в Петербурге и имевший в столичном обществе значительные связи. Он встретился на частной квартире с группой общественных деятелей, среди которых был Макаров, сопровождавший царскую семью в Тобольск. Ланцгоф пытался объяснить собравшимся неизбежность контакта германского правительства с советской властью: только она имеет силу в данный отрезок времени; правые, обратившиеся к Мирбаху, совершенно бессильны – вести с ними ответственные переговоры безвольно<sup>324</sup>. Смысл беседы был тот, что немцы пока будут поддерживать большевиков, через которых они только и могут добиться мира на Восточном фронте. Французский журналист Домерг, имевший широкие связи в петербургском обществе, в книге, названной *La Russie Rouge*, упоминает, что гр. Мирбах в разговоре с народным комиссаром Троцким (у него было особое свидание с ним) высказывал опасение, что Учр. Соб. не ратифицирует будущего мира, и что в ответ ему было заявлено, что Уч. Соб. не выражает теперь воли народа и в силу этого не будет создано. Сообщение Домерга отчасти подтверждает и сам Троцкий, который отмечает в книге, посвященной биографии Ленина, что немцы опасались, что большевики сговорятся с Учр. Соб., и что это может повлечь за собой попытку продолжить войну. Другими словами, со стороны немцев в это время была безоговорочная ставка на большевиков. И естественно, что Кайзерлинг в своем нашумевшем декабрьском интервью в газете “День” с большой откровенностью сказал о возможности оккупации Петербурга, если в столице возникнут беспорядки, – и не было сомнения, что здесь подразумевалось движение, направленное против советского правительства (см. “Золотой Ключ”). При таких условиях, как ни двойственна и ни противоречива была на практике немецкая политика в России, она не оставляла места для каких-нибудь реальных разговоров о монархической реставрации.

Между тем слухи о готовящейся реставрации были распространены в самых разнообразных кругах, проникали в антисоветскую демократическую печать и здесь сознательно усиленно муссировались, ибо это было методом пропаганды и воздействия на общественное мнение – надо было доказать, что большевизм ведет страну на путь неизбежной контрреволюции и что реакция идет вслед за немцами. Любопытно, что даже в большевистских концепциях монархическая реставрация становилась выходом из того критического положения, в которое попала новая власть. Ей самой казалось, что она находится почти в тупике, и подчас вожди в интимных беседах не скрывали своего разочарования и своего пессимизма на будущее. Социальная революция в России в их глазах превращалась в утопию. И мой современник, подневными записями которого я пользуюсь постоянно для характеристики настроений эпохи революции, занес в свою летопись не сплетни, не стоустую молву, а подлинные разговоры близких Ленину людей о целесообразности, в случае необходимости со стороны большевиков сдачи власти, восстановления в России монархии – “хуже прежней”, о необходимости сделать Германию плацдармом мировой социальной революции. Такая запись моим современником сделана в Москве 2 декабря, наряду с обывательской молвой о том, как новый командующий войсками Муралов говорил видному генералу: “Потерпите, более двух месяцев не продержимся”. А за

---

<sup>324</sup> Сведения об этой беседе дошли к нам из вторых рук: Демьянов воспроизвел в “Руле” записанные им ранее рассказы Макарова. Насколько точна эта запись? Самый факт беседы подтвержден французским журналистом Анэ, которые также воспроизвел на страницах своих воспоминаний содержание положений, который развивал Ланцгоф. И здесь получилось существенное разногласие. Макаров передавал, что он поделился с Анэ своими впечатлениями (отрицательными) о беседе с Ланцгофом. На другой день Анэ, переговорив со своим посланником, Нулансом, передал Макарову предложение информироваться у Ланцгофа о настроениях в Берлине, о возможности мира между Антантой и Германией и т.д. при условии сохранения за Францией Эльзас-Лотарингии. Для Макарова была составлена особая записка, в которой излагался план международной интервенции и раздела России на сферы влияния. В этом плане Германия участвовала наравне с другими державами. У Анэ план будущей международной интервенции приписывается инициативе Ланцгофа.

несколько дней перед тем в дневник занесены слова знаменитого теоретика анархизма Кропоткина, что он слышал, что “большевики собираются посадить на престол Алексея, а регентом Генриха Прусского”.

Насколько распространена была подобная концепция среди большевиков, показывает тот факт, что она встречается в изложениях многих мемуаристов. Напр., французский посол Нуланс, имевший сношения с Троцким в момент брестских переговоров, свидетельствует, что Троцкий не скрывал, что он предпочитает монархическую реставрацию республиканскому правительству, буржуазному или социалистическому. Домерг, со своей стороны, ссылается на разговоры с последователями Ленина о предпочтительности для большевиков, в случае неудачи, монархического режима перед демократией. Эта реакция “вода на мою мельницу” – откровенно говорил Ленин своему старинному другу Соломону. На другом полюсе России известный нам корнет Марков значительно позже, при своем отъезде из Тюмени, встретился в поезде с “ученым коммунистом” журналистом Тарасовым-Родионовым, который развивал перед ним теорию о том, что большевики сдадут свои позиции только монархистам. Для примитивного и однобокого ума Ленина вообще “середины нет”: либо диктатура помещика и капиталиста, либо диктатура рабочего класса. О середине мечтают попусту “барчата-интеллигенты”, плохо учившиеся по плохим книжкам. Это изумительное открытие сделано в письме Ленина к крестьянам и рабочим в 19 г. и о нем можно прочитать в XVI т. “гениальных” ленинских произведений.

Конкретизацию мысли о реставрации монархии под протекторатом Германии современная молва приписывала совместному творчеству двух дам в Смольном – Коллонтай и Вырубовой. Эта комбинация восстановления монархии с некоторыми вариантами, – напр., регентство (Леопольда Баварского), систематически выплывает в месяцы, предшествовавшие Брестскому миру<sup>325</sup>, и в последующие, весенние. “Со всех сторон запахло претендентами”, как однажды выразился “День”, передавший сообщение вюртембергских газет, что в некоторых кругах Берлина обсуждается проект замещения новой династией русского престола (Романовы-Гольштейн-Готторпские и Гессенские считаются скомпрометированными).

Кандидатом у этих безответственных политиков, может быть, занявшихся своими полезными изысканиями под влиянием русской информации, являлся вел. герцог Мекленбург-Шверинский, как принц славянского происхождения (он был сыном вел.-кн. Анастасии Мих.). Можно отметить у некоторых политических прожектеров еще кандидатуру Константина Греческого, как православного, внука Александра I, и к тому же мужа сестры германского императора. “Нелепые” слухи отмечает и дневник ген. Будберга. Показательно, что во всех подобных комбинациях имя Николая II нигде не фигурирует; постепенно на задний план отходит и кандидатура законного наследника. Говорят даже о новой династии. Сознание это упрочивается настолько в кругах даже конституционных монархистов в России, что подобную комбинацию готовы принять и легитимисты. Ген. Казанович, посланный в Москву с Юга командованием Добровольческой армии (это было в конце мая), установил связь с влиятельными общественными кругами”, которые образовали к тому времени так называемый “правый центр”, имевший в виду восстановление монархии. “Правый центр” делал ставку на Германию. Вот как передает свои впечатления Казанович: о “личности своего кандидата деятеля правого центра умалчивали, а по некоторым намекам можно было предположить, что они не прочь видеть на русском престоле кого-либо из германских принцев”.

Вот почва, на которой возникла легенда, докатившаяся и до Тобольска и там получившая свое особое преломление. В сущности легенда не касалась низложенного монарха, а говорила лишь о тайном пункте мирного договора, по которому в России

---

<sup>325</sup> Петербургский “День” 3 декабря отмечал даже прокламацию, которая появилась на местных заводах по поводу предстоящей оккупации столицы и возведения на престол наследника Алексея с регентством одного из германских принцев.

восстанавливается автократический режим. В таком контексте легенда прочно держалась в военной среде, – так передает, напр., ее в воспоминаниях ген. Гоппер, командир одной из частей латвийских стрелков, который принимал близкое и непосредственное участие в антибольшевистских военных организациях Москвы. В дни, предшествовавшие подписанию мира, когда немцами было нарушено установленное в предварительных переговорах перемирие и началось наступление, легенда получила некоторое фактическое обоснование. Могло казаться, что оккупанты действительно склонны изменить свою политическую тактику и отойти от большевиков. Недаром главнокомандующий немецкой армией на востоке, принц Леопольд Баварский, начал свое февральское наступление с заявления по радио об опасности большевистской заразы и о долге Германии бороться с тем моральным разложением, которое несут с собой московские властители. Упорные слухи носились, что Германия заключит мир лишь с правительством, признанным всей страной, – отсюда “уродливая радость”, отмечаемая современниками: “то-то зададут немцы большевикам, немцы принесут с собой порядок, и с большевизмом будет покончено” 326.

Передавали сведения из Совета Нар. Ком. о вероятной оккупации Москвы и Петербурга. Находились разочарованные русские, уставшие от большевистских экспериментов, которые были готовы примириться с иноземной оккупацией, но попытки изображать эти чувства всеобщими, хотя бы в “буржуазных” кругах, надо, конечно, отнести к области общественной карикатуры. Возможно, что эти слухи распространяли сами немцы, с одной стороны, чтобы воздействовать на колебавшихся большевиков, а с другой, чтобы не потерять на всякий случай “контакта” с людьми, склонявшимися к “германской ориентации” в международных и внутренних политических отношениях.

Для того чтобы конкретизировать психологическую и политическую обстановку тех дней, необходимо было бы вступить на скользкую тропу, ведущую в область легенд и фактов, которые исторически исследуемы быть еще не могут за отсутствием хоть сколько-нибудь проверенного материала. Представляется несомненным, что какие-то закулисные разговоры после отъезда официальной немецкой дипломатической миссии (Кайзерлинг и Мирбах) велись в обеих столицах между двумя возможными в будущем партнерами – разговоры случайные и безответственные о совместном выступлении против большевиков. Эти разговоры русских “монархистов” и представителей “секретной” немецкой миссии (быть может, правильнее сказать – военной контрразведки) в Москве зарегистрированы в дневнике моего современника достаточно отчетливо. Отмечен там и слух о поездке петербургских “монархистов” в Псков, т.е. в штаб северогерманского фронта. Такая инициатива действительно была проявлена связанной с военными кругами Петербурга антибольшевистской организацией, одним из главарей которой был известный нам по истории проекта великокняжеского манифеста и марта 17 г. прис. пов. Иванов, человек близкий к вел. князю Павлу Ал. О появлении парламентаров упомянул и сам начальник фронта ген. Гофман, отнесший, правда, все это к более поздней дате. Упоминает о нем и немецкий участник переговоров в Ревеле с представителями петербургской монархической группировки, ведавший контрразведкой германской главной квартиры, – майор Бауэрмейстер. Он говорит, что уполномоченный петербургской организации, некто полк. ген. штаба Д. (ген. Гофман раскрывает фамилию – Дурново) прибыл с собственноручным письмом в. кн. Павла, который, в случае свержения большевистской власти при помощи Германии, должен был сделаться “блюстителем престола”.

Каков был план, рассказывает со слов непосредственного участника этого начинания ротмистра фон Розенберга небезызвестный своей печальной деятельностью в годы гражданской войны в Прибалтике Бермондт (кн. Авалов). Мысль о переговорах с немцами возникла в организации, объединявшей офицеров бывших гвардейских частей под

---

326 См., напр., запись Бунина 9 февраля в дневнике “Окаянные дни” о настроениях в земской среде: “немцы, слава Богу, продвигаются”.

руководством генералов Гельгоера и Арсеньева. В дни брестских переговоров организация эта получила согласие со стороны большевистской власти на формирование сводного корпуса, который должен был получить наименование “Народной армии”. Тогда возникла мысль вступить в тайные переговоры с немцами о совместном действии для занятия Петербурга и восстановления монархической власти, опорой которой являлся бы “русский корпус”. Русские заключили бы сепаратный мир с Германией на условии *status quo ante bellum* и установили бы с ней “дружественный нейтралитет” до окончания мировой войны. Решено было “испросить разрешение” и “получить благословение” на осуществление намеченного плана от в. кн. Павла Ал. – к нему была отправлена “депутация”. Вел. князь будто бы действительно дал не только свое “благословение”, но и “согласие” стать при первой возможности и необходимости во главе корпуса и временного правления<sup>327</sup>. Приезд большевиков в Псков с решением заключить мир расстроил гвардейский “заговор”.

Есть еще страничка воспоминаний с русской стороны, которая касается этих первоначальных переговоров представителей некоторых русских общественных групп с немцами до подписания брест-литовского мира. Страничку эту мы приведем, потому что она единственная. Но написана она, в сущности, не политиком, человеком, принявшим очень отдаленное, косвенное участие в русско-немецкой эпопее и едва ли разбиравшимся в информации, которую ему приходилось выслушивать на “конспиративных” заседаниях в феврале и марте. Отклики, о которых мы говорим, принадлежат члену Совета московских общественных деятелей, юристу и видному члену Церковного собора С. П. Рудневу. Он пишет: “Из памятных мне заседаний того времени я припоминаю одно, когда ставили вопрос, с кем нам быть... Где-то около Пскова шли переговоры с представителями Вильгельма, предлагавшими (такова, если мне не изменяет память, была информация) ввод... двухсоттысячного корпуса, совершенно, по мнению германского командования, достаточного для водворения и поддержания порядка. От нас немцами требовалось, чтобы власть была взята общественностью в лице выдвинутых ею популярных, обладавших твердой волею, лиц и чтобы немедленно был заключен мир. После долгих и жарких споров только 6 или 8 человек из нас подали голос за принятие предложения – все же остальные, а было человек тридцать, если не больше, – голосовали против. Через несколько заседаний, после кулуарных разговоров, сторонников соглашения с немцами прибавилось, и решили было даже опять зондировать почву за Псковом<sup>328</sup>, но прием оказался суровым и будто бы даже сказали, что вот приедет посланник в Москву, с ним и говорите...” Бывшее спутано здесь с неосуществившимся проектом, разговорами и мыслями. Суть в том, что “прием оказался суровым”.

История всех этих переговоров получила надлежащую отметку в дневнике моего современника: “немцы водят за нос”.

Инициатива и предложение исходили из русских групп, немцы в отдельных случаях безответственно разговаривали: ждали, в какую сторону повернет политический фронт<sup>329</sup>.

Слухи, отмечаемые мемуаристами, в той или иной степени проникали в оппозиционную печать, как ни стеснена она была под дамокловым мечом новой “социалистической” власти. Откликом на них являлись суждения в Тобольске, отмеченные Жильяром. В дневнике 19 марта (н. ст.) у него записано: “После завтрака говорили о

---

<sup>327</sup> Роль самого в. кн. Павла Ал. в этих попытках связаться с немцами пока не поддается учету. Эту роль отмечает вскользь, между прочим, М. Маргулис в своем дневнике.

<sup>328</sup> Немецкий штаб находился в Ковно.

<sup>329</sup> Едва ли надо прибавлять, что досужей фантазией является утверждение английского журналиста Вильтона, что в Москве собрался съезд представителей всех партий, где официальный делегат Германии сделал предложение о восстановлении монархии.

Брест-литовском договоре, который только что подписан. Государь высказался по этому поводу с большой грустью: “Это такой позор для России; это равносильно самоубийству. Я бы никогда не поверил, что имп. Вильгельм и германское правительство могут унизиться до того, чтобы пожать руку этих негодяев, которые предали свою страну...” Когда кн. Долгорукий несколько времени спустя сказал, что часто говорят об одном из условий, согласно которому немцы требуют, чтобы царская семья была передана им целой и невредимой, Государь воскликнул: “Если это не предпринято для того, чтобы меня дискредитировать, то это оскорбление для меня”, Государыня добавила вполголоса: “После того, что они сделали с Государем, я предпочитаю умереть в России, нежели быть спасенными немцами”<sup>330</sup>. В своем письме Вырубовой 2 марта А. Ф. высказалась более ярко и определенно, чем в воспоминаниях мемуариста: “Боже, как родина страдает... Бедная родина, измучили снутри, а немцы искалечили снаружи... Если они будут делать порядок в нашей стране, что может быть обиднее и унижительнее, чем быть обязанными врагу. Боже, спаси, только не смели бы разговаривать с Папой и Мамой”<sup>330</sup>. В каждом из последующих писем А. Ф. возвращается к волновавшему ее вопросу и сравнивает немцев с “ползущим, все съедающим раком”. “Но что решается в Москве?” – мучительно спрашивает она.

## 2. “Похабный мир”

Современники не имели отчетливого представления о том, как резко вопрос о мире стоял в Москве. Внешняя фразеология затемняла переживаемый большевистской партией кризис, грозивший ей расколом. Настроения не только в низах, но и в верхах были далеки от того веселья, которым отметил подписание договора о перемирии в декабре Каменев, пройдясь залихватски трепаком вприсядку в одном из ночных варшавских кабаре (воспоминания Фокке). Опубликованные отрывочные карандашные записи на блокнотах заседаний Ц. К. партии в “период Бреста” дают возможность заглянуть в то, что делалось у большевиков за кулисами и что в то время хранилось в “строжайшей тайне”<sup>331</sup>.

Мы можем начать с признания Бухарина, что большевистская партия в дни Бреста не имела “руководящей линии” и не занимала определенной позиции. Произошло это потому, что мираж, который создал себе воинствующий большевизм, быстро исчез – “русский опыт” не завлек западноевропейский пролетариат на стезю немедленного осуществления социальной революции в мировом масштабе. Рассеялись, таким образом, мечты не только заставить “германского кайзера” говорить “как равный с равными” с русскими революционерами, но и посадить весь германский империализм на скамью подсудимых. Эти гордые заявления были сделаны Каменевым и Троцким на ноябрьских столбцах “Правды”. В действительности во время первого же брестского словоговора “прокурор в лице русской революционной демократии” оказался в тупике, так как “мир народов”, о котором объявляла советская радиотелеграмма 28 ноября, оказался даже не “миром правительств”, а просто миром немецким. И приходилось решать вопрос: подписывать ли “аннексионистский” мир или вести войну уже “революционную”. Брестская “трагикомедия” была прервана. Этот третий уже перерыв совпал с разгоном Учр. Собр. и созывом III съезда советов. 8 января

---

<sup>330</sup> На другой день в конспиративном письме, написанном по-русски “сестре Серафиме”: “...Такой кошмар, что немцы должны спасти всех и порядок наводить. Что может быть хуже и более унижительно, чем это? Принимаем подарок из одной руки, когда другой они все отнимают. Боже, спаси и помоги России! Один позор и ужас. Богу угодно это оскорбление России перенести: но вот это меня убивает, что именно немцы – не в боях (что понятно), а во время революции, спокойно продвинулись вперед и взяли Батум и т.д. Совершенно нашу горячо любимую родину общипали... Не могу мириться, т.е. не могу без страшной боли в сердце это вспоминать... Только бы не больше унижения от них, только бы они скорее ушли...”

<sup>331</sup> Володарский в заседании петроградского комитета открыто заявил, что “на верхах что-то творится, о чем партии не говорят”.

состоялось совещание вождей коммунистической партии с партийными делегатами, прибывшими на съезд, – здесь должно было наметить путь выхода из тупика. Протоколов секретного совещания не сохранилось. Только из вступительного слова Ленина в заседании Ц. К. 11 января выясняются наметившиеся точки зрения: при помощи Троцкого была найдена еще третья формулировка дилеммы – объявить войну прекращенной, демобилизовать армию, но мира не подписывать. Эта своеобразная позиция делала ставку на затяжку переговоров и на ожидаемое пробуждение самостоятельности германского пролетариата – она собрала на совещание 16 голосов; подавляющее большинство (32) голосовало за “революционную войну” и только 15 голосов высказалось за подписание “аннексионистского” мира.

Ленин – оппортунист и реалист, конечно, оказался среди меньшинства, высказавшегося за то, чтобы разрубить Гордиев узел посредством заключения “похабного мира”. “Несомненно, – говорил он, – мир, который мы вынуждены заключить сейчас, мир похабный, но если начнется война, то наше правительство будет сметено, и мир будет заключен другим правительством”. Стоящие на позиции войны думают пробудить в Германии революцию, “но ведь Германия только еще беременна революцией<sup>332</sup>, а у нас уже родился вполне здоровый ребенок – социалистическая республика, которого мы можем убить, начиная войну...” “Нам необходимо упрочиться, а для этого нужно время. Нам необходимо додушить буржуазию, а для этого необходимо, чтобы у нас были свободны обе руки. Сделав это (т.е. подписав похабный мир), мы освободим себе обе руки и тогда мы сможем вести революционную войну с международным империализмом”. По мнению Ленина, важно задержаться до появления общей социалистической революции, которая не может быть вызвана “интернациональной политической демонстрацией”, как он квалифицировал предложение, сформулированное Троцким. “Конечно, мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны это сделать (переползти его хотя бы „на четвереньках“, как писал Ленин). Если немцы начнут наступать, и мы будем вынуждены подписать всякий мир, тогда, конечно, он будет худшим. Для спасения социалистической республики 3 миллиарда контрибуций не слишком дорогая цена. Противники Ленина (во главе с Бухариным) считали, что заключением мира с империалистами не только теряются шансы на международное движение, но большевики сами потеряют базу, так как рабочие не примирятся с подписанием “буржуазного мира”<sup>334</sup>. “Мы – партия пролетариата и должны ясно видеть, что пролетариат не пойдет за нами, если мы подпишем мир”, – говорил Дзержинский. И в то же время никто из членов Ц. К. фактически не считал возможным поддержать утопию “революционной войны”, – Ленин предлагал оппозиционерам съездить на фронт и там воочию убедиться в невозможности воевать. В результате неожиданно победила несуразная формула Троцкого (он собрал 9 голосов против 7) – “средняя” линия, по мнению Сталина, давала выход из тяжелого положения. Эта средняя линия была принята большинством, и на состоявшемся через несколько дней (13 января) соединенном заседании Ц. К. большевиков и левых соц.-рев. решено было внести на съезд советов формулу: “войны не вести, мира не подписывать” – по мнению значительного большинства, никакой войны, даже “революционной”, Россия вести не могла.

Известно, что на заседании мирной конференции 28 января (10 февраля), на котором произошел разрыв, Троцким и была внесена с некоторым удовлетворением и расчетом на эффект знаменитая формула, произведшая после всех закулисных разговоров впечатление разорвавшейся бомбы. “Ungehört”, – сказали немцы. На что же реально рассчитывал творец небывалой в летописях дипломатии формулы? “В ожидании того, мы надеемся, близкого часа, когда угнетенные трудящиеся классы всех стран возьмут в свои руки власть, подобно

---

<sup>332</sup> Левая социалистическая печать в Германии резко нападала на большевиков, заключивших мир не с немецким народом, а с немецкими империалистами.

трудящемуся народу в России, мы выводим нашу армию и народ наш из войны”, – гласит декларация, прочитанная Троцким. “В ожидании... близкого часа”. Ленин полагал, что с заключением мира можно будет “сразу” обменяться военнопленными и тем самым перебросить в Германию “громадную массу людей, видевших нашу революцию на практике; обученные ею, они легко смогут работать над пробуждением ее в Германии”. Предзнаменованием того, что так именно и будет, руководители русского большевизма видели в январских стачках в Германии, которые проходили под лозунгом “демократического мира”, а, главное, они думали, что прусские генералы не осмелятся повести войну на революционную Россию (январская речь Зиновьева в петроградском совете). Но если германские правящие круги все же осмелятся игнорировать предупреждение, данное брестской политической демонстрацией, то у русского народа проснется инстинкт самосохранения, и тогда начнется священная революционная война (Урицкий).

Но “прусские генералы” не испугались картонного меча, которым грозили воинствующие русские коммунисты, развалившие Восточный фронт задолго до объявления главкомом Крыленко приказа о всеобщей мобилизации (после возвращения Троцкого из Бреста). 3/16 февраля немецкое командование официально заявило о прекращении перемирия с 12 часов дня 18 февраля и начало движение, не встречая никакого сопротивления с противной стороны. 4-го сообщение из Ставки о начале военных действий подверглось обсуждению в Ц. К. – “ленинцы” потребовали срочно предложить Германии вступить в новые переговоры для подписания мира, но остались в меньшинстве: за позицию Ленина высказалось 5 против – 6<sup>333</sup>. На следующий день утром и вечером продолжаются заседания Ц. К. Дебатируется все тот же вопрос – посылать или не посылать телеграмму с предложением мира. Троцкий предлагает продлить старую тактику до “логического конца” и подождать эффекта, который получится от нее в Германии. По мнению Троцкого, не исключена возможность, что наступление вызовет серьезный взрыв в немецком народе, который встретит с радостью прекращение войны. Компромиссное предложение возобновить мирные переговоры голосовало 6 против 7. Но тут пришло сообщение, что в 2 часа дня взят Двинск. Экстренно созывается в тот же день еще раз Ц. К. “Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен”, – заявил Ленин. “Ждать” – это значит сдавать “русскую революцию на слом”. Пока мы “бумажки пишем”, они... “берут склады, вагоны, и мы околеваем”. В Германии “нет и начала революции”, – отвечал Ленин тем, кто продолжал требовать тактики развертывания революции – “бить на мировую революцию” (Иоффе). “Если революционная война, то надо ее объявить, прекратить демобилизацию, а сказать, что демобилизация прекращена – это значит слететь...”

Ленин не верит в бухаринскую соц. рев. позицию: “мужиков натравить на немцев”, – “крестьянин не хочет войны и не пойдет на войну” <sup>334</sup>. Ленин делал одно исключение: “существует сомнение, не хотят ли немцы наступления для того, чтобы сбросить советское правительство”, что немцы заключили в этом отношении “делку” с французами и англичанами. “Если бы немцы сказали, что требуют свержения большевицкой власти, тогда, конечно, надо воевать против союза империалистов”. Ему поддакивает Зиновьев: “Если они сплелись и идут священной войною на революцию, мы все идем на революционную войну...”

На вечернем заседании 18-го точка зрения Ленина собрала большинство 7 против

---

<sup>333</sup> Характерно, что реальные политики, в лице Ленина, Сталина, Свердлова, Сокольников и Смилги, “воздержались” при голосовании пункта об ответе главкомеху по вопросу об уничтожении, в случае отступления, военного материала, полезного для Германии.

<sup>334</sup> Иоффе считал обязательным подписание мира в том случае, “если бы народ требовал от нас мира...” “Пока этого нет”.

6<sup>335</sup>, – так как неожиданно и Троцкий присоединился к формулировке: “немедленно обратиться к немецкому правительству с предложением немедленно заключить мир”<sup>336</sup>. Сознавая, что вряд ли старые условия будут уже подписаны немецкой стороной, III съезд советов предоставил неограниченные полномочия по вопросу о мире Совнаркому, и в заседании Ц. К. 18-го пришли к странному с формальной стороны заключению: принять решение двух Ц. К. за решение совета народных комиссаров. Ночью произошло совместное заседание, на котором, по сообщению московского “Соц. Демократа” (в архиве Ц. К. никаких материалов не сохранилось), сторонники сопротивления немцам “до последней возможности” оказались в большинстве. Тем не менее в Берлин пошла радиотелеграмма о том, что сов.нар.ком. “видит себя вынужденным подписать мир на тех условиях, которые были предложены делегацией четвертного согласия в Брест-Литовске...”

Немецкий ответный ультиматум с изложением условий мира последовал через несколько дней (22 февр.) Что было за эти дни? Немцы не остановили своего наступления после получения советского радио. Большевики призывали пролетариат к оружию, к защите революции. Наступал момент, когда демагогическое слово должно было превратиться в действие – еще в Демократическом Совещании революционной (17 г.) эпохи Троцкий с кафедры победоносно заявлял, что “рабочий класс будет бороться с империалистами с таким энтузиазмом, какого не знала еще русская история”. Партийные мемуаристы впоследствии будут говорить о “величайшем энтузиазме”, который охватил в феврале 18 г. пролетарские массы и который должен был уступить только перед недостатком материала и отсутствием технических возможностей. Этот подъем некто иной, как Ленин, определил характерным словом “визг”, занесенным в черновой протокол заседания Ц. К., а Зиновьев, согласно тому же протоколу, квалифицировал терминами “усталость, истощение и революционная фразеология” (“сначала фразы, подъем, а решают голосовать за мир”). В такой обстановке сторонники тактики “протянуть время” и, быть может, еще больше косвенно воздействовать на уступчивость немцев прощупывают почву у представителей Антанты. 21 февраля Троцкий через посредство кап. Садуля запросил ген. Нисселя, возглавлявшего французскую военную миссию, могут ли оказать союзники техническую помощь в целях затруднить продвижение немцев<sup>337</sup>. Ниссель пишет, что с одобрения посла (Нуланса) он ответил утвердительно, как отвечали положительно на этот вопрос военные и раньше<sup>338</sup>. На другой

---

<sup>335</sup> Этими шестью были: Урицкий, Иоффе, Ломов (Оппоков), Бухарин, Крестинский, Дзержинский; воздержалась Стасова.

<sup>336</sup> Сам Троцкий, много раз заявлявший, что “русская революция не склонит голову перед германским империализмом” и пойдет только на “почетный мир”, в заседании 18-го предлагал “затребовать формулировку немецких требований”, считая, что “предложить переговоры – значит идти на отказ”.

<sup>337</sup> Посредничество Садуля началось еще накануне открытия переговоров о мире. Садуль имел беседу с Троцким 8 ноября, и последний развил ему свой план, по которому немцы должны были отклонить предложение о перемирии, “основанном на принципах русской революции”, а большевики декретируют “священную” войну, но не на основе национальной обороны, а во имя интернациональной защиты социалистической революции. В действительности, как видно из заявления Троцкого в Ц. К. 11 января, он всегда считал “революционную войну” нереальным вопросом. “Докучал” Садуль и Ленину. Этот попросту втирал очки наивному капитану, состоявшему при французской военной миссии и не облекшемуся еще в коммунистическую тогу, и уверял его, что большевики заключат мир только при соблюдении демократических принципов, и что сторонники мира во что бы то ни стало составляют незначительное меньшинство в партии. Садуль, питавшийся иллюзиями, что большевики станут оборонцами и будут защищать свое отечество, соблазнял Ленина возможностью присылки из Франции квалифицированных специалистов для восстановления армии и парализования саботажа русских специалистов...

<sup>338</sup> В заседании Ц. К. 11 января Ленин приводил доказательство того, что затягивание войны в интересах французских, английских и американских империалистов, предложение, сделанное в Ставке Крыленко американцами, уплачивать 100 рублей за каждого русского солдата, но Ленин умолчал, что и его “соблазнял” Садуль, и что он сам вел переговоры с представителем американской миссии Кр. Креста Робинсом о снабжении



день через того же Садуля Ниссель передал резюме о тех первых мирах, которые необходимо принять для того, чтобы выиграть время и избежать наступления немцев на Петербург. Миров эти заключались в задержке продвижения немцев существующими еще на фронте русскими частями (эту сопротивляемость в заседании Ц. К. 18 февраля определяли так: “на пять минут открыть ураганный огонь, и у нас не останется ни одного солдата на фронте”), в уничтожении всего имущества, которое может попасть в руки врага (французская миссия для этого предлагала своих специалистов), в аресте всех военнопленных, находящихся на свободе, в призыве к старым офицерам – к их патриотизму, в принятии помощи японцев и т.д.

В заседании 22-го эту “ноту” Троцкий докладывал Ц. К. <sup>339</sup>. То, что происходило на заседании, еще более подчеркивает неразбериху, в управляющей верхушке коммунистической партии формально нота “без прений” отклоняется, по предложению Свердлова, как значится в протоколе. Но в действительности и среди “священников”, и среди “похабников”, как в партийных кругах довольно цинично называют сторонников подписания “захватнического” мира, нашлись сторонники принципа: “если можно взять что-нибудь, то нужно брать” (Смилга). Особенно ярко на своем образном диалекте этот принцип выразил реалист Ленин, отсутствовавший на заседании. Он всегда полагал, что говорить с одним империалистом-разбойником против другого не предосудительно и в данном случае в письменной форме просил присоединить свой голос “за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма”. Бухарин обосновывал другую принципиальную позицию для последовательного интернационалиста – недопустимость пользоваться поддержкой какого бы то ни было империализма. Бухарин со стороны союзников видит осуществление плана превращения России в их колонию и предлагает ни в какие соглашения относительно покупки оружия, использования услуг офицеров и инженеров с французами, англичанами и американцами не входить. Он собрал 5 голосов, тогда как Троцкий, готовый рассматривать услуги империалистов в каждом отдельном случае под углом зрения целесообразности и принимать от капиталистических правительств средства к тому, чтобы наилучшим образом вооружить и снабдить революционную армию, собрал 6 голосов. На основе этого странного голосования, и весьма неопределенного и противоречивого <sup>340</sup>, утром 23-го Троцкий телеграфировал Садулю, что принимает предложение содействия со стороны военной миссии Франции и просит Нисселя прибыть в 4 часа в Смольный <sup>341</sup>. Ниссель был и беседовал с Троцким. Но тот был сдержан в своей игре на два фронта, так как имел ответ немцев. В случае войны Троцкий не сомневался в содействии французов, ну а в случае заключения мира – останется ли французская военная миссия для помощи и организации новой армии? Ниссель ответил, что не может дать обещания от имени правительства, но, по его мнению, такое сотрудничество будет в интересах Франции.

23-го в Ц. К. обсуждались новые германские условия. Это был уже ультиматум, срок которого был ограничен 48 часами, т.е. 7 часов утра 24 го, как разъяснил Троцкий в заседании. Ультиматум требовал немедленного прибытия уполномоченных делегатов правительства для того, чтобы подписать мир в течение трех дней, причем ратификация условий мира должна последовать в продолжение двух недель. Новые условия значительно

---

России военным материалом (между Лениным и Робинсом был в этом отношении заключен, как утверждал Покровский, соответствующий “договор”).

<sup>339</sup> В архиве партии она не сохранилась, но напечатана, как мы видим, в воспоминаниях Нисселя.

<sup>340</sup> Бухарин заявил о своем выходе из Ц. К.

<sup>341</sup> Французы поспешили тотчас же принять все меры к сотрудничеству и подготовке разрушения железнодорожных путей, считая это полезным, если даже будет решен вопрос о мире.

ухудшали то, что предложено было раньше. Россия должна была отказаться от Прибалтики, очистить без всякого промедления Украину и Финляндию, полностью демобилизовать всю армию, разоружить флот, передать Турции провинции восточной Анатолии (т.е. Карс) и пр. Большевики поистине были приперты к стене. Цинично Ленин в тот же день поставил свой ультиматум в заседании Ц. К. В протоколе его слова записаны так: “Политика революционных фраз кончена; если эта политика будет теперь продолжаться, то выходят (выхожу) из правительства и из Ц. К. Для революционной войны нужна армия, ее нет. Значит, надо принимать условия...” “Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор советской власти через 3 недели. Эти условия советской власти не трогают. У меня нет ни малейшей тени колебания”. Говорить при таких условиях о международной гражданской войне – это “издевка”. Слова Ленина и его единомышленников (Сталин говорил о “передышке”) не поколебали аргументов оппозиции. “Советская власть не спасется подписанием этого мира, – утверждал Урицкий. – Если мы мир подпишем, у нас будет Милюков без Чернова при содействии германского империализма”. “Передышки” не видит и Дзержинский, – “подписывая этот мир, мы ничего не спасаем”. Но вместе с тем Дзержинский согласен с Троцким, что вести революционную войну при таком расхождении в партии невозможно, и потому не берет на себя ответственности за войну: “Если бы партия была достаточно сильна, чтобы вынести развал и отставку Ленина, тогда можно было бы принять решение, теперь нет”. Однако на заседании раздался голос и более решительный со стороны “левых”, а именно Ломова (Опокова): “Если Ленин грозит отставкой, то напрасно пугаются. Надо брать власть без В. И.”. При голосовавших за немедленное принятие германского ультиматума высказалось 7 человек; против 4 и 4 воздержалось. Оставшиеся в меньшинстве и воздержавшиеся тут же мотивировали свое поведение. Троцкий личное воздержание объяснил “необходимостью найти выход из создавшегося положения и получения большинства для выработки единой линии”. По мнению Крестинского, Иоффе и Дзержинского, “если произвести раскол, вследствие ультимативного заявления Ленина<sup>342</sup>, и нам придется вести революционную войну против германского империализма, русской буржуазии и части пролетариата во главе с Лениным, то положение для всей русской революции создастся еще более опасное, чем при подписании мира: “не будучи в состоянии голосовать за мир, мы воздерживаемся от голосования”. Урицкий от имени голосовавших против (Бухарина, Ломова, Бубнова и своего), а также от кандидата в члены Ц. К. Яковлевой, присутствовавших на заседании Пятакова и Смирнова, сделал заявление, что оппозиция уходит со всех ответственных партийных и советских постов, оставляя за собой полную свободу агитации, так как не желает нести ответственность за решения, губительные для русской и международной революции, тем более что “решение это принято меньшинством, так как 4 воздержавшихся, как явствует из их мотивировки, стоят на нашей позиции...”

Нам неизвестны дальнейшие закулисные ходы. Только в воспоминаниях ген. Нисселя рассказывается, что Троцкий через Садуля осведомил французскую военную миссию, что, возможно, мир не будет ратифицирован ВЦИК, а если даже на немецкий ультиматум будет явное согласие, враждебные действия начнутся, так как большевистская Украина откажется снабжать немцев хлебом, и Троцкий вновь просил Нисселя о помощи в деле национальной защиты. Но в ночь с 23 на 24 в заседании ВЦИК большинством 126 против 85 при 26 воздержавшихся было решено ультиматум принять и послать немцам соответствующую телеграмму. “Левые” большевики (или часть их), по-видимому, ушли с заседания до голосования, – впрочем, здесь у свидетелей разногласия, и иные утверждают, что во имя “пролетарского единства” большевистская фракция голосовала односторонне – и “ленинцы”, и “оппозиция”. Но “революционной спайки” не проявила публика, бывшая на хорах. Оттуда кричали: “Изменники”, “предали Родину”, “иуды”, “шпионы немецкие”. “Коммунисты огрызаются и показывают кулаки, вспоминает Ступоченко. – Под шум, гам и озлобленный

---

<sup>342</sup> По другому контексту протокола Ленин заявил, что идет на открытый разрыв, идет “в агитацию”.

вой, выходим на улицу...” Немцы не остановили своего продвижения, и 24-го ничтожной группой был взят “революционный” Псков. “Железная рука пролетариата” не защитила города, хотя на помощь местному военному комиссару Позерну из Петербурга прибыл “бешеный” Володарский, предлагавший для выполнения боевых задач “революционного фронта” “по фонарям развешать всех буржуев”. Результаты боя, говорит непосредственный очевидец, были “до курьеза ничтожны” (убитых со стороны большевиков никого).

В ночь на 25-е новая делегация выехала в Брест. Немцы продолжали наступать, несмотря на протесты и требования советской делегации. При таких условиях мирный договор был ультиматумом, поддержанным оружием, – жаловалась радиотелеграмма, отправленная из Бреста в центр. В Смольном был переполох, и считали уже, что переговоры прерваны. Но тщетны были истерические призывы к стране спасти социалистическую республику и лихорадочные меры к организации красной армии. Делегаты подписали условия мира 3 марта (по н. ст.), не имея возможности даже представить свои возражения, – большевики вынуждены были беспрекословно и молчаливо подчиниться немецкому ультиматуму. Между тем Троцкий продолжал свою игру с военными миссиями союзников: и в день подписания ультиматума он через Садуля осведомлял, что для него и для Ленина неприемлемо продолжение военных действий на Украине, и что они не допустят свержение украинского большевистского правительства. Троцкий опять выражал надежду на поддержку со стороны Франции в случае возобновления военных действий, намекая на возможность того, что съезд советов, созываемый в Москве на 10 марта, не ратифицирует мира. Намекал Троцкий и лондонскому представителю Локарту о возможности объявления священной войны Германской империи на съезде советов, – во всяком случае, там будет сделан такой шаг, который приведет к неизбежному объявлению войны со стороны Германии. Наконец, самому долготерпеливому Нисселю стало казаться, что Троцкий попросту ломает комедию, когда говорит о французской помощи, – это было средство для воздействия на немцев сохранить посольства и миссии Антанты, что придавало большевистской власти вид как бы международного признанного правительства.

“Комедия” Троцкого<sup>343</sup> обманула не только иностранные миссии, но и русского историка. Милюков написал в “России на переломе”: за свою политику по Бресту Троцкий был удален Лениным с поста комиссара ин. дел. Троцкий сам в воспоминаниях о Ленине рассказал о том, как была разыграна комедия его фиктивной отставки в целях подчеркнуть перед немцами радикальный поворот в коммунистической партии и искреннюю готовность подписать мир, – известно, что Троцкий почти вслед за своей отставкой был назначен комиссаром по военным делам. “Комедия” продолжалась и после ратификации мира съездом советов 15 марта – ратифицирован договор был 784 голосами против 261 при 115 воздержавшихся<sup>344</sup>.

Прозаическая действительность была далека от революционной фразеологии. Впоследствии, через много лет, советский историк марксист Покровский назвал точку зрения Ленина чисто “пролетарской” в противовес “мелкобуржуазной” (правой и левой), высказанной его противниками в партии в февральские дни 18 г. Тогда Покровский разделял взгляды оппозиции Ленину и думал как раз по-другому. Им среди других ответственных деятелей партии было подписано заявление, поданное в Ц. К. на заседании 22 го. Они писали тогда, что решение заключить мир во что бы то ни стало при первом же натиске врагов пролетариата, принятое под давлением мелкобуржуазных элементов и мелкобуржуазных настроений, является “капитуляцией передового отряда международного пролетариата перед международной буржуазией” и “неизбежно влечет за собой потерю пролетариатом

---

343 Луначарский впоследствии говорил, что Троцкий в дни Бреста “прокладывал свой путь прямолинейно”.

344 Бывший перед тем съезд коммунистической партии 6 марта высказался за “похабный мир” 28 голосами против 12. Оппозиция на нем держалась “озлобленно и мрачно” (воспоминания Ильина-Женевского).

руководящей роли и внутри России”. Отказ от задач “развития гражданской войны в международном масштабе”, по мнению оппозиции, “равносилен самоубийству”. Оппозиция казалась очень грозной для единства большевистской партии в критические дни февраля – еще в январе петербургский комитет в заявлении Ц.К. утверждал, что подписание “похабного мира” явно противоречит линии большинства партии<sup>345</sup>. Две “самые влиятельные организации нашей партии – петербургская и московская областная – определенно высказываются против аннексионистского мира с Германией, продолжение мирной политики в том духе, как это намечается теперь... может грозить расколом нашей партии”. “Петербургская организация, – поясняли ее представители в заседании Ц.К. 11 января, – будет протестовать, пока может, против точки зрения Ленина и считает возможной только позицию революционной войны”. В февральские дни московское областное бюро 24-го открыто высказало свое недоверие Ц.К. ввиду его политической линии и заявляло, что “не считает себя обязанным подчиняться во что бы то ни стало тем постановлениям Ц.К., которые будут связаны с проведением в жизнь условий мирного договора”<sup>346</sup>. Насколько остро стоял вопрос, показывает факт, сообщенный Бухариным в дни новой позднейшей партийной склоки, что в период борьбы за брестский мир левые с.-р. зондировали почву у “левых” коммунистов об аресте Ленина. На политическом процессе 38 г. “блока правых и троцкистов” Яковлева показывала еще более определенно: Каменев и Карелин вели беседу с Бухариным и Пятаковым о новом правительстве. По описанию свидетельницы дело шло не только о зондировании левыми с.-р. почвы для создания нового правительства: Струков, вдохновляемый Бухариным, открыто предлагал в партийном комитете московского района арестовать Ленина, Сталина и Свердлова и в случае сопротивления убить их. И тем не менее оппозиция была бесплодной смоковницей, поскольку “священная война” ставила вопрос об организации действительного отпора наступающим немцам. В своем выше процитированном заявлении в заседании Ц.К. 22 февраля оппозиция “с презрением” отвергла “нападки на советскую власть со стороны тех соглашательских элементов”, которые “вместо гражданской войны с международной буржуазией хотят вести национальную войну с Германией на основе единения классов и союза с англо-французской коалицией. Не требовалось большого предвидения, чтобы понимать, что в условиях обстановки, при которой был предъявлен февральский немецкий ультиматум, революционная фразеология никакой реальной цены не имела. Покровский в своем докладе определил эту обстановку следующими словами: „Теперь задним числом мы знаем, что немцы не хотели даже занимать Петербург, а тем более Москву. Это не входило в их программу. Так что особенной опасности мы тогда не подвергались. Но это мы знаем теперь, а тогда мы этого не знали. Тогда мы были в положении человека, который сидит в шестом этаже горящего здания и перед которым стоит дилемма: что лучше – сгореть или броситься с окна на мостовую“<sup>347</sup>.

Естественно, Ленин победил. “Похабный мир” закрепил до времени советскую власть и освободил “обе руки” большевиков для того, чтобы “додушить” буржуазию (Ленин в своих январских тезисах о мире утверждал, что для торжества социализма в России нужен промежуток “не менее нескольких месяцев”), а потом повести “революционную войну с международным империализмом”<sup>348</sup>. Коммунистическое панургово стадо пошло за своим

---

<sup>345</sup> Эта партийная большевистская организация еще в декабре объявила “беспощадную войну с буржуазией всего мира”.

<sup>346</sup> В заседании комитета Володарский называл рассуждения в пользу подписания мира “обывательскими” рассуждениями людей, не понимающих смысла и значения “октябрьского переворота”.

<sup>347</sup> Ленин наедине говорил Троцкому: “...вчера еще крепко сидели в седле, а сегодня только лишь держимся за гриву”.

<sup>348</sup> “Положение было бы отчаянным, если бы мы разуверились в международной революции”, – заявлял

вожаком, который открывал перспективы, если “задержимся” до нарождения общей социальной революции. Как рассказывает один из партийных мемуаристов (Ильин-Женевский), лицо Ленина “буквально сияло” на VII партийном съезде, созванном в Петербурге 6 марта, – “в особенности он был весел, когда выступал какой-нибудь оратор из оппозиции. Чем резче было выступление, тем веселее становился Ленин”, который, “расстегнув пиджак и заложив большие пальцы за жилетку, прогуливался позади трибуны”. “В некоторых местах он не выдерживал и начинал хохотать, держась за бока...”

\* \* \*

“Священная война” не в революционном аспекте могла найти широкий отклик в стране, но провозглашение этого лозунга, конечно, прежде всего означало внутреннюю ликвидацию большевизма. Неверно, конечно, что всеобщее настроение в России было за мир, хотя бы “похабный”, на чем готовы настаивать французские мемуаристы, занимавшие официальное положение в России, – Нуланс в Ниссель. Была весьма односторонняя и информация, которую в эти дни давал для Парижа прикомандированный к французскому посольству в Петербурге и считавшийся знатоком русского вопроса – Пети; он писал Ал. Тома, что ужас перед большевистским режимом таков, что население и в особенности буржуазия предпочтут всему немецкую оккупацию с восстановлением порядка, который ожидается от этой оккупации.

Твердо укоренявшееся представление у значительной части противников большевиков, что Брестский мир заключен не “Россией, а немецкими агентами”, само собою опровергает ходячую версию. Не показательна ли сцена кратковременного пребывания брест-литовской делегации в старом Пскове, зарисованная пером непосредственного свидетеля с.-д. Горна. Растерянные и съездившиеся члены революционной делегации проходят из гостиницы сквозь живой коридор немецкого караула, а напирающая толпа неистовствует: “Разбойники! Грабители! Хриstopродавцы! Ироды! Погубили Россию”. Не менее яркую иллюстрацию мы находим в маленьком эпизоде, рассказанном уже самими большевиками. Большевистская верхушка решила перенести правительственный центр в Москву ввиду угрожаемого положения “красной столицы”. Этот проект, по словам Троцкого, вызвал большие трения в партийной среде: говорили, что это похоже на дезертирство из Петрограда основоположника октябрьской революции и что рабочее этого не допустят. Ленин возражал, указывая на то, что перенос столицы в Москву уменьшает для Петербурга и военную опасность: какая “корысть оккупировать голодный революционный город, если эта оккупация не решает судеб революции и мира”. Символическое значение имеет только то, что “мы в Смольном, а будем в Кремле... вся символика перейдет в Кремль”. Вопрос о переносе столицы в Москву был разрешен на IV съезде Советов. И вот, когда совнарком выезжал из Петербурга, поезд был окружен в ночь с 10 на 11 марта на ст. Мал. Вишера отрядом матросов в 400 человек и 200 солдат, которые намеревались учинить расправу с “жидовским” правительством, продавшим Россию немцам и вывозящим с собою золото. “Символика” совершенно неожиданная! Спасла положение латышская преторианская гвардия большевиков. Предусмотрительный Ленин еще в дни разгона Учр. Собрания распорядился вызвать в северную столицу один из наиболее надежных латышских полков, который мог бы проявить в нужном случае “пролетарскую решимость”.

### 3. Миссия гр. Мирбаха

Прозаическая действительность всегда далека от революционной фразеологии.

---

Зиновьев в петроградском совете при обсуждении политики Совета нар. комиссаров в вопросе о “принятии неслыханно тяжелого мира, навязанного нам под угрозой вооруженного напора на истерзанную Россию германских империалистов”.

“Передышка” на практике означала подчинение велениям германской политики, которая отнюдь не склонна была в данный момент низвергать в центре советскую власть, отлично учитывая, что только эта власть по чувству самосохранения способна реализовать условия “похабного” мира. Если в дневнике моего современника мы встречаем под датой 8 марта упоминание об информации, сообщаемой авторитетным общественным деятелем Астровым о том, что немцы “на две недели отложили занятие Москвы”, то подобная информация являлась ординарным откликом безответственных разговоров и прогнозов, которыми была в то время полна Первопрестольная.

В описанной обстановке как будто бы ясно, что легенда, связывавшая брестский мир с Царем, который находился в Тобольске, не имеет под собой фактического обоснования. Документ из прусского архива министерства ин. дел, опубликованный немецким историком (Курт Ягов), всецело подтверждает такой вывод<sup>349</sup>. Ягов сообщает, что датский король Христиан X, получив от своего посла из Петербурга тревожные известия, касавшиеся царской семьи, и желая использовать факт установления дипломатических сношений между Берлином и Москвой, обратился к Вильгельму II с предложением вмешаться в разрешение судьбы низложенного монарха и его семьи. Вильгельм отклонил предложение. Ягов приводит ответ германского императора, помеченный датой 17 марта. Вильгельм указывает, что информация Христиана произвела на него сильное впечатление и что он, учитывая современную обстановку в России, понимает, почему судьба близко Христиану императорской семьи его беспокоит. Несмотря на все тяжелые обиды, который Вильгельм и его народ испытали со стороны тех, кто были прежде его друзьями, он не может отказать в сочувствии царской семье с точки зрения человеколюбия и, если бы это было в его власти, он все сделал бы для того, чтобы царская семья находилась в безопасности. Но для него невозможно при современной обстановке оказать непосредственную помощь: всякая попытка в этом отношении, исходящая лично от него или его правительства, лишь ухудшит положение семьи, так как будет плохо принята русским правительством и будет истолкована как стремление восстановить императорский трон. “Поэтому, к сожалению, – писал Вильгельм, – я не вижу никакой возможности чем-нибудь помочь в этом деле. Все действия, предпринятые правительствами Антанты, будут приняты также с подозрением. Единственный практический путь, по моему мнению, будет представительство перед русским правительством северных держав. Так как они нейтральны, легче поверят, что они действуют исключительно по мотивам гуманным, не преследуя никаких политических целей”. Результатом этой переписки явилось все же какое-то обращение в апреле к советскому представителю в Берлине Тоффе, который и заверил, что ни против одного из членов императорской семьи ничего не будет предпринято и что семья широко будет снабжена всем необходимым (Керенский, пользовавшийся документами Ягова, этот ответ датскому послу относит за счет немецкого правительства).

До начала мая в документах, опубликованных Яговым, нет больше откликов на судьбу царской семьи. За это время в Москве появился полномочный посол Германии гр. Мирбах, – фактически он прибыл в Москву 4 апреля ст. стиля. В своих сношениях с советской властью он “немедленно” поднял вопрос о царской семье. По Керенскому, эта “немедленность” следует почти непосредственно за прибытием немецкого посла: 24 апреля прибыл Мирбах и уже 27 он доносил в Берлин о своих переговорах с Караханом и Радеком по поводу положения екатеринбургских узников. У Керенского недоразумение в датах, спутанность старого и нового стиля – донесение Мирбаха относится к 10 мая по нов. ст. Фактически между прибытием Мирбаха в Москву и его представительством в пользу царской семьи прошел почти месяц. Немецкий посол мотивировал свое обращение к советской власти слухами о предположении перевести всех членов династии, находившихся в Великороссии, в

---

<sup>349</sup> Документ этот был опубликован в полемическом ответе на книгу б. французского посла Палеолога, который в книге, озаглавленной “Вильгельм II и Николай”, делал до известной степени немцев ответственными за гибель царской семьи.

Екатеринбург; он выражал надежду, что по отношению к “немецким принцессам” не будет допущено никаких насильственных действий. Советские дипломаты формально отнеслись, конечно, с полным вниманием к представительству германского посла. Обращение Мирбаха нашло тогда отклик в существовавшей еще несоветской социалистической печати и представлено было в виде “ультиматума”, поставленного московской властью германским послом и заключавшего, между прочим, в себе требование разоружения латышских частей и концентрацию военнопленных в Москве. Информация, очевидно, точною не отличалась, и московские газеты, напечатавшие ультиматум, были закрыты.

Таким образом, представительство о “немецких принцессах” было сделано тогда, когда царская семья была уже в Екатеринбурге, и было вызвано этим именно фактом. Царем немцы интересовались весьма мало – таково заключение ген. Дитерихса, и оно, по-видимому, гораздо более соответствовало действительности, нежели весьма необоснованная попытка связать миссию Яковлева с немецкой акцией в этом направлении. Для Керенского эта миссия, носившая определенно политический характер, остается пока полной загадкой: она означала или спешное выполнение до приезда Мирбаха настойчивых требований немцев, или желание поставить немецкого посла перед совершившимся фактом перемены в положении бывшего Царя. Керенский приходит к заключению, что переговоры о судьбе бывш. Императора велись с немцами тотчас же после заключения брестского мира, что вокруг этих переговоров в Москве шли споры, и что Ленин должен был по тем или иным причинам дать, хотя бы внешне, согласие на перевоз Николая II в Москву и, может быть, даже дальше. Булыгин, опирающийся будто бы исключительно на данные, полученные судебным следствием, легко разрешает загадку о “двойной игре” Москвы: “Большевики перехитрили немцев, и Свердлов, одной рукой исполняя требование гр. Мирбаха о вывозе из Тобольска Государя, другой делал свое заранее решенное дело, – отправляя Войкова и Сафарова для подготовки Екатеринбурга к задержанию вывозимого немцами Государя”. Булыгин даже определенно знает, что Яковлев был указан председателю ВЦИК Свердлову<sup>350</sup> не кем иным, как самим Мирбахом, которого и в Москве еще не было!

В соответствии со своими комментариями Булыгин излагает и те переговоры с Мирбахом, которые повели правые группы, связанные с Тобольском и обеспокоенные перевозом семьи в Екатеринбург. Это изложение в корень расходится с тем, что говорили сами представители этих правых группировок, давая показания следователю Соколову. Булыгин изображает так: “С самого начала пребывания гр. Мирбаха в России русские консервативные круги вели переговоры с ним о свержении власти большевиков и о спасении Государя и его семьи. В составе одной группы, представившей в свое время(?) графу Мирбаху всю опасность пребывания Государя в далекой Сибири, был и покойный следователь Н. А. Соколов. Другая группа “национального центра”, в которую входили, ныне тоже покойные, В.И. Гурко и А. В. Кривошеин, указала гр. Мирбаху на то, что если русским придется начинать борьбу с большевиками своими силами без помощи колеблющейся в этом вопросе Германии, то царской семье грозит безусловная опасность. Граф Мирбах неизменно отвечал: “Будьте спокойны... Царская семья находится под наблюдением и охраной нас – германцев. Мы знаем, что делаем. Когда придет время, германское имперское правительство примет свои меры”<sup>351</sup>. Приведенный текст (спаянность проблемы антибольшевистской борьбы со спасением Царя) вызывает немало возражений, – они сами собой, однако, выступают тогда, когда придется говорить о политических переговорах правых общественных организаций с представителем немецкой миссии в Москве. Вызывает полное недоумение указание, делаемое ближайшим помощником следователя Соколова на участие последнего в какой-то делегации к гр. Мирбаху. Казалось бы, он мог слышать об этом непосредственно от самого Соколова, между тем возможность такого разговора с Мирбахом совершенно не укладывается в схему, которую дает Соколов в

---

350 Для Вильтона и Свердлов только немецкий агент.

своей книге, – столь радикально она расходится со всей политической психологией следователя, ярко сказавшейся как на страницах его литературной работы, так раньше и на приемах расследования<sup>351</sup>. Но оставим это в стороне, главное то, что Мирбах ответил посетившим его делегатам: “Успокойтесь. Я знаю, что делаю. Обстановка в Тобольске мне известна, и когда придет время, императорское германское правительство примет свои меры...”

Наиболее полное показание дал Соколову “лидер русского монархического движения”, проживавший тогда в Петербурге, А. Ф. Трепов. В конце апреля в Петербург прибыл уполномоченный московской монархической группы сенатор Нейдгардт с целью обсудить с петербуржцами средства помочь царской семье и воздействовать на немецкую власть, которая представляла тогда единственную силу, могущую предотвратить опасность, буде она угрожала бы высшему Императору. Нейдгардт сообщил, что московская группа уже обратилась в германское посольство, однако она была далеко не удовлетворена отношением как к ней, так и к возбужденному ею вопросу со стороны германского посла. “Граф Мирбах, – по словам Нейдгардта, – сначала вовсе уклонялся от всяких сношений с группой. В конце концов он согласился принять Нейдгардта, но свидания были короткие, холодные, не дали ничего определенного и скорее, как говорил Нейдгардт, свидетельствовали об уклончивом отношении гр. Мирбаха к указанному вопросу об охране благополучия Государя и царской семьи”. В своих личных показаниях Соколову Нейдгардт пояснил, что он был три раза у Мирбаха: “В первый раз я был у него еще тогда, когда мы ничего не знали об отъезде царской семьи из Тобольска. В общей форме я просил Мирбаха сделать все возможное для улучшения ее положения. Мирбах обещал мне оказать свое содействие в том направлении и, если не сшибаюсь, он употребил выражение “потребую”. Когда мы узнали об увозе семьи, я снова был у Мирбаха и говорил с ним об этом. Он успокаивал меня общими фразами. На меня произвело впечатление, что остановка царской семьи в Екатеринбурге имела место помимо его воли”. В изложении Нейдгардта нет той определенности, которая проявляется в показаниях Трепова, сделанных со слов того же Нейдгардта. Очевидно, смятенность, введшая в заблуждение Булыгина, вызывалась какими-то особыми соображениями, о которых говорит странное пояснение, сделанное Соколовым в книге: “по некоторым причинам, о которых я не считаю возможным говорить здесь (?), сен. Нейдгардт сглаживал горечь мирбаховских ответов”. Эта “горечь” выступает уже очень определенно из показаний Кривошеина, выдержка из которых приведена Соколовым. Вот она: “Мы не преследовали при том (т.е. при обращении к немецкому послу) никаких политических целей и исходили из самых элементарных побуждений гуманности и нашей преданности семье. Гр. Мирбах принимал их (русских монархистов) весьма сухо, и сказанное им... сводилось приблизительно к следующему: “Все происходящее в России есть вполне естественное и неизбежное последствие победы Германии. Повторяется обычная история: горе побежденным... В частности, судьба русского царя зависит только от русского народа. Если о чем надо думать, это об ограждении безопасности находящихся в России немецких принцесс”“.

“Разделяя в душе соображения московских монархистов, я весьма обеспокоился создавшимся положением, – продолжает показания Трепов, – обсудив его совместно с Нейдгардтом, я остановился на мысли, что он обратится с письмом к об.-гофм. гр. Бенкендорфу и предложит ему написать письмо к гр. Мирбаху<sup>352</sup>. При этом я категорически высказался, что письмо это, на мой взгляд, во-первых, отнюдь не должно было иметь

---

<sup>351</sup> Кроме того, автор предисловия к книге Соколова, кн. Орлов, определенно свидетельствует, что Соколов, пензенец по рождению и по месту службы, “после большевистского переворота” “переоделся крестьянином, ушел из Пензы и слился с мужичьей средой”.

<sup>352</sup> Мирбах до войны долгое время жил в Петербурге, состоя в германском посольстве.



просительного характера, ибо в противном случае вопрос о жизни Государя Императора... носил бы не абсолютный, а условный характер. Я находил нужным высказать в письме, что по условиям тогдашней русской действительности одни только немцы могли предпринять реальные действия, способные достигнуть желательной цели. Поэтому, раз они могут спасти жизнь Государя и его семьи, то они и должны это сделать по чувству чести. Если они этого не исполнят, то явятся или могут оказаться в роли попустителей величайшего преступления, о чем мы в свое время объявим всему миру. Хотя для нас ясно, что они и сами это отлично понимают, дабы впоследствии не было никаких отговорок, и пишется настоящее письмо, дабы впоследствии они не могли сказать, что не были предупреждены нами о грозящей царской семье опасности. Кроме того, я находил нужным непременно поместить в письме, что настаиваем на необходимости, чтобы содержание его было доложено имп. Вильгельму, который вследствие этого и явится главным ответственным лицом в случае несчастья”.

Бенкендорф вполне согласился с Треповым и написал в таком смысле Мирбаху с ссылкой на свои личные к нему отношения. Нейдгардт на следующий день уехал: он “не увидел” на этот раз Мирбаха и оставил письмо в немецком посольстве. Это произошло 7 или 8 июня.

Помимо как бы официальных показаний, данных судебному следователю, со стороны монархических кругов мы имеем еще свидетельство в виде воспоминаний Гурко, принадлежавшего к составу того “правого центра”, из среды которого вышла инициатива переговоров с немцами, – в частности о судьбе царской семьи. Последние разговоры велись в частном порядке отдельными представителями крайнего фланга “правого центра”. Гурко сам в них не участвовал и в подробности не был посвящен, по собственному признанию. Однако он “отчетливо помнит”, что немцы, хотя и говорили, что их интересует лишь судьба великих княгинь немецкого происхождения, но одновременно утверждали, что “Царь находится в безопасности; что они имеют при нем своих людей, которые его охраняют”. “По целому ряду мелких подробностей, которых теперь ни воссоздать, ни припомнить я не в состоянии, – писал Гурко, – у меня тогда создалось определенное убеждение, что немцы были весьма заинтересованы охранением жизни тех лиц царской семьи, которые могли занять русский престол... Для меня совершенно ясно, что вывоз царской семьи из Тобольска произошел по германской инициативе и что ездивший в Тобольск за Государем Яковлев был связан с германцами. Мне сдается, что дело происходило так. Германцы неоднократно требовали от московской центральной власти доставления к ним Государя. В последний раз произошло это как раз после убийства их посла Мирбаха, когда они заявили намерение ввести в Москву части своих войск. Большевики этому самым решительным образом воспротивились. Тогда немцы отказались от этого намерения под условием передачи им русского императора. Большевики на это согласились, одновременно тогда же решив, что уничтожат всю царскую семью, сваливши ответственность на какие-нибудь местные учреждения. Так они и сделали, своевременно уведомив екатеринбургский большевистский комитет о предстоящем отъезде Царя”.

Воспоминания Гурко во всех своих частях, как это неоднократно указывалось в текущей эмигрантской литературе, не представляют собой образец точности изложения и не только потому, что в действительности тенденциозный мемуарист не всегда отчетливо помнит прошлое, которое описывает, и не всегда внимательно знакомился с литературой, на основании которой укрепился в своем убеждении. Надо ли говорить, что утверждение Гурко, что германцы “неоднократно” требовали от большевиков передачи им Николая II, – лишь домысел мемуариста, пытавшегося уверить читателя, что “немцы тогда уже понимали то, что вожди белого движения понять не сумели, а именно, что всякое антибольшевистское движение, не возглавляемое непререкаемым в представлении народных масс... авторитетом, не сулит успеха”. Таким же домыслом или отзвуком легенд лета 18 г. является утверждение, что немцы в виде компромисса после убийства Мирбаха потребовали передачи бывшего Императора (об этом будет сказано ниже). Не более обосновано и суждение о яковлевской миссии, – Гурко так неотчетливо в воспоминаниях представляет себе дело, что вывоз Царя из

Тобольска отнес на время после убийства германского посла, чем совершенно дискредитировал возможную объективную ценность своих абстрактных предположений.

Позднейшая схема Гурко, навеянная в значительной степени ознакомлением мемуариста с имевшейся уже литературой по вопросу, им затронутому, не представляется убедительной. В той предварительной фазе, о которой сейчас идет речь, показания монархических деятелей, данные следователю, представляют несомненно большую объективную ценность. Очерченные ими условия переговоров их с гр. Мирбахом как бы исключают сказанное о том, как Мирбах, “возмущенный неисполнением его требований”, запросил объяснения от Свердлова и получил ответ: “Когда лошадь горячится и бьет, ее нельзя рвать за узду. Надо ее погладить, и она сама войдет в конюшню. Что делать, – мы еще не организованы и должны считаться с властью на местах. Погодите – пусть Екатеринбург успокоится”. Ответ этот передается в повествовании Булыгина, – из каких документов следственного материала, конечно, остается неизвестным. Вероятно, такую точность надо отнести в область беллетристических прикрас к прозаическому утверждению Соколова, что Свердлов “обманывал немцев, ссылаясь на мнимый предлог неповиновения Екатеринбургга”. Очевидно, никакого запроса со стороны немцев и не поступало, за исключением того разговора, который Мирбах имел с Караханом и Радеком и содержание которого было передано в Берлин.

#### **4. Русские “германофилы” и их немецкие партнеры**

Переговоры о судьбе царской семьи, которые пытались вести с агентами, фактически оккупировавшей значительную часть европейской России, иноземной власти некоторые представители русской консервативной общественности, естественно, выходили за пределы соображений гуманитарных и расширялись до обсуждения проектов о свержении большевистского правительства. Эти проекты неизбежно должны были, однако, столкнуться с той двойственностью, которую приобрела политика Германии по отношению к России, – не только в силу неестественного компромисса, каким являлся для императорской Германии брестский мир, но и потому, что в руководящих кругах самой Германии не было единства мнения и не было заранее разработанного плана действий. Расхождение между военным командованием и дипломатией очень определенно наметилось уже в дни, когда еще в Брест-Литовске разыгрывались трагикомические сцены между немецкими империалистами и интернационалистами, выступавшими под знаменем русской власти, когда дипломат фон Кюльман, под давлением Австрии готовый идти немедленно даже на сепаратный мир с Россией, вел одну линию, а ген. Гофман вел другую, настаивая на продолжении перемирия и на заключении мира уже в Петрограде, если большевики не согласятся на немецкие условия.

В последующее время, когда украинский “хлебный мир” и “деловое” использование большевистских возможностей в Великороссии становилось до известной степени иллюзорным и наступило разочарование, противоречия на местах становились еще ярче, так как из центра (из Берлина), как засвидетельствовал один из наиболее вдумчивых немецких дипломатов Гельферих в своих воспоминаниях, не было определенных руководящих директив. Борьба шла в плоскости политики, строящейся на распаде и ослаблении России и тенденции поддержать ее единство. Основные вехи немецкой дипломатии расставлялись, конечно, на первом пути, и поэтому, несмотря на все представлявшиеся вариации, политика в отношении советской власти на территории, где эта власть существовала, была довольно однотипна. Гельферих имел полное право, в конце концов, сказать, что советская власть пережила все кризисы и выдержала борьбу только в силу близорукой политики Германии, пагубной для нее самой. В итоге контактная работа немцев и большевиков в Великороссии сочеталась с напряженной подчас борьбой на Украине, где местный ЦИК, например в апреле, открыто приглашал “уничтожать... германских разбойников”, которые по особому соглашению, не включенному в общий договор, гарантировали очищение Украины от

большевиков, и где во имя выполнения надежд на “хлебный мир”<sup>353</sup> призрачная власть Рады была заменена с элементарно-грубой простотой другой, послушной немецким велениям, властью ген. Скоропадского, опиравшегося на “хлеборобов”; формальный нейтралитет в центре не помешал немцам поддерживать антибольшевистские образования на окраинах, принять непосредственное участие в поддержке “мудрой политики” донского атамана Краснова, считать себя союзниками с ним в борьбе с большевиками и даже заключить с ним формальный договор о разделе “добычи” в случае совместного участия германских и донских войск”, и терпимо на первых порах относиться (по выражению Милюкова, даже “ухаживать”) к Добровольческой армии ген. Алексеева, поскольку она не выходила из сферы лишь психологического отталкивания по отношению к партнерам большевиков, позорным миром выведших Россию из международной войны<sup>354</sup>.

Мы имеем лишь абрис тех переговоров, которые велись в Москве представителями “правого центра”<sup>355</sup> весной и летом 18 г. с членами мирбаховского посольства и немецкого военного командования. При расплывчатости указаний и спутанности хронологии трудно их в точности конкретизировать. Кульминационным моментом надо считать июнь, когда на почве своего рода смены вех (перед тем шли переговоры с представителями союзников при участии того же Гурко, который доказывал французским собеседникам, что до свержения большевистской власти не может быть никакой надежды на возобновление Россией борьбы с Германией “правый центр” раскололся и из него выделилась группа, назвавшая себя “национальным центром” и олицетворявшая собой демократическое крыло прежнего объединения. Раскол определила позиция, занятая партией к. д. на ее еще апрельской конференции в Москве и резко разошедшаяся со взглядами, которые в это время пропагандировал неизменный лидер партии Милюков, находившийся на юге в районе Добровольческой армии, – “случилось так (по его собственным словам), что мои взгляды совпали с мнениями более правых течений в Москве и Петербурге”.

Милюков считал, что роль России “в мировой войне кончена”. Союзническая комбинация создания внутреннего “восточного фронта” казалась Милюкову “совершенно нежизненной” – он находил ее даже “опасной для России”, так как “расчленение России на две половины укрепились бы”. “Закон самосохранения” заставлял идти по пути, общему с немцами, которых Милюков считал победителями в “мировой борьбе”<sup>356</sup>. Эту “общую цель” Милюков представлял себе так: “восстановление государственного единства и возвращение к конституционной монархии”. Милюков целиком апробировал “политику” донского атамана – он говорит даже, что формула, осуществляемая Красновым, была “продиктована” им, Милюковым, при свидании в Ростове. По мнению Милюкова, освобождение отдельных частей России является началом здорового государственного строительства, хотя бы эти части и объявляли себя независимыми до восстановления единства России<sup>357</sup>. В силу этого Милюков приветствовал вхождение членов партии к. д. в

---

<sup>353</sup> Германский министр ин. д. в инструкции своему представителю на Украине гр. Мумму с ясностью определял: “главная цель нашей оккупации – обеспечение хлебом экспорта” – это “наше единственное условие в мирном договоре с Украиной”.

<sup>354</sup> По словам Деникина, категорическая вначале формула Добр. армии – “борьба с немецким нашествием” – постепенно была заменена боевым лозунгом: “никаких сношений с немцами”.

<sup>355</sup> Тайная организация, возглавлявшая спектр политических течений, создавших в 17 г. Московский совет общественных деятелей с расширением в сторону более крайнего консервативного сектора.

<sup>356</sup> Лукомский вспоминает, как настойчиво в Киеве ему доказывал этот тезис политик и как он, генерал, утверждал противоположное.

<sup>357</sup> Реально политика вынужденного сепаратизма, естественно, могла быть здоровым началом в целях государственного единства лишь в том случае, если областные правительства не превращались в “немецкие

правительство гетмана Скоропадского. Он был уверен, что Добровольческая армия не будет в состоянии освободить Россию от большевистского ига, и представлял себе это освобождение возможным только при условии, если соединятся – и притом немедленно – все силы, уже участвовавшие в свержении большевиков в разных частях России. Конкретный план реального политика заключался в том, чтобы вожди Добровольческой армии, пожертвовав на время искусственной целью – “всероссийскими замыслами” – и учтя фактически существующую обстановку (Дон и Украина), отказались бы от положения “Летучего Голландца” и объявили бы свою армию частью войска Донской области. Общими силами (Дона и Украины) надо было освободить Москву раньше, чем придут туда немцы, “Но возможности собственными силами, без прямой помощи” – в крайнем случае сохранить хотя бы “фикцию” такого русского освобождения.

Такой план мог быть осуществлен лишь по соглашению” с немцами. От своих политических единомышленников в Киеве Милюков получил информацию, что “с оккупационными войсками возможно разговаривать на почве восстановления русского единства”. 25 мая Милюков из Ростова выехал в Киев для того, чтобы собрать “материал” о возможности осуществления его плана, бывшего, по его мнению, “в то время единственным, который мог обещать скорое освобождение Москвы”. В Киеве Милюков попал в “водоворот слухов”. Одни говорили, что поход на Москву, переворот в Москве, восстановление монархии и создание национального русского правительства представляется немцам “неотложной и ближайшей” задачей; по другим сведениям, этот план был уже отброшен и возобладала снова теория раздробления. Милюкову казались, однако, более достоверными первые слухи, и поэтому он считал, что для осуществления его плана “наступил последний момент”. Но планы Милюкова не встретили сочувствия со стороны Алексеева – помешало “доктринерство” и “психология” генерала, в корень расходящаяся с тактической позицией “реального” политика: Алексеев считал, что “с немцами, как с врагами России, Добровольческая армия не имеет права и возможности вступить в переговоры, а тем более заключать какой-либо договор”. Выход Добр. армии из намеченного плана равносильно был крушению всего плана – констатирует Милюков. “От него приходилось отказаться уже просто потому, что только при наличии этих сил немцы могли идти на уступки, только при помощи этих сил могло состояться самое движение на Москву, и только при таких условиях в самой германской среде имела шансы на победу тенденция объединения России, распространенная среди военных, но встречающая противодействие в дипломатах и Рейхстаге”.

Но до получения ответа Алексеева Милюкову пришлось уже закончить свою киевскую “разведку” у оккупантов. О той “частной беседе”, которую он имел с ответственным лицом и в которой он поставил свои “условия”, доведенные до “высшего места”, Милюков не рассказал в напечатанных воспоминаниях. Мы ничего не знаем, кроме заключения автора, что “на них не согласились”, о чем посредник и получил своевременное уведомление. В более поздней, по отношению к киевскому эпизоду, памятной записке, посланной Милюковым в Москву “правому центру” (она напечатана у ген. Деникина – и о ней нам придется еще упомянуть), где излагается, между прочим, история первоначальных киевских разговоров, Милюков упоминал, что он вел – помимо беседы с Oberkommando – “поверхностный” разговор с самим немецким послом на Украине гр. Муммом и что вел он его будто бы по “германской инициативе”. Каков тогда по существу был ответ, можно судить по заключительному письму, направленному Милюковым Алексееву 18 июня: “На этом теперь надо поставить крест – и не только потому, что перемена ориентации Добровольческой армии оказывается невозможной, но и потому, что, если бы она и совершилась теперь, она бы уже запоздала. Ибо является другой фактор, выбивающий у

---

куклы”, т.е. не следовали на практике за “планом” расчленения России, который в теории преследовала официальная германская политика. Характерно, что этот образный термин “немецкие куклы” употребил в официальном донесении не кто иной, как представитель австрийского военного командования на Украине.

меня почву из-под ног: усиление опасности для германцев на востоке, вследствие движения чехословаков и предстоящего японского десанта. В такой момент германцам, очевидно, некогда думать об объединении России, и то течение, которое эту мысль поддерживает, поневоле отодвигается теперь на второй план. Германцы, видимо, придут в Москву, но придут не как освободители Москвы от большевистского насилия, о чем они подумывали раньше и для чего могла бы им пригодиться Добровольческая армия. Они придут как союзники большевиков и их защитники от нападения союзников”.

Соответствовали ли предвидения Милюкова тем мотивам, в силу которых его миссия потерпела у немцев неудачу? Восстановление “восточного фронта” было еще очень далеко от каких-либо реальных очертаний, так как к концу лишь мая надо отнести крах иллюзии Антанты о возможности противогерманской интервенции в России при содействии советской власти – иллюзии, выросшей на почве разыгранного большевиками водевиля (см. мою книгу “Трагедия адм. Колчака”, т. I). В первоначальной своей стадии этот вообще фантастический, по мнению Милюкова, “восточный фронт” не представлял для немцев прямой и непосредственной угрозы<sup>358</sup> и, если бы одна из чашек весов немецкой политики действительно склонялась уже в сторону воссоздания в России национального правительства, ответственные эмиссары Берлина, вероятно, ухватились бы за выгодное для них посредничество лидера партии, представлявшей широкие слои либеральной буржуазии и отчасти не-социалистической демократии. И все дело было в том, что свержение большевистской власти в центре все еще не входило в планы оккупантов России, – быть может, здесь и лежала истинная причина того, что киевский посредник едва не был выслан из Украины по настоянию того самого Мумма, с которым переговаривался. О том, что угроза “восточного фронта” не являлась решающим фактором в киевском июньском эпизоде, видно уже из того, что сам Милюков вопреки тому, что он писал Алексееву, отнюдь не считал проигранной свою шахматную комбинацию в пронемецкой политике – он к ней вернулся еще с большей уверенностью в успехе. Со своей стороны, ген. Гофман в воспоминаниях подчеркивает, что угроза со стороны чехословацких легионов закинуть “кольцо вокруг Германии” заставляла его настойчиво добиваться изменения политики на востоке – в смысле отказа от брестского мира, похода на Москву и заключения союза с новым русским правительством.

Московская обстановка подтверждает сделанную нами оценку. В Москве позиция союза с немцами для борьбы с большевиками наталкивалась в интеллигентской массе на ту же доктринерскую “психологию”, что и в Добровольческой армии. Московская конференция партии народной свободы, как было указано, резко разошлась со взглядами своего неизменного политического вождя, пользовавшегося прежде непререкаемым авторитетом в среде единомышленников. О настроениях, проявившихся на конференции, мы можем судить по воспоминаниям Устрялова, напечатанным в харбинском альманахе “Русская Жизнь” (23 г.) – в органе дальневосточных “сменовеховцев”. Группа Устрялова, издававшая тогда в Москве журнал “Накануне”, в значительной степени примыкала к позиции Милюкова. Борьба с большевиками, по его мнению, возможно было лишь исходя из признания факта окончания войны для России; мечты союзников о восстановлении Восточного фронта с помощью большевиков представлялись ей нелепыми. Союзники здесь просто шли на удочку большевиков, стремившихся заручиться лишним козырем в игре с Германией. Самый факт подобных колебаний союзников заставлял “национальное общественное мнение” принять какие-либо контрмеры. “И поневоле наш взор стал пристальнее задерживаться на сером особняке Денежного пер., где обитал гр. Мирбах”. “В немецкой прессе мы находили знаменательные встречные отзвуки наших настроений и надежд” (статья “Vos. Zeitung”, содержащая в себе решительную критику агрессивной немецкой политики на Украине).

---

<sup>358</sup> Милюков весьма искусственно пытается объяснить продвижение немцев вглубь Украины, ее оккупацию страхом перед возрождением “восточного фронта” – объяснение это противоречит всем официальным свидетельствам самих немцев (см. воспоминания Людендорфа).

Группа Устрялова полагала, что можно добиться радикального изменения Брестского договора. Устремление в Денежный пер. определяло собой и пересмотр политической идеологии: в воздухе партии “народной свободы”, по признанию Устрялова, недвусмысленно запахло “диктатурой”. В тактическом докладе, порученном Ц. К. лидеру “правой” группы Новгородцеву, эта новая ориентация была выражена в терминах “до последней степени туманных и расплывчатых”. Новгородцев рекомендовал “сугубую осторожность в выявлении партийной ориентации” – открыто не рвать с союзниками, но и не жечь мостов в направлении Денежного пер. Однако аргументы эти не имели успеха на конференции, которая последовала за докладом по внешней политике Винавера, придавшего своим антантофильским тезисам нарочито ударный характер. Устрялов признает, что подобная ударность отвечала тогдашним настроениям партийной массы (впоследствии в своих показаниях перед большевистским следователем Котляревский скажет, что “особенно непримирима была кадетская масса” – компромисс вызывал “негодующие возражения”), благо Россию она видела лишь в полном единении с союзниками<sup>359</sup>.

Кадетам пришлось выйти из “правого центра”. “Правый центр” потерял какой бы то ни было кредит в Денежном переулке, – утверждает Устрялов. – Мирбах воочию убедился, что единственной опорой Германии в России является советская власть”. Таким образом, “отпали всякие надежды на возможность так или иначе посорить немцев с большевиками”. Такое заключение не совсем отвечает конкретной обстановке исторического сценария, ибо немецкая политика оставалась фактически неизменной, противоречивой и двойственной в отдельных случаях, каковой она была со дня заключения Брестского мира. Деятели “правого центра”, быть может, вступившие в непосредственные политические сношения с особняком в Денежном переулке лишь после того, как произошел официальный раскол в группе, фактически вращались в том же самом “водовороте слухов”, в какой попал Милуков в Киеве.

Эти “слухи”, хотя бы полученные непосредственно от неких немецких “лейтенантов” в частных беседах и разговорах немцев с промышленниками (их засвидетельствовал Рябушинский), толковались применительно к собственным надеждам и вождениям. Яркую иллюстрацию дают воспоминания ген. Казановича, посланного Алексеевым в Москву для установления связей с московскими общественными кругами. Он присутствовал на заседании еще объединенного центра, на котором обсуждалась конкретная возможность Восточного фронта, а ген. Цихович доказывал его утопичность (это было в середине июня по нов. ст. – Казанович прибыл в Москву 28 мая ст. ст.). Казанович, всецело разделявший “психологию” Добр. армии, которая, по мнению Гурко, “задрапировалась в тогу скудоумного ламанческого рыцаря Дон Кихота”, выступил с возражением Циховичу и говорил о необходимости и целесообразности возобновления борьбы с немцами. На это он получил реплику Гурко: “Пока Государь Император из Москвы не повелел бы вам прекратить борьбу”. “Какой император? – ответил алексеевский посланец. – Если это будет ставленник немцев, то, может быть, мы его и не слушаем”. Самогипноз был настолько силен, что Гурко, как мемуарист, утверждает, что с момента гибели Царя отношение немцев к их группе, ведшей переговоры об оказании помощи в деле свержения большевиков, “резко изменилось”. “До этого момента они говорили о возможности прибытия в Москву... некоторых немецких частей для непосредственного участия в перевороте; после этого... они лишь усиленно убеждали... произвести его собственными силами”, указывая, что помогут косвенно, заставив примкнуть к переворотчикам “один из латышских полков”. “Коль скоро непререкаемого представителя царской власти в России не стало... та часть германских правителей, которая делала ставку на восстановление легитимного монарха в России, отступилась от мысли сменить в России большевистскую власть какой-либо иной”. На

---

<sup>359</sup> Отсюда видно, с какой осторожностью надлежит относиться к показаниям современников – с. р. Евгения Ратнер на московском процессе категорически заявляла, что все кадеты с Милуковым во главе из антантофилов превратились в германофилов.

основании безответственных “слухов” в разговоре Гурко говорит уже, что немцы давали “обещание” пересмотреть Брест-литовский договор и что “германское правительство перешло на точку зрения германских военных кругов о необходимости в германских интересах... покончить с большевиками”.. Слухи эти, вероятно, шли от тех военных организаций, которые по идеологии примыкали к “правому” сектору русской общественности, и питались из немецких источников – по крайней мере оттуда постоянно шла информация о тех двух неделях, в течение которых Москва должна быть оккупирована<sup>360</sup>.

А что говорили ответственные люди из германского посольства в Москве в своих частных и полуофициальных разговорах с представителями русской общественности? Так, мы знаем, что от “правого центра” были командированы специальные лица для переговоров с советником немецкой миссии бар. Рицлером, которого считали правой рукой посла. Человек, близкий к Совету об. деятелей, Виноградский, охарактеризовал эти переговоры в показаниях по делу так называемого Тактического Центра: “немцы водили Пр. Центра за нос” – затягивали переговоры, были уклончивы, “не желая рвать с ним на всякий случай”. Виноградский с чужих слов повторяет рассказанное Гурко (также с чужих слов), прибавляя по отношению к Рицлеру ограничение “будто бы”. В показаниях историка С. Котляревского (по тому же процессу) позиция Рицлера выступает гораздо более определенно. Котляревский встретился с Рицлером в частном доме (в мае) и в этой непринужденной обстановке<sup>361</sup> имел с ним беседу на политическую тему. В “осторожных” выражениях Рицлер “откровенно” сказал, что “надежды некоторых русских кругов на германское вмешательство иллюзорны. Советская власть заключила с Германией мир. Протестуя против пропаганды большевизма в Германии, немецкое правительство не может позволить себе агитировать в России. Оно будет сохранять полный нейтралитет. К тому же советское правительство не дало никакого повода для вмешательства”. Далее Рицлер полагал, что правые круги в России совершенно бессильны, и к тому же германское правительство вообще не сочувствует им, как не сочувствовало царскому строю, разрушенному революцией. Русская монархия лишь скомпрометировала монархические начала...

Вообще Рицлер думал, что в России возможно правительство лишь довольно левое, но всякое правительство, кроме большевистского, вероятно, возобновило бы войну с Германией<sup>362</sup>. По поводу Брестского мира мирбаховский советник высказывал мнение, что при окончательной ликвидации войны договор будет “можно пересмотреть в духе, отвечающем длительным добрососедским отношениям”. Рицлер указывал, что Рейхстаг против вмешательства в русские дела – о вмешательстве могут думать лишь восточные “пруссские аграрии”, но их влияние в Германии сильно уменьшилось.

Так высказывался человек, который имел большое влияние на Мирбаха. Подобные оценки не могли подавать больших надежд на низвержение большевистской власти при содействии немецких штыков, а еще менее на монархическую реставрацию. Позже, через месяц, сам Мирбах имел случай высказаться, также в частной беседе, но у себя уже на дому.

---

<sup>360</sup> Подобная “информация” о монархическом перевороте, опиравшемся на немцев, систематически отмечается в дневнике моего современника; об этом ожидаемом перевороте говорил в своих показаниях в Ч. К. арестованный латышский офицер Пинка, один из активных участников савинковской организации: по данным организации ген. Довгерта, с которой был установлен контакт, показывал Пинка, Германия должна была оккупировать Москву к 15 июня.

<sup>361</sup> Рицлер сам был историком; с отцом его Котляревский был знаком еще в Мюнхене.

<sup>362</sup> Кадеты все заражены ненавистью к Германии и находятся под полным влиянием англичан, и даже если бы Германия хотела низвергнуть советскую власть, работать на передачу власти в их руки значило бы работать на англичан. Ходячая молва рицлеровским словам дала такую формулировку: “этого спектакля мы русской буржуазии не дадим”.

За несколько дней до покушения в Денежном пер. посла посетил один из князей Оболенских – посетил по личному делу, желая выбраться за границу и передать московскому “генерал-губернатору” большевистские прокламации, распространившиеся между военнопленными, которые работали в его каменноугольных шахтах в Тульской губернии<sup>363</sup>. Оболенский, несмотря на свои связи “со многими немецкими семьями”, с некоторым все же трудом проник к послу, так как последний никого не принимал. В случайной, следовательно, аудиенции Оболенский коснулся и своего “несчастливого отечества и его интересов в отношении Германии”. “Ведь вы в полном смысле диктатор, – сказал Оболенский, – и я, и мои друзья, и тысячи моих единомышленников желали бы знать, что нам от вас, т.е. Германии, можно ожидать? Ибо сейчас создавшееся положение не может же продолжаться?.. От большевиков Германия ничего не может ожидать хорошего, кроме коммунистической пропаганды... Только ультрамонархическая Россия может установить вновь твердые, честные, дружеские отношения с Германией”. Мирбах ответил речью, которую, по словам Оболенского, можно было назвать французским выражением “une conference” “дипломатического” образца, и прежде всего отметил, что “не вправе” открывать свои карты: “Но могу вам сказать, не навсегда же мы связаны с большевиками... Но с кем же нам было договариваться, кроме как с ними?.. Это была единственная организация, которая стояла у руля русской власти. Вы говорите, что тысячи монархистов, ваших единомышленников, стоят за вами?.. Но у вас нет никакой организации. Припомню вам старую поговорку: *Aidez vous-memes et Dieu vous aidera*. Я же ее перефразирую так: помогайте себе сами, а Германия вам поможет... Но какую вы хотите получить помощь... когда нам от этого нет особой пользы? Мне недавно говорили: большевики ваши враги, как наши; дайте нам два армейских корпуса, и мы водворим тотчас порядок. Сейчас мы и не располагаем свободными войсками – их нет *en disponabilite*. Итак, я резюмирую сказанное: дайте нам сильную твердую организацию, и мы тогда с вами столкнемся, а до этого не может быть и речи”.

Как все это далеко от утверждения Гурко, что к моменту процитированного разговора с немецким послом в Москве “германское правительство перешло на точку зрения германских военных кругов о необходимости в германских интересах воссоздать порядок в России и покончить с большевиками”. Действительность еще дальше отстояла от категорических выводов сибирского следствия (в лице Булыгина и его безапелляционных суждений они принимали особую прямолинейность) о том, что план ген. Гофмана “начал исполняться” – “коротким ударом” в двух направлениях, из Украины и Риги, двигаться на Петербург и Москву, забирая по дороге организованных на местах военнопленных и русские монархические отряды германского направления. Булыгин отнесет осуществление плана к моменту яковлевской миссии: немцы “не могли не понять, что начинавшие зарождаться на территории Сибири антибольшевистские начинания будут стремиться овладеть Тобольском и освободить Государя, дабы не оставлять его в угрожаемом белыми месте, хорошо учитывая все то, что может произойти от соединения враждебно к Германии относящихся Государя и Императрицы с антибольшевистскими военными организациями антантовской ориентации. Но большевики перехитрили графа Мирбаха”. Немецкий майор фон Ботман, состоявший уполномоченным военного командования при московском посольстве, не сомневается в своих воспоминаниях, что большевики приняли бы беспрекословно требования об освобождении Царя. Но такого требования никогда не было сделано. В июне, когда в Москве распространились слухи, попавшие и в печать, о гибели бывшего Императора в связи с столкновениями, которые произошли в Екатеринбурге между советскими войсками и чехословаками, двигавшимися на восток по сибирской магистрали, как видно из

---

<sup>363</sup> Это был быв. штальмейстер имп. Александра II, тульский предводитель дворянства, кн. Д. Оболенский, он не имел прямого отношения к кн. Алексею Д. Оболенскому, б. обер-прокурору в кабинете Витте и высказывавшему, по словам Гурко, еще во время войны германофильские чувства и принимавшему “живое участие” в московских переговорах: на его квартире происходили частые собеседования с Рицлером, при участии приехавшего специально с этой целью бар. Нольде.



опубликованной Яговым дипломатической переписки, Мирбах обратил внимание Чичерина (21 июня) на необходимость опровергнуть это сообщение в интересах самой советской власти, если сведения, вызывающие большое негодование в широких кругах, неверны<sup>364</sup>. Вследствие телеграммы Мирбаха и министр ин. д. Кюльман счел нужным тотчас же запросить советского представителя в Берлине Иоффе. В личном рапорте Императору, сделанном на другой день по получении телеграммы Мирбаха, Кюльман докладывал Вильгельму, что советский представитель в Берлине не имеет никаких известий по этому поводу, но что он предполагает возможность катастрофы, особенно в случае победы чехов, так как последние широко объявляют, что ведут борьбу во имя Царя, и это вызывает сильное возбуждение в низших слоях населения. На указание Кюльмана, что такой исход вызовет во всем цивилизованном мире негодование, Иоффе ответил, что в этом он отдает себе полный отчет и много раз телеграфировал в Москву о необходимости обеспечить безопасность царской семьи. В принципе, по словам Иоффе, было уже решено перевести семью в Москву, но перерыв железнодорожного сообщения и чехи мешают осуществлению этого проекта – в настоящий момент советское правительство бессильно что-нибудь предпринять в этом отношении... Через несколько дней Чичерин сказал Мирбаху, что по сведениям правительства попытки контрреволюционеров в Екатеринбурге ликвидированы и что Царь невредим – деталей он не знает, так как телеграф работает плохо; по сведениям, проникшим в буржуазные круги, царская семья находится в поезде близ Перми...

\* \* \*

Комментаторы приведенной дипломатической переписки, как и сам публикующий, не сомневаются в том, что июньский эпизод был лишь “пробным шаром” со стороны советской власти – психологической подготовкой убийства, совершенного через какие-нибудь 2 – 3 недели. Прежде чем делать заключение, рассмотрим, однако, всю фактическую канву событий, предшествовавших екатеринбургской драме. И прежде всего постараемся ответить на вопрос, откуда могла возникнуть легенда, как мы знаем, поддержанная Гурко и мало отвечающая тенденциям тогдашней германской политики, о том, что после убийства гр. Мирбаха (6 июля) немцы вдруг оказались столь заинтересованными в личной судьбе Николая II, что готовы были даже отказаться от своего требования ввода батальона войск в Москву под условием передачи им бывшего русского Императора. Напомним, что по концепции Гурко большевики на это требование согласились. Еще бы! По словам полубольшевика-полуспеца на службе советской власти, Соломона, вожди были так в этот момент растеряны, что считали, что им “грозит виселица...” Согласились... и одновременно решили уничтожить царскую семью!

Заглянем немного вперед, и происхождение легенды станет ясно. Она скорее всего возникла на почве не совсем точного толкования в изыскании следователя Соколова одного из дипломатических документов, опубликованного Яговым и раньше в Берлине переданного бар. Рицлером Соколову. Прочитав официальное советское сообщение по поводу убийства Николая II и о перевозе Алек. Фед. с сыном в “безопасное место”, Рицлер 19 июня запросил свое министерство ин. д., “должно ли быть повторено решительное представление относительно бережного отношения к Императрице, как германской принцессе”, причем сам Рицлер считал опасным говорить о маленьком Алексее, так как “большевикам, вероятно, известно, что монархисты склонны выставлять на первый план Цесаревича”. Этот документ, один из четырех комментируемых Соколовым, не дает никакой почвы для легенды и служит прямым ее опровержением. На другой день Рицлер передал в министерство свою беседу, которая происходила накануне, но, очевидно, после посылки телеграммы-запроса в Берлин, с

---

<sup>364</sup> В своей телеграмме в Берлин посол не говорил прямо о гибели Царя, а лишь о том, что по слухам семья пострадала при захвате Екатеринбурга. По сообщению Мирбаха, Чичерин “вяло” ответил, что нет никакого смысла опровергать в каждом отдельном случае циркулирующие слухи – так их много ходит в данный момент.

советскими дипломатами Радеком и Воровским... “Я вчера сказал Радеку и Воровскому, что весь мир самым строгим образом осудит расстрел Царя и что императорский посланник должен решительно предостеречь их от дальнейшего следования по этому пути. Воровский ответил, что Царь расстрелян лишь потому, что в противном случае им овладели бы чехословаки, и в таком случае государства Антанты имели бы его в качестве заложника. Радек высказывал личное мнение, что если мы проявим особый интерес к дамам царской семьи германской крови, то, может быть, удалось бы освободить Царицу и наследника (последнего, как неотделимого от матери), как компенсацию в вопросе, с гуманитарным обоснованием”. Цитирую так, как документ приведен у Соколова, по комментариям которого выходило, что немцы готовы были компенсировать свое требование (ввода батальона) согласием большевиков оградить жизнь “немецких принцесс” и наследника, как неотделимого от матери. Соколов напечатал (или получил) депешу Ритцлера 20 июля с сокращением. Пропущены строки, содержащие в себе как бы личные соображения бар. Ритцлера и придающие иной оттенок документу. “Если во время переговоров по поводу батальона, – телеграфирует Ритцлер, – Иоффе действительно предложит и державам Антанты иметь в Москве военную силу для защиты против каких-нибудь неожиданностей с нашей стороны<sup>365</sup>, может быть, удастся добиться и освобождения Царицы с наследником (под предлогом невозможности их раздела), выставляя мотив человеколюбия. Для последующего развития контрреволюции чрезвычайно важно вырвать царевича из рук большевиков и тем самым помешать антантовским державам воспользоваться им и в случае необходимости противопоставить его Михаилу Александровичу”.

Впервые среди немецких дипломатических документов, дошедших до нас, был открыто поставлен политический вопрос, но он был лишь косвенно связан с эпизодом убийства гр. Мирбаха и даже гибелью Николая II. Соображения бар. Ритцлера о будущем в гораздо большей степени являлись откликом настроений, которые можно было отметить в это время в Зап. Европе в среде английских и французских дипломатов, намеревавшихся опереться на монархические тенденции в России, под влиянием информации, в связи с выступлениями Милюкова, о переходе будто бы либеральных групп на сторону Германии – явилось стремление перехватить на свою сторону ускользающую силу. Керенский в расширенном толковании ритцлеровского текста идет так далеко, что готов заподозрить немецкого дипломата даже в одобрении расправы со старым Императором – сын будет претендентом “немецкой ориентации”, если будет поставлен вопрос о реставрации и выдвинута кандидатура Мих. Ал. Но в данном случае нас интересует не эта сторона вопроса, а упомянутая легенда в более узком смысле слова. Здесь двусмыслицы в толковании нет, ибо Ритцлер в документе, отправленном через несколько дней (24 го), подчеркнул, что добиться освобождения немецких принцесс (о наследнике он уже не упоминает) возможно будет лишь в совокупности соглашения по другим вопросам. Для самих принцесс будет рискованно, подчеркивает Ритцлер, проявить слишком большую заинтересованность в этом вопросе, так как московское правительство проявляет большее недоверие в отношении ходатайствующих, чем то было раньше. Этот вывод явился в результате представления о Царице и принцессах немецкой крови, который сделал представитель Германии Чичерину согласно инструкции, полученной из Берлина в ответ на свой запрос, – представления, которое Чичерин принял “молча”. В телеграмме 24-го Ритцлер сообщал, что Чичерин заявил ему, что Царица переведена, по его сведениям, в Пермь (сообщение немецкому дипломату показалось весьма сомнительным), что он никаких гарантий дать не может, но думает, что с ними ничего не случится, “если они в чем-либо не окажутся “виновными””.

---

<sup>365</sup> Советская власть подняла вопрос о возвращении дипломатических миссий Антанты в Москву. 14 июля Чичерин формально отправил соответствующую ноту дипломатическому корпусу, который пребывал в Вологде, и вместе с тем еще и своего представителя, Радека, для личных переговоров. Союзные миссии отказались, сославшись, между прочим, на то, что они не осведомлены о мерах, принятых Германией для охраны своего посольства.

Эти бесплодные и фальшивые переговоры продолжались и в последующие месяцы – мы к ним вернемся. А теперь обратимся к прерванному рассказу, хотя добавить остается лишь несколько штрихов. Ведь совершенно очевидно, что ничего похожего на подобие договоренности между представителями правого центра и немецким посольством не было; никакого плана в духе пожеланий правого центра не осуществлялось. Немцы в дни убийства Мирбаха больше интересовались хлебом и сахаром на Украине и нефтью на Кавказе, нежели монархом, который должен был возглавить национальное движение и находился в заключении в Екатеринбурге. Как показательна в этом отношении телеграмма Ленина Сталину 7 июля (опубликована была в “Правде” 21 января 36 г., по поводу двенадцатой годовщины со дня смерти Ленина). Она сообщала об убийстве Мирбаха, совершенном в “интересах монархистов и англо-французских капиталистов”, так как советская власть стоит “на волосок от войны”, и информирует Сталина о предложении, которое сделали немцы Иоффе: они “согласились бы приостановить наступление турок на Батум, если бы мы гарантировали немцам часть нефти”. “Конечно, мы согласимся”, – добавлял Ленин. Вот реальная политика, которая исключала возможность какого-либо ультиматума, связанного с именем Царя и компенсирующего им отказ ввести немецкие войска в Москву.

Во взаимоотношениях двух политических контрагентов никакого изменения не произошло. Если нужна еще иллюстрация, ее можно найти в воспоминаниях ген. Мосолова, находившегося в Киеве и со своим сослуживцем герцогом Лейхтенбергским и кн. Кочубеем обдумывавшего план спасения царской семьи при косвенном содействии немецких военных властей. В силу своих родственных связей с баварским кронпринцем, Лейхтенбергский имел свободный доступ к начальнику немецких оккупационных войск на Украине ген. Эйхгорну и к нач. его штаба ген. Гренеру – Лейхтенбергский и был посредником у монархистов в сношениях с германскими властями. “Немцы оказались очень предупредительны, – рассказывает Мосолов, – открыли нам кредиты и обещали предоставить в наше распоряжение пулеметы, ружья и автомобили. Наш план заключался в том, чтобы зафрахтовать два парохода и послать их с доверенными офицерами вверх по Волге и по Каме. Предполагалось образовать базу верстах в 60 от Екатеринбурга и затем действовать, смотря по обстоятельствам. Мы послали в Екатеринбург разведчиков... Они должны были войти в сношения с немецкими эмиссарами, тайно пребывавшими в городе<sup>366</sup>, содействием которых необходимо было заручиться, ибо иначе нельзя было рассчитывать на успех дела. Я знал, что Государь не согласится променять заточение у большевиков на плен в Германии. Чтобы уточнить создавшееся положение, я написал Вильгельму II письмо, которое передал гр. Альвенслебену, причисленному к особе Гетмана. Граф должен был в тот же день выехать в германскую главную квартиру. В этом письме я просил германского Императора заверить Государя, что ему и его семье будет дан свободный пропуск до Крыма, где он будет считаться военнопленным Германии... “Приехав обратно в Киев”, Альвенслебен не подал мне признаков жизни. Тогда я сам пошел к нему. Граф А. сконфуженно объяснил мне, что кайзер не мог дать никакого ответа, не посоветовавшись со своими министрами. Альвенслебен рекомендовал мне повидаться с гр. Муммом, дипломатическим представителем Германии при Гетмане. Гр. Мумм категорически отказался помогать нам. По его словам, он был поражен, узнав, что военные власти нам обещали свою помощь. Впредь мы не должны рассчитывать на помощь Германии. В течение двух часов я делал всяческие усилия переубедить его”. Но старания Мосолова не увенчались успехом. Мумм “не согласился с тем, что для Германии важен вопрос о спасении Царя”. “Через несколько дней после этого, – заключает Мосолов свою повесть о еще одной неудачной попытке заняться

---

<sup>366</sup> Очевидно, по организации военнопленных (см. соответствующую главу в т.1 “Трагедия адм. Колчака”). По сведениям Нуланса в Екатеринбурге было 22 000 пленных, из них 4000 было зачислено в “красную армию”. Большевицкие историки свои иностранные части во время боев под Екатеринбургом исчисляли в минимальных цифрах: отряд “мадьяр” 150 чел.; китайцев 100. Если одна цифра была значительно преувеличена, то другая приуменьшена.

спасением царской семьи, – мы узнали о екатеринбургской трагедии”.

## 5. Немцы на распутье

В повествовании Мосолова отчетливо выступили отличные позиции военного командования и дипломатии, и, таким образом, мы снова имеем яркий пример той двойственности, которой отмечена вся немецкая политика в России 18 г. Наиболее важным для нас будет, однако, свидетельство умного немецкого дипломата Гельфериха, попавшего на очень короткий срок в конце июля в Москву в качестве официального заместителя погибшего Мирбаха. Прибытие Гельфериха могло означать перемену в пробольшевистской позиции Берлина.

Гельферих говорит, что Мирбах неоднократно делал представления в центр о необходимости определенной политики в отношении советской власти, но министерство ин. д. всегда уклонялось от точных директив, отнюдь не поощряя, однако, развитие тех связей с враждебными большевикам общественными кругами, который намечались в частных московских беседах. Может быть, в недрах немецкой дипломатии уже намечалась тенденция, склонявшая весы в сторону большевиков, но выбор не был еще сделан, и назначение Гельфериха отнюдь не могло означать конца компромиссной политики и разрыва с антибольшевистскими элементами, как то склонны изобразить некоторые из современных тому времени свидетелей с русской стороны. “Гельферих не изъявил ни малейшего желания видаться с политическими деятелями старого порядка и уклонялся от свидания с ними”, – заявлял, например, в своих показаниях Виноградский. Вероятно, так и было по отношению к представителям “правого центра”, которые вели переговоры все же под ограниченным углом зрения реставрации старой монархии. Из воспоминаний самого Гельфериха приходится заключить, что в дни своего короткого пребывания в Москве он встречался с какими-то представителями той антибольшевистской общественности, которую он именуется “демократической”: он непосредственно ссылается на отзывы этих своих собеседников о пагубности для самой Германии просоветской позиции берлинской дипломатии, которая отождествляет Россию с большевизмом. С русской стороны мы не имеем никаких указаний на эти разговоры. Логически можно было бы предположить, что одним из собеседников Гельфериха должен был бы сделаться бар. Нольде, приехавший из Петербурга в Москву для ранних разговоров с бар. Ритцлером и лично хорошо знавший Гельфериха. Деникин, ссылаясь на “официальный обзор” сношений “правого центра” с немецкими дипломатами, говорит, что для более ответственных шагов центром были специально уполномочены бар. Нольде и кн. Гр. Трубецкой – последний (очевидно, в июне) выехал на юг для установления связей с Добровольческой армией, с Доном и Киевом, где, как предполагалось, “достаточно подготовлена почва для соглашения с немцами”. Но Нольде в личной беседе со мной решительно отрицал такие полномочия и говорил, что его участие вообще ограничилось информационной беседой с Ритцлером на квартире кн. Оболенского. От Трубецкого Милюков узнал о московских настроениях, звучащих в унисон с его новой ориентацией, и настолько в ней закрепился, несмотря на киевский афронт, что в “записке” для московского “правого центра”, помеченной 29 июля (11 августа), он уже определенно говорит, что “официальная” точка зрения немецкого правительства, представленная до сих пор дипломатией и Рейхстагом, а также самим Императором<sup>367</sup>, с оставлением поста министра ин. д. Д. Кюльманом перестает быть официальной, и что “серьезные шансы сделаться официальным” имеет другое течение, число адептов которого возрастает среди влиятельных военных кругов и на левом фланге либералов и социалистов. Это течение склоняется к

---

<sup>367</sup> Наиболее прямолинейно эта точка зрения была высказана известным публицистом Рорбахом. Немецкая политика, поддерживая большевиков в Великой России, по его мнению, должна была парализовать возможную русскую опасность в будущем.

пересмотру Брестского договора. И Милюков спешит в записке 29 июля – 11 августа набросать “программу” действия будущего “национального” правительства, составленного по коалиционному принципу, но “с устранением сторонников самодержавия” и “сторонников ориентации левого центра” – правительства “по необходимости благожелательного относительно германцев”. Милюков пришел к такому заключению в противоположность выводам московского посланца, который, напитавшись южной информацией, в докладе пославшим его от того же 29 июля писал, что “упорствовать дальше на комбинации неосуществимой невозможно”. Но раньше, когда Трубецкой еще считал, что возможность соглашения с Германией является самым безболезненным решением проклятых вопросов современности, им была составлена анонимная записка, куда вошли “общие положения” Милюкова, которая была, как утверждает Деникин, отправлена немцам “с одобрения Милюкова и Кривошеина”. Не была ли эта “записка” доведена до сведения Гельфериха? – он в доказательство изменения позиции русских либеральных кругов ссылается как раз на Милюкова<sup>368</sup>.

Гельферих был известен как противник принципов, положенных в основу Брест-литовского мира. Целью его московской миссии в значительной степени являлось выяснение запутанного положения; он говорит, что в личных беседах новый министр иностранных дел ф. Гинце старался убедить его, что доклады членов московского посольства недостаточно объективно освещают положение в силу своей излишней нервозности. Какие же впечатления вынес Гельферих и какие выводы он сделал? Основное его заключение сводилось к тому, что советская власть стоит и политически и экономически на краю гибели, и что вся происходившая до сих пор после заключения мира работа германских экономических экспертов совершенно бесплодна, в силу чего отношения с Россией нельзя строить на сотрудничестве с большевиками. В подробных донесениях министру Гельферих настаивал на разрыве дипломатических сношений с советской властью и просил уполномочить его войти в связь с антибольшевистскими группами для выработки совместного плана действия (Гельферих подчеркивал объединение с Сибирью). По его мнению, со стороны немцев потребуется лишь военная демонстрация в направлении Петербурга, чтобы вызвать падение коммунистического правительства... создание нового национального русского правительства (явно, что Гельферих отнюдь не имел в виду восстановление старой монархии) привело бы к возрождению страны и дало бы, по мнению Гельфериха, возможность Германии использовать русские материальные средства для продолжения войны и освободило бы значительную часть находившихся в России дивизий для Западного фронта. Гельферих указывал Берлину, что это возможно только при пересмотре Брест-литовского мира и отклонении тех дополнительных соглашений, которые разрабатывались в Берлине и которые санкционировали территориальные захваты и расчленение.

5 августа новый московский посол телеграммой был вызван в Берлин. Ввиду смутного положения в Москве (убийство Мирбаха, выступление лев. с. р., ярославское Савинковское восстание) и попыток новых покушений на германское посольство, Гельферих не успел даже передать кремлевскому правительству своих верительных грамот. Перед отъездом, согласно полученным ранее инструкциям, он заявил Чичерину, что немецкая миссия переводится в Петербург, как в более безопасное место, чем московская “мышеловка”, в которой многочисленный посольский персонал мог оказаться в качестве заложников в случае разрыва дипломатических отношений – Петербург был ближе к немецкой военной зоне. Но... Гельферих со своими мыслями опоздал. Уже в момент его отъезда из Берлина по инициативе московского народного комиссариата по внешним делам выработывались “дополнительные соглашения” для проведения в жизнь вопросов, связанных с “похабным миром” –

---

<sup>368</sup> Насколько даже немецкие военные круги были осведомлены о точке зрения лидера партии к. д., показывают беседы, которые вел в Баку член к. д. партии прис. лов. Байков, во время которых германские офицеры убеждали своего собеседника в неправильности политики Ц. К. его партии.

московское посольство в свое время даже не было ознакомлено с содержанием проекта соглашения: единственный экземпляр его привез с собой только Гельферих. Когда Гельферих вернулся в Берлин, проект дополнительного соглашения к Бресту – проект, который определял дальнейший путь германской политики в России и тем самым делал всю антибольшевистскую Россию непримиримым врагом Германии, получил уже оформление. Возражения Гельфериха перед министром ин. д. не имели успеха – по мнению Гинце, при создавшихся обстоятельствах ставка должна быть сделана на большевиков, ибо разрыв с ними обозначал воссоздание “восточного фронта”. В этом отношении Гинце, быть может, был реалистичнее своего соперника<sup>369</sup>. Для того чтобы изменить психологию русской общественности (во всяком случае в значительном ее большинстве), новая политика Гельфериха также опоздала – слишком глубоко проникла в сознание большевистско-немецкая проблема в ее специфической обличке, не говоря уже о национально-обостренном самолюбии от незаконченной войны, грубо оборванной брест-литовским предательством – особенно резко, естественно, это сказывалось в центре, где непосредственно приходилось быть свидетелем проявления немецко-большевицкого альянса. Недаром монархист Гурко основную причину, положившую конец переговорам с немцами, охарактеризовывает в таких словах: “Когда Германия убедилась, что она может иметь дело только с правыми русскими общественными кругами, что вся так называемая передовая общественность не желает иметь с ней дела, то, естественно, отказалась от мысли строить свои планы на восстановлении порядка в России”.

Через несколько лет историк как бы присоединится к выводам мемуариста. Милюков в “России на переломе” писал: “Потеряв надежду на единение (?) русских партий, германцы затем *круто* (курсив мой) переменили фронт, выдали большевикам военные дружины правого центра и настояли на аресте центрального комитета партии к. д., как военной организации, субсидируемой французами для создания авангарда союзного десанта: действия, противоречащие союзному договору”. О “крутом” повороте можно было бы говорить в том случае, если действительно признать, как то утверждал Милюков со слов каких-то членов “правого центра”, участников переговоров, имена которых он, однако, не называет, что в июне “германцы предлагали членам правого центра устроить в Москве переворот при содействии русских офицерских организаций”<sup>370</sup>. Милюков знал даже даты – 18 июня, когда решение это “внезапно” было отменено вследствие нового распоряжения из Берлина. Не совсем ясно – почему? “Потому ли, что германцы получили и без того возможность сосредоточить своих военнопленных в Москве, потому ли, что они поняли к этому времени, что “восточный фронт” не стал уже страшен, потому ли, наконец, что со стороны русских политических деятелей в решающий момент не было проявлено достаточной решимости пойти на условия, на которые пошел ген. Краснов. Приходилось дать обязательство противодействовать русским же силам, которые объявили себя на страже “союзнической ориентации” и “восточного фронта”<sup>371</sup>. Мы видели, что никогда такого

---

<sup>369</sup> Гельферих рассказывает, что министр обвинял его в изображении московских дел в ложном свете и вместе с тем накладывал цензуру на сообщения, компрометирующие советскую власть. Гельферих, не веривший в лояльность большевиков, тщетно предупреждал, по его словам, о революционной опасности со стороны большевизма для самой Германии, что неизбежно приведет к катастрофе. Напомним, что основным тезисом Ленина всегда являлось убеждение, что главным звеном на пути революции является революция германская.

<sup>370</sup> Милюков даже входил в такие подробности: “Предполагалось одеть германских военнопленных в русские шинели, занять под руководством русских офицеров все командные пункты Москвы и продержаться там сутки, пока не придут на подмогу германские войска из Орши. В деньгах на подкуп латышских стрелков, по приобретению оружия предлагалось не стесняться...”

<sup>371</sup> В письме “главе германского народа”, написанном 28 июня, после совещания с представителями немецкого командования донской атаман обязывался держать “полный нейтралитет” по отношению к

реального предложения никому немцы не делали, и что неофициальные разговоры деятелей правого центра с членами немецкого посольства и военными агентами не выходили за пределы взаимно не обязывающих частных бесед – новый германский военный агент в Москве майор Шуберт, по словам ген. Гофмана, всегда настаивал на решительном выступлении против большевиков. Шуберт считал, по мнению Гофмана, слишком оптимистично, что для установления в Москве нового правительства достаточно двух батальонов<sup>372</sup>. Если люди правого центра продолжали питать надежды на германскую помощь<sup>373</sup>, то это была иллюзия<sup>374</sup>.

“Крутым” поворотом было бы принятие плана Гельфериха. Но в сущности все перипетии, связанные с этим планом, являлись лишь эпизодом в закулисной борьбе разных течений в самой Германии. Гельферих должен был подать в отставку. Этой отставке предшествовала конфиденциальная нота ф. Гинце Чичерину, помеченная 23 августа. Эта нота, содержание которой должно было оставаться строго конфиденциальным, раскрывала некоторые скобки в дипломатическом соглашении по Брестскому миру и определяла дальнейшую политику Германии по отношению к советской власти после колебаний, которые могли означать признание агрессивных планов, с одной стороны, Гельфериха, с другой – ген. Гофмана. Советская власть стабилизировалась, и п. 5 ноты говорил, что “германское правительство ожидает, что Россия применит все силы, которыми она располагает, чтобы немедленно подавить восстание ген. Алексеева и чехословаков. С другой стороны, и Германия всеми имеющимися в ее распоряжении силами выступит против ген. Алексеева”. Небезынтересные комментарии по этому пункту можно почерпнуть из воспоминаний Гельфериха. По сведениям Гельфериха, вопрос был поднят не Германией, а советским правительством, и здесь Гельферих видит доказательство катастрофического положения большевиков. Они для своего спасения просили о вооруженной интервенции, причем Чичерин формулировал так: активное выступление против Алексеева и никакой поддержки Краснову. “Интервенция” рисовалась в более широком масштабе, о котором говорил п. 3 ноты Гинце: “Присутствие в северных русских областях военных сил держав Согласия представляет настоящую и серьезную угрозу находящимся в Финляндии германским военным силам. Если поэтому... русские действия не достигли бы в скором времени цели, то Германия сочла бы себя вынужденной предпринять с своей стороны там действия, в случае нужды с привлечением финских войск...” И вновь текст гельфериховских воспоминаний дает комментарии с ударением в сторону советской власти. Гельферих рассказывает, что Чичерин 1 августа неожиданно сообщил ему, что советское правительство отказывается от своего предложения немецко-финского десанта на Мурманском побережье и что явный военный союз с Германией для большевиков невозможен, принимая во внимание настроения в стране, но нужно тайное соглашение и параллельные действия – таким

---

“восточному фронту”.

<sup>372</sup> И в представлении самого Гофмана все же возможно было с теми малочисленными дивизиями, которые были в его распоряжении, занять Петербург и образовать новое русское правительство, и это правительство должно было бы заявить, что цесаревич Алексей жив – в качестве “правителя” действительно намечался в. кн. Павел.

<sup>373</sup> Гурко говорит, что они принялись за поиски авторитетного военного, который мог бы возглавить движение, и сам Гурко направился в первых числах июля в Петербург для розыска Рузского или Юденича, так как предварительные сношения с Лукомским и Драгомировым не увенчались успехом в силу несочувствия их “германским планам”.

<sup>374</sup> Милюков со слов того же неизвестного члена “правого центра” утверждает, что правые круги продолжали свои разговоры о создании монархического правительства, опирающегося на немецкую силу; в этих видах продолжались переговоры с Ритцлером в июле и “даже в сентябре”. В сентябре, в сущности, уже не было и “правого центра” с отъездом на Украину Кривошеина, Гурко и др.

параллелизмом было бы прикрытие Петербурга немецкими войсками.

Вооруженная “интервенция”, предусматриваемая гинцевской нотой, должна была обострить отношение немцев к Добровольческой армии и ко всем тем великорусским тайным военным организациям, которые так или иначе были связаны с ней, хотя бы даже лишь общими целями. Но все же и в этом отношении не была того “крутого” поворота, о котором повествует Милюков, – прежняя территориальная двойственность, как сейчас увидим, осталась. И в отношении Москвы надо внести существенные оговорки. В данном случае Милюков сослался, между прочим, и на мое свидетельство. Но в моем свидетельстве не было той категоричности, которую придал историк моим словам, подтверждавшим заключение Деникина. Теперь я охотно ввел бы еще большие ограничения в свое изложение – и во всяком случае, должен решительно откинуть установление факта, что немцы выдали большевикам все военные организации, о которых они знали через сношения свои с монархистами. Дело было в другом. Двойственность заданий неизбежно на практике приводила с самого начала к вопиющим противоречиям: связь между немецкой и большевистской контрразведками<sup>375</sup>, временно расширявшаяся в зависимости от событий, была на грани провокации по отношению к тем военным организациям, которые прямо или косвенно (иногда сами того не зная) за кулисами пользовались в великорусском центре немецким покровительством. В этой двойной политической бухгалтерии разобраться еще нет возможности. Гурко рассказывает, что офицерские организации, примыкавшие к “правому центру”, до некоторой степени объединялись ген. Дрейером<sup>376</sup>. Когда начались аресты и расстрелы наиболее деятельных членов офицерских организаций (в момент объявления “красного террора”), циркулировали слухи, что виновником их был Дрейер. Наиболее распространенная версия сводилась к тому, что ген. Дрейер сообщил имена главных организаторов немцам, которые с своей стороны сообщили их большевикам. Впоследствии Дрейера судили полевым судом на юге и, по словам Деникина, оправдали “за недостатком улик”. Вот эта “недостаточность улик” во всем объеме сохраняет силу и поныне при попытке разобраться в сложной паутине практики немецко-большевистского альянса летом 18 г.

Допустим, что в этой смутной практике имели место случаи выдачи (вольно или невольно) немецкой разведкой большевикам офицеров союзнической ориентации. Но вместе с тем несомненным является и тот факт, что в Москве при непосредственном участии, напр., майора Шуберта, нового военного представителя все той же немецкой миссии в Денежном пер., происходила вербовка и отправка офицеров-монархистов “немецкой ориентации” в организующуюся на Украине так называемую Южную Армию. т.е. в армию антибольшевицскую.

Самая наличность Южной Армии или создание позднее русско-немецкой армии фон дер Гольца представляет собой такое же противоречие. Гурко склонен думать, что июньский проект (не существовавший) был ликвидирован потому, что к этому времени произошло у немцев “перемещение ролей” – тут уже “германское верховное командование, наткнувшееся на крайнюю неприязнь Добровольческой армии и осведомленное об усиленной тяге русских офицеров в Сибирь, на Урал для образования там нового, враждебного им фронта, решительно заявило, что ни о каком восстановлении России не может быть и речи, что, наоборот, необходимо разваливать Россию и в этих видах поддерживать большевистскую власть”. Этой радикальной перемены точки зрения немецкого военного командования в действительности установить нельзя. Агрессивная антибольшевистская тенденция ген.

---

<sup>375</sup> Немецкая контрразведка существовала не только в Москве, но даже в Ростове-на-Дону, как свидетельствует Деникин.

<sup>376</sup> По словам Гурко, старались к делу привлечь Брусилова, который до времени не принял прямого участия (он требовал для восстания сплотить офицерский контингент в 6000 человек), но рекомендовал Дрейера в качестве будущего своего начальника штаба.



Гофмана, шедшая до известной степени рука об руку с планом Гельфериха, сохраняла свою силу, как это видно хотя бы из сообщения Шейдемана 12 сентября в парламентской фракции с. д. при обсуждении дополнительных к Брестскому миру соглашений. Из воспоминаний Гельфериха определенно вытекает, что, хотя автору мемуаров не удалось отстоять в главной квартире своей точки зрения, тем не менее ген. Людендорф с категоричностью заявил, что высшее командование ее заинтересовано в проведении дополнительных соглашений. По-старому знакомый нам ротмистр Розенберг от имени гвардейской офицерской организации и монархической группы Маркова продолжал вести в июле – августе переговоры с представителями немецкого командования в Пскове о сближении с Германией, о создании добровольческой армии под начальством Юденича в оккупированных немцами русских губерниях, о созыве монархического съезда для выделения из своего состава временного правительства и т.д. <sup>377</sup>.

Организация Южной Армии (конец июля – начало августа) как раз совпадает с тем временем, когда, в изображении Гурко, немецкие военные власти из опасения восстановления Восточного фронта якобы пошли по линии поддержки советской власти. Главный организатор Южной Армии и посредник с немецким главным командованием герцог Лейхтенбергский передал чрезвычайно характерную подробность из своего предварительного разговора с главным командованием в Киеве. Выразив принципиальное сочувствие созданию армии в зоне “нейтральной” (Богучарский у. Воронежской губ.), которую донской атаман предоставил в виде базы для русской монархической армии, соглашаясь помочь деньгами и оружием и не мешать вербовке на Украине<sup>378</sup>, оно просило “не говорить об этом нашим дипломатическим представителям и все это дело вести только с нами и тайно”.

В готовности содействовать организации Южной Армии нельзя видеть, конечно, только тактическое стремление разъединить офицеров <sup>379</sup> и противодействовать “восточному фронту”. Когда опасность “восточного фронта” ослабела, германцы охладели к Южной Армии и в августе – сентябре, говорит Милюков, перестали давать на нее средства. Здесь прежде всего сделана существенная хронологическая ошибка. Затем из записок Лейхтенбергского явствует, что “на охлаждение повлияло прежде всего то, что Южная Армия оказалась почти пустым местом, и то, что военная немецкая власть должна была при изменившихся условиях обращаться с секретными военными докладами очень осторожно”. Симпатии к Южной Армии, вероятно, надо объяснить отчасти психологией военных – как бы органическим тяготением их к силам антибольшевистским, сознанием ненормальности союза императорской Германии с элементами, представлявшими социалистический интернационал. Лейхтенбергский так и объясняет поражающую его легкость, с которой немцы закрывали глаза на переправу офицеров, явно им враждебных, в Добровольческую армию, – объясняет убеждением военной среды, с которой у него установились “хорошие отношения”, что Добр. армия монархична по своему существу, что с “монархической Россией им (немцам) легче сговориться” в будущем, чем с большевиками, органически противными им самым существом своим. Эта психологическая черта должна была повседневно сказываться в работе местных агентов власти, менее осведомленных о закулисных ходах политической игры. Как характерен в этом отношении эпизод,

---

<sup>377</sup> О переговорах Розенберга с “гауптманом 7” см. повествование Бермондта Авалова.

<sup>378</sup> При обострившихся отношениях с Добр. армией в Киеве было закрыто вербовочное бюро добровольцев и стала преследоваться соответствующая пропаганда.

<sup>379</sup> Так смотрел на дело монархист гр. Келлер, не веривший “честным намерениям” немцев и убеждавший Алексеева (письмо 20 июля) “предупредить” эти начинания принятием монархических лозунгов (идти за “законного государя, если его уже нет на свете, то за законного же наследника его”).

происшедший в Ярославле при ликвидации восстания, организованного военными силами, выступившими под политическим водительством Савинкова, непосредственно ориентировавшегося на Антанту. На этот эпизод и мне приходилось ссылаться в виде иллюстрации к совместной деятельности большевиков и немцев (см. “Красный Террор”). В свете того, что выяснило теперь историческое обозрение недавнего прошлого, думаю, что ярославский эпизод свидетельствует скорее противоположное. 21 июля штаб ярославского отряда северной Добр. армии, находившейся “с германской империей в состоянии войны”, – как гласило оповещение лейт. Балка, председателя германской комиссии № 4 о военнопленных, существовавшей на основании Брестского договора и занявшей положение “вооруженного нейтралитета” в боевые дни восстания, – сдался комиссии в плен; “комиссия, – объявляет Балк, – передаст штаб в качестве военнопленных германской империи своему непосредственному начальству в Москве, где дано будет все дальнейшее”. Конечно, это была попытка спасти жизнь 57 “белых” офицеров. Но лейтенант Балк не мог быть надежным бестом. Балку был предъявлен ультиматум о выдаче, и военнопленные были разоружены – этим в смутные дни, последовавшие за убийством Мирбаха, решилась судьба сдавшихся офицеров.

Но, может быть, еще показательнее протест, который был заявлен в сентябре немецким консулом в Петербурге, т.е. представителем ведомства ф. Гинце, по поводу начавшегося большевистского “красного террора” после убийства Урицкого и покушения на Ленина, – ясно, что это было сделано без внушения со стороны Берлина, за несколько дней перед тем отправившего через Иоффе в Москву свою конфиденциальную ноту 27 августа. Формально немецкий консул присоединился к протесту дипломатов нейтральных стран против ареста иностранцев, последовавшего в Москве и Петербурге после известного инцидента в английском посольстве, когда был убит лейтенант Кроми, и ареста английского консула Локарта, обвиненного в участии в заговоре против советской власти. Из донесения голландского посланника, переданного по телеграфу в Лондон Бальфуру (см. “Белая книга”), вытекает, что именно немецкий консул (это было неожиданно для представителей нейтральных стран) в энергичных выражениях во имя начал морали и гуманности протестовал против образа действия большевиков по поводу происшедшей накануне расправы и в присутствии Зиновьева напомнил его последнюю кровавую речь.

Как и во время Гельфериха, местные оценки в данном случае разошлись с “информацией” центра. Деникин приводит телеграмму украинского посла в Берлине бар. Штейнгеля (28 сент.), передающую ответ ф. Гинце по поводу протеста гетманского правительства против большевистского террора. Имперский министр ин. д. полагал, что происходящее в России “не может быть квалифицировано как террор” – это лишь борьба с “безответственными элементами”, которые “провоцируют беспорядок и анархию”. В силу подобных соображений императорское правительство отказывалось принимать “репрессивные меры” против советской власти...

И еще один заключительный штрих. Политика “соглашения”, проводимая канцлером гр. Гертлингом, не могла быть твердой и долговечной. Предупреждения Гельфериха о сомнительной лояльности советской власти и та опасность, которая реально повисла над Германией в смысле проникновения “большевистского яда”, отнюдь не были иллюзорны и не базировались на “сплетнях”. Очень скоро обнаружилось, что экстерриториальное советское посольство в Берлине сделалось агитационным центром и штаб-квартирой спартаковцев. Иоффе был выслан из Берлина, и германское правительство фактически прервало дипломатические отношения с советской властью. Состоя при донском атамане, майор Кохенхауз “весьма секретно” сообщал 24 октября, что “в ближайшие дни германские войска, стоящие на Украине, начнут военные действия”. Но было уже поздно менять политику...

Для полноты и точности нужных справок мы вышли далеко за хронологические пределы поставленной темы. Однако такой исторический экскурс, быть может, отчетливее обрисует теперь роль, которую играли и могли играть немцы в судьбе царской семьи.

## Глава пятая КРИЗИС БОЛЬШЕВИЗМА

Для того чтобы сознательно отнестись к анализу фактического материала, имеющегося в нашем распоряжении, и вставить его в исторические рамки, тем самым избегая слишком поспешных выводов, мы никогда не должны забывать о положении большевистской власти весной и летом 18 г. Судьбы царской семьи, конечно, неразрывно были связаны с тем перманентным кризисом, который эта власть изо дня в день переживала. Мы видели, что наблюдения и оценка происходившего в первых числах августа привели Гельфериха к убеждению, что советская власть находится как бы в состоянии человека, над которым занесли нож. Немецкий дипломат безоговорочно заключает, что только германская политика спасла в это время большевиков – во время самого тяжелого кризиса с момента захвата ими власти. И действительно, при всей неопределенности недалековидной и даже противоречивой политики Антанты, при всем разброде русских общественных сил, раздираемых социальными, политическими и психологическими расхождениями (именно психология в значительной степени определяла, с одной стороны, споры об ориентации, а с другой – порождала какой-то фаталистический квиетизм и попытки даже отыскать компромисс с большевиками), положение большевиков в дни пребывания Гельфериха казалось безнадежным. Всероссийская власть, заключившая в Бресте международный договор, была в сущности сужена почти до пределов Великороссии или старой Московии и, следовательно, становилась властью областной, окруженной враждебными силами. Вся южная периферия оставалась враждебным станом, несмотря на дипломатические переговоры, которые при содействии немецкого посредника велись с Доном и Украиной<sup>380</sup>; в июле поставившая себе всероссийские задания Добровольческая армия, насчитывающая в своих рядах уже 20 тысяч, совершала так называемый второй кубанский поход, который закончился разгромом советских сил на юге и взятием 3 августа Екатеринодара; в июле появились уже предвестники “восточного фронта”, который перешагнул через Урал, приблизился к Волге, и таким образом составлял прямую угрозу центру; интервенция союзников на севере, как уже действие определено противобольшевистское, приобретала также реалистические формы. В самом центре “кукушка уже прокуковала” для советской власти, она уже “висит на волоске” – это признает в интимных высказываниях, по свидетельству Сталина, не кто иной, как шумный создатель советской обороны Троцкий<sup>381</sup>.

Современники из социалистического лагеря, враждебного большевикам, были довольно единодушны в оценке происходившего. Так, издававшийся на Украине орган бундовцев “Фольксцайтунг” писал в июле: “С каждым днем становится яснее, что господство большевиков в России идет к концу. Чехословацкое восстание и последние события в Москве и Петербурге заканчивают этот процесс”. “Банкротство большевизма” орган бундовцев видел в нарастающей враждебности крестьян и массовом отходе “голодающих” рабочих. В центре группа с. д., порвавшая с традиционной формулой меньшевизма, по которой борьба с большевиками неизбежно должна была привести к

---

<sup>380</sup> Краснов, впоследствии писавший, что Англия “запятнала себя союзом с палачами” (“Русская Лет.” № 1), сам не только ходатайствовал перед Вильгельмом о восстановлении “нормальных мирных отношений между Москвой и Великим Доном”, но следуя своей эластичной политике, отправил даже в Москву с письмами Ленину специального посланца.

<sup>381</sup> Троцкий в разговоре с членом мирбаховской миссии гр. Ботманом, высказывая подобные же мысли, говорил, что нет только могильщиков, которые похоронили бы большевиков (“собственно, мы уже мертвы”). Столь откровенные, казалось бы, неуместные суждения в беседе с агентом немецкой власти можно было бы отнести к присущей Троцкому страсти разыгрывать тактические комедийные сцены, если бы не было свидетельства Сталина.

реставрации, и выступившая с призывом к активной борьбе за “независимый и демократически строй России”, в прокламации говорила: “Эта борьба уже принимает в наших глазах все более массовый и стихийный характер как в городах, так и в деревнях, и захватывает все более широкие слои народных масс”. Что же это было – очередное самовнушение? Во всяком случае, окружавшая кольцом Москву “волна кулацких восстаний” (признание Ленина), организованные и стихийные рабочие стачки, которые вынуждена были отмечать и советская печать, – все это были реальные факты, они не создавали прочной базы для существования “социалистической республики” и отнюдь не укрепляли уверенности в том, что в союзе “народ с большевиками”<sup>382</sup>; недаром Кремль, как засвидетельствовал Петерс, охранялся исключительно латышскими преторианцами – русские красноармейские части и прежде воинственные кронштадтские матросы уже не представляли собой надежной опоры. Но колебались и “латыши”, находившиеся в советских рядах, – по словам Гельфериха, видные латышские военные зондировали почву в немецком посольстве и высказывали готовность выступить против советской власти, если им будет дана гарантия на возвращение в оккупированную немцами Латвию.

Последовавшее после убийства Мирбаха восстание левых с. р. в Москве, с отзвуком его еще менее эффективным в Петербурге и волжской авантюрой главковерха советскими войсками Муравьева, само по себе не могло представить опасности для большевистского правительства. Это были слишком запоздалые отзвуки на “революционные” настроения в период внутренне-фракционной борьбы за Брест-литовский мир, и они неизбежно оставались в пределах уже кристаллизировавшейся советской общественности. Попытка сорвать Брестский мир не могла найти себе большого отклика в широких массах населения. Очевидцы свидетельствуют, что матросы Поповского отряда в Трехсвятительском пер. не проявили большой стойкости, хотя численность восставших значительно превышала цифру бойцов, которых спешно могла выставить в Москве власть (1800 против 720 – правда, у этого меньшинства была артиллерия). Знаменательно было то, что соседние с восставшими Покровские казармы объявили “нейтралитет”, и московские верховники таким образом неожиданно могли бы оказаться в критическом положении, если бы не наличие в Москве латышского полка под командой профессионала Вацетиса. Страшны были для власти после убийства германского посла перспективы возможной ликвидации “молчаливой” коалиции между русскими интернационалистами и немецкими империалистами. Большевики никогда не могли быть уверены в том, что германские штыки, находившиеся на подступах Москвы и Петербурга, при постоянно изменявшейся конъюнктуре, не могут обратиться против них; слухи, проникавшие в антисоветскую печать, часто неверные и преувеличенные, муссировали этот страх перед возможным разрывом (они говорили, напр., о проекте принца Гессенского создать “генерал-губернаторство” из оккупированных земель и т.д.). 6 июля вопрос был поставлен ребром и, как мы знаем, создал панику среди московских властелинов.

Пути левых с. р. остались изолированными<sup>383</sup>. Мы не имеем никаких указаний на то, что антибольшевистские военные организации полагали возможным воспользоваться междофракционной борьбой и явно обнаружившейся слабостью правительственных сил, которых формально числилось около 7 тыс. Как ни распылены были тайные офицерские организации тех дней (в одной Москве их насчитывалось 12), как ни разъединены они были различными политическими водительствами и ориентациями, все же между ними была некоторая связь, и стало складываться даже нечто подобное центральному штабу. Лозунг свержения большевистской власти объединял всех тех, кто вступал в тайные связи в

---

<sup>382</sup> По свидетельству Гельфериха, уже при первом с ним свидании Чичерин заявил, что судьба революции всецело зависит от деревни, которая пока враждебна коммунизму.

<sup>383</sup> Несмотря на то что 4 губ. съезд советов Казанской губ. одобрил поведение Муравьева, как и убийство Мирбаха, симбирское предприятие Муравьева не нашло поддержки и с легкостью было ликвидировано.

значительной степени под влиянием призыва ген. Корнилова (11 января) образовывать местные ячейки, если обстоятельства препятствуют явке в Новочеркасск. Один из активных участников савинковской организации (наиболее сильной и активной) ген. Роллер, который принадлежал к группе латышских стрелков, объединившихся еще ранее вокруг идеи защиты Учр. Собрания, говорит, что пассивность в Москве объяснялась убеждением, что при сокрушении большевистских сил, с чем справиться можно было при наличии 3 – 4 тыс. человек, пришлось бы потом иметь дело с организованными германскими военнопленными. Цифра их доводилась до 50 тыс. Чрезвычайную преувеличенность подобных исчислений показали факты, обнаружившиеся после убийства Мирбаха в связи с вопросом о вводе в Москву батальона немецких солдат. Но таково было тогда всеобщее убеждение.

Тайные военные организации с точки зрения внутренней безопасности должны были беспокоить большевиков в гораздо большей степени, нежели начинания последовательных революционеров, недовольных компромиссной политикой советской власти. В этом отношении угрожающим признаком должно было явиться неудачное выступление савинковской организации в городах верховья Волги, преждевременно спровоцированное безответственными заверениями московской агентуры военных миссий союзников о десанте. Дело было не в том, что Ярославль продержался 17 дней, а в том, что сепаратное выступление савинковской организации нельзя было рассматривать как изолированное действие. Это было одно из звеньев общего плана, который с натугой медленно складывался в расхлябистой обстановке тогдашней антибольшевистской общественности. Основной чертой такого плана являлось воссоздание “восточного фронта” уже в согласии с русскими общественными силами; интервенция (экономическая и военная помощь) в условиях такой договоренности теряла одиозный смысл чужеземного вмешательства. Первым этапом логически представлялось свержение власти, заключившей “похабный мир”. Договорные отношения с союзниками закрепляли и непрочные всегда договорные отношения между общественными группами на почве одной общепризнанной политической платформы, которая была разработана “левым центром”, – “Союзом Возрождения России”, к которому присоединился отколовшийся от правых “Национальный Центр”. Скрепляющая узы углублялись – и символом этого углубления явилось решение верховного вождя Добровольческой армии ген. Алексеева ехать на Волгу, т.е. в тот центр, где волею судьбы активную роль должна была играть конкурирующая в дни революции с большевиками во влиянии на массы партия соц. революционеров. Теперь мы знаем, что весь план оказался миражем. Но в дни наибольшего кризиса, который переживала советская власть, ауспиции для нее были зловещи. Большевики оказывались под двумя смертоносными ударами.

Критические июльские дни, когда советской власти для самосохранения приходилось делать ставку на ту немецкую помощь, которую у Гельфериха просил Чичерин, были действительно завершением процесса внутреннего “банкротства большевизма”. В сущности, это банкротство началось с 25 октября 17 года. Захватившие государственную власть переживали перманентный кризис. Временная стабилизация, связанная с официальным выходом России из войны по заключении Брестского мира, отнюдь не вывела коммунистических вождей из состояния, подчас близкого к панике. Эти переживания спорадически захватывали – о них свидетельствуют сами деятели мировой революции – не только слабых духом, но и сильных волей. В сознании делавших мировую историю далеко не была изжита дилемма о неизбежности “сдачи власти”, которая ставилась в интимных переживаниях непосредственно после октябрьского переворота. У нас лично имеется авторитетное показание (б. комиссара юстиции Курского), что такая мысль не чужда была самому Ленину даже в конце апреля – так пессимистически при объективном взвешивании, а не напоказ, оценивались тогда ближайшие перспективы. Поистине никто не сомневался, что судьба “рабоче-крестьянского” правительства уже взвешена историей, как писал в свое время официальный орган партии с. р. (“Дело Народа” 28 января). Поэтому так неожидан был призыв, раздавшийся в Москве со стороны группы демократической интеллигенции, возглавляемой обычно чутким публицистом Кусковой и ее газетой “Власть Народа”.

Сотрудники газеты провозгласили лозунг перемены фронта в отношении большевиков: наступил момент отказа от борьбы – “нельзя же биться все время на кулачках” (Осоргин). Призыв работать вместе с большевиками, служивший прелюдией к последующей кампании Горького о примирении интеллигенции с большевистской властью и сменевеховства, показателен был для отметки наличности упадочного настроения в некоторых слоях интеллигенции. Но он был совсем не ко времени, прозвучал одиноко и остался изолированным, найдя лишь одобрение в официозной советской печати. Именно в демократических кругах исчезали признаки внешней общественной летаргии, порождаемые усталостью и разочарованием, и стала возможной концентрация сил в нарождавшихся объединенных организациях. Как раз партия, официоз которой в январе не сомневался, что могильщиком большевиков будет идущая им на смену “реакция”, сама вступила на активный путь борьбы за воссоздание “восточного фронта”. Эта новая позиция партии с. р. окончательно была зафиксирована в майских резолюциях партии об интервенции. Последующее выступление чехословаков в Поволжье и в Сибири в связи с местными конспиративными военными организациями и отклик, полученный в населении, воочию обнаружили беспомощность советской власти.

\* \* \*

События на востоке были неожиданны для московской власти – она теряла Урал, который почитала своим прочным плацдармом. “Сюда отступит советская власть, – говорил Троцкий при мартовском свидании с ген. Нисселем, – но не уступит перед натиском с запада и востока империалистов Центральных Держав и Антанты”. И это не было только словесной фиоритурой, заимствованной из старого лексикона Отечественной войны 1812 года. Не чувствуя прочности своего положения в центре, советская власть систематически подготавливала свою возможную эвакуацию в “восточном направлении”. С этой целью в первых числах апреля была создана “всероссийская эвакуационная комиссия” и разработан самый план эвакуации, причем окончательным пунктом, куда должны были направляться грузы, назначен был именно Урал. Сюда направили не только “золотой запас” (уже вывезенный из Москвы и застрявший по закулисной интриге “белогвардейцев” в Казани), сюда свозились и заложники – между прочим, 200 заложников из Эстландии, захваченных в дни февральского наступления немцев и привезенных в Екатеринбург<sup>384</sup>. Эту тенденцию эвакуации в “восточном” направлении надлежит отметить особо – в силу этой тенденции и члены бывшей императорской фамилии, быть может, постепенно направлялись в сторону Урала. Высланные в Вологду, Пермь и Екатеринбург ехали на место ссылки не по этапу и в первое время жили, в общем, довольно свободно. Рискованно было бы утверждать, что сосредоточение великих князей в уральском направлении как бы служит доказательством наличности тайного решения советского правительства, принятого после Брестского мира, ликвидировать великокняжескую семью<sup>385</sup>. К этому вопросу в конкретной обстановке того, что произошло, мы еще вернемся. Уральский плацдарм, как прочный бест для большевистской власти, также следует отнести в значительной степени в область сотворенных миражей, и не только в силу внешне непредвиденных событий, разыгравшихся на “восточном фронте” при участие иноземной военной силы, но и в силу внутренней своей несостоятельности. Несмотря на старые большевистские связи с заводским населением Урала, единства рабочего настроения здесь не оказалось – знаменитая впоследствии в

---

384 По Брестскому миру они подлежали возврату в Прибалтийский край.

385 Любопытно, что современная не большевистская печать в Петербурге объясняла арест и высылку Ел. Фед., последовавшие 8 мая, тем, что обнаружили “тайные сношения ее с гр. Мирбахом”; в Москве держались упорные слухи, шедшие от близкого Ел. Фед. прис. пов. Дерюжинского, что истинной причиной высылки была обида гр. Мирбаха на отказ вел. княгини его принять.

летописях гражданской войны эпопея рабочих дружин Воткинского и Ежевского заводов служит неопровержимым тому доказательством. Немало большевистских “цитаделей” оказалось на Урале во вражеском лагере, и, как свидетельствуют многие из современников, подчас “поворотным моментом в настроении рабочих на этих заводах являлось заключение Брест-литовского мира. Рабочие Урала волновались и бастовали еще задолго до появления чехословацких освободителей и открытия фронта „гражданской войны“. В повышенном настроении местного крестьянского населения сомневаться уже не приходится. Сами большевистские историки Приуралья говорят нам о „серии восстаний“, перешедших в конце мая во „всеобщий взрыв“; они с большой яркостью описывают, как „деревня за деревней“ в „десятках волостей“ выходили с вилами и косами и смело шли против винтовок и пулеметов. Нет, не только недовольство „реквизиционно-продовольственной политикой“ поднимало эту крестьянскую массу против большевиков. Власть отвечала жестокими репрессиями – и еще задолго до официального „красного террора“ в дни начинавшейся гражданской войны по всему Уралу прокатилась волна массового террора. Те же советские историки рисуют эпические сцены ответной „стихийной мести“ со стороны крестьян в период вынужденного отступления „красных войск“ с Урала перед продвижением чехо-словаков. Один из них, рисуя картины ужаса расправы деревенских кулаков в одной из волостей Красноуфимского уезда с „большевиками“ (так называли всех, работавших в советских органах), добавлял, что эти зверства творились в каждом уезде и в каждой волости.

\* \* \*

В кровавом угаре гражданской войны в Екатеринбурге должна была создаться чрезвычайно напряженная атмосфера, которая ставила под прямой удар находившуюся там царскую семью. Очевидно, было бы ошибкой игнорировать эту обстановку. В сознании местных большевистских деятелей она ставила гораздо острее династическую проблему, чем то было в центре. Автор предисловия к изданной Уралкнигой работе Быкова, много уже раз нами цитированной, Тяньнов пишет: “Расстрел Романовых меньше всего был продиктован чувством мести или мифической кровожадностью большевиков. Эта мера была глубоко целесообразного действия в условиях ожесточения гражданской войны, когда возможность монархической реставрации была вполне реальной опасностью”.

Оставим в стороне вопрос о “целесообразности” убийства с точки зрения моральной и согласимся, хотя бы с Керенским, что объективно никакой реальной опасности в то время монархическая реставрация не представляла. Объективная историческая оценка может расходиться с психологией и субъективным восприятием современников. Из сделанного выше обзора довольно отчетливо выступает, что психологические современники в разных общественных кругах были подготовлены к мысли о “возможной” монархической реставрации в том или ином виде. Крайности легко сходятся – о неизбежности “реакции” после падения большевизма говорили не только видные социалистические лидеры меньшевистского и народнического течения, но и сами “реакционеры”, к которым должна перейти власть, выпадающая из ослабевших рук случайных “красных” дирижеров. Эти консерваторы были также фаталистами и готовы были пассивно пережить “невзгоды революционного времени”. Деникин приводит образную цитату из резолюции 7 июля группы принадлежавших к военной среде киевских монархистов, которые желали “оберечь офицеров... от втягивания... во всевозможные авантюры под ложными лозунгами спасения отечества” ввиду “скорого воссоздания неделимой России... под скипетром законного монарха...” Тот же Деникин рассказывает о сложной внутренней борьбе в рядах Добровольческой армии, где “очень многие считали необходимым немедленно официально признать в армии монархические лозунги”. “Все партии, кроме социалистической, видят единственно приемлемой формой конституционную монархию” – убеждал руководителей

Добр. армии ген. Лукомский из Киева 14 мая<sup>386</sup>. Позже с таким же увещеванием обращался, как мы видели, и гр. Келлер. Сам Алексеев в одном из своих писем так определял точку зрения “руководящих деятелей армии”: они “сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии, конечно, с теми поправками, которые необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт прежних событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целостность, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию”. “Пульс биения жизни”, как определял Лукомский нарастающее настроение, мы знаем, воспринят был деятелями правого центра в их переговорах с немцами. “Законного государя” с первых же шагов желал бы видеть и Милуков, формулировавший свои *disiderata* в запоздалом сообщении правому центру 29 июля, – по соглашению с немцами он хотел бы возвести на престол в. кн. Михаила (он предлагал москвичам “отыскать Вел. Князя, местопребывание которого должно быть известно его близким в Москве”). Киевская легитимистская группа Шульгина, состоявшая в радикальной оппозиции к прогерманской тактике кадетского лидера, собиралась перебросить в июне свои кадры в Сибирь для борьбы с немцами и большевиками “под открытым монархическим знаменем”.

Как же отрицать, что вопрос о реставрации так или иначе стоял в порядке дня, раз на нем базировалась значительная часть так называемых “буржуазных” слоев русского общества? Керенский изображает противобольшевистское движение в Сибири исключительно как движение “народное” – демократическое, которое изменило свой характер после переворота, поставившего во главе власти адм. Колчака, и приняло характер реакционный, вследствие чего могло бы иметь целью восстановление монарха. Обстановка в Сибири была гораздо сложнее – первоначальное движение было комбинированным выступлением противоположных по существу политических сил<sup>387</sup>. Перед общим врагом о “монархии” как таковой, может быть, никто и не думал, и Керенский склонен даже отрицать наличность каких-либо офицерских организаций в Сибири ранней весной – в то именно время, когда исполнительный комитет Екатеринбургского совета поднял вопрос о вывозе царской семьи из Тобольска ввиду возможности ее побега. Спасение это автору представляется искусственно измышленным. Между тем Керенский очень ошибался в основных своих суждениях. Достаточно привести авторитетное свидетельство ген. Флуга, посланного в Сибирь командованием Добр. армии. Он прибыл в Омск 13 марта (беру Омск как центр, к которому примыкал Тобольск) и здесь нашел уже ряд “более или менее прочно организованных отрядов, имевших задачей вооруженную борьбу против большевиков”, – среди них летучий отряд шт. рот. Аненкова, отряд прославившегося сибирского “атамана” – едва ли он носил эсеровскую окраску. В течение своего четырехнедельного пребывания в Омске Флугу удалось объединить боевые дружины (офицерские и казачьи) всей степной Сибири под главенством не кого иного, как казачьего полковника Иванова-Римина. Фигура Иванова-Римина, занимавшего до войны полицейскую должность и сохранившего свои монархические симпатии, довольно определенно выявилась на фоне последующей сибирской общественности. Ив.-Римин должен был возглавить “военную диктатуру” в первое время после свержения большевиков. Опасения большевиков, что начинающееся в Сибири движение может привести к освобождению тобольского узника, не были так беспочвенны. Недаром генерал бар. Будберг на своем образном языке записал в дневник: “монархические выкрикиания вызвали вывоз Государя из Тобольска”. Мог ли послужить такой факт переходным этапом к реставрации монархии? Это уже зависело от всей

---

<sup>386</sup> Реставрация и реакция, конечно, не синонимы, – но в глазах большинства социалистов понятия эти были адекватны.

<sup>387</sup> Отсылаю читателя к соответствующим страницам моей четырехтомной работы “Трагедия адм. Колчака”.



совокупности событий при участии в них двух чужеземных враждующих сил. Довольно наблюдательный француз полк. Пишон итоги своих сибирских встреч определял словами: “главная масса населения встретит реставрацию равнодушно”. Идея политической “целесообразности” уничтожения претендентов на Российский престол могла найти отклик в большевистской среде, но в сложившейся конъюнктуре скорее приходится предположить, что адепты такого плана должны были вербоваться не в том окружении Ленина, которое, восприняв искусство “крутых поворотов” своего вождя, искало тактический компромисс с немецкой властью. Политический циник, каким на практике был Ленин, конечно, не остановился бы перед актом, в целесообразность которого он верил. Но едва ли сознательно он мог подрубать сук, за который зацеплялся, казалось, погибающий большевизм, – для императорской Германии, несмотря на все нейтральные заявления Вильгельма, кровавая расправа с представителями Царского Дома, даже если бы она не вылилась в отвратительные, кошмарные формы екатеринбургской бойни, не могла не явиться моральным шоком.

## **Глава шестая ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭТАП**

### **1. Заговорщики**

В официальном сообщении центральной советской власти, касавшемся убийства Императора Николая II, был выдвинут мотив обнаружения заговора, который имел целью освободить заключенного Императора. Следствие категорично отрицало наличие подобного заговора, и за ним следовали все, писавшие о трагедии в Екатеринбурге. Была ли реальная база для официального сообщения и для утверждения тогдашней большевистской печати, помимо той общей атмосферы, которая была нами очерчена? “Эти заговорщики, – спешит сказать Дитерихс, – были не русские офицеры: темные политические происки немецко-русской организации послужили последним толчком к кровавой драме на Урале и дали основание Янкелю Свердлову сослаться на существование офицерского заговора”. Предвзятость такого суждения выступает слишком определенно. Как ни скудны наши фактические сведения о деятельности в Екатеринбурге в течение мая – июня тайных антибольшевистских группировок “монархических” организаций и отдельных лиц, все же можно себе представить в общих чертах картину происходившего – и эта картина не подтверждает негативных результатов сибирского следствия.

Начнем с тех, которые спасали царскую семью еще в Тобольске. Среди них к моменту отъезда из Тобольска действующей была тюменская группа, возглавляемая Соловьевым, трио – в лице Соловьева, Маркова и Седова; последний в литературе, как мы знаем, представлен завлеченным в западню первых двух, из которых один был немецким агентом, а другой – и немецким, и большевистским. Мы должны на них еще раз остановиться ввиду роли, им приписываемой, и для окончательной зарисовки рассмотренной уже по существу легенды о “петербургско-берлинской” организации.

Всем троим, по словам Маркова, возможность организовать собственными силами освобождение царской семьи из Екатеринбурга представлялась “весьма ничтожной”. Поэтому решено было, что Седов немедленно едет в Петербург для информирования организации Маркова 2-го, а остальные ждут сообщения от Седова и пытаются установить с Екатеринбургом связь. Седов выехал из Тюмени 14 мая. Троекратная попытка завязать отношения с екатеринбургскими узниками не увенчалась успехом. Время шло, а от Седова не было ни слуха, ни духа, рассказывает Марков Сергей. Соловьеву, находившемуся в ведении революционного трибунала, пришлось под благовидным предлогом скрыться в Покровском, Марков же оставался в своем эскадроне, мечтая пополнить его членами тобольского союза фронтовиков – “верными людьми”, объединенными Гермогеном, и

заслужить доверие своего начальства<sup>388</sup>. Вскоре, однако, случилась и беда. Около Тюмени появились чехословаки. В городе взбунтовались красноармейцы, а марковский эскадрон арестовал полностью весь местный исполком. Марков попал под следствие, но произошли еще более важные события. Казаками и чехами был занят Омск, и в Тюмень на пароходах прибыли омские комиссары со своими штабами. Тюменьское начальство было оттиснуто на задний план. В городе были взяты заложники из “именитых граждан”. Старший инструктор по кавалерии, бывший офицер Крымского полка, почувствовал себя плохо в новой обстановке. Марков поспешил скрыться из Тюмени и 1 июля оказался в Екатеринбурге. Здесь он побывал около дома Ипатьева и убедился, что спасти царскую семью вооруженным путем из этого здания и думать нечего. Тогда Марков направил свои стопы в Петербург в твердом убеждении, что спасти царскую семью можно только дипломатическим путем – вмешательством Германии. Он решил обратиться к брату имп. Алекс. Феод. – к герцогу Людвигу Гессенскому в Германии. Дальнейшая эпопея “маленького” Маркова на путях завязывания связей с немцами и создала ему особую репутацию. Следствие в данном случае оказалось совсем не на высоте, хотя сам Соколов признает, что реальными попытки освобождения царской семьи в это время могли быть только попытки, сделанные по воле немцев. Соколов, конечно, знает, что Марков уехал из Тюмени и пробрался в Петербург вслед за перевозом в Екатеринбург царских детей, тем не менее он с доверием относится к явно несуразным, путаным и противоречивым показаниям допрошенных им в Рейхенгалле (21 г.) б. деятелей Союза русского народа Соколова и Маркова 2-го. И заключает: как Марков (Сергей) “лгал здесь (т.е. в Петербурге), нам рассказали свидетели”. Марков 2-й еще был осторожен – он показывал: “Весной 18 г. в Петроград приехал Марков. Он нам сказал, что во главе вырубовской организации стоит зять Распутина Соловьев, что дело спасения, если понадобится, царской семьи налажено Соловьевым. Никаких подозрений в то время мне не запало в голову. Только сам Марков, после возвращения его из Сибири, представился в ином свете: его рассказы внушали мне мало доверия”. У “наиболее активного” работника в данной монархической группе уже совсем все перепуталось: “В конце марта или в начале апреля вернулся из поездки Марков. Он начал нам рассказывать что-то несосветимое. Он говорил... про целые кавалерские полки, совершенно готовые для спасения в любую минуту царской семьи. В то же время выяснилось из рассказов Маркова, что он сам в Тобольские не был и не только не установил связи с N (т.е. Седовым), но, кажется, даже и не видел его... Я отнесся с недоверием к рассказам Маркова – как-то не походило на правду все то, что он нам говорил”. Оба свидетеля относили возвращение в Петербург Седова на время более позднее, чем приезд Маркова.

Из этих показаний и выросли сказки о донесениях, которые Соловьев слал петербургским организациям и которым доверилось следствие. Несуразная хронология сама по себе должна была заставить следствие с осторожностью отнестись к показаниям петербургских “монархистов”. Марков (Сергей) дал следователю и свои показания в 21 г., но какое можно иметь доверие к человеку, заподозренному по своим немецким связям и явно лгущему! Марков рассказывал, что по возвращении в Петербург (7 июля) он видел Вырубову, которая потеряла связи с Марковым 2-м; видел Седова, но не мог увидеть Маркова 2-го и Соколова – они скрывались в окрестностях Петербурга, так как на их конспиративной квартире был сделан обыск, причем был арестован Седов, просидевший в Крестах около месяца. О том, что “маленький” Марков не “лгал”, в пылу полемики подтвердил сам Марков 2-й, забывший показания, данные им следователю, и писавший в статье, напечатанной в № 124 “Вест. Мон. Совета”, что он скрывался от своего однофамильца, не доверяя ему, как активному сотруднику провокатора Соловьева.

Дальнейшее обследование деятельности Маркова Сергея следствием велось по тому же

---

<sup>388</sup> Марков повествует, как в этих целях он во главе карательного отряда арестовал в городе видных деятелей профессиональных союзов, местных меньшевиков, которых он, по существу, ненавидел не меньше большевиков.

сомнительному методу. 14 августа Марков, отправив с одобрения Вырубовой через чиновника германского ген. консульства Шиль подробное письмо великому герцогу, уехал в Киев, зарегистрировав себя подданным самостоятельного Крыма при содействии сенатора Султан Крым Гирея, председателя Крымского Комитета. В Киеве он свиделся с лидером “монархического блока” Безаком, через посредство членов бюро по организации астраханской армии установил связь с немецким командованием и послал телеграмму в. герц. Гессенскому с извещением о своем прибытии в Киев и с запросом – желателен ли приезд его в Германию. В ожидании ответа Марков ездил в деревню к Ден и в Одессу, где жил его отец. В Одессе в кругу монархистов (Родзевича – б. председателя местного Союза русского народа, Толстого-Муразли и др.), в присутствии в. кн. Марии Павловны (младшей) Марков сделал доклад о своей поездке в Тобольск. По возвращении в Киев он вызван был в немецкое оберкомандо, где ему передали телеграмму от великого герцога с сообщением, что с ним войдет в связь г. Магенер из Москвы. Свидание это состоялось в октябре. Наступили последние дни гетманского правительства. Марков состоял ординарцем главнокомандующего вооруженными силами на Украине гр. Келлера, 21 января он, переодетый в немецкую военную форму, покинул Киев с эшелоном пехотного полка. Наконец, Марков дошел до великого герцога, жившего в Дармштадте, а также посетил в Геммельморе женатого на сестре Алекс. Фед. Ирине принца Генриха Прусского.

Соколов очень категоричен в своих выводах. Роль Маркова в Шеве “все та же. В Петрограде он лгал русским монархистам, что все готово для спасения царской семьи. В Киеве он лгал, что ее спасли”. Сам Марков лишь говорит (и в показаниях Соколова и в воспоминаниях), что в Петербурге Шиль ему сказал, что Ал. Фед. и дети вывезены из Екатеринбурга и находятся в районе Пермской губ. – таковы сведения, полученные консульством из Москвы от посольства. В Шеве Марков впервые услышал, что ходят слухи, что погибла вся семья, но что он, Марков, сказал, что слышит это впервые и что по его сведениям это не так. Нам придется коснуться страницы, которую Керенский чрезвычайно удачно назвал “Les cadavres ranimés”. Многие, очень многие в 18 г. были убеждены, что царская семья действительно избежала ужасного конца, каким была ночь с 16 на 17 июля нового стиля... В доказательство странного круга знакомств для русского офицера и подозрительного поведения “хорошего русского человека, от которого Императрица ждала себе спасения”, Соколов цитирует показание некоего генерала Н. в Омске в сентябре 19 г.: “Марков уверял, что вся царская семья жива и где-то скрывается. Он говорил, что он знает, где они все находятся, но не желал указать, где именно”. В Киеве этот самый Марков был на совершенно особом положении у немцев. Он сносился с немецким командованием в Берлине... Он говорил, что “в советской России имел доступ повсюду у большевиков через немцев”. Очевидно, и это ясно из контекста и дословных совпадений, этим же показанием генерала Н. пользуется и Дитерихс, придавая ему расширенное толкование. В его изложении получается еще более выпукло. В Шеве Марков рассказывал, что “имп. Вильгельм под влиянием принца Гессенского предлагал Государыне Императрице А. Ф. с дочерьми приехать в Германию, но они это предложение отклонили. Он показывал письмо Государыни к ее брату принцу Гессенскому, которое он получил от Е. В. для доставки по назначению в Тобольске; он говорил, что, уехав из Тобольска, он уже в Москве узнал, что их перевозят в Екатеринбург, и настойчиво отрицал убийство царской семьи. Он уверял, что все живы, но скрываются, и что он знает, где они все находятся, но не желает указать. В Шеве Марков был на совершенно особом положении у немцев: он сносился телеграммами с немецким командованием в Берлине и т.д. Он говорил, что... в советской России имел повсюду доступ у большевиков через немцев”. Дитерихс добавлял: “Письмо, которое вез Марков, существовало, его видели другие и видели такие лица, которые могли знать почерк Императрицы”. Естественно, Марков отрицал все это хитросплетение. Нужны ли доказательства всей его фантастичности?

Надо сказать еще несколько слов и о Соловьеве. Если последний был действительно большевистским агентом, то казалось бы, что именно в Екатеринбурге и должна была

усиленно развиться его провокаторская деятельность. Мы увидим, что вся обстановка там содействовала такой работе – по крайней мере был реальный, а не мифический объект для наблюдения. Но екатеринбургский этап проходит вне какого-либо воздействия со стороны Соловьева. По словам Соколова, “Соловьев кинулся в Тобольск в тот самый день, когда через Тюмень проехали дети<sup>389</sup>. Там он видел Анну Романову и узнал от нее, где находятся в Тобольске царские драгоценности, часть которых была оставлена там. Позднее он продал содержанке ат. Семенова бриллиантовый кулон за 50 тыс.”. Ведь это все сплетни, который подбирало следствие. Булыгин так и говорит: “В городе ходили слухи о найденных ими (Соловьевым, о. Васильевым и горничной Романовой) спрятанных или отданных кому-то на хранение царских драгоценностях”. Следствие могло бы установить один лишь факт, о котором говорят свидетели из числа оставшихся в Тобольске с семьей приближенных. А. Ф. из Екатеринбурга могла иносказательно дать указания на необходимость привезти с собой “все лекарства”. Перед отъездом детей из Тобольска все драгоценности были зашиты в одежды<sup>390</sup>. По дневнику жены Соловьева видно, что он “мечтал” уехать в это время за границу. “Задания Соловьева в Сибири кончены”, поэтому он и “стремится выбраться за границу” – поясняет Булыгин, относя это стремление ко времени, когда екатеринбургская драма была уже завершена, между тем как записи дневника жены Соловьева относятся к 8 и 15 мая. Большевикскому или немецкому агенту уехать не удалось. Одной из причин стремления выехать за границу была опасность “быть мобилизованным белыми”.

Так снова утверждает следствие, ссылаясь уже на августовские записи в дневнике Марьи Гр., напр., 13 августа: “Всех офицеров забирают. Боюсь как бы Борю не забрали, и он тоже боится этого”. Соловьев постепенно продвигается на “восток”, готовясь к отъезду в Шанхай. До 26 ноября Соловьев “упорно” скрывал свое офицерское звание и открыл его лишь в Харбине “за несколько тысяч верст от фронта”. Соколов старался у арестованного во Владивостоке Соловьева выяснить, почему он не открыл своего офицерского звания в Омске. Тот ответил, что служить в Омске ему не позволяли его “монархические убеждения”. Это дает повод следователю сделать патетическую реплику: “Весь мир свидетель того, что происходило в то время в Сибири. Там доблестное русское офицерство доблестно проливало свою кровь за жизнь и за честь родины. А Соловьев...” Патетические слова не могут воспроизвести действительность. Сибирская жизнь не являла, конечно, собой картины сплошного героического порыва и единства настроений – бывший обер-прокурор Синода эпохи революции Львов с тенденцией противоположной запишет: “...офицеры в Сибири шли из-под палки”. То же скажет об “укрывающихся от призыва офицерах” и колчаковский военный министр бар. Будберг в своем дневнике: “В потоке шкурников растворились геройские остатки истинных борцов за идею и спасение родины”. (См. соответствующие страницы в “Трагедии адм. Колчака”.) Для “монархиста” Соловьева то, что было в августе и

---

389 По утверждению Маркова, как мы знаем, подследственный Соловьев уехал в Покровское.

390 “Демидова мне писала, – показывала няня детей Тяглева: “Уложи, пожалуйста, аптеку и посоветуйся об этом с Татищевым и Жильяром...” Мы решили, что Императрица дает нам приказание позаботиться о драгоценностях”. Тяглева подробно описывает процедуру запрятывания драгоценностей. Приведем ее, так как этот рассказ служит существенным коррективом к показаниям свидетелей о том исключительно строгом надзоре, которому подверглись оставшиеся в Тобольске члены семьи, когда комиссары на ночь запрещали запирали двери спален великих княжон, производили обыски и пр. Вот как Тяглева описывает сложную операцию с зашиванием драгоценностей в одежду перед отъездом: “...Мы взяли несколько лифчиков, положили вату и эту вату покрыли лифчиками, а затем эти лифчики сшили. В двух парах лифчиков были зашиты драгоценности Императрицы. В одном из 5 таких парных лифчиков было весом 41/2 фунта драгоценностей. Драгоценности княжон были таким же образом зашиты в двойной лифчик”. Их надели в. кн. Ольга, Татьяна и Анастасия; “кроме того, они под блузку на тело надели на себя много жемчугов. Зашили мы драгоценности еще в шляпы”. “Кроме того, в летних пальтишках, в которых великие княгини поехали в путь, и в осенних были отпороты пуговицы и вместо них шиты драгоценности, окружив сначала ватой, а затем шелком...”

сентябре в Омске (время полусоциалистической Директории), вероятно, было не по душе. Следствие всемерно старалось очернить Соловьева и показать моральное ничтожество личности “зятя Распутина”, но при критической оценке тобольской эпопеи, насколько она связана с деятельностью монархической организации “Tente Yvette”, мы не можем упускать из вида ни пристрастие сибирского следствия, ни тенденциозность показаний Маркова 2-го, которому раскрыл глаза на Соловьева только в Берлине прибывший туда помощник Соколова, кап. Булыгин<sup>391</sup>.

\* \* \*

Итак, ни Соловьев, ни Марков не были уже действующими лицами в Екатеринбурге. Не обнаруживается на месте и следов тех двух посланцев московских монархистов, которые были отправлены по получению в Москве иносказательной телеграммы о готовящемся вывозе из Тобольска царской семьи<sup>392</sup>. Большими сведениями, хотя не очень определенными и подчас даже несколько странными, мы обладаем от лица, посланного одесскими монархистами. Соколов только глухо о нем упоминает: “В мае месяце близкие царской семьи, Толстые, послали в Екатеринбург своего человека, Ивана Ивановича Сидорова. Он отыскал доктора Деревенко (имевшего доступ в “дом особого назначения”), и тот сказал Сидорову, что царской семье живется худо: строгий режим, суровый надзор, плохое питание. Они решили помочь семье и вошли в сношения – Сидоров с Новотихвинским женским монастырем, а Деревенко с Авдеевым (комендантом). Было налажено доставление семье разных продуктов из монастыря”. Более расширенные данные о бывшем “флигель-адъютанте”, который фигурировал в Екатеринбурге под именем Сидорова, дает Дитерихс. Сидоров, по словам Дитерихса, приехал в Екатеринбург в середине июня с “определенной целью” – для переговоров с Царем. “Он говорил, что необходимо спасти царскую семью, что для этого надо сплотить офицерство, что надо все сделать для предотвращения опасности, которая угрожает семье; Сидоров высказывал, что необходимо, чтобы Государь Ник. Ал. был опять царем, а не в. кн. Мих. Ал. Сидоров посещал в Екатеринбурге некоторых лиц не один – с ним появлялся иногда, как он его называл, “адъютант”, но с которым он говорил не по-русски, а на каком-то иностранном языке”. В Екатеринбурге Сидоров пробыл три недели. Перед отъездом он заявил, что “не сошелся во взглядах” с офицерами находившейся в Екатеринбурге Академии Генерального Штаба; привезенных с собой писем для царской семьи – от Толстых, Хитрово и Иванова-Луцевича – по назначению он не передал, и они “попали в следственное производство”. “Была ли связь между миссией Сидорова и политическими планами, увлекавшими немецкое командование, определенно сказать нельзя, но одно можно заключить, что предложение, привезенное Сидоровым бывшему Царю, оказалось неприемлемым для последнего”. Впоследствии Маркову в Одессе указывали, что он был послан лишь с целью собрать “точные данные о действительном положении императорской семьи для информации южных организаций”, поскольку “Лондонская гостиница”, где происходили монархически заседания, считала, что вопрос о восстановлении монархии ставить преждевременно, а вопрос о царской семье должен входить в компетенцию петербургских организаций, имевших лучшие связи с Сибирью. Здесь мы упираемся в тупик. Оказывается, что “Иван Иванов”, посланный Толстыми из Одессы, и “флигель адъютант”, именовавший себя в Сибири “Сидоровым”, очевидно разные лица. В № 1 монархической “Русской Летописи” (1921 г.) были

---

<sup>391</sup> Соловьев в это время действовал совместно с Марковым 2-м в зарубежных монархических организациях.

<sup>392</sup> Может быть, одним из них был тот прис. пов., который в январе принимал участие в снаряжении экспедиции Соловьева. Думаю, что это был прибывший в Сибирь в мае Минятов, погибший в связи с делом еп. Гермогена.

напечатаны, как уже отмечалось, письма великих княжен, отправленные Толстой в Одессу. Очевидно, из того же источника помещен и краткий рассказ “доверенного человека” Толстых, посланного в Екатеринбург для выяснения условий жизни там Государя. Человека этого звали “Иван Иванов”, и был он в действительности человеком “простым”. Наблюдения его были элементарны и передавал он то, что “говорил весь город” – о том, напр., как царских детей в Тюмени население встречало “с зеленью и цветами”, “усыпали ими путь следования” (“когда красноармейцы хотели воспрепятствовать этому, то женщины избили несколько солдат, а одного из них схватили и бросили в грязную лужу”) и т.д. Рассказывал Иван Иванов и о том, как плохо питалась царская семья из “общего котла советской кухни”, когда подчас им давали только то, “что оставалось от комиссаров и солдат”. Так, было естественно, что “Иван Иванов” интересовался более обыденным, жизненным и вошел в сношения с Тихвинским женским монастырем о доставке продуктов в Ипатьевский дом, между тем как “бывший флигель-адъютант” занимался более высокой политикой. Впрочем, я не буду удивлен, если окажется в конце концов, что флигель-адъютант – скорее всего мифическая личность, созданная обывательским воображением, которое следствие превратило в некую реальность<sup>393</sup>.

Толкование загадок – занятие довольно бесплодное. Очевидно, что слухи, связанные с дипломатическими разговорами о царской семье, которые были в Москве, придали миссии “Сидорова”, реального или фиктивного, определенную окраску. Эти “слухи”, несколько, быть может, преувеличенно, Дитерихс охарактеризовал так: “С начала июня 18 г. различные советские деятели стали усиленно распространять сведения, что немецкое командование в Москве потребовало от советской власти выдачи бывшего Государя Императора и его семьи и перевоза их в Германию. Об этом говорили всюду: и в официальных советских органах, и в салонах советских светских дам, и в подполье белогвардейских организаций Москвы, и в широких массах населения Москвы и Екатеринбурга, и даже за границей. А в рядах охранников... Ипатьевского дома говорили определенно, что царская семья будет вывезена в Германию и что имп. Вильгельм пригрозил тов. Ленину, “чтобы ни один волос не упал с головы Царя”. Сведения эти держались очень упорно и настойчиво”. В подтверждение этих слухов Дитерихс приводит выписку из попавшего в следственную комиссию документа – июньского письма, адресованного из Москвы находившемуся в Алапаевске молодому кн. Палей: “Здесь все говорят, что по требованию немцев царскую семью перевезут в Германию”. Местное творчество расширяло столичную молву, и, очевидно, со слухами о “миссии” Сидорова в воспоминаниях Боткиной-Мельник все это превратилось в совсем уже несуразную форму: “Член екатеринбургского совета, шпион германского правительства... был впущен комиссарами к Государю и заявил, что вся царская семья будет освобождена и отправлена за границу, если Их В. подпишут Брестский мир. Его Величество отказался...” Перед нами образец творения легенды<sup>394</sup>.

---

<sup>393</sup> Иван Иванов, вернувшись в Одессу, привез с собой тот номер “Уральской Жизни”, где был помещен рассказ Яковлева, перешедшего к “белым”, о том, как он перевозил Царя из Тобольска в Екатеринбург. Рассказ этот также перепечатан в “Русской Летописи”. Безошибочно можно сказать, что никакого “интервью” с мнимым Яковлевым у сотрудника газеты не было – может быть, беседовал он с Кобылинским.

<sup>394</sup> Легенда проникла даже на страницы воспоминаний английского посла Бьюкенена: царь погиб, отказавшись подписать Брестский мир. Может быть, не без старания нашего историка революционного движения в России, Бурцева, оказавшего влияние и на “воспоминания” Мельник-Боткиной. Бурцев писал в “Общем Деле”, что ему пришлось познакомиться в Берлине с обширными материалами, собранными там, о судьбе Царя. Из этих материалов определенно вытекает, что немцы делали Николаю II предложение содействовать проведению в жизнь Брест-литовского мира и с этой целью желали перевоза его в Москву, где им легче было бы договориться. За месяц до убийства Екатеринбург посетил один немецкий генерал и т.д. Сомнительно, что такие материалы Бурцев действительно мог увидеть. К сожалению, в последние годы своей работы Бурцев нередко прибегал к подобным приемам придачи авторитетности своим заключениям (см. “Золотой немецкий ключ к большевистской революции”).

В повествовании Дитерихса “Сидоров” не сошелся с офицерами Академии Ген. Штаба, которые в числе эвакуированных на Урал столичных учреждений находились в то время в Екатеринбурге. Об этих офицерах Академии упоминает еще один из документов следственной комиссии: показания подп. П. К. Л. – о них пишет Дитерихс и умалчивает Соколов. “В мае 1918 г., – рассказывал П. К. Л., – я был командирован из Петрограда в Екатеринбург от монархической организации “Союза тяжелой кавалерии”, имевшей целью спасение жизни августейшей семьи. В Екатеринбурге я поступил в слушатели 2-го курса Академии Ген. Шт. и, имея в виду осуществление вышеуказанной цели, осторожно и постепенно сошелся с некоторыми офицерами-курсантами... (поставлено 5 инициалов). Однако сделать что-либо реальное нам не пришлось, так как события совершились весьма неожиданно и быстро. За несколько дней до занятия Екатеринбурга чехами я ушел к ним в составе офицерской роты полк. Румши и участвовал во взятии Екатеринбурга”.

Офицеры Академии фигурируют в такой же роли и в других свидетельствах. Наличие некоторой конспиративной организации с большой определенностью выступает в рассказах кн. Елены Пет., переданных ее приближенным Смирновым. Елена Петр., королева сербская, бывшая замужем за кн. Иоан. Конст., добровольно последовала в ссылку за своим мужем. Три недели вся великокняжеская семья, прибывшая в Екатеринбург через 3 дня после перевоза Николая II, внешне пользуясь полной свободой, оставалась в Екатеринбурге. Затем была переведена в Алапаевск<sup>395</sup>. Отсюда Ел. Петр. приезжала вновь в Екатеринбург хлопотать о своей поездке к детям в Петербург. Ел. Петр., пользовавшаяся относительной свободой<sup>396</sup>, в дни пребывания в Екатеринбурге довольно широко посещала общество, и в частности Академию, где она была знакома с бывшим стрелком императорской фамилии. Из своих разговоров с этим офицером Е. П. передавала Смирнову, что в Екатеринбурге организован отряд “белой гвардии” и уже разработан план освобождения Царя (к этому плану мы еще вернемся). Эта организация и была той самой, которой, очевидно, руководил П. К. Л., так как именно она ушла к чехам, чтобы “ускорить падение Екатеринбурга” и тем освободить членов царской семьи. По словам жены офицера А. Г. Семчевской (ее воспоминания были напечатаны в 21 г. в “Двуг. Орле”), удалось создать активную группу в 37 офицеров. На “интимных вечерах” этой группы бывали и великие князья.

В эту местную заговорщицкую группу не входили офицеры под началом ген. Х., посланные Марковым 2-м из Петербурга, – эти “марковцы” (среди них был Седов) стали стягиваться к Уралу только в двадцатых числах июля. Было уже “поздно”. Опоздали также и другие отправленные в Екатеринбург боевые люди, связанные с Москвой. В их состав входил тот самый кап. л. гв. Петроградского полка Булыгин, который сделался помощником Соколова. Булыгин сам рассказал о своей поездке в Сибирь. Этот офицер, принявший участие в добровольческом “ледяном походе”, направился спасать Царя, как он говорил Маркову Сергею, по поручению вдовствующей Императрицы. С “паролем”, полученным от Шульгина, связанный с группой офицеров гвардейского полка, он явился в центр “национального объединения” в Москву к Кривошеину и Гурко. Перед “центром” Булыгин поставил вопрос: “Я из степей и ничего не знаю. Вы – центр и вам виднее обстановка. Я не

---

<sup>395</sup> Вслед за Ел. Петр. в июне, как бы в помощь ей, в Екатеринбург приехала целая группа, посланная сербским посланником Сполайковичем, в составе Смирнова, управляющего делами кн. И. Кон., сделавшегося “сербским подданным”, прикомандированного к сербской военной миссии офицера Мичича и двух солдат – Божевича и Абрамовича. Еще раньше, в мае, по инициативе Сполайковича, в Екатеринбург приехал офицер сербского Ген. Штаба Максимович, который хотел добиться свидания с Николаем II, чтобы передать ему 30 т., привезенных от Сполайковича. Мотив для свидания был довольно своеобразный – для беседы по историческим вопросам (Максимович был историком).

<sup>396</sup> В первый день своего пребывания она, между прочим, посетила дом Ипатьева, но, конечно, не была допущена к находящимся там узникам.

один... и мы хотим действовать, а потому, веря вашей осведомленности, спрашиваем вас: 1. Пришло ли время выручать Государя? 2. Когда это сделать? 3. Куда везти? 4. Дайте деньги на это дело. Ответ был: “1. Принимаем предложение. 2. Денег дадим. 3. Время пришло. 4. Когда и как везти – покажет разведка. Поезжайте на разведку”. После этого меня задержали еще около двух недель. Наконец, когда я однажды шел на свидание с В. И. Гурко, меня остановил крик мальчика-газетчика: “Расстрел Николая Кровавого...” Это было первое, как впоследствии выяснилось, ложное известие, пробный шар большевиков... Русский народ смолчал... И успокоенные большевики принялись за исполнение намеченного ими плана... Я пришел с газетой к Гурко “le roi est mort, vive le roi”, поезжайте, быть может, жив наследник”.

“Этой же ночью я выехал в Екатеринбург, – продолжает Булыгин, – еще не доезжая Вологды, я прочел в газетах опровержение кровавой вести, а купив газету на ст. Котельнич, я прочел: “Наш маленький город становится историческим местом – местом заключения бывшего Императора. Его скоро переведут сюда из Екатеринбурга, которому угрожают чехословацкие и белогвардейские банды“. Котельнич лежит недалеко от г. Вятки... Я остановился в Вятке и начал работу. Связавшись с друзьями и распределив роли, мы скоро “осветили обстановку”. Она благоприятствовала – в Вятке числилось всего 117 плохо организованных красноармейцев, и при усиливающемся нажиме чехов можно было ожидать паники. Было решено вызвать группу своих офицеров из Москвы, которые готовы были явиться по условной телеграмме под видом мешочников. По прибытии группы офицеров в Котельнич, она должна была разделиться вокруг дома заключения и ждать момента. Через одну женщину, вошедшую в доверие к местному совдепу (метод Маркова-”маленького”!) и долженствовавшую войти в дом заключения в виде полумойки, свите Государя должно было быть передано оружие (ручные гранаты и револьверы) для того, чтобы они могли продержаться первые полчаса, пока мы будем брать дом снаружи, ибо было опасение, что, вероятно, стража имеет приказание покончить с узниками, в случае попытки их выручать. Дабы семья доверилась нам и не опасалась провокации, должно было быть передано письмо от лица, почерк которого члены царской семьи хорошо знали. Далее предполагалось на паровых катерах, стоявших по Вятке, уходить по реке вверх к Северной Двине и оттуда пробраться к англичанам в Архангельск (которых, кстати сказать, тогда еще не было в Архангельске)... План был шальной, – замечает капитан гвардии Булыгин, – но мог удасться... В случае отказа Государя спастись мы клялись увезти его силой. Время шло. Мы тщательно наблюдали железную дорогу и Котельнич, но никаких признаков проследования поезда с узниками или приготовления в Котельниче к их встрече не было. Теперь мне понятно, что этот слух о Котельниче был только тонко рассчитанной хитростью – сбить с толка возможные попытки к освобождению жертв в момент их убийства... Наступили первые дни июля н. ст. Обеспокоенный, я решился наконец сам проехать в Екатеринбург, дабы узнать на месте обстановку”. Но... судьба судила по-иному. Булыгин на ст. Екатеринбург был узнан солдатом своей роты, который с ним поздоровался как со старым своим капитаном. Булыгин был арестован присутствовавшим здесь же комиссаром, с которым он ехал от Перми в одном купе. Так сорвалась московская инициатива.

Мы знаем, что аналогичную участь по другим причинам потерпела и киевская запоздавшая попытка ген. Мосолова, при содействии герцога Лейхтенбергского, связавшегося с немецким командованием. О том, что рассказал Мосолов, следователь Соколов не упоминает, но косвенно освещает этот эпизод во французском издании своей книги, вышедшем раньше русского. Он приводит сенсационное показание, данное ему кн. Долгоруким, одним из лидеров киевских монархистов, бывшим командующим войсками на Украине во времена ген. Скоропадского. Это свидетельство касается не планов Мосолова и Лейхтенбергского, а роли, сыгранной гр. Альвенслебеном, который являлся передатчиком тайных намерений берлинского Двора. “5 или 6 июля, – свидетельствовал Долгорукий, – глава киевских монархистов Безак уведомил его, что Альвенслебен сообщил о своем визите для сообщения важной новости. Долгорукий отправился к Безаку и здесь узнал от



Альвенслебена, что имп. Вильгельм желает все сделать, чтобы спасти имп. Николая II, и что он принял соответствующие меры в этом отношении”. “Он нас осведомил, что между 11 и 20 июля мы узнаем, что Царь казнен... Он нас предупредил, что эти сведения, так же, как слухи, распространенные в июне относительно смерти Царя, будут ложны, но это необходимо в интересах самого Царя, чтобы эта новость распространилась. Он просил нас держать в секрете его сообщение и, когда придет момент, сделать вид, что мы уверены в смерти Императора. 18 или 19 киевские газеты сообщили, что Император казнен в Екатеринбурге и что царская семья увезена в верное место...” “Я был поражен, – заканчивает Долгорукий показание, – той осведомленностью, которую заранее проявил Альвенслебен...” Во всех киевских церквях служили панихиды по покойному Императору, на них присутствовал гр. Альвенслебен и... плакал. “Безак и я были поражены искусством, с которым этот человек играл роль...”

Трудно дать комментарии к столь невероятному рассказу о том, что Берлин за две недели знал почти точную дату убийства Государя – недаром в русском издании Соколов умолчал о показании кн. Долгорукого<sup>397</sup>. Приходится пройти мимо этого странного эпизода, по-видимому, явившегося рефлексивным отражением всей совокупности легенд, которые творила жизнь. Однако, как следует назвать все предшествующие попытки организовать среди офицерских элементов кадры для освобождения царской семьи? <sup>398</sup> Были ли это заговоры или нет? Мы охотно дали бы им наименование – потуги на заговоры, попытки слабые, наивные и неизбежно неудачные. Но формально это были “заговоры”, неясные слухи о которых просачивались в более широкие круги, подхватывались и раздувались советской печатью в связи со случайными арестами реальных или мнимых “монархистов”, участников местных “контрреволюционных” выступлений. Так было в уральской печати, и “Уральский Край” в Екатеринбурге предостерегающе провозглашал: “Романов и его родственники не избегнут суда народа, когда пробьет час”.

\* \* \*

Было ли в этих попытках все же что-либо реальное в смысле осуществления плана спасения царской семьи? Быков, писавший книгу своим главным образом по расспросу “товарищей”, говорит, что заговорщики многократно пытались в течение июня войти с заключенными в связь, передавая записки в приношениях монашек местного монастыря, в хлебе, в пробках бутылок с молоком и т.д. Автор цитирует две такие довольно общего содержания записки.

“Друзья более не спят и надеются, что час, столь долгожданный, настал” – говорилось в одной из них. В другой вопрос ставился уже более конкретно: “Час освобождения приближается, и дни узурпаторов сочтены. Славянские армии все более и более приближаются к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города. Момент становится критическим<sup>399</sup>. Этот момент наступил, надо действовать”. Затем Быков приводит еще два письма, напечатанных у Дитерихса. Сам Дитерихс ссылается в данном случае на какое-то “радио Москва – Будапешт” 3 апреля 19 г., воспроизводившее сообщение московских “Вечерних Известий”, которые в неофициальном порядке опубликовали “документы” по

---

<sup>397</sup> Герцог Лейхтенбергский в своих воспоминаниях назвал его человеком неуравновешенным и импульсивным.

<sup>398</sup> В нью-йоркском “Новом Русском Слове” некий персидский принц Каджор рассказывал, как и он конспировал в Екатеринбурге, сносился с офицерами, занимавшимися освобождением Царя (февраль 36 г.).

<sup>399</sup> В первом издании быковского очерка следует угроза: “и теперь надо бояться кровопролития”.

делу “о попытках к побегу Николая”<sup>400</sup>. В первом из этих писем анонимный корреспондент, подписавшийся “офицер”, говорил: “С Божьей помощью и с Вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем. Необходимо расклеить одно из Ваших окон, чтобы Вы могли его открыть; я прошу точно указать мне окно. В случае, если маленький Царевич не может идти, дело сильно осложнится, но мы и это уже взвесили, и я не считаю это непреодолимым препятствием. Напишите точно, нужны ли два человека, чтобы его нести, и не возьмет ли это на себя кто-нибудь из Вас. Нельзя ли было бы на 1 или 2 часа на это время усыпить „маленького“ каким-нибудь наркотиком. Пусть решит это доктор, только надо Вам точно предвидеть время. Мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даю Вам в этом торжественное обещание перед лицом Бога, истории, перед собственной совестью”. Далее шел ответ Николая II: “Второе окно от угла, выходящее на площадь, стоит открыто уже два дня и даже по ночам. Окна 7-е и 8-е около главного входа, тоже выходящие на площадь, точно такие же всегда открыты. Комната занята комендантом и его помощниками, которые составляют в данный момент внутреннюю охрану из 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами. Ни в одной двери, за исключением нашей, нет ключей. Комендант и его помощник входят к нам, когда хотят. Дежурный делает обход дома ночью 2 раза в час, и мы слышим, как он под нашими окнами бряцает оружием. На балконе стоит один пулемет, а под балконом другой на случай тревоги. Не забудьте, что с нами будет доктор, горничная и маленький кухонный мальчик. Было бы низко с нашей стороны (хотя они ни в коем случае нас не затруднят) оставить их тут после того, как они добровольно последовали за нами в изгнание. Напротив наших окон по той стороне улицы помещается стража в маленьком домике. Она состоит из 50 человек. Все ключи и ключ № 9 находятся у коменданта, который с нами обращается хорошо. Во всяком случае, известите нас, когда представится возможность, и ответьте, можем ли мы взять с собой наших людей. Перед входом всегда стоит автомобиль. От каждого сторожевого поста проведен звонок к коменданту и провода в помещение охраны и другие пункты. Если наши люди останутся, то можно ли быть уверенным, что с ними ничего не случится?”

К этому Быков прибавляет, что Царь пытался отправить письмо в конверте с цветной подкладкой – “конверт был заподозрен, и когда подкладка была отклеена, под ней нашли план верхнего этажа “дома особого назначения”, с подробным обозначением комнат и указанием их обитателей”. Этому случаю с “планом” касается в воспоминаниях и Авдеев, но по его изложению ясно, что случай был в первый период заключения. Он говорит о письме, адресованном “Николаю Николаевичу”. Вызванный в комендатуру Николай II вначале ответил полным незнанием, сказав, что “может быть, кто-нибудь из детей это сделал”. Когда же ему был показан план, начерченный им собственноручно, то он “замаялся, как школьник”, и сказал, что “он не знал, что нельзя посылать плана”. На запрос, почему же тогда его запрятали под подкладку конверта, он, как ребенок, начал просить, чтобы его извинили на первый раз и что больше таких вещей он делать не будет. И тут же спрашивал: “А вы все-таки пошлете этот листок с письмом или оставите его?” Дневник самого “наивного” Царя устанавливает, что история с “планом” не измышлена, но носит совсем другой характер. 21 апреля, т.е. на пятый день приезда, в “великую субботу”, Царь записал: “Писал по несколько строчек в письме дочерям от Алекс и Марии и рисовал план этого дома” – другими словами, рисовал план в первых письмах, пошедших в Тобольск. Под 24 апреля в дневнике отмечено: “Авдеев комендант вынул план дома, сделанный мною для детей третьего дня на письме, и взял его себе, сказав, что этого нельзя, посылать!” В данном случае нельзя, конечно, не поверить бесхитростной записи в дневнике. “Поганец Авдеев”, как Царь окрестил после случая с “планом” на первых порах коменданта, явно присочинил для прикрасы в своих воспоминаниях.

---

<sup>400</sup> В последующих работах и в эмигрантской печати материал этот заимствуется из публикации в петербургской вечерней “Красной Газете”, которая просто делает ссылку на Быкова.

К письмам, заимствованным из “Радио Москва – Будапешт”, Дитерихс отнесся с большим скепсисом – все эти документы сочинены позднее в Москве. “Отчего от них так отзывается Олендорфом или каким-нибудь другим распространенным пособием для изучения какого-либо иностранного языка? Отчего “офицер”, желающий спасти бывшего Государя Императора, значит, оставшийся в душе верноподданным, обращаясь к нему, называет его только “Вы”, “Вам”, а не “Государь”, “В. Величество”, ему более привычным и допустимым титулованием? Отчего он же называет Наследника-Цесаревича – Царевичем, что на русском языке не одно и то же, а в другом месте он просто называет Наследника-Цесаревича – “маленьким”, как будто имея возможность, как и советские деятели, читать дневники Государя Императора и видеть там интимное ласкательное наименование, данное Государем нежно любимому сыну”. Представляется Дитерихсу документ и с фактической стороны несуразным, когда говорится о похищении через окно. Со своей стороны, Царь, за забором ничего не видевший, не мог писать о сторожевых постах, о сигнализации, которой не было, и т.д. “А мог ли Государь забыть, что спасению подлежат не только Боткин, Демидова и Седнев, а еще Харитонов и Трупп? Забыли о них – вероятно, те, кто в Москве сочинял эти документы”. “Фальшивость документов” особенно чувствуется в стиле, не соответствующем ни русскому слогу, ни русскому духу. Русский офицер не мог так писать, не мог писать и Царь, “прекрасно владеющий родным языком”.

Критика Дитерихса довольно убедительна, но все же мы должны иметь в виду, что перед нами лишь подозрительный перевод текста какого-то “радио”. (Было ли нечто подобное фактически опубликовано в московских “Веч. Известиях”, проверить мы не можем, и публикация эта представляется сомнительной.) Авдеев, склонный, как могли мы усмотреть, к сочинительству в воспоминаниях, утверждает, что на куске пергамента, обнаруженном в пробке с бутылкой сливок, письмо было написано по-английски. Эта бумажка им была доставлена Голощекину, после снятия копии “была вложена обратно в пробку и передана по назначению. Через 2 – 3 дня таким же порядком последовал ответ Николая”. “Офицер” в концов концов якобы был арестован, и он оказался “офицером австрийской армии Мачичем” (не спутал ли мемуарист задним числом с сербским офицером Мачичем, прибывшим вместе с Смирновым и позже арестованным). Если допустить, что письмо “офицера” было написано иностранцем (мы увидим, что в этом предположении имеется некоторое правдоподобие), то отпадут многие сомнения Дитерихса, в частности наименование “царевич” и “маленький”, обращение на “Вы” и т.д., это наименование употреблялось не только в интимной обстановке – так, телеграмма, посланная в Тобольск при содействии Яковлева по дороге в Тюмень, спрашивала о здоровье “маленького”. И сомнения относительно письма от имени Николая II не всегда так уже непоколебимы: Царь мог думать не без основания, что повару Харитонову и лакею Труппу в случае бегства семьи ничего не грозит; утверждения Дитерихса, что между сторожевым постом (их было 11 – из них шесть наружных) и комендатурой не существовало сигнализации, как указывает письмо, по-видимому неверны, ибо обследование Соколова установило, что в комендантской имелось пять электрических проводов: характерно обычное для Царя употребление термина “люди” в отношении своих окружающих.

Но главным аргументом в пользу возможной подлинности если не этих писем, то других, аналогичных им, служит дневник Николая II. 14 июня (Царь писал всегда по старому стилю) записано: “Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые... (многоточие, как отмечает редакция “Кр. Архива”, в подлиннике). Все это произошло от того, что на днях мы получили два письма<sup>401</sup> одно за другим, в кот(орых) нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми. Но дни проходили, и ничего не случилось, а ожидание и неуверенность были очень мучительны”. Из

---

<sup>401</sup> Может быть, те, которые приведены у Быкова?

повествования Смирнова мы знаем, что в эти дни та организованная группа офицерства, о которой Ел. Петр. рассказывала ему, искала путей сообщения в Ипатьевский дом о своих планах. Офицеры просили через Деревенко, при его очередном посещении Наследника, предупредить Боткина, чтобы Царь не был бы испуган, когда произойдет похищение. Смирнов с Мичичем, прибывшие в Екатеринбург 4 июля, на другой день, т.е. по старому стилю 22 июня (это был момент, когда в “доме особого назначения” происходила “крутая перемена”), посетили одного американца, который передал им, что чехи находятся уже в 80 кил. от Екатеринбурга и что глава “белой гвардии” готов действовать. Американец рассказал им, что из окна мансарды английского консула виден сад дома Ипатьева. Каждое утро консул, наблюдая прогулку Николая II, телефонировал другим консулам, что “товар еще на станции”.

Дневник Царя подтверждает и историю распечатания окна. 10/23 июня в дневнике стоит отметка: “У нас утром открыли одно окно”. Как видно из предшествующих записей, “разрешение” этого вопроса длилось “около двух недель”. “Часто приходили разные субъекты и молча при нас оглядывали окна”. И как раз тесовый забор, которым был обнесен дом, как свидетельствует Авдеев, “не полностью закрывал угловое окно, выходящее на Вознесенский проспект”, – это была комната Царя, где и было раскрыто окно<sup>402</sup>.

Комментируя сообщение “Красной Газеты” (26 г.), где были перепечатаны приведенные выше письма “офицера” и Николая II, Керенский в “Днях” усомнился также в достоверности писем – он соглашается с Соколовым, что при существовавшей системе караула царская семья была в “западне”, в “безвыходном положении”. Попытка к побегу в этих условиях была просто самоубийством всех его участников.

Это чувство безвыходности, по мнению Керенского, и царило в Ипатьевском доме. Он обращает внимание на то, что “Красная Газета” при публикации записки, найденной в пробке бутылки с молоком, пропустила фразу “чрезвычайной важности” (очевидно, Керенский считает эту записку достоверной): это те слова, которые следовали за упоминанием, что “момент становится критическим” – “теперь надо бояться кровопролития”<sup>403</sup>. “Боязнь кровопролития, – пишет Керенский, – ясно говорят о другом настроении, царившем в Ипатьевском доме в те дни, когда в Москве хладнокровно подготавливали зверское убийство незащищенных женщин и детей”. Царский дневник опровергает такое толкование. Возможно, что объективно попытки освобождения действительно были равносильны простому “самоубийству”, но очевидно, действующие лица тогда рассуждали по-другому<sup>404</sup>. Последняя запись дневника Николая II 30 июня, т.е. 13 июля, оканчивается словами: “вестей извне никаких не имеем”. За день перед тем в дневнике упомянуто “утром

---

<sup>402</sup> Авдеев говорит о форточке, которая открывалась и закрывалась по усмотрению живущих. В июне в эту форточку по утрам от 7 – 9 часов стала высовываться голова одной из дочерей, несмотря на запрещение и предупреждение, что часовой будет стрелять; с улицы в то же время стража стала замечать прохаживающегося какого-то гимназиста. И вот однажды раздался предупредительный выстрел. “Поняв, в чем дело, бросаюсь в комнаты, – повествует Авдеев. – “Отворив дверь угловой комнаты, застал такую картину: Николай на полу вниз лицом; за кроватью... присела его жена, возле окна на полу полулежали Мария и Татьяна...” На окне Авдеев увидел небольшой лук, принадлежавший наследнику – “стрелы к этому луку имелись”. Случай с выстрелом отмечен и в дневнике Царя – и даже два раза, но без тех драматических или комических подробностей, о которых упоминает комендант. 27 мая, т.е. на четвертый день приезда детей, записано: “Часовой под нашим окном выстрелил в наш дом, потому что ему показалось, будто кто-то шевелится у окна (после 10 час вечера) – по-моему, просто баловался с винтовкой, как всегда часовые делают”, и 21 июня: “Вчера в караульном помещении снова был выстрел: комендант пришел справиться: не прошла ли пуля через пол”.

<sup>403</sup> “Кр. Газ.” перепечатала из очерка Быкова – в отдельном издании его эта фраза была уже пропущена.

<sup>404</sup> Из бесед, который Марков С. имел в Петербурге с Седовым, можно заключить, что выполнимым проектом считалась попытка освобождения Царя в случае его перевоза из Екатеринбурга.

около 101/2 час. к открытому окну подошло трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы – без предупреждения со стороны Ю. (ровского). Этот тип нам нравится все менее”.

У нас нет данных, чтобы поставить в прямую связь планы “белой гвардии”, о которых говорил “американец” Смирнову, и укрепление 11 июля решеток на “открытом окне в доме Ипатьева с попыткой “контрреволюционного” выступления, имевшего место в Екатеринбурге 13 июля (30 июня ст. ст.) – так называемого бунта эвакуированных “инвалидов”, закончившегося массовыми арестами и расстрелами. Официальная версия ставила “восстание” в прямую связь с замыслами местных тайных военных организаций. Как раз в это время ушла из Екатеринбурга к чехам та офицерская рота, участники которой готовили пути освобождения царской семьи. В это время (29 июня) был убит и еп. Гермоген, арестованный на страстной неделе и привезенный в Екатеринбург. Здесь по ходатайству делегации тобольского епархиального съезда во главе с прис. пов. Минятовым под залог в 100 т. его согласились выпустить, и Гермоген отправился назад в Тобольск. Однако дальше Тюмени он не доехал. Из Омска через Тобольск уже наступали чехи. На реке Туре близ с. Покровского Гермоген был утоплен конвоирами.

## **2. В “доме особого назначения”**

Записью 30 июня (следовательно, 13 июля, т.е. за несколько дней до гибели) закончился дневник Императора Николая II. Последняя ее фраза, как было сказано, гласила: “вестей извне никаких не имеем”. Мы имеем право заключить, что именно в эти дни резко оборвались какие-то надежды на спасение. Призванный 1 июля совершить богослужение в доме Ипатьева священник екатеринбургского собора о. Сторожев засвидетельствовал в показаниях следствию, что его внимание привлек внешний утомленный вид заключенных (они были “я не скажу в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных”), отличный от того, который он заметил при первом своем посещении царской семьи: тогда царевны имели вид “почти веселый”, не было “следов душевного угнетения” и на лице бывшего Императора. Сопровождавший о. Сторожева дьякон для выполнения очередной церковной требы, в свою очередь, увидел происшедшую перемену и сказал о. протоиерею: “у них там что-то случилось... они все какие-то другие, точно даже и не поет никто” (это нарушало установленную традицию).

До этого момента монотонная жизнь в условиях тюремного режима, установленная в “доме особого назначения”, текла более или менее спокойно для заключенных, и они не испытывали каких-либо “изоощренных издевательств”, “унижений” со стороны тюремщиков. Дневник Николая II, которым не могло еще пользоваться следствие, вносит весьма существенные коррективы в изложения мемуаристов, говорящих с чужих слов, и в текст свидетельских показаний, данных Соколову или его предшественнику по руководству следствием. Картина тюремного режима представится несколько иной, если только отрешиться от мысли, болезненно и остро затрагивавшей близких Царя и монархические круги, что нивелирующий большевистский режим распространялся на семью бывшего верховного главы государства Российского. “Сплошным мучительством” его нельзя назвать, особенно по сравнению с режимом в других советских тюрьмах. Еще в меньшей степени сможем мы повторить слова Деникина, что в Екатеринбурге царская семья подверглась “невероятному глумлению черни”.

Непосредственными свидетелями жизни царской семьи в доме Ипатьева были те члены охраны, которые прошли через следственный допрос: сохранивший жизнь камердинер Николая II “старик Чемодуров”, который прибыл в Екатеринбург вместе с Царем и был отпущен им для “отдыха” уже 11 мая, т.е. на другой день после приезда оставшихся в Тобольске членов семьи, и привезенные из Тобольска и погибшие в Екатеринбурге “дядька” Цесаревича, матрос Ногорный, и лакей Седнев – взятые 14 мая на допрос, они уже не вернулись назад, следовательно, они были в доме Ипатьева только три дня. (Ногорный и

Седнев оказались затем в заключении вместе с кн. Львовым, их рассказы последнему и были зарегистрированы следствием). Чемодуров показывал следователю, что режим в Ипатьевском доме был установлен “крайне тяжкий, и отношение охраны было прямо возмутительное”. Когда Царь к кому-нибудь из них обращался с вопросом, то или не получал ответа, или грубое замечание. Старому камердинеру казалось, конечно, ужасным, что не было ни столового белья, ни столового сервиса, что вся сервировка была “крайне бедна”, и что обедали за столом, не покрытым скатертью. К ужину подавали те же блюда, что к обеду, а к чаю черный хлеб. Прогулки разрешались один раз в день в течение 15 – 20 минут. Сдержанное, “не вполне откровенное” показание Чемодурова следственной власти было проверено Соколовым его частными, “более откровенными” рассказами про жизнь в Ипатьевском доме отдельным лицам<sup>405</sup>. Здесь (в “бессвязных”, по выражению Кобылинского, рассказах больного Чемодурова) больше уже выступают черты комиссарской “грубости” – Чемодуров, напр., говорил, что в обеденных трапезах за царским столом принимали участие и красноармейцы и комиссары: “придет какой-нибудь и лезет в миску: “ну, с вас довольно””<sup>406</sup>, княжны спали на полу, так как кроватей у них не было; последние не смели ходить без стражи в уборную, причем и здесь их сопровождали часовые. По словам Львова, Седнев и Нагорный утверждали, что этот ужасный режим становился с каждым днем “все хуже и хуже”: двадцатиминутная прогулка свелась до 5 минут; несчастных княжон “заставляли играть на пьянино” и т.д. В изображении “правдивых” воспоминаний Мельник<sup>407</sup>, обобщавших приведенные свидетельства, жизнь в доме Ипатьева превратилась в “сплошное издевательство”: пищу приносили ту, что оставалась после караула, и “убирали, когда арестованные только что начинали есть”, или “плевали” в нее. “Первое время великие княжны готовили для больной матери отдельно на спиртовке кашу и макароны, приносимые доктором Деревенко, но вскоре Деревенко перестали пускать к ним, и они больше ничего не получали”, и т.д.

Вот теперь показания дневника Николая II – человека, по-видимому, простого и очень неприятельного. В первый же день он отметил неудобство помещения в двух комнатах верхнего этажа около столовой караула: “Чтобы идти в ванну и W. С., нужно пройти мимо часового у дверей караульного помещения” – неудобство, которое было устранено через несколько дней, когда караульные были переведены в нижний этаж. Обед, который приносили со стороны, правда, часто, очень часто запаздывал, но тем не менее в апреле постоянно имеем отметки: “отлично поужинали” или “еда была отличная и обильная”, “еда была обильная, как все это время, и попевала в свое время” (4 мая). “Нам купили самовар (1 мая) – по крайней мере не будем зависеть от караула”. 5 июня, т.е. тогда, когда была организована доставка продуктов из монастыря: “Со вчерашнего дня Харитонов готовит нам еду, провизию приносят раз в два дня”. “Дочери учатся у него готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут хлеб. Недурно!” В самый последний период со сменой комендатуры, как увидим, питание заключенных даже значительно улучшилось.

Относительно прогулок дневник вводит аналогичные поправки. В редкие дни он отмечает, что прогулка не была допущена: таким днем было, например, 18 апреля, т.е. первомайское празднество – это был второй день пребывания в Екатеринбурге. На следующий день гуляли “часок”. Потом идут отметки: “полчаса”, “гуляли два раза”. На 1 мая

---

<sup>405</sup> По словам Жильяра, Чемодуров сознательно не сказал всей “правды” следователю Сергееву. Жильяр добавляет, что Чемодурова трудно было понимать, так как говорил он “без всякой связи”.

<sup>406</sup> Это попало даже позднее в официальное сообщение английского верховного комиссара Эллиота и Лондоне.

<sup>407</sup> Аттестат такой выдал им совершенно незаконно бывший правитель-ственный комиссар, перевозивший царскую семью из Петербурга в Тобольск, – Макаров.

отмечено: “Сегодня нам передали через Боткина, что в день гулять разрешается только час; на вопрос почему? – исп. дол. коменданта ответил: чтобы было похоже на тюремный режим, тем не менее 7 мая сказано: “утром погуляли полчаса, а днем полтора”. В дни, в течение которых был в д. Ипатьева Нагорный, дневник действительно упоминает о прогулках в 20 мин и объясняет это тем, что “было холодно и отчаянно грязно”, “шел мокрый снег”. 21 мая: “гуляли два раза”. 9 июня: “по письменной просьбе Боткина нам разрешили полуторачасовые прогулки”. 10 июня: “гуляли два часа”. Таким образом, не только показания современников, но и выводы историка Сперанского, производившего личное обследование в Екатеринбурге, о том, что прогулки “редко” разрешались, дневник решительно опровергает.

Кстати, еще о принуждении великих княжон играть на пьянино – дневник от 25 апреля, т.е. в момент, когда в Екатеринбурге была еще одна Мария, устанавливает факт переноса рояля “на днях” из зала в дежурную комнату, откуда и “раздавались звуки пения и игры на рояле”, – там инструмент оставался все время. По приведенным выше показаниям свящ. Сторожева можно было бы заключить, что за все время пребывания царской семьи в доме Ипатьева только два раза был допущен к заключенным священник для выполнения церковной требы – 20 мая и 1 июля<sup>408</sup>. На деле почти каждое воскресенье, в соответствии с показаниями допрошенных членов стражи, в дневнике отмечаются богослужения, начиная с 21 апреля в “великую субботу”, когда по просьбе Боткина была заслушана заутреня в присутствии караула<sup>409</sup>.

Очень существенные поправки вносит дневник также и в рассказы об отношении стражи к заключенным. Комендантом “дома особого назначения” назначен был известный нам Авдеев, под прямым водительством которого находилась стража, занимавшая посты внутри дома, – это были все рабочие местной фабрики Злоказова, считавшейся “гнездом большевизма”: здесь уже раньше царил бывший слесарь или машинист Авдеев, носивший звание председателя “делового совета” национализированной фабрики, из состава этого фабрично-заводского комитета набрано было и основное ядро внутренней стражи. Внешнюю охрану первое время (около трех недель) несла особая караульно-конвойная команда г. Екатеринбурга, набранная из резервов 3-ей и красной армии и менявшаяся в своем составе. К моменту прибытия оставшихся еще в Тобольске членов царской семьи в Ипатьевский дом и была создана постоянная стража и для внешних постов – она состояла из добровольцев рабочих находившегося в предместье города Сысертского завода. В общем, “охранный отряд дома особого назначения”, дважды пополнявшийся, включал 75 – 80 человек...<sup>410</sup> “Революционные настроения” охраны, состоявшей на 80 % из партийных коммунистов, “благонадежность” которых была тщательно проверена, конечно, не допускала, утверждает комендант, каких-либо сношений с бывшим Императором, которые были запрещены. Мы приводили свидетельство Чемодурова, что попытки членов семьи заговорить со стражей встречали грубый отпор. Нестойких и невыдержанных, по словам Авдеева, снимали с охраны и отсылали на завод – и тем не менее в первую же неделю таких “недостаточно надежных”, “недостаточно выдержанных”, по признанию самого мемуариста, оказалось 30 человек. Это было естественно, потому что не столько “революционный” пыл, сколько

---

<sup>408</sup> Керенский и толкует разрешение, данное на богослужение 1 июля, как разрешение обреченной уже на смерть семье отслужить по себе самой заупокойную обедню.

<sup>409</sup> Служил обычно другой священник Екатеринбургского собора. Возможно, что перемена была вызвана недоверием к предшественнику о. Сторожева, так как и городе стали говорить, что в соборе провозглашали здравицу “царю Николаю, заключенному”.

<sup>410</sup> Легко усмотреть большие разноречия в “точно” установленном составе охраны. Все эти разноречия в тексте Соколова и Дитерихса, расходящиеся и с замечаниями в дневнике, в данном случае значения для нас не имеют.

льготы привлекали злоказовских рабочих вступать в охрану “дома особого назначения” – сохраняя фабричное содержание, записавшиеся в “добровольцы” получали дополнительно 400 руб. в месяц и формально зачислялись в ряды красной армии без необходимости служить на фронте развивающейся гражданской войны. Допрошенные следствием охранники утверждали, что стража относилась к семье скорее “хорошо” – были и разговоры и смех молодежи, как то было в Тобольске. “Ужас и отвращение” возбуждали, вероятно, немногие – не то фанатики, не то попросту разнузданные субъекты. Проскураков, из состава наружной охраны, показывал перед следствием, что “безобразничали” два-три человека: Файка Сафонов, написавший “совсем неподобающие слова” около уборной, и Андрей Стрекотин, рисовавший в нижних комнатах “безобразные изображения”, причем третий, Белоконь, “смеялся и учил, как лучше надо рисовать...”

Показания, данные следователю, могут быть заподозрены в своей правдивости и в своей искренности. Но вот снова дневник Царя. В первый день он лаконически отметил столкновение с тюремным начальством: “Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, комендант и караульный офицер все не успевали приступить к осмотру сундуков. А осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки Алекс. Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару”<sup>411</sup>. С таким предзнаменованием нового тюремного режима имп. Николай II с женою и дочерью переступили порог “дома особого назначения”. Через четыре дня было Светлое Христово Воскресение. В дневнике записано: “Вечером долго беседовал с Украинцевым у Боткина” (Украинцев – злоказовский рабочий, очевидно, в первое время исполнял функции пом. коменданта, как отмечено в дневнике, – ни у Соколова, ни у Дитерихса с их детальным изложением указаний на этот счет не имеется). 24 апреля произошло упомянутое выше столкновение с “поганцем Авдеевым” из-за нарисованного плана дома. На другой день Царя поразил караул, оригинальный и по свойству, и по одежде, “в составе его было несколько бывших офицеров, и большинство солдат были латыши, одетые в разные куртки, со всевозможными головными уборами. Офицеры стояли на часах с шашкой при себе и с винтовкой. Когда мы вышли гулять, все свободные солдаты тоже пришли в садик смотреть на нас; они разговаривали по-своему, ходили и возились между собой. До обеда я долго говорил с б. офицером, уроженцем Забайкалья; он рассказывал о многом интересном, также и маленький караульный начальник, стоявший тут же: этот был родом из Риги”. 25 апреля дневник отмечает “большое беспокойство” в дежурной комнате. “Но настроение караула было веселое и очень предупредительное – вместо Украинцева сидел мой враг „лупоглазый“, который должен был выйти гулять с нами. Он все время молчал, так как с ним никто не говорил”. С 27-го новый заместитель коменданта “с добрым лицом, напоминающим художника”. После чая приехал “лупоглазый” и записал точную цифру “сколько у кого денег” и взял “лишние деньги от людей для хранения у казначея областного совета”. “Пренеприятная история”. “За вечерней игрой добрый маленький караульный начальник сидел с нами, следил за игрой и много разговаривал”. 30-го – “поганец Авдеев приходил в сад, но держался вдали”. 2 мая – “караульный начальник с нами не заговаривал, так как все время кто-нибудь из комиссаров заходил в сад и следил за нами, за ним и за часовым...”

Новый пом. коменданта, с той же Злоказовской фабрики, Мошкин, живший в “доме особого назначения” (Авдеев в доме не жил), – “пьянчуга, воришка”, по характеристике некоторых из бывших его подчиненных, может быть, и “шумел” по ночам в комендантской, но сам, “как ни бывал пьян”, во внутренние комнаты не ходил и других охранников туда не пускал. Вывод Дитерихса, имевшего в своем распоряжении большой материал, нежели тот, которым мы располагаем в печатном тексте, подтверждается уже тем, что имя Мошкина ни разу не названо в дневнике Николая II. Сам Авдеев, занимавший крайнюю революционную

---

<sup>411</sup> Дидковскому Авдеев изображает Николая II пассивным, протестующей была Ал. Фед., среди принадлежностей туалета которой была обнаружена будто бы подробная карта Екатеринбурга и фотографический карманный аппарат.



позицию в воспоминаниях, со злобой отзывающийся о Царе перед своими подчиненными и отказывавший на словах всем просьбам заключенных, в действительности держался тактики компромисса – недаром при смене коменданта Царь в конце концов записал: “Жаль Авдеева”. Из воспоминаний самого коменданта следует, что он “неоднократно” беседовал с заключенными на политические темы (Наследнику Авдеев дал даже сборник революционных песен). По инициативе коменданта была устроена прачечная для заключенных и приглашен инструктор, обучавший вел. княжон стирать белье... Мы знаем, что по соглашению Деревенко с Авдеевым в середине июня были разрешены приношения продуктами из Новотихвинского монастыря, значительно облегчившие со стороны питания положение заключенных, ибо царский повар Харитонов мог начать непосредственно в доме самостоятельно готовить обед. Все это было разрешено, по словам Авдеева, отнюдь не из сентиментальных соображений человеколюбия, а с задней целью “проследить за намерениями черносотенцев и учинять строгое наблюдение за доставляемым”, так как “было видно, что через монастырь хотят иметь связь монархические организации”. Исключительно хорошее отношение коменданта и его помощника к послушницам Антонине и Марии, которые по поручению “матушки Августы” приносили из монастыря продукты, объяснялось, очевидно, и экономическими соображениями – “революционная” комендатура, как видно из дневника Царя, широко пользовалась для себя лично из этих добротных приношений. Приносили разную провизию – показывали следствию допрошенные послушницы – молоко, яйца, сливки, масло, мясо, колбасу, редис, огурцы, ботвинью, разные печенья (пирог, ватрушки, сухари), орехи. “Как-то сам Авдеев сказал нам, что Император нуждается в табаке. Так он и сказал тогда: “император”. Мы и табаку достали и носили. Все это всегда принимал или Авдеев или его помощник...”

\* \* \*

Так протекала монотонная жизнь в “доме особого назначения”. Отсутствие внешних впечатлений, однообразие в условиях “тюремного режима” (для того чтобы походило больше на тюрьму, все окна замазали известью – “стало похоже на туман, кот(орый) смотрит в окна”), вероятно, и были причиной, что автор дневника, вопреки обычаю своему, в июне уже стал оставлять некоторые дни без записи. По вечерам развлечением была игра в “безик” и чтение книг из “довольно большой” библиотеки владельца дома. В “революционном” рвении комендант не заметил, что заключенные проявляют “какой-нибудь признак интереса” к книгам. “Единственную книгу, – утверждает Авдеев, – которую можно было видеть у Царя, это “Дом Романовых”, изданную к 300 летию династии”. Дневник говорит нам, что Николай II с увлечением читал в это время Салтыкова-Щедрина, с произведениями которого он раньше не был знаком: “Продолжаю читать Салтыкова III том – занимательно и умно” (5 июня). 23 июня: “Сегодня начал VII т. Салтыкова. Очень нравятся мне его повести, рассказы и статьи”. “И Мария и я зачитываемся “Войной и Миром” (9 мая). “С большим интересом прочитана была история “Императора Павла” Шильдера” и т.д.

Из обычной колеи повседневного обихода выбивали лишь внешние события, отзвуки которых от времени до времени проникали внутрь Ипатьевского дома. Так, 28 мая (10 июня) отмечено в дневнике: “Внешние отношения... за последние недели... изменились: тюремщики стараются не говорить с нами, как будто им не по себе и чувствуется как бы тревога и опасение чего-то у нас! Непонятно”. Через два дня, в день празднования “Вознесения”, эта “тревога” выяснилась: “Утром долго, но напрасно ожидали прихода священника для совершения службы... Днем нас почему-то не выпустили в сад. Пришел Авдеев и долго разговаривал с Ев. Сер. (Боткиным). По его словам, он и областной совет опасаются выступления анархистов и поэтому, может быть, нам предстоит скорый отъезд, вероятно, в Москву. Он просил приготовиться к отбытию. Немедленно начали укладываться, но так, чтобы не привлечь внимания чинов караула, что особо просил Авдеев. Около 11 час вечера он вернулся и сказал, что еще останемся несколько дней. Итак, и к 1 июня мы

остались по-бивачному, ничего не раскладывая”. 1 июня “наконец, после ужина Авдеев, слегка навеселе, объявил Боткину, что анархисты схвачены и что опасность миновала, и наш отъезд отменен! После всех приготовлений даже скучно стало!”

Быков утверждает, что в рядах анархистов и левых с. р., принадлежавших к екатеринбургской организации и не уверенных, что большевики расстреляют Царя, действительно был разработан план нападения на “дом особого назначения” и расстрела “Романовых”. Пишет об этом и Авдеев. Быков в своих утверждениях идет дальше и передает со слов Екатеринбургского военного комиссара, ездившего в Москву для выяснения “судьбы Романовых”, что в президиуме ВЦИК он встретил представительницу Ц. К. партии левых с. р. Спиридонову, которая настаивала “на выдаче Романовых эсерам для расправы с ними”. В этой информации нет ничего невероятного, ибо партия левых с. р. желала быть последовательно революционной и обвиняла большевиков в POSSИБИЛИЗМЕ: “расправа” с бывшим монархом, источником возможной контрреволюции, могла нарушить контакт советской власти с германским правительством и содействовать срыву Брестского мира. Поэтому июньские слухи об убийстве Николая II, дошедшие до Москвы и вызвавшие дипломатическое вмешательство Мирбаха, могли возникнуть вне каких-либо закулисных тактических задач, которые были связаны с убийством в. кн. Михаила. Едва ли было инсценировано беспокойство, проявленное центральной властью, по поводу сведений о гибели Царя “на каком-то разъезде” близ Екатеринбурга. 20 июня председатель екатеринбургского совета получил официальный запрос за подписью управляющего делами совнаркома Бонч-Бруевича, и кроме того, очевидно, по распоряжению центра командующий северноуральским сибирским фронтом Берзин самолично произвел проверку слухов на месте, посетив “жильцов в доме Ипатьева”. 27 июня он доносил Совнаркому: “Официально сообщая, что 21 июня мною с участием членов высшей военной инспекции и военного комиссара уральского военного округа и члена всероссийской следственной комиссии был произведен осмотр, как содержится Николай Романов с семьей, проверка караула и охраны, все члены семьи и сам Николай жив, и все сведения об его убийстве и т.д. провокация” (донесение Берзина приведено у Дитерихса). Отметил посещение “комиссаров из Петрограда” и царский дневник, отнеся это посещение на 22 е.

Через десять дней – 21 июня ст. ст. – в “доме особого назначения” “внезапно” произошла радикальная перемена: старая комендатура в лице Авдеева и Мошкина была отстранена, внутренняя стража заменена другой – людьми интернационального облика из “американской гостиницы”, т.е. местной Чрез. Комиссии, которая находилась в ведении комиссара юстиции Юровского. Фактически комендантом “дома особого назначения” сделался Юровский, а его помощник Никулин заменил арестованного Мошкина<sup>412</sup>. Для следствия не было сомнения в том, что мера эта была принята в соответствии с осуществлением заранее обдуманного плана – 21-го была дата, когда приступили к конкретной подготовке убийства. По вехам, установленным сибирским следствием, пошли и все остальные, писавшие об екатеринбургской трагедии. “Жильцы дома Ипатьева”, не догадывавшиеся о предуготованной им судьбе, по-иному объяснили происшедшую перемену. Данные, имеющиеся в дневнике Царя, заставляют с осторожностью подойти к установленной следствием версии, которая явно требует некоторых поправок. 21-го в дневнике значится: “Сегодня произошла смена коменданта – во время обеда пришли Белобородов и др. и объявили, что вместо Авдеева назначен тот, которого мы принимали за доктора, – Юровский<sup>413</sup>. Днем до чая он с своим помощником составлял опись золотых вещей – наших и детей; большую часть (кольца, браслеты и пр.) он взял с собой. Объяснял

---

<sup>412</sup> Николай II в дневнике людей Юровского обобщающе назвал “латышами”. Неосновательно Керенский окрестил их таким же обобщающим термином “les allemands tacuturnes”.

<sup>413</sup> “Черный господин”, сопровождавший Деревенко при осмотре Алексея 13 мая.

тем, что случилась неприятная история в нашем доме, упомянул о пропаже наших предметов. Так что убеждение, о котором я писал 28 мая, подтвердилось. Жаль Авдеева, но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства из сундуков в сарае” 414. На другой день Юровский “принес ящик со всеми взятыми драгоценностями, просил проверить содержимое и при нас запечатал его, оставив у нас на хранение”. “Юровский и его помощник, – гласит запись 23 июня, – начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас. Не говоря об имуществе – они даже удерживали себе большую часть из приносимых припасов из женского монастыря. Только теперь, после новой перемены, мы узнали об этом, потому что все количество провианта стало попадать на кухню...”

“Наша жизнь несколько не изменилась при Юровском”, – говорит запись 25 июня (8 июля). Все эти записи устанавливают один несомненный факт, что история с кражей не была выдумана “советскими главарями” для того, чтобы прикрыть перемену, которая должна была произойти в “доме особого назначения”. Конечно, не сама по себе кража “какого-то золотого крестика”, как выражается Дитерихс<sup>415</sup>, объясняет перемену 4 июля, а опасность, что разложившаяся стража может оказаться ненадежной и легко подкупной в критические дни, которые начинал переживать Екатеринбург.

## Глава седьмая УБИЙЦЫ

### 1. Ночь ужаса

Мы не будем воспроизводить подробно, по данным следствия, позорного зрелища бойни беззащитных людей, которую устроили екатеринбургские фанатики в ночь с 16 на 17 июля в подвале дома Ипатьева. Эту кошмарную потаенную расправу с царской семьей и с близкими ей людьми могли совершить лишь те, кто в момент своего действия потеряли человеческий облик. Безобразная обстановка, в которой совершен был “революционный” акт, не дает возможности даже поставить вопрос: “оправдает ли история такое убийство?” Такой вопрос впоследствии поставил себе небезызвестный Беседовский, слушая в Варшаве пьяную исповедь полпреда Войкова о его участии в екатеринбургском “историческом акте”. Уже тогда Беседовский, состоявший еще в рядах ответственных большевистских деятелей, не мог, по его словам, отрешиться от тягостного впечатления подавленности, которую навел на него рассказ убийцы, ибо ничего героического не было в “работе мясников”.

Скрупулезная следовательская работа обрисовала в деталях почти исчерпывающе кровавые сцены в ипатьевском подвале и последующее сожжение останков расстрелянных в старых рудниковых шахтах урочища “Четырех братьев”. Сенсационная тема вызвала за истекшие годы многочисленные отклики всякого рода прямых и косвенных свидетелей екатеринбургской драмы: то были преимущественно фантастические измышления –

---

414 28 мая Царь записывал: “В сарае, где находятся наши сундуки, постоянно открывают ящики и вынимают разные предметы и провизию из Тобольска. И при этом без всякого объяснения причины. Все это наводит на мысль, что понравившиеся вещи очень легко могут увозиться по домам и, стало быть, пропасть для нас! Омерзительно!” Естественно, что Авдеев умолчал в своих мемуарных экскурсах о воровских подвигах подчиненных ему “революционеров”. Он, напротив, усиленно подчеркивает, что ключи (весом в совокупности около 20 фунтов) от всех привезенных из Тобольска чемоданов, сложенных в кладовых дома, находились у членов семьи; по его словам, лишь владельцы багажа “копались” в чемоданах, “копались” “под наблюдением” охраны, на что “требовалось несколько часов”.

415 Дитерихс говорит: “Мошкину и рабочим было предъявлено обвинение в краже у царской семьи какого-то золотого крестика, и об этом их поведении было даже сообщено фабричному комитету. Собрание рабочих Злоказовской фабрики осудило поведение рабочих, и они были отправлены на фронт”.

разбираться в них большого исторического смысла нет. К категории таких сведений надлежит отнести сообщение знаменитого в своем роде иеромонаха Иллиодора, напечатанное первоначально в одном из американских журналов и обошедшее эмигрантскую печать. Правдоподобия, которое усмотрели в нем (в частности “Последн. Новости” Милюкова), там нет – начиная от того момента, как Иллиодор, случайно оказавшийся в “Святую пятницу” 18 г. проездом из Владивостока в Екатеринбурге, посетил 3 мая по приглашению “красного коменданта” Войкова жильцов Дома Ипатьева. “Комендантом” Ипатьевского дома Войков никогда не был. Совершенно невероятно, чтобы дневник Царя не отметил столь необычайного визита со стороны – необычайного не только в единообразном обиходе екатеринбургского “тюремного режима”, но и единственного за все время сибирского пребывания; визит Иллиодора должен был произвести тем большее впечатление, что бывший герой царицынской эпопеи будто бы напомнил Ал. Фед. страшное пророчество местной юродивой и ясновидящей Марфы о гибели всей царской семьи<sup>416</sup>. Войков, не открывая полностью своих карт перед Иллиодором и таинственно заявляя, что Романовы, которых хотят похитить, отсюда живыми не выйдут, желал, чтобы Иллиодор засвидетельствовал, что он видел в заключении подлинного Царя и тем пресек в будущем возможность самозванства<sup>417</sup>. Иллиодор далее рассказывал со слов Гусевой, как Войков осуществил свой план, – Гусева все детали знала от своего любовника красноармейца “Анатолія”, принимавшего якобы непосредственное участие в убийстве. Указание на роль Войкова могло бы иметь некоторое значение (официальное следствие не выяснило, кто персонально был вторым членом “следственной комиссии”, присутствовавшим в Доме Ипатьева в ночь на 17 июля), если бы “воспоминания” Иллиодора не появились через несколько лет после того, как Беседовским было опубликовано рассказанное ему самим Войковым ночью, под новый 25 й год, после танцевального вечера сотрудников советского посольства в Варшаве.

Как не отнестись к этому рассказу человека, сидевшего с “красными воспаленными глазами”, с “мутным взглядом” в обстановке быстро опустошаемой “батареи коньяковых, ликерных бутылок”, все же это единственный рассказ, который мы имеем, со стороны непосредственного и ответственного участника екатеринбургских событий. Рассказывая все “строго конфиденциально” (по постановлению политбюро была взята “формальная подписка” молчать о происшедшем), Войков в руках держал “кольцо с рубином, переливающимся цветом крови”, – он его взял в Екатеринбурге в Ипатьевском доме после расстрела царского семейства.

Оставим пока в стороне то, что Войков говорил о роли, сыгранной центральной властью в решении судьбы царской семьи – может быть, это самое важное, но как раз здесь возникают и наибольшие сомнения. Первоначально воспроизведем ту часть повествования, где изображается отвратительная сцена в ночь на 17 июля, о которой было “прямо стыдно рассказывать, как все это происходило”. При разработке вопроса о “проведении расстрела” в екатеринбургском комитете партии Белобородов предложил “следующий план”: “Инсценировать похищение и увоз семьи, кроме царя, и увезенных тайно расстрелять в лесу, близ Екатеринбурга. Бывшего Царя расстрелять публично, прочитав приговор с мотивировкой расстрела”. Однако Голощекин возражал против этого проекта, считая, что инсценировку будет очень трудно скрыть. Он предложил расстрелять всю семью за городом,

---

<sup>416</sup> В 1910 г. А. Ф. специально поехала в Царицын, чтобы узнать от Марфы свое будущее. Когда юродивая оказалась в присутствии Царицы, она развернула восемь кукол, завернутых в газете. С силой бросив их на пол, закричала: “Это – вы, это – вы! Все вы!” Затем из чайника облила куклы красной жидкостью... и подожгла их спичкой. Когда все куклы вспыхнули, она воскликнула: “Вот ваше будущее! Все вы сгорите! Я вижу кровь... Много крови!..” Так повествует бывший инок Ил. Труфанов.

<sup>417</sup> С Иллиодором Войкова свела также знаменитая Хиония Гусева – та самая, которая накануне великой войны 14 г., в июне, пырнула ножом старца Григория.

в лесу, побросав трупы в одну из шахт, объявив о расстреле Царя и о том, что “семья переведена в другое, более надежное место”. Тут Войков начал мне рассказывать подробно ход прений в областном комитете партии по этому вопросу. Он лично выступал против обоих проектов, предлагая вывести царское семейство до ближайшей полноводной реки и, расстреляв, потопить в реке, привязав гири к телам. Он считал, что его проект был самым “чистым”: расстрел на берегу реки с прочтением приговора и затем “погребение тел с погружением в воду”. Войков считал, что такой способ “погребения” явился бы вполне нормальным и не дискредитирующим проведенное в жизнь революционное мероприятие. В результате прений областной комитет принял постановление о расстреле царской семьи в Доме Ипатьева и о последующем уничтожении трупов. В этом постановлении указывалось также, что состоявший при царской семье доктор, повар, лакей, горничная и мальчик-поваренок “обрекли себя к смерти и подлежат расстрелу вместе с семьей”. Выполнение постановления поручалось Юровскому, коменданту Ипатьевского дома. При выполнении должен был присутствовать в качестве делегата областного комитета Войков. Ему же, как естественнику и химику, поручалось разработать план полного уничтожения трупов. Войкову поручили также прочесть царскому семейству постановление о расстреле, с мотивировкой, состоящей из нескольких строк, и он действительно разучивал это постановление наизусть, чтобы прочесть его возможно более торжественно, считая, что тем самым он войдет в историю как одно из главных действующих лиц этой трагедии. Юровский, однако, желавший также “войти в историю”, предупредил Войкова и, сказав несколько слов, начал стрелять. Из-за этого Войков его смертельно возненавидел и отзывался о нем всегда, как о “скотине, мяснике, идиоте” и т.п. Вопрос о том, каким оружием действовать при расстреле, также подвергся тщательному обсуждению. Решили расстреливать из револьверов, так как ружейные залпы были бы далеко слышны и привлекли бы внимание жителей Екатеринбурга. Для расстрела Войков приготовил свой маузер, калибра 7.65. Рассказывая об этом, он вынул из кармана и показал мне этот маузер. Такой же маузер был, по его словам, и у Юровского. Перейдя к описанию самой обстановки, Войков утверждал, что Юровский так хотел поскорее закончить убийство, что очень торопился и из-за этого превратил “торжественный исторический акт” в работу мясников. Тут же Войков добавил, что решение пощадить мальчика-поваренка было принято Юровским по инициативе Войкова и с большой неохотой. Юровскому, при его жестокости, было жалко расставаться с одной из жертв.

В ночь под 17-е июля Войков явился в Дом Ипатьева в 2 часа ночи вместе с председателем Чрезвычайной комиссии Екатеринбурга. Юровский доложил им, что царская семья и все остальные уже разбужены и приглашены сойти вниз в полуподвальную комнату, откуда должна произойти их дальнейшая отправка. Им объявлено, что в Екатеринбурге тревожное настроение, с часа на час ожидается нападение на Ипатьевский дом и что поэтому необходимо для безопасности сойти в полуподвальную комнату. Царское семейство сошло вниз в 2 час. 45 мин (Войков смотрел на свои часы). Юровский, Войков, председатель Екатеринбургской чеки и латыши из чеки расположились у дверей... Члены царской семьи имели спокойный вид. Они, видимо, уже привыкли к подобного рода ночным тревогам и частым перемещениям. Часть из них сидела на стульях, подложив под сиденья подушки, часть же стояла. Бывший Царь подошел несколько вперед по направлению к Юровскому, которого он считал начальником всех собравшихся, и, обращаясь к нему, спокойно сказал: “Вот мы и собрались, теперь что же будем делать?” В этот момент Войков сделал шаг вперед и хотел прочесть постановление Уральского областного совета, но Юровский предупредил его. Он подошел совсем близко к Царю и сказал: “Николай Александрович, по постановлению Уральского областного комитета вы будете расстреляны с вашей семьей”. Эта фраза явилась настолько неожиданной для Царя, что он совершенно машинально сказал “Что?” и, хлопнув каблуком, повернулся в сторону семьи, протянув к ним руки. В эту минуту Юровский выстрелил в него почти в упор несколько раз, и он сразу же упал. Почти одновременно начали стрелять все остальные, и расстреливаемые падали один за другим, за

исключением горничной и дочерей царя. Дочери продолжали стоять, наполняя комнату ужасными воплями предсмертного отчаяния, причем пули отскакивали от них. Юровский, Войков и часть латышей подбежали к ним поближе и стали расстреливать в упор, в голову. Как оказалось впоследствии, пули отскакивали от дочерей бывшего Царя по той причине, что в лифчиках у них были зашиты брильянты, не пропускавшие пулю. Когда все стихло, Юровский, Войков и двое латышей осматривали расстрелянных, выпустив в некоторых из них еще несколько пуль или протыкая штыками двух принесенных из комендантской комнаты винтовок. Войков рассказал мне, что это была ужасная картина. Трупы лежали на полу в кошмарных позах с обезображенными от ужаса и крови лицами. Юровский этим, однако, не смущался. Может быть, вследствие своей фельдшерской специальности и привычки к крови, он хладнокровно осматривал трупы и снимал с них все драгоценности. Войков также начал снимать кольца с пальцев, но, когда он притронулся к одной из царских дочерей, повернув ее на спину, кровь хлынула у нее изо рта и послышался при этом какой-то странный звук. На Войкова это произвело такое впечатление, что он отошел совершенно в сторону.

Через короткое время после убийства трупы убитых стали выносить через двор к грузовому автомобилю, стоявшему у подъезда. Сложив трупы в автомобиль, их повезли за город на заранее подготовленное место у одной из шахт. Юровский ехал с автомобилем. Войков же остался в городе, так как он должен был приготовить все необходимое для уничтожения трупов. Для этой работы были выделены 15 ответственных работников Екатеринбургской и Верхне-Исетской партийных организаций. Они были снабжены новыми остроконечными топорами, такими, какими пользуются в мясных лавках для разрубания туш. Помимо того Войков приготовил серную кислоту и бензин. Уничтожение трупов началось на следующий же день и велось Юровским под руководством Войкова и наблюдением Голощекина и Белобородова, несколько раз приезжавших из Екатеринбурга в лес. Самая тяжелая работа состояла в разрубании трупов. Войков вспомнил эту картину с невольной дрожью. Он говорил, что когда эта работа была закончена, возле шахт лежала громадная кровавая масса человеческих обрубков, рук, ног, туловищ и голов. Эту кровавую массу поливали бензином и серной кислотой и тут же жгли двое суток подряд. Взятых запасов бензина и серной кислоты не хватило. Пришлось несколько раз подвозить из Екатеринбурга новые запасы и сидеть все время в атмосфере горелого человеческого мяса, в дыму, пахнувшем кровью...

“Это была ужасная картина, – закончил Войков. – Мы все, участники сожжения трупов, были прямо-таки подавлены этим кошмаром. Даже Юровский и тот под конец не вытерпел и сказал, что еще таких несколько дней, и он сошел бы с ума<sup>418</sup>. Под конец мы стали торопиться. Сгребя в кучу все, что осталось от сожженных остатков расстрелянных, бросили в шахту несколько ручных гранат, чтобы пробить в ней никогда не тающий лед, и побросали в образовавшееся отверстие кучу обожженных костей. Затем мы снова бросили с десятков ручных гранат, чтобы разбросать эти кости основательнее, а наверху на площадке возле шахты мы перекопали землю и забросали ее листьями и мхом, чтобы скрыть следы костра...”

Беседовский “сидел, подавленный рассказом Войкова”. Таково было его непосредственное впечатление. Но и теперь, через много лет, с чувством только морального ужаса перелистываешь страницы зафиксированной в воспоминаниях Беседовского ночной беседы в Варшавском полпредстве, которая воспроизведена им, очевидно, не без влияния уже опубликованного текста дознания следователя Соколова.

Мы повторяем описание, как единственный рассказ непосредственного убийцы, хотя и дошедший до нас через вторые руки<sup>419</sup>.

---

<sup>418</sup> По-видимому, Юровский и закончил свои дни в доме для сумасшедших.

<sup>419</sup> В 50 м году в нью-йоркском “Нов. Рус. Сл.” появились три статьи Л. Юрковского под заголовком:

Умом понять не всегда возможно действия екатеринбургских палачей. Почему, обсуждая разные проекты сокрытия следов убийств, они остановились на сложных манипуляциях в заброшенных шахтах “Ганиной ямы” в урочище “Четырех братьев”? Не могли же организаторы убийства в действительности думать, что таким путем они добьются того, что мир никогда не узнает, что они сделали с царской семьей? – так будто бы болтал еще в Екатеринбурге в советском дамском обществе будущий посол в Варшаве. Еще меньше логики в версии, что они полагали избежать появления самозванцев, ибо таинственная обстановка вокруг урочища “Четырех братьев” должна была лишь создать атмосферу легенд и мифов. “Решения уничтожить трупы были приняты в связи с ожидаемой сдачей Екатеринбурга, чтобы не дать в руки контрреволюционеров возможности с “мощами” бывшего Царя играть на темноте и невежестве народных масс”, – пишет советский историк “последних дней Романовых”. И это натянутое объяснение “предусмотрительности” екатеринбургских политиков явно не придумано. Может быть, главный стимул, толкавший на те или иные решения, лежал в плоскости грубого инстинкта – безотчетного страха находившихся в состоянии психоза людей, в подсознании ощущавших, что творят они злое дело. Это была обыкновенная и всегда довольно элементарная психология преступников. “Цареубийство для какой бы то ни было цели всегда народу кажется преступлением”, – сказал декабрист Рылеев, один из тираноборцев начала прошлого столетия и основоположник вековой борьбы за политическую свободу в России. Если русская действительность и в особенности действительность революционного угара могла, допустим, примирить народное сознание с “цареубийством” при соблюдении “традиционно-исторического церемониала” внешней формы судебной Немезиды, то омерзительная сцена, разыгравшаяся в подвале “дома особого назначения”, гибель детей и тех, кто вместе с венценосцем сами “обрекли себя на смерть”, не могла найти себе никакого морального оправдания. Такой “народный суд” был чужд подлинной народной психологии. Это неизбежно чувствовали екатеринбургские палачи, отсюда их инстинктивные стремления бессмысленно “скрыть следы”. Совершенный ими “народный суд”, их “предусмотрительность” на время достигли своей цели; “находились даже фантазеры, которые пытались внушить населению, что семью Романовых вместе с Николаем из Екатеринбурга вывезли” (Быков). В самой столице Урала трагедия, происшедшая в особняке на углу Вознесенского пр., “почти в центре города”, в первые острые дни прошла незаметно: шум автомобиля заглушал стрельбу в подвале, а стража “еще два дня спустя аккуратно выходила на смену на наружные посты”. А потом началось поспешное бегство из оставляемого Екатеринбурга: 25-го он был взят чехословаками и русскими “белогвардейцами”.

\* \* \*

Урал сделался “могилой” не только царской семьи и погибших вместе с ней в ночь на 17 июля “приближенных”: Боткина, Демидовой, Труппа и Харитоновы. Погибли, за исключением Чемодурова, все те, кто были вывезены Яковлевым из Тобольска (Нагорный, Седнев, Долгорукий), и все те, кто при переезде остальных членов семьи в Екатеринбург были не допущены в “дом особого назначения” и попали в тюрьму (Татищев, Гендрикова, Шнейдер) – одному Войкову случайно удалось бежать на самом месте из-под расстрела (22

---

“Конец истребителя династии”. В них воспроизводился рассказ самого Белобородова о том, как он “закончил дореволюционный период русской истории”. Свою страшную повесть Белобородов, находившийся уже в опале, изложил в 27 г. в интимной, довольно случайной беседе у себя на даче в д. Барвиха под Москвой. Его собеседниками были два московских правозащитника – Юрковский и Успенский (сын писателя). Как и Войков, Белобородов был в состоянии значительного опьянения. Несколько слов об этой беседе мы скажем ниже. Отметим пока только то, что Белобородов утверждал, что он-де не принимал непосредственного участия в расстреле и только “лично проверил исполнение” и присутствовал “при сжигании на шахте”: кровавая расправа была произведена Юровским и пятью “отобранными им дружинниками”.

августа в Перми).

За страшной ночью на 17 июля последовало почти столь же гадкое и безобразное в ночь 18-го в Алапаевске, куда переселены были на жительство в. кн. Елиз. Фед. с двумя сестрами московской Марфо-Маршинской Общины, в. кн. Сергей Мих., сыновья в. кн. Кон. Конст. – Игорь, Иоанн и Константин, кн. В. Палей и их служители. Они помещались на краю города в здании “Напольной школы” под охраной караула из 6 красноармейцев и пользовались относительной свободой, работали в огороде, могли гулять в прилегающем поле и ходить в церковь. 21 июня жизнь заключенных резко изменилась: удалены были все служащие за исключением “сестры” Яковлевой при Елиз. Фед. и слуги Серг. Мих. – Ремезы, конфисковано имущество и установлен “тюремный режим”. Впрочем, этот “тюремный режим” под наблюдением алапаевского исполкома не был слишком строг и не помешал Серг. Мих. уведомить брата Николая в Вологде о своем аресте иносказательной телеграммой: “Салуэ м. Копре э ле Пер Лустре”, что означало, что все они посажены в тюрьму и что письма подвергаются перлюстрации... Одновременно Серг. Мих. принес жалобу в областной совет, и из Екатеринбурга пришел ответ за подписью Белобородова, что “заклучение является предупредительной мерой против побега ввиду исчезновения Михаила в Перми”.

17 июля в школу прибыл чекист Старцев с группой “большевиков”, сменил красноармейскую стражу и заявил, что все арестованные будут ночью переведены в Верхне-Спилченский завод. Ночью был инсценирован побег заключенных. Около здания школы слышались взрывы гранат и ружейные выстрелы. Были по тревоге вызваны из казарм красноармейцы, рассыпаны цепью около школы, но оказалось, что “белогвардейцы увезли на аэроплане” заключенных. Рано утром алапаевский исполком телеграфировал в Екатеринбург, что “банды неизвестных людей напали на школу. Князьям и прислуге удалось бежать в неизвестном направлении. Когда прибыл отряд красноармейцев, банды бежали по направлению к лесу. Задержать не удалось. Розыск продолжается”. Аналогичная телеграмма была послана Белобородовым в Москву и Петербург и напечатана в пермских “Известиях” 420.

Свидетели впоследствии рассказали, что через несколько дней в городе стали говорить, что комиссары обманывают народ, сочинив басни о похищении князей, а что на самом деле князья ими убиты. Характерно, что в официальной телеграмме о похищении Елиз. Фед. не было сказано. Народная молва целиком подтвердилась: тела всех заключенных в “Напольной школе” были обнаружены в глубине одной из старых шахт местного рудника. По медицинско-полицейскому осмотру трупов было установлено, что увезенные были “зверски” убиты, так как за исключением Серг. Мих., на теле которого были обнаружены огнестрельные поранения, все остальные были брошены в шахту живыми – затем шахта была взорвана гранатами.

Кто совершил это преступление? Следствие ответило: екатеринбургские и алапаевские убийства – “продукт одной воли, одних лиц”. Соколов цитирует показание арестованного чекиста Старцева, заявившего, что алапаевские убийства произошли “по приказанию Екатеринбурга” и что для руководства ими оттуда призжал специально Сафаров, член Уральского областного совета и редактор “Уральского Рабочего”.

Ген. Дитерихс ссылается лишь на соответствующую телеграмму (но не приводит ее) из Екатеринбурга за подписью Сафарова, которую получил председатель алапаевского исполкома, – телеграмма эта будто бы гласила: “Ликвидируйте, согласно выработанному плану. Подробности нарочным” 421. Возможно, однако, что алапаевская драма не связана

---

420 Телеграмма отмечает жертвы с обеих сторон. Следствие установило, что мнимый “бандит”, труп которого был найден у школы после увоза заключенных, оказался местным крестьянином, задержанным за несколько дней перед тем алапаевской чекой.

421 В указанной выше беседе Белобородова дается определенное, но мало правдоподобное, указание: “В ту



непосредственно с драмой екатеринбургской или связана лишь косвенно – территорией, временем и только отчасти лицами. И у Соколова, и у Дитерихса приведен один важный документ, разобрать который в деталях нам еще предстоит. Он был оставлен среди других бежавшими “в панике” из Екатеринбурга большевицкими властями. Это подлинник телеграфной ленты переговоров 20 июля председателя ВЦИКА с неуказанным в ленте лицом Екатеринбурга. По мнению Соколова, это был Голощекин, по мнению Дитерихса – Белобородов. В конце концов последнее не важно – оба были связаны с центром и занимали ответственные посты. Но Соколов отбросил начало телеграфной ленты, имевшее непосредственное отношение к событиям в Алапаевске. Беседа Москвы и Екатеринбурга начинается с запроса Свердлова: “Прежде всего сообщите, работа Алапаевска дело рук “Комисл” или нет?” Ответ: “Сейчас об этом ничего не известно. Производится расследование”. Свердлов: “Необходимо немедленно запросить Мотовилиху и Пермь. Примите меры скорейшему оповещению нас”. Этот разговор как будто бы не позволяет связать непосредственными узами события в Екатеринбурге с алапаевским происшествием. Загадка лежит в особой деятельности “Комисл” – партийной следственной комиссии, заседавшей в Перми и состоявшей из левых элементов коммунистической партии. К ней должен был быть близок Сафаров. Участник этой пермской комиссии за месяц перед тем в ночь с 12-го на 13 июня устроил тайное похищение в. кн. Михаила – как прообраз того, что совершилось 18 июля в Алапаевске. По этому адресу и направляет внимание своего собеседника Свердлов, знавший, очевидно, подлинную подоплеку пермского “побега”.

Обратимся и мы к событию, происшедшему в Перми и так тесно связанному с екатеринбургской и алапаевской драмами.

## 2. “Пермское злодеяние”

Пермского дела сибирское следствие коснулось лишь слегка. На основании рассказа камердинера Императрицы Волкова, оказавшегося в заключении в Перми в одной тюрьме с камердинером в. кн. Михаила Челышевым<sup>422</sup>, Соколов восстановил более или менее картину увоза ночью на 13 июня из “Королевских Номеров” великого князя и секретаря его Джонсона и организации за ними фиктивной “погони”. По данным расследования Соколова, в. кн. Михаил и Джонсон увезены были “пермскими чекистами” на соседний с Пермью Мотовилихинский завод, где и были убиты (тела их были “там же, видимо, сожжены”). После этого был распространен слух, что великий князь увезен “монархистами”. В “Пермских Известиях” напечатано было объявление: “В ночь на 31 мая организованная банда белогвардейцев с поддельными мандатами явилась в гостиницу, где содержался Михаил Романов и его секретарь Джонсон, и похитила их оттуда, увезя в неизвестном направлении. Посланная в ту же ночь погоня не достигла никаких результатов. Поиски продолжаются”.

“Пермское злодеяние” подробно рассказано Ганом (Гутманом) на основании официальных документов и показаний свидетелей-очевидцев, опрошенных в разное время военными властями, прокуратурой и лично автором (“Возрождение”, январь 32 г.). “Все свидетельства, – говорит автор, – мной тщательно проверены”. К сожалению однако, работа Гана не стоит по своим исследовательским методам на должной высоте; весьма не отчетливое использование документов, сливающее личное толкование с самим текстом документа, совершенно обесценивает анализ, который делает автор, а главное, за документальные данные подчас выдаются свидетельские предположения, распространенные слухи и собственные догадки.

---

же ночь в Алапаевск был сейчас послан отряд отборных красноармейцев во главе с Войковым” (?).

<sup>422</sup> Он был расстрелян Ч. К. в сентябре, как и шофер в. кн. Борзков.

На основании свидетельских показаний можно, пожалуй, установить с очевидностью, что в. кн. Михаил Александрович и Джонсон были убиты во время обстрела со стороны “погони” теми людьми, которые их увезли, и что тело Джонсона тут же в лесу было закопано, а труп Михаила Александровича отвезен на Мотовилихинский завод и сожжен в плавильной печи. С несомненностью явствует и то, что всем предприятием руководил председатель местного областного комитета, “левый” коммунист Мясников, будущий возглавитель так называемой “рабочей оппозиции”. Он сам в этом признается в своей оппозиционной брошюре (21 г.): “Если я хожу на воле, то потому, что я коммунист пятнадцать лет... и ко всему тому меня знает рабочая масса, а если бы этого не было... где был бы? В Чеке или больше того: меня бы “бежали”, как некогда я “бежал” Михаила Романова, как “бежали” Розу Люксембург и Либкнехта”.

Ган категорически утверждает, что “с первых чисел мая (ст. ст.) Мясников находился в усиленной переписке с Москвой по поводу судьбы в. кн. Михаила Александровича. Писал Свердлов. На некоторых письмах Свердлова были пометки и поправки Ленина. Московские инструкции давали Мясникову полную свободу действия в выборе времени и формы уничтожения великого князя, но ставили единственное требование: убийство должно было быть совершено в полной тайне, а главное – оставить в населении впечатление, что великий князь бежал...” Источники, откуда заимствовал автор свои сведения (столь точные, что он знал даже о “пометках” и “поправках” Ленина в интимных письмах Свердлова Мясникову), не указаны. Вероятно, из допросов местных большевиков, причастных к Ч. К. Так, приходится предположить на основании указаний, взятых из показаний, неопределенных по месту и времени, некоего Сыромятникова: “Нам было известно, что центр стоит за ликвидацию Романова не в официальном порядке и за уничтожение трупов царских особ”. О том, что Мясников “непосредственно сносился с Москвой”, заявляет и другой чекист, Бородулин.

Должно отметить, что в изложении Гана до чрезвычайности сгущены краски в описании той политической обстановки, которая наблюдалась в Перми в мае. Иногда здесь попадаются ссылки на свидетельские показания, хронологически явно ошибочные для того времени: “Загородная роща завалена трупами расстрелянных”, – говорил владелец магазина на Сибирской улице Назовский, убеждавший вел. кн. Михаила бежать из Перми; другой владелец ювелирного магазина Курумков в показаниях, данных в Перми в 22 г., тоже подтверждал, что “в начале мая свирепствовала Чека”. Хотя пароль “Да здравствует красный террор” был дан Ц. К. партии большевиков еще после первого покушения на Ленина 10 января, массовых расправ в этом смысле до сентября не было и никаких “сотен людей” в Перми тогда еще “ежедневно” не гибли в застенках Ч. К. Может быть, фактический “начальник пермского края” Мясников и был неофициальным главой местной Ч. К.; может быть, он действительно по целым ночам просиживал в Ч. К. и сам производил допросы, желая уничтожить “весь буржуазный класс” и показать другим, как делается революция! По утверждению Бородулина, ни один смертный приговор не был выполнен без санкции Мясникова, он самолично расстреливал людей, за которыми сам же приходил ночью в тюрьму и которых вызывал по списку. Если все это было, то это было уже в дни “красного террора”, последовавшего в сентябре после покушения на Ленина. За Михаилом Александровичем по предписанию Ленина и Свердлова, рассказывает Ган, был установлен бдительный надзор из надежных людей “под личной ответственностью председателя совдепа”. По словам советского исследователя Быкова, местный исполком снял с себя перед центром ответственность за “целость Романова”, находившегося под гласным надзором милиции, и по предложению Петрограда, т.е. Урицкого, надзор был специально поручен Губерн. Чр. Комиссии, “куда Михаил и ходил для отметки в установленные дни”. Мясников мог иметь “верховный надзор” за выполнением этой инструкции. Однако несмотря на постоянное дежурство в доме<sup>423</sup> и около дома “трех чекистов”, великий князь в мае

---

<sup>423</sup> Служащий “Королевских номеров” Кобелев показывал, что за великим князем предписывалось следить

свободно гулял по городу, появлялся на сенном базаре, “обходил лавки и мужицкие подводы”, беседовал со встречными. В мае приезжала в Пермь жена Михаила Александровича гр. Брасова. Доступ к нему фактически не был затруднен, как засвидетельствовал Яблоновский (Потресов), посетивший Пермь за две недели до “похищения”. Одним словом, несмотря на самый бдительный надзор, Михаил Александрович почти накануне своей гибели легко мог скрыться из Перми, если бы того пожелал.

Итак, Мясникову была предоставлена будто бы “полная свобода действия”. Оставалось найти какой-нибудь предлог для выполнения плана. Этот предлог был дан выступлением в двадцатых числах мая чехословаков на ст. Пенза и одновременно в Челябинске... Хотя до Перми было еще далеко, но Мясникову этого факта было достаточно, чтобы “начать действовать”. “И он очень торопил Москву...” “Между 24 и 27 мая председатель пермского совета получил приказ, подписанный Лениным и Свердловым, ликвидировать вел. кн. Михаила Александровича и его секретаря Джонсона”. Осуществление приказа возлагалось на Мясникова. Столь определенное утверждение вызывает большие сомнения. С начала мая ведется “секретная” переписка с Мясниковым по партийной линии, и вдруг официальный приказ по советской уже линии на имя “председателя совдепа” за столь ответственными подписями, как председатель Совнаркома и ВЦИК! Напрасно, однако, думать, что Ленин и Свердлов действительно оставили для истории столь убийственный для них документ – его, конечно, нет в тексте Гана. Но зато легко установить, каким путем расследовавший “пермское злодеяние” пришел к такому выводу. В Омске 12 февраля 19 г. был допрошен телеграфный чиновник пермской почтово-телеграфной конторы Белкин, который показал (беру текст, как он воспроизведен у Гана): “Я в этот день (27 мая) дежурил на прямом проводе. Часов в шесть пришел в контору Мясников и сказал, что ожидает телеграмму из Москвы. В этот момент началась передача депеши. Подробностей не помню, но речь шла об утверждении плана и полномочии Мясникова. Подписали депешу Свердлов и Горбунов. Мясников приказал мне отдать ему телеграфную ленту, что я и исполнил”.

По свидетельству Белкина, телеграмма была за подписью двух официальных лиц – председателя ВЦИК и секретаря Совнаркома, т.е. секрет еще больше расширился и становился официальным правительственным актом. Невольно приходится заподозрить, что “план” не мог касаться убийства вел. кн. Михаила, которое заранее намеревались скрыть. По “плану”, разработанному Мясниковым, предполагалось, что “в Пермь будет послана тройка верных людей, которых там никто не знает. Они явятся к вел. князю в качестве мнимых посланцев от монархистов-заговорщиков якобы для того, чтобы спасти его и вывезти на лошадях через Сибирь в Японию. Как только беглецы выйдут за город, начнется погоня, беглецы кинутся в лес, и там они будут пристрелены”. Исследователь должен был обладать материалом большой секретности для того, чтобы начертать такие подробности. Он знает даже, что Москва (куда план, очевидно, был предварительно сообщен) долго колебалась: убить ли Джонсона? Ленина пугала перспектива угроз Англии. Предполагалось первоначально только ранить его при погоне и оставить у него впечатление неудавшегося побега, но потом мысль эта была оставлена. Решили прикончить и его. Автор, как всегда, не вскрывает источников, откуда он мог извлечь детали секретных обсуждений. Можно найти намек, неопределенный и необъясненный – как будто бы в его распоряжении был дневник самого Мясникова. Он говорит о какой то “исповеди”, сделанной Мясниковым “через несколько дней после убийства”. Вот эта “маленькая страничка”: “День выдался удивительно теплый и солнечный, какие бывают редко на Каме в это время. День этот казался мне буквально целой вечностью. Ежеминутно я вынимал часы, меня сильно лихорадило, не

---

“старым служащим” в номерах, о чем с них взяли подписку за два дня до приезда Михаила Александровича. Кобелев обязан был каждый день записывать на листке бумаги все, что он замечал, и передавать коменданту. Вся гостиница была полна сыщиков из Ч. К., ни шагу Михаил Александрович не мог сделать, чтобы его кто-либо издали не сопровождал.

помогла и водка. Моментами меня брали сомнения: зачем нужна была вся эта церемония с инсценировкой побега, почему надо делать исключения для Романова, затрачивать столько сил и труда, да еще рискуя провалиться, когда можно было провести это дело обычным путем через аппарат Чеки, поступить так, как мы поступали со всеми буржуями. В пермской тюрьме сидят несколько сот офицеров, купцов и священников, которым не трудно пришить дело и заодно с ними покончить. Я роптал на Москву, все еще продолжающую непонятную мне политику, которую я считал лишним сентиментализмом. Во время революции надо рубить”. Выходит так, что весь “план” разработан был не Мясниковым, а “Москвой”. Трудно отрешиться от представления, что все это домысел и что “исповедь” обычная фальсификация, порожденная богатым воображением исследователя, сумевшего из слухов и туманных намеков арестованных чекистов воссоздать исторический эпизод в формах уже фантастических.

Вернемся, однако, к прерванному изложению исследователя “пермского злодеяния”. На следующий день после получения телеграммы из Москвы, окончательно санкционировавшей предстоящую расправу с вел. кн. Михаилом, в Пермь прибыла командированная из Екатеринбурга тройка. Она была снабжена мандатом Белобородова и Войкова. В мандате рекомендовалось оказывать товарищам Корсуновскому, Лушкину и Парфенову содействие в возложенной на них “чрезвычайной миссии”. Перечисленные лица были как раз теми людьми, которые, по изысканиям Гана, помогли Мясникову произвести “похищение” вел. кн. Михаила<sup>424</sup>. Мы совершенно не можем быть уверены, что “мандат”, подписанный Белобородовым и Войковым, реально существовал, что во всяком случае его видели те, кто производил изыскания. Ведь все-таки по меньшей мере странно, что лица, которые должны были из предосторожности скрытно явиться в Пермь и по предписанию из центра совершить потаенное убийство, снабжаются специальным “мандатом” почему-то из Екатеринбурга, со своеобразным предписанием или рекомендацией оказывать “содействие возложенной на них чрезвычайной миссии”. Если допустить, что “мандат” действительно существовал, но отнюдь еще не будет доказано, что перечисленные в нем лица и являлись помощниками Мясникова в убийстве, ген. Дитерихс на основании следственного материала, бывшего в его распоряжении, убийцами считал совсем других лиц, а именно членов “мотовилихинской следственной комиссии” – Плещева, Берескова и Жужковича. Если признать реальность “мандата”, подписанного председателем екатеринбургского совета и его комиссаром продовольствия и снабжения, то при сопоставлении с телеграммой из центра за подписью Свердлова и Горбунова об утверждении какого-то “плана”, о чем говорил пермский телеграфист, приходится еще в большей мере укрепиться в представлении, что в данном случае дело шло совершенно об ином “плане”, который вызвал некоторое смущение и в сибирском следствии, именно у Дитерихса.

---

<sup>424</sup> Прап. Корсуновский даже имел при себе “документ”, составленный Мясниковым: “Комитет спасения династии Романовых и родины уполномочивает Корсуновского спасти вел. кн. Михаила Александровича по известному ему плану. Комитет просит его высочество (вероятно, в подлинном документе тех дней этот титул писался бы с большой буквы) следовать всем указаниям Корсуновского”. Письмо это было вручено вел. кн. Корсуновским 24-го во время обычной прогулки М. Ал. на берегу Камы. Итак, М. Ал. был предупрежден. Между тем свидетели, присутствовавшие при увозе (старый номерной Кобелев и владелец магазина уральских камней Куруминов, живший также в “Королевских номерах”), одинаково показывали, что Мих. Ал. сопротивлялся увозу и пытался говорить по телефону. Куруминов показывал: “31 мая между семью и девятью часами вечера мы играли в карты и вдруг услышали шум в коридоре. Мы все выбежали и увидели следующую картину: около великого князя стояло несколько вооруженных револьверами человек и шумно с ним объяснялись. Михаил Александрович отказывался за ними следовать, требуя ордера совдепа. Они ему отвечали, что никакого ордера не нужно – они сами-де начальство, и грозили взять его силой. Один стоял у телефона с револьвером в руках... Вдруг один из пришедших вплотную подошел к великому князю и стал ему что-то шептать на ухо. Вел. кн. удивленно на него посмотрел, с секунду поколебался, взглянул на Джонсона и пошел к себе в номер. Кобелев добавляет, что Михаил Александрович, взяв шляпу, вышел. Джонсон стоял в нерешительности. Видно было, что он в чем-то сомневался. Наконец, все тронулись и, усевшись в двух экипажах, выехали. В это время стало уже темнеть...”

Припомним, что 4 июля (н. ст.) Белобородов уведомил через Свердлова Голощекина, находившегося в Москве, о смене комендатуры в Доме Ипатьева. Соколов не привел тех слов, какими начиналась телеграмма, сделав в книге, изданной в 21 г., оговорку, что “первая часть текста телеграммы не имеет значения для дела”. Дитерихс в своей работе, выпущенной в 22 году, это начало привел: “Сыромолотов как раз поехал для организации дела, согласно указаниям, центра”. Из этого Дитерихс делал заключение, что центральной властью было дано в Екатеринбург “распоряжение” подготовить все необходимое для вывоза куда-то царской семьи из этого города. Для организации дела, согласно указаниям центра, и был командирован областной комиссар финансов Сыромолотов; туда же была послана для охранной службы из Екатеринбурга “особо надежная” команда из состава “особого отряда” Голощекина – в Перми формировался “особый поезд”. Жильяр спешил сделать заключение, что “в это время убийство царской семьи уже было решено в Москве”. Соколов разобрал смысл обменных телеграмм за это время между Москвой и Екатеринбургом и определенно говорил, что речь шла о “вывозе денег из Екатеринбурга в Пермь”. Телеграмма из Екатеринбурга за подписью Белобородова и телеграмма Горбунова из Москвы, оказавшаяся в руках следствия, были помечены 26 июня и 8 июля н. ст., т.е. первая телеграмма, сохранившаяся и опубликованная, была послана через две недели после гибели Михаила Александровича. Но эта телеграмма, как видно из ее содержания, не была первой, а завершала собой предварительные переговоры: “Мы уже сообщали, что весь запас золота и платины вывезен отсюда. Два вагона стоят (на) колесах (в) Перми. Просим указать способ хранения на случай поражения советской власти. Мнение облакома партии и обласовета: (в) случае неудачи весь груз похоронить, дабы не оставлять врагам”. Какое распоряжение было дано из Москвы, мы не знаем, но 7 июля Белобородов послал Сыромолотову такую телеграмму: “Если поезд Матвеева еще не отправлен, то задержите; если отправлен, примите все меры к тому, чтобы он был задержан в пути и ни в коем случае не следовал (к) ответу, указанному нами. (В) случае ненадежности нового места, поезд вернуть (в) Пермь”. Телеграмма эта приведена у Дитерихса (у Соколова ее нет). Дитерихс ее толковал, как отмену первоначального решения вывезти царскую семью из Екатеринбурга. Дитерихс приводит еще дополнительную телеграмму того же Сыромолотова 8 июля: “Если можно заменить безусловно надежными людьми командную охрану поезда, всех сменить, пошлите обратно Екатеринбург...” “Очевидно, – комментирует Ди-терихс, – для новой идеи и эти особые люди понадобились Ис. Голощекину в Екатеринбург – в период 17 – 19 июля они несли охрану района “Ганиной Ямы”, где скрывались тела убитых членов царской семьи”. Почему, однако, для ненужного уже поезда “особого назначения” надо было екатеринбургскую стражу заменить “безусловно надежными людьми”! В телеграмме Белобородова 8 июля на имя Горбунова (она имеется у Соколова) разъясняется дело: “Для немедленного ответа. Гусев (из) Петербурга сообщил, что (в) Ярославле восстание белогвардейцев. Поезд наш возвращен обратно в Пермь. Как поступить далее, обсудите (с) Голощекиным”. Едва ли подлежит сомнению, что телеграмма Свердлова и Горбунова в Пермь, данная в середине мая (ст. ст.), касается того самого дела, о котором телеграфировал Белобородов, и что екатеринбургские люди, явившиеся с мандатом Белобородова и Войкова, имели прикосновение именно к этому делу: поэтому, вероятно, прибывшие из Екатеринбурга остановились в Перми на поездных путях “около вокзала”. *Перипетии о золоте и платине и нашли в изложении Гана свой своеобразный отклик и сплелись с тайной убийства вел. кн. Михаила.*

По завершении кровавого акта Мясников шифрованной телеграммой уведомил Ленина и Свердлова о выполнении “московской директивы” – сообщил и Белобородову в Екатеринбург. Вновь это лишь догадка того, кто обследовал “пермское злодеяние”, – догадка, выданная нам за факт как бы несомненный. На деле все взаимоотношения организаторов убийства с центром пока еще остаются по меньшей мере тайной. Официальная советская историография (она представлена книгой Быкова) стоит на том, что расстрел “Михаила Романова” учинен тайной группой рабочих Мотовилихи под

руководством Мясникова <sup>425</sup>, не связанной “ни с партийными, ни с советскими организациями” и действовавшей на “собственный страх и риск”. Эта группа “с подложными документами Губчека” в ночь с 12 на 13 июня явилась в гостиницу на Сибирской ул. и предъявила М. А. документ о “срочном выезде из Перми”. Так как М. А. отказался следовать за ними, то пришлось объявить, что они увезут его силой. Хотя Джонсон не входил “в планы группы”, однако, ввиду заявления его, что он последует за М. А., чтобы “не задерживаться в номере, решено было взять его”. Арестованных повезли по тракту к Мотовилихе и, свернув в 6 верстах от завода, в лесу расстреляли “Мих. Романова” <sup>426</sup>. После этого, чтобы скрыть следы, телефонировали в милицию и Чр.Ком. об “увозе неизвестными лицами Мих. Романова по направлению Сибирского тракта”, т.е. в направлении противоположном, чем то было в действительности.

“Похищение это было полной неожиданностью для всех организаций Перми”, – заключает Быков. Эта официальная версия заключает в себе меньше фальсификации, чем то хитросплетение, которое мы разбирали выше. Представляется очень правдоподобным, что группа “левых” коммунистов по собственной инициативе предприняла уничтожение главного кандидата на вакантный престол. Писатели антибольшевистского лагеря всегда подчеркивают провокационный характер сообщений тогдашних советских и партийных (большевистских и левозсеровских) органов печати о готовящейся реставрации с выдвижением на престол Михаила Александровича. В конце мая в связи с началом чехословацкого выступления такие статьи не раз появлялись в уральской прессе – в частности в пермских “Известиях”. Поскольку речь шла о конкретном “манифесте”, провозглашавшем Михаила “царем”, конечно, это была грубая демагогия. Деникин, однако, вспоминает, что, тогдашняя молва действительно настойчиво связывала чехов с именем великого князя” <sup>427</sup>; поскольку речь шла о реставрационных возможностях, поставленных на очередь дня, это, как мы уже видели, до известной степени соответствовало действительности – Михаил Александрович был главным кандидатом – не для немцев и правых, – а для всех конституционных монархистов того времени, т.е. кругов общественно авторитетных. Сам Михаил Александрович был, очевидно, достаточно осведомлен об этих тенденциях и настроениях – по крайней мере кор. Сербская Елена Петровна сообщала своему приближенному Смирнову, что М. А., решительно отказываясь от занятия престола, готов быть “диктатором”. Кто знает, не могло ли быть что-нибудь сказано неосторожным конспиратором в каких-либо перехваченных письмах? На этой почве и могла родиться мысль об убийстве того, кто мог явиться реальной опасностью для “революции”. Но очень сомнительно, чтобы “тайная группа”, возглавляемая Мясниковым, ограничилась лишь рабочими с Мотовилихи и не была ничем связана ни с партийными, ни с советскими организациями, особенно при той роли, какую, по всеобщему мнению, играл Мясников в пермской Ч. К. Чекист Бородулин показывал, что в “тайну великого князя” не был посвящен даже председатель Ч. К. <sup>428</sup>. По неисповедимым путям чекистское око оказалось в нитях, когда ночью, как утверждает официальная версия, или под вечер, по версии свидетелей, в “Королевские номера” явились “какие-то неизвестные люди и увезли Михаила Романова”.

---

<sup>425</sup> Указывается и персональный состав группы: Марков, Иванченко, Жужков и Колпашников.

<sup>426</sup> О Джонсоне ничего не говорится – может быть потому, что советские в споре с Лондоном о вознаграждении семьи отрицали убийство английского гражданина.

<sup>427</sup> Ган, с ссылкой на показания Малых (?), говорит, что под влиянием этих сообщений М. А. посетил Совет, где его успокоили, сказав, что знают об его лояльности.

<sup>428</sup> “Мы узнали о сожжении трупа только тогда, когда к нам доставили двух рабочих, которые в пьяном виде разболтали тайну” – их расстреляли.

Несомненно, в последних числах мая в связи с внешними событиями наблюдение над “Королевскими номерами” должно было усилиться. В ночь на 13 июня внешний чекистский надзор отсутствует – так следует из показаний всех решительно свидетелей. Одно это уже заставляет думать, что комедия, разыгранная в “Королевских номерах”, была предварительно разработана и подготовлена в недрах Ч. К. Произошло все, может быть, не так грубо, как изображает Ган, ибо в его изложении исчезают все следы какой-либо скрытности – так, Мясников с пьяными, воспаленными глазами “метался по городу как угорелый, отдавая распоряжения”; “к 6 часам вечера была снята внешняя и внутренняя охрана в гостинице; милиция была предупреждена, чтобы она не реагировала ни на какие заявления о налете на гостиницу”. В довершение всего, Мясников заранее решил местом трагического конца своего кровавого деяния сделать то “обычное место, где еженощно Ч. К. расстреливает и где заранее были вырыты ямы, которыми можно было... воспользоваться...” С такими целями будто бы была отсрочена на один день назначенная на эту дату казнь 28 человек.

Вероятно, все это было не так, но “выкрасть” кандидата на престол, уже бывшего один день монархом и вверившего судьбу страны Учредительному Собранию, не помешали – это факт.

Шило в мешке утаить было невозможно. Уже на другой день, свидетельствовал позже на столбцах “Руля” один из пермяков, в городе разнеслись слухи, что М. А. обманом увезен с ведома Ч. К. Слухи не могли не дойти до Москвы, если в центре даже и не знали о роли, которую сыграл Мясников (конечно, “под влиянием требований рабочих”), и не получить здесь соответствующего толкования. Осведомленности, впрочем, помогла и болтовня самого пьянствовавшего Мясникова. Бывший секретарь большевистского пермского комитета, Карнаухов, показывал в Екатеринбурге следователю Соколову 2 июля 19 г.: “Пришел как-то в наш комитет чекист Мясников, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный. Он с кем-то разговаривал, и до меня донеслась его фраза: “Дали бы мне Николая, я бы с ним сумел расправиться, как с Михаилом””.

### **3. Московская директива**

Между убийством вел. кн. Михаила Александровича и гибелью императора Николая II и его семьи прошел месяц. Лица, обследовавшие екатеринбургскую трагедию, не имели перед собой последующих объяснений большевистских историков о роли, сыгранной центром в кровавых событиях на Урале; они стояли перед несомненным для них фактом убийства всей царской семьи и официальным заявлением советской власти в виде телеграммы “пресс-бюро”, напечатанным в московских “Известиях” 19 июля.

Вот оно: “На состоявшемся 18 июля первом заседании президиума ВЦИК советов председатель Свердлов сообщает полученное по прямому проводу сообщение от областного Уральского совета о расстреле бывшего царя Николая Романова. За последние дни столице Красного Урала Екатеринбург угрожала опасность приближения чехословацких банд. В то же время был раскрыт заговор контрреволюционеров, имевший целью вырвать из рук Советов коронованного палача. Ввиду всех этих обстоятельств президиум Уральского областного Совета постановил расстрелять Николая Романова, что и было приведено в исполнение. Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место. Документ о раскрытии заговора послан в Москву со специальным курьером”. Сделав это сообщение, Свердлов напомнил историю перевода Романова из Тобольска в Екатеринбург, когда была раскрыта такая же организация белогвардейцев в целях устройства побега Романова. За последнее время предполагалось предать бывшего Царя суду за все его преступления против народа. Только разразившиеся сейчас события помешали осуществлению этого суда. Президиум, обсудив все обстоятельства, заставившие областной Уральский Совет принять решение о расстреле Романова, постановил признать решение областного Совета о расстреле Романова правильным. Затем председатель сообщил, что в распоряжении ВЦИК находится

сейчас важный материал: документы Николая Романова, его собственноручные дневники, которые он вел до времени казни, дневники его жены, детей, переписка Романовых. Имеются, между прочим, письма “Григория Распутина Романову и его семье, все эти материалы будут разработаны и опубликованы в ближайшее время”.

“Свердлов лгал, когда так говорил”, – заключает Соколов, ибо уже 17 июля после 9 час веч. на имя Горбунова пришла из Екатеринбурга шифрованная телеграмма Белобородова с сообщением о том, что произошло в Ипатьевском доме. Копия этой телеграммы попала в руки следствия, и надо отдать справедливость Соколову, он проявил большую энергию и искусство для того, чтобы добиться раскрытия смысла телеграммы первостепенной важности для истории екатеринбургской трагедии и обличения лживости официального советского сообщения. В расшифрованном виде телеграмма гласила: “Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации”. Такой текст определенно указывал, что в Москве или заранее уже знали, какая участь должна была постигнуть “главу”, или этой телеграмме предшествовала другая, не оставившая следа в екатеринбургских документах, что маловероятно. Телеграмма была послана на имя секретаря Совнаркома Горбунова, следовательно, то, что произошло в “доме особого назначения”, не являлось последствием каких-то секретных личных сношений екатеринбургских палачей с председателем ВЦИК. Эта сторона не остановила внимания следователя, его более заинтересовала второстепенная сторона дела – опрометчивое хвастовство Свердлова, заявившего, что в распоряжении президиума ЦИК находятся “важные материалы” в виде собственноручных дневников Царя и его семьи. “Свердлов торжествовал кровавую победу и в радости сердца опрометчиво похвастал тем, чем еще не овладел... Этой своей оплошностью он сам определял свое место: самого главного среди других соучастников убийства”. 18 июля Свердлов “не мог иметь у себя ни дневников, ни писем царской семьи”. Эти “ценные документы были отправлены Свердлову с особым курьером. Им был Янкель Юровский, выехавший с ними из Екатеринбурга 19 июля”.

Заключение следствия было слишком поспешно и не вытекало из текста сообщения “пресс-бюро”: значительная часть дневника Николая II, переписка (в частности письма Распутина) и пр. до тобольского периода давно уже находились в распоряжении власти, унаследовавшей их от Чрез. След. Комиссии при Временном Правительстве. Следствие в свое распоряжение получило и другой документ – тот разговор Свердлова по прямому проводу 20 июля с неуказанным в ленте лицом из Екатеринбурга, который мы уже цитировали<sup>429</sup>. На вопрос Свердлова: “что у вас слышно”, неизвестный отвечал: “Положение на фронте несколько лучше, чем казалось вчера. Выясняется, что противник оголил весь фронт, бросил все силы на Екатеринбург, удержим ли долго Екатеринбург, трудно сказать. Принимаем все меры к удержанию. Все лишнее из Екатеринбурга эвакуировалось. Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами. Сообщите решение ЦИК и можем ли оповестить население известным вам текстом”. Свердлов отвечал: “В заседании президиума ЦИК от 18 постановлено признать решение Ур. Обл. Совдепа правильным. Можете опубликовать свой текст. У нас вчера во всех газетах было помещено соответствующее сообщение. Сейчас послал за точным текстом текста и передам его тебе”. Слова вопрошавшего: “можем ли оповестить население известным вам текстом”, и ответ Свердлова: “можете опубликовать свой текст” – для всех участников сибирского следствия были решающими – скажем словами Булыгина: Москва заранее знала текст Екатеринбурга<sup>430</sup>. Между тем, если оставаться строго в пределах текста, переданного

---

<sup>429</sup> С Голощекиным (таково мнение Соколова): разговор шел о положении на фронте. Голощекин знал стратегическое положение, так как был в областной военной комиссии, кроме того, он был на “ты” со Свердловым.

<sup>430</sup> У Дитерихса есть сообщение, которое могло бы иметь подтверждающее значение, если бы некоторая хаотичность изложения, присущая автору книги, не заставляла в данном случае относиться вдвойне осторожно к тексту. Дитерихс говорит, что официальное объявление екатеринбургского Совета о расстреле, появившееся



телеграфной лентой, то толкование может получиться иное. Когда Голощекин или Белобородов спрашивали разрешение на оповещение населения “известным вам текстом”, то скорее здесь имелась в виду телеграмма 17 го, где говорилось, что “официально семья погибнет при эвакуации”. Ответ Свердлова: “можете опубликовать свой текст”, допуская специальное опубликование в Екатеринбурге, отнюдь не санкционировал предложенный проект. Ведь это так ясно при сопоставлении опубликованного в Москве текста с тем, что предполагал Екатеринбург: он уведомлял о гибели “всей семьи”, а не только “главы”; в московском тексте категорически заявлялось, что “жена и сын Николая отправлены в надежное место”. О дочерях Москва молчала. Московский текст и был воспроизведен в екатеринбургской публикации 23 июля (21-го он был объявлен Голощекиным на митинге).

Мы еще остановимся на том, как центральная власть в течение долгого времени пыталась скрыть факт расправы с семьей Царя, факт, столь осложнявший взаимные отношения с германским правительством в критическое время, которое переживала советская власть. В сущности, впервые пермское, екатеринбургское, алапаевское “злодеяния” раскрыты были в статье Быкова, помещенной в 21 г. в сборнике “Рабочая революция на Урале” областного управления государственного издательства. Отклик этой статьи нашел свое место и в центре, в “Коммунистическом Труде”, где “последние дни последнего царя” были перепечатаны. Однако тогда негласно самый сборник изъят был из продажи. В статье Быкова признавалось, что сообщения о похищении, бегстве и увозе членов императорской фамилии не соответствовали действительности – последние все были “уничтожены”. Замалчивание этого факта не было, однако, “результатом нерешительности местных советов”. Уральские советы – и областной, и пермский, и алапаевский, “действовали смело и определенно, решив уничтожить всех близких к самодержавному престолу”. Для всех них “Урал стал могилой”.

Таким образом, роль центральной власти в этом изображении сводилась к замалчиванию того, что произошло: советы Урала действовали “на свой страх и риск”. Такова основная тенденция очерка Быкова. И лишь в самом конце 25 г. в статье Юренева, появившейся в столичной петроградской “Красной Газете” в виде корреспонденции из Свердловска под заглавием “Новые материалы о расстреле Романовых”, установлены были взаимоотношения того времени между Екатеринбургом и Москвой. Одновременно появился отдельным изданием пополненный очерк Быкова<sup>431</sup>. Отношения с центром в статье Юренева излагались так: “В одном из своих заседаний, по словам Быкова, Совет (областной) единодушно высказался за расстрел Николая Романова<sup>432</sup>. Все же большинство Совета не хотело брать на себя ответственность без предварительного переговора по этому вопросу с центром. Решено было вновь командировать в Москву Голощекина для того, чтобы поставить вопрос о судьбе Романова в Ц. К. партии и президиумов ВЦИК. Президиум ВЦИК, – продолжает Быков, – склонялся к необходимости назначения над Николаем Романовым открытого суда. В это время созывался 5 й Всероссийский Съезд Советов. Предполагалось поставить вопрос о судьбе Романова на Съезде – о том, чтобы провести на нем решение о назначении над Романовым гласного суда в Екатеринбурге”. Как “главный

---

21 го, “было составлено с пропуском в черновике его чисел месяца” “еще до убийства царской семьи”, что следует из телеграммы, досланной “как проект объявления” еще утром 16 июля. У более точного Соколова нет и намека на существование подобного “проекта объявления” в материалах следствия.

<sup>431</sup> Весьма вероятно, что статья Юренева и была написана на основании нового текста Быкова – ничего “нового” в статье не было. Возможно, что отклик “Красной Газеты”, редактируемой находящимся в “оппозиции” Сафаровым, объяснялся партийными счетами – желанием подчеркнуть, что в преступлении 18 г. участвовал и центр.

<sup>432</sup> В первоначальном тексте Быков относил обсуждение вопроса о “расстреле Романова” к концу июля, когда “бесконечно левые” с. р. “настаивали на скорейшем расстреле, обвиняя большевиков в непоследовательности”.

обвинитель” б. Царя должен был выступить Троцкий. Разговоры о суде в советской среде в это время действительно были, как можно судить, напр., по сообщениям газеты “Анархия” и др.; о решении постановления “царского” процесса, между прочим, говорил Урицкий при допросе 9 июля н. с. гр. Коковцева<sup>433</sup>. Может быть, боевое настроение, создавшееся около съезда с готовившимся выступлением левых с. р., сняло этот вопрос. По утверждению Быкова, вопрос был пересмотрен в ВЦИК в связи с докладом Голощекина о военных действиях на Урале: “Голощекину предложено было ехать в Екатеринбург и в конце июля подготовить сессию суда над Романовыми, на которую и должен был приехать Троцкий”. “По приезде из Москвы Голощекиным, числа 12 июля, было созвано собрание Областного Совета, на котором был заслушан доклад об отношении центральной власти к расстрелу Романовых. Областной Совет признал, что суда, как это было намечено Москвой, организовать уже не удастся – фронт был слишком близок, и задержка с судом над Романовым могла вызвать новое осложнение. Решено было запросить командующего фронтом о том, сколько дней продержится Екатеринбург и каково положение фронта. Военное командование сделало в Областном Совете доклад, из которого было видно, что положение чрезвычайно плохое. Чехи уже обошли Екатеринбург с юга и ведут на него наступление с двух сторон. Силы красной армии недостаточны, и падение города можно ждать через три дня. В связи с ним Областной Совет решил Романова расстрелять, не ожидая суда над ним”. Под Романовыми, очевидно, надо подразумевать не только семью Царя в узком смысле, но и членов императорской фамилии, находившихся в Алапаевске<sup>434</sup>. Отсюда логически следует сделать заключение, что екатеринбургское и алапаевское убийства связаны, действительно, скорее всего “единой волей”.

В приведенной концепции решение о расстреле было принято все-таки самостоятельно. Иную конъюнктуру дает рассказ Войкова, записанный Беседовским и воспроизведенный им в “Путях к Термидору”. “Вопрос о расстреле Романовых, – рассказывает Войков, – был поставлен по настоятельному требованию Уральского Областного Совета, в котором я работал в качестве областного комиссара по продовольствию. Уральский Совет категорическим образом настаивал перед Москвой на расстреле Царя, указывая, что уральские рабочие чрезвычайно недовольны оттяжкой приговора и тем обстоятельством, что царская семья живет в Екатеринбурге, “как на даче”, в отдельном доме, со всеми удобствами. Центральная Московская власть не хотела сначала расстреливать Царя, имея в виду использовать его и семью для торга с Германией. В Москве думали, что, уступив Романовых Германии, можно будет получить какую-нибудь компенсацию. Особенно надеялись на возможность выторговать уменьшение контрибуции в 300 мил. рублей золотом, наложенной на Россию по Брестскому договору... Некоторые из членов Центрального Комитета, в частности Ленин, возражали также и по принципиальным соображениям против расстрела детей. Ленин указывал, что Великая французская революция казнила короля и королеву, но не тронула детей. Высказывались соображения о том отрицательном впечатлении, которое может привести за границей, даже в самых радикальных кругах, расстрел царских детей. Но Уральский Областной Совет и Областной Комитет коммунистической партии продолжали решительно требовать расстрела... – я был один из самых ярких сторонников этой меры... Уральский Областной Комитет коммунистической партии поставил на обсуждение вопрос о расстреле и решил его окончательно в положительном духе еще с июля (июня?) 1918 года. При этом ни один из членов областного комитета партии не голосовал против расстрела. Постановление было вынесено о расстреле всей семьи, и ряду ответственных уральских

---

<sup>433</sup> Урицкий также был в Москве в дни пребывания там Голощекина.

<sup>434</sup> В “Уральском Рабочем” еще до приезда в Екатеринбург будущих алапаевских узников писалось: “В красную уральскую столицу скоро придут гости: бывшие члены Романовского отродья... Они скоро предстанут перед народным судом вместе с кровавым палачом рабочего класса Николаем Романовым”.

коммунистов было поручено провести утверждение в Москве, в Центральном Комитете коммунистической партии. В этом нам больше всего помогли в Москве два уральских товарища – Свердлов и Крестинский. Они оба сохраняли самые тесные связи с Уралом, и в них мы нашли горячую поддержку в проведении в Центральном Комитете партии постановления Уральского Областного комитета. Провести это постановление оказалось делом не легким, так как часть членов Центрального Комитета продолжала держаться той точки зрения, что Романовы представляют чересчур большой козырь в наших руках для игры с Германией и что поэтому расстаться с этим козырем можно лишь в крайнем случае. Уральцам пришлось прибегнуть тогда к сильно действующему средству. Они заявили, что не ручаются за целостность семьи Романовых и за то, что чехи не освободят их в случае дальнейшего своего продвижения на Урал. Последний аргумент подействовал сильнее всего. Все члены Центрального Комитета боялись, чтобы Романов не попал в руки Антанты. Эта перспектива заставила уступить настояниям уральских товарищей. Судьба Царя была решена, была решена и судьба его семейства... Когда решение Центрального Комитета партии сделалось известным в Екатеринбурге (его привез из Москвы Голощекин), Белобородов поставил на обсуждение вопрос о проведении расстрела. Дело в том, что Центральный Комитет партии, вынося постановление о расстреле, предупредил Екатеринбург о необходимости скрыть факт расстрела членов семьи, так как германское правительство настойчиво добивалось освобождения и вывоза в Германию бывшей Царицы, наследника и великих княжон...”

Рассказ Войкова возбуждает некоторые сомнения. Прежде всего, в интересах варшавского полпреда в обстановке того же 25 г. было представить екатеринбургскую бойню не самоличным актом уральцев, а актом, совершенным по решению центра. Если в Москве судьба не только Царя, но и его семьи была решена уже в момент пребывания там Голощекина, становится, однако, совершенно непонятным текст белобородовской телеграммы 17 июля. Очевидно, что-то было не так. Не разъясняет ли загадку сообщение 14 июля в “Известиях” Уральского Совета? Через день после обсуждения в заседании областного Совета (вероятно, его президиума) директив, привезенных Голощекиным, сообщалось: “Вчера председатель Совдепа имел продолжительный разговор по прямому проводу с Москвой с председателем Совнаркома Лениным. Разговор касался военного обзора и охраны б. Царя Николая Романова”. Мне думается, что законно будет такое предположение. Директивы, привезенные Голощекиным, были обсуждены в областном партийном комитете (у Войкова все дело решает партийный комитет, и это, конечно, соответствовало действительности: совет являлся лишь демократической декорацией). Эти директивы не заключали в себе еще формулу убийства – не только семьи, но и Царя. Возможно, ставился вопрос и об эвакуации в более безопасное место. Партийный комитет, признав положение в Екатеринбурге угрожающим и весь риск эвакуации в момент, когда чехо-словацкие отряды двигались по соединительной ветви на главную железнодорожную линию Пермь – Екатеринбург и могли отрезать последний путь отступления из Екатеринбурга, принял решение о необходимости “уничтожить” Николая II – об этом шла речь в переговорах по прямому проводу 13 июля. Надо думать, что санкция на это из центра была получена, поэтому так странно на первый взгляд формулирована телеграмма 17 июля – “семью постигла та же участь, что и главу” 435.

Все другие толкования пока приходится признать еще малообоснованными с фактической стороны. Для Соколова Юровский был не только непосредственным

---

435 Согласно екатеринбургской молве, попавшей в английскую “Белую книгу”, Ленин ответил: “делайте, что хотите”; по другой версии он сказал: “действуйте в соответствии с постановлением Совета”. Белобородов в указанной беседе в д. Барвихе утверждал, что екатеринбургский совдеп на свой запрос центра об инструкциях получил на имя Белобородова и Войкова ответ за подписью Якова Свердлова: “поступайте по своему усмотрению”. Белобородов показывал даже своим собеседникам “розовый телеграфный бланк”. Не вяжется такой ответ со всей предшествующей конспирацией.

руководителем в Екатеринбурге, но он же “разработал в деталях и самый план убийства”. Однако пробудили “преступную деятельность Юровского” “какие-то иные люди”, в промежуток между 4 – 14 июля, “решив судьбу царской семьи”. Центральная роль здесь принадлежит Свердлову, на квартире которого жил Шая Голощекин в дня своего пребывания в Москве. “Только ли вдвоем с Голощекиным Свердлов решил судьбу царской семьи?” – задает вопрос руководитель следствия. Основываясь на разговоре по прямому проводу от 20 июля, где было упомянуто, что “вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами”, следователь делал заключение, что “вы” имеет собирательное значение и адресовано не одному Свердлову. “Были и другие лица, решавшие вместе с Свердловым и Голощекиным в Москве судьбу царской семьи. Я их не знаю”. Осторожный и вместе с тем крайне искусственный ответ следователя не оправдывается даже теми документами, которые были в его распоряжении, ибо по совокупности всех этих документов совершенно ясно, что переговоры велись не с отдельными лицами персонально, а с представителями правительства, являвшегося синонимом головки партии. Внешняя осторожность Соколова объясняется лишь его юридическим навыком, намеки его ясны, их со всей откровенностью и раскрывает ген. Дитерихс, одержимый навязчивой идеей “революционного Израиля”. На сцену выплывает пресловутый полумасонский синадрин. Нашелся “историк”, который усмотрел здесь даже злоумышляющую руку русско-американской “ИМКИ”.

Нет “Сионских мудрецов” ни в концепции Гутмана, ни в позднейшем построении Керенского. Для того и другого изуверы советской власти, заседавшие в Кремле, – т.е. интернационалисты всех мастей измыслили избиение царского рода... План был выработан в центре и систематически осуществлен в течение лета 18 года<sup>436</sup>. “Нужно было убить так, чтобы произошло в провинции и было выполнено местной властью, якобы без санкции центрального правительства” – так писал Гутман (Ган), посвятивший свой очерк началу осуществления плана, задуманного в центре. Доказательства, приведенные им в силу неудовлетворительности метода работы, не выдерживают прикосновения исторической критики. Закулисная сторона убийства вел. кн. Михаила остается невыясненной, и поэтому весь “московский план”, по которому члены б. Императорского дома постепенно доставлялись на Урал в ожидании “сигнала” из центра о расправе с ними, может быть поставлен под сомнение.

То же надо сказать и относительно екатеринбургской трагедии в освещении работы Керенского – последней по времени написания. Автор, очевидно, не знаком ни с отдельным изданием очерка Быкова, ни с повествованием Войкова, изложенным на страницах воспоминаний бежавшего из парижского полпредства советского дипломата. Он опирается главным образом на данные Соколова, но в своих выводах идет дальше руководителя сибирского следствия. Керенский пытается доказать, что в решении Кремля никакой роли не играли фиктивные заговоры в Екатеринбурге, ни тем более выступление чехо-словаков, так как решение Кремля было принято гораздо раньше. Лишь формальная инициатива была представлена совету “красной крепости Урала” – фактически в интимном кругу Ленина была выработана во всех деталях процедура убийства. Под предлогом угрозы со стороны “чехо-словацких” банд Кремль (Свердлов с согласия Ленина) в июне через посредничество Голощекина посылает по прямому проводу свои приказания в Екатеринбург. Как ответ на приказания Керенский рассматривает сообщение Болобородова 4 июля об изменении в охране, находившейся в “доме особого назначения”. По соглашению с Москвой или точнее

---

<sup>436</sup> Некоторая неряшливость в обращении с фактами, столь свойственная полумемуарным историческим изысканиям Керенского, привела его к утверждению, что в июне – июле были расстреляны все члены императорской фамилии, находившиеся в пределах РСФСР. Между тем арестованные позже вел. кн. Пав. Алекс., Ник. и Георг. Мих., Дм. Конст. были расстреляны уже в период “красного террора” в феврале 19 г. в Петропавловской крепости – формально как “заложники” за убийство Розы Люксембург и Либкнехта. Князь Гавр. Конст. был освобожден по представлению Горького, перед которым ходатайствовал член пол. кр. креста доктор Манухин.

по приказу из Москвы, говорит Керенский, для исполнения функций внутренней охраны вступили люди комиссара местной Ч.К. Юровского. Телеграмма 4-го означала: все готово для убийства, и бесповоротно доказывала, что организаторами и исполнителями екатеринбургского убийства были кремлевские палачи. Здесь Керенский буквально повторяет Жильяра (У Жильяра логически вытекает из ошибки, допущенной им при воспроизведении и толковании организации “дела”). Дальнейшее у Керенского протекает соответственно изложению Соколова – одинаково он толкует и зашифрованную телеграмму 17 июля, и разговор по прямому проводу 20 го. Отличие только в том, что к имени Свердлова присоединяется имя Ленина. Как знает Керенский, строго конфиденциальное собрание происходило у Ленина после телеграммы, полученной от Белобородова. Кто на нем, за исключением Ленина и Свердлова, присутствовал, неизвестно, но было решено скрыть истину не только от страны, но и от самого советского правительства. Ленин и Свердлов присутствовали – это точно известно. Откуда? Как всегда бывает в таких случаях, источник остается скрытым. Если все детали убийства были заранее обсуждены, то никакого смущения телеграмма Белобородова не могла вызвать; очевидно, не было надобности и собирать особо секретное совещание. Вероятно, однако, то или иное совещание должно было неизбежно произойти и иметь секретный характер, так как сообщение Белобородова было, очевидно, неожиданным. На нем должен был присутствовать и председатель совнаркома, и председатель ВЦИК. Свердлов, независимо от своего официального поста, всегда был резонатором мнений Ленина, поэтому естественно связать эти два имени, как, напр., они связаны были в период острых партийных споров о “похабном мире”. Но при расследовании екатеринбургской трагедии, точнее кремлевского замысла ее подготовки, этой связи придают специфический характер: “План Свердлова” через убийство сделать невозможным “компромисс” с капиталистическим миром превращается в “план и самого Ленина”. Можно назвать и третьего, вероятного участника секретного совещания – это Дзержинский... Сперанский, производивший свое самостоятельное изыскание в Екатеринбурге, пришел к выводу, что мысль о ликвидации вышла из головы шефа Ч.К. и им была осуществлена<sup>437</sup>.

Трио легко превратить в квартет – припомним, что Войков назвал члена ЦК Крестинского, до войны бывшего главарем екатеринбургских большевиков, при желании и в квинтет – ведь Троцкий был подлинным вдохновителем “Революционного Израиля” (в некоторых повествованиях Троцкий и фигурирует как прямой соучастник кремлевского трио). Можно идти и дальше. Но оставим в стороне подобные изыскания – бесплодные, поскольку не опираются на факты, которые можно установить. Какой же вывод можно сделать? Первый следователь, ведший сибирское расследование, член екатеринбургского окружного суда Сергеев, на мой взгляд, занял правильную позицию: “убийство задумано заранее и выполнено по выработанному плану” – главное руководство принадлежало местным большевистским деятелям. По словам Дитерихса, Сергеев склонен был отрицать инициативу центральной власти. Его добросовестность и нелицеприятие судьи были заподозрены – как видно из сообщения местного прокурора Иорданского, Сергеев обвинялся в сознательном затягивании следствия. Он был заменен Соколовым, проделавшим огромную работу для выяснения обстановки екатеринбургской трагедии. Но основная политическая линия его расследования едва ли была правильной. Можно предполагать, что центр *ante factum* санкционировал убийство Царя и *post factum* вынужден был распространить свои санкции и в отношении расправы, постигшей всю семью. Всевластность центра в первые месяцы 18 г. вообще надо признать очень относительной, – лучшей иллюстрацией может служить “Северная коммуна” бывшей столицы, где своевольным сатрапом был Зиновьев, в дни июльского кризиса. В дни убийства гр. Мирбаха, “авантюры левых с. р., “белогвардейских” восстаний и зарождения “восточного фронта” заседавшие в Кремле не

---

<sup>437</sup> Бурцев в свое время также доказывал, что Царь убит по решению Ц.К. большевиков и “по настоянию Ленина”. В действительности позиция Ленина в эти дни была иной: он полагал, что в случае крушения большевизма тактически выгодно содействовать восстановлению реакционной монархии.

чувствовали себя прочно, и в такой обстановке не слишком приходилось одергивать “власть на местах” – особенно в таком щекотливом для большевистских демагогов вопросе, как судьба царствовавшей династии. На уральской периферии, которая в данном случае занимает наше внимание, “левые” коммунисты имели значительное влияние в партийной среде – так, имя председателя областного комитета Белобородова, наряду с именем членов ЦИК Преображенского и Крестинского, стоит под оппозиционным заявлением группы “уральских работников”, требовавшей в февральские дни обсуждения вопроса о войне и мире с Германией и немедленного созыва партийной конференции<sup>438</sup>. Друг Белобородова и Голощекина Сафаров, вместе с Лениным прибывший в Россию в “запломбированном вагоне”, ставший тов. Председателя екатеринбургского президиума, а на деле считавшийся на Урале как бы негласным “диктатором”, был также в рядах “оппозиции”. С этими “уральскими работниками” Свердлов, б. член пермского комитета и представитель Урала на решающей апрельской конференции 17 г. в Петербурге, где приехавший из эмиграции Ленин выступил со своими сенсационными “коммунистическими” тезисами, был связан персональными узами на почве старой совместной партийной работы, а не той тактической позицией, которую все они занимали в данный момент, – малоосведомленное в партийных большевистских делах сибирское следствие видимость приняло за сущность. За следствием пошел в своих изысканиях и Коковцев, точка зрения которого близка к положениям, выдвинутым Керенским: Москва заранее избрала местом расправы Екатеринбург, как центр деморализованных рабочих и сосредоточие здесь группы верных своих сотрудников.

Тактика центра в отношении династии – колеблющаяся и двурушническая – конечно, не гарантировала жизнь ни царю, ни вел. кн. Михаилу, ни легитимному наследнику. С известными оговорками можно согласиться с заключительными строками исследования Соколова: “В ходе мировых событий смерть Царя, как прямое последствие лишения его свободы, была неизбежна, и в июле месяце 18 года уже не было силы, которая могла бы предотвратить ее”. Если не в июле, то в последующие страшные дни кровавого разгула “красного террора” гибель была почти неизбежна, поскольку члены династии оставались во власти разнузданного насилия большевиков. Может быть, был бы созван показательный процесс “народного суда”, после которого символически скатилась бы голова “коронованного тирана”; может быть, ликвидация династии произошла бы безгласно в тайных недрах Всер. Чр. Комиссии, но все же, вероятно, общественная летопись не зарегистрировала бы омерзительных форм, в которых произошла расправа в подвале “дома особого назначения”, названная Сафаровым на столбцах “Уральского Рабочего” 23 июля со смелостью, граничащей с наглостью, “крайне демокритической”.

#### 4. Ожидание мертвецов

Весть об убийстве императора Николая II, конечно, в разных слоях воспринята была неодинаково. И внешнее впечатление от уличной толпы зависело от собственного настроения наблюдателя. “Маленький” Марков в Петербурге видел повсюду “печать отчаяния”. Бывший царский министр Коковцев в той же северной столице усмотрел “кровожадность” и одобрение совершенному акту. Садуль, еще не сделавшийся окончательно коммунистом, на московских лицах лишь не увидел сожаления. Может быть, толпа, притихшая под дамокловым мечом “пролетарской диктатуры”, отнеслась в общем равнодушно, отчасти подготовленная уже к неизбежности такого конца для главы царствовавшей династии после революции, может быть, еще не верили, несмотря на официальное сообщение, переданное через газеты в виде отчета о заседании ВЦИК, – не верили, потому что уже раз слышали о расстреле. Смерть бывшего Царя действительно

---

<sup>438</sup> Соколов подчеркивает, что Белобородов – “порождение уральской глуши”. “Если бы не убийство, его никогда не увидели бы за пределами Урала”. Следовательно ошибался.

впечатления большого внешне тогда не произвела – тем более что дело ограничилось довольно лаконичным сообщением 19 июля. Однако едва ли так же спокойно было воспринято известие из Екатеринбурга в Кремле. Мемуаристы пытаются показать, что самочинное деяние уральских коммунистов не вызвало никаких волнений и опасений. С хладнокровным спокойствием в обстановке обыденного обсуждения текущих дел заслушано было членами правительства сообщение о расстреле в Екатеринбурге. Вот как описывает заседание Совнаркома 18 июля Милютин. В момент доклада комиссара народного здоровья Семашко вошел Свердлов и сел позади Ильича. Семашко закончил доклад, Свердлов подошел к Ленину и сказал ему несколько слов. “Тов. Свердлов просит слова для информации”, – сказал Ленин, и Свердлов в обычном тоне сообщил об известии, которое пришло с Урала. Чехословаки приближаются к Екатеринбургу. Николай II собирался бежать. Он казнен. Президиум ВЦИК утвердил эту меру. Слова Свердлова сопровождало полное молчание. “Перейдем теперь к тексту принятия по пунктам”, – предложил Ленин. Заседание, прерванное выступлением Свердлова, продолжалось в очередном порядке... Очевидно, на основании таких мемуарных заметок Керенский и пришел к убеждению, что от правительства была скрыта истина. Боюсь присоединиться к такому заключению, и в особенности на основании документа, сотканного из сплошной фальши<sup>439</sup>. Растерянность была очевидна, и, вероятно, только этим можно объяснить то, что московская власть не воспрепятствовала открытому служению панихиды по погибшему императору: церковь на Спиридоновке была полна народа – присутствовали далеко не только “монархисты”.

Все последующее показывает, что и правительство в целом, и его агенты в отдельности всемерно стремились затушевать то, что произошло в Екатеринбурге. Кровавая бойня в Доме Ипатьева ложилась таким позорным пятном на так называемую “рабоче-крестьянскую” власть, что истину надо было хоть до времени так или иначе скрыть<sup>440</sup>. Мы видели уже, как в течение июля представители советской власти открыто лгали немецким дипломатам. Так же втирали они очки и дипломатам других европейских держав. Лгали в июле, лгали в августе, лгали и в сентябре. Разговоры бар. Ритцлера с руководителем ведомства ин. дел в Москве закончились сообщением, что Ал. Фед. находится “в Перми” и что с “немецкими принцессами” ничего произойти не может. Немецкий дипломат усомнился тогда в том, что Чичерин говорил правду. Документы, опубликованные в 35 г. немецким историком Яговым, показывают, что тем не менее переговоры об “освобождении Царицы и ее детей” продолжались – их вел в начале августа с Чичериным германский генеральный консул в Москве Гаушильд. 29 августа Гаушильд на ту же тему беседовал с Радеком, который заявил, что комиссар ин. д. не видит причин, почему нельзя было бы Ал. Ф. и ее детям выехать из России – на условиях, конечно, известных компенсаций. Компенсация могла бы заключаться в том, что царская семья будет обменена, напр., на арестованного в Берлине Лео Иодиша. Радек высказывал готовность в тот же день переговорить по этому поводу с самим Лениным и обещал немецкому консулу “немедленно принять меры” к тому, чтобы Царице и ее детям была гарантирована безопасность от каких-либо эксцессов. Комедия продолжалась и перенесена была в Берлин, где советский представитель Иоффе 10 сентября уже официально предложил германскому министерству ин. д. обменять Царицу на Либкнехта. По свидетельству Ягова, это “возмутительное предложение” было отвергнуто Германией. Так обстояло дело в момент, когда должны были реализоваться дополнительные соглашения по Брестскому миру. Переговоры все еще продолжались – до 14/15 сентября. Тут неожиданно в беседе с Чичериным и Радеком выяснилось, что советское правительство в

---

439 “Странички дневника” были напечатаны в Москве еще в 1921 г.

440 Белобородов в своей позднейшей подмосковной беседе выражал негодование на то, что центральное правительство как бы “умыло руки” в екатеринбургском деле: “Все именитые товарищи избегали разговоров со мной на эту тему”, и “только Влад. Ил. похвалил меня за это решение”. А Бухарин дружески советовал убийце: “Вы не очень-то хвастайтесь ликвидацией царской семьи”.

данный момент не знает местопребывания царской семьи, так как она находится в красноармейской части, отрезанной от остальной армии во время военных действий под Екатеринбургом. Немецкая дипломатия поняла, что вопрос о выезде из России Императрицы и ее детей должен был выпасть из переговоров, но она еще верила, что погибшие в Екатеринбурге живы, и предлагала перевезти их хотя бы в Крым... Недостойная игра так или иначе шла до перерыва дипломатических сношений накануне событий, сокрушивших германскую империю. Во второй половине июля по ордеру председателя петроградской Ч. К. из Вологды были вывезены жившие там под наблюдением в условиях относительной свободы вел. кн. Ник. Мих., Георг. Мих. и Дм. Конст. и заключены в Петербурге в тюрьму на Шпалерной. Что послужило прямым поводом к аресту, который был произведен, как утверждал Урицкий посетившим его представителем французского и датского посольств, по предписанию из центра? Может быть, центр хотел избежать каких-нибудь местных эксцессов в связи с готовящимся отъездом иностранных послов из Вологды? Предположим лучшее. Обеспокоенный участием Ник. Мих., имевшего связи в Париже, французский посол Нуланс, согласно полученной инструкции, поручил ген. консулу в Москве Гренару посетить Чичерина и от имени французского правительства ходатайствовать о гарантии безопасности для вел. князя-историка, – очевидно, в связи с событиями, имевшими место в Екатеринбурге. То же с своей стороны сделал датский посол Скавениус перед Урицким. Нуланс не сообщает ответа, который дал Чичерин, но его передает со слов Гренара бывший фр. посол Палеолог. Коснувшись расстрела Николая II, Чичерин высказал сожаление о происшедшем событии, которое произошло без ведома центра по инициативе екатеринбургского совета, и отозвался незнанием того, что произошло с другими членами семьи. Несколько позже Чичерина посетил и голландский посланник Удендин, чтобы от имени королевы Вильгельмины хлопотать за Царицу и ее детей. Это было в день убийства Урицкого. Выслушав заявление Удендина, Чичерин и присутствовавшей при беседе его помощник Карахан “долго сидели в молчании”. “Вы коснулись весьма щекотливого вопроса, – ответил, наконец, смущенный Чичерин, устремив свой взор на пол. – Я не могу вам сразу дать определенный ответ... Вопрос несомненно подвергнется всестороннему обсуждению в ЦИК... Вы можете написать вашему правительству, что нет решительно никаких оснований беспокоиться за них...” Карахан молчал, курил большую сигару, сосредоточенно пуская большие клубы синего дыма в потолок...

Можно ли объяснить ипокритство подобных ответов незнанием того, что произошло в Перми, Екатеринбурге и Алапаевске? Растерянность очевидна, но она отнюдь не свидетельствует о незнании. Морганатическая супруга вел. кн. Павла Ал. передает по существу изумительный разговор, который она имела с Урицким при попытке выяснить причину ареста мужа. Урицкий заявил ей, что великие князья будут отправлены на Урал, где они будут пользоваться известной свободой и где она, Палий, может соединиться со своим мужем. При этом Урицкий упомянул, что если с ее сыном в Алапаевске что-нибудь случилось, то это его вина. Тут кн. Палий с настойчивостью стала уверять петербургского палача, что сын ее спасен и находится вне досягаемости большевистской власти. Это она хорошо знает. “Он спасся, очевидно, бегством, как и вел. кн. Михаил”, – с иронией заметил, промолчав момент, Урицкий и сказал, что Михаил был убит в Перми... Никогда в большевистских газетах не было опубликовано о расстреле вел. кн. Мих. Ал., как то утверждает Быков: “после проверки слухов и опроса предполагаемых участников расстрела”. Но в феврале 19 г. в меньшевистском “Всегда вперед” по поводу новых жертв из числа членов великокняжеской семьи, расстрелянных в Петропавловской крепости (“позором” назвал этот акт меньшевистский орган) была подчеркнута гибель всей царской семьи на Урале. Позже гибель Михаила признал, как было уже упомянуто, Мясников в своей брошюре-протесте от имени “рабочей оппозиции”. Неведующие главари большевиков могли бы узнать, и тем не менее в “дни конференции в Генуе (22 г.) Чичерин с каким-то упорством утверждал корреспонденту “Чикаго Трибун”, что по его сведениям, царские дочери находятся в Америке. Это было более чем цинично.



\* \* \*

Хотели того или нет большевики, но их лживые публикации об екатеринбургском убийстве с первого же дня положили начало в обывательской среде разнообразным и противоречивым слухам о судьбе царской семьи. Эти слухи, зарегистрированные екатеринбургским уголовным розыском и подтверждаемые даже свидетелями-“очевидцами”, представляют собой эмбрион последующих исторических легенд. Царская семья жива – она вывезена из Екатеринбурга – по версии уголовного розыска – в направлении Перми. Жив и Царь, он увезен в Германию через Ригу, согласно одному из пунктов Брестского мира (по простонародной версии, Вильгельм “строго приказал Ленину”). Насколько последняя версия была распространена, показывает тот факт, что она занесена в официальном уведомлении английского верховного комиссара в Сибири Бальфуру 5 октября: вопреки большевистским объявлениям, “многие из русских, хорошо осведомленных, верят, что он (Царь) находится под покровительством немцев”. К этому варианту сам Элиот, не отвергая его, относился несколько скептически. Но ему представлялся правдоподобным увоз Царицы и детей – он подчеркивал, что таково всеобщее мнение в Екатеринбурге. Гибс полагал, что до сей поры нет основания не верить сообщениям большевиков о сохранности царской семьи – во всяком случае, можно полагать, что в Доме Ипатьева расстреляны не все, там находившиеся, и что детям жизнь сохранена. (Элиот допускал, что следы крови явились в результате убийств во время ссоры пьяных людей.)

Упрочению легенды, конечно, содействовал “бессвязный рассказ” только что вышедшего из тюремного лазарета и через три месяца скончавшегося “утомленного” и расслабленного старика Чемодурова. По словам Кобылинского, Чемодуров не верил в убийство царской семьи и говорил: “Убили Боткина, Харитонову, Демидову и Группу, а августейшую семью вывели, причем убийством названных лиц симулировали убийство семьи. Для этого... симулировали и разгром дома...” По другой версии, семья была вывезена в шахты в районе “Таниной Ямы” и там была подстроена новая симуляция в виде сожжения тел, одежды и вещей, а в действительности произошло переодевание, после чего “расстрелянные” благополучно скрылись или были увезены...

Таких версий было бесчисленное множество (см. у Дитерихса). Им верило такое же множество людей в Сибири и Европейской России, а также впоследствии в Зап. Европе<sup>441</sup>.

---

<sup>441</sup> Отметим одну такую фантастическую “быль”, которая в основе своей создана была разговором местных жителей и которая служит как бы эпилогом к екатеринбургской драме. Упомянуть о ней стоит уже потому, что распространение ее связано с именем капитана “Б”, помогавшего ведению следствия Соколова, – по крайней мере на него, на его авторитетное свидетельство, ссылался в 29 г. автор статьи в парижском “Русском Времени”, впервые на столбцах эмигрантской прессы рассказавший этот апокриф. Дело идет не более не менее, как о том, что в Москву среди вещественных доказательств, имевших отношение к убийству в Д. Ипатьева, была доставлена в особой “кожаной сумке” стеклянная колба, наполненная красной жидкостью, в которой находилась голова казненного Императора!

В Берлине в 21 г. кап. Б.(улыгин), по словам автора статьи, говорил ему, что такой факт “несомненно имел место”. Тогда автор отнесся скептически к рассказанному, но в конце 28 г. в газете “Франкф. Кур.” 20 ноября он прочитал статью “Судьба царской головы”, принадлежащую перу некоего пастора Курт-Руфенбургера, который рассказывал со слов “очевидца”, как большевики сожгли в июле 18 г. полученный ими из Екатеринбурга “ужасный груз”. Были мнения, что заспиртованную голову Николая II надо сохранить в музее для назидания “грядущему поколению”, но по предложению Петерса в конце концов постановили во избежание превращения головы бывшего царя в “святыню” в глазах “глупых людей” уничтожить. “Очевидец” наблюдал процесс сожжения, происходивший будто бы в присутствии почти всего большевистского синклита. “Голову” Николая II в спирту видел, но уже в 19 г., и Иллиодор. “Сенсация”, за которую о. иеромонах с американской прессы получил 1000 долл. и которая показалась вероятной и “Последним Новостям”, вовсе не была тогда новая, ибо о ней было написано за три года перед тем в одном из органов той же парижской эмигрантской прессы.

Добавим, что П. А. Берлин подтверждал в печати, что он слышал о соответствии будто бы легенды с действительностью от авторитетных лиц, косвенно связанных с высшими советскими кругами.

Т. Боткина-Мельник, в ближайшем окружении которой создались многие легенды, и в частности о роли Соловьева в попытках освобождения Царя, заявляет в своих воспоминаниях: “Конечно, никто из нас не верил слуху (об убийствах в Екатеринбурге) до тех пор, пока по приезде во Владивосток я не увидела людей, лично читавших все дело, веденное ген. Дитерихсом!” Судьба Мих. Ал. возбуждала еще меньшие опасения. Мы видели, как Милюков с Юга рекомендовал москвичам отыскать вел. кн., выдвигаемого лидером конституционалистов в кандидаты на занятие престола. Диктатор далекой Даурии знаменитый бар. Унгерн в одном из своих “приказов” даже в 21 г. объявлял “императора” Михаила “единственным хозяином земли русской”. Сибирское следствие, которому картина происшедшего скоро стала ясна, впоследствии склонно было заподозрить источник происхождения этих легенд – их распространяли агенты большевиков. Такое обвинение легко предъявляли “зятю Распутина” и иже были с ним из “петроградско-немецких” организаций... При взятии Екатеринбурга из красной армии перебежало много офицеров. В числе их был кап. ген. шт. Симонов, занимавший пост начальника штаба армии Берзина и помогавший офицерам перебежать на “белогвардейскую” сторону. В Омске при содействии нач. Воен. Академии ген. Андогского он занял должность нач. контрразведывательного отдела. Он официально докладывал Верховному Правителю, повествует Дитерихс, что “слышал от комиссаров, что наследник и великие княжны живы, но неизвестно, где находятся”. Лично Симонов “твердо верил” в это. Симонов был знаком с Соловьевым и встретился с ним во Владивостоке. Соловьев сохранял “большое инкогнито”, но открылся начальнику паспортного пункта полк. Макарову, прося у него четыре незаполненных бланка заграничных паспортов, “для отправления августейших детей за границу”. Дитерихс говорит, что фантазиям, “походившим по абсурдности на умышленно-злостное распространение сведений с преднамеренной целью”, больше верили, чем обоснованным на фактах докладам следователя Соколова. Помощник Соколова, человек скорый на заключения, уже обвиняет Соловьева в том, что последний подготавливал самозванца, как это ни абсурдно было для “агента большевиков”! [Между прочим, тогда еще среди всякой молвы распространился слух о спасении по крайней мере дочери Анастасии. В эмиграции был свидетель (сообщение в “Руле”), что об этом он слышал, между прочим, в семье, близкой к вел. кн. Мих. Ал.: этому слуху суждено было в эмиграции превратиться в эпопею походов “Лже-Анастасии”.] Самогипноз был так силен, что еще в 21 г. редакция монархической “Русской Летописи” при перечислении членов “Российского Императорского Дома, убиенных и умученных большевиками”, делала оговорку: “вел. кн. Мих. Ал. с половины 18 г. неизвестно где находится, и о Е. И. В. распространены весьма тревожные сведения” [Ровно через 10 лет парижское “Возрождение” без всякой оговорки перепечатало рассказ польского журналиста Мацкевича о своей встрече в России с одним из воображаемых участников “цареубийства”. Здесь имелось “первое точное сведение” о гибели М. А., убитого в Перми “во дворе духовной семинарии” через 11 дней после расстрела царской семьи.]. Даже в 24 г. вдовствующая Императрица М. Ф. по поводу манифеста вел. кн. Кирилла, преждевременно объявившего себя “императором всероссийским”, писала вел. кн. Ник. Ник., прося его предать гласности ее письмо: “До сих пор нет точных известий о судьбе моих возлюбленных сыновей и внука”. И более того, в 29 г. Агапеев, один из докладчиков “Общества памяти Государя Императора Николая II”, выступил в “Новом Времени” со статьей под характерным заголовком: “Жива ли царская семья?” с целью опровергнуть “иллюзии”, которые существуют еще в некоторых кругах эмиграции, и “апокрифы”, которые от времени до времени появляются в монархической печати. Соколов в соответствии со своей предвзятой точкой зрения положит на эти “апокрифы” клеймо “made in Germany”; они были нужны немцам, а не большевикам: подобными легендами немцы пытались набросить пелену в глазах русских патриотов на свои истинные отношения с большевиками!

Оставим в стороне и эти домыслы – их сам Соколов не счел возможным воспризвести на страницах русского издания своей книги. История происхождения творимых легенд,

рождавшихся в атмосфере не остывших чайных прозелитов монархической идеи<sup>442</sup>, лежит, конечно, в том тумане скрытности и фальсификации, которым были окутаны пермское, екатеринбургское и алапаевское деяния. При своем цинизме, не останавливаемом перед воскурением “революционного” фимиама отвратительной “голове медузы”, как назвал Каутский “красный террор”, даже большевистская власть не нашла в себе смелости сказать правду о том, что произошло в подвале Дома Ипатьева в ночь на 17 июля, что предшествовало и что последовало за этой поистине общечеловеческой трагедией XX века – она наложила запрет молчания и на уста непосредственных убийц. Скрыть “правды” в истории почти невозможно. Большевистская власть достигла того только, что содеянное партийными изуверами преступление в глазах своего мира превратилось в акт какого-то дьявольского замысла, задуманного в центре и планомерно им осуществленного. “Логика и факты” говорят против такого заключения, но тем не менее этой легенды историк, беспристрастный по своему методу фактического расследования, до сих пор опровергнуть не может – историку пока доступны преимущественно лишь критические суждения.

Моральное безразличие, с каким был в сущности встречен в демократическом мире “революционный” акт, имевший место в России, и скорое забвение его облегчили “рабоче-крестьянской” власти переход к нормальным дипломатическим отношениям, и она уже с некоторой смелостью начала у себя инсценировать даже показательные процессы “суда над Романовыми”.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### С.Н. Дмитриев ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬЯНС<sup>443</sup>

Историческая сенсация... Все реже и реже встречаемся мы в последнее время с этими словами, несмотря на то что любой печатный орган буквально пестрит материалами на исторические темы. И как приятно сознавать, что на последующих страницах читателя ждет встреча с настоящей исторической сенсацией, да еще такой, которая имеет отношение не к малозначимым фактам и событиям, а к знаменательному политическому явлению, бросающему загадочный отблеск на самые первые месяцы истории Страны Советов.

О Сергее Петровиче Мельгунове (1879—1956) можно написать целую книгу. Ограничимся лишь утверждением, что он стоит в ряду крупнейших русских историков XX столетия. Его основные труды наконец стали переиздаваться в России и несомненно вызовут огромный общественный интерес.

Историка Мельгунова всегда влекли к себе тайные и загадочные стороны прошлого, которые он старался высветить. Одной из таких тайн, долгое время занимавших внимание исследователя, были взаимоотношения большевиков с немецкими властями до Октябрьского переворота и после него. Итогом изучения вопроса о финансировании большевиков со стороны правящих кругов Германии в период подготовки революции стала книга Мельгунова ““Золотой немецкий ключ” к большевистской революции”. Она была издана на Западе трижды – в Париже в 1940 г., в Нью-Йорке в 1985 и 1989 гг. (репринтное воспроизведение издания 1940 г.), а в России увидела свет только в 2005 г. в составе книги историка “Как большевики захватили власть” (М.: Айрис, 2005).

---

<sup>442</sup> Сибирская знаменитость, бывший генерал русской службы, Гайда в 29 г. в органе чешских фашистов компетентно утверждал, что царская семья не погибла.

<sup>443</sup> Сокращенная часть настоящей статьи вместе со статьей С.П. Мельгунова “Приоткрывающаяся завеса” была опубликована в журнале “Наш современник” (1990, № 11. С. 128 – 136).

Временем написания книги неслучайно стал 1939 г. В это время историк жил во Франции, в Париже, а Европа уже погрузилась в пучину мировой войны. СССР же благодаря советско-германскому пакту о ненападении пока оставался вне военного пожара. Налицо был очередной этап сотрудничества большевиков с немецкими властями, и именно это, вероятнее всего, подтолкнуло Мельгунова обратиться к самым истокам такого сотрудничества, уходящим в дооктябрьский период.

В предисловии к книге автор сформулировал свою задачу достаточно скромно: выяснить “получали ли большевики от немцев деньги или нет?” Однако содержание работы оказалось намного шире поставленной задачи. В ней нашли яркое отражение как причудливая атмосфера предгрозовой России, показанная на фоне общей запутанной ситуации в Европе, так и нравы, царившие в ту пору в российской революционной среде.

Вслед за историком мы тоже должны задаться вопросом: как могли вообще завязаться какие-либо отношения между непримиримыми революционерами, выступавшими за уничтожение всякого угнетения и мировой революционной взрыв, и представителями “реакционного” германского империализма, какие пружины вызвали к жизни этот фантастический альянс? Для ответа на такой сложный вопрос, прежде всего, нужно четко представлять себе особенности политики, как специфической сферы человеческой деятельности, где все подчиняется конечной цели, стремлению к успеху, власти, где почти не остается места каким-либо моральным принципам и где поэтому возможны самые неожиданные союзы и действия.

Воевавшая на два фронта в годы Первой мировой войны Германия была крайне заинтересована в том, чтобы любым путем вывести из войны царскую Россию. Путь сепаратного мира не принимался российским правительством, а это диктовало обращать особое внимание на революционеров, выступавших за мир и свержение самодержавия, благо значительная их часть находилась в эмиграции, в сфере возможного немецкого влияния. Посол Германии в Берне барон фон Ромберг первые контакты с русскими революционерами в Швейцарии установил уже в сентябре 1914 г. Через год доверенное лицо Ромберга – эстонец Кескюла – докладывал о тех условиях, “на которых русские революционеры, в случае победы революции, были бы готовы заключить с нами мир”, – установление республики, конфискация помещичьих земель, восьмичасовой рабочий день, полная национальная автономия и т.д. Признавая все эти условия выгодными для Германии, Кескюла сделал вывод, что “есть срочная необходимость безотлагательно поспешить на помощь революционерам ленинского направления в России”. Более сдержанный Ромберг на основании доложенного тем не менее сообщал рейхсканцлеру фон Бетман-Гольвегу: “...Если даже... перспективы на переворот ненадежны и таким образом ценность ленинской программы сомнительна, все равно использование ее в неприятельских странах оказало бы неоценимую услугу”.

Далее последовали более целенаправленные усилия германских представителей на установление контактов в эмигрантской революционной среде, при этом постепенно все большее внимание уделялось именно большевистской партии, самой радикальной в решении “военного вопроса”: она выступала за поражение царской России в войне и перерастание этой войны в войну гражданскую. Нетрудно представить, что такой исход событий весьма устроил бы правящие круги Германии. Кайзер Вильгельм II в памятной записке по поводу внутреннего положения России от 7 августа 1916 г. заметил: “Важно – чисто с военной точки зрения – с помощью сепаратного мира отколоть какого-либо военного противника от союзной Антанты, чтобы всю нашу военную мощь обрушить на остальных... Только когда внутренняя борьба в России за мирный договор с нами обретет достойное влияние, мы сможем соответственно рассчитать наши военные планы”.

Февральская революция, в результате которой к власти пришли силы, заинтересованные в продолжении войны с Германией, включая оборончески настроенных эсеров и меньшевиков, лишь усилила интерес немецкой стороны к большевикам, продолжавшим выступать за выход России из войны и придерживавшихся жесткой

оппозиции по отношению к Временному правительству. Поразительна откровенность, с которой немецкие политики формулировали в секретной переписке свои “виды” на желательное развитие ситуации в России. Всех перешеголял немецкий посланник в Копенгагене граф фон Брокдорф-Ранцау, писавший в марте 1917 г.: “...Мы непременно теперь же должны искать пути для создания в России возможно большего хаоса... Мы наиболее заинтересованы в том, чтобы последние (крайние партии. – С.Д. ) одержали верх, ибо тогда переворот станет неизбежным и обретет формы, которые должны потрясти основы существования русской империи... Можно считать, что по всей вероятности через какие-нибудь три месяца в России произойдет полный развал и в результате нашего военного вмешательства будет обеспечено крушение русской мощи”.

Зная эту, так обнаженно выраженную, стратегическую задачу правящих германских кругов, легче оценить и выпестованную в немецких официальных ведомствах и параллельно родившуюся в среде русских революционеров-эмигрантов идею о возвращении революционеров в Россию через Германию. Бетман-Гольвег лично докладывал Вильгельму II, что “немедленно с началом русской революции я указал послу Вашего Величества в Берне: установить связь с проживающими в Швейцарии политическими изгнанниками из России с целью возвращения их на родину – поскольку на этот счет у нас не было сомнений – и при этом предложить им проезд через Германию”. Немецкая сторона исходила при этом из старого принципа, сформулированного Бисмарком: “...Если речь идет о спасении отечества, то любому союзнику говори – добро пожаловать”.

Для Ленина и его сторонников, стремившихся как можно скорее вернуться на родину для углубления революции, то обстоятельство, что эту возможность им предоставляет “классовый враг”, особого значения не имело. “Интересы пролетарской революции превыше всего”. Необходимо только предпринять ряд предосторожностей, чтобы дать меньше оснований для дискредитации в России, и можно отправляться в путь. Л.Д. Троцкий оставил очень точное объяснение мотивов обеих сторон, согласившихся на проезд революционеров через Германию: “Ленин использует расчет Людендорфа (прусского генерала. – С.Д. ), имея при этом свой собственный расчет. Людендорф размышлял про себя: Ленин свергнет патриотов, тогда приду я и задую Ленина и его друзей. Ленин же размышлял про себя: я поеду в железнодорожном вагоне Людендорфа и заплачу ему за эту услугу на свой лад”. Последующие события показали, что оба партнера, образно говоря, действительно держали за пазухой по увесистому камню, использовав его против своего партнера в выгодный момент.

Через Германию в Россию в “пломбированных вагонах” весной и летом 1917 г. проехало в целом около 500 революционеров-эмигрантов и членов их семей, и не удивительно, что большинство из них были люди, выступавшие за развертывание мирной пропаганды на своей родине. Сторонники же продолжения войны доставлялись в Россию с помощью стран Антанты, как это было, к примеру, с Г.В. Плехановым и сорока его приверженцами, прибывшими на родину на английском линкоре в сопровождении противоторпедного истребителя. Война превратила революционеров-эмигрантов различных направлений в могучее оружие, и Троцкий был, безусловно, прав, когда назвал проезд Ленина и других большевиков в Россию “перевозкой “груза” необычайной взрывной силы”. Уже 17 апреля 1917 г. в донесении представительства Генерального штаба в Берлине Верховному главнокомандованию сообщалось: “Въезд Ленина в Россию удался. Он действует в полном соответствии с тем, к чему стремится”, или, другими словами, в соответствии с тем, что устраивало в тот момент германских политиков.

С.П. Мельгунов, исходя из имевшихся в его распоряжении материалов, нарисовал в своей книге хотя и мозаичную, но вполне убедительную картину происходившего, как до возвращения большевистских лидеров в Россию, так и после. Вывод, сделанный историком, можно сформулировать вкратце следующим образом: немцы большевиков финансировали, и это не могло не содействовать будущей победе пролетарской революции. Однако автор подчеркивал, что, решая поставленную задачу, он установил лишь “базу”, из которой

“можно было бы исходить”, и только наметил “вехи”, “указывающие на путь, по которому надлежит идти”. Он выражал надежду, что в будущем “в архивных тайниках найдутся более документальные следы использования большевиками немецких “секретных фондов”.

Очевидной заслугой Мельгунова является то, что он действительно, как это заявлялось в предисловии к книге, “подошел критически” ко всем материалам и “по возможности” объективно вскрыл то, “что может быть заподозрено в своей политической недоброкачественности”. Историк отверг много домыслов и фантастических утверждений, накопившихся вокруг исследуемой темы, заметив, что “по такому пути история идти не может”. Он совершенно справедливо считал неоправданным слишком назойливое щеголяние в этом сложном политическом вопросе упрощенными терминами – “немецкие шпионы, агенты”, высказал обоснованные сомнения в прямой переписке и контактах Ленина с Парвусом и немецким Генеральным штабом, усомнился в крайних выводах на этот счет А.Ф. Керенского и других авторов. “Мне лично, – писал автор, – версия официальной или полуофициальной “договоренности” Ленина с германским империализмом представляется совершенно невероятной”. В другом месте историк констатировал: “Никогда, очевидно, не было момента, чтобы Ленину хотя бы в символическом виде в какой-то кованой шкатулке передали 50 миллионов немецких марок”. (Кстати, и сама эта сумма представлялась автору преувеличенной.)

Особенно наглядно объективность Мельгунова проявилась при его оценке так называемых “документов Сиссона”, изданных в 1918 году в США и игравших важную роль в построении обвинений против большевиков. Серьезный анализ документов привел автора к выводу, что “без всяких колебаний нужно отвергнуть все эти сенсации, как очень грубую и неумно совершенную подделку”.

Существенное место в книге Мельгунова занимает осуждение им “политической беспринципности”, “цинизма в политике”, очень многое объясняющих в альянсе германских властей и большевиков. По его словам, в “сознании русской революционной демократии”, так же как и в сознании немецких политиков и стратегов, “незыблемые законы общественной морали... пасовали перед требованиями реальной политики”. А отсюда был лишь один шаг к преступным действиям, прикрытым “интересами дела”.

Кроме очевидных достоинств в книге историка есть и свои слабости, недостатки, связанные главным образом с некоторой перенасыщенностью фактологией авторского текста, определенной скороговоркой в освещении ряда вопросов. Так, например, несколько раз упомянув о том, что средства, поступавшие из Германии, большевики использовали прежде всего на пропаганду, автор нигде не привел конкретных данных о масштабах этой пропаганды. А они были действительно впечатляющие.

Тон всей пропагандистской работе большевистской партии задавала “Правда”, ежедневно выходившая до июльских событий тиражом 85—90 тыс. экземпляров. После же этих событий, несмотря на выход газеты под разными названиями, ее тираж был доведен в октябре 1917 г. до 200 тыс. Но “Правда” была далеко не единственной ежедневной газетой партии, кроме нее ежедневно выходили “Деревенская правда”, “Солдат”, “Социал-демократ”, а также ряд других местных изданий. Помимо этого большевики выпускали газеты “Солдатская правда”, “Окопная правда” (большое количество газет, рассчитанных на распространение в армии, было далеко не случайным), “Волна”, “Утро правды”, “Голос правды” и другие, журналы “Работница”, “Просвещение”, за границей на немецком и французском языках издавались газета “Русский корреспондент “Правды”” и журнал “Вестник русской революции”. Накануне Октября в распоряжении партии было уже более 75 газет и журналов, в том числе на национальных языках, ежедневный тираж которых составлял 600 тыс. экземпляров. Кроме того, партия имела издательство “Прибой”, свои типографии, выпускавшие тысячи экземпляров книг и миллионы листовок. Вся эта деятельность, безусловно, требовала колоссальных финансовых средств.

У невнимательного читателя книги Мельгунова может сложиться неправильное представление, что будто бы только финансовая помощь из Германии и привела к власти

большевиков. Это, конечно же, было далеко не так. Финансы партии, масштабы ее пропаганды играют, естественно, существенную роль в укреплении партийных позиций. Однако вопрос о власти не решается лишь газетами и деньгами, многое зависит от четко выверенных лозунгов партии, ее последовательности, твердости в проведении выбранного курса, использовании ею недостатков противника, ситуации, складывающейся в стране, и т.д. Если у большевиков и был “золотой немецкий ключ”, то наряду с ним, несомненно, были и другие ключи, позволившие открыть “потайную дверь” со многими засовами и замками. Мельгунову принадлежит интересная мысль о том, что неизбежной победу большевиков сделали не они сами, а скорее ошибки их противников. Примерно ту же мысль разделял В.Г. Короленко, справедливо утверждавший, что в любой революции на 2/3 повинна власть, ее допустившая, и лишь на 1/3 революционеры.

Надежда Мельгунова на то, что в архивных тайниках найдутся более документальные следы “золотого немецкого ключика”, оправдалась. В 1956 г., в год смерти историка, в журнале “International Affairs” (1956, Vol. 32, № 2, April, p. 181—189) была опубликована статья профессора Оксфордского университета Г. Каткова “Документы Министерства иностранных дел Германии о финансовой поддержке большевиков в 1917 году”. В ней на документальной основе нашли подтверждение основные выводы Мельгунова, и в первую очередь сам факт финансирования из Германии большевистской партии. В частности, Катков опубликовал очень важную телеграмму министра иностранных дел Германии барона фон Кюльмана Вильгельму II. Текст ее гласит: “Лишь после того, как большевики получили от нас постоянный поток финансовых средств по различным каналам и под разными прикрытиями, это позволило им укрепить их главный орган, “Правду”, и вести активную пропаганду, которая существенным образом расширила первоначально узкую базу их партии”.

Катков прояснил также каналы, через которые шли деньги большевикам. Основными из них были поступления от коммерсантов вроде Парвуса (Гельфанда) и его посредника в предпринимательских делах Я.С. Ганецкого (Фюрстенберга), помощь, оказываемая немецкими социал-демократами, переводы из банков различных стран, прежде всего скандинавских, на счета конкретных лиц в России. Приоткрыл Катков и таинственную завесу над вопросом о том, почему начатое Временным правительством расследование “Дела по обвинению Ленина, Зиновьева и других в государственной измене” (в ходе следствия был собран 21 том материалов и документов, которые ныне должны находиться на особом хранении в бывшем Центральном партийном архиве) не было доведено до конца. Более того, оно закончилось отставкой министра юстиции В.Н. Переверзева, стремившегося дать делу быстрый ход, и освобождением под денежный залог арестованных по данному делу Л.Д. Троцкого, Л.С. Козловского, Суменсон и других. Выяснилось, что у социалистов, укреплявших свои позиции во Временном правительстве с помощью А.Ф. Керенского и заседавших в Советах, “рыльце тоже было в пушку”. Они также, особенно до Февральской революции, получали средства на свою деятельность от германских политических кругов и не были заинтересованы в широкой огласке скандального дела, несмотря на их страстное желание дискредитировать большевиков.

В 1957 году в ФРГ была опубликована книга Вернера Хальвега “Возвращение Ленина в Россию в 1917 году”, в которой автор собрал и прокомментировал документы Министерства иностранных дел кайзеровской Германии о проезде революционеров-эмигрантов в Россию через эту страну. Книга Хальвега, переизданная в 1990 году на русском языке издательством “Международные отношения”, рисует наиболее полную картину того, как подготавливался и совершался переезд, какую выгоду видели для себя в нем германские военные и политики. (Некоторые документы из этой книги процитированы в начале настоящей статьи.) В книге Хальвега поражает один удивительный нюанс: Верховное главнокомандование Германии готово было даже в случае невозможности проезда эмигрантов через Швецию и Финляндию “провести” их через “немецкие линии фронта”, как каких-нибудь военных лазутчиков. Более того, немецких стратегов это особенно устроило бы: создалась бы возможность вести

революционную пропаганду за мир “непосредственно в армии”.

Что касается финансирования большевиков, то Хальвег привел донесение Ромберга Бетман-Гольвегу от 14 (27) марта 1917 г., в котором посол, сообщая о необходимости выделения денег своему агенту в революционной среде, писал: “...Вполне обоснованно следует предполагать, что вскоре разовьются оживленные сношения между немецкими социалистами и русскими реакционерами, и при этом еще в большей степени будет возникать вопрос о финансовом содействии деятельности, направленной на установление мира”. Через месяц Ромберг поставил перед Бетман-Гольвегом вопрос о целесообразности финансирования выгодных для Германии революционеров еще раз, и получил вскоре разъяснение, что такое финансирование уже ведется.

После выхода в свет работы Хальвега на Западе в различных книгах и сборниках были опубликованы и другие новые документы, проливающие дополнительный свет на тему, впервые поднятую так широко и весомо С.П. Мельгуновым в книге ““Золотой немецкий ключ” к большевистской революции” (см., например: Хереш Э. Николай П. Ростов-на-Дону, 1998, с. 222—351). Многие сделали и российские исследователи. Самой заметной работой в этом ряду стала книга Г. Соболева “Тайна “немецкого золота” (М., 2002).

Интерес Мельгунова к проблеме взаимоотношений немецких властей и большевиков не ограничился выяснением вопроса о финансировании последних со стороны правящих кругов Германии в 1917 г. Об этом может свидетельствовать статья историка “Приоткрывающаяся завеса”, помещаемая ниже, которая повествует о втором этапе “предательского сговора” немцев и большевиков, имевшем место в 1918 г. Эта статья была напечатана сначала в парижских “Последних новостях” (1925, 5 февраля), а затем в более полном виде в журнале “Голос минувшего на чужой стороне” (Париж, 1926, № 1, с. 159—169). Она сразу же вызвала широкий общественный резонанс: включенная в статью “нота Гинце” была перепечатана несколькими зарубежными изданиями, правда, с оговоркой, что достоверность данного документа еще полностью не установлена. Но вот проходит всего несколько месяцев и достоверность ноты полностью доказывается. Призыв Мельгунова к германским демократам “приподнять завесу над тайной, которая все еще окутывает взаимоотношения большевиков и старой правившей Германии”, оказался частично услышанным, и в мартовском номере 1926 г. гамбургского журнала “Europaishe Gesprache”, посвященного проблемам иностранной политики и редактировавшегося А. Мендельсон-Бартольди, был напечатан немецкий оригинал “ноты Гинце” и подтверждающий ее ответ советского посла в Берлине А.А. Иоффе. Опубликованный Мельгуновым документ представлял собой не что иное, как дословный и точный перевод оригинала.

“Завеса приоткрылась”, но только для западного читателя. Для нас она приоткрывается в полной мере лишь сегодня. Что же мы можем разглядеть сквозь образовавшийся просвет? Попытаемся дополнить некоторыми соображениями и фактами (серьезный анализ этой проблемы еще впереди) то, что прозвучало в статье Мельгунова.

Большевики, захватив власть в условиях продолжавшейся мировой войны, очень скоро убедились, что наибольшая опасность для них исходит не от внутренней контрреволюции, а от германской армии, сохранившей свою боеспособность и готовой к активным наступательным действиям. Тут им пришлось ощутить на себе весьма чувствительный удар рикошетом тех пораженческих настроений, которые они сами, не жалея сил, долгое время разжигали в стране. Первая же реальная угроза потери власти, сложившаяся с началом широкомасштабного наступления немецких войск после срыва переговоров в Брест-Литовске, привела к победе среди большевиков стремления заключить самый “похабный” мир, только бы удержать рычаги государственного управления и продолжить пролетарскую революцию. И позорный мир этот, равного которому не было с эпохи татаро-монгольского ига, был-таки заключен, в результате чего страна потеряла около 1 млн км<sup>2</sup> территории, где проживало более 50 млн человек, располагалось 54% всех предприятий, 33% железных дорог, добывалось 90% каменного угля, 73% железной руды и т.д.



Но и это было еще не все. 27 августа 1918 г. в Берлине были подписаны дополнительные русско-германское финансовое соглашение и русско-германский договор. Согласно первому документу Россия обязывалась уплатить Германии контрибуцию в 6 млрд марок, в том числе 1,5 млрд золотом (245,5 т чистого золота) и кредитными билетами, 1 млрд поставками товаров. В сентябре 1918 г. в Германию были отправлены два эшелона с 93,5 т чистого золота. Оставшаяся часть в результате Ноябрьской революции в Германии не была туда поставлена. Любопытно, что почти все поступившее в Германию российское золото было передано в качестве контрибуции во Францию. Вот, оказывается, кто выиграл от альянса большевиков с немцами!

Что касается так называемого русско-германского добавочного договора к Брестскому мирному договору, то его содержание как раз и проясняет составленная в тот же день “нота Гинце”, которую можно расценивать как секретное приложение к договору с более откровенным прояснением позиций сторон. Налицо признаки той самой тайной дипломатии, которую большевики публично порицали и отвергали. В ноте мы встречаемся и с разграничением сфер влияния, и с установлением границ, и с определением сырьевых поставок из одной страны в другую, и с использованием Германией военных судов Черноморского флота (по некоторым данным, немцами было разграблено имущества Черноморского флота и портов на сумму 2 млрд руб., не говоря уже о миллионах пудов хлеба, продовольствия, важнейших видов сырья, вывезенных Германией с оккупированных территорий). Главное же, что поражает в ноте и ответе на нее Совнаркома РСФСР, – это обоюдно выраженное согласие сторон прилагать взаимные усилия к борьбе внутри России с Добровольческой армией, интервентами Антанты и чехословацким мятежом.

Однако к такому четко выраженному политическому и военному союзу партнеры пришли не сразу. Развитие событий проясняют чрезвычайно интересные воспоминания генерала В.И. Гурко “Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу. 1917—1918 гг.” (“Архив русской революции”, Берлин, 1924, т. XV), на которые ссылается Мельгунов. Гурко был наряду с В.Ф. Треповым, А.В. Кривошеиным, А.Д. Оболенским, Б.Э. Нольде одним из деятельных членов “Правого центра”, вступившего весной 1918 г. в переговоры с представителями германского правительства с целью свержения большевиков. Согласно его воспоминаниям Германия “хотя и вступила в переговоры с русскими общественными кругами, но одновременно тем не менее поддерживала тесную связь с большевиками. Политика ее была двойственная”. Имея возможность свергнуть пролетарскую власть, что особенно очевидно было в весенние месяцы 1918 г. (в марте этого года прибывший в Петроград во главе с германской миссией граф Кайзерлинг в одном интервью без стеснений заявил: “До поры до времени оккупация Петрограда не входит в планы немцев. Но она станет вполне возможной и даже неизбежной, если в столице возникнут беспорядки”), Германия не спешила делать этого, добившись в результате Брестского мира захвата огромных территорий и масштабных поставок из России сырья и продуктов, столь необходимых для продолжения борьбы на Западном фронте.

Окончательное определение позиций произошло летом 1918 г. Как писал Гурко, в июне “германское правительство перешло на точку зрения германских военных кругов о необходимости в германских интересах воссоздать порядок в России и покончить с большевиками. Но тут произошло перемещение ролей, тут уже германское верховное командование, наткнувшееся на крайнюю неприязнь добровольческой армии и осведомленное об усиленной тяге русского общества в Сибирь, на Урал, для образования там нового, враждебного ему фронта, решительно заявило, что ни о каком восстановлении России не может быть и речи, что, наоборот, необходимо разваливать Россию и в этих видах поддерживать большевистскую власть”.

Опасения, и весьма обоснованные, у правителей Германии вызвало то, что любая другая власть в России, кроме власти большевиков, возобновила бы фронт борьбы с немецкой армией и тем ослабила бы стратегические позиции Германии. Получалось, что как до революции правящим кругам страны было выгодно финансировать большевиков,

разжигавших в России пораженчество и вообще готовых в перспективе вывести ее из войны, так и в 1918 г. им было крайне выгодно сохранение пролетарской власти, чтобы обезопасить себя с Востока. Совпадение политических интересов обеих сторон опять порождало неожиданный, почти фантастический альянс.

В своих воспоминаниях Гурко упрекал вождей Белого движения за то, что они, следуя своей “сентиментальной” верности союзникам России по Антанте, упустили реальный шанс свержения большевиков. “...Если бы Добровольческая армия, – писал он, – не задрапировалась в тогу скудоумного ламанчского рыцаря – Дон-Кихота, а последовала бы мудрой государственной политике Донского атамана Краснова, то Германия исполнила бы свои обещания, а именно пересмотрела бы Брест-Литовский договор, вернула бы нам наши владения... и восстановила бы в России русскую государственность. О большевиках давно бы не было и помину”.

В условиях германской оккупации части России и сотрудничества Москвы с Германией белые генералы рассматривали Гражданскую войну как прямое продолжение мировой войны, только противник теперь представлялся им в облике двуликого немецко-большевистского януса, а союзники оставались те же (отсюда поддержка добровольцами интервенции в Россию стран Антанты). Вожди Белой гвардии не хотели да и не могли сделать тот поворот, на который надеялся Гурко. И он сам признавал это, написав следующие горькие строки: и Корнилов, и Деникин, и Алексеев – “это лучшее в смысле горячего патриотизма и действенной энергии, что выставила императорская армия после крушения монархии, но, увы, это лучшее, в смысле разумения мировых событий, в отношении организации национально-русского ядра, представляла силу, хотя и незаурядную, но тем не менее не отвечающую тем исключительным требованиям, которые предъявляли чрезвычайные события. События были сильнее их: они требовали людей, быть может, и менее горячо любящих родину, менее беззаветно преданных делу, которому они себя посвятили, но глубже понимающих истинный смысл совершающегося, более искушенных в политических хитросплетениях”.

Да, вожди Белого дела слишком горячо любили свою Родину и не шли на несовместимое с их идеалами политиканство. В этом была и их сила, и их слабость. Противники же Белого движения, как среди правящих кругов Германии, так и большевиков, не были склонны придавать слишком большое значение различным “сентиментальностям” и шли на все ради достижения своих целей. В качестве иллюстрации этого утверждения можно привести пример тех заигрываний, которые большевики вели с союзниками России по Антанте еще во время своих мирных переговоров в Брест-Литовске.

“Заигрывал” с союзниками прежде всего сам Л.Д. Троцкий, который с января 1918 г. имел десятки встреч с представителями США, Англии и Франции – Р. Робинсом, Б. Локкартом, Ж. Садулем и другими, обещая им всевозможные уступки (контроль союзников над железными дорогами в России, предоставление им Архангельска и Мурманска для ввоза товаров и вывоза оружия, разрешение допуска союзнических офицеров в армию Советской республики и т.д.) в ответ на поддержку советской власти в борьбе с Германией. В конце концов Троцкий дошел до дикого предложения – “союзнической интервенции в Россию по приглашению большевиков”, которое неоднократно официально обсуждалось на заседаниях ЦК РКП(б) (последний раз 14 мая 1918 г.). В конце концов позиция Троцкого была отклонена (он был смещен с поста наркома иностранных дел и заменен Г.В. Чичериным), однако ход событий мог бы быть и иным. Ведь даже В.И. Ленин в беседе с Б. Локкартом 29 февраля 1918 г. заявлял: “Поскольку существует германская опасность, я готов рискнуть на сотрудничество с союзниками, которое дало бы временные преимущества для нас обоих. В случае германской агрессии я буду готов даже принять военную помощь”.

Одна пробная попытка “интервенции по приглашению” была все же большевиками предпринята в Мурманске. 1 марта 1918 г. Троцкий в телеграмме, разосланной местным советским властям, предписывал “принять всякое содействие союзных миссий...” А 2 марта между председателем Мурманского Совета Юрьевым, связанным с Троцким, и

англо-французскими представителями было заключено так называемое “словесное соглашение”, согласно которому англичане и французы брали на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами, их офицеры были включены в Мурманский военный Совет, руководивший всеми вооруженными силами района, а 6 марта в Мурманск прибыл английский крейсер “Глори”, высадивший десант из 150 солдат английской морской пехоты. Позднее сюда же были отправлены французский крейсер “Адмирал Об” и американский крейсер “Олимпия”. Однако такое сотрудничество длилось недолго: центральная большевистская власть сделала тогда под давлением обстоятельств окончательную ставку на союз с Германией.

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, протрезвившая стратегов из Берлина (позднее и Вильгельм II, и генералы Людендорф и Гофман признали ошибочность своей ставки на большевиков), освободила последних от их “ненавистного” союзника, после чего в условиях международной изоляции большевики начали набирать очки за очки, не имея в отличие от белых армий никаких связей с интервентами, выступая объективно за сохранение государственной цельности России и вызывая тем самым патриотическую поддержку у части ее населения. Этот переход от политики “развала” государства к его “собираанию” и спас в конце концов новую власть.

Фактов засилия немцев в России в 1918 г. и их помощи большевикам в борьбе с контрреволюцией можно привести довольно много (см., например, выдержки из дневника жены Мельгунова П.Е. Мельгуновой-Степановой “Немцы в Москве” в книге: Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. М., 200 ). Отметим лишь особую роль, которую сыграли в этом военнопленные Германии и ее союзников.

В ходе мировой войны к 1917 г. в России оказалось 2,8 млн иностранных беженцев и 2,2 млн военнопленных: немцев – около 190 тыс., австрийцев – 450 тыс., венгров – 500 тыс., чехов и словаков – около 250 тыс., югославов – более 200 тыс., румын – более 120 тыс., турок – 63 тыс. человек и т.д. Вся эта огромная масса людей была втянута в водоворот революционного вихря и сыграла в нем не последнюю роль. Сразу после Октября в стране стали создаваться так называемые Комитеты военнопленных социал-демократов интернационалистов, поддерживавшие советскую власть. В апреле 1918 г. в Москве прошел Всероссийский съезд таких военнопленных, на котором было представлено около 80 местных организаций с общим количеством членов до 500 тыс. человек. Лишь по официальным данным в 1918 г. в Красной Армии воевало 250—300 тыс. военнопленных интернационалистов.

Зададимся вопросом, не слишком ли много оказалось среди военнопленных социал-демократов – почти каждый четвертый? И не кроется ли здесь какая-либо загадка? По мнению Мельгунова, загадка в этом действительно есть, и частично она может быть объяснена тем, что германские военные круги, опасаясь официально создавать из немецких и австро-венгерских военнопленных формирования, поддерживающие советскую власть, шли на это “под видом, что большевики организуют только интернационалистов”.

Упоминаниями о поддержке большевиков рассыпанными по стране военнопленными Германии и ее союзников пестрят не только многие эмигрантские издания, но и материалы советской печати революционных лет. Наиболее наглядный пример тому дает “Красная книга ВЧК”, изданная в 1920 г. В ней приведен удивительный документ, который свидетельствует о том, что 21 июля 1918 г. “допущенная на основании Брестского договора правительством Советской Федеративной Республики и уполномоченная тем же правительством германская комиссия № 4” пленила в Ярославле участников антисоветского мятежа, организованного савинковцами. “Германская комиссия № 4, – говорилось в документе, подписанном лейтенантом Балком, – располагает сильной боевой частью, образованной из вооруженных военнопленных (около 1500 человек. – С.Д. ) и займет для поддержания спокойствия в городе Ярославле до получения решения из Москвы положение вооруженного нейтралитета”.

С перипетиями таинственных связей немцев и большевиков связана и еще одна загадка,

которая вскользь упоминается Мельгуновым и имеет отношение к Екатеринбургской трагедии. Обратимся вновь к воспоминаниям прекрасно осведомленного В.И. Гурко. По его данным, на переговорах членов “Правого центра” с представителями германского правительства определилось, что “немцы были весьма заинтересованы охранением жизни тех членов царской семьи, которые могли занять русский престол”, и постоянно утверждали, что “Царь находится в безопасности, и что они имеют при нем своих людей”. По словам генерала, “германцы неоднократно требовали от Московской центральной власти доставления к ним Государя. В последний раз произошло это как раз после убийства их посла Мирбаха, когда они заявили намерение ввести в Москву часть своих войск. Большевики этому самым решительным образом воспротивились. Тогда немцы отказались от этого намерения под условием передачи им русского Императора. Большевики на это согласились, одновременно тогда же решив, что уничтожат всю Царскую семью, сваливши ответственность на какие-нибудь местные учреждения. Так они и сделали...”

...Убийство Государя было для германцев не только совершенно неожиданным, но и весьма нежелательным событием. Именно гибель Царя изменила их отношение к вопросу о свержении большевиков. Немцы тогда еще вполне понимали то, что вожди Белого движения понять не сумели, а именно: что всякое антибольшевистское движение, не возглавляемое непрерываемым в представлении народных масс и не их одних авторитетом, не сулит успеха”.

Теперь уже достаточно ясно, что гибель представителей дома Романовых в России (не забудем, что кроме екатеринбургской трагедии почти одновременно кровь лиц царской династии пролилась в Перми, Алапаевске и позднее в Петрограде) была санкционирована руководством партии большевиков, которое решило одним жестоким ударом уничтожить разменную карту в руках слишком назойливого германского союзника и убрать со своей дороги опасных конкурентов на российскую власть.

Весьма показательно, что большевики еще долгое время играли с немцами в “кошки-мышки”, утверждая, что расстрелян был только Николай II, а его семья “находится в безопасности”, и можно обсуждать вопрос о последующем выезде Александры Федоровны и ее детей “германской крови” за границу. Немцы доверчиво верили этому долгое время. Они даже сняли с повестки дня угрозу ввести в Москву батальон своих солдат для охраны посольства после убийства посла Мирбаха. 23 июля 1918 г. сменивший его на посту немецкого поверенного Рицлер сообщал в Берлин: “Представил ноту в поддержку царицы и принцесс немецкой крови и выступил по вопросу воздействия убийства царя на общественное мнение. Чичерин молча выслушал мой демарш в пользу царицы, однако утверждал, что царица и ее дети находятся в Перми в безопасности”. То же самое повторил 28 июля в своем донесении принцу Генриху Прусскому статс-секретарь посольства Буше. Таковы были отношения между двумя сторонами причудливого альянса: обман друг друга и ожидание момента, когда можно будет разорвать вынужденное сотрудничество.

После Ноябрьской революции “золотой немецкий ключ”, послуживший большевикам уже дважды, был заброшен за ненадобностью в дальний угол, и кто мог предполагать, что ему суждено будет вскоре вновь оказаться извлеченным на свет. К возобновлению старого политического альянса на этот раз толкала взаимовыгода от сотрудничества униженной и находившейся в изоляции после Версальского мира Германии и еще более изолированной Советской России, стремившейся к использованию в своих интересах межимпериалистических противоречий. Раппальский договор открыл довольно долгую (до 1932 г.) полосу сближения Германии и России, которая также таит в себе еще много таинственного и интригующего. Лишь в самое последнее время в нашей стране стали публиковаться сведения о секретном соглашении между Красной Армией и рейхсвером, получившем название соглашения Радека – фон Секта. Оно было заключено в 1923 г. и предусматривало, с одной стороны, подготовку военных кадров Красной Армии в Германии (в Академии Генерального штаба в Берлине обучались многие видные советские военачальники, в том числе те, кто прекрасно проявил себя позднее в годы Великой

Отечественной войны), а с другой стороны, производство на территории СССР для нужд Германии оружия, запрещенного Версальским договором, и подготовку там немецкого военного персонала. Факты говорят о том, что уже в середине 20 х годов в СССР ежегодно производилось несколько сот самолетов фирмы “Юнкерс” в подмосковном пригороде Фили, более 300 тыс. снарядов – в Ленинграде, Туле и Златоусте. Отравляющий газ фирмы “Берзоль” вырабатывался в Троицке (ныне Красногвардейск), подводные лодки и бронированные корабли строились и спускались на воду в доках Ленинграда и Николаева. В это время почти треть бюджета рейхсвера шла на закупку вооружений в СССР.

Кроме того, Германия имела в своем распоряжении военно-воздушную базу под Липецком, где постоянно находилось от 200 до 300 немецких летчиков, школу химзащиты в Саратове и танковую школу в Казани. Нетрудно представить себе, какой толчок был дан этими мерами развитию военной машины Германии, через десятилетие обрушившейся на ту самую страну, где эта машина во многом пестовалась. Здесь “золотой немецкий ключ” вновь обнаружил свой зловещий отблеск для большевиков, делавших на него опрометчивую ставку.

В четвертый раз тот же трагический отблеск дал о себе знать после очередного сближения Германии и СССР, последовавшего за заключением в августе 1939 г. двумя странами пакта о ненападении. В отличие от предшествующих этапов двусторонних связей эта страница истории сейчас уже достаточно широко известна.

Однако ставить точку в приключениях пресловутого “немецкого ключика” пока еще рано. Не являемся ли мы сегодня свидетелями нового, пятого по счету, обращения к его услугам, когда на наших глазах после благосклонной поддержки умиравшего Советского Союза, весьма созвучной той позиции, которой царская Россия придерживалась в вопросе объединения Германии при Бисмарке, было осуществлено еще одно объединение Великой Германии. Сейчас идет поиск путей нового сотрудничества с Германией нашей страны, в том числе в сферах экономики, противостояния США и объединения Европы... Что принесет в конце концов нашему многострадальному Отечеству эта новая открывающаяся страница. Поживем – увидим. Хотелось бы только надеяться, что в будущем данная страница не потребует к себе пристального внимания таких историков, как С.П. Мельгунов, которые всегда считали своим первейшим долгом срывать затемняющие покровы с различных исторических тайн.

## **С.П. Мельгунов ПРИОТКРЫВАЮЩАЯСЯ ЗАВЕСА**

В № 6—7 “Знамя борьбы” (выходящий в Берлине орган левых социалистов-революционеров и союза с.-р. максималистов) в октябре (1924 г.) напечатана была заметка, на которую в печати никто не обратил внимания, несмотря на то, что она представляла собою исключительный интерес. Былые соратники большевиков, начавшие как будто в последнее время несколько прозревать, напечатали в своем органе под заголовком “Запрос большевистскому правительству” документ важности чрезвычайной – выдержку из протокола совместного заседания партийного совета и парламентской фракции германских соц. демократов 23 сентября 1918 г., на котором Шейдеман делал доклад о политическом положении. Эта выдержка гласит: “12 сентября состоялась конференция всех парламентских фракций, на которой говорилось о положении вещей и специально дополнительных к Брест-Литовскому договору соглашениях (с Россией)... В дальнейшем выяснилось, что помимо этих дополнительных соглашений существует еще протокол, в котором содержатся определенные военные соглашения, относящиеся к участию германских войск в освобождении Мурманского побережья. О подробностях я не могу больше ничего сказать. Наряду с этими планами, которые установлены в полном согласии с большевистским правительством, существовали еще особые планы генерала Гофмана и г. Гельфериха, которые, однако, решительно отклонялись канцлером (графом Гертлингом) и министром иностранных дел Гинце. Речь идет о возможном вступлении (германских войск) в Петербург,

которое самими большевиками принималось в расчет ради их собственной защиты”.

Помещая этот документ, “Знамя борьбы” сопроводило его таким комментарием: “Ради какой “защиты” большевики сговаривались в 1918 году с ген. Гофманом о занятии Петербурга? Ради защиты того же Мурманского побережья? Или они собирались защищаться штыками германской армии от бурно нараставшего в те месяцы движения рабочих в Петербурге? Было ли это приглашение германских войск в дни заседаний “собраний уполномоченных рабочих Петербурга” или в дни, когда с расстрелом 512 заложников начался свирепый “красный террор”?”

Значительно, что все эти вопросы задают большевистской власти те самые левые с.-р., которые с достаточной старательностью негодовали в свое время на обвинение большевиков в связях с немецким военным штабом и которые принимали непосредственное участие в Брест-Литовских переговорах и т.д.

К сожалению, “Зн. Б.” не указывает источника, из которого оно заимствовало свое сенсационное сообщение. Между тем давно пора представителям германской демократии приподнять завесу над тайной, которая все еще опутывает взаимоотношения большевиков и старой правившей Германии. Затушеван был, а затем и похоронен, запрос Бернштейна о деньгах, полученных большевиками в дни революции от немецких властей по одной версии, и от немецких социалистов по версии другой, исходящей от самих большевиков (см. мою заметку “Большевистский историк о русской революции” в № 8 “На Чужой Стороне”).

Новый документ говорит уже не об этом первом этапе “предательства” интересов страны во имя фанатического догматизма. Он отвечает на сомнения, которые были у Эд. Бернштейна: не сделались ли большевики в дни Бреста жертвами необдуманного шага, когда они ради своей агитации по деловым соображениям воспользовались деньгами. Мы видим в действительности последовательно проводимую политику. На эту сторону надлежало бы обратить внимание тем политическим деятелям Франции, которые подчас склонны утверждать, что лишь неправильная тактика французского правительства оттолкнула большевиков от сближения с Францией. Ведь не только капитан Садуль склонен утверждать и тем смущать своих прежних друзей из “Роте Фане”, что Ленин и Троцкий в конце 1917 г. мечтали о продолжении войны с Германией в союзе с Францией. Сам Эррио готов был поверить версиям Каменева и Троцкого, о которых он рассказывал в своей прямо исключительно наивной книжке. “Троцкий проливал “слезы” перед Нулансом, задумывая одновременно ту “педагогическую демонстрацию”, о которой он поведал ныне в своей книге о Ленине, а именно формулой “войну мы прекращаем, но мира не подписываем” – дать “рабочим Европы” доказательство “смертельной враждебности” большевиков к правящей Германии. “Педагогическая демонстрация” совершенно стушеввалась однако перед опасением “военного разгрома революции”. И то, что так смело большевиками говорилось, по мнению Эррио, в Бресте ген. Гоффману, на других производило впечатление чрезмерно странной податливости. Не только мир был подписан. Столь ярые враги тайной дипломатии, какими официально проявляли себя большевики, поспешили заключить и дополнительные тайные договоры.

Все это наполовину еще загадка, требующая разъяснения.

И только неожиданная публикации “Зн. Б.” побуждает приподнять завесу и коснуться документов, от пользования которыми мы пока воздержались, так как некоторыми из них можно воспользоваться лишь отрывочно и частично...

Передо мною лежит копия конфиденциальной ноты ф. Гинце к Иоффе, полученная мною еще в 1918 г. из авторитетного источника. Об апокрифичности ее не может быть и речи – содержание ее находится в полном соответствии с изложением Шейдемана.

Несомненно, это именно та нота, о которой упоминает тогдашний лидер немецких с.-д. в своем докладе. Она помечена 27 авт. 1918 г. Вот она. Привожу ее целиком (в “Посл. Нов” были напечатаны лишь выдержки).

Нота Гинце

Министерство иностранных дел. Берлин, 27 августа 1918 г.

Глубокоуважаемый господин Иоффе. Согласно наших переговоров относительно подписанного сегодня дополнительного договора к мирному договору, я имею честь подтвердить вам от имени императорского германского правительства конфиденциально, к отдельным постановлениям этого договора нижеследующее:

1) К статье 2, гл. 1. Установленная русско-германской комиссией пограничная линия должна проходить по восточному берегу Наровы, на расстоянии около километра от реки, соблюдая при этом границы волостей, и должна захватить и город Нарву с областью, необходимой для него в экономическом отношении. Напротив, восточный выступающий угол Курляндии, расположенный южнее Двины, должно округлить в общих чертах по линии Двинск – Дрисвяты при соблюдении границ волостей. По линии Юго-западный угол Псковского озера – Лубанское озеро – Ливенгоф граница должна быть проведена при возможном соблюдении административных единиц, равно как и следующих соображений: с одной стороны, экономические условия для города Пскова и положение русского Печорского монастыря говорят за проведение границы возможно восточнее, – с другой стороны, в области юго-западнее Псковского озера граница должна оставаться удобной для обороны Лифляндии.

2) К ст. 4. В проведении этого постановления Германия будет так же настаивать, чтобы из Украины не находило военной поддержки образование внутри Российского Государства самостоятельных государственных единиц.

3) К ст. 5. Присутствие в северных русских областях военных сил держав Соглашения представляет постоянную серьезную угрозу находящимся в Финляндии германским военным силам. Если, поэтому, предусмотренные в ст. 5, отд. 1, русские действия не достигли бы в скором времени цели, то Германия сочла бы себя вынужденной предпринять со своей стороны такое действие, в случае нужды с привлечением финских войск. При этом русская область между Финским заливом и Ладожским озером, равно как южнее и юго-восточнее этого озера не будет затронута без определенного согласия Российского правительства германскими и финскими войсками. Германское правительство ожидает, что такое выступление не будет рассматриваться Россией как враждебный акт и не встретит никакого сопротивления. При этом предположении оно заверяет, что по окончании этого выступления, после изгнания военных сил держав Соглашения и после заключения всеобщего мира, занятые русские области будут очищены от германских и финских войск, поскольку они не отходят к Финляндии по русско-финскому мирному договору. Также после изгнания военных сил держав Соглашения оно восстановит русские гражданские власти в этих областях.

4) К ст. 7. В течение переговоров относительно Эстляндии и Финляндии было с русской стороны выражено желание, чтобы Германия взяла на себя поручительство за длительное разоружение Ревеля. Германское правительство полагает, что оно не может войти в этом отношении в договорное соглашение, так как опыт показал, что подобные соглашения являются источником международных трений. Оно, однако, решительно заявляет, что со стороны Германии существует намерение уничтожить после всеобщего мира крепостные сооружения Ревеля и в будущем не отстаивать Ревель, как крепость.

5) К ст. 12, гл. 2. Германское правительство ожидает, что Россия применит все средства, которыми она располагает, чтобы немедленно подавить восстание генерала Алексеева и чехо-словаков. С другой стороны, и Германия выступит всеми имеющимися в ее распоряжении силами против генерала Алексеева. Взамен этого Россия будет требовать очищения указанного в ст. 12, сл. 2, разд. 1 железнодорожного участка лишь тогда, когда это позволит военное положение и при том соразмерно с особым относительно этого соглашением.

6) Ст. 12, гл. 3. Германия будет настаивать на том, чтобы Россия получила по мирному договору с Украиной часть Донецкого бассейна, соответствующую ее

экономическим потребностям. С другой стороны, Россия будет требовать очищения отходящей к ней части Донецкого бассейна не ранее заключения всеобщего мира, не нарушая постановления ст. 11, гл. 2. Далее Германия будет настаивать на том, чтобы Украина предоставила одну треть своей добычи железной руды для вывоза в Россию, согласно особого по сему соглашения.

7) К ст. 13. Германия будет настаивать на том, чтобы Россия могла получить из Грузии одну четверть вывоза добытой там марганцевой руды, соразмерно особого относительно этого соглашения.

8) К ст. 14, гл. 1. Согласие Германии не оказывать содействия никакой третьей державе при возможных военных операциях на Кавказе, исключая Грузии, или указанные в ст. IV, гл. 5 мирного договора, имеет силу и в том случае, если в течение этих операций по несчастному стечению обстоятельств произошло столкновение между русскими войсками и третьей державой. Такие столкновения поэтому подали бы повод Германии для какого-либо вмешательства, пока русские войска не перейдут границы Турции, включая и указанные округа, или границы Грузии.

9) К ст. 14, гл. 2. Германское правительство ждет до 30 сентября 1918 г. предложений Российского правительства относительно цифры наименьшего ежемесячного количества неочищенного масла и продуктов его, которые должны поставляться Россией.

10) К ст. 15. Германия оставляет за собой право употреблять в мирных целях военные суда Черноморского флота, вернувшиеся из Новороссийска в Севастополь, пока они остаются под германским наблюдением согласно ст. 2 этой главы, в особенности для очищения от мин, равно как и для портовой и полицейской службы. Так же может последовать применение в случае военной необходимости для разных военных целей. За возникшую за время пользования порчу или возможные причиненные убытки Германия полностью вознаграждает Россию.

11) Германия направит свои усилия на то, чтобы по ее представлению Финляндское правительство отпустило задержанных в качестве пленных финских красногвардейцев, поскольку они не находятся за обыкновенные преступления в заключении, предварительном или по приговору, освободило их от своего подданства и позволило им въезд в Россию. Напротив, Россия обязуется принять этих лиц в русское подданство и не употреблять их в военных действиях против Финляндии или граничащих с Финляндией русских губерний, а также селить их в этих губерниях. Прошу Вас сообщить согласие Российского Правительства на постановление 1—2 по указанным вопросам, а также озаботиться о том, чтобы содержание этой ноты сохранилось конфиденциально, и пользуюсь случаем еще раз уверить Вас в моем совершенном и глубоком уважении.

*Фон Гинце.*

Еще задолго до конфиденциальной ноты Гинце для московских общественных кругов отнюдь не была секретом сущность переговоров, которые велись большевиками с немцами... Орган народных социалистов московское "Народное Слово" был закрыт большевиками за один намек о дополнительных пунктах к Брест-Литовскому договору, в которых говорилось о Польше. За нахождение копии этих пунктов при обыске поляк Лютославский был расстрелян летом 1918 г. внесудебным порядком со спешностью, чрезвычайной и для большевиков того времени. Большевики старательно выполняли предписания императорского германского правительства: "озаботиться о том, чтобы содержание этой ноты сохранялось конфиденциально", как заключал фон Гинце свое письмо Иоффе. Но сведения разными путями просачивались, как видно хотя бы из заметки, помещенной в начале августа в № 1 нелегального "Информационного Листка", фактически издававшегося Союзом Возрождения. Излагая требования Германии, переданные Москве через дипломатического представителя, "Инф. Лист." сообщил и ответ Совета Комиссаров: "Совет Комиссаров ответил в том смысле, что подавление чехо-словацкого мятежа и борьба с



английским десантом вполне в силах русского правительства при условии привлечения для этой борьбы всех красноармейских частей, находящихся на оршанском, курском, гомельском и донском фронтах. Поэтому Совет Комиссаров гарантирует Германии исполнение ее требования, если Германия со своей стороны гарантирует неприкосновенность демаркационной линии, как со своей стороны, так и со стороны Краснова”.

Итак, немцы должны были помочь большевикам в дни гражданской войны, а большевики должны были явиться базой для борьбы с Антантой. И разве не прав в таком случае В.А. Мякотин, писавший про тогдашние настроения народных социалистов и “Союза Возрождения”: “Борьба с Германией и борьба с предавшими ее Россию большевиками связывалась для нас в одно неразрывное целое”.

Большевики отнюдь не отрицают теперь участия немцев военнопленных в борьбе с чехо-словаками, указывая лишь на количественную незначительность этих образований. Просматривая свой дневник за это время, я нахожу многочисленные отметки, свидетельствующие о военных образованиях среди военнопленных даже в Москве, а не только на театрах военных действий.

Тот же “Информационный Листок” в полном соответствии с действительностью отмечал согласие большевиков образовать из военнопленных особый батальон для охраны немецкого посольства после убийства Мирбаха, при условии, что эта “германская воинская часть будет одета в штатское платье, а отчасти и в “красноармейскую форму”. Дело в действительности пошло гораздо дальше. И не нужно моих личных показаний. При своем обычном цинизме большевики не постыдились напечатать в “Красной книге В.Ч.К.” сообщение о том, как немцы предали в руки большевиков остатки савинковского отряда в Ярославле.

Взаимоотношения устанавливались самые тесные – в сущности в Москве мы жили до известной степени под опекой большевицко-немецкой контрразведки. И снова у меня на руках документ, источник получения которого раскрывать во всей полноте еще преждевременно. Один мой добрый знакомый, “к которому я мог относиться лишь с полным доверием, – человек железной воли и исключительной энергии, некогда, в эпоху самодержавия, член с.-р. боевой организации, с некоторой склонностью к авантюрам – сумел войти в контакт с большевицко-немецкой контрразведкой и в Денежном переулке, и на Поварской. Ему удалось там сделать выписки (у меня хранятся собственноручные его записи) из удивительного документа, представленного Мирбаху. Это список лиц, “подлежащих уничтожению при приходе оккупационных войск”. Трудно сказать, кем, в сущности, составлялся этот список, насколько в нем сказалось официальное происхождение и насколько он был продуктом группового творчества, быть может, услужливости агентов власти. Не подлежит сомнению лишь его “большевицко-немецкое” происхождение. Масштаб захвачен широкий – не более, не менее, как 583 человека. Список состоит из трех отделов:

1) список групповой; 2) отдельных лиц; 3) военных лиц. В групповой список вошли центральные комитеты, редакции, бюро правых эсеров, меньшевиков, народных социалистов Единства. Имеются специальные оговорки о некоторых лицах, “уничтожению не подлежащих”. При списке нар. соц. есть заметка: “Сведения будут даны после проверки: но во всяком случае Алексинского Ив. Пав. щадить не должно...” Здесь же Союз городов – “весь коалиционный состав Правления, избранный служащими после ноября 1917 г.”, далее идет городская управа – весь состав и т.д.

Список “отдельных лиц” сопровождается таким добавлением: “Ввиду тревожного времени не представляется возможным представить Вам точный список. Но в отдельной ведомости Вы найдете человек 40, против уничтожения которых Вы, я думаю, ничего не будете иметь”. Среди этих лиц фигурируют Струве, Кизеветтер, Белевский-Белоруссов, Савинков, Новгородцев, Федоров и т.д. При фамилии Локкарта сделана пометка: “особенно следить за невыездом”. Подобные списки всегда несколько безграмотны – в списке “отдельных лиц” находим мы много несуразного. В списке “военных” помещены многие из

тех, которые погибли затем в дни красного террора. В документе имеются указания, от кого именно получены списки о военных.

Я чувствую всю ответственность за сообщаемое мною, но я большего сказать сейчас считаю себя не в праве.

За этой грандиозной утопией скрывалась обыденная проза. Вылавливание и уничтожение реальных врагов – живой силы противников: офицеров союзнической ориентации. Здесь мы сталкиваемся с определенной уже провокацией со стороны немцев вкупе с большевиками.

Ген. Деникин в своих “Очерках” (том III, стр. 84) про лето 1918 г. пишет:

“В Москве и центральной России свирепствовал жестокий террор, обрушившийся с особенной силой на голову несчастного офицерства. В разгроме некоторых московских организаций ясно было сотрудничество немцев с большевиками. Конспирирующая Москва волновалась, возмущалась, называла имена... Когда гетманское правительство сочло необходимым заявить в Берлине протест против большевицкого террора, германский министр иностранных дел Гинце ответил: “Имперское правительство воздержится от репрессивных мер против советской власти”, так как то, что делается в России, “не может быть квалифицировано как террор, происходят лишь “случаи уничтожения попыток безответственных элементов... провоцирующих беспорядок и анархию”. Да и как было вступить немецкому правительству, когда в Москве его представители – старший советник посольства Рицлер и начальник контрразведки Мюллер – находились в тесном сотрудничестве с Караханом и Дзержинским и снабжали их списками адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики... против советской власти. (Обратим внимание, что ген. Деникин здесь делает ссылку на “Красную книгу В.Ч.К.”.)

Я целиком готов подтвердить утверждения ген. Деникина. В свое время мы печатно должны были предупредить в нашем нелегальном листке о сомнительности некоторых военных организаций, явно действующих на немецкие деньги и вовлекающих офицерство в “десятки” с провокационными целями. Через то же лицо, которое передало мне документ и которое погибло впоследствии во время попытки к бегству при аресте, удалось выяснить систематические провалы некоторых “десятков” и проследить связь их с немецко-большевицкой контрразведкой.

Ген. Деникин свое повествование заканчивает словами: “При свете этих поздних откровений, какая жуткая роль приходится на долю руководителей противо-большевистских организаций, работавших в контакте с немцами”. Да, именно потому среди нас и вызвало такое негодование сообщение о тех переговорах с немцами, которые вели представители правых политических группировок, о которых теперь очень суммарно рассказано в воспоминаниях Гурко (“Арх. Русск. рев.”, XV) и в показаниях Котляревского (“На Чужой Стороне”, № 8).

Оценка приведенных фактов, мне кажется, вводит существенный корректив к довольно частым теперь утверждениям об ошибочности той тактики, которая в борьбе с большевиками стремилась воссоздать русский фронт против Германии. Вся конъюнктура говорила о том, что война, в сущности, продолжается, хотя и приобрела в России своеобразный характер, сплетая войну с гражданской борьбой. В этой конъюнктуре вопрос о так называемой союзнической интервенции, в свою очередь, приобретал совершенно особый характер. Оценивая “ошибочные мысли”, приходится исходить всегда из конкретной действительности. Московская атмосфера весны и лета 1918 года, когда зачиналось и развивалось так называемое “белое” (добровольческое) движение, показывает воочию, что во многих отношениях был прав Союз Возрождения, считавший вредной тактику частных выступлений против большевиков в Совдепии и говоривший о подготовке “более широкого и планомерного движения, которое было бы направлено одновременно и против Германии и против большевиков” (В. Мякотин. “Из недалекого прошлого”, “На Чужой Стороне”, № 2). В то время начинать это движение из центра нельзя было без напрасной растраты сил.

Фактическими хозяевами в Москве тогда в значительной мере были немцы. В любой

момент могли они сбросить большевиков, найдя поддержку в некоторых общественных кругах и в обывательских настроениях. Они предпочли играть двойную игру: одну со Скоропадским, другую в Совдепии. Мы знаем, что в правящих кругах Германии не было единомыслия в этом отношении. В итоге центральные державы предпочли покинуть территорию Советов и прекратить переговоры с “дружественным Германию, но бессильным” большевистским правительством. Чем ознаменовалась бы перемена курса германской политики в дальнейшем, нам не суждено знать. С революцией в Германии перевернулась навсегда одна из страниц прошлого. В этой странице еще необычайно много таинственного. Многие напоминают собой сказки Шехеразады, в которые поверить может лишь тот, кто в гуще жизни переживал все эти перипетии нашей революции.

Многое неправдоподобное становится в освещении фактов правдоподобным. Когда я перелистываю свой дневник за это время, где записаны сообщения современников, я наталкиваюсь на факты, которые могут вызвать лишь ироническую улыбку у скептиков. И, к сожалению, я должен закрывать свой дневник до времени, ибо опубликование всех этих апокрифических рассказов имеет смысл лишь при упоминании имен. Этого я сделать не могу. Между тем открытия будут подчас самые неожиданные. Я не знаю, каковы были реальные отношения между Вырубовой и Коллонтай. Все ли следует отнести к легендам, как утверждает Вырубова в своих воспоминаниях, из того, что рассказывали в Совдепии? Но я не сомневаюсь в том, что Вырубова в Смольном не заседала; возможно, что обе упомянутые дамы не творили проектов возведения на престол наследника Алексея под регентством Леопольда Баварского и Генриха Прусского. Но вот что для меня лично несомненно: в конце еще 17 года и в начале 18 г. среди некоторых большевиков, разочарованных в возможности социальной революции, шли разговоры о “сдаче” власти и для ускорения социальной революции в будущем они предпочитали сдать власть самому крайнему реакционному монархизму. Для такого утверждения у меня, как это ни странно, имеются авторитетные свидетельства. Это сказка? Подождем и увидим. И кто знает, не послужили ли эти мысли некоторых ответственных большевиков, в связи с переговорами, которые вели другие с немцами, истинной причиной екатеринбургской трагедии. Ведь это также одна из таинственных страниц недавнего прошлого.

*“Последние новости”, Париж,  
1925, 15 февраля.*

## **С.Н. Дмитриев ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО<sup>444</sup>**

С самых первых лет перестройки все мы являемся свидетелями многократно возросшего интереса к отечественной истории. Однако этот интерес так и не затронул некоторые исторические темы, которые по каким-то негласным, никем не сформулированным правилам принято считать запретными. Думается, настала пора снимать застарелые табу со всех “скользких” исторических тем, только делать это нужно крайне осторожно и взвешенно.

Пожалуй, наиболее запретный характер среди “закрытых” исторических тем продолжают сохранять ныне те грани минувшего, которые связаны с различными аспектами так называемого еврейского вопроса в истории России, в частности, проблемами антисемитизма и еврейских погромов. Щекотливость этой темы, имеющей определенное современное звучание, понятна, однако серьезная разработка ее давно назрела, и определенным шагом в этом направлении могло бы стать первоочередное рассмотрение того периода нашей истории, когда данная тема звучала особенно остро и тревожно, а именно – Гражданской войны.

---

<sup>444</sup> Настоящая статья была впервые опубликована в журнале “Слово” (1991, № 7. С. 78 – 82).

Решая сегодня такую исследовательскую задачу, нам не обойтись без помощи талантливого русского историка Сергея Петровича Мельгунова (1879—1956), переживающего ныне на своей Родине как бы второе рождение после долгих лет забвения. Ему суждено было пройти тем крестным путем страданий и испытаний, который годы революционного лихолетья начертали многим русским интеллигентам. На этом пути историка ждали пять арестов, полтора года заключения в чекистских тюрьмах, громкий политический процесс, угроза расстрела и высылка за границу. В эмиграции всю оставшуюся жизнь Мельгунов посвятил воссозданию в своих исторических трудах основных вех развивавшейся на его глазах смуты. Благодаря этому он выдвинулся вскоре в самый первый ряд историков русского зарубежья. Сейчас мы обратимся лишь к одной теме, привлекавшей внимание историка и наиболее полно раскрытой им в статье “Антисемитизм и погромы”, напечатанной в Париже в пятом выпуске журнала “Голос минувшего на чужой стороне” (с. 231—246), который издавал сам С.П. Мельгунов. Данная статья вызывает особый интерес прежде всего потому, что она затрагивает совершенно неразработанную в советской исторической науке и незнакомую нашим читателям тему еврейских погромов на Украине и шире – антисемитизма в годы Гражданской войны.

Сегодня в нашей стране вздорная идея вековой приверженности русского народа к антисемитизму реанимируется с небывалой настойчивостью, вплоть до использования в этих целях весьма очевидных провокационных действий (о них следует говорить особо). И как схожи рассуждения многих нынешних “глашатаев гласности” с постыдными откровениями на этот счет... “великого пролетарского писателя” М. Горького, который в послесловии к книге С. Гусева-Оренбургского “Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 г.” (Петроград – Берлин, 1921, с. 171—172) писал о “грязных подвигах христоробивого русского народа”, о “разительном обилии садической жестокости, присущей русскому народу, очевидно, по натуре его, – натуре раба, который сам способен бесконечно долго терпеть мучения и любит наслаждаться муками других тоже бесконечно долго... Еврейские погромы по энергии своей, несомненно, стоят на первом месте в ряду “великих исторических деяний русского народа”, и для меня ясно, что страсть к этой деятельности все возрастает у нас”. Размышления о “зверстве”, “безумии” русского народа довели писателя до жуткого по своей откровенности, особенно в свете всего пережитого этим народом, вывода, что “он заслужил все свои страдания в настоящем, заслуживает их в будущем”. Иначе говоря, по Горькому, все выстраданное народом России в эпоху революционного взрыва есть не что иное, как суровая месть ему за еврейские погромы.

Оставим на совести “титана пролетарской литературы” его откровения и согласимся с выводом Мельгунова, что еврейские погромы в годы Гражданской войны были вызваны главным образом разнузданностью в стране стихии и анархии, “отсутствием власти”, “твердого государственного порядка”. “Политическим катаклизмам соответствовали и погромные события”, – писал он. Такого же мнения придерживался еврейский публицист И.М. Бикерман, оспаривавший утверждения, что в годы “братоубийственной” войны “евреев истребляли особо”: “Допустим, что дело происходило так... Но в общем смысле разгромлена вся Россия... Если тут был погром, то – всеобщий; одних истребляли под одним видом, других – под другим” (Бикерман И.М. Россия и евреи. Сборник первый. Берлин, 1924, с. 58—59).

В статье Мельгунов оспаривает и чрезвычайно упрощенные представления о злом антисемитизме всех властей, правивших на Украине до утверждения там большевиков (эти представления послужили, в частности, поводом для убийства еврейским националистом Ш. Шварцбардом в Париже в 1926 г. С.В. Петлюры). Автор справедливо пишет, что “и правительство Центральной Рады, и правительство Скоропадского, и правительство Директории бесспорно и активно боролись с еврейскими погромами. Если все эти власти были бессильны бороться с эксцессами, то причины лежат в стихийности последних”. Немаловажны также приводимые Мельгуновым факты (их можно значительно дополнить), свидетельствующие о поддержке еврейскими партиями и организациями “украинских

самостийников”. Среди этих организаций были и сионисты, как всегда пытавшиеся разыгрывать свою опасную игру. Д.С. Пасманик писал по этому поводу в сборнике “Россия и евреи”: “Те же сионисты и вообще еврейские националисты... поддерживали долгое время сумбурное правительство Петлюры-Винниченко даже и тогда, когда на Украине происходили ожесточенные антиеврейские погромы. Когда-нибудь мы расскажем подробнее эту печальную страницу в истории русского еврейства” (Указ. соч., с. 211—212).

Типичная ситуация: верхи еврейских националистических кругов как бы не замечают или даже в какой-то степени подталкивают эксцессы против евреев, жертвуя в угоду своим политическим целям интересами еврейской массы.

Затрагивая в статье вопрос о еврейских погромах, совершенных на Украине Добровольческой армией, Мельгунов сожалел, что в печати еще не появился продолжавший работу И. Чериковера “Антисемитизм и погромы на Украине. 1917—1919 гг.” второй том, готовившийся к изданию “Редакционной коллегией по собиранию материалов о погромах на Украине”, которая действовала с начала 1919 г. и после переезда в 1920 г. за границу получила в Берлине официальное наименование “Ostjudisches Historisches Archiv”. Этот том был издан в столице Германии лишь в 1932 г., принадлежал перу И.Б. Шехтмана и назывался “Погромы Добровольческой армии на Украине. К истории антисемитизма на Украине в 1919—1920 гг.”. Можно с уверенностью утверждать, что знакомство с этой книгой не изменило бы оценок Мельгунова (его мнение на этот счет нам пока неизвестно), ибо и ее отличает та же тенденциозность, что и другие подобные издания (см., например, Штиф Н.И. Погромы на Украине. Период Добровольческой армии. Берлин, 1922).

Шехтман пришел в своей работе к заключению, что погромы при добровольцах не были “неизбежным эпизодом гражданской войны”, а представляли собой факт “форменного крестового похода именно против еврейского населения в целом” (Указ. соч. С. 255, 259). По его мнению, “официальный антисемитизм” Добровольческой армии санкционировался сверху (Н.И. Штиф вообще заявлял, что в этом вопросе не было никакой разницы между белыми генералами и самими “громилами”), хотя автор предисловия к книге Шехтмана И. Чериковер и вынужден был признавать, что погромов при Колчаке “не произошло... Не произошло потому, что Колчак их не хотел... Не хотел погромов и Врангель в Крыму – и их не было...” (с. 22). Выходит, погромов “хотел” не кто иной, как сам А.И. Деникин. Так ли это?

Мельгунов такую “тенденциозную ложь” отрицает, так же как и утверждение о якобы “официальном антисемитизме” белой армии вообще. “...Погромы и в местах, где появлялись отряды Добровольческой армии, были также исключительно явлением стихийного характера”, – писал он. В поддержку оценки историка можно привести множество дополнительных фактов, свидетельствующих о борьбе командования Добровольческой армии против погромных настроений и действий (многие говорят хотя бы факты военно-полевых судов над погромщиками или устранение в августе 1919 г. генералом В.З. Май-Маевским другого генерала – Хазова, командира 2 й Терской пластунской бригады, за учиненный его частью погром в Смеле). Приведем лишь два приказа Главнокомандующего вооруженными силами Юга России. Первый был адресован 3 октября 1919 г. командующему войсками Киевской области и гласил: “Ко мне поступают сведения о насилиях, чинимых армиями над евреями. Требую принятия решительных мер к прекращению этого явления, применяя суровые наказания к виновным”. Второй адресовался всем вооруженным силам Юга России и был издан 23 января 1920 г.: “Недавно мы были у Орла, но ряд тяжких ошибок привел вас вновь на Кубань. Теперь, когда мы накануне решительного наступления, вам нужна победа над собой. Пусть помнит каждый, что одной из причин крушения фронта и развала тыла были насилие и грабежи... Если начальники не возьмутся сразу за искоренение зла, то новое наступление будет бесполезно. Требую жестоких мер, до смертной казни включительно, против всех, творящих грабеж и насилие, и против всех попустителей, какое бы высокое положение они ни занимали”.

В своих “Очерках русской смуты” Деникин ничуть не лукавил, когда писал, что “если

бы только войска имели малейшее основание полагать, что высшая власть одобрительно относится к погромам, то судьба еврейства была бы гораздо *несравненно трагичнее* “. (Берлин, б. г., т. V, с. 146). И не случайно в этой связи в белой армии имели хождение слухи, что Деникин якобы “продался жидам”. В одной из бесед Главнокомандующего с еврейскими делегациями в августе 1919 г. он откровенно признавался: “...Я старался и стараюсь возможно ослабить его (еврейского вопроса) остроту. Но устранить его совершенно я не в состоянии”. Деникин называл следующие основные причины погромов, весьма далекие от упрощенных интерпретаций многих еврейских публицистов: “звериные инстинкты, поднятые войной и революцией”, “всеобщая распущенность, развал, утрата нравственного критерия и обесценивание человеческой крови и жизни”, “резко враждебное отношение к нам еврейства на всей территории вооруженных сил Юга России”, “явное, бьющее в глаза засилье евреев во всех областях советского управления” (т. V, с. 147—148, 150).

На последнюю причину обращал особое внимание и Мельгунов, считая ее одной из основных в ряду факторов распространения антисемитизма. Он подчеркивал, что погромы “так часто питались именно молвой о сочувствии евреев большевикам” и что в рядовой психологии происходило отождествление “большевизма с еврейством и во всяком случае еврейской психологии с интернациональной”.

Серьезное исследование сформулированной Мельгуновым проблемы о “склонности к революционному максимализму еврейской интеллигенции и полуинтеллигенции” и о “непомерном участии” евреев в большевистской власти еще впереди. Мы же лишь напомним, что лица еврейской национальности составляли значительную часть, а то и большинство членов руководящих органов почти всех левых партий – большевиков, меньшевиков, эсеров, народных социалистов, анархистов и др. В этой связи любопытно постановление сионистского съезда в Петрограде в 1917 г., согласно которому кандидаты в члены Учредительного собрания от еврейства должны были проходить, где это возможно, исключительно по еврейскому списку, а там, где этого сделать было нельзя, сионисты обязаны были поддерживать русские социалистические партии не правее партии народных социалистов. Какая трогательная приверженность к социальной идее!

В. Жаботинский, один из лидеров мирового сионизма, в статье “Еврейская революция” (так он называл Февральскую революцию) объяснял наличие в России значительного числа “евреев-революционеров”, или, как он выражался, “преизобилие евреев в рядах крамолы”, особым “национальным настроением” боровшихся за “равноправие” еврейского народа, таким настроением, благодаря которому из этого народа “*должен был* выделиться известный процент революционеров”. Чтобы получить права, нужна была революция, но, как писал Жаботинский, “революции не было. Надо было вызвать ее. И эту роль взяли на себя евреи. Они – легко воспламеняющийся материал, они – грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России”. Евреи, таким образом, выступили, согласно Жаботинскому, “застрельщиками великого дела”, “разбудили политическое сознание в 130 миллионном народе”, “подняли красное знамя... так высоко, чтобы увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома, – чтоб увидали и сказали друг другу: “Пойдем за ним...” Знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома несомненно увидала” (Владимир (Зеев) Жаботинский. Избранное. “Библиотека-Алия” (Israel), 1989, с. 183—184, 186—187).

После победы Великого Октября среди руководящих лиц новой власти оказалось весьма значительное число выходцев из еврейской среды. Существуют различные подсчеты. Согласно одному из них, например, среди 22 х членов Совета Народных Комиссаров РСФСР в середине 1918 г. 17 человек были евреями. По этому поводу уже цитировавшийся ранее Д.С. Пасманик замечал: “Но нельзя же отрицать, что значительное количество евреев участвовало во всех большевистских безобразиях и содействовало кристаллизации Советской власти. Очень правильно было отмечено: само появление большевизма было результатом особенностей русской истории, русского “национального” духа, но *организованность* большевизма была создана отчасти деятельностью еврейских

комиссаров... Ответственно ли еврейство за Троцких? Несомненно” (Россия и евреи, с. 212).

Близкую к этому оценку событий дал не кто иной, как М.И. Калинин, заявивший в ноябре 1926 г.: “Почему сейчас русская интеллигенция, пожалуй, более антисемитична, чем была при царизме? Это вполне естественно. В первые дни революции в канал революции бросилась интеллигентская и полуинтеллигентская городская еврейская масса. Как нация угнетенная, никогда не бывшая в управлении, она, естественно, устремилась в революционное строительство, а с этим связано и управление... В тот момент, когда значительная часть русской интеллигенции отхлынула, испугалась революции, как раз в этот момент еврейская интеллигенция хлынула в канал революции, заполнила его большим процентом по сравнению со своей численностью и начала работать в революционных органах управления” (Первый Всесоюзный Съезд ОЗЕТ в Москве. Стенографический отчет. М., 1927, с. 65). Через десять лет В.М. Молотов отмечал, что “еврейский народ... дал много героев революционной борьбы против угнетателей трудящихся и в нашей стране выдвинул и выдвигает все новых и новых замечательных, талантливейших руководителей и организаторов во всех отраслях строительства и защиты дела социализма. Всем этим определяется наше отношение к антисемитизму и к антисемитским зверствам, где бы они ни происходили” (Правда, 1936, 30 ноября).

После подобных высказываний понятными становятся те особенно жестокие преследования, которым подвергались в Советской России проявления антисемитизма. Первый декрет на эту тему был издан уже 26 октября 1917 г. Вторым съездом Советов вместе с Декретами о мире и земле. Свое развитие он получил в изданном 27 июля 1918 г. постановлении СНК о борьбе с антисемитизмом. “Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение и погромы евреев, – говорилось в нем, – гибелью для дела рабочей и крестьянской революции и призывает трудовой народ социалистической России всеми средствами бороться с этим злом... Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона” (Известия, 1918, 27 июля). По свидетельству А.В. Луначарского, последний абзац, придавший постановлению характер специального уголовного закона, приписал “красными чернилами своею собственной рукой” В.И. Ленин, когда ему для подписки декрет принес Я.М. Свердлов (Луначарский А.В. Об антисемитизме. М.—Л., 1929, с. 38).

Пройдет 12 с половиной лет, и в январе 1931 г. Сталин заявит в ответ на вопрос, поставленный Еврейским телеграфным агентством: “В СССР строжайше преследуется антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью” (Шварц С.М. Антисемитизм в Советском Союзе. Нью-Йорк, 1952, с. 100). А своих слов, как известно, Сталин на ветер обычно не бросал. (Своеобразный “кульбит” истории: многие нынешние “антисталинисты” горячо ратуют за принятие особого закона о борьбе с антисемитизмом, наподобие того, который действовал с 1918 года.)

В первые годы советской власти дело усугублялось еще и тем, что пресечение антисемитизма возлагалось на органы ВЧК, где засилие еврейского элемента особенно сильно бросалось в глаза. Свидетельств тому множество. В.Г. Короленко, которого никто не заподозрит в подыгрывании антисемитизму, переживая в Полтаве смутные годы, был прекрасно знаком с деятельностью большевиков и, в частности, чекистов. В своем дневнике он оставил в 1919 г. следующие записи: “Среди большевиков – много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает”. “Большевизм на Украине уже изжил себя... Мелькание еврейских физиономий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает традиционные и очень живучие юдофобские инстинкты” (В.Г. Короленко в годы революции и гражданской войны. Вермонт (США), 1985, с. 162, 165).

С.П. Мельгунов издал в 1924 г. в Берлине воспоминания некоего В. Фишера “Записки из местечка”, в которых содержится очень интересное свидетельство. Однажды Фишер

разговорился с одним коммунистом, заявившим, что евреи в партии “играют главную роль” и “в общем портят дело”, проявляя излишнюю жестокость. “То, что говорил коммунист о евреях, было показательно, – писал Фишер. – Я сам уже от многих слышал жалобы, что многие дела в Чече не кончались бы так трагически, если бы не вмешательство чекистов-евреев: русский чекист, говорили, уже смягчился, но вмешивался еврей, – и дело кончалось скверно... И вот антисемитизм на моих глазах проникал в красную армию, были целые отряды, охваченные страстной ненавистью к евреям. Мнение, что большевизм – еврейское дело, сложилось в населении быстро и было вполне понятно: у нас, по крайней мере, большинство являвшихся большевицких деятелей были евреи” (На чужой стороне, Берлин, 1924, т. VII, с. 120).

Другой источник по интересующей нас теме Мельгунов издал в девятом томе сборника “На чужой стороне” (Берлин, 1925). Это были показания в октябре 1919 г. Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, учрежденной Деникиным, бывшего следователя Киевской губчека М.И. Болеросова. Коснувшись вопроса о национальном составе чекистского органа, последний утверждал, что “по национальностям можно смело говорить о преимуществе над всеми другими евреями. Ввиду того, что число сотрудников “чека” колебалось от 150 до 300, то и точные цифры привести здесь нельзя. Я не ошибусь, если скажу, что процентное отношение евреев к остальным сотрудникам “чека” равнялось 75: 25, а командные должности находились почти исключительно в их руках”. Далее следовала подробная характеристика руководящих лиц Киевской губчека и ужасных методов их “очистительной” революционной работы. Из 21 упомянутого Болеросовым имени 17 человек были евреями.

Любопытная деталь! Как сообщал бывший следователь, “1-го мая (1919 г.) раздался по “чека” клич: в целях агитационных требуются расстрелы евреев. Немедленно представить соответствующие дела. Кроме того, на видные должности в “чека” не назначать евреев, и вот, в результате этого, идет переформирование...” (Указ. соч., с. 117—121, 132, 137). Причиной этих внезапных действий стала секретная директива из центра, нацеленная на смягчение чрезмерного представительства в чекистских органах лиц еврейского происхождения и показательное включение таких лиц в число подвергающихся репрессивным мерам. Однако, как показал Болеросов, позже выяснилось, что почти все руководители, покинувшие Киевскую губчека после неожиданного переформирования, оказались во главе Всекрымской чека, где им предоставилась возможность еще сильнее обогатить свой карательный опыт.

В Москве не могли не замечать того ущерба, который наносила авторитету власти “еврейская проблема”. Обратимся к свидетельству Л.Д. Троцкого. В своей речи на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК РКП(б) 26 октября 1923 г. он оценивал свое еврейское происхождение как серьезный “политический момент”. “Я прекрасно помню, – продолжал Троцкий, – как 25 октября, лежа на полу в Смольном, Владимир Ильич говорил: “Т. Троцкий! Мы вас сделаем наркомвнуделом. Вы будете давить буржуазию и дворянство”. Я возражал. Я говорил, что, по моему мнению, нельзя давать такого козыря в руки нашим врагам, я считал, что будет гораздо лучше, если в первом революционном Советском правительстве не будет ни одного еврея. Владимир Ильич говорил: “Ерунда. Все это пустяки”. Но, несмотря на это его отношение, все же, видимо, мои доводы на него отчасти подействовали. Во всяком случае, я избежал назначения на пост наркомвнудела и был назначен руководителем нашей иностранной политики... Когда встала необходимость организовать наши военные силы, остановились на мне; должен сказать, что против назначения на пост наркомвоена моя оппозиция была еще более решительна. И... после всей работы, проделанной мною в этой области, я с полной уверенностью могу сказать, что я был прав. Я не говорю о прямых результатах своей работы... но... я мог бы сделать гораздо больше, если бы этот момент не вклинивался в мою работу и не мешал бы. Вспомните, как сильно мешало в острые моменты, во время наступлений Юденича, Колчака, Врангеля, как пользовались в своей агитации наши враги тем, что во главе Красной Армии стоит еврей.



Это мешало сильно... И в тот момент, когда Владимир Ильич предложил мне быть зампредсовнаркома (единоличным замом) и я решительно отказывался из тех же соображений, чтоб не подать нашим врагам повода утверждать, что страной правит еврей, Владимир Ильич был почти согласен со мной. Внешне он, правда, этого не показывал и, как раньше, говорил: “Ерунда, пустяки”, – но я чувствовал, что он это не так говорит, как раньше, что он соглашается со мной в душе” (Вопросы истории КПСС, 1990, № 5, с. 36—37).

В этих словах много рисовки, но Троцкий правильно улавливал воздействие своей фигуры на разжигание в стране антисемитских настроений, хотя сам он и любил называть себя не евреем, а интернационалистом, да еще таким, у которого национальный момент вызывает “брезгливость и даже нравственную тошноту”. И.М. Чериковер запечатлел эту роль Председателя Реввоенсовета следующим образом: “Исключительно опасным возбудителем была при этом личность Троцкого. Почти в каждом погроме повторялось одно и то же: “Это вам за Троцкого”. Троцкий персонифицировал собой всю Советскую власть; никаких других большевистских имен для Добровольческой армии не существовало. Почти нет ни одного антисемитского воззвания, ни одной статьи, где не повторялось бы это имя” (Шехтман И.Б. Указ. соч., с. 15—16).

Любому вдумчивому человеку должно быть ясно, что еврейская национальность многих представителей большевистской гвардии не могла не накладывать определенный отпечаток на их настроения, взгляды и политические действия, тем более что занимали они зачастую именно “командные посты”. Многие объясняют слова Мельгунова: “Бесправный, сделавшийся привилегированным, всегда мстит, подчас даже бессознательно, за прошлые унижения”. После них понятнее становится, скажем, заявление председателя Кунгурской ЧК Гольдина: “...Для расстрела нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим нужным и расстреливаем, вот и все!” (Мельгунов С.П. Красный террор в России. 1918—1923. Нью-Йорк, 1989, с. 179).

Да, Мельгунов, безусловно, прав, когда пишет о важности “определения состава так называемой революционной демократии”, особенно учитывая то обстоятельство, что многие из ее числа оказывались людьми, “не только не думавшими об общих интересах России, но и прямо враждебными ей...” Надо только подходить к исследованию этой “скользкой” проблемы чрезвычайно ответственно и взвешенно, не нагнетая излишние эмоции, но и не впадая в “чрезмерную щепетильность”, которой страдала русская интеллигенция в дореволюционные времена, когда, по словам историка, “из деликатности и такта” о “еврее ничего нелестного нельзя было сказать” (как, впрочем, и сегодня, хотя и по несколько другим причинам).

В статье Мельгунов выражает резонное удивление в связи с очевидной склонностью подавляющей части еврейских публицистов “преуменьшать роль еврейских элементов в большевицкой работе” и обходить благосклонным молчанием действия самих большевиков, в том числе стихийно вспыхивавшие при их власти еврейские погромы. В этой связи понятно недоумение автора тем, что подготовители издания о погромах на Украине, получившего “поистине интернациональную” базу, не употребили 1/1000 доли своей энергии для “характеристики большевицкого террора, террора системы, а не стихии”, “явления более ужасного, чем стихийное движение, рождавшееся на почве невежества и тьмы...”

А ларчик открывался просто. Заинтересованные в подобном издании международные еврейские круги весьма дружелюбно относились в то время к советской власти и находили со стороны ее представителей всемерную поддержку в сборе и издании материалов о погромах на Украине. Тем самым большевики убивали сразу “двух зайцев”: выставляли в черном свете своих бывших противников и представляли в глазах западного общественного мнения в образе гуманных борцов с проявлениями национализма. Показательно, что в конце 20 х годов литература об антисемитизме, весьма схожая по своим оценкам с зарубежными изданиями, очень активно печаталась в СССР (авторами брошюр на эту тему выступили тогда, например, А.В. Луначарский, Ю. Ларин, С.Г. Лозинский, Л. Лядов, Н.А. Семашко и другие видные большевики).

В 1990 г. в еженедельнике “За рубежом” (№ 28, с 16—19) были опубликованы главы из книги французского журналиста Б. Лекаша “Когда Израиль умирает...”, написанной им при активном содействии советских властей и изданной в СССР в 1928 г. в издательстве “Прибой”. Можно только приветствовать ознакомление читателей с давно забытой книгой. Но не слишком ли броско было давать к этим главам заголовки “За двадцать лет до Освенцима” и утверждать, что “если бы люди извлекли уроки из того, что произошло в 1918—1920 гг. на Украине, в Белоруссии, на юге России, то, возможно, не было бы Освенцима, Майданека, Бабьего Яра”. Неужели автору этих строк не ясна существенная разница между погромными эксцессами периода гражданской войны и целенаправленной политикой уничтожения евреев, проводившейся фашистами? Не слышится ли здесь отголосок нарочитых стремлений уличить русский, украинский и белорусский народы в склонности к шовинизму фашистского образца? Да и приводимая автором предисловия к публикации Ю. Поляковым цифра жертв еврейских погромов на Украине – около 300 тыс. человек – не может не представляться явно завышенной. Достаточно сослаться хотя бы на книгу С. Гусева-Оренбургского. На основании анализа огромного массива документов он исчисляет четко установленную цифру погромных жертв на Украине в 35 тыс. человек, но добавляет, что общее число погибших (включая неучтенные жертвы) достигает 100 тыс. человек (Указ. соч., с. 14). Близкие к этим цифрам данные приводит и Шехтман (Указ. соч., с. 25—26).

Учащающиеся ныне попытки запугать население страны, а впридачу и общественное мнение Запада наступлением новой волны антисемитизма свидетельствует о том, что это кому-то очень и очень выгодно. Однако воздвигается такое химерическое здание на зыбком песке. И нам сегодня впору еще раз повторить слова историка Мельгунова: “Призраков прошлого, пугающих боязливых, мы не боимся. Не должны их бояться и евреи, те из них, которые ощущают себя русскими гражданами, как французы, немцы, итальянцы, живущие в Швейцарии, прежде всего ощущают себя швейцарцами”.

## **ФОТО**

**С.П. Мельгунов**

**Николай II с женой и детьми**

**Таврический дворец. После Февральской революции 1917 года в его левом крыле разместился Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов; в правом крыле – Временный комитет Государственной думы**

**Мариинский дворец – резиденция Временного правительства**

**“Везде предательство, трусость и измена”**

**Царский поезд, в котором было подписано отречение**

**Текст отречения от престола императора Николая II**

**Сообщение об отречении от престола Николая II в газете “Известия”**

**Английский король Георг V, двоюродный брат Николая II**

**Английский премьер-министр Ллойд Джордж: “Я посоветовал королю не давать разрешения на приезд в Англию Николая II”**

**Германский император Вильгельм II**

**Датский король Христиан X**

**Королевские номера, где жил великий князь Михаил Александрович, г. Пермь**

**Губернаторский дом в Тобольске, где жила царская семья**

**Здание “Напольной школы” в Алапаевске, где содержались под арестом члены императорской фамилии**

**Город Алапаевск. Современный вид**

**Великий князь Михаил Александрович**

**Г.И. Мясников. По свидетельству одного из соратников, “человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный”**

**Великий князь Дмитрий Павлович. А.И. Гучков и его единомышленники хотели видеть его на русском престоле после отречения Николая II**

**Николай II после отречения от престола под охраной в Царскосельском парке**

**Великие княжны Татьяна и Мария в окружении офицеров охраны в Царском Селе**

**Комната великих княжон в Ипатьевском доме**

## Дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге

Комната в Ипатьевском доме, где были расстреляны Николай II и его семья

Я.Х. Юровский – комендант “дома особого назначения”

Участники расстрела царской семьи (второй слева – А.Г. Белобородов, четвертый – Ш.И. Голощекин)

Шифрованная телеграмма А.Г. Белобородова: “Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации”

Окрестности урочища Ганина Яма

### ЛИТЕРАТУРА<sup>445</sup>

- Авалов.** В борьбе с большевиками. Гамбург. 1925 г.
- Авдеев.** Николай Романов в Тобольске и в Екатеринбурге. “Кр. Новь” № 5. 1928 г. (Перепечатано в парижских “Днях”).
- Алданов.** Убийство гр. Мирбаха. “Посл. Нов.”. Январь 1936 г.
- Аель.** Быль или легенда. “Русское Время” (Париж). 13 янв. 1929 г.
- Андрей Вл. (вел. кн.).** Из дневника 1916 – 1917 г. “Кр. Арх.” XXVI.
- Анишев.** Очерки истории гражданской войны. М. 1923 г.
- Анэ.** La Revolution Russe. Париж. 1919 г.
- Баранов.** Октябрь и начало гражданской войны на Урале. М. 1928 г.
- Баурмейстер.** Шпионы прикрывают фронт. “Возрождение”, 21 окт. 1933 г.
- Бенкендорф.** Last days of Tsarskoe Selo. Лондон. 1927 г. (Revue des deux Mondes. Париж. 1927 – 1928 г.).
- Беседовский.** На путях к Термидору. Париж. 1930 г.
- Берти.** За кулисами Антанты. М. 1927 г.
- Боткин.** Что было сделано для спасения имп. Николая II. “Рус. Лет.” кн. 7. Ботмер. Mit Graf Mirbach in Moskau. Берлин. 1922 г.
- Бубликов.** Русская революция. Нью-Йорк. 1918 г.
- Будберг.** Дневник. “Ар. Р. Рев.”. XIII.
- Булыгин.** Попытки спасти Николая II и царскую семью. “Сегодня” (Рига), июль 1928 г.
- Булыгин.** The murder of the Romanovs. Лондон. 1933 г.

---

<sup>445</sup> В списке приводятся заглавия только тех книг и статей, которые фактически цитируются в книге. Одну оговорку приходится сделать. Внешние условия, при которых писалась работа во время войны, были крайне неблагоприятны. И неизбежно приходилось в процессе уже окончательной обработки текста иногда для цитат обращаться не к первоисточнику при пополнении выписок, сделанных ранее. В библиографии имеются некоторые дефекты. Исправить их автор не имел возможности за отсутствием под руками источников, ибо половину своей библиотеки ему пришлось распродать в дни немецкой оккупации Парижа и последующего за ней времени. (Оформление библиографии оставлено в том же виде, что и в книге С.П. Мельгунова. – *Прим. ред.*).

- Бунин.** “Окаянные Дни”. Соч. т. V. Берлин. 1935 г.
- Бурцев.** “Истинные убийцы Николая II – Ленин и его товарищи”. “Общее Дело”, 1921 г.
- Бьюкенен.** Моя миссия в России, т. II. Берлин. 1924 г.
- Бьюкенен М.** Крушение Великой Империи. Париж. 1933 г.
- Быков.** Последние дни Романовых. Свердловск. 1926 г.
- Быков.** Последние дни последнего царя. В сбор. “Рабочая революция на Урале (переп. в „Ар. Р. Р.“, XVI).
- Белая Книга.** Le bolshevisme en Russie. Париж. 1919 г.
- Василевский (Не Буква).** Николай II. Берлин. 1923 г.
- Вильтон.** Последние дни Романовых. Берлин. 1923 г.
- Виноградский.** Записка о Совете Общ. Деятелей. “На чужой стороне”, № 9. Берлин-Прага.
- Воейков.** С Царем и без Царя. Гельсингфорс. 1936 г.
- Вознесенский.** Москва в 1917 г. М. 1928 г.
- Волков.** Около Царской Семьи. Париж. 1922 г.
- Волконская.** Воспоминания б. голландского посланника в России. “Возр”, 3 мая 1940 г.
- Волконский.** Мои воспоминания. Мюнхен. 1923 г.
- Владимирова.** Год службы социалистов капиталистам. М. 1927 г.
- Вырубова.** Странички из моей жизни. Берлин. 1923 г.
- Г.Б.** Об убийстве вел. кн. Мих. Ал. “Руль”, 13 января 1929 г.
- Гельферих.** Der Wetkrig. Берлин. 1919 г.
- Гиппиус.** Синяя книга. Петерб. дневник 1914 – 1918 г. Белград. 1929 г.
- Гоппер.** Четыре катастрофы. Рига.
- Гофман.** Der Krieg der versandten Gelegenheiten. Берлин.
- Горн.** Немецкая оккупация в Псковской губ. “Гол. Мин. на Чужой Стороне:”, № 1. Париж. 1926 г.
- Государственное Совещание.** (Архив Октябр. революции). М. 1927 г.
- Гурко.** Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу. “Арх. Рус. Рев.”, XV.
- Гурко, ген.** Erinnerungen an den Krieg und Revolution. Берлин, 1929 г.
- Гусев.** Гражданская война и Красная Армия. М. 1925 г.
- Гутман (Ган).** Россия и большевики. Шанхай. 1921 г.
- Гутман (Ган).** Пермское злодеяние. “Возр.”, январь 1932 г.
- Гутман (Ган).** Екатеринбургская трагедия. “Возр.”, 3 ноября 1931 г.
- Демкин.** Петерб. городская Дума и первые дни смуты. “Рус. Лет.”, кн. 6.
- Демьянов.** Моя служба при Врем. Правительстве. “Арх. Рус. Рев.”, IV.
- Демьянов.** Эпизоды русской смуты. “Руль”, март 1923 г.
- Деникин.** Очерки Русской смуты, тт. II и III. Париж, 1922 – 1924 гг.
- Деникин.** Об исправлениях истории (по поводу воспоминаний Гучкова). “Посл. Нов.”, № 5712.
- Диль.** В Екатеринбурге. “Ар. Рус. Рев.”, XVII.
- Дионео.** Роль Ллойд-Джорджа. “Посл. Нов.”, 12 июня 1932 г.
- Дитерихс.** Убийство Царской Семьи. Владивосток, 1922 г.
- Дневник Мин. Ин. Д. за 1915 – 1916 гг.** “Кр. Арх.”, XXXI – XXXII,
- Домерг.** La Russie Rouge. Париж. 1918 г.
- Дорошенко.** Гетманство в 1918 г. на Украине. “Голос Мин.” (Н. Ч. Ст.) № 5.
- Жильяр.** Имп. Николай II и его семья. Вена. 1921 г.
- Завадский.** На великом изломе. “Арх. Рус. Рев.”, XI.
- Заславский-Канторович.** Хроника февральской революции. Пет. 1924 г.
- Зензинов.** Из жизни революционера. Париж. 1919 г.
- Зет.** Новые данные об убийстве царской семьи. Статья Иллиодора в нью-йоркской

- “Либерти”, № 7. “Посл. Нов”, 18 февр. 1933 г.
- Зиновьев.** Сочинения, т. VII.
- Из писем Царской Семьи.** “Рус. Лет.”, т. I, 1921 г.
- Ильин (Женевский).** Большевики у власти. М. 1929 г.
- Казанович.** Поездка из Добр. Армии в “Красную Москву”. “Арх. Р. Р.”, VII.
- Карабчевский.** Что глаза мои видели, т. II. Берлин. 1921 г.
- Кельсон.** Милиция февральской революции. “Былое”, 1929 г.
- Керенский (А.К.).** Признания (по поводу публикации “Кр. Арх.”). “Дни”, 6 янв. 1926 г.
- Керенский (доклад).** Гибель царской семьи. “Посл. Нов.”, 10 февр. 36 г. Керенский. La Revolution Russe. Париж. 1928 г.
- Керенский.** La verit&#233; sur le messakre des Romanoff. Париж. 1936 г.
- Керенский.** L’Experience Kerensky. Париж. 1936 г.
- Керенский.** Издалека. Сб. статей 1920 – 1921 г. Париж. 1922 г.
- Керенский.** Отъезд Николая II в Тобольск. “Воля России”, 28 авг. 1921 г.
- Керенский.** Еще об отъезде Николая II в Тобольск. “Воля России”, 16 сент. 1921 г.
- Керенский.** Екатеринбургская трагедия. “Посл. Нов.”, 17 июля 1932 г.
- Керенский (интервью).** Судьба царской семьи. “П. Нов.”, 16 июля 1936 г.
- Керенский.** Дело Корнилова. Москва. 1918 г.
- Кобылинский.** Стенограмма допроса. “Ист. и Совр.”, кн. 1 – 5. Рига 1924 г.
- Коковцев.** Воспоминания, т. II. Париж.
- Коковцев.** Было ли возможно спасти Государя и его семью. “Посл. Нов.”, май 1936 г.
- Коковцев.** La verit&#233; sur la tragedie a Ekaterinbourg. “Rev. des deux Mondes”. Кологривов. Арест Гос. Императрицы А. Ф. “Рус. Лет.”, № 3.
- Константинополь и проливы.** Ред. Адамова. М. 1926 г.
- Корнев.** Чрезвычайная Комиссия по делам о б. министрах. “Арх. Р. Р.”, VII.
- Котляревский.** Записки о Нац. Центре в Москве в 1918 г. “На Чужой Стороне”, VIII.
- Крах германской оккупации на Украине.** М. 1936 г.
- Курлов.** Гибель Императорской России. Берлин. 1923 г.
- Лейхтенбергский герц.** Как началась Южная Армия. “Арх. Рус. Рев.”, VIII.
- Ленин.** Сочинения, т. XVI (первое издание).
- Ллойд Джордж.** War memoirs. Лондон. 1936 г.
- Лукомский.** Воспоминания, Берлин. 1922 г.
- Лукомский (худ.).** Au palais Alexandre apres le depart du tzar. “Revue des deux Mondes”. Авг. 1929 г.
- Луначарский.** Революционные силуэты. М. 1924 г.
- Маклаков.** Preface aux interrogatoires par la Commission Extr. De 1917. Париж. 1927 г.
- Маклаков.** Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина. “Сов. Зап.”, кн. 1934.
- Маргулиес.** Год интервенции. Берлин. 1923 г.
- Максаков и Турунов.** Хроника гражданской войны в Сибири. М. 26 г. Марков С. Ответ Маркову 2. Вена, 1929 г.
- Марков С.** Покинутая Царская Семья. Вена. 1926 г.
- Марков Н.** “Ловцы правды”. “Истина спасения царской семьи”. “Вестн. В. Мон. Сов.”, 9 – 22 июня 1924 г.
- Мартынов.** Царская армия в февральском перевороте. Лен. 1927 г.
- Мартынов.** Корнилов. Москва. 1927 г.
- Мельгунов.** Предисловие к воспоминаниям Иллиодора “Святой чорт”. “Гол. Мин.”, 17 г., № 3.
- Мельгунов.** Статья о Чрез. След. Ком. “Власть Народа”, авг. 1917 г.
- Мельгунов.** “Золотой ключ” к большевистской революции. Париж. 1940 г.
- Мельгунов.** Приоткрывающаяся завеса. “Гол. Мин.” (На Ч. Ст.), I. 1926 г.

- Мельгунов.** Чайковский в годы гражданской войны. Париж. 1929 г.
- Мельгунов.** Трагедия адм. Колчака. Белград. 1930 г.
- Мельгунов.** Красный террор в России. 2-е изд. Берлин. 1924 г.
- Мельник-Боткина.** Воспоминания о царской семье. Белград. 1921 г.
- Милюков.** История второй русской революции, т. I. София 1921 г.
- Милюков.** Мои объяснения. “Посл. Нов.”, 17 июня 1932 г.
- Милюков.** Март-апрель 17 г. “Посл. Нов.”, 12 июня 1932 г.
- Милюков.** Кто виноват (по поводу доклада гр. Коковцева). “Посл. Нов.”, 26 янв. 1936 г.
- Милюков.** Россия на переломе, т. I. Париж. 1927 г.
- Милюков.** Мои сношения с Алексеевым. “Посл. Нов.”, №№ 1211, 1214.
- Мордвинов.** Отрывки из воспоминаний. “Рус. Лет.”, кн. 5.
- Мосолов.** Царь и его семья. “Посл. Нов.” 1931 г. (отдельное издание “При дворе Императора”. Рига).
- М. В.** Как Арон Симанович хотел спасти Николая II. “Сегодня”, 24 июня 1931 г.
- Мстиславский.** Пять дней февральской революции. Берлин. 1922 г.
- Мстиславский.** Гибель царизма. Лен. 1927 г.
- Мякотин.** Великий переворот и задачи момента. М. 1917 г.
- Мякотин.** Из недавнего прошлого. “На чужой стороне”, X. Прага. 23 г. Набоков В. Временное Правительство. “Арх. Рус. Рев.”, кн. I.
- Набоков.** Испытания дипломата. Стокгольм. 1921 г.
- Наживин.** Записки о революции. Вена. 1921 г.
- Нарышкина.** Unter drei Zaren. Вена. Дополнение в “Посл. Нов.” (май – июнь 1936 г.) к немецкому изданию Фюллоп-Мюллера.
- Неклюдов.** Souvenirs diplomatiques. Париж. 1940 г.
- Никитин.** Роковые годы. Париж. 1937 г.
- Николай Мих. (вел. кн.).** Записки 1916 г. “Кр. Арх.”, 1949 г.
- Николай II (имп.).** Дневник 1917 – 1918 гг. “Кр. Арх.”, XX – XXII, XXVII.
- Ниссель.** Le triomphe des bolshevics et la Paix de Brest-Litovsque. Париж. 1940 г.
- Нуланс.** Mon ambassade en Russie sovietique. Париж, 1933 г.
- Оболенский Д.** Интервью с гр. Мирбахом в Москве. 1918 г. “Нов. Вр.”, Белград. 2 февр. 1927 г.
- Овсянников.** ЦК РКП и Брест. “Современник”, № 1, 1922 г.
- Падение царского режима.** Стеногр. отч. допросов в Чр. Сл. Ком. тт. I – VII. М. 1926 г.
- Палеолог.** La Russie des tzars, т. III. Париж. 1922 г.
- Палеолог.** Речь в заседании Франц. Института. “Возр...”, 26 окт. 1935 г.
- Палей.** Souvenirs de la Russie. Париж. 1933 г.
- Панкратов.** С Царем в Тобольске. Изд. “Былое”, 1925 г.
- Переписка Ник. Ал. и Ал. Фед.** С предисловием Покровского, тт. III – V. М. 1925 г.
- Перетц.** В цитадели русской революции. Пет. 1917 г.
- Пишон.** Союзническая интервенция в Сибири. М. 1925 г.
- Подшивалов.** Гражданская война на Урале 1917 – 18 гг. М. 1925 г.
- Покровский.** Октябрьская революция и Антанта. Доклад 7 октября. “Правда” № 235. 1927 г.
- Половцев.** Дни затмения. Париж. 1927 г.
- Полнер.** Жизненный путь кн. Львова. Париж. 1932 г.
- Пронин.** Последние дни царской Ставки. Белград. 1930 г.
- Попов (ред.).** Иностранные дипломаты о русской революции 1917 г. “Кр. Арх.”, XXIV.
- Протоколы Ц. К. РСДРП.** М. 1929 г.
- Протоколы заседания Исп. Ком. Петр. Сов. Р. и С. Д.** “Прол. Лет.”, 1925, № 6.

- Протоколы комитета болш. партии.** “Кр. Лет.”, 6.
- Протопопов.** Из дневника 1917 г. “Кр. Арх.”, X.
- Путятин гр.** Воспоминания о вел. кн. Мих. Алек. “Revue des deux Mondes”, 1925 г.
- Пэрс.** Предисловие к книге Керенского “La Verit&#233;”. Рабочее движение. Арх. окт. революции. 1926 г.
- Разложение армии.** 1917 г. в документах. Сост. Какурин. 1925 г.
- Рафес.** Два года революции на Украине. М. 1921 г.
- Рехберг.** Письмо в “Журнал де Деба”. “Посл. Нов.”, 1 апр. 1929 г.
- Родзянко.** Крушение Империи. “Арх. Рус. Рев.”, XVII.
- Родзянко.** Гос. Дума и февральская революция. “Арх. Рус. Рев.”. VI.
- Романов.** Имп. Николай II и его правительство по данным Чр. Сл. Ком. “Рус. Лет.”, кн. 2.
- Романовы и союзники в первые дни революции.** “Кр. Арх.”, XVI.
- Романовы в первые дни революции** (письма кн. Палей вел. кн. Павла и Кирилла). “Кр. Арх.”, XXIV.
- Рорбах.** Die deutsche Politik. Берлин. 1918 г.
- Революция 1917 г.** Хроника событий, тт. I – IV. 1923 г.
- Руднев.** Правда о царской семье. “Рус. Лет.”, кн. 3.
- Руднев.** При вечерних огнях. Харбин. 1928 г.
- Савинков.** В военном министерстве. “За Свободу”. Варшава.
- Садуль.** La Russie de Brest-Litovsk. “Евр”. 10 марта 1936 г.
- Садуль.** Notes sur la revolution bolshevikue. Париж.
- Сватиков.** Доклад Врем. Прав. о борьбе с революцией. “Кр. Арх.”, XX.
- Селивачев.** Из дневника 1917 г. “Кр. Арх.”, X.
- Семенников.** Монархия перед крушением. М. 1926 г.
- Семенников.** Политика Романовых накануне революции. М. 1926 г.
- Семенников.** Архив Бадмаева. За кулисами царизма. М. 1925 г.
- Семеновский.** “Попытки спасти Романовых” (по донесениям германского дипломата). “Возр.”, 15 июля 1935 г.
- Симанский.** Воспоминания в варшавской “За Свободу”.
- Смирнов.** Autour de l’assassinat des Grands Ducs. Париж. 1928 г.
- Совещание Советов.** 1917 г. по документам. М. 1928 г.
- Соколов.** К попытке освобождения царской семьи. “Арх. Рус. Рев.”, XVII. Соколов Н. Убийство царской семьи. Берлин. 1925 г.
- Соколов.** Enquete judiciaire sur l’assassinat de la Famille Imperiale Russe. Париж. 1929 г.
- Соломон.** Среди красных вождей. Париж. 1930 г.
- Сперанский.** La maison a destination speciale. Париж. 1929 г. “Сегодня”, январь 1926 г.
- Сталин.** Статьи и речи. М. 1918 г.
- Станкевич.** Воспоминания. Берлин. 1922 г.
- Степанова.** Немцы в Москве. “Гол. Мин.” (На Ч. С.). № 1. Париж 1926 г.
- Сторожев.** Февральская революция 1917 г. “Науч. Изв.”, 1921 г.
- Сторожев.** “Революция и дипломатия”. “Дела и Дни”, 1921 г. и “Nachschaublatt ьber Ostfragen” № 42.
- Стремоухов.** Имп. Николай II и русское общество в освещении иностранцев. “Рус. Лет.”, VII.
- Ступченко.** В брестские дни. М. 1926 г.
- Суханов.** Записки о революции. Кн. I – III. Берлин – Москва. 1922 г.
- Сухомлинов.** Воспоминания. Берлин. 1924 г.
- Терещенко.** Екатеринбургская трагедия. “Посл. Нов.”, 21 июня 1932 г.
- Тихменев.** Из воспоминаний о последних днях пребывания имп. Николая II в Ставке. Ницца. 1925 г.
- Толстая.** Из писем царской семьи. “Рус. Лет.”, кн. I.



- Троцкий.** История русской революции. Берлин. 1931 г.
- Троцкий.** О Ленине. М. 1924 г.
- Трубецкой А.** История одной попытки. “Часовой”, №№ 118 – 120. Брюссель 1934 г.
- Тулуеунский.** Убийство еп. Гермогена. “Слово”, 23 дек. 1926 г.
- Н. Устрялов.** Воспоминания. Альманах “Русской Жизни”. Харбин. 1923 г.
- Февральская революция 1917 г.** Документы Ставки. “Кр. Арх.”, XXI – XXII.
- Фокке.** На сцене и за кулисами Брестской трагедии. “Арх. Рус. Рев.”, XX.
- Флуг.** Отчет о командировке из Добр. Армии в Сибирь в 1918 г. “Арх. Рус. Рев.”, IX.
- Цявловский.** Большевики по данным Охранного Отделения. М. 1918 г.
- Чаадаева.** Помещики и их организация. М. 1928 г.
- Чебышев.** Близкая даль. Париж. 1938 г.
- Чернов.** Рождение революционной России. Париж. 1934 г.
- Шингарев.** Как это было. Пет. 1918 г.
- Шляпников.** Семнадцатый год. М. 1923 г.
- Шнейдер.** Тобольский дневник. “Арх. Рус. Рев.”, XVII.
- Шульгин.** Дни. Белград. 1925 г.
- Л. Юрковский.** Конец истребителя династии. “Нов. Рус. Сл.”, февр. 1950 г.
- Яблоновский.** “Встречи с вел. кн. Мих. Алекс.”. “Голос Минув.” (На Ч. Ст.), № 1, 1926 г.
- Ягов.** Документы из прусского архива Мин. Ин. Д. “Berl. Monatshefte”. май 1935 г.
- Якоби.** Le Tzar Nicolas II et la Revolution. 1931 г.
- Яковлев (ред.).** Обзор положения России за три месяца революции. Отдел сношений с провинцией. Вр. Ком. Гос. Думы. “Кр. Арх.”, XV.
- Яковлев.** Рассказ комиссара о переезде Государя в Екатеринбург. “Рус. Лет.”, кн. 1. Париж. 1921 г.